

**ОЛЬГА ФОРШ**

**ОДЕТЫ КАМНЕМ  
■  
СОВРЕМЕННИКИ  
■  
МИХАЙЛОВСКИЙ  
ЗАМОК**















**ОЛГА ФОРШ**



**ОДЕТЫ  
КАМНЕМ**

**СОВРЕМЕННОКИ  
МИХАЙЛОВСКИЙ  
ЗАМОК**

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
1986



84 Р 7  
Ф 80

Вступительная статья  
В. Оскоцкого

Иллюстрации  
Г. Епифанова,  
Л. Хижинского,  
А. Яцкевича

Ф 4702010200—979 979—86  
080(02)—86



### **«...ВЕКА — В НАС»**

#### **(Творческие уроки Ольги Форш)**

Не было бы, очевидно, нужды возвращаться к памятным вехам в истории литературы, если бы это не служило извлечению творческих уроков ее мастеров. Уроков, созвучных нашему времени, сохраняющих и поныне свое неослабно актуальное значение. Вот и настоящий сборник произведений Ольги Форш (1873—1961) дает повод обратиться к писательскому наследию в целом, поразмышлять о его роли и месте в становлении и развитии советской прозы, а раньше и прежде всего в создании советского исторического романа, чей незаурядный идейно-художественный опыт, обретенный в 20-е годы, А. М. Горький называл принципиально новаторским.

Не кто иной, как Горький, мудро помог Ольге Форш утвердиться в себе, укрепиться на том ведущем направлении поиска, которое стало магистралью ее творчества. Раньше многих других он проницательно распознал в ней большого мастера исторического романа и в создании его увидел высшие художественные достижения писательницы. Оттого так много внимания отдано в его письмах романам «Одеты камнем» (1924) и «Современники» (1926). «А «Одеты камнем» — уже большая вещь, высоко ценю ее как одну из книг, кои начинают на Руси подлинный исторический роман, какого до сей поры — не было», — писал он о первом. И повторял



о втором: «Современники» — значительнейшая вещь, на мой взгляд. И — богатая мыслями, каждая из коих — тема большой книги». Понимание и поддержку Горького вызвал замысел романа о Николае Новикове, переросший позднее в трилогию «Радищев» (1932—1935): «Большие темы в работе у вас... и особенно почтенная тема «Новиков». «Современники» позволяют уверенно ждать, что это вам хорошо удастся, — Новиков, — ибо у вас удивительно тонко развита интуиция в понимании прошлого, как мне кажется. Исторического романа, в подлинном смысле этого понятия, у нас еще не было, и вот он является как раз вовремя. Это — замечательно». Сохранился черновой автограф горьковского предисловия к предполагавшемуся, но так и не осуществленному американскому изданию романа «Одеты камнем». «Для своих романов, — говорилось в нем, — она (Ольга Форш. — В. О.) смело берет наиболее глубокие темы и умеет отлично разрабатывать их... Сдержанный язык ее книг убедительно точен, фигуры людей, изображаемых ею, живы и пластичны. Это талант крупный и своеобразный». Одно из писем Ольги Форш Горькому может служить своего рода ключом к ее творчеству — как к ранним, так и к позднейшим историческим романам, и не только к собственно романам, но и вообще ко всей прозе писательницы: «Я счастлива, что вы причисляете меня к зачинателям *нового исторического романа*. В этом именно полагаю свое настоящее *дело*. Думаю, что в «Одеты камнем» кое-что угадано верно. Во всяком случае, думаю, правильнее укрепившись на *сегодня*, взорвать все пограничные столбы, проставленные временем, так, чтобы в *сегодня* проступило вчера. Живое все ведь забирается и живет. И хоть мы только сейчас, но века — в нас (а не сами по себе, как полагалось раньше)»<sup>1</sup>.

Остановимся на этом признании, способном смутить своей нескрываемой категоричностью. Ведь дебют Ольги Форш как исторического романиста состоялся отнюдь не в начале творческого пути. К тому времени ей, далеко не новичку в литературе, перевалило за 50 лет, и (если не брать во внимание ученических проб пера, падающих на начало 900-х годов) полтора десятка из них она уже отдала профессиональному писательскому труду. Однако готовность вослед Горькому вести отсчет «настоящему делу» с исторических романов красноречиво убеждает, что обращение к ним она воспринимала не просто как опробывание сил в новых темах и новом жанре, но раньше и прежде всего как тот главный рубеж всей творческой судьбы, который, предрешив последующий путь, по-новому осветил и все то, что ему предшествовало. Так именно

---

<sup>1</sup> Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 70, М., 1963, с. 584, 587—589.



судила об этом Ольга Форш и спустя многие, долгие годы, когда на девятом десятке лет вспоминала «великий перелом в жизни России», а значит и в ее собственной жизни: «Не знаю, что случилось бы и со мной, если бы не Октябрь». И дальше: «1923 год стал поворотным в моей литературной судьбе. От рассказов я перешла к историческому роману. Этот поворот подготовлялся во мне исподволь: великими изменениями, происходившими в жизни нашего народа, думами о советской литературе, еще только нарождавшейся, желанием преодолеть интересы, ограниченные вопросами формального порядка. Я чувствовала, что влечение к абстракциям приведет меня в творческий тупик. Историческая тема открывала мне выход в мир» («Литературная газета», 1958, 27 мая).

Аналогичные автобиографические свидетельства преобразующего воздействия Великого Октября на их художественное сознание, творческий мир оставили и многие другие писатели, современники революции, включая и тех из них, которым, как Ольге Форш, суждено было стать зачинателями и первыми мастерами советского исторического романа, творцами его вершинных достижений,— Алексей Толстой, Алексей Чапыгин, Иван Новиков, Юрий Тынянов. Каждый говорил об общем, но вкладывал в него свое личное, особое. Для Ольги Форш это был неизменный мотив преодоления себя, отречения от былых философских и эстетических пристрастий, расчета, разрыва с символистским прошлым.

Природу этих преходящих увлечений литературной молодости помогает понять роман «Ворон» (1934), виртуозно построенный на смешении разновременных повествовательных пластов: советской действительности рубежа 20—30-х годов, в которой непосредственно разворачивается сюжетное действие, и изрядно сдобренных авторской иронией ретроспективных отступлений, которые ведут в начало века, когда Ольга Форш начинала свой творческий путь. Воссоздавая атмосферу «Ивановских сред» в знаменитой «башне» на Таврической улице, писательница пародирует декадентские настроения всепроникающего пессимизма, претенциозно философствующее умствование, где всего в досталь — и наивной мистики, и крайнего индивидуализма ницшеанского толка. Таковы духовные реалии минувшей эпохи, которые один из юных героев романа с присущим тогдашней молодежи задором сбрасывает на «мятежную, тоскующую, страдающую по «инобытию» интеллигентскую истерику». Однако в своей нетерпимости он не во всем прав. Словно бы корректируя такой юношеский максимализм, писательница ненавязчиво вводит в повествование рассуждения другого героя, для которого символизм — своеобразная попытка «взорвать действительность, до беспредельности раздвинув себя, выпрыгнуть то ли в бога, то ли в черта...». Критическое начало символизма, проявившее-



еся в творчестве его наиболее ярких представителей,— бунтарское неприятие современного им миропорядка, напряженные поиски выхода из драматических противоречий эпохи,— не это ли и создало возможность творческой переработки символистской поэтики в искусстве реализма, универсальная способность которого переплавлять на свой лад формальные достижения других творческих методов общепризнана ныне и теорией и историей литературы? Показательный образец такой переплавки дала Ольга Форш в романе «Одеты камнем». Символическая условность образа преобразуется здесь в реалистическую условность приема. Мотивированный психологически, он помогает в одних случаях сюжетному сцеплению разновременных планов повествования, в других — гротескному изображению «бывших» (вроде генерала от инфантерии Горецкого 2-го), в третьих — углубленному обоснованию вины Сергея Русанина и безумия, которое настигает его как «муки совести» и за предательство Михаила Бейдемана, и за измену самому себе, так и оставшемуся «невыраженным художником».

Духовная биография времени и среды, символизм не мог обойти Ольгу Форш, как и она не могла не преодолеть его воздействия. Равнение на голоса живой, не выхолощенной абстрактными догмами жизни явственно уже в дореволюционных рассказах писательницы, вошедших в большой цикл «Вчерашний день» и частично в сборник «Обыватели» (1923). Их сюжетные мотивы, повествовательные интонации ориентированы на стойкие традиции реализма, воспринятые и от чеховской прозы, и от творчества современников — Куприна, Бунина, Л. Андреева. И, конечно же, Горького, чье воздействие на себя засвидетельствовала сама Ольга Форш.

Преодоление символистских веяний, опора на традиции реализма, углубление социального взгляда на действительность — все это сближало Ольгу Форш с передовым, прогрессивным лагерем русской литературы, который на рубеже 1917 года совершил свой исторический выбор. «Никакими силами нельзя было сорвать Ольгу Форш с корней, уходящих глубоко в русскую почву, в русскую историю и культуру. В первые годы Советской власти страх, непонимание, заблуждения, косность, попросту ненависть гнали многих старых литераторов из Петрограда на юг, не только поближе к хлебу, но и к белым, а затем в эмиграцию. В те же самые годы, когда этот поток стремился прочь из Петрограда, Ольга Форш проделала... обратный путь — с юга на север, в голодный, холодный, сыпнотифозный, холерный Петроград. Ураганный ветер Октября не отталкивал ее, как многих ее ровесников, среди которых были и знакомые и, наверное, друзья,— он влек ее к себе. Со своим чувством истории, со своим пониманием времени она жадно впитывала в себя события и всматривалась в людей пытливо и



глубоко», — вспоминал М. Слонимский первые встречи с писательницей. И продолжал далее: «Много всякого было в то бурное время. Одновременно с рождением новой, советской литературы и бегством из Петрограда ряда старых литераторов происходила стихийная переоценка дореволюционной беллетристики и поэзии... Ольга Форш, автор талантливых произведений, имевшая уже тогда литературное имя, шла навстречу переоценке совершенно безбоязненно: она, видимо, и не думала о том, что можно тут чего-то бояться. Она глядела вперед, а не назад»<sup>1</sup>.

Проникаясь всенародным размахом победившей революции, разделяя социальные идеалы Великого Октября, его гуманистический пафос, отвечавший вековым устремлениям русской демократической интеллигенции, Ольга Форш не замедлила подтвердить творчеством осознанность своего выбора. Дело, разумеется, было в переоценке не просто и не только литературы — самой жизни, и писательница осуществляла ее своими новыми рассказами. Одни из них наряду с прежними войдут потом в цикл «Вчерашний день» и сборник «Обыватели», из других целиком составятся книги «Летошний снег» (1925) и «Московские рассказы» (1926). Два ведущих мотива отчетливо проступают в них. Первый — мотив суда над дореволюционным прошлым, достигающий высокого напряжения в рассказе «Климов кулак». Как и многое в новеллистической прозе писательницы, он восходит к наблюдениям и впечатлениям, почерпнутым из личного биографического опыта, который особенно примечателен тем, что раскрывает гражданский облик Ольги Форш в ту пору юности (1891 год), когда она, восемнадцатилетняя воспитанница сиротского института в Москве, по внутреннему зову долга и совести предприняла свое «хождение в народ» на борьбу с голодом и тифом — «спасать мужиков, которых покинули нерадивые толстовцы». В автобиографии «Дни моей жизни» (1959) об этом сообщается сдержанно и скупно: «Полгода провела я в деревнях Тульской губернии, работая в «толстовских столовых», которые были открыты для голодающих. Деревня многому меня научила...». Свободная форма рассказа дала простор и едкой иронии, ближайший, но не последний адрес которой — официальная правительственная пропаганда, продажная охранительская печать, поспешившие «отменить» голод, хотя он «все еще был», и беспощадному изображению дикого, жестокого мира деревни, и глубокому психологическому обоснованию драматического столкновения с ним возвышенной, благородной, но неопытной, незащитной души: «Каленым железом рвало сердце, огонь бежал в жилах. Вот

---

<sup>1</sup> Ольга Форш в воспоминаниях современников. Л., 1974, с. 71, 73.



виновного кого-то к ответу, к ответу! За всю эту горькую, звериную жизнь».

Похожее «чувство отворачивания и проклятия жизни» доминирует в рассказе «Марфушкин круг», где «единственный в мире путь», который проходит человек на земле, прослежен на большом временном протяжении и погружен в бурный водоворот народной истории, вплотную приблизившейся к тому поворотному рубежу, когда ее неотложным делом становится «найти зодчих Великому Зданию». Так возникает второй мотив — крутой ломки устоявшегося уклада, грандиозной перестройки жизни. Как преломляется это в психологии человека, кем и как входит он в новый мир — создателем или потребителем, творцом или приспособленцем, в силу выношенного идейного убеждения или духовного компромисса, благоприятствующего социальной и нравственной мимикрии вчерашнего обывателя? Таков круг проблем, занимающих писательницу. «Плуг истории,—вспоминала она на склоне лет,—глубоко перепахивал русскую жизнь — и в городе, и в деревне. Старый быт, порожденный прежними социальными отношениями, рушился, хотя и не сдавался без боя. И мне, как писателю, очень важно было всматриваться в эти изменения, огромные и всеохватывающие».

Рассказы об этом в перспективе последующего идейно-художественного опыта советской новеллистической прозы имеют скорее значение художественных свидетельств переживаемого момента, но за пределами его не выдерживают испытания на долговечность. Однако в их пестрой мозаике встречаются самоцветы, которые сохраняют отнюдь не преходящую ценность. Таковы рассказы, ирония которых разит мелкобуржуазную нэпманскую стихию, произрастающую на ее и не только на ее волне новую, послереволюционную поросль мещанства, высокий нравственный счет которой каждый по-своему предъявляли и А. Толстой, и Ю. Олеша, и М. Зощенко. Или — «Товарищ Пфуль» (1925), рассказ достойный того, чтобы остаться в ряду вершин, образующих горную цепь в движении «малой» прозы 20-х годов. Взвихренный стиль, ломкий строй фразы, экспрессивная энергия сказового или орнаментального слова принадлежат времени. Но не замкнуто временем драматическое содержание, зорко увиденное в бурной действительности эпохи. Возвращаясь к ней спустя годы и десятилетия, литература разовьет и углубит конфликтную ситуацию рассказа, поднимет ее до больших философских, социальных, нравственных обобщений (повесть П. Нилина «Жестокость», роман Ю. Трифонова «Старик»). Рассказ Ольги Форш стоит у истоков этой традиции, и прав был П. Медведев, один из ведущих литературоведов и критиков 20—30-х годов, авторитетный исследо-



ватель творчества и автор предисловия к первому собранию сочинений писательницы, когда назвал его в ряду произведений, через которые она «пытается основательнее и глубже подойти к теме человека в революции»<sup>1</sup>.

Но это уже *историческая* тема в том большом смысле, который придал ей Великий Октябрь, обогатив живое, непосредственное чувство связи времен, раздвинув горизонты, укрупнив масштабы постижения современности в диалектике необратимого движения от прошлого к настоящему, закономерном наследовании послереволюционной эпохой гуманистических идеалов предшествующих поколений. Современность срасталась с историей, история вторгалась в современность. Создание исторического романа становилось одной из насущных задач молодой советской литературы, внутренней потребностью художественной мысли.

Непосредственный толчок к написанию «Одеты камнем» — первого в советской литературе исторического романа — дала Ольге Форш брошюра известного историка П. Е. Щеголева «Таинственный узник (Михаил Степанович Бейдеман). Главы из книги об Алексеевском равелине» (Пг., «Былое», 1919). Она открыла героический образ революционера-шестидесятника, потрясла трагедией его жизни, оборванной навечным — без следствия и суда — заточением в Петропавловскую крепость. С нею вошли в сознание писательницы два ключевых образа, которые пройдут затем не только через ее книги, но и через исторические повествования многих авторов вплоть до «народовольческих» романов «Нетерпение» Ю. Трифонова или «Глухая пора листопада» Ю. Давыдова. Зимний дворец — образ русского самодержавия, тупой деспотической силы, сокрушающей человеческие судьбы, враждебной передовым идеям. И Петропавловская крепость — неистребимая память о «первенцах свободы», образ мужества и мученичества других поколений борцов, их самоотвержения и самопожертвования. «Целые часы, — рассказывала писательница, — проводила я в камерах Трубецкого бастиона, в сводчатых коридорах и крохотном треугольном садике Алексеевского равелина. Мое воображение воскрешало предо мной ужасы, которые хранили эти могильные каменные стены. Словно нравственным долгом стала для меня задача: воскресить и закрепить для будущего то, что русская история забыть не может и не должна»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Форш О. Собр. соч., т. 1. М.-Л., Госиздат, 1928, с. 24.

<sup>2</sup> Форш О. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. Л., 1972, с. 32.



Именно *нравственным* долгом — не случайное слово для Ольги Форш, искавшей свой ключ к исторической теме. Его подсказала судьба невыдуманного героя, чей «страстный, глубокий характер», устремленный, «как стрела, к единой цели», помог выявить духовную первооснову личности, типически воплотившей нравственный облик русского революционера. Так было найдено решение исторической темы как преимущественно темы революционной нравственности, непререкаемую высоту которой наряду с Михаилом Бейдеманом олицетворяют в романе и вымышленная Вера Лагутина, и доподлинный Дмитрий Каракозов, готовый отдать на благо народа не одну, а, будь они у него, «сто жизней». Им противостоит герой-повествователь, «совсем заурядный, не умный и не глупый человек, неудавшийся художник и офицер», благополучно переживший «четыре царствования четырех императоров». Благодаря ему прошлое включалось в роман «без отсекования само собой вступающей современности», очевидцем которой он стал под конец жизни. Такое построение романа, самым сюжетом прочерчивающего нерасторжимую связь времен, истории и современности, имело для Ольги Форш не формально-композиционный, а содержательно-мировоззренческий смысл, подобно тому как происходит это ныне в предвосхищенной ею сложной романной структуре некоторых исторических — и не одних исторических — повествований, сцепляющих в своем образном строе не только десятилетия, но даже века.

Ведя повествование, вглядываясь из сегодня в далекую пору молодости, Сергей Русанин не скрывает былых «чувств монархиста и дворянина», в полной мере разделявшего сословную мораль охранителей. Тем неотступней терзает его вопрос: «...что, если окажется прав Михаил, отдав без оглядки свою свободу, свой светлый разум за это дело, и новая жизнь, как уже во многом сейчас примечаю, выйдет окончательно справедливее прежней? В таком случае, кто же тот Иуда, который погубил Михаила не только как соперника личного, а как борца за эту вот свободнейшую и лучшую жизнь?». Именуя себя Иудой, он и сейчас не перестает считать давнего друга-врага «жестоким», «злым фанатиком», но, признавая его нравственное превосходство над собой, не может отрешиться от смятенной мысли, что за ним была и правда истории.

Нравственный аспект темы имел, таким образом, для Ольги Форш не отвлеченно морализаторский, но актуальный идеологический смысл, усиленный той внутренней полемикой, которая рассредоточена в идеях и образах романа. Не случайно поэтому одной из кульминаций действия стала у нее сцена спора Михаила Бейдемана с Достоевским, в ходе которого иллюзорным поискам примирения с действительностью, компромиссного выхода из ее



драм противопоставлена непреклонная воля к социально-активному действию в истории и даже «добровольная смерть за свободу» как единственно возможный выбор в борьбе «против зла и насилия жизни».

Не случайно и то, что оппонентом Михаилу Бейдеману избран не кто иной, как Достоевский, категорично высказавший в «Дневнике писателя» сомнение в нравственности революционной борьбы. Спором Михаила Бейдемана с Достоевским Ольга Форш включала свое повествование в широкое русло революционно-демократических традиций русской литературы, опозитизировавшей героиню борьбы с самодержавием, притягательную силу ее социальных и незамутненную чистоту нравственных идеалов. «Моя честь — честь человека, а не офицера» — так определяет Михаил Бейдеман один из принципов революционной морали, несовместимой с охранительским культом морали сословной. В конечном счете и Достоевский испытывает на себе неотразимое обаяние этой твердой, непреклонной силы, исходящей от собеседника. И, словно благословляя его на иной, подвижнический путь, по которому не пойдет сам, провожает гостя — многозначительная художественная деталь! — со свечой в руке. Бросая «дрожащий свет на ближайшие части стен», свеча бессильна «разогнать ночные тени, сгущенные в многочисленных нишах, закоулках и пересечениях главного коридора». Но робкого ее пламени достаточно для того, чтобы ярче высветить фигуру революционера, чья новая мораль, принятая Русаниным за фанатизм, покоится на преданности освободительной идее.

Есть в романе еще один адрес полемики, связанный с первым, но в отличие от него не обозначенный в тексте, а только угадываемый в общей атмосфере повествования. Однако при соотнесении идей и образов романа с мировоззрением писательницы определенность его также не вызывает сомнений.

По мере того как в советской литературе первых послеоктябрьских лет углублялся историзм художественной мысли, открывавшей в преемственности революционных традиций прошлого и настоящего движущий стимул исторического прогресса, ее принципиальное новаторство все более резко противостояло традиционализму идеалистических воззрений. Одним из крайних выражений их была теософская и антропософская концепция Андрея Белого, образно воплощенная в романе «Петербург». Ольга Форш и Андрей Белый — большая и сложная тема самостоятельного исследования, которое, не довольствуясь обнаружением отдельных точек соприкосновения двух творческих миров, может выявить целостную систему притяжений и отталкиваний.

Вынашивая свою концепцию истории, Ольга Форш не могла пройти мимо «Петербурга», не определить собственного отношения



к его философской основе. Закономерно поэтому, что работе над «Одеты камнем» непосредственно предшествовала статья «Пропетый гербарий», написанная в 1921 году.<sup>1</sup> В ней нет прямого мировоззренческого спора, но предпосылки к нему заложены анализом образной структуры романа А. Белого. И что с того, если критические суждения о нем принадлежат воображаемому читателю, который «удивительное искусство автора воспринимает... почему-то как *искусственность*»? Не он формулирует свои доводы — их находит и подсказывает автор статьи. Принципиально чуждая нигилизму в отношении к художественным ценностям, Ольга Форш не подвергает сомнению талант А. Белого, не «побивает» его Л. Толстым, хотя ностальгическая тоска по толстовскому реализму, обогатившему читателя «на сотню чужих психологий», в статье вычитывается. Отсюда и заглавный ключ-образ, уподобляющий «Петербург» пропетому гербарию, где «слова инструментированы так, что по ним, как по нотам, можно писать партитуры; рисунком, прочерченным чуть тверже, как это бывает в сухом растении, обнаружена тончайшая новая графика, незримая в живом организме. Так наблюдаем на бабочке при утрате важнейшей пыльцы ее крыл». От бабочки в гербарии, где она не живое существо, а высушенный экспонат, протянута ассоциативная нить к автору романа, который, как «какой-то новый Гомункулус», тоже заключен «в реторту, играющую ослепительной радугой; сквозь новую ее семицветность по-новому преломляются вещи. Но условие видеть по-новому — попасть за стекло».

Но разве стекло, через которое художник, а вслед за ним и читатель воспринимают мир, не смещает его реальные очертания, не искажает зримые контуры лиц и предметов? Не спеша с однозначным ответом на этот вопрос, Ольга Форш стремится изнутри раскрыть замысел романиста, проследить движение ведущей идеи повествования. «Гротески, карикатурирующие великолепие «Медного всадника», не вызывают ее одобрения. Маску вместо характера видит она в Николае Аблеухове, который «не обнаруживает ни черточки лица человека. И как обнаружить ему принадлежность к тому, чего в нем нет вовсе?». Настораживает и настроенность романиста «под режиссуру Достоевского» — прием, с которым он «нигде не становится первым у источника, не дает совсем нового звука, а берет первозвук Достоевского слегка ироническим эхом». Но и то, и другое, и третье можно объяснить сверхзадачей, которую ставил себе А. Белый, создавая «картину интеллигентской болезни предпоследних дней нашей истории». Этой болезнью, разъясняет

---

<sup>1</sup> Форш О. Пропетый гербарий. — В кн.: Современная литература. Сб. статей. Л., 1925.



Ольга Форш, «переболела... та часть русской интеллигенции, которая через так называемое декадентство устремилась к псевдосимволизму, поняв его внешне, а не как перестройку всей жизни».

*Переболела*, то есть изжила в себе, оставила в том прошлом, которому и принадлежит роман А. Белого, угадавшего «верный момент для подведения итогов двухвековому историческому существу «Петербурга» перед возникновением в нем, с новым именем «Петроград», новых центров влияния». Мир «отжившего исторического существа» — Петербурга сдан таким образом в летопись. Мир Петрограда ждет о себе нового слова, которое пока не сказано, — объективный вывод, логически вытекающий из статьи. В ней отсутствуют прямые суждения о том, каким должно быть такое слово, но есть понимание, каким оно не должно быть. Иронизируя над представлениями формальной школы о литературе как исключительно «явлении стиля», Ольга Форш горячо ратует за литературу, которой предъявляются «права диктатур» сердца и мысли. Своего рода предощущением ее и воспринимаются раздумья писательницы о «Петербурге».

Словно перебрасывая мост к роману «Одеты камнем», Ольга Форш высказывает свое принципиальное несогласие с решением темы «подполья», получившей у А. Белого искривленное, уродливо-карикатурное изображение: «...весь драматизм героя превращен в арлекинаду, оскорбленная романтика героини — в манекенность кукольного театра»<sup>1</sup>. Мимоходом оброненная в статье, эта мысль обрела образное продолжение, художественное развитие в «Одеты камнем», где мистически хаотичная, по А. Белому, история предстала в динамике направляющих закономерностей целеустремленного движения, а идея революции, отмежеванная от разрушительного террора, обнаружила свою созидательную энергию. Так в нерушимой связи времен, поколений, традиций открылась духовная родословная революции, постижение которой, начатое Ольгой Форш, стало главным идейно-художественным обретением советского исторического романа 20—30-х годов.

Главным, но не единственным, не всеисчерпывающим. Это подтверждает второй исторический роман Ольги Форш — «Современники», в котором она напрямую выходит к теме, пунктирно прочерченной в «Одеты камнем», — теме искусства, творчества, их места и роли в духовной жизни общества. Николай Гоголь и Александр Иванов выведены здесь главными героями, и их солирующими голосами создается идейно-нравственная полифония повествования, придающая ему характер диалогического спора, в накале которого исподволь нарастает «ответ на остро стоящий

---

<sup>1</sup> Форш О. Пропетый гербарий, с. 31—36, 44, 46, 47.



вопрос: может ли искусство жить оторванным от современности и чем тогда ему питаться?». Так формулировала Ольга Форш изначальный замысел романа, значительно укрупнившийся в процессе воплощения, обретший в окончательном результате многомерные художественные решения. Собственно ответ на исходный вопрос, волновавший писательницу, достаточно определенно следует из страстного монолога Иванова, который при всем бессилии «объяснить себя» находит выстраданные своей отшельнической жизнью вдохновенные слова об истинном призвании таланта: «...среди войн, грязи и мрака — сохранить и провести во всей силе образ и лицо человека. Одному художнику ответить на каждое время, на каждый период истории — новым высочайшим выражением духа своего времени! В идеальнейшем виде его. На высоте уровня своего века должен стоять художник, и способ выражения его — *мастерство*». Но какой ценой оплачивается такое мастерство по нравственному счету, в чем истоки его жизнестойкости — вот мотив, движущий романский сюжет. В ключе его путь Гоголя к «Выбранным местам из переписки с друзьями» и сожжению второго тома «Мертвых душ» осмыслен как трагедия самоотречения писателя, изменившего своему дару под тяжким бременем раздирающих его сомнений в возможностях таланта, в преобразующей силе творчества. Сожжение книги становится самосожжением личности, не вынесшей своего надлома, раздвоения. Религиозная идея, овладевшая смятенным сознанием, увела в «собственный холод и черствость души, никаким светом уже не согретье», но не заглушила тоски по теплу. И нечем утолить ее...

Истинен ли такой Гоголь, правдив ли его образ? Внимательный читатель наверняка заметит, что «Выбранными местами...» он никак не исчерпывается: немало сказано в романе и о «Портрете», и о «Ревизоре», и о «Мертвых душах». Тем драматичнее представлено отречение от собственных шедевров, когда идеи «Выбранных мест...» знаменуют мировоззренческий слом, духовный кризис. Выдвижение же этого мотива как ведущего диктовалось писательским замыслом, воплощение которого потребовало сложной композиционной структуры повествования, найденной так же новаторски, как и в «Одеты камнем».

Не роман-биографию, не роман-жизнеописание, охватывающий судьбу героя на большом временном протяжении, создавала Ольга Форш. «Современники» — явление иной повествовательной природы. Отказавшись в «римских» главах романа — а их двенадцать из пятнадцати! — от последовательно хронологической выстроенности сюжета, писательница предельно уплотняет, сгущает действие, концентрирует его в границах второй половины 1847 — начала 1848 года. Небольшой, но необычайно насыщенный период



вобрал в себя и ряд событий, происходивших в другое время — раньше или позже непосредственного действия, развернутого в романе. Это коснулось как периферийных эпизодов, так и основного сюжетного стержня — идейной и творческой эволюции Александра Иванова, убыстренной в романе, его расхождений с Гоголем, которые в действительности не были столь крутыми, резкими и произошли позднее. Прием, не допустимый в документальном повествовании хроникального типа, но оправданный, правомерный в романе, образный строй которого предоставляет широкий, хотя и не безграничный простор художественному домыслу, творческому воображению. Но и они имеют предел, чутко угаданный писательницей. Смещения фактов и событий, на которые она шла намеренно, заботясь о большей динамике сюжета, не могли предприниматься до бесконечности. Принцип отбора диктовал жесткие условия, и, приняв их, Ольга Форш в соответствии с замыслом сосредоточила свое аналитическое внимание на трагедии Гоголя, «пик» которой как раз и приходится на римский период «Выбранных мест...» и «Авторской исповеди». Что же до болезни Гоголя, то она документально удостоверенный факт биографии, от которого не уйти. В романе он получил убедительное психологическое обоснование, которое исторично по существу. Как ни мимоходом упомянуто в «Современниках» знаменитое письмо Белинского Гоголю, оно незримо присутствует в действии, служит идейным ориентиром в раскрытии трагедии писателя, что также говорит в пользу историзма, опиравшегося на революционно-демократическую традицию.

Свой путь поиска «душевной гармонии», которая нужна, «как воздух для дыхания», и свой путь трагедии проходит в романе Александр Иванов. «Мучительная творческая работа» совершается в нем, обрекая на «жизнь аскета», годами прикованного к холсту, как Прометей к скале. И Прометеевой силе сродни одержимость искусством, самозабвение в творчестве, убежденность, что в силах таланта доказать «миру, что может художник русский!». Оттого так твердеют «необыкновенно мягкие, растрепанные, славянские черты его лица», едва жизнь ставит перед необходимостью защищать искусство от покушения на свободу художника, от ущемлений творческого дара: «Безгранично свободен должен быть художник, безгранично. В великой свободе — великое творчество». Не от ярма надменной аристократки, «заодно с чиновниками петербургскими», этими «мертвыми душами», склоняющей размельчиться «за деньги ради подделки под пошлый вкус публики», ограждает себя Иванов, но дерзкий бросает вызов чугунной фигуре российского самодержца, что и на римских улицах «был как бы собственный памятник, сошедший с пьедестала». Совсем немного места отдано «высочай-



шему приезду» Николая I в Рим, но штрихи и детали, найденные писательницей, столь рельефны, что передают леденящее дыхание крепостнической России, которая платит художнику непониманием и непризнанием, унижительной опекой и злобной травлей. Так личные драмы судьбы несут ответ социальных драм эпохи.

«Запертая дверь студии не помешала, мысль века прошла сквозь замок, страдания побитых разбудили его»<sup>1</sup> — писал о художнике Герцен. Войдя в роман «Современники» олицетворением России революционной, он довершает «разрушение всего бывшего уклада», в тисках которого бился Иванов, силясь соединить «искание религиозное и живописное» и мучась невозможностью их примирения. «До глубины потрясенный, Иванов убегал от Герцена, запирался в своей мастерской. Часы ходил взад и вперед крошечными шажками и, уже не защищаясь, не боясь страдания, додумывал до конца все те мысли, одно зарождение которых так когда-то гневило Гоголя». Сама жизнь разводит их в разные стороны. Гоголь бежит от нее «молиться ко гробу господню», Иванов отважно идет навстречу бурям. «Да, я видел впервые *волю народа*, и, представь себе, я понял, как вдруг может меняться весь пункт зрения. Истинно, художник постигает историю не по книгам, а едва лишь увидит ее своими глазами. Только от глаз возникают в нем выводы», — восклицает он, потрясенный размахом революционных событий в Италии. И, сбрасывая с себя прежнее «упоение красотой православия», задумывает новую картину, которая видится грандиозным Храмом всего человечества. Надломленный жизнью, гонимый по возвращении на родину, художник не успеет воздвигнуть свой Храм, но замысел этот осветит его последние годы.

На равных правах с Гоголем, Ивановым, Герценом в «Современниках» действует вымышленный Багрецов, соглядатай и искуситель чужих судеб и драм, «инфернальный романтик», скупаемый «капризной жаждой власти». Нужен ли роману этот демон, обернувшийся мелким бесом? Не слишком ли по-книжному романтичны мотивы преступления, роковых любовей и смертей, в ореоле которых он выступает на протяжении всего действия — от бездумно растроченной юности до финального самоубийства? Порой и впрямь кажется, что чувство художественной меры изменило писательнице. Однако, досадуя на обилие самоочевидных стереотипов, низводящих сальеризм Багрецова до бытового фарса, нельзя не признать их преднамеренности, вносящей в повествование пародийный сюжет жизни-игры, бутафорская легковесность которой по закону контраста противостоит истинному драматизму

---

<sup>1</sup> Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 13, М., 1958, с. 326.



духовного поиска. И подлинному трагизму судьбы таланта, о котором Ольга Форш размышляла в статье «Художник-мудрец» (1928), посвятив ее памяти П. П. Чистякова, своего учителя и наставника по мастерской живописи, выведенного в «Современниках» одним из эпизодических персонажей: «Если в судьбе братьев-писателей лежит «роковое», то и право наших лучших художников на высшее художественное развитие — немалый мартиролог...».

Первые исторические романы Ольги Форш — тот ствол, от которого ответвляются все новые ветви. Тема человека в истории и истории в человеке, взятая в двух руслах — революционной борьбы и исканий в искусстве, продолжена в трилогии «Радищев», где революционер, мыслитель, писатель сливаются воедино в многогранном образе заглавного героя. Опробывая разные художественные решения, Ольга Форш и здесь не повторяет найденного прежде. Трилогия строится как панорамное эпическое полотно, равно вместительное и для важнейших событий последней трети XVIII века, включая потрясшую социальные устои крепостнического строя крестьянскую войну под водительством Пугачева, и для истории характера, духовного становления, идейного развития передовой личности эпохи — первого дворянского революционера, чей «якобинский заквас» отзывается строками «пагубной книги», где «великое сочувствие к бедствиям народа переходит уже в потребность действовать ему в защиту».

От трилогии «Радищев» тянется ветвь к романам «Михайловский замок» (1945—1946) и «Первенцы свободы» (1950—1953). И дело тут не в том лишь, что временем действия они охватывают последовательные этапы русской истории. Единство ряда сцементировано преемственностью передовой общественной мысли, высокие взлеты которой выражают и творческая воля создателей в «Михайловском замке», и революционное деяние декабристов в «Первенцах свободы». Этим вызваны не только ассоциативные переключки идей и образов, но и созвучия тематических мотивов, на которые опирается художественная мысль, связующая один роман с другим, а историю с современностью.

Финальное действие «Михайловского замка» — убийство Павла и воцарение Александра I — отделено от выхода декабристов на Петровскую площадь четвертью века, но завязь грядущих событий уже угадывается и в духовной атмосфере эпохи, воссозданной в романе, и в направленности раздумий героев о своем времени, творческом призвании и гражданском долге перед лицом его неотступных проблем, и даже в поворотах человеческих судеб, прослеженных писательницей.

«Радость внезапного освобождения от четырехлетнего гнета и неуверенности в завтрашнем дне охватила город», возбужденно



переживающий, говоря пушкинской строкой, «дней Александровых прекрасное начало». Но на них уже легла мрачная тень Аракчеева, который, как явствует из беглого упоминания, вызван в столицу из новгородской вотчины. «Но что за безумие питать надежду о преобразовании деспотизма в разумную власть рукой самого деспота!» — горестно недоумевает Василий Баженов. Сказано о Павле, с которым он прекраснодушно «соединил в молодости мечту о счастье... родины», пожертвовал «этой мечте наибольшим, чем обладал» — даром зодчего. Однако в полной мере относится и к Александру, желавшему, «как всегда, не истины, а только покоя». Истина же, от которой бежит молодой император, как бежал его безумный отец, — это и невольничий рынок у Синего моста на Мойке, где кишмя кишит «взаправдашняя» жизнь с ее всероссийским позором — жестокой куплей-продажей крепостных людей, и трагедии подневольных народных талантов, приближенные колоритными фигурами архитектора Павла Аргунова, изобретателя-умельца Ивана Артамонова, литейных дел мастера Хайлова (ему обязан Фальконе спасением отливки Медного всадника), балерины Маши Яхонтовой, и драма едва не загубленной любви к ней, которую переживает в романе Митя Сверлин. «Пока людей возможно продавать, как скотов, пока можно отнять невесту, потому что нет денег для ее выкупа на волю, я душу мою положу, чтобы с этим бороться. Не знаю как, не знаю где, но я путь найду», — даже от дара художника готов он отречься во имя этого высшего предназначения гражданина. «Страстное возмущение рабством, которым была полна неистовая книга Радищева, хранившаяся у него как святыня, стало постоянным его состоянием». И в этом тоже истина жизни, правда эпохи, которые вызывают в благородной, совестливой, впечатлительной душе «бурю негодующих чувств и гневных мыслей об ужасе крепостничества».

Ольга Форш и на этот раз создает единый ансамбль действующих лиц, где одинаковое право голоса получают герои, как имевшие жизненных прототипов, так и рожденные писательским воображением. Вымышленный образ художника Мити Сверлина — сначала ближайшего сподручного молодого Карла Росси, затем участника последнего суворовского похода в Европу, очевидца героической альпийской эпопеи — так мастерски соткан из множества достоверных социальных, психологических, бытовых деталей, окружен такими исторически конкретными приметами времени и среды, что воспринимается с не меньшей достоверностью, чем исторически реальный Андрей Воронихин. Ему, старшему другу, бескорыстному советчику и наставнику, умудренному знанием жизни и людей, которое выстрадано собственным опытом вчерашнего крепостного, принадлежат слова о том, что «все-таки



истинным призванием Мити, к счастью, является не искусство. Трагедия неравенства людей, вызванная самым их рождением, слишком его потрясла. Если бы вместо России он был во Франции в те незабвенные годы провозглашения прав человека, я уверен, он там оказался бы не последним». Но, как становится ясно в финале романа, и на родине его ждет настоящее дело. Мы, читатели, догадываемся об этом, когда узнаем, что, лишенный после ранения на войне возможности творить, Митя Сверлин уезжает из Петербурга в Каменку — киевское имение Давыдовых, которое спустя несколько лет станет одним из центров декабристского движения. Что это, как не мост, который Ольга Форш намеренно перебрасывает к последующему роману, хотя среди его невыдуманных героев мы не встретим уже ни Митю Сверлина, ни других персонажей «Михайловского замка»?

Такого рода мосты выстраиваются не одним сюжетом. «Это нужно для каждой работы: восторг зарождения — только искра. Эту искру еще надлежит раздуть в пламя», — размышляет Воронихин, напряженно доискиваясь глубинного смысла жизни. И на прямой вопрос Карла Росси: «Как раздуть искру в пламя?» — отвечает без промедления, как человек, истово убежденный в заветном и сокровенном: «Твердой волей, ...столь углубленной в свое дело, что, как зажженный во тьме маяк, она приведет тебя к цели среди жизненных бурь. Едва ты возьмешься за большую работу, как на деле проверишь мои слова. Только полюбить свое дело надо больше себя...». Разве не декабристская лексика вторгается в его речь, предвосхищая поэтические символы искры и пламени, в которых — недолго час — найдут свое образное воплощение вольномыслие и свободолюбие передовой России, «души прекрасные порывы» и «дум высокое стремленье» ее лучших сынов? И это не опережение времени, допущенное писательницей, но подтекстовое утверждение все той же нерасторжимой связи поколений и традиций, которая, выпрямляясь как туго закрученная спираль, направляет движение народной истории. Ничто в ней не возникает из ничего: духовный прогресс народа, нации равно вбирает в себя и искания общественной мысли, и творческие свершения в искусстве. Оттого и самоутверждение таланта, его нестесненный взлет к свободному проявлению своих сил и возможностей изначально сродни гражданским устремлениям личности, возвысившей, подобно Радищеву, голос протеста против бесправия.

Этому протесту созвучна печаль Баженова, его «ни с чем не сравнимая боль творца, имеющего талант и силу довести свой труд до конца и грубо лишенного любимой работы». Лишь мысленно может он засмотреться «на собственный гениальный размах» — вечные памятники «родине и себе», которые хотел и мог



воздвигнуть. Но тяжкий рок, преследующий по пятам, неотвратимо возникающий на пути каждого нового замысла, носит персонифицированные черты всероссийской самодержицы, вошедшей в судьбу зодчего «злой колдуньей из сказок». Велением Екатерины II прекращено строительство Большого Кремлевского дворца, снесен дворец в Царицыне — «вместо великих осуществленных зданий» оставлены одни проекты. «Горькое одиночество гения среди чиновников и врагов» приносит Баженову старость. И не справиться бы ему с этой «горестной судьбой гениального зодчего», чьи «замыслы остались лишь в чертежах и обломках», не выстоять под ударами «многострадальной и доблестной жизни», если бы он «не перевел уже свою лучшую силу творца в область совершенного бескорыстия, не превратил ее в источник вдохновения грядущих за ним». Веря в свое избранничество, Баженов проникает мыслью в даль времени, когда «русское зодчество не обойдется без того, чтобы при всех великих работах не вызывать в памяти» и те невозведенные шедевры, которые «по важности своей, по высоте архитектурного знания стоят превыше многих построенных» и потому также достойны благодарного признания потомков — «ради себя самих, ради искусства, ради истории отечественной»...

Афористично и образно выражение этой мысли Баженова в его же словах о том, что «в искусстве, как в науке, пламенный факел вдохновения передается преемственно». Не этот ли символический факел каждый по-своему возносят в романе Воронихин и Росси? Первый исповедует неистребимую веру «в лучшие грядущие времена» и не просто зовет «ковать из себя достойного этого времени человека», но оставляет впечатляющий урок нравственного самовоспитания духовно гармоничной, возвышенно благородной личности, способной нести «в наш сумрачный день и прозрачность, и воздух, и радость». Такой всепроникающий животворный свет излучают стройные и легкие крылья колоннад Казанского собора — его монументального детища, уже живущего в чертежах и акварелях. Грандиозны замыслы молодого Росси, хотя пока что существуют лишь в мечте «на чем-то громадном развернуть свой дар, которому, чувствовал он, уже пора найти достойное применение». Но «величайший протест против... горестной судьбы Баженова» побуждает его «со всей страстью нерастраченных юных сил и осознанного дарования» поклясться себе, что «добьется своего, оставит после себя не только проекты, но все задуманное выполнит». В лунную мягкую ночь, «полную ожиданий весны», бродит он до рассвета по великому городу, глубоко принимая в душу великолепие зданий, возведенных над Невой, и тех новых дворцов и домов, площадей и улиц, «которым, он уже знал наверняка, даст когда-нибудь жизнь и воплощение не чья-то иная — его творческая сила».



Так приходит в повествование ведущий поэтический мотив рукотворной красоты города, созданной мастерством зодчих. «В минуту душевного упадка они просто спасали. Выхватывали по волшебству из тяжелой действительности и, как на ковре-самолете, вмиг переносили в область навеки незыблемого и прекрасного». С освобождающей — точно найденное слово! — душу отрадой вглядываются герои романа в гранитные набережные Невы, Мраморный дворец, решетку Летнего сада, в бессмертного всадника на вздыбленном скакуне, который «откуда-то из недр, вихрем взлетел на самую вершину скалы». И пусть ненадолго, но отступает, исчезает «из памяти лживое придворное общество Павловска», потухают «обида, нанесенные безумным царем», который одержим маниакальным стремлением «ограничить людей, от фельдмаршала до рядового, столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли». Приобщение к прекрасному — таким понятием можно, пожалуй, определить смысл и пафос этого мотива, побуждающего нас к мысленному продолжению повествования. «Так бы воспеть ее поэту», — роняет, например, Карл Росси, любуясь Адмиралтейской иглой, пронзившей голубую высь неба. Тем острее разделяем мы его волнение, что в отличие от героя романа, которому неведомо еще имя Пушкина, знаем вдохновенные строки «Медного всадника». Подобным образом и Казанский собор, и Александринский театр с упирающейся в него аркадой улицы существуют для нас, не в пример Воронихину и Росси, не в их мечтах и проектах, чертежах и рисунках, а во всей зримой реальности архитектурного облика Петербурга. Но рядом с этим пушкинским Петербургом встает и Петербург Достоевского, знающий «оборотную, мрачную сторону восхищающей чувство красоты», за которую, говорит в романе Аргунов, заплачено дорогой ценой — «кровью да потом народными». Эта цепная реакция исторической памяти непрерывна, и в эмоциональном возбуждении ее видится одно из неоспоримых достоинств романа «Михайловский замок».

Предпоследний роман Ольги Форш задумывался поначалу как первая часть трилогии о великих людях русского искусства, оставивших свой незарастающий след в истории Петербурга. Трилогия не сложилась, последующие ее части не были написаны. Но это не привело к обрывам сквозных идейно-образных и сюжетно-тематических мотивов писательского творчества, не нарушило его редкостной цельности и внутренней завершенности...

Отвечая однажды на вопрос, как она пишет, Ольга Форш призналась: «Прежде всего я пишу потому, что не писать не могу.



Это необходимость»<sup>1</sup>. Та же мысль прозвучала вскоре в переписке с Горьким: «Художником слова... обречен быть только тот, кто, хоть в ступе его толки, не быть им не может». И еще раз вернулась к ней Ольга Форш в статье «В порядке мечты» (1934), призвав «пить пусть из собственной пригоршни, но никак из чужого ковша». Наличностью «своих глаз и слов, своих встреч с людьми и миром... собственной пригоршни вместо чужих ковшей» и поверяла она писательскую «принадлежность к художественному слову».

О значении ее «пригоршни» в истории советской литературы весомо и авторитетно сказано М. Горьким, К. Фединым, Н. Тихоновым. Но лучшее определение ей дала, пожалуй, сама писательница, найдя образное выражение своей формуле: «...века — в нас». Художница по образованию и первой своей профессии, она нередко получала эмоциональный заряд к работе над рассказом или романом от яркого зрительного впечатления, из которого возникал живописный образ. Так годичные кольца на срезе огромного пня с пересекающим их длинным «сердцевинным» лучом навели на мысль: «Современниками» обычно называют людей одного времени, объединенных вот этими концентрическими — годичными — кругами быта... Ну, а если расположить современников только по длинному сердцевинному лучу, который от центра, пересекая все годичные круги, упирается в круг последний — круг сегодняшнего дня? Не произойдет ли перекличка в веках с нашим сегодняшним днем истории по признакам, более важным, чем безразборное сосуществование в одних и тех же годах?»<sup>2</sup>

Оглядывая все созданное Ольгой Форш, мысленно представляешь себе и эти кольца на древе истории и этот луч, устремленный в нашу современность, вытисненными на обложке каждой книги...

В. ОСКОЦКИЙ

---

<sup>1</sup> Как мы пишем. Л., 1930, с. 182.

<sup>2</sup> Там же, с. 184.



# **ОДЕТЫ КАМНЕМ**

РОМАН



Иллюстрации  
Л. Хижинского





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Одет камнем при императрице  
Екатерине II».

*Надпись на Трубецком бастионе*

### Глава I

#### БЫВШИЙ ЧЕЛОВЕК

Двенадцатого марта 1923 года, в день, когда мне, Сергею Русанину, стукнуло восемьдесят три года, произошло нечто, добившее в корне мои чувства монархиста и дворянина. Одновременно с этим пал последний запрет с моих уст предать гласности то, что хранил я в безмолвии всю жизнь. Но об этом потом...

Я родился в сороковом году, пережил четырех императоров и четыре крупных войны; из них последняя — беспримернейшая и мировая. Я служил в кавалерии, отличался на Кавказе и пошел было в гору, но в восемьдесят седьмом году одно событие меня выбило из седла, так сказать, без возврата в первобытное состояние. Я вышел в отставку и зарылся отшельником в своем имении, пока в революцию его не сожгли. Наше Угорье — Н-ской губернии, рядом с бывшим имением Лагутина.



Вместе дедушки покупали, вместе бабушки обсуждали, что, дескать, подрастут: у одних внук, у других внучка и, соединившись узами Гименей, естественно, сольют воедино угоды. В таком расчете и в соответствии с планом местности и покупали дальнейшие десятины.

Да, вместе росли, играли, учились я и Вера Лагутина. В семнадцать лет соловья слушали и кое в чем обещались навеки. И вышло бы все так, как тогда выходило, по родительскому предрешению с отвечающим расположением взаимности, если бы не собственная моя дурость. Сам себе яму вырыл.

Привез я на последние каникулы своего товарища Михаила. В пятьдесят девятом году поступил он к нам из киевского Владимирского кадетского корпуса прямо на третий курс, а мы все — из столичных кадет, косились на провинцию. Да и нелюдимый он был такой, все читает. Из себя же весьма пригож, вроде итальянца: глаза горят, а брови союзные. Родом он был из Бессарабии; по отцу не то румын, не то молдаванин.

Про наружность Михаила в архивных о нем изысканиях нет ни слова, да и не мудрено. В тюрьме запечатлевают того, кому хоть когда-нибудь суждено быть на свободе, на случай, если он опять в чем-нибудь попадетсЯ. У Михаила же судьба иная: о нем, на протяжении двадцати лет, каждое первое число месяца шел государю доклад: там-то сидит такой-то...

И каждый раз государю благоугодно было подтвердить собственный приказ от шестьдесят первого года, второго ноября, об оставлении Михаила в одиночном заключении впредь до особого распоряжения.

Типографии эти последние слова надлежит всегда брать в разрядку, чтобы хоть своим внешним видом, отличным от однородного шрифта страниц, одернуть равнодушного читателя, преданного одним собственным радостям и страданиям.

Внимание, читатель, внимание! Особого распоряжения не последовало ни-ко-гда!

Заключенный без суда и без следствия, по одному собственному оговору, прекраснейший юноша свои юные и зрелые годы до самой смерти провел в одиночестве в Алексеевском равелине.



Последующему царю Александру III директором департамента полиции Плеве был представлен все тот же доклад, и записано высочайшее повеление: если узник пожелает, выпустить его и свезти в далекие малолюдные места Сибири на жительство.

Правдоподобно допустить, что, при общей системе жестокого лицемерия, начальник тюрьмы представил эту резолюцию давно безумному человеку, забывшему даже собственное имя. И в ответ на торжественно прочтенную бумагу, вызывая хохот сторожей, Михаил, должно быть, нырнул под койку и плотно забился к стене, как проделывал он позднее в сумасшедшем доме в Казани, когда входил в одиночку к нему человек.

Не проделал он этого только при последней встрече со мной, и лишь потому, вероятно, что прыгнуть с койки у него уже не было сил. Ведь это был его последний, смертный час. Но ужас его раскрытых глаз при виде близко подошедших людей и смертная мука замученного, которому бы убежать от мучителей,— это все со мною с утра и до вечера, все часы моей жизни.

И как могло быть иначе? Ведь не кто иной, как я, истинный виновник этой беспримерной, превышающей силы человека, одинокой и ненужной гибели.

Иной читатель, прочтя мои записки, скажет, что состав моего преступления, так сказать, психологический и что строжайший суд меня бы оправдал. Но разве не известен читателю случай, когда иной даже совсем безответственный человек, оправданный единогласно присяжными, кончал с собой, засудив себя судом собственной совести?

Загадочность судьбы Михаила давно волновала исследователей. Один из них, желая раскрыть тайну этой русской Железной Маски, еще в 1905 году обращался в печати ко всем, прося дать хоть какие-нибудь сведения, проливающие свет на это дело. Я заболел нервным расстройством, но сведений не дал. Я еще не был готов. Я еще был не тот, что сейчас. Я не мог сказать громко: предатель Михаила Бейдемана, заключенного без суда и следствия в Алексеевском равелине,— я, Сергей Русанин, его товарищ по Константиновскому училищу.



Совсем недавно собраны и оглашены подлинные архивные документы об особо важных, донныне таинственных узниках.

Иван Потапыч, мой хозяин из общежития, приносит книжку, другую. Принес и эти листки. Сам прочел и дал мне: вот, говорит, житие многострадальных людей; хоть и злоумышленники они, а без слез не прочесть.

Взял я, многократно прочел... О, как жестоки, как обличительны неподкупные события в кратких сведениях о Михаиле! Земля ушла из-под ног. Некая громада рухнула, придавила. Так, верно, бывает, когда минер той самой миной, что им заложена, чтобы взорвать неприятеля, взрывается сам. Шестьдесят один год тому назад была заложена моя мина.

Да, конечно, не мне, старику, пережившему четыре царствования четырех императоров, было безнаказанно переживать революцию.

Зачем не погиб я с доблестью, как погибли товарищи, на поле бранном или по приговору Ревтрибунала как несокрушимый, но честный враг? Кем войду я в память потомства? Как назовут?

Но будь что будет: мой час пробил, и я все расскажу.

От производства шестьдесят первого года сейчас нас осталось два константиновца: я и Горецкий 2-й, генерал от инфантерии, кавалер Георгия высшей степени при золотом оружии. Ныне Горецкий 2-й с трудкнижкой — Савва Костров, гражданин города Велижа, надзиратель в театре за мужской уборной.

Наголодавшись, он доволен тихим местом, хвалится, что порядок навел образцовый, а чаевых столько, что хватает ему на халву. Человек, в свое время проевший два состояния, ныне, как маленький, рад фунту халвы.

В последнюю встречу я спросил его: «А помнишь ли, братец, атаку аула Гильхо?» Взбодрился, замахнулся, как саблей, старой шваброй, которой тер изразцовый пол своего учреждения. Подробно вел речь. Но вот генерала назвал он неверно. Не Войно-ранский, а сам он, Горецкий 2-й, в безумной вылазке взял этот аул.



Старик пропустил себя, забыл свое имя. Михаил Бейдеман в безумии звал себя—Шевич, запомнив случайную надпись на стене, а я... да неужто исполнится надо мной то предсказание в Париже?

Но это не к делу. Хотя, конечно, как говорят китайцы, предав гласности мои записки, я потеряю свое лицо.

Еще при жизни выпадет на долю иного человека умереть и будто жить снова. Вернее, какой-то оставшейся силой, объедками себя самого, таскать, пока оно не истлеет, свое изможденное тело.

Горецкий 2-й на коне, перед войском, сабля наотмашь,—так его печатали полвека назад,—и он же блюститель уборной.

Я дал ему на четверть фунта халвы, когда недавно, прощаясь, поцеловал его, единственного, который знает меня как Сергея Русанина.

Когда рукопись эта появится в свет и о том, кто был я в отношении к другу, узнает всякий, надо надеяться, я не буду в живых.

Вон оно предо мною—роковое мне изыскание о судьбе Михаила! В комиссию архивных работ пошлю и я свою лепту. В ней будет заключаться как раз то, чего узнать невозможно ни из каких источников, кроме одной моей погибшей души.

Я живу в большом доме, имеющем историческое прошлое. В зале его с лепным потолком бывали блестящие балы, а у меня—первые успехи в свете. Позднее, при переходе дома в частные руки, я там продувался на бильярде Горецкому, который без промаха резал шара и в среднюю лузу и в угол и знаменит был своими клопштоссами. Там же, в отдельных кабинетах, мы напивались до положения риз, и лакеи, завернув нас в николаевки, развозили под утро домой.

У меня кутежи эти были припадками от невыносимых страданий несчастной любви к Вере—о ней повесть ниже. Особенно бесшабашен был я в тот год, когда Михаил прямо из войск Гарибальди, едва вступив на границу Финляндии, пропал без вести и, как сейчас только стало известно, уже на веки вечные был замурован в каменный мешок рavelина.



Но вернемся к порядку дня, как сейчас говорят...

Ныне я помещаюсь на третьем дворе, в самом поднебесье этого многопамятного мне дома.

Меня взял жильцом-нянькой к внучатам Иван Потапыч, бывший лакей последнего владельца.

Ивану Потапычу всего шестьдесят лет, и он крепкий старик бобыль с двумя девчонками. Невестку с сыном унес тиф, дети сами пришли к дедушке, — куда же им еще?

Здесь, в доме, общежитие и столовая. Потапыч ходит мыть посуду, за что повар ему отпускает обед: супа — три порции, второго — две. Одной тарелкой с ломтем черного хлеба я сыт, пусть едят молодые. А к детям я привязан. В эти страшные годы только с ними забывался порой.

Ну, сейчас не до них; впрочем, и я им не нужен после того, как отвел их в школу. Со второго дня они пошли сами.

Потапыч день-деньской при посуде, говорит: «При нэпе все взбогатели, опять пачкают и мелкое и глубокое».

До сумерек в комнате никого. Когда я не на промысле, то можно писать. А промысел мой один — подавание. Я хожу вдоль Невского по теневой стороне, от Полицейского моста до Николаевского вокзала, норовлю на трамвае обратно. Беда с ногами, пухнут ноги-то!

Когда прошу, много знакомых лиц вижу; все тем же заняты. Они меня не знают, а я узнаю. Хотя сам я, как сказано, давно выбыл из строя, но, приезжая в столицу, новым ходом жизни интересовался. Показывали видных людей, называли...

Ну, а сами-то небось знают друг друга досконально. Но, хотя и с протянутой рукой, бывает, столкнутся, — а всё будто незнакомые. Так им легче.

Вот товарищ министра, да какого... продает газеты. Среди них — ныне модный «Безбожник». Ежели у покупателя вид неопасный, вроде прежнего, продавец не удержится, скажет: «Это вам стыдно, гражданин, покупать». А когда ему обратно: «А продавать вам не стыдно?» — вспыхнет, уйдет бородою в пальтишко, прошепчет: «Мне неволя!»

Однако зря я болтаю все. К делу. Затруднительно мне сейчас выражение мыслей плавное и в последова-



тельности. Все я с детворою, и у самого речи детские. Но предполагаю так: не стесняя естественности изложения, буду писать, как пишется, без отсекования само собой вступающей современности. Перед отправкою рукописи в «Архивные изыскания» сделаю выборку и приведу все в отменный порядок, имеющий в виду одну цель: по мере возможности воскресить многострадальную память друга.

Для экземпляра, предназначенного гласности, коплю белую линованную бумагу первейшего сорта, для чего удвоил свою прогулку по Невскому, предприняв ее по солнечной стороне. А в трамвае платном я себе отказал. Если кондукторша не везет Христа ради (а «подайте безработному товарищу», как ныне принято, я не прошу), то на ближайшей остановке слезаю и тихо бреду, как пес, в свою конуру.

Все сторублевки коплю я на бумагу, перо и чернила для чистового. Этот же черновик предпринимаю на обратной стороне страховых квитанций бывшего Центрального банка. Квитанции эти наши девочки в обилии натаскали из нижнего этажа...

Пойдем же, читатель, шаг за шагом за мной по скорбным следам Михаила, со дня нашей с ним первой встречи. И прежде всего к Обухову мосту, где стоит наше училище. Там были мы юнкерами, оттуда были выпущены в один и тот же Орденский полк.

Наше училище мало изменилось с тех пор. У него все тот же благородный фасад с александровской колоннадой; только проспект, на котором он стоит, переименован в Международный, как отражающий революционное время, и на самом училище значится красными буквами так: «1-я артшкола».

Но по-прежнему возглавляют окна первого этажа львы, держащие в зубах кольцо, а повыше — шлемы с перьями. Две пушки при входе — не наши, это после переименования училища в артиллерийское. В мое же время оно было пехотным, так что присвоены нам были винтовки, и ходили мы, держать внутренний караул во дворец, посещали балы в институтах, словом — были на положении гвардейских училищ. От этой близости к жизни двора, от чтения заграничных изданий, в частности проклятого «Колокола» господ Огарева и Герцена, — вся трагедия Михаила. Но о ней — в свое время...

На входных воротах училища и сейчас щиты со скрещенными секирами, а за каменным желтым



забором — тенистый сад. Белые легкие березки ныне разрослись в два обхвата.

Круто замешены люди нашего века: пережить то, что пережил я, а память не только свежа: все, что ни вызовешь, — оно тут как тут, перед тобою.

Я помню план нашего сада, всматриваюсь, узнаю: да, конечно, это они. Вот те два стройных клена среди лип, знак краткой дружбы с Михаилом. Помню, как мы прочли вместе Шиллера и в честь Позы и Карлоса, — а я, со своей стороны, подразумевая нас обоих, — посадили эти два деревца.

О, сколь знаменательны порой и чреватые содержанием иные выражения чувства!

Я зашатался, кружилась голова. Острой болью рвануло сердце. Опираясь на палку (спасибо внукам Потапыча, что приделали к ней резиновый наконечник, не скользит больше палка), я сел на тумбу против забора.

Афиши рябят перед глазами: «Общество друзей воздушного флота»... «Призыв к красной деревне красных инструкторов»... «Реформа старой церкви». И тут же, превыше всего, с разноцветными какими-то змеями: «Синтетический театр». От трапеции до трагедии покажет все один, как есть, Кобчиков...

И как это управится он один? Прыгает в бедной моей голове, и кажется мне, что я с ума сошел. Не вместить мне, не выдержать своих мыслей. Ведь рядом с тем, что кругом себя вижу, возникает еще с большей яркостью то, что сметено историей в могилу. Сметено, да не забыто!

Помню нашу первую встречу. Я достаивал штрафной под часами за опоздание на молитву, когда Петька Корский, пробежав мимо, крикнул:

— Из Киева к нам хохлов привезли, а с ними сам черт, ей-богу!

Новичков провели мимо меня в баню. Их было четверо. Трое, как говорится, без особых примет, но последний, высокий и тонкий, с черными бровями, был весьма приметен. Еще выделялся он тем, что ни в одном движении у него не было общей всем нам фрунтовой невыразительности.

Голова чуть закинута назад, шаг свободный, и на бледно-матовом лице, с резкою, как бы углем обведенною бровью, печаль и задумчивость. Мне он показался очень красив и понравился.



В тот же день вечером произошел наш первый, знаменательный разговор с Михаилом. Оказалось, что кровать его рядом с моей. После ужина и молитвы юнкера в дортуаре одни, и это было наше самое любимое время.

Хотя карты строго воспрещены, но, разумеется, у каждого под матрацем колода, и сейчас, пользуясь бесконтрольностью, дуются. Для отвода глаз на столе целая фортеция библиотечных книг, и по жребию выбранный читает вслух. На этот раз чтение было не только отводом глаз: вокруг выбранного густо сидели на скамьях и на столе, жадно слушая увлекательные главы «Князя Серебряного». Роман еще не вышел из печати и в редком рукописном экземпляре попал от приятеля автора к юнкерам.

— И охота жевать расписной пряник на розовой водице,— сказал досадливо Михаил, проходя к своей койке. Ни чтец, ни слушатели не обратили на эти слова внимания, но я их себе очень отметил.

Я слышал от тетушки моей, графини Кушиной, что недавно весь двор восхищался «Князем Серебряным», которого автор самолично читал на вечерних собраниях у императрицы. По окончании чтения императрица поднесла графу золотой брелок в форме книги. На одной стороне стояло: «Мария», на другой: «В память „Князя Серебряного“», и в образах муз портреты прекрасных фрейлин-слушательниц. Правда, князь Барятинский нашел роман этот пустым, но это, конечно, была лишь понятная зависть одного светского человека к светским успехам другого. Но Михаил ведь ни по рождению, ни по вкусам не стремился к придворной жизни. Какой же зуб он мог иметь против графа Алексея Константиновича Толстого?

Я лег в свою постель рядом с постелью Михаила, и, видя, что он еще не спит, я спросил его о значении брошенной им фразы. Он разъяснил охотно и без всякого высокомерия, как я ожидал:

— Видите ли, сам граф Толстой, как мне доподлинно известно через одного близкого ему друга, говорил, что, изображая обезумевшего от власти деспота, он часто бросал перо—не столько от мысли, что мог существовать такой Иоанн Грозный, сколько от мысли, что могло существовать общество, которое терпело его и ему покорялось. Но этого своего гражданского



чувства он в роман не перенес, а покрыл его сусальной позолотой. Вот на трилогию, которой он теперь занят, надеюсь я более.

— А я слышал, что эта трилогия — затея предерзостная и едва ли будет одобрена нашей цензурой.

— Очень возможно; в трилогии, хотя прикровенно и косвенно, но как-никак убивается самодержавие,— сказал Михаил.— Конечно, это в случае, если будет таково выполнение, каков проспект, поведенный графом в кружке приятелей. Опять Иоанн Грозный, в угоду своему тиранству, попирает все права человеческие. В лице царя Федора, лично высокого, развенчание царской власти как таковой. Борис Годунов — реформатор. Но борьба за власть убьет его волю и сведет с ума... Да, подобное произведение сейчас, накануне реформ, когда писатель-гражданин так желателен, можно приветствовать.

И с особой выразительностью он произнес:

— Ведь наверху раньше всех должны понять, что реформы и самодержавие несовместимы! Начав делать реформы, надлежит отказаться от самодержавия, которое есть злая ложь.

В окно смотрела луна прямо в лицо Михаила. С пламенными глазами и вдохновительной бледностью оно было и прекрасно и страшно.

— Я возмущен вашими словами,— сказал я,— и даже не позволю себе понимать их во всем их значении. Они меня оскорбляют.

— Вот как? Это мне любопытно! — И Михаил, приподнявшись на локте, с вниманием меня оглядел, как будто увидел впервые.

Это была его особенность. Он не различал людей, когда говорил. Так сильна была его собственная внутренняя жизнь, что, лишь встречая противодействие, он, как степной конь, наскочив на препятствие, взвивался на дыбы и сверкающим оком глядел, куда ему дальше ступить. Впрочем, у него было много природной мягкости и нежелания задеть лично.

— Отчего же вам оскорбительны мои мнения?

— Мои противоположны,— сказал я.— Моя тетушка, графиня Кушина, заменившая мне мать, воспитала меня не только в чувствах верноподданного, но и в религиозном обосновании этих чувств.

— У вашей тетушки бывают славянофилы? — прервал меня Михаил.



— Не они именно, но писатели, не чуждые им, бывают. Вот не хотите ли пойти со мной туда в первое воскресенье?

И сейчас не могу понять, как это я мог позвать Михаила. Впрочем, пугаясь бестактности, которая могла бы легко возникнуть по причине его дерзких суждений, я, спохватившись, тогда же сказал:

— Предупреждаю вас, моя тетушка против немедленного освобождения крестьян, так что для вас многое в ее гостиной может оказаться не по душе.

— Это нимало меня не смущает,— возразил Михаил.— Чтобы вернее разбить врагов, их надо видеть вблизи!

И, засмеявшись, он сверкнул мелкими белыми зубами.

В нем как-то не было переходов. Начиная с шага внезапного и резкого, все, до черных бровей на белом лице, до прыжков речи от угрожающей к детски доверчивой и простодушной, все обличало в нем, как теперь принято выражаться, глубокую неуравновешенность души. Но, быть может, как раз это его качество и притягивало меня, выросшего в дисциплине строжайшей, neodолимым очарованием. И как внезапно ввел я его в недра нашей семьи, так некий злой гений двух наших судеб толкнул меня не только познакомить его с отцом Веры—Лагутиным, но и рекомендовать его отменнейшим образом—причина, почему чуть ли не с первого знакомства Михаил получил приглашение приехать на каникулы в лагутинскую усадьбу.

## Глава II

### ТЕТУШКИН САЛОН

Библиотека моей тетушки, графини Кушиной, где велись воскресные разговоры, была комнатой, обличавшей пристрастие хозяйки к наукам оккультическим. В такой комнате мог бы проповедовать граф Сен-Жермен и начать свои успехи Калиостро.

Над бархатным угловым диваном шли в причудливых рамках картины, вскрывавшие, по свидетельству тетушки, символику девяти Дантовых адских кругов. Самого Данте тетушка относил к адептам того же



тайного ордена, к которому, по намекам, принадлежала и она с юных лет. И вот почему, указуя на противоположную стену, украшенную диаграммой ее собственноручной работы, а может быть, и измышления, тетушка любила сказать:

— Мое вдохновение совершенно подобно вдохновению Дантову, и ежели б этого он не признал, то, уж конечно, не стал бы давать мне знак утверждения, троекратно стуча ножкой столика.

В эту зиму сделалось модным верчение столов и общение с духами, чем, как известно, увлекались не одни поэтические головы, подобные Федору Ивановичу Тютчеву, а люди значительно посолидней.

Диаграмма тетушки, которую называла она: «Птолемеяева система применительно к государству Российскому», занимала всю стену и по первому взгляду казалась огромной мишенью, какие бывают в тирах летних садов,—развлечением для стрельбы в цель.

По лазурному атласному фону, долженствующему изображать небесную сферу, шел огромный белый круг, включающий в себя, с небольшими просветами, еще несколько концентрических кругов. Все круги были нашиты тетушкой на первоначальную сферу небесной лазури. Помнится мне, ярко-желтый круг, включенный в круг белый, достоинства божественного, обозначал самодержавие, а в дворянский, травянисто-зеленый, цвета надежды, включен был круг черный, круг труда землепашца. Все круги были отменно-го материала, обметаны чудесным, тамбурным швом и включены, как пасхальные яйца, друг в друга. Получалась приятная глазу и завлекающая воображение выразительность.

И, поясняя диаграмму своей маленькой ручкой в перстнях, говорила тетушка какому-нибудь стороннику немедленного освобождения крестьян:

— Как это ты, батенька, хочешь расстроить гармонию русской сферы? Едва один кружок выхватишь — ан все и отпорются. Тамбурная строчка на том и стоит, что петля в петлю вяжется: тут либо все сохрани, либо чуть тронь — пойдет прахом.

У тетушки в библиотеке бывал писатель Достоевский, или — как тогда звали его в нашем кругу — Достоевский. В то время первоклассным его никто не почитал, а переводя оценку литературную на более



мне обычную в военных чинах, не совру, ежели скажу, что ходил он, приблизительно, не более как в майорах. Григорович против него был полковником, а уж генералом — как тетушка раз навсегда решила — Иван Сергеевич Тургенев.

Soirées<sup>1</sup> тетушки распадалась обыкновенно на две части. Первая, так сказать, разговорная часть протекала в библиотеке, завершаясь легким чаем, вторая — был ужин в парадной столовой для связей сердечных и родственных.

В библиотеку вхожи были люди разного чина и звания, но к ужину оставались строго свои.

И библиотечные гости сами знали, что званы только на чай, после которого прощались с хозяйкой.

Взяв на свой страх появление Михаила, я дорогою просил его выражать свои мнения без резкости, а того предпочтительней хранить их про себя.

— Не беспокойся, — сказал он мне, — будущий деятель обязан учиться и наблюдению.

После этого разговора о «Князе Серебряном» мы на другой же день с Михаилом стали на «ты». Как будто по взаимному уговору, мы больше с ним в политические споры не вступали, безотчетно не желая расстраивать тех не подверженных человеческой воле симпатических нитей, которые, по неисповедимым наукой причинам, как в любви, так и в дружбе притягивают иной раз ни в чем не сходных между собой индивидуумов.

Не происходят ли такие пересечения с людьми по предназначению каждому данного гороскопа, чтобы совершились над каждым все ему присужденные в нашей грустной юдоли испытания? Из дальнейшего будет видно, что с нами обоими вышло именно так.

Мы вошли в библиотеку. Михаил с нарочитым почтением подошел к ручке тетушки, на что та в ответ благосклонно сказала ему, по своему обычаю обращаясь на «ты»:

— А, Сережин приятель! Что же, послушай нас, стариков, да на ус намотай. Аль не выросли?

Тетушка — в седых буклях, с яркими глазами — одевалась всегда в черный шелк, с воротником

---

<sup>1</sup> Вечера (фр.).



драгоценного кружева. А ручки ее были в перстнях с амулетными камнями. Постоянство избранного ею облика и чудачества выделяли тетушку из других дам ее круга, подверженных изменению моды, и придавали ей интересность загадки.

В библиотеке, кроме отца Веры, Эраста Петровича Лагутина, осанистого старика, сегодня были мне сплошь незнакомые новые люди: нарядные дамы, много военных и бледноликие «архивные» юноши. Последние еще Пушкиным остроумнейше аттестованы так: «Стоит их тронуть пальцем, дабы полилась из них всемирная ученость, ибо они всё знают, они всё читали».

Когда мы вошли, эти юноши друг за дружкой, как молодые борзые, еще не умеющие травить зайца, накидывались на невысокого средних лет человека, стоявшего спиной у окна. Он отвечал им с поразившим меня раздражением и совсем не в той манере, какая принята для светского разговора.

— Это Достоевский! — шепнула мне тетушка, зараз и с гордостью и с снисходительным извинением, как о человеке, не знающем обычаев нашего круга.

— Да, я написал это в статье и повторять не устану, надо веровать, что русская нация — необыкновенное явление всего человечества! — выкрикнул Достоевский.

На слова «всего человечества» он так сильно нажал, будто собирался навеки вдавить их в лоб слушателей. Я заметил — это многих покорило: всякая подчеркнутость для светских людей — признак дурного тона, а он словно весь был подчеркнут. Движения угловаты, голос глух и без основания выразителен. Словом, в нем не было и тени той одаряющей приятности, благодаря которой человек, на деле вам ничем не помогший, запоминается вами с благодарностью навсегда.

— Как это вы, сударь, сказали? Мы, русские, явление в истории человечества? — разъярился вдруг один почтенный, очень европейский старичок. — Как? И даже при условии, что в семье цивилизованных народов мы всего без года неделю, да и то под понукой дубинки Петровой?..



— À propos<sup>1</sup>, — прервал другой старичок, давнишний поклонник тетушки, как опытный светский рулевой торопясь перевести колючий разговор в спокойное русло, — à propos — кто помнит, господа, как недавно Погодин убил наповал одну славянофильскую музу, осуждавшую между строк как раз вот эту дубинку Петрову?

Архивные юноши пустились наперебой приводить цитату Погодина: «Хоть каша, замешанная Петром, и солона и крута», — начал один, а другой на лету словно блюдо выхватил: «...да по крайности есть что хлебать, есть чем быть».

Положение было спасено, и светский салон не утратил бы своего легкого, порхающего характера без углубления в тяжелые материи во вкусе учителей-бурсаков, если б не легкомыслие кузины.

— Почему именно русским вы отдаете такой преферанс перед англичанами и французами? — сказала она и наставила на Достоевского свой черепаховый лорнет.

Поначалу Достоевский ответил даме как бы шутя:

— Англичанин, сударыня, до сих пор не любит видеть никакой разумности во французе, и обратно — француз в англичанине. И тот и другой в целом мире замечают лишь себя самих, а всех других мыслят как себе личное препятствие...

Но уже через минуту Достоевский забыл и о барыне и о салоне. Отдаваясь потоку собственных заветных мыслей, он, как ураган, смял плотину всех светских обычаев. При этом, не соразмеряя силы своего голоса с комнатой, он пустился громить, как с трибуны.

— Таковы все европейцы. Идея общечеловечности все более стирается между ними. Вот причина, почему они совершенно не понимают русских и величайшую особенность характера нашего, способность всечеловечности, они называют безличием. Сейчас особенно, когда христианская связь, соединявшая народы, с каждым днем теряет свою силу, сейчас особенно необходима...

В эту минуту случилось необычайное для нравов салона.

---

<sup>1</sup> Кстати (фр.).



Михаил, не сводивший горячих глаз с говорившего, забыл все свои обещания и то, где он находится, шагнул вдруг на середину комнаты и, не владея собою, крикнул:

— Если прежняя связь, соединявшая народы Европы, слабеет, то это лишь признак того, что связь старую должна сменить новая — социализм!

Это был удар грома. Ахнули дамы, перешепнулись архивные юноши, тетушка грозно встала. Один лишь Достоевский, слегка побледнев, с интересом глянул на Михаила и сказал:

— Наш спор с вами длинный, зайдите ко мне как-нибудь...

Неизвестно, каков был бы финал этого фармазонского выступления Михаила, если бы не подоспела на помощь одна не относящаяся к делу случайность.

Лакей, подносящий тетушке чайный поднос, где был огромных размеров английский чайник кипятку, поскользнулся и должен был обварить Лагутина, сидевшего рядом, если бы не Михаил. Он стоял сзади и одним порывом заслонил собою старика. Весь чайник кипятку, таким образом, он получил на свою правую руку, которая немедленно стала багрово-алой.

Дамы разохались, тетушка принесла мазь и бинты и, властно засучив рукава Михаила, стала делать ему перевязку.

Здесь я должен оговорить одно как бы пустяковое, но для дальнейшего крайне важное обстоятельство: немного выше запястья у Михаила была черная родинка, по форме совершеннейший паук. Как пером, отмечены были на белой коже тонкие ножки. Паук этот — следствие испуга матушки Михаила, когда она им была в тягости.

Паука этого одна сердобольная девица, — как сейчас помню, — слегка пискнув, пыталась смахнуть кружевным платочком с руки Михаила, в ответ на что он превесело рассмеялся и рассказал происхождение диковины.

Гости изъявили сочувствие пострадавшему, шутили над пауком и девицей. Михаил отшучивался и просил тетушку помиловать лакея, его обварившего.

Так в светском обществе ничтожное обстоятельство меняет впечатление от всей личности. За минуту подозрительный и пренеприятный юноша стал вдруг всем мил и любезен.



— Молодой человек,— сказал Михаилу старик Лагутин, нюхая из табакерки с той вельможной жеманностью, как это умели делать одни лишь старинные люди,— вы спасли мне больше, чем жизнь. Вы спасли меня от ужаса быть ridicule<sup>1</sup>. Сегодня мне надлежит появиться на рауте в Михайловском дворце, а с лысиной, вздувшейся пузырем, я бы принужден был сидеть дома, обвязанный платком à la московская просвирня.

Достоевский откланялся и, проходя мимо, еще раз сказал выразительно Михаилу:

— Итак, я вас жду для дальнейшего спора.

Михаил молча ему поклонился.

В салоне стало весело: остряки подробно вычисляли возможный полет чайника и смехотворно выводили, у кого и что именно должно было быть обваренным, если б не смелая интервенция Михаила.

На прощанье тетушка ему сказала:

— Приходи с Сергеем еще; хоть ты, батюшка, и зубаст, да зато не квелый, как архивные. Ну, дай срок, мы тебе зубы обточим. Ты из киевского корпуса, говорил Сергей; знаем, чьи это штуки...

Тетушка намекала на известных киевских педагогов: одного — родню Герцена, другого — учителя словесности с вреднейшим направлением.

Михаил, к радости моей, ничего не возражая, лишь вторично приложился тетушке к ручке.

Да, я опять должен оговорить второе примечательнейшее обстоятельство: среди гостей присутствовал один человек, на которого обваренная рука Михаила не произвела вовсе действия, смягчившего и даже как бы совершенно затушевавшего его дерзкую фразу о социализме. Человек этот был молодой блестящий генерал, граф Петр Андреевич Шувалов, начальник III отделения, высокий красавец с таким правильным и породистым лицом, что в своей неподвижной белизне оно казалось отлично раскрашенным мрамором. В движениях его не было ничего лишнего: точная определенность, как следствие способности к мгновенной обдуманности поведения.

Шувалов вышел вместе с нами в переднюю. Старый тетушкин лакей ловко набросил на плечи ему никола-

---

<sup>1</sup> Смешным (фр.).



евку. Плотно запахиваясь, Шувалов сказал, глядя своим острым взором в черные глаза Михаила:

— Молодой человек! Примите дружеский совет и остережение: не всякая поспешность может завершиться удачно. Памятуйте также одно изречение Козьмы Пруткова: «Степенность есть надежная пружина в механизме общежития».

Михаил, сверкнув своими зубами, не без задора ответил:

— У Козьмы Пруткова есть и применительно к вам, ваше превосходительство, нравоучительное изречение: «Не все стриги, что растет».

Шувалов мило улыбнулся, как светский человек, показывая, что в частном доме он вовсе не начальство, и как-то знаменательно сказал Михаилу:

— До свиданья! Мы еще с вами, конечно, увидимся.

О, сколь горестно сбылось в скором времени его предположение!

По дороге домой я сказал Михаилу:

— Советую тебе быть с ним осторожней; он управляющий Третьим отделением и жестокий карьерист, не оглянешься — подведет.

— Какое мне до него дело! — вспыхнул Михаил и, понизив голос, сказал с глубиной, незабвенной до последнего дня моей жизни: — Поверь, Сергей, я, как Рылеев, уверен, что погибну, но пример мой останется. Ибо, как истинно утверждал этот герой-поэт, вся сила, вся честь революции в словах: «Каждый дерзай!»

По спокойной ленивости моей природы и привычному доверию, что рука промысла ведет каждого неисповедимыми путями, я не стал противопоставлять Михаилу авторитетные в нашем доме, совсем иные взгляды на земное устройство. К тому же, после напоминания тетушки о вольнодумстве киевских педагогов, я понял, что атеизм и мечтания революционные не были следствием испорченной натуры Михаила, а лишь чужими перенятыми мнениями.

Я решил противоречить ему только в крайности, а лучше всего, не теряя с ним чисто приятельской связи, водить его чаще к тетушке, где он будет встречать людей, не менее господ Огарева и Герцена желающих пользы отечеству, но с пониманием последней в совершенно иной диспозиции.



О, сколь розовы и детски неопытны были эти мечтанья! Михаил наотрез отказался посещать салон тетушки, угрюмо сказав: «Хороший охотник не ходит дважды в то же болото». Впрочем, со мной он стал так усугубленно ласков, что меня это даже задело; он, будто с игрушкой, отдыхал со мной от своих мрачных дум, любил бороться, загибать салазки, играть в чехарду. Бывал он приступами бурно весел, а порою чувствителен; именуя меня пастушком с картины Ватто, он просил читать вместе Шиллера. Вот тогда-то мы оба пленились дружбой маркиза Позы и Дон Карлоса и посадили в училищном саду деревца.

Впрочем, глубокое значение нашим отношениям, как вскорости оказалось, придавал я один. У Михаила уже к тому времени все, даже священнейшие, чувства были одним только средством для приближения к злодейскому замыслу, которым он был одержим.

### Глава III

#### ПОЕЗДКА К ОЗЕРУ КОМО

Мне сейчас предстоит переход к тому этапу наших отношений с Михаилом, когда событие на балу в институте превратило его из пленительного друга в заклятого врага, не только личного, но и политического.

Но как мне сейчас говорить о последнем обстоятельстве, когда, благодаря произведенной в стране революции, во мне самом, как уже сказано, произошло изменение, вырвавшее с корнем доверие к себе самому!

Так многократные бури вырывают крепкое, но ниоткуда не защищенное дерево.

Окончательно убедился я в том, что не только подточен фундамент, а, как негодное, рухнуло все мое внутреннее здание, когда я попал в упомянутый выше день, двенадцатого марта, на Дворцовую площадь.

Я переходил эту площадь, как всегда, с особым волнением. Вот она, все та же, вознесенная при императоре Николае, Александровская колонна, и все тот же над колонною ангел. А над Главным штабом все та же квадрига; и рвутся кони. Я уже семьдесят два года, с десятилетнего возраста, все помню, как рвутся эти кони, а их держат воины.



Сейчас на площади — четыре громадные мачты. Верхушкой они выше штаба, а на каждой крылатое красное знамя. От главного полотнища, как от хоругви, с обеих сторон легкие лопасти-ленты. Они выются красными змейками.

Человек вверху, снизу глядеть — мальи́й карла, укрепляет знамя. Развернулось оно, блеснуло серебром, и явственны буквы: «пал западный фронт». И второй, и третий, и четвертый столбы — все увенчаны алым, на всех серебро: «пал восточный. пал южный, пал северный». Эти знамена — в память недавно бывших четырех фронтов. Были — и нет их.

И кто, кто поймет человека? Ведь какой гордостью взыграло мое старое сердце бывшего вояки! Спыхватился: что такое? Эти знамена не меня вовсе касаются, даже совсем наоборот. Я, начальник эскадрона, я, который из уст своего государя слышал: «Поздравляю тебя георгиевским кавалером»... я, который верил всю жизнь, что монарх помазан свыше... И когда, в семнадцатом году, пришел к Потапычу рабочий и сказал: «Чхеидзе смеется, что помазанник смазан», я ведь в петлю полез. Вынули, отходили, — зачем? Чтобы мне дожить до предела скорбей? Стать себе самому и палачом и казнимым?

Да, как палача к лобному месту, влечет меня к этой площади. А дойду — там мне казнь. Разве могу, например, не припомнить, как впервые мальчонкой тут я шел с моим батюшкой, лейб-гвардии сапером? Батюшка, указуя на дворцовое крыльцо, с волнением сказал:

— Сережа, в незабвенный день четырнадцатого декабря двадцать пятого года хранимый высшей силой император Николай нам, саперам, вручил отсюда своего первенца-цесаревича. Царь приказал лобызать отрока первому от каждой роты; я был одним из счастливых.

Сейчас здесь уже красные войска. Как-то перед концом зимы, когда выдалась совсем необыкновенная погода, прибрел я на это свое лобное место. Туман стоял такой густоты, что Главный штаб был затушеван до незримости как бы множеством кисейных завес. Кто-то, тоже незримый, с высокого амфитеатра производил смотр войскам, и проходили войска. Будто из бесконечности возникали. На миг явственны — и, глядь, уже канули в ночную бесконечность.



Впереди Балтфлот в курточках, брюки клеш, с наушниками шапки. За Балтфлотом, как зимние зайцы-беляки, мохнатые белые лыжники; дальше — кавалерия. Из молочной перламутровой мглы выступают одни лошадиные морды да первых рядов молодцы; крупы коней уже тонут в тумане. Над конями, от половины, как бы возникает из облаков колонна и над нею ангел, черный и громадный. И столь дивно звучала команда откуда-то и ни от кого! Люди слушали и, как прежние, заводные, шли.

— Почище старых, — сказал кто-то в толпе. — Те, ровно бараны, знай глазами жрали начальство, а эти с собственным смыслом. Сознательные, революционные войска.

Уж насколько они сознательны, и похвально ли вообще это военному, не берусь судить, но что они уже не шантрапа, как их именуют враги революции, а регулярные дисциплинированные войска — очевидная несомненность. А коль скоро есть у страны войско — есть опять и страна.

Как добрел я, не знаю, — шатался. «Эй, назюзюкался самогону!» — кричали мне мальчишки. Добрел. К счастью, в комнате никого. Сел и заплакал.

Штатские люди этого не поймут. Но для военного тут все. И как же это, как? Прежнего уклада жизни нет, а войско есть? Да ведь с войском, дай срок, по всем швам докажут, что возможно прежнее развитие жизни воскресить. А что, если лучше прежнего? Есть войско, есть и страна.

Что же, прав, что ли, был Михаил? Помню его с запрокинутой головой, лицо ветру навстречу. Глаза мечут искры, в руках Герценов «Колокол». Свернув его в трубку, как маршал жезлом, Михаил машет им вправо и влево. И, должно быть, у него в мыслях толпы народа, и это им он кричит своим грубым гневным голосом:

— Совершенное уничтожение нелепого самодержавия есть вызов к жизни нового строя, новой, прекраснейшей жизни.

И вот опять спрашиваю: что, если окажется прав Михаил, отдав без оглядки свою свободу, свой светлый разум за это дело, и новая жизнь, как уже во многом сейчас примечаю, выйдет окончательно справедливее прежней? В таком случае кто же тут Иуда, который



погубил Михаила не только как соперника личного, а как борца за эту вот свободнейшую и лучшую жизнь? Но кому до меня дело! О нем одном речь, пока действует память и хоть дрожит, но выводит буквы рука.

Как уже сказано, наше имение было совсем рядом с имением Лагутиных. Веру по слабости здоровья, не в пример прочим институткам, по настоянию отца отпускали летом домой. Проводя каникулы вместе, мы с ней жаждали видеться зимой. Многие интересы нас связывали; я кончал училище, она институт. У меня всегда было много женственного в натуре, и хотя как воин я не из последних, но втайне знаю про себя, что гожусь только лишь в общем строю. Дерзкая независимость, столь любезная характеру Михаила, мне совершенно чужда. Склонность влекла меня к искусству живописи. Часами я мог поглощаться сочетанием красок и чудесными световыми эффектами. Предполагаю, по тому месту в жизни, которое брало у меня восхищение созерцательное, что рожден я был только художником. Но как в моем звании дворянина и военного не подобало серьезно предаваться искусству, мои качества поэтические, не помещенные как дарование, выражались в чрезмерной чувствительности. Это сразу заметил Михаил и окрестил их «сентиментами Бедной Лизы».

Веру Лагутину я обожал с детских лет, а она мной командовала. Теперь это должно было измениться, но как взять верный тон, я не знал. И можно ль поверить нелепости? Михаила, коему втайне я завидовал как мужчине и хотел подражать, я сам подговорил ехать на торжественный бал, чтобы подсмотреть, как он себя держать будет с женщинами, и затем самому подхватить этот тон. Глупец! Как было мне не понять, что если сам я им столь зачарован, то как избежать этих чар существу, которому по самой его природе надлежит быть плененным силой и мужеством?

Но моя голова была полна какими-то грезами, и действительной жизни я не понимал.

Хотя Михаил ехал в институт первый раз, а я ездил постоянно, волновался я больше его. То духи мне казались неприлично крепкими, то думалось, не плохо ли выбрит мой подбородок, то назойливо представлялось, что на блестящем, как зеркало, полу большого



танцевального зала я сегодня поскользнулся и с собой увлеку свою даму.

Сколько бы я ни видел его, по моей великой чувствительности к перлам искусства изобразительного я без особого волнения не мог подъезжать к этому чуду строительства графа Растрелли — собору Смольного монастыря.

В тот знаменательный день белые пилястры на голубовато-сером фоне как бы продолжали атмосферу морозного вечера и придавали и без того легчайшей постройке невестственность совершенную.

Башни-церкви, монастырские помещения вызывали память об итальянском зодчестве и преданиях о чудных девах, чудовищах, драконах и рыцарях. За садом, через синий лед Невы, мигали то тут, то там далекие огни в домишках предместья.

Весною, в воскресный день отпуска, я, бывало, любил, взяв у лодочника быстрый ялик, перерезывать в этом месте широкую водяную гладь, не уставая любясь на несравненные пропорции собора, сизодымчатого в заходящих лучах. Я любил воображением выполнять иной план Растрелли, превысивший безумием своей сметы даже расточительный век Елизаветы, почему он и не получил заслуженного воплощения.

Первоначально Растрелли затеял взметнуть на берегу Невы колокольню в шестьдесят сажений, крытую золотом и серебром, с белоснежными украшениями на фоне ослепительной бирюзы. Для постройки заведены уже были особые кирпичные заводы, к заводам приписаны были деревни, а чугунная черепица отливалась под руководством иностранного мастера.

О, зачем не рожден я был в век Возрождения, когда все три Парки, по велению Рока, первенствующей нитью вплели в историю человечества пробуждение чувства к прекрасному! Там был бы я не последним жрецом.

Но, капризно для смертного, ныне судьба путает этикетки. Не в своем веке, в чужом духу его окружении, не на своем месте рождается человек. Впрочем, Яков Степанович, мудрейший из старцев, которого я в дальнейшем введу в свой рассказ, пояснил мне строптивные недоумения моей мысли так:



— Премудрость строения мира противоположна человеческой справедливости, и все наше горе лишь в том, что нам этого нечем понять. Но ежели б поняли, то не дивились бы, почему, например, на убийство избирается тот, кому в тайниках сердца нет тяжелее пролития крови, а кровожадный поставлен в условия благодетеля. Исполненный дарований бьется ради хлеба насущного, и скудны в своем тупоумье богатые... Но посуди: разве по добровольному хотенью человек впряжется в ярмо или глянет внимательно в жизнь другого? Нет, как стрела, метнувшись из лука, он полетит по одной своей линии. Но люди — не одинокие стрелы, а малые капли. Из них надлежит быть великому океану. Вот для того, чтобы могли мы расширить свои берега, полезно каждому и работать и жить не в своей скорлупе.

— Впрочем, — прибавил Яков Степанович, — понимать это надо особенно, а не то усугубишь ерундистику жизни.

Однако я так отвлекся, что и для черновика разорительно. Бумагу-то из подвала таскать запретили. Вчера девочки набрали полный подол, а управдом налетел, велел им снести назад в кучу. Но все же об институте скажу несколько слов.

Моя тетушка, графиня Кушина, рассказывала мне, что первоначальный замысел Екатерины был — создание воспитательного заведения для образования «новой породы людей», при ближайшем участии, как во Франции, просвещенных монахинь.

Для этой цели святейший синод посылал московскому митрополиту указ персонально пересмотреть игумений и монахинь, чтобы выбрать достойнейших. Но оказалось так мало грамотных и хотя бы только пригодных для услуживания в лазарете, что они в небольшом количестве оставлены были, так сказать, для ландшафта. Скоро Екатерина увлеклась в своих поисках влияния на «новую породу людей» в направлении, более соответствующем ее личным вкусам, а именно: привлечением к тому делу Вольтера и Дидерота.

Тетушка Кушина, ненавидевшая энциклопедистов, рассказывала, что Вольтер, давший обещание написать благонравную комедию для девиц института, но привыкнув выводить одни лишь кощунства, всякий



раз, приступая к сей невинной работе, заболел сильным расстройством желудка. Екатерина жаловалась Дидероту, что за преклонностью лет старик не способен на изящное творчество для театральных упражнений девиц, на что Дидерот, не меньше безбожник, доподлинно отвечал: «Комедии для девиц будут составлены мною, и притом ранее, нежели я достигну преклонных лет».

Но, как известно, Дидерот не потрафил императрице, настаивая на преподавании в институте в первую голову анатомии — науки, по мнению тетушки Кушиной, почти что лишавшей девицу невинности.

В традиции Смольного до конца его существования живописно вплетены были эти обе ноты, при его основании взятые Екатериной: нечто от монастырской повадки в соединении с прелестной живостью светскости вольтерьянской. Воспитанницы сохраняли свои неуклюжие одеяния из добротной негнущейся ткани зеленого, голубого, кофейного и белого камлота, белые пелерины и фартуки и привязанные рукавчики так же ритуально, как монашенки — облачение монашеское. К этому присоединялись внешняя богомольность, обилие образков, суеверие и ладанки, кроме того — обычай держать за щекой непроглоченный кусок освященного артоса на труднейших экзаменах, запихивание ватки от Иверской, нарочно привезенной из Москвы, во вставочку для пера при письменной математике. Рядом с этим переходили от выпусков к выпускам изощреннейшие способы переписки амурной и легкость завязок и развязок романов с «подоконными супирантами»<sup>1</sup>. Последнее производилось без различия сословия и ранга, что отнюдь не имело места при вопросе серьезном о замужестве, которое заключать со «шпаком» или офицером негвардейцем можно было при окончательной пламенной, «роковой» любви или из-за особых, чисто житейских преимуществ жениха.

Институтки с малолетства до выпуска оторваны были от родной семьи. Под руководством особо подобранных учителей обучались они разным наукам и упражняли свои таланты в искусствах танцев и рукоделия. Помимо обучения предписывалось разви-

---

<sup>1</sup> Супирант (от фр. *soupirant*) — вздыхатель.



вать, по замыслу основательницы заведения, «веселые мысли» и доставлять им разные «непорочные забавы». Вот почему блестящей кистью Левицкого запечатлено не однажды кокетливое обаяние девиц Хованской, Хрущевой и Левшиной в костюмах маскарадных и бальных.

Со времен екатерининских институт оставался в особом приближении ко двору и девицы, вследствие частого посещения дворцов и внимания царственных особ, были полны повышенного и несколько экзальтированного монархического чувства, но Вера, под влиянием Линученка, своего побочного дядюшки, о котором будет подробная речь, отнюдь не разделяла общего обожания институток к царской фамилии. Хотя она и была на линии *chiffreuse*, она настойчиво умоляла отца, не доводя ее до класса пепиньерок, взять домой. Но старому Лагутину, при всем его вольтерьянстве, было лестно, чтобы сама императрица пришила шифр<sup>1</sup> к левому плечу его дочери, что давало ей право бывать на придворных балах и приближало к званию фрейлины. Это звание кружило не одну честолюбивую головку, особенно сейчас, когда прекрасная наружность и грация вызывали особое внимание государя и были причиною немалого фавора не только по отношению к взысканной девице, но и ко всем ее близким. Последнее обстоятельство возбуждало порой низкую страсть сводничества в ближайшей родне. Так в случае, который предстоит воскресить мне в памяти, заинтересованным лицом являлся не кто иной, как родной отец девицы, титулованной и богатой, но соблазнившейся блеском придворной жизни.

Мы подъехали к зданию самого института. Да, конечно, нужен был изощренный талант Джакомо Кваренги и его благороднейший вкус, чтобы без скуки и казарменности создать длинейший фасад в более чем сто саженой, при том, что единственным украшением его являются лишь трижды повторенные полуколонны с роскошными капителями. Институт этот поистине достоин быть рядом с пышной роскошью собора Растрелли. Так великие зодчие, чуждые мелкому соревнованию, умели передавать из рук в руки

---

<sup>1</sup> Знак отличных успехов при окончании института.



факел красоты. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю, что Кваренги, в знак особого преклонения перед творением Растрелли, во всякую погоду снимал свою шляпу перед Смольным собором, кланяясь низко его создателю...

Огромный швейцар Матвей Иванович, в красной ливрее с орлами и с бронзовой булавой, нас, как и прочих гостей, встретил при главном входе с поклоном. Старшему швейцару была присвоена двора его величества камер-лакейская ливрея. Другой швейцар открыл дверь, третий снял шинели. Мы натянули белые замшевые перчатки и пошли вверх по мраморной лестнице, устланной красным сукном. Звуки вальса, как шампанское, мне ударили в голову, и я вошел вслед за Михаилом, заранее смущаясь, что не сумею найти Веру.

В громадном белом зале в два света шел в длину по обе стороны ряд стройных колонн. Гирлянды зелени вились от одной стоячей люстры к другой вдоль всех стен. Огромные, в рост, портреты царствующих особ под светом люстр переливали шелками, драгоценностями, слепили горностаевой мантией, но не могли затмить своей пышностью скромной прелести институток. Девицы были однообразно одеты в камлотовые платья с обнаженными шеей и руками, в кисейных пелеринах с большими розовыми бантами. В своей юной свежести они, как нежный яблоневый цвет, облетающий под ветерком, носились в танцах по залу. Начальница — высокая кавалерственная дама в небесно-голубом форменном платье — в окружении целого штата таких же ярких классных дам, в просторечии «синюх», важным кивком отвечала на почтительность наших поклонов.

Всякий раз, когда я попадал в это женское царство, я терялся и то одну, то другую головку принимал за Верину, и мне то тут, то там кричали:

— Сержик, Серж Русанин!

— Вот она у колонны, — указал мне Михаил Веру Лагутину.

Я поразился:

— Как мог ты узнать ее, не видавши?

— В этом нет ничего сверхъестественного, — усмехнулся Михаил. — Мне компасом послужила чудесно спасенная от обварки лысина ее отца; гляди-ка, она



отражает, как в зеркале, люстру. Старик — ни дать ни взять — индюк в орденах, но дочь очень мила.

И Михаил, не озираясь на меня, своим стремительным легким шагом перешел зал. Он расшаркался перед Лагутиным и, будучи им тотчас представлен Вере, через минуту уже с нею вальсировал. Когда я подошел звать Веру на контрданс, оказалось, что она уже первый отдала Михаилу. Мне ничего другого не оставалось, как стать визави с одной из приятельниц Веры. Рассеянно слушал я щебет своей дамы:

— А представьте, малявок совсем не пустили на бал, но они сделали ужас: вообразите, надушились мылом бергамот!

— Как же так мылом!

— Наскоблили ножом, натерлись — и запахли, как целая лавка сквернейших духов. Душиться ведь нам разрешается только в самых старших классах, и бергамот — неприличнейший запах.

— А какой же считаете вы запах приличным? — спросил я, чтобы поддержать болтовню моей дамы и тем облегчить себе наблюдение над визави.

У Веры и Михаила были совсем не бальные лица. Иногда, как бы спохватываясь, они улыбались и для вида бросали пустые фразы. Но я видел ясно: у них сразу же вышел серьезнейший разговор. И как же могло быть иначе? Вера читала бездну книг, и у нее давно были вредные фантазии. Будучи внучкой декабриста, она особенно относилась ко всем либеральным бредням, а в деревне у нее в столике был заперт томик Рылеева.

— Да, он недаром носит свою фамилию, — услышал я восторженный голос Веры в ответ на что-то, тихо сказанное Михаилом, — я благородней сердца не знаю.

Она сделала ударение на слове «сердце», и я понял, что этот каламбур относился к Герцену.

Мне всегда было страшно за Верино направление мыслей, но сейчас радость соперника охватила меня. Я подумал: нет, так романы не начинаются, быть может, Михаилу удастся, как тогда по-новому выражались, «распропагандировать» Веру, но едва ли он пробудит влюбленность в ее воображении. А с вредными его мыслями я через салон тетушки Кушиной сумею вести ловкую борьбу. Тетушка Веру очень любила, и та ей платила взаимностью.



Но происшествие, чрезвычайное по своему значению, как рука великана Гулливера в стране лилипутов, в один миг смело все хитроумные ходы моей маленькой шахматной игры.

Вдруг среди девиц произошло невероятное смятение. Все, бросив танцы, кинулись к окнам с криком: — Карета в главном подъезде!

Средний подъезд, всегда запертый, раскрывался лишь для царских особ. Классные дамы, пунцовые от волнения, увели куда-то группу красивейших воспитанниц, которые в короткий миг появились снова, облаченные в заготовленные на этот случай парики и костюмы маркиз и маркизов. Прочие институтки выстроились полукружием, скрывая девиц, костюмированных как при Екатерине. При появлении государя с начальницей все, как одна, под приветственные звуки музыки опустились в глубоком придворном реверансе. Заиграл традиционный менуэт. Маркизы с маркизами выпорхнули из засады и, соединившись в колонну, пошли по направлению к царю.

Александр II был в гусарском мундире. Столь эффектный в санях или верхом на параде, как любили изображать его живописцы, он проигрывал без соответственного военного окружения. Он был хорош, как составная часть картины, выделяясь из войска отличнейшим от всех ростом, наследственной от отца богатырской грудью и неподдельностью царской осанки. Но среди цветущей юности, где вместо монументальности любезна прелесть интимная, он был только импозантен. Притом лицо его, уже немолодое, поражало своей желтизной, а глаза, не соответствуя восхищенной улыбке и приятности грассирующего разговора, оставались неизменны своему оловянному, как бы застылому выражению.

Очень красивая пепиньерка сказала царю стихотворное приветствие и, густо покраснев в ответ на его приглашение сесть рядом, опустилась в кресло. Царь сделал знак музыке, и бал возобновился. Государь очень скоро удалился, сопровождаемый адъютантом, пить чай в апартаменты начальницы. Во время антрактов между танцами, когда Вера и мы с Михаилом, как сопровождающие ей пажы угощались оршадом и конфетами в живописном уголке между фикусов, гиацинтов и пальм, Верина подруга Китти Тарутина подошла к нам со своим правоведом.



Китти, курносенькая и веселая блондинка, нам сказала:

— Хотите участвовать в поездке к озеру Комо?

Мы с Верочкой знали, что это значит, и, смеясь, согласились, посвятив в секрет Михаила. Одна из классных дам, молодая и всеми любимая итальянка, не отличалась стародевической чопорностью прочих синюх. Оно охотно предоставляла девицам в своей комнате видаться с братьями и кузенами. Молодая и веселая, она сочувствовала шалостям молодежи, но, дабы не пострадать ей самой в случае доноса, дело было обставлено по взаимному соглашению так: дверь в комнату классной дамы будет только притворена, но никак не заперта на ключ. В случае, если нагрянет контроль, попавшиеся должны будут сказать, что они зашли сюда самовольно.

Прикрываемые дюжиной камлотовых юбок подружек Китти, величайших охотниц до шаловливых эскапад, мы выскользнули вон из зала, не замеченные строгим оком дежурившей инспектрисы. По бесконечным коридорам мы отправились в комнату итальянки, где на стене висел огромный вид прелестного озера Комо, чьим именем называлась вся веселая затея.

— А вы знаете, Земфира исчезла сейчас же, как только ушел государь? Она в него влюблена по уши,— сказал Киттин правовед про пепиньерку, говорившую приветственный стих. За восточный тип лица ей дали прозвание Земфира, как это часто водится в закрытом заведении.

— И предпочтение, которое ей оказывает государь, тоже всем очень заметно, но фрейлиной императрицы ей все же не быть,— сказала досадливо Китти.— Она неуспешна в науках, начальница ее не выносит и даст ей плохую аттестацию.

— Государь часто вас посещает? — спросил Михаил.

Китти, польщенная вниманием красивого, но доселе сурового юнкера, стала с удвоенной скоростью болтать о том, как обожаемый царь любит внезапно посещать институт.

— Чаще всего он появляется вечером, в часы, обычные для уроков танцев у старшего класса. Иногда царь приходит в столовую, садится за стол и пьет с нами чай из казенной кружки. Разумеется, кружку эту



мы разбиваем и делим кусочки. Многие девочки носят их в ладанках на груди, а одна даже съела.

— Эта девица, очевидно, сродни страусу,— усмехнулся Михаил.

— О нет, у нее фамилия чисто русская! — возразила наивная Китти и под общий наш смех продолжала лепет, который, как я заметил по нахмуренным бровям Михаила, немало его раздражал. Но Китти не смущалась!

— Во время обеда государь садится то к одному столу, то к другому, поровну, чтобы никого не обидеть. Теперь, впрочем, он все больше идет к пепиньеркам и садится рядом с Земфиroy, она нарочно самая крайняя... А в прошлом году постом государь приходил к нам на вечернюю молитву и, на «господи владыко живота моего», вместе с нами бил поклоны.

— Хорошая подготовка к реформам! — начал было Михаил так насмешливо, что Китти на половине слова споткнулась, а правовед с холодным удивлением оглядел его с ног до головы.

Вера вспыхнула, но нашла, как спасти положение.

— Бежимте скорее, а не то другие займут наше место! — вскричала она и, схватив меня и Михаила за руки, кинулась с нами вдоль бесконечных коридоров, пересекающих один другой и путаных, как лабиринт. Китти и правовед побежали вслед за нею.

Вот и комната итальянки. Дверь притворена, но мы дернули — она отворилась. Заслышав голоса вблизи за углом, мы поспешно вошли на цыпочках. Как стая пичуг, знакомых с выстрелом охотника, мы с опаской присели на край большого дивана, в случае чего готовые вспорхнуть или спрятаться.

Опасность могла угрожать из дверей другой комнаты, принадлежащей той же классной даме, но через коридорчик, смежный с комнатой инспектрисы. Последняя, под видом дружественного покровительства, любила войти невзначай, чтобы проверить красивую и легкомысленную итальянку. Китти, как мышка, сбегала в коридор и, удостоверившись, что инспектрисы нет дома, пришла нам сказать, что мы в безопасности.

Вдруг из другой комнаты, тоже запертой изнутри, мы слышали голоса: женский плачущий и утешающий мужской. Говорили по-французски.



— Однако я с таким трудом вырвался от почтенной начальницы совсем не для того, чтобы сейчас утонуть в ваших слезах, прелестная Земфира. Что же касается вашего отца, то, поверьте, мои нежные к вам чувства уже давно заручились его родительской санкцией, а его радость видеть вас фрейлиной...

Мы не могли не узнать этого голоса, так же своеобразно грассирующего в любовном лепете, как мы привыкли это слышать в публичных приветствиях и на парадах.

— Итак, не правда ли, до очень скорой и решительной встречи? Я не враг мифологии и, подобно проказнику Зевсу...

Тут послышался малоискренний смех и поцелуи. Мы вскочили, испугавшись своей невольной нескромности, и кинулись к выходу. Но Михаил с искаженным лицом поднялся и шагнул к дверям.

— Ты себя погубишь,—шепнул я ему, стиснув руку,—государь сейчас может выйти отсюда.

— Я ему не позволю губить...

Глаза Михаила горели таким бешенством, что, казалось, способны были одной своей силой причинить зло человеку.

Я выбежал в коридор, где уже не было ни правоведа, ни Китти. Одна Вера, бледная лицом и плечами, как призрак, стояла в глубокой нише. Я стал с ней рядом и тихо взял ее руку в свою.

Я не постигал, как могла дверь итальянки остаться без стражи, но две фигуры в дали коридора мне объяснили загадку: молодая воспитательница и адъютант, увлеченные собственным флиртом, не заметили, как покинули свой ответственный пост.

Государь, очевидно, выходя от начальницы, чтобы еще раз подняться в зал, зашел в комнату, соседнюю с «озером Комо», где его по уговору уже ожидала Земфира, для каких-то окончательных решений.

Минуты тянулись часами. Вдруг дверь запертой комнаты отворилась, и кто-то вышел. В ту же минуту, задыхаясь от волнения, глухой голос Михаила сказал:

— Это... низость!

Мы не дышали. Я почему-то ждал выстрела. Но выстрела не последовало.

Государь торопливым, убегающим шагом, не свойственно своему обычаю втянув голову в плечи, как бы



не желая быть узанным, вышел из комнаты. Он в один миг свернул за угол. Испуганные адъютант и итальянка подбежали к нему.

— Там был ее брат? — гневно спросил государь, должно быть вспомнив неприятную историю с Шевичем.

— Ваше величество, у нее нет брата, — сказала смертельно бледная итальянка.

— Там не должно было быть никого...

И, не появляясь более на балу, раздраженный государь уехал в сопровождении своего адъютанта. Из глубокой ниши, меня скрывавшей, я видел, как итальянка кинулась в свою комнату искать, кто там был, но Михаил, открыв противоположную дверь в коридорчик, благополучно исчез. Мы с Верой пустились бегом в танцевальный зал.

Прошло более полувека, когда, в один из зимних дней 1918 года, я снова попал как-то в Смольный. Я метался больной и бездельный по столице, ища приюта у прежних друзей и знакомых. Многих не было в живых, другие не оказались на прежних местах.

Влекомый узами прошлого и неистребимым во мне интересом художника, я добрал до института, где мы с Михаилом были на балу.

Весь длиннейший фасад, как и тогда, в день бала, горел огнями, и так же непрерывно вливался в огромное здание поток людей. Но это не была линия нарядных карет с лакеями на запятках. Здесь не было рысаков с драгоценными полостями и кучером, возглавляющим наподобие идола козлы.

В средний, главный, исключительно царский въезд, охраняемый вооруженными красноармейцами, тянулся бесчисленный хвост, держа в руках листки-пропуска.

Автомобили, мотоциклеты, серые броневики, все с красными флагами, с воем сирены, с трубными звуками, то и дело влетали и вылетали из ворот, охраняемых тоже двумя рядами часовых. Везде пулеметы. Шумели моторы, суетились люди с портфелями.

Мохнатые шапки делали лица суровыми. Многие в защитного цвета и серых военных пальто, где от споротых пуговиц и наскоро снятых погон были свежие следы. Крестьяне — в онучах и лаптях, с ружьем на веревочной перевязи. Все кричат, и все



спорят. Когда вышли из подъезда двое штатских и, взобравшись на большой ящик, сказали несколько слов, им не дали кончить. Их речь покрыл пропетый всей площадью «Интернационал».

— Что тут такое? — спросил я одного, сильно вооруженного, с очень свежим и почему-то мне знакомым лицом.

— Чрезвычайное заседание Петроградского Совета, дедушка, — охотно сказал он и, в свою очередь вскочив на ящик, повысил голос до крика, обращаясь ко всем:

— Товарищи! Социализм — отныне единственное средство, с помощью которого страна избежит нищеты и ужасов войны.

Зажженный пикетом костер вдруг ярко осветил говорившего, и, когда он кончил и слез, я невольно вскрикнул:

— Я знаю вас! — и я его назвал.

Я хорошо был знаком с его отцом и самого юношу совсем еще недавно видал в гимназическом мундире и особенно запомнил по причине резких левых речей против войны. Речи эти мне очень напомнили Михаила.

Сейчас юноша был пламенный коммунист. И он узнал меня. Это он дал мне денег и помог устроиться у Ивана Потапыча. Сам же он торопился, как говорил, на «красный фронт». Там вскоре доблестно пал он одним из первых. Его имя прочел я в «Известиях», которые принес мне Горецкий 2-й. Вместе помянули мы храброго юношу, а кстати отца его и деда, столь же доблестно павших первыми в свое время, но на иных фронтах.

#### Глава IV

#### ВЕДЬМИН ГЛАЗ

Пасха в том году была не очень поздняя. В зеленом пуху стоял лес, и особенно зловеще чернели старые сосны от соседства с цветущей молодой порослью. Таким и остался у меня в памяти этот путь в Лагутино — зловещим.

Был шестидесятый год. Крепостное право доживало последние дни. Среди разных направлений и



кружков, за и против освобождения, было немало отдельно стоящих, очень образованных, вольтерьянского закала дворян, над которыми ни бог, ни человеческие постановления не имели никакой власти — в первую очередь выступал их собственный самодурный нрав.

Таков был отец Веры, Эраст Петрович Лагутин, один из умнейших людей своего времени, по собственному выражению не веривший ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Всю цивилизацию обзывал он мировым свинством, что, однако, не мешало ему иметь у себя в Лагутине отменную картинную галерею. Он видел в раскрепощении крестьян нарушение пределов своей власти и навыков и напоследок, как говорят, распоясаясь вовсю.

Был Эраст Петрович вдов и большой женолюб. За барщину мужики его не корили, но так как не пропускал он ни одной пригожей девки или бабы, то злоба на него была велика.

Дочь его Вера выросла сиротой под опекой французенок, то вознесенных прихотью барина на положение хозяйки дома, то разжалованных в бонны при дочери. Эти бонны часто менялись. Вера приучилась жить в самой себе и прибегать за поддержкой к самым верным и скромным друзьям человека — бесчисленным книгам отцовской библиотеки.

Правда, наше имение было рядом, но с матушкой моей, великой хозяйкой и хлопотуньей, у Веры близости не вышло. Была она несколько дика и безмолвна и матушке моей непонятна. Может быть, впоследствии отношения бы обошлись, но матушка скоро скончалась, я осиротел, а над имением опекуншей назначили тетешку Кушину.

Один я делил с Верой досуги. Собирали все лето грибы и ягоды, обучались вместе французскому языку и танцам. Вере нравились изобретаемые мной рисунки и сказки, которые во множестве я ей посвящал. Но, хотя мы и были погодки, Веру чувствовал я гораздо зрелее себя. Ее вопросы касательно цели жизни и мучения насчет участи декабристов были мне совершенно чужды. Декабристы, в глазах моих, казались обыкновенными мятежниками, усугублявшими свое злодеяние тем, что они были хорошо образованы и дворянского роду. Но Вера их чтила героями.



Жизнь в нашей усадьбе при матушке и позднее, под управлением тетушки, мирно текла, как у прочих помещиков средней руки. Тысячью интересов, кумовством и взаимным расположением из рода в род владельцы Угорья были связаны со своими людьми.

Ближе всего к сердечной и умственной жизни Веры была одна неприятная мне чета, сыгравшая впоследствии немалую роль в ее необыкновенной судьбе.

Верстах в трех от усадьбы жил художник Линученко со своей женой Калерией Петровной. Он был ученик знаменитого живописца Иванова, того самого, который чуть ли не тридцать лет писал одну и ту же картину — «Явление Христа». Картина эта была выставлена в свое время рядом с батальной живописью некоего Ивона, и, признаться, на большинство посетителей последняя произвела впечатление сильнее отменной мускулатурой коней. Повторяли также эпигramму остроумнейшего Федора Ивановича Тютчева о том, что громадный холст Иванова изображает собой не апостолов, а является фамильным портретом семьи Ротшильдов...

Художник Линученко — по боковой линии дядюшка Веры. Надо обмолвиться: насколько наш род был спокоен и в простоте души выполнял свои обязанности верноподданных дворян, настолько род Лагутиных был тревожен. Он славился необыкновенными похождениями дедов, увозом чужих жен, кутежами, дуэлями, а при Александре Благословенном — черно книжьем и богопротивной мерзостью.

Порода Лагутиных высокая, плечи — косая сажень, волосы кудреватые, нос прямой, с особо красивыми ноздрями, а глаз, под дугообразной бровью, светлый и острый, как у ястреба.

Дед Веры от любовного каприза с украинской девкой прижил сына, Кирилла Линученка, которого отдал в обучение живописцу, а матери его отрезал в приданое пятьдесят десятин к хутору, но дарственной на эти десятины он не дал, сказав: «Пока я жив, не сгоню». Эраст Петрович подтвердил то же самое.

Вот этот, в то время пожилой уже, художник и побочный дядюшка Веры был и закадычным ее другом.

Линученко, наполовину холопской крови, имел в деревне кучу родни. Он не только ее не чурался, но,



напротив, всячески защищал и только и делал, что науськивал Веру против отца. Кроме того, давал ей в руки вольнодумные книжки, неустанно толковал о правах человека и прочих атеизмах французской революции, которых сам был усердным поклонником.

Он этим достиг того, что все кровные естественные чувства дворянки были у Веры жестоко искажены. И не мудрено, что столь злочно взошли в ее беспокойной и великодушной душе зловерные семена, брошенные рукой Михаила. Впрочем, во всей пагубной силе влияние Михаила на Веру я понял позднее.

После случая в Смольном мы так крупно поспорили с Михаилом, что потеряли всякую охоту общаться. Он грубейшим образом поносил государя за его человеческую слабость, столь понятную при красоте, которой он обладал. Я защищал государя, утверждая, что половина приписываемых ему похощений не что иное, как порождение клеветы, а другая половина лишь является ответом на вызов со стороны легкомысленного, хотя и прекрасного пола, который втайне почитает за счастье свою так называемую «гибель» от монарших ласк. Частный же случай, на который мы натолкнулись, был вызван сводничеством родного отца этой пепиньерки, титулованной и изрядно богатой, честолюбиво желавшей себе звания фрейлины.

Михаил оборвал меня, как обычно, бунтарской речью против самодержавия и сказал:

— С корнем бы их, как крапиву, да и дворян всех туда же... И вырвем, дай срок!

Я остановил его, прося не испытывать дольше моего терпения верноподданного, ибо я обязан, по чувству долга, вызвать его на дуэль, так как донос не по мне, а пресечь его поносную речь я обязан.

Михаил совершенно неожиданно засмеялся добродушнейшим образом и весело сказал:

— Ну, цвести в невинности, не буду тебя разъярять; успеешь в чинах даст бог—меня же и повесишь!

С тех пор мы перекидывались самыми поверхностными разговорными речами. Но помешать приезду Михаила в Лагутино я уже не мог. Он был туда приглашен самим стариком, угодив ему ловкостью в танцах и снискав его благосклонность с того достопамятного вечера у тетушки, когда был спасен Михаилом от кипящего чайника. О том же, что Михаил под



видом кузена посещает Веру в институте, старик вовсе не знал ничего. Сейчас Вера, вследствие общей слабости и малокровия, в виде исключения была отпущена на праздники домой. По всем признакам, отец согласился наконец уступить ее настояниям и взять ее из института совсем.

Сейчас мы почти молча проехали десяток верст, отделявший Лагутино от почтовой станции. Созерцая по своему обыкновению излюбленный мной закат солнца в широком просторе полей и смягченный умиляющим душу зрелищем, я стал говорить Михаилу иносказательно о моей любви к Вере. Я помянул о Платоновом мифе — двух рассеченных половинках человека, которые при встрече должны непременно или слиться, или погибнуть. Михаил понял и сказал:

— Подобная любовь недостойна человека. Погибнуть можно никак не от чего-нибудь, а только за что-либо. Каждому, ежели он мнит себя человеком, надлежит иметь соответственную высокую идею. — И, подумав, прибавил: — Впрочем, сие — привилегия нашего брата. Прекрасный пол чаще всего обречен на гибель бабочки от огня.

— Значит, ты думаешь, — не скрывая радости, прервал я, — женщина не способна пойти на костер, как некогда Иоганн Гус и ему подобные?

Я решил, что Михаил был желчно настроен против Веры из-за неуспеха своих бунтарских речей.

— Женщина пойдет куда угодно, — возразил Михаил, — но редко сама, чаще за тем, кого она любит.

Как я был счастлив; опять надежды были при мне! Ни внезапного румянца, ни потупленных и вдруг вспыхнувших взоров, этих безошибочных улик юной страсти, не наблюдал я ни разу при встречах Михаила и Веры. Конечно, я знал, что на приемах в институте Михаил, почтительно кланяясь, подавал Вере не французские конфеты, как стояло на коробке, а ту или иную либеральную книжку. Разговоры же их были всегда серьезны, на мой взгляд — отменно скучны. Со дня на день я ждал, что и Вере все это обучение надоеет и она будет искать разнообразия хотя бы в искусствах, более свойственных поэтической юности. Тем часом, дабы быть — в противовес Михаилу — во всеоружии своего дела, я усердно посещал император-



ский Эрмитаж и прочел немало иностранных увражей<sup>1</sup> касательно чудесных коллекций картин.

Старик Лагутин встретил нас на крыльце, увитом свежей хвоей. Во множестве нарезанные прутья с зелеными перьями-листьями были причудливо воздеты на высоких шестах. Казалось, в Н-ской губернии вдруг возросла роща финиковых пальм. Перед домом была покрыта немалая горка молодым газоном, и десятка два красивейших девушек в нарядных сарафанах и парней в алых, как маков цвет, рубахах катали разноцветные яйца. В ряд, сверху вниз, шло множество деревянных желобков, и весело было смотреть, как синие, красные, зеленые и желтые яйца драгоценными камешками катились друг за дружкой в изумруд муравы. В заключение повели хоровод, и все девки и бабы пошли христосоваться с барином, а он их одарял кого рублем, кого платком.

— Из всей христианской религии сего поцелуйного обряда я — наибольший поклонник, — сказал старый греховодник Лагутин.

Он захохотал, показывая крупные, еще целые зубы. Он был дороден и красив, но совершенно лысая голова и жирный кадык, как это верно нашел Михаил, делали его похожим на индюка.

Я глянул на Веру: лицо ее было бледно и выражало тревогу, она не спускала глаз с Мосеича. Этот уродливый человек с большой головой, но ростом с малолетнего, был злым гением Эраста Петровича. Сам из французских дворян, образован и жесток, он служил у Лагутина по вольному найму. Он был по фамилии Charles Delmasse, но мужичками переименован в «Мосеича». Человек этот обладал всей извращенностью умного дьявола. Обучившись по-русски, он объединил в своей особе весь цинизм и утонченность своей безбожной нации с жестокой грубостью наших нравов. По части безнравственности и садических удовольствий себе лучшего наперсника и советника Эрасту Петровичу было бы не сыскать. Посему в деревенской глуши он особенно дорожил Мосеичем, уважая его к тому же и за прекрасный французский язык.

Когда черед христосоваться дошел до красавицы Марфы, молодой жены Петра-конюха, отличного пар-

---

<sup>1</sup> Увраж (от фр. ouvrage) — сочинение, труд.



ня, Мосеич шепнул что-то Эрасту Петровичу. Тот ухмыльнулся и сделал вид, что не заметил, как Марфа, спрятавшись за соседку, нырнула в толпу девушек, чтобы миновать барского поцелуя. Но когда все, поблагодарив за подарки, пошли с песней домой, Эраст Петрович повернулся к старосте, дрянному угодливому мужику, и небрежно обронил:

— Петра не вредно б отметить.

Вера вспыхнула и, подойдя к отцу, смело сказала:

— Нет, батюшка, вы не сделаете Петру худого!..

Брови Эраста Петровича дрогнули, и как-то еще более побелели острые светлые глаза, а ноздри раздулись. Но он себя сдержал и, обернувшись к дочери, сказал ей по-французски:

— Мое желание — чтобы ваши юные мечты не выходили из стен вашей библиотеки.

— А теперь, — обратился он к нам, — прошу, обедайте без меня, я прощаюсь с вами до вечера. Пользуйтесь деревенской свободой в свое удовольствие: есть отличные верховые, есть лодка и экипажи... Но куда бы ни заехали, чуть взовьются над домом три ракеты — прошу всех обратно. Я приготовил вам спектакль и сюрприз: последний, надеюсь, для всех трех одинаковый! — Эраст Петрович обвел нас всех взором, от которого мне стало не по себе.

Обед прошел довольно чопорно, с лакеями и блестящей сервировкой. На месте хозяина сидела старуха Архиповна, Верина няня: таков был каприз старика после изгнания последней француженки.

— Пойдемте на хутор к Линученкам; быть может, они уже приехали! — сказала после обеда Вера.

Взволнованные, каждый от своих причин, мы долго шли молча по деревне. У околицы свернули в улочку, узкую, словно труба, — двум телегам не разъехаться. У ставней сбоку, как хвост у собаки, болтался железный болт, и хоть был большой праздник, а не убраны стояли то тут, то там корыта и валялись тряпье и битые черепки.

— Какая темнота! — сказала Вера. — Уж сколько раз выгорала деревня, а строят всё снова по-старому. Зато у батюшки целая полка книг по усовершенствованию деревянных построек. До бедных крестьян никому нет дела.

— Дайте срок, — возразил Михаил, — они сами возьмутся за ум, только б нам не зевать.



Мне, конечно, не нравился их разговор. Мы проходили такими чудными лужайками, где уже голубели цветы и медовый одуванчик потряхивал золотой головкой. Я сорвал самый крупный, поднес его Вере и сказал:

— Тут, как в ромашке, стоит только сказать: «Поп, поп, выпусти собак», — черные козявки и вылезут.

Вера глянула на меня в упор своими светлыми, как у отца, глазами и с усмешкой сказала:

— Вы, Сержик, опоздали родиться; вам бы, правда, быть пастушком с картины Ватто.

В первый раз, что она мне говорила это с насмешкой; я это отнес за счет влияния Михаила и умолк.

Тропинка наша то терялась в оврагах, то растекалась в широких песках в одно с ними общее море.

Я глядел, как Вера ловила свой газовый шарф, сдуваемый ветром, глядел и не мог наглядеться на это лицо. Оно было необычайно. Будто не одно, а два лица — не слитые, а включенные друг в друга. В худощавом теле, подавшемся вперед, в узких покатых плечах, как на старинных портретах, была почти слащавая покорная женственность. Цвет лица, слишком белый, с неестественной розоватостью щек, придавал лицу нечто кукольное. Когда шла она, как сейчас, склонив голову с заложенными назад светлыми косами, приходила на память какая-то средневековая покорная жена. Вот держит она стремя рыцарю или, сидя за пальцами, высматривает запоздавшего в кутежах властелина. Но вот, отвечая на какой-то вопрос Михаила, Вера подняла глаза. И в них показался иной ее облик. Глаза серые, твердые, с той же ястребиной хваткой, как у отца, с затаенной мыслью, которую — умрет, а не захочет — не выскажет.

На хуторе ждала неудача. Сторож сказал, что Линученко прислал письмо: он не может приехать, и передал Вере записку, которую она читала, бледнея.

— Калерия в чахотке, — сказала она, — и они уехали на год в Крым. О, как мне будет страшно тут без них! — вырвалось у ней невольно. И того не замечая, она взяла под руку Михаила, а он крепко пожал ей руку, как бы обещая защиту.

А я, пастушок Ватто, значит, теперь уже ей не в счет.



— До вечера времени много,—предложила Вера,—пойдемте к озеру.

И мы пошли.

Недалеко от хутора, как говорили, по старому шляху в город, было странное место. Сходились близко один к другому высокие холмы, поросшие широким листом зеленой мать-мачехи и каким-то пахучим кустом. У своего подножия холмы эти вдруг обрывались, и ровной блестящей водой стояло небольшое круглое озеро, неизвестно как тут возникшее; говорили: по заклятью старой помещицы над непокорной дочерью, бежавшей с заезжим гусаром. Здесь настигли беглецов злые думы матери: от этих злых дум кони увязли в трясине, а над ней забурили ключи, и к утру было ровное, как чашечко, очеро. Тут Верина няня, Архиповна, в рассказе вставляла пояснение: «Старая-то помещица ведьма была. Чай в час тот пила, брови сдвинула, как повернет полную чашку на блюде: «Пусть и ей, непокорной, так будет!» Вот озерко и круглое, ровно чашка с чаем. Одно слово — ведьмин глаз».

Вера эту знакомую мне легенду рассказывала дорогой Михаилу и, кончив, выразительно глянула на него и промолвила: «Вот за непокорство дочери я это озеро и люблю». А Михаил засмеялся.

Нет, решительно у них что-то затеяно, надо быть настороже.

Вера села на большой камень. Михаил рядом с Верой, а я в ногах у нее внизу. Солнце зашло, небо было нежно-зеленое.

— Смотрите, первая звездочка,—показала Вера,—да какая чистая, будто умытая. Скоро пустят ракеты, надо поспешить домой, а мне, признаться, просидеть бы на камне всю ночь...

— Я в небе одну звезду люблю,—сказал Михаил.— Звезду Веспер, воспетую поэтами, предвестницу зари. И знаете, почему? Еще в детстве я где-то прочел, будто алхимики верили, что Венера дает земле треть той силы, что получает от солнца сама, а получает она много больше земли. И потому дух земли должен быть подчинен духу Венеры, полнокровному, жизненному духу знания опытного. Басня эта мила и моему нраву очень любезна. А тебе, Сергей, уж наверно, любезней стишок: «Приди грустить со мной, луна, печальных друг!»



— Не понимаю твоих слов,— сказал я.— Что такое путь опытный и в каком это смысле?

— А в таком, что ежели древний смельчак испытывал сильное чувство, так он его не душил во имя земных добродетелей и каких-то там небесных благ. Он чувству своему отдавался и—что надо было—свершал. Да, один только опыт, доведенный до конца, отсекает все то, что непригодно для роста. И когда настоящие, свободные люди создадут наконец последующим поколениям прекрасную жизнь, достигнуто это будет не трусливым умытием рук, а одной лишь попыткой, хотя бы насильно, но опрокинуть негодные формы, заменив их формами лучшими. Итак, во имя жизни надлежит быть хозяином жизни!

Вера слушала Михаила, как пророка, а меня высокомерный тон возмутил, и я сказал:

— Но кто же тебя-то поставил этим хозяином над другими и кто порукой, что ты думаешь мудрее и лучше других?

Не забуду лица Михаила, когда, сперва покраснев, а потом по привычке откинув голову, он сказал совсем не высокомерно, а в какой-то особой сердечнейшей глубине:

— Так бывает с иным человеком, что для себя самого у него нет больше радости на земле, пока на ней худо другим. И такой человек, даже в случае, если свяжет себя какой-нибудь иной связью, кроме блага всего человечества, большой утехы от этого не получит, только лишится своей самой нужной и драгоценной свободы. Да, так. Словом, явились люди, явятся еще и еще, которые не захотят требовать счастья себе, а радостно будут искать, где и куда сложить свои силы на освобождение и радость всеобщую!

Михаил нагнулся ко мне и, как давно этого не делал, положил свою руку ко мне на плечо.

— Милый Серж!—сказал он.—Тебе сладостен каждый закат солнца, луна и стихи. А подумал ли ты, где у тебя на все это право, когда кругом, быть может, люди и лучше и умнее тебя всё еще рождаются, живут и умирают рабами?

— Михаил...—начала и почему-то не кончила Вера.

А у меня в сердце как нож: не договорила она от волнения, или уж ей так привычнее его звать и только



невзначай она обнаружила всю короткость их отношений?

Вдруг послышался стон, кто-то всхлипывал на дальней могиле. К озеру почти вплотную примыкало старое кладбище.

— Никак это Марфа на могиле своей матери! — воскликнула Вера и, легко перепрыгнув канаву, отделявшую нас от кладбища, подбежала к молодой женщине. Марфа повалилась в ноги Вере и заголосила:

— Заступись за Петра, не то ему лоб забреют! Вера стояла бледная, с поникшим лицом.

— Батюшка меня не слушает, — сказала она.

— Что же мне — руки на себя наложить? Его забреют, а меня, сама знаешь, к себе возьмет вместо Палашки. Да я в прорубь скорей...

— Слушай, Марфа! — сказала Вера; лицо ее было жестко и горело почти тем же светом, как у Эраста Петровича, когда он, бывало, тихонько говорил: «На конюшню по-роть»... — Завтра на заре жди меня в голубятне, лучшего места нет. И ты узнаешь, что я решу. Поверь мне в одном: я тебя в обиду не дам, потерпи до утра.

Когда успокоенная Марфа пошла домой, Вера сказала Михаилу:

— Мы включим ее в наш кружок. Иного выхода нет.

— Ну, что же? — сказал Михаил. — Баба, кажется, молодец.

Меня эти двое откровенно не замечали, должно быть не в шутку относили к эпохе Ватто.

Взвились одна за другой три ракеты, мы встали, прибавив шагу, пошли обратно к усадьбе. Дом был освещен разноцветными шкаликами. С балкона верхнего этажа до балконов нижнего они ниспадали сверкающими гирляндами. Это был великолепный барский дворец работы Монферрана, строителя Исакиевского собора, с белоснежной колоннадой и сводчатыми крыльями по обе стороны главного корпуса.

Освежившись в приготовленных нам комнатах, мы с Михаилом облеклись в новые мундиры, лакированные бальные сапоги и, стараясь ступать в них мягко и размеренно, появились среди гостей.



Посреди зала устроен был грот, где бил прелестный фонтан, а на камнях под цветущими олеандрами, замаскированными так, что не видать было кадок, а казалось, что будто деревья росли меж камней, сидели грации, пастушки и нимфы.

Сквозь узкие прорези шелковых черных масок лукаво сверкали глазами костюмированные гости. Огромные стенные зеркала отражали всю эту роскошь и как бы передавали ее в бесконечность. В глубине зала возвышалась сцена, куда внезапно по хлопку хозяина, под звуки незримого в зелени хора, умчались от бассейна нимфы, пастушки и грации.

На Эрасте Петровиче надет был бархатный кафтан его деда, екатерининского вельможи, с лентой и регалиями. В соответствующем парике, он казался важным выходцем с того света.

Кроме нас, не костюмирован был еще один гость — князь Нельский, ближайший богатый сосед, очень просвещенный и гуманнейший человек, уже немолодой, но с лицом прекрасным по выражению душевных качеств.

Эраст Петрович настоял, чтобы мы облеклись в костюмы маркизов; князь — в кафтан шарлахового<sup>1</sup> бархата, мы — в одинаковые голубые камзолы и парики.

Мы были с Михаилом одного роста, так что, надев маски, легко могли сойти друг за друга. Обстоятельство это оказалось новым звеном в той объединяющей нас тяжелой цепи, которой, не спросясь, нас сковала судьба.

Перед ужином Вера, прелестно носившая костюм «помпадур», шепнула мне в ухо:

— Сейчас беги в беседку!

Я глупо спросил:

— Ты придешь?

От звука моего голоса Вера вздрогнула и сказала:

— Нет, Сержинька, не приду, я нарочно... — И легче перышка она отлетела.

Я понял, что приглашение относилось к Михаилу.

Тут словно бес меня обуял. Острая пронзительная ненависть к товарищу, которого моя же рука привела мне на гибель, разбила и пронзила мою душу. Истин-

---

<sup>1</sup> Ярко-красного.



ны слова некоего старца, которые тетушка Кушина любила повторять: «Бесы не сильнее человека, но, когда человек до них снизится, он станет с ними единой породы, и ему уже их не стряхнуть. Ибо их легион!»

Легион низких страстей пробудился в моей душе. Увы, она не оказалась подобной величавому океану, а дрянным болотцем, подернутым сверху приятной для глаза изумрудной ряской.

Мечь, ненависть, оскорбленная любовь и мелочное самолюбие, задетое Михаилом, столкнули меня по крутой тропинке к пруду, где стояла беседка.

Я укрылся в кусты. Начался фейерверк.

Сотни огненных мячей взметнулись в темном небе и, как бы не удержав воздуха, разорвались в вышине и брызнули вниз разноцветными искрами. А озеро, большое водное зеркало, отдало небу обратно огни.

Мои чувства художника были столь дивно встревожены, что на минуту все злое как будто отлегло от души. Но два знакомых голоса заговорили в беседке. О, этим двум не было никакого дела ни до красоты сего мира, ни до моей разбиваемой ими жизни!

Ведь мы все, Русанины,—однолюбы. Две тетки от несчастной любви ушли в монастырь, а дядя Петр застрелился.

— Дорогая моя! — сказал Михаил и с таким страстным чувством, которого я не ожидал от него.— Дорогая, так неужто не сон, ты решила соединить свою жизнь с моей?

И в ответ ее нежный голос:

— Ты можешь еще спрашивать?

На минуту затихли: они целовались.

У меня мутнело в глазах, и ракеты, падавшие в воду, казалось, падали в мое сердце и жгли его.

— Но я тебе должен признаться,—голос Михаила вдруг стал отвратительно жесток,—я для своего дела пожертвую и любовью. Когда одна женщина пыталась меня обратить в свою вещь, я едва не совершил убийства. Это было в Крыму... рассказать тебе?

— Мне твое прошлое нечего знать, я соединяюсь с тобой для грядущего,—сказала с достоинством Вера.

— Дорогая, но ведь, кроме лишений, со мной ничего. И это еще в лучшем случае. Мой выбор неизменен: отдать жизнь на восстание рабской страны против деспота. В случае неудачи, ты знаешь, даже не каторга, а виселица.



Но она прервала его древними, как мир, как любовь мужчины и женщины, словами:

— С тобой, мой милый,— на плаху!

Опять убийственное молчание, опять поцелуи.

Потом, смеясь как ребенок, она сказала:

— Сейчас за ужином батюшка объявит меня невестой князя Нельского. Он только что строго со мной говорил и был поражен, что я не возражаю ему, как это обычно у нас бывает и по менее важному поводу. Представь себе, это и был обещанный сюрприз всем троим. Батюшка вспомнил вас обоих: «Твои кавалеры,— сказал он многозначительно,— не будут столь спокойны, как ты». На что я ответила: «Тем хуже для них! Я ложных надежд никому не давала, и хоть князя я тоже не люблю, но не за мальчишек же мне выходить!» Теперь батюшка далек от подозрения, что к одному из этих мальчишек я завтра сбегу.

Михаил хохотал.

— Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег?

— Утром я обо всем скажу Марфе, а она Петру. Если не удастся вскорости попасть к твоей матушке, как мы решили, то жди письма, я пришлю с Сержем—он верный.

— Да, пороку он не выдумает, но парень, кажется, действительно верный,— сказал снисходительно Михаил.

Несчастный! Это были слова, которые его погубили. Эти слова вырвали из моего сердца последние остатки великодушия, на которое я еще был способен. Как, мне предстояло отказаться от всех радостей жизни, созидать счастье соперника и за все это лишь получить малолестное определение—недалекого парня!

Звуками гонга и труб гостей созывали на ужин. Среди блистательной сервировки и благоухания цветов, вынесенных на торжественный случай в вазонах из оранжерей, Эраст Петрович встал с бокалом шампанского. Он был все в том же кафтане екатерининских времен и особенно торжествен—как французский маршал двора.

— Дорогие гости, почитаю себе за честь объявить мою дочь Веру Эрастовну невестой князя Нельского,—сказал он.



Заиграли туш, пошли поздравления и тосты в честь жениха и невесты...

Я, не в силах вынести вероломных лиц Михаила и Веры, убежал. Последнее вышло как бы естественным выражением моих обманутых чувств, ибо все знали о моем давнем расположении к Вере. Таким образом и тут я остался в дураках, невольно помогая их планам.

## Глава V

### ГОЛУБИНЫЕ ШЕЙКИ

Начинался день. Небо было серое, сеял дождь. Моим измученным чувствам была приятна эта невыразительность природы. К рассвету я забрался в ту беседку, где было ночное свидание Михаила и Веры. Под скамьей что-то белело. Я нагнулся взглянуть: это были листы заграничного «Колокола»; верно, их Михаил обронил этой ночью. Я подобрал с отвращением.

Эти листы были лазейкой хищного волка, через которую удалось похитить ему, убийце и заговорщику, мой покой и отраду. Вид этих страниц, в два черных печатных столбца, был для меня — как гробовая змея древнему князю Олегу, выползающая из мертвого черепа. Бешенство охватывало меня все сильнее по мере того, как в печатном тексте я узнавал почти дословные изречения Михаила. Я не заметил, как в беседку вошел Мосеич.

— Не ожидал я от вас, сударь, столь вольнодумного увлечения,— сказал он по-французски, осклабляя свой большой рот.

— И были правы, мой друг, мсье Дельмас,— отвечал я, как обычно называя его по фамилии, за что пользовался неизменной его дружбою.— Дворяне, как вы и как я, не должны быть предателями своего сословия. Собственник подобной заразы может быть лишь тот, кто сам ею заражен.

— Подобно вашему другу Бейдеману?

— Я его не назвал.

— Но у меня есть свои наблюдения. Прошу вас,—сказал Мосеич,—дайте мне этот проклятый журнал. Я считаю долгом чести бороться с врагом своего сословия. А в данном случае еще предстоит



оградить от злого влияния юную девичью душу. Разве вы не видите: Бейдеман околдовал Веру Эрастовну. Вчера, когда объявили ее помолвку, я подметил интересные вещи: она с ним перемигнулась. Это был взгляд заговорщиков. Они нечто задумали, чему надлежит помешать. Или вас не трогает судьба неопытной жертвы? — прибавил карлик с коварностью.

— Я погибну, но не дам ее погубить! — воскликнул я вне себя.

— Так дайте мне журнал.

Передавая журнал в длинную, как у обезьян, цепкую руку Мосеича, я уже не хочу говорить, как говорил себе всю жизнь, что не знал вполне того, что я делаю. Конечно, я не мог знать той формы, какую примет это мое первое предательство, но не знать, что обличение Михаила как распространителя запрещенных изданий не пройдет для него без вреда, я, конечно, не мог, особенно отдавая журнал такому злодею, как Мосеич.

Я сейчас в тех годах, когда человек больше от своей совести не желает уйти и когда уже больше не тешит никакое прикрытие. Мне осталась бесславная, но гордая отрада: быть своим собственным правдивым судьей. И вот надо отметить; едва я в гневе дал Мосеичу «Колокол», как тотчас кинулся за ним взять обратно. Но, как опытный совратитель, зная все изгибы слабой воли, Мосеич, не дав мне опомниться, скрылся из кустов в подвальном этаже дома. Там была у него мастерская, про которую ходили темные слухи и где, за ходами и переходами, мне б его было все равно не найти. Я горел как в лихорадке, прыгали мысли. Только неизменным оставалось одно руководящее чувство: быть около Веры, не отдавать ее Михаилу...

Мне все чудилось почему-то Лобное место на московской площади и палач, обмотавший вокруг кулака русые Верины косы. Ее белая шейка на плахе, сверканье топора... Я галлюцинировал, я был болен. И вдруг мозг с точностью записи восстановил разговор, слышанный ночью в беседке: дальнейшее в судьбе Веры будет связано с Марфой и Петром, — отсюда обещанный Верою визит в голубятню...

Едва вышедшее еще слабое солнце чуть позлатило верхушки березовых рощ и березки затрепетали от



привета первым лучам, я, как тать, пробрался на голубятню и скрылся за разной рухлядью, в беспорядке сваленной в кучу.

Еще раз: не буду лгать вовсе. Мне не было стыдно, хоть я и знал, что делаю низкое дело. Но в тот миг я не был корыстен. О своем счастье я больше не думал. Мне надо было спасти Веру, оболыщенную мятежной волей, быть может, больного человека. Михаил говорил мне, что у них в роду есть сумасшедшие. Эта его устремленность в одну точку, этот огонь, всегда его сжигавший, могли быть и началом болезни. Подслушанное мною признание, что он едва не совершил убийства любимой женщины, привело меня в ужас. Слова же его Вере, что в союзе с ним ей придется делить не только Сибирь, но и виселицу, обличали гордыню бездушного злодея. Слова эти жгли мое сердце: если Вера за ним пойдет, на полдороге ведь она не остановится! А помыслить ее в тюрьме, в ссылке и лишениях — я не мог. Я должен спасти ее. У нее к Михаилу не любовь — злое наваждение. К тому же, как верноподданный, зная о вредных умыслах юнкера, которому скоро, как и мне, предстояло облечься в офицерский мундир, я чувствовал себя обязанным их пресечь.

Кто знает, как далеко могла посягнуть его злая воля? Ведь говорил же он не раз: «Если имеющий высшую власть от нее не откажется, можно его к отказу принудить».

Послышался легкий шорох, будто кралась кошка. Я глянул в просвет. Это был Мосеич.

«Что ему надо здесь?» — подивился я, и мне вдруг стало страшно.

Мосеич подошел к домику, где сидели молоденькие голубки, вытащил одного, свернул ему шею, другому и третьему. Лицо его было отвратительно, как у колдуна из «Страшной мести». Как у того, нос Мосеича показался мне больше обычного. Из плотоядно приоткрытого рта глядел желтый клык. Длинные, не по росту, руки с костлявыми пальцами вдруг мертвой хваткой зажали трепетной птице клюв и головку. Как штопором в пробке, он крутнул сизой шейкой раз, два; хрустнули позвонки. Старые голуби вздымали крыльями и курлыкали с жалобою несказанною.



Негодование мое было так велико, что я было двинулся схватить негодяя за шиворот, как внезапно он сам, подхватив мертвых голубей, юркнул в дальний угол. По лестнице взошли Вера и Марфа.

— Ахти, беда! — воскликнула Марфа и кинулась к дверце голубиного домика, которую Мосеич не успел захлопнуть. — Опять трех голубочков унес, дьявол горбатый!

— Кого ты бранишь? — спросила Вера.

— Карла Мосеич голубкам свернет шейку да съест. «Вкусней, говорит, чем цыплячье!» Хуже этого дьявола никого нет на свете, барышня; ведь это он барина подучает...

— Низкий человек, — вспыхнула Вера. — Но оставим его, нам с тобой время дорого; брось голубей, сядь ко мне.

При всем моем волнении я не мог не оценить и не запомнить навсегда восхитительной картины, которую увидел. Как в Рембрандтовом освещении, прорезывая окружающую мгlistую тьму, через слуховое окошечко на головы Веры и Марфы упал золотой солнечный луч. Тонкое лицо Веры, охваченное внутренним возбуждением, как ангел Страшного суда, и сейчас сияет предо мной своими непреклонными взорами, а девичья небольшая рука ее легко лежит на золотой волне густых и пышных волос Марфы, русской красавицы в белой шитой рубахе и излюбленном в наших местах синем кубовом сарафане. Они условились бежать нынешней ночью. Петр, один из старших конюхов, должен был выкрасть пару вороных, запрячь шарабан и ждать ночью за околицей. Марфа под вечер, как старый Лагутин любил, должна была принести ему в спальню после ужина графинчик вина, куда будет подсыпан сонный порошок, чтоб избежать ей ночного плясання.

Вера была немногоречива и покойна. Весь план у нее был твердо обдуман.

— А дальше, барышня милая, куда денемся?

— Дальше в Лесное, под Петербург; там нас укроют, пока не приедет Линученко. Сейчас мешкать нечего. Выпускай голубей и беги ко мне в комнату. Только б вырваться на свободу. Не пропадем...

— За вами, барышня, в огонь и воду! — сказала восторженно Марфа.



Вера встала и пошла к лесенке. Когда она нагнулась, чтоб сойти на ступеньку, ее легкий газовый шарф скользнул мне по лицу. За нею спустилась и Марфа, а освобожденные голуби, оттолкнувшись красными лапками от деревянных домиков, взвились над березами.

Я сидел неподвижно, потрясенный всем слышанным. Какую силу над Верой имел Михаил!..

Два месяца тому назад он — незнакомый ей человек, сейчас заставляет порвать навеки со старым отцом, с родным домом и бежать с челядью путем вероломных обманов. А я, друг ее нежного детства, как от первого ветерка пух одуванчика, вылетел вон из ее памяти.

— *A la bonne heure*<sup>1</sup>, — сказал вдруг голос Мосеича, — вот нежданная дичь! — И с любезностью, какую позволяло его безобразие, прибавил: — Не спрашиваю вас, сударь, о том, как вы попали сюда. Надеюсь, мы с вами единомышленники по поводу заговора юных дев. Все, вплоть до сонного порошка, как в мелодраме, — невинный результат французской библиотеки отца! Мы, для благополучия героинь, разумеется, должны помешать им разыграть пьесу в жизни. Что, впрочем, будет тоже «по пьесе». Извините, мой галльский вкус к остроумию не покидает меня ни при каких обстоятельствах жизни.

Мне был отвратителен сей Квазимодо, но я должен был с ним согласиться в желании помешать ночному побегу. Мысль, что Вера совсем уйдет к Михаилу, мне темнила сознание, лишала рыцарских чувств.

— Сейчас ни звука, мой друг, — зашептал мне горбун, — положитесь во всем на меня. Пусть злой похититель уедет в надежде свидания, а героиня со златокудрой наперсницей приготовит все к бегству из отчего дома. Пусть попробуют; мы их у околицы хлоп, — и в мышеловку мышат. Мы их допустим, *mon ami*<sup>2</sup>, на шарабанчик к Петру, с узелочками, с сувенирами; а чуть кони с места, верная стража — наперерез с фонарями и гиканьем. Можно ракету-другую пустить, от помолвки остались! Хе, хе... Невеста, разумеется, в обморок, ее в девичью светлицу на замок.

---

<sup>1</sup> В добрый час (фр.).

<sup>2</sup> Мой друг (фр.).



Петра, по обычаю здешних мест, на конюшню, а рыжую Марфу...—лицо Мосеича стало как у мерзкого павиана,—разверстка по чинам! А утешителем при героине опять вы, как было раньше,—один.

— Негодяй! — сказал я, дрожа от бешенства.— Я не участник в издевательствах.

— Это вы? — Мосеич попятился к слуховому окну и на всякий случай первый спустил ноги наружу, на перекладину лестницы.— Вы, сударь, участник решительно во всем, от вас первый толчок к семейной драме. Вы предали Бейдемана, раздавив его «Ко-ло-колом». Не правда ли, для Китая то был бы недурной ка-ламбур?

Я кинулся к лестнице и крикнул ему:

— Что вы сделали с журналом?

— Ничего плохого, я передал его в сохраннейшую из библиотек, в отцовские гневные руки Эраста Петровича.

— Куда вы меня вовлекли!.. — вырвалось у меня.

— Полно, *mon cher*<sup>1</sup>, вы не малолетний.— Мосеич уже не скрывал презрения.— Но, по русской пословице, вы хотите, чтоб у вас рыльце не было в пуху. А я, сударь, и для своего стола имею мужество собственноручно свертывать голубкам шеи. Что же, еще не поздно,—сказал этот дьявол, и опять он сказал правду,—идите, предупредите Веру Эрастовну!

Он не сомневался в моей низости.

Когда я сошел вниз по чердачной лесенке, яркий день ослепил меня. Серое небо сменила сплошная синяя эмаль. Я побрел к усадьбе. Дойдя до скамьи, откуда издали было видно поросшее диким виноградом окно девичьей спальни Веры, я свалился без сил. Всю ночь я не смыкал глаз. Пережитые волнения были слишком сильны. Если б сейчас Михаил оказался рядом и спросил меня, что со мной, я, не думая о последствиях, рассказал бы ему решительно все.

За кустом в ручье щелкали утки, ловя червяков; стадо коров, тяжело топая, прошло к водопою. Слабо звякнули бубенцы, к крыльцу подкатила тройка. Я сообразил, что это для Михаила, который, попрощавшись со всеми еще с вечера, торопился попасть в город к поезду, чтобы в последний день отпуска повидать еще свою старушку мать в Лесном.

---

<sup>1</sup> Мой дорогой (фр.).



Вдруг из плотных кустов буксуса, росших прямо под окном Веры, как из-под земли, показался Михаил. Он был в шинели и фуражке. Сорванным прутом он легко постучал в ставень. Конечно, его стука ждали: окно распахнулось, и Вера, в розовом кисейном капоте, сияющая, ликуя в ответ солнцу на чистом, без облака, небе, протянула ему свои тонкие девичьи руки. Михаил ловко прыгнул на подоконник. Они обнялись.

Решительно судьба надо мной издевалась: в том, что ночью я лишь угадывал по слуху, сейчас должен был воочию убедиться.

Вера что-то долго шептала Михаилу — верно, рассказывала про побег. Он торопил ее, оглядываясь по сторонам; он боялся, что их заметят, раза два глянул в моем направлении. Я был от них скрыт густой беседкой сирени, но мне-то они были видны сквозь небольшой просвет.

Они прощались так весело и были полны таких непреложных надежд, что я не заметил и тени боли, этой неизбежной спутницы любви при малейшей разлуке.

Он спрыгнул с окна, обернулся. Она ему махнула оставленной им веткой и долго смотрела на дорогу, пока не улегся последний столб пыли, взметенный умчавшейся тройкой. Не отрывая глаз от нее, я видел, как она все с той же победной, ликующей улыбкой ушла в глубь своей комнаты. Если б она знала, что в это сияющее утро она видела Михаила в последний раз... Впрочем, нет: она увидала его еще однажды. Но это уже был не он.

Мой отпуск кончался через несколько дней, но я не мог выдержать так долго пытки. В доме было напряженно, как перед грозой. Старик Лагутин сказался больным, и Мосеич от него не выходил; очевидно, обдумывали вместе ловушку. Вера появлялась, как лунатик, видимо, отсутствуя где-то чувствами, и все больше сидела, запершись с Марфой; как потом оказалось — отбирала все ценное для побега. Улучив минуту, я подошел к Вере и сказал:

— Прощайте! Я ухожу на охоту, и, чего доброго, завтра не удастся попрощаться. Вы спите долго, а мне ехать зарей, как сегодня Михаилу.

Я нарочно подчеркнул последнюю фразу, я с вызовом смотрел на нее, я внутренне молил ее обеспо-



коиться моим возбуждением, задать вопросы, потребовать ответа. Кто знает, хоть минуту обрати она на меня лично внимание, я, может быть, ей рассказал бы про Мосеича... Я бы не знал удержу в благородстве, я бы создал новый план бегства, я сам бы помог его выполнить! Кто же знает всю глубину низости и всю высоту подвига самоотвержения собственной таинственной природы?

Вера насторожилась при имени Михаила, но тут же, должно быть, привычно учтя мою недалекость и постылое «благородство», решила, что подчеркивание случайно, рассеянно сказала мне: «Вот как! Ну, прощайте»,—и ушла к себе на зов Марфы.

Я схватил ружье и пошел куда глаза глядят. Целый день пробродил я, ничего не убив, да и было мне не до охоты. Сам, как смертельно раненный зверь ищет место, где бы ему приткнуться и зализать свои раны, я со стоном прометался по чаще всю ночь, и на заре, охваченный мучительным беспокойством относительно судьбы Веры, с чувством вины перед ней и презрением к себе, подходил я к усадьбе Лагутиных.

Вдруг из конюшни, мимо которой лежал путь, донеслось нечеловеческое рычание. Я прислушался: хлест плети и оханье после удара, как от поднятия тяжести, без слов объяснили мне о производимой там мерзостной экзекуции.

— Стой! — раздался голос Мосеича. — Он не дышит. Окати его водой.

Я изо всех сил дернул дверь, сорвал ее с петель и вошел. На скамье лежал туго связанный, смертельно бледный Петр. Он был без сознания. Его здоровое голое тело было вздуто сине-багровыми рубцами и залито кровью.

— Мерзавцы, вы его забили до смерти!

— Последнее всыпали,—сказал равнодушно огромный мужик. — Пуцай отлежится.

И он стал обтирать трехконечную плеть от крови.

Мосеич, сощутив ядовитые свои глаза, закурил трубку.

— Сорвалось,—сказал он. — Всем трем голубкам свернута шея!

— Что с Верой? — крикнул я.

— Королева под крепким запором, хоть и не в круглой башне, но едва ли сбежит. Старый король с



большим вкусом воскресил этой ночью рождение Афродиты из пены морской при участии рыжей Марфы.

— Что решил он для Веры Эрастовны?

— Нечто вам приятное. Выдать ее немедленно за князя Нельского. Он вдвое старше, и молодой утешитель будет хорош...

Я пощечиной свалил дьявола с ног и побежал к дому. Был очень ранний час. Двери и ставни заперты. Я подтянулся на руках, как вчера Михаил, к подоконнику Веры и постучал кулаком в ставень. Не сразу чуть приоткрыла его старуха Архиповна. Она замаха-ла на меня:

— Погубишь нас, уходи, стерегут...

Послышался голос Веры, она спрашивала, кто говорит. Архиповна опять высунулась, оглядываясь кругом, и шепнула мне:

— Жди в кусту.

Как заяц, я прыгнул в густую акацию, и вовремя. Гришка-цыган, приспешник Мосеича, с дубиной выскочил из-за угла и крикнул:

— Кто здесь?

Целый час просидел я в засаде, пока Гришку не позвали в людскую и сменить его под окном пришел Кондрат, молодой славный парень, с которым я ходил в ночное. Он был мне очень предан, и я хотел выкупить его у Лагутина.

— Кондрат! — крикнул я.

— Что вы, барин! — отмахнулся он. — Меня заперют, если вас допущу...

Сморщенная рука няни Архиповны, с красной шерстинкой от ревматизма, высунула письмо из окна.

— Кондрат, дай скорее письмо, — попросил я.

Кондрат оглядел зорким глазом вокруг и, взяв у няни конверт, отдал мне. Я скрыл его на груди. Ставень захлопнулся.

— Как было дело, Кондрат, скажи в двух словах?

Кондрат рассказал, что Марфа под вечер принесла старику Лагутину вино, куда барышня сыпнула сонного зелья, а как барин про всю затею уже знал от Мосеича, то графинчик он обменял другим, заготовленным. Марфе плясать приказал, а сам притворился, что засыпает.



Марфа, уверившись в его сне, побежала к барышне, и обе, схватив узлы, за околицу. А уж там Петр ожидал их с коляской. Только сели, Эраст Петрович им наперерез, да с револьвером. Хоть стрелял он в воздух, а обе со страху сомлели. Петр ударил по коням, да куда против скакунов... Тут его, раба божьего, спéшили, связали по рукам и по ногам и Мосеичу сдали, заплечных дел мастеру. Барышню на руках в светлицу внесли, с нянькой заперли, а Марфу — всю ночь плясать...

— Пляши! — кричит барин. — Пока пляшешь, Петра пороть не велю, а как присядешь — начнется работа! До утра буду взбадривать. А ну-ка, сократи ему срок!

Всю ночь, как ведьма на шабаше, плясала Марфа, пока, словно сноп подрезанный, не свалилась. Сейчас больная лежит.

— Идите, барин, от греха...

Кондрат, завидев сторожа, отскочил от меня, а я пошел заказывать лошадей.

Верино письмо не было запечатано. Я так мало был для нее человек, что не стеснял ее в проявлении самых заветных чувств. На преданность мою и великодушие она, по-видимому, надеялась совершенно.

Как оскорбительно и опасно для человека то, что люди именуют уважением и что на деле — лишь величайшее равнодушие при удобном для них признании тех или иных возвышенных качеств души! Но ведь от бездушности признания человек немедленно теряет все эти качества, чем, конечно, печально свидетельствует, что совершенное бескорыстие, ради самой красоты поступка, является уделом лишь самых немногих избранных.

Вера описывала Михаилу неудачу побега, равно как и причину, побудившую ее не пытаться что-либо предпринять без договора с ним. Отец явился к ней с листами «Колокола» и с заявлением, что он представит начальству Михаила все дело как совращение дочери в политических видах.

У Веры был страх, что Михаил при своей горячности станет открыто говорить о своих убеждениях, чем немедленно лишит себя свободы, а с ней и действительной работы для дела революции.

«Впрочем, — заключила она, — если находишь нужным себя обнаружить и пасть сейчас, застрельщиком



дела, то умоляю лишь об одном: не забыть и меня взять с собой. Ведь мы соединены навеки...»

Тут следовали такие признания любви, которых я сам и в мыслях не посмел бы сделать Вере.

И она даже не сомневалась, что такое письмо я передам! Так напрасно же она не сомневалась!

## Глава VI

### КРУГЛАЯ КОМНАТА

Какие дожди этим летом! С холодной зимы не отогреться. Я ухитрился подшить под валенки по куску линолеума, чтобы не промокли: калоши — не по карману. Девочки очень смеялись, однако помогли.

И сколь счастливы их ручонки; денег набрал я, как никогда. Жалели проходящие старика: под дождем, а в валенках, и с подметкой из клетчатого линолеума.

В сущности, люди больше художники, чем они это думают. Их трогает не сама нищета, а лишь ее новый, живописный оттенок.

Когда я шлепал по лужам в прежних намокших валенках, мне было куда хуже, а давали-то меньше. А сейчас, с этой остроумной заменой калош, когда я выиграл в смысле здоровья, в придачу и люди на меня умиляются и дают вдвое больше.

Купил я к хлебу полфунта костей в мясной. Девчонкам я купил по конфетке ирис; спохватился, да поздно, что мальчишки с лотками их для блеска облизывают языком. Ну, ничего, обварю кипятком, будто нечаянно; съедят девочки на здоровье.

Приехал домой я сегодня в трамвае. Сидя в углу, я читал объявления о разоблачении плутней гадалок и гипнотизеров каким-то заезжим профессором психологии. Я вспомнил вдруг Париж и гадалку m-me де Тэб. У нее в приемной комнате висел гипсовый слепок одной руки, такой мне знакомой по карточной игре. Я всмотрелся и говорю: «А ведь это рука генерала Д.». Де Тэб как привскочит:

— Как вы узнали? Дайте-ка мне вашу.— И вдруг грустная стала, чуть не плачет:— Ужасная ваша судьба...

Я пристал:

— Расскажите.



— Большой художник в вас погиб,— сказала она.— А если человек убьет данного ему художника, в нем неизбежно возникнет злодей: таковы законы духа. Ну, это ваше прошлое...

А про будущее она, уступая моим настояниям, сказала, бледнея, в ответ на вопрос, какою смертью мне суждено помереть:

— Вы умрете, сударь, от истощения, после невыразимых мук одиночного двадцатилетнего заключения и сумасшедшего дома.

Нынче мне восемьдесят три года. Если даже сегодня, придя домой, я буду посажен в тюрьму, то и в безумном состоянии прожить еще двадцать лет и умереть ста трех лет от роду едва ли вероятно.

Да, с предсказанием m-me де Тэб, как говорили у нас в корпусе, села в лужу. Кто тронет нищего старика?

Я не мог писать эти дни. От дождей вспыхнул ревматизм. Я, как больной зверь из берлоги, смотрел в непроглядное небо, ожидая солнышка.

Завтра первое мая, день навеки мне памятный, когда я сделал свой второй шаг на пути гибели Михаила. Первый шаг, если читатель помнит, свершен был в беседке, когда я в руки Мосеича передал заграничный журнал «Колокол». О последствиях этого дела скажу в этой главе, но прежде для себя самого надлежит занести мне ближайшее: первомайское торжество в шестой год революции.

Еще накануне сеяло весь день, словно из сита, и девочки наши всплакнули, что не удастся им завтра справить праздник. Однако первого мая солнце вдруг вышло такое пышное, жаркое, как в лучший день июля. Девочки весело щебетали, нацепляя друг на друга красные банты; старик Потапыч надел сбоку коммунистический знак: серп и молот на красной звезде. А в красный галстук воткнул он булавку с портретом товарища Ленина.

Я смотрел, как Потапыч брился и надевал эти новые знаки, признак окрепшей власти.

Все ушли из дому; я—один. Девочки со своей школой уехали на грузовике, увитом еловыми ветками, с огромными плакатами о преимуществах грамоты над темнотой.

Старик Потапыч тоже идет нога в ногу с «работниками просвещения» — он числится сторожем в Наробразе. Уходя, он сказал мне с гордостью:



— У нас свое знамя, отменной вышивки. Обратите внимание: колосья на вишневом бархате и лозунг...

Я не долго оставался один. Кряхтя от высокой лестницы, взгромоздился Горецкий. Любопытнейший старик, любит зрелища, а у нас окна на Невский, и к тому же с птичьего полета.

Горецкий окончательно впал в детство: он прежнее все забыл, живет последней минутой. Прежде всего он спросил, есть ли сахар и не вредно б чайку... Пили вприкуску — такова стала роскошь. Впрочем, это заветный, припрятан у меня для девочек.

Горецкий с жаром описывал, какие пойдут процессии и инсценировки. Ему посетители нередко оставляют газеты и болтают со словоохотливым стариком.

Видя превосходное состояние здоровья Горецкого по сравнению с моим, я взял обещание со старика, что он, в случае моей смерти, записки мои передаст по назначению. Он долго упрямился, говоря, что у него нет свободного времени, но за фунт махорки согласился, что, в случае чего, снесет мое писание в редакцию сам.

Вдруг ударили трубы: от Николаевского вокзала по всему Невскому широко протянулась процессия. Шли рабочие, шли войска, шли дети. Шел просто народ и праздновал свой праздник. Посреди на грузовике — огромных размеров земной шар. На нем красной краской среди голубых морей отмечены революционные земли, где революция уже совершена или ожидается. А вместо экватора подвижной пояс с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И когда вокруг этой громады хор чистых девичьих голосов выкликнул тот самый призыв, который, бывало, с такой горячей верой в грядущее мне шептал Михаил, мне чудилось: незримый, он тут. Надо признаться, что было и чувствительно и прекрасно. В другом грузовике, громадной калоше, — веселая буржуазия всех стран. Из калоши — обмен острословия с окружающими, ко всеобщему удовольствию.

А в стройных колоннах — войска. На войсках отлично пригнана форма с разноцветными петлицами. Все они в шлемах, как витязи. Опять понабрались откуда-то рослые молодцы... Не оскудевает Россия! Давно ли поля битвы усеяны были лучшими бойцами, а она уже, гляди, — как целина, напоенная солнцем, не устает выгонять стройный колос, — опять выгнала новых в ряды.



От духовой музыки охваченный воинским пылом, мой бедный Горецкий вдруг вспомнил про прежнее.

— Сережа, порой я от старческой злости ведь вру. Я сторож... А ведь аул-то Гильхо взят был мной, мной!

Он было всхлипнул, но тут же, ликуя, как будто и он участник первомайского торжества, вдруг сказал мне:

— Ага, теперь, небось, можно так, теперь и с красными, со знаменами, а прежде-то, прежде?

Меня взорвала его безответственность.

— Дурак! — сказал я ему по-старому. — Да из-за кого же нельзя было, соломенная голова? Из-за таких вот, как ты да как я. Протестовал ты, когда вешали террористов, когда гнали в тюрьмы? Ты, братец мой, одобрял.

— Ну, *mon cher*, — сказал он, не смущаясь, — это другое дело, террористы хотели применять насилие...

Я с ним не стал разговаривать. Старик явно сходит с ума. К тому же он так радовался, что у милиции новая красивая форма, черная с красным воротом, и сшита по росту.

— *Mon cher*, у нас снова полиция, и насколько приличнее прежней, *ma foi*<sup>1</sup>, — европейская. О, если б я знал, что будет так, ни за что я бы не саботировал! И они, между нами говоря, поторопились истреблять нас. Сразу надо было нас кооптировать... Впрочем, я не ропщу: мое место тихое и, так сказать, са-мо-державное. Сам себе голова, и канцелярии... хе-хе... никакой.

Я устал от Горецкого и обрадовался, когда он стал уходить. Но, тут же устыдясь, что тягостен мне этот последний родной человек, я сам вызвался его проводить.

Идя обратно, вовлекся я в общий поток и со всеми попал на эту роковую для меня площадь Урицкого. Несметная толпа народу в образцовой тишине и порядке слушала речи высоко на трибуну взошедших ораторов. А когда вознесли и развернули пурпурное знамя, грянул из тысячи уст «Интернационал».

Что действительно видел я и что мне пригрезилось? Не на этой ли самой площади, неотделимый от слова «Россия» — казалось — навеки, мощно звучал иной

---

<sup>1</sup> Честное слово (*фр.*)



гимн? И давно ль это было? По времени — краткое пятилетие, по пережитому — века. И вот таким же неотъемлемым от страны стал «Интернационал».

Девочки вернулись веселые, с гостинцами, а Иван Потапыч явно выпивши.

— Угостили кооператоры пивом, не товарищески отказаться, — объяснил он свое состояние.

Снимая свои новые значки, Иван Потапыч, желая праздник Первого мая утвердить в домашнем быту, крикнул громко, как на улице: «Да здравствует красный пролетариат!» Затем, облекшись в халат и позевывая, нимало не шутя, спросил у девочек:

— А долго ли протянутся царские дни?

Младшая, Сашенька, с досадой сказала:

— Вот еще выдумал: про-тянутся! Завтра же уроки.

Революция решительно стала бытом. И как скоро! Дольше зарастает молодняком старый, с корнем выкорчеванный лес. Отстоялись и становятся милыми новые формы. Из-за чего же, спрашивается, из-за чего столь бесславно погиб Михаил, а я дожил? Не я ведь, а он хотел этих форм.

От солнечного ли дня, от музыки ль и чужой бодрости, но утих мой ревматизм. Когда наутро все ушли, я, как назначено, сел за тетрадь. На чем же я остановился в повести о Михаиле? Да, на письме, данном Верой с такой уверенностью в передаче...

Я не передал этого письма. Оно и сейчас со мною.

Письмо это — моя улика, мое сокровище, мой позор и оправдание. Выцветшее от времени, со следами горьких слез, оно пусть пойдет со мной в могилу.

Как же это вышло, что такого важного письма для судьбы Веры и Михаила я не отдал?

Как и всегда в таких случаях, моя злая воля как бы создала и благоприятные к тому обстоятельства. Вернулся я из отпуска в срок, а Михаила все не было. Оказывается, он днем просрочил, в оправдание чему представил медицинское свидетельство, которому, разумеется, никто не доверял, но по форме так водилось.

Я же, к своему удивлению, оказался вдруг настолько больным от всего мною пережитого, что вечером, за всеобщей, упал в обморок и, будучи отнесен в лазарет, оказался в нервической лихорадке. Когда



меня раздевал служитель, письмо Веры, хранимое на груди, я успел сунуть в ящик больничного столика и впал в трехдневное беспамятство.

Первое дело, когда я очнулся, было проверить, тут ли письмо, и еще сохраннее спрятать его в ящик под разными туалетными мелочами. Через неделю ко мне пустили товарищей, пришедших меня проведать; между ними был и Михаил. Это было — навсегда помню — первое мая. Оставшись один, он спросил: что случилось в Лагутине и есть ли ему письмо? Я молчал, как бы собираясь с силами, а у самого молнией пронеслось в голове: если скажу, что побег не удался, он найдет способ подвигнуть Веру на поступки чрезвычайные, а я сейчас распростерт и бессилен охранить ее. И, притворяясь более больным, нежели был, я сказал ему:

— Я подробнее расскажу все позднее. Особенного ничего не случилось. Вера пока у себя в имении, на днях же тебе вышлет письмо, а со мной не успела; я уехал внезапно по вызову тетки.

Так велико было невнимание Михаила к моей личности, что, приняв меня однажды за готовую схему, он себе не дал труда всмотреться в меня как в живого человека.

— Нет письма,— сказал я.

Вот оно — и сейчас тут! Голубоватый конверт, вложенный в большой полотняный, прочнейшего качества. И Михаил, и Вера истлели, даже вещи Михаила, пробывшие, как и он, в заключении двадцать один год, по донесению коменданта пришли в ветхость и по его предписанию были уничтожены сожжением в присутствии двух жандармских офицеров, а письмо это цело.

Не отдав письма, я решил окончательно не говорить всей истины, и, выйдя из лазарета, в единственном разговоре, которым меня Михаил удостоил, я был уклончив, отзывался неведением, пребыванием на охоте.

Между тем был конец мая, день производства в офицеры близился. День этот для каждого юнкера — необычайное торжество и в некотором смысле единственный, неповторяемый день в биографии.

Впоследствии для военного многие дни могли быть счастливее и торжественнее, как, например, получе-



ние за храбрость Георгия; но более разительному психологическому переходу из одного состояния в другое — не повториться.

Производство — это как бы посвящение в рыцари. Вместе с погонами офицера вчерашний юнкер должен был спешно усвоить себе целый курс особой офицерской тактики и знания законов офицерской чести, прав и обязанностей. Этот сложный кодекс был своеобразен и часто прямо противоречил кодексу общечеловеческому.

Этот наш особый уклад был не однажды описан писателями, и я упоминаю о нем лишь потому, что столько лет был он мне как цыпленку скорлупа, охватывающая все, что необходимо для его питания и роста. Но цыпленок, коль скоро он разбил скорлупу, уже на ногах. Я же из разбитых осколков не знаю, куда мне ступить.

На производстве был государь. Он нас поздравлял и целовал фельдфебеля и портупеев. Я обратил внимание на то, что Михаил смертельно бледный, не сводил горящих взоров с царя. Он был портупей-юнкер. Когда государь слушал рапорт фельдфебеля, он встретился глазами с Михаилом. Я видел: что-то дрогнуло в его лице; он его узнал. Царь повернулся и заговорил с Адлербергом. Я потом узнал от его племянника, моего товарища, что царь спросил: «Кто этот юнкер?» Услыхав фамилию, как бы боясь забыть, он повторил ее дважды: «Бейдеман, Бейдеман». Потом прибавил: «Пренеприятное лицо!»

Михаил вынул носовой платок и, приложив его, как бы удерживая внезапное кровотечение, вышел. Он не хотел принять поцелуя.

Когда прошли мы в столовую на парадный обед с военной музыкой, не утерпел я и сказал Михаилу:

— Что это ты, при общей радости, как некий Мельмот-скиталец, таящий зловещую тайну?

— Не всегда будет тайной, дай срок; но зловещей кое для кого останется!

И вдруг, приблизившись, он быстро спросил:

— А ты мне правду сказал, было мне письмо от Веры?

И второй раз я постыдно солгал, опуская глаза:

— Да, карандашом были две строчки, даже незапечатанные, но, прости меня, в болезни я его потерял и



по слабости не мог признаться. Но я рассказал тебе все, что знал, и, если б захотел, ты бы мог действовать.

— Со связанными руками? — в бешенстве прохрипел он. — Но знай, однако: если письмо не потеряно, а ты мне солгал и от этой лжи пострадает наше с Верой дело, я убью тебя.

— Предлагаю хоть завтра дуэль, — сказал я.

Мы не могли оторваться друг от друга. Михаил опомнился первым.

— Прости! — сказал он. — У меня порой чувство, что ты мне будешь причиной великой беды. А на дуэли драться не стану. Моя жизнь нужна делу.

Я был почти счастлив. Михаил стал меня замечать. Дивно устроена природа всех склонных к художествам! Я понял, что не только Вера, а и сам Михаил мне, пожалуй, не менее дорог.

Осмелев, я спросил:

— Ну, а если затронут твою честь офицера, ты и тогда не пойдешь на дуэль?

Он сказал задумчиво:

— Моя честь — честь человека, а не офицера.

— Тогда ты не сможешь и месяц прожить в полку!

— А кто тебе сказал, что я там собираюсь жить?

Под вечер из залы собрания, где предполагалось изрядное вспрыскивание производства, я был вызван вестовым, который сообщил мне, что меня дожидается пришедший с письмом нижний чин, никому не известный. Я вышел в переднюю, и немалым было мое изумление: передо мною стоял Петр, муж красивой Марфы. Хотя смотрел он очень бодро и вытянул руки по швам со столичной выправкой, в моем воображении встало лицо его, тогда на конюшне, мертвенно бледное, и ужасная спина: вся иссеченная, синебагровая. И потому невольно первое, что я спросил его, было:

— Ну, как же ты, поправился?

— Да, с недельку валялся, вашбродь, а потом лоб забрили и сюда, в гвардию. От барышни нашей два письма — к вам и поручику Бейдеманову.

Михаил был у дверей: услышав свою фамилию, он подошел, взглянул на Петра, вмиг узнал его, вспыхнул, потом побледнел, молча протянул руку за письмом Веры.

— Когда поручик Русанин тебя отпустит, найди меня в библиотеке, — и он спешно ушел.



Петр рассказал мне, что Вера вышла замуж за князя Нельского. Марфа, которую Вера выпросила у отца себе в дар в счет приданого, тоже прислала весточку, где говорит, что молодые собираются за границу, куда хотят взять и ее.

Я не верил ушам, переспрашивал много раз, но Петр подробнее не мог рассказать. Его скоро отправили в полк. Впрочем, он утверждал, что Вера спокойна.

С князем, который женихом приезжал очень часто, охотно и подолгу они все о чем-то говорили, гуляя по темным аллеям сада.

В письме Вера прежде всего настойчиво просила меня взять Петра в денщики. Потом она кратко упоминала о том, что вышла за князя Нельского потому, что он оказался ей неоценимым другом. Скоро они действительно едут за границу, через Петербург, где Вера надеется меня видеть. Затем следовали ласковые слова, от которых я давно отвык, с повторением просьбы о Петре. Я обещал ему немедленно начать хлопоты и провел его в библиотеку к Михаилу. Скоро из дверей они вышли оба, причем у Михаила был такой ликующий вид, будто вовсе не князь Нельский, а сам он женился на Вере.

— Прощай, Русанин! — сказал он мне. — Я на попойке не буду, у меня времени в обрез. Сегодня же я должен ехать в Лесной, меня матушка не дождетсЯ. А тебе на прощанье два слова...

Он вспыхнул и остро мне глянул в глаза.

— Ты мне солгал, от Веры письмо ко мне было. И далеко не в две строчки. Но хорошо то, что хорошо кончается. А сейчас для нашего общего дела вышло так, как лучше нельзя и придумать.

— Для дела... — начал я и запнулся, не dokonчив мысли, что сама, значит, Вера ни на что ему не нужна. Впрочем, я был этим счастлив. Этот фанатик, очевидно, любил только мгновением: не сам ли он признавался Вере, что женщине не принадлежит в его жизни решающая роль? Не сам ли он намекал на трагический случай, что любимую чуть не убил, едва она взяла над ним власть? Впрочем, может быть, он рисовался и сочинял... Однако я тогда же спохватился, что на лгуна он совсем не похож, а изумительная соподчиненность наших двух судеб заставила меня своим опытом проверить и это его приключение. Но об этом много позднее...



Михаил своей легкой, стремительной походкой пошел к воротам по длинному плацу, облитому заходящим солнцем, пожаром зажигавшим все стекла кирпичных строений. Михаил шел в таком пламенном освещении, что дежурный, уже сильно подвыпивший, глянув в окно, крикнул вдруг: «Пожар, братцы!» — на что ему, не оборачиваясь, ответили: «Знай себе, заливай глотку!» — и хором грянули застольную.

А мне стало вдруг как-то особенно тяжело глядеть вслед высокой фигуре Михаила, сиротливо убегавшей вдаль среди нестерпимо сверкавших окон, в кровавом свете заката, что я, повинуюсь вдруг неодолимому желанию остеречь его от чего-то, схватил фуражку и кинулся ему вслед...

Догнав Михаила, я сказал:

— Позволь, я провожу тебя до почтовой кареты, мне приятно пройтись.

— Что же, проводи, — отозвался он дружески.

Мы двигались молча. Так вдруг стало радостно, как было у нас в дни первых встреч и как давно уже не было. Мы дошли до Полицейского моста, где Михаилу надо было что-то купить. В это время поравнялся с нами шедший нам навстречу некто штатский средних лет, в бороде, не слишком хорошо одетый. Он был мне знаком, но сразу я не мог припомнить, где мог его видеть.

Пристально вглядываясь в Михаила, штатский сказал:

— Здравствуйте! Что же вы не зашли? А я ждал, что зайдете...

Это был Достоевский.

Меня он было совсем не заметил, но, спохватившись на мой поклон, с преувеличенной любезностью сказал:

— Вы, кажется, тогда вечером были также в салоне графини?

— Графиня Кушина — моя родная тетка, — глупо ответил я, чем-то словно задетый.

Михаил был, видимо, взволнован этой встречей и молчал.

— Господа, — сказал Достоевский, — зайдите сейчас ко мне, не откладывая в долгий ящик, благо тут рукой подать.

У Михаила до отхода почтовой кареты в Лесной было еще много времени, а мне предстояла попойка



всю ночь, и начать ее часом раньше или позднее было мне безразлично. И мы оба пошли за Достоевским.

Когда мне впоследствии приходилось читать характеристику этого писателя и воспоминания о нем как о человеке, я был поражен той обыкновенностью, той бедностью наблюдения, какой отличаются люди. Они ловятся на маску, которую носит каждый мыслящий человек для удобства общения с себе подобными. Эту маску они принимают за лицо.

Мне пришлось вырасти в кругу, где видимость обманчива исключительно, где грубейшие по характеру люди и совершенные невежды в искусствах и науке обучались вести многочасовую салонную *causerie*<sup>1</sup>, умело касаясь всего, и заставляли предполагать не сказанным еще большее, между тем как сказанное ими было не более как та искусная театральная декорация с далекой перспективой, которая на самом-то деле заключается в небольшом куске картона и хитром расчете.

От этого опыта у меня выработалось совершенное пренебрежение, при серьезной оценке человека, к последней его работе, сделанной напоказ.

Должен сознаться, что из сочинений Достоевского я к тому времени не прочел ничего, и тем свежее и непринудительнее, как сейчас могу понять, было мое о нем впечатление. И всю жизнь мне чрезвычайно смешно, когда какой-нибудь недоношенный неврастеник со слезливыми чувствами воображает себя «под Достоевского».

Совсем обратными свойствами поразил меня этот писатель, когда я внимательно к нему присмотрелся.

У него в высшей степени было то качество, каким обладают очень немногие светские женщины, порой далеко не красавицы, но в них есть нечто большее, чем красота. В них очарование, бесспорно, решающее чужую судьбу.

После знакомства с ними все впечатления, получаемые вне их сферы воздействия, бедны и бледны. Их присутствие подымает, множит все силы, как шампанское бьет в голову, обогащает.

Тайну подобного обаяния ученые люди, вероятно, когда-нибудь вскроют, как присутствие в ином организме усиленных токов жизни.

---

<sup>1</sup> Беседу (фр.).



Воздействие Достоевского от присутствия в нем этого сгущенного эликсира жизни было так стремительно и незаконно, как свет прожектора, вдруг вспыхнувший и сразу же охвативший своими лучами предмет.

Быть может, люди не художнического склада, а сильные волей и мыслью, нечувствительны к подобным воздействиям; но я шел за Достоевским в величайшем волнении, похожем на ту утрату внешних чувств, которая охватывала меня, к примеру сказать, в императорском Эрмитаже перед иной из любимых картин.

Глянув на Михаила, я заметил, что взволнован и он, но по-иному. Его мужественное лицо как-то сделалось жестче, он весь подобрался, поправил лядунку, передернул плечами, как перед смотром, и стал ступать круче, отчеканивая каждый шаг.

— А ведь вы уже офицеры,— улыбнулся Достоевский,— а тогда были еще юнкера. Полагается вспрыснуть. У меня, кстати, недурное вино. Угощу вас им в замечательной комнате. Я здесь временно у приятеля, который сам за границей, пока в моей квартире ремонт.

Мы поднялись в четвертый этаж. По каким-то темным и мало хорошего обещающим переходам подошли мы к ободранной двери. Достоевский пошел рядом в чулан, за бечевку вытащил, как рыбу, дверную ручку, вставил ее в отверстие двери, повертил. Мы оказались в темной передней, заваленной подрамниками и дровами. При нашем появлении пискнули и прошли в угол две крысы.

Достоевский толкнул дверь, и мы вошли в удивительную комнату. Она была огромная и совершенно круглая. По внешней стороне, дугой огибающей проспект и канал с желто-зеленой водой, шли три больших окна. На одном, широко открытом, весь подоконник был в цветах благоухающего душистого горошка, как сейчас помню, одних лиловатых колеров. Этот первый план прекрасно совпадал с бесконечной перспективой на город. За нежными лиловыми цветами, как призрачное, возникало одно из чудес Растрелли — красный графский дворец. На фронтоне — две лисицы, взметенные на дыбы. В переменчивой игре заката они казались ожившими. Конечно, я



знал и названия пересекающихся улиц, и дома, но отсюда, с четвертого этажа, когда все окно охвачено пурпурно-золотым небом заката и все здания зыбки, я в этом городе чую острее гений строителей, и Петербург предстает мне нередко Италией.

Большой чаровник — час заката! Так однажды в Париже от Булонского леса я взволновался, как от овражков нашей скромной Смоленской губернии. Быть может, тоска эмигрантов по родине, во множестве там бродивших, мне навеяла это чувство.

Как бы отгадывая мои мысли, Достоевский нам указал на первые огоньки, задрожавшие в темных волнах канала, на длинную лодку под мостом и сказал:

— Ну, чем не Венеция! Впрочем, и действительность мечте не уступит. Лодку эту, полную глиняной самодельной посуды, привели из Череповца гончары. Уже раскупили. А вчера, под нежданно ярким солнцем, и наши горшки заиграли не хуже мозаики святого Марка... Однако присядемте, господа, и вспрыснем ваше новое звание.

Мы отошли от окна и сели на один из длинейших диванов, которые шли по окружности вдоль стен, совпадая с их выгнутой линией. Диваны перемежались с книжными шкафами. Посреди не было ничего. Матовый паркет, давно не натертый, но чистый, будто для сказочной игры, причудливо разбросал свои прекрасно сбитые ромбы. Под потолком висела люстра, тоже круглая, византийского стиля, с цветными лампадами вместо свечей. Достоевский налил нам в рюмки отменной марсалы.

— Я, знаете, просто по-детски рад, что у меня хоть временно эта фантастическая комната, — начал было он, но Михаил вдруг, особенно волнуясь, его перебил:

— Мне помнится, в первой главе «Униженных и оскорбленных» вы говорите, что хотите себе квартиру особенную, не от жильцов, и хоть одну комнату, но непременно большую... Еще замечаете вы, что в тесной комнате и мыслям тесно, а вы любите, когда обдумываете свои повести, ходить взад и вперед по комнате...

— Откуда вы знаете? Романа еще нет в печати...

— Наш профессор Селин хранил как-то ваши рукописи, я его секретарь, он давал мне прочесть.



— Как же, Селин, свойственник Герцена, очень, очень помню его... Но, однако же, вы произнесли слово в слово. Неужто так пристально читали меня? — удивился Достоевский.

— Мы, русские, иначе не умеем... все с головой. Я слышал, художник Иванов показался Штраусу сумасшедшим оттого, что его «Жизнь Иисуса» выучил от доски до доски и приставать вздумал к автору с такими вещами, о которых тот уж и думать забыл.

— Последнее вы предполагаете сделать со мной? — улыбнулся Достоевский.

— Вы угадали, — не улыбаясь ответно, сказал Михаил. Он стал очень серьезен. — Да, я именно пристально вас читал. И, мучаясь некоторыми мыслями относительно вас, я у вас же набрел на разгадку, на некое одно «кстати»...

— Любопытно, очень любопытно...

— Вы говорите, между прочим, следующее: «Кстати, мне всегда приятней было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их». И спрашиваете тут же: отчего это?

— Ну-с, и вы мне хотите сказать, отчего?

— Увольте... Уж это пускай вам говорит ваша совесть...

Я с удивлением взглянул на Михаила. Он сказал фразе почти грубо и совершенно, по-моему, неуместно. Что же в том плохого, если кто мечту предпочитает словесному выражению? На мой взгляд, это даже поэтично, ибо мечта — бескорыстней всего.

Но Достоевский не удивился. Он склонил голову и внимательно, будто собираясь чему-то учиться, как бы с особым уважением слушал Михаила.

Насколько Достоевский поразил меня в салоне тетушки своей угловатостью, настолько сейчас я пленен был его внутренней обаятельной деликатностью, с которой пытался он как бы расправить судорожность волнения Михаила, которое, казалось, он до тонкости понимал.

— Отчего вы ко мне не пришли до сих пор? Ведь это же не случайность? Ведь вы не хотели прийти ко мне?

Достоевский так говорил, будто одну за другой снимал ненужные перегородки и входил в человека так же просто, как входят в сад, отворяя калитку.



— Конечно, вы мне не чужой,— не подымая глаз, сказал Михаил,— но для моего дела... для моего дела... вы самый жестокий, самый вредный человек.

Михаил выговаривал твердо. Он весь насторожился, как некто на бойнице, окруженный врагами, но не готовый к сдаче.

Волнение его, хотя совершенно мне непонятное, как, впрочем, и весь разговор, передалось и мне.

— Так я и думал про вас,— как бы одобрил Достоевский.

— «Записки из мертвого дома» все завершили, они окончательно оттолкнули меня от вас. Конечно, человек себе сам судья, и — как я уже вам сказал — ваша совесть пусть и знает... Но вот аналогия: насколько, по собственному вашему признанию, вам приятней мечтать, чем писать, иными словами — приятнее оставлять при себе, нежели закреплять для других, другим отдавать свое внутреннее богатство, настолько же... Ну, словом, и с живой жизнью у вас тот же сделан выбор...

И, вдруг вспыхнув, Михаил отрезал с невыразимой горечью:

— Подешевле вы обернулись! И это с тем, что вы знаете, с тем, что вы видели!

Михаил встал и, не в силах говорить, отошел к окну. Я, смущенный, смотрел на Достоевского. И вот не забыть мне лица его в ту минуту. Сквозь большую, какую-то могучую древнюю скорбь, которая не оставляла лица его и при веселой улыбке, ему свойственной, вдруг проступила такая сияющая, такая любовная радость.

Достоевский подошел к Михаилу, а я остался сидеть на диване, прикованный взорами к их почти силуэтным фигурам на все еще розовом фоне окна.

Михаил был в том своем аффекте, когда, сжигаемый диким огнем, он уже не видел перед собой никого. Как стреле, пущенной из сильного лука, ему уже было только вонзиться, а не свернуть с полета...

— Когда вы выходили из каторжного острога,— уже не сдерживаемый загремел его глухой и глубокий голос,— когда вы прощались с почернелыми бревенчатыми срубами казарм, где вы с такой мукой отсчитывали по палям забора дни заключения, да неужто только гением вашего художественного дара



запомнили вы то, что оставляете там за собой, выходя на свободу? Я наизусть выучил этот кусок, вот он: «Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уже все сказать: этот народ — необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» И вы же, вы сами, еще раз с новой строки, для внимания читателя, еще переспрашиваете: «То-то, кто виноват?»

— Что же мне, по-вашему, надо было сделать? — очень тихо и бережно спросил Достоевский.

— Я знаю только, что надо делать нам.

— Кому это... нам?

— Нам, молодым! Молодые гибнут, не сходя с того места, где они увидели насилие. Им не передать устно свой опыт, им истратиться. Им лечь костью! Когда были мученики за Христа, небось во вселенских соборах нужды не было... Против зла и насилия жизни был, есть и будет выбор один — добровольная смерть за свободу. Посудите: зачем же было мне к вам приходить? Вы ищете примирения, вы ищете выхода. А нашему делу нужны непреклонность и смерть. Прощайте...

Михаил пошел к двери, Достоевский взял его за руку.

— Пойдите, я вам посвечу, в коридоре темно...

С разбитыми чувствами и ничего не понимающий, я безмолвно пошел вслед за Михаилом. Достоевский шел впереди со свечой. Свеча эта бросала дрожащий свет на ближайшие части стен и бессильна была разогнать ночные тени, сгущенные в многочисленных нишах, закоулках и пересечениях главного коридора. И как недавно Петербург из окна странной круглой комнаты мне вдруг почудился Италией, так сейчас эти чуть освещенные лестницы и переходы странного дома возродили во мне память о катакомбах, первых мучениках и гонителях.

Сейчас, когда передо мной лежат все события в их окончательном завершении, вижу ясно, сколь верное показание дали мне в тот вечер мои смущенные чувства. Поистине, как старший брат, давно приняв-



ший свой крест, светил «по пути узкому» Достоевский своему брату младшему — Михаилу.

А та круглая, необыкновенная комната, по справкам, мной о ней наведенным, от приятеля Достоевского очень скоро перешла в руки к некоей мадам Флоранс. Этой даме служила она вплоть до революции общей залой для девиц и гостей ее легкомысленного, но доходного заведения.

## Глава VII ЛИПЫ В ЦВЕТУ

Разумеется, согласно письму Веры, о Петре я стал хлопотать немедленно и успешно. Мне удалось перевести его в нашу часть и взять к себе в денщики. Относительно прочих событий я был в решительном недоумении.

Радость Михаила по поводу брака Веры с князем обличала, что брак этот вышел какой-то ненастоящий. Подчеркивание Веры, что князь оказался не-оценимым другом, указывало на какую-то особенность их отношений. Но поездка за границу? В том, что любовь Веры к Михаилу не прошла, я не сомневался нисколько; как же с этим вязался ее отъезд? Ведь Михаил не мог ей сопутствовать. Как офицер, он по крайней мере года на три был прикован к месту своей службы.

Скоро все объяснилось. Михаил Бейдеман исчез. Напрасно ждали его в драгунский Орденский полк, к сроку он не явился. Старушка мать его, которую он уверил, что на короткое время едет в Финляндию, не имея о нем никаких известий, обратилась с просьбой о розыске своего сына к главному начальнику военно-учебных заведений, великому князю Михаилу Николаевичу.

Жестокий, как все фанатики, Бейдеман не думал ни о ком из людей, с ним связанных. Он не пожелал войти и в положение своей бедной матушки. Иначе как могло не прийти ему в голову то, что пришло бы всякому на его месте? Ведь детская ложь его при разлуке с ней, как потом оказалось — навеки, должна была обнаружиться уже через несколько дней и повергнуть ее в худшее из беспокойств. В его воле было это лишнее страдание от нее отклонить; его мать



была особенная, мужественная женщина. Но он просто о ней не подумал, а сделал так, как ему было в данную минуту удобней.

А к Вере Михаил не поехал, чтобы не навлечь на нее подозрений и не помешать ее свободному выезду за границу, где она должна была съехаться с ним в Италии. О переходе Михаила через границу губернатор города Куопио сделал донесение финляндскому генерал-губернатору, чему имеются документы. Восстановляю события по ним.

Михаил поздно вечером остановился в одной гостинице, где переменялся с буфетчиком платьем, дав объяснение, что это нужно ему для того, чтобы наутро пойти на охоту. Но, уйдя утром, Михаил не вернулся совсем в гостиницу, а прошел пешком из Улеборга в Торнео. Больше властям в то время ничего не было известно.

Я всей душой рвался повидать Веру и собирался просить краткий отпуск по делам своего Угорья, как вдруг от нее самой пришла мне эстафета с мольбой ехать немедленно, по особо важному случаю. Я приказал Петру укладываться. В это время мне доложили, что меня спрашивает пожилая дама. Это была мать Михаила.

Никогда не забуду я этой старушки. Михаил был ее последним, поздним сыном. Несколько с виду чопорная, немецкой складки, она, в черном платье и белоснежных рукавчиках, поражала столь редким в женщинах отсутствием всякой суеты. Казалось, вся жизнь ее протекала в большой внутренней глубине, и наружу вырывались только те немногие слова и движения, которые были необходимы, чтобы общаться с другими. При этом невыразимая доброта сияла в ее прекрасных, еще ярко-синих глазах. Это не было то ни к чему не обязывающее и неверное светское добродушие, — это была доброта настоящая, приходящая делом на помощь. Потому, вероятно, что-то строгое и наблюдающее было в ее манере слушать и смотреть.

Я сразу понял, что такой матери Михаил мог бы довериться. И еще понял я, глядя на нее, как мог у него самого сложиться такой страстный, глубокий характер, устремленный, как стрела, к одной цели.

Мать Бейдемана без всяких подходов и намеков изложила мне цель своего посещения:



— Я пришла просить вас съездить к Вере Эрастовне: предполагаю, что она больше всех знает о моем исчезнувшем сыне.

Я показал ей на мои чемоданы и дал Верину эстафету.

— Не замедлите же ко мне по приезду, я так буду ждать вас!

Я, разумеется, обещал и поцеловал руку ее с истинным чувством сына.

Как волновался я, садясь в высланный мне экипаж, чтобы ехать в усадьбу князя Нельского! Я рад был, что у меня в запасе целых четыре часа времени, чтобы собраться с мыслями. Впрочем, на душе у меня было легко. Я себя уверил, что случай так повернул мои оба поступка, что стали они Вере и Михаилу лишь «счастливым обстоятельством». Из-за переданного мною «Колокола» — столь опасной угрозы в руках отца — Вера пошла на какой-то условный брак с князем, не лишившим, по-видимому, ее свободы действий и чувства. А тем, что я утаил ее письмо, я только удержал Михаила от безумства. Сейчас они разлучены, и сама судьба заставит их проверить, точно ли им необходимо соединиться.

Тронутый скорбью прекрасной женщины, матери Бейдемана, и польщенный эстафетой Веры с немедленным вызовом приехать, я настроился на романтическое великодушие. К князю же я не ревновал.

Дорога шла полями впереমেжку с березовыми рощами. Среди столетних могучих лип, от которых ветер принес медовое благоухание, вдруг вылепился своей белою колоннадой великолепный дом Лагутина.

Навещать старика у меня не было охоты, и я еще с почтовой станции приказал подвязать колокольчик, дабы унять его непрошеную ябеду и — как следствие — неизбежное дознание Мосеича о том, кто именно проехал, не засвидетельствовав своего почтения Эрасту Петровичу.

В полуверсте от дома я обратил внимание на черные балки и уцелевшие стропила, печальные останки сгоревшего гумна.

— Что это, пожар был? — спросил я ямщика.

— Свои подожгли, — отозвался он, — лагутинские мужики за барскую издевку над бабами.

И по просьбе моей он рассказал следующее:



— Как вводили у нас уставную грамоту, как пошли землемер да мировой посредник кружок обходить, мужики и кричат: «Не принимаем!» В тягле-то было семь-восемь десятин, а надел у нас в Красненском уезде вышел всего десятины в четыре: как не обидно! Недаром княжецкие лагутинских мужиков вышучивали: «Бык у вас и мордой чужое ест и навоз на хозяйское стелет».

Вот начальство пришло, созвали сход и пошли нарезать. Честь честью промежили, землемер проверил вехи, а как развел астролябию — откуда ни возьмись брюхатая баба: легла на межу брюхом вверх, не дает углы мерить! Истошным воем воет. И горе с этой бабой и смех. Пуще всех лагутинский барин хохочет, карле своему подмигнул, у всех на глазах о чем-то шептались.

Ну ладно, увели в тот раз бабу, отмерили землю. Указал землемер прочим, когда их черед.

А в следующий раз-то такое дело случилось! Да, не пройдет оно лагутинскому барину, забудет он себе потеху из мужицкого горя строить...

Мужик злобно умолк, но я поднес ему из дорожной бутылочки, и он продолжал:

— Пошел проклятый Мосеич от имени барина будто с добрым советом: пусть, дескать, все тяжелые бабы, сколько их есть, отовсюду сберутся да цепь протянуть не дадут. Брюхом вверх, как та, первая, пуцай лягут, да беспрременно чтоб голые... у той, вишь, толку не вышло, за то, что в одежде, кто же ее щупал? Может, чем и набилась. Ну, а брюхатых закон уважит. Ежели все гуськом лягут, — не пороть же их! Обязательно уважение сделают, и спасут бабы надел. И что скажете? Ведь поверили бабы. Которые мужики поумней, учить стали — так их чуть не в колья деревня. Чем ей темней, тем ей верней.

В назначенный день вышло начальство: глядь — сплошные брюхатые бабы, да — как нарочно — такая их прорва! Хохочет помещик, на гумно их зовет, поит для храбрости водкой.

Как изрядно охмелели, велел, чтоб разделись, да, как мать родила, к землемеру. А тут два человека уж цепь тянут; сами знаете, десять сажен цепь: воруй не воруй мужик кольшки, землемер да начальники свое выберут.



Тянут цепь, а брюхатые бабы все, как одна, наземь хлоп — и завыли.

Ну, пороть их не пороли, однако жандармский полковник приказал всех, как были, в холодную. От давки, от драки, от перепуга две по ребеночку сбросили, одна в уме повредилась, а одна себя жизни лишила. Ведь им потом на деревне проходу не стало, засмеяли, что пороты, а эта — крутая, стерпеть не могла...

Ну, сейчас лагутинский барин держись! Мужик этой бабы не кто-либо, а Потап кривой, ему черт не брат, гляди — всех подымет!

— Ну, а княжеские мужики как, довольны?

— Про князя грех сказать, всяк похвалит, а как женился на лагутинской барышне, ровно отец родной стал. Всех своих он на волю отпустил, а кто не хотел от него уходить, тому такой нарез дал — сиди да панствуй.

Мне хотелось подробней узнать про Веру, но показали строения и службы, а за ними предстал и сам длинный княжеский дом. Он не похож был на дворец соседа, так как выстроен был крепостным архитектором для удобной, но непритязательной жизни.

На балконе, увитом жасмином и вьюнками, стояла сама Вера в белом кисейном платье. Мне показалось, будто она стала еще выше и красивей.

— Милый Сержик, я так вам рада! — сказала Вера. — И Глеб Федорович ждал вас. — Она указала на князя.

С князем мы расцеловались. Он, взяв меня под руку, провел в приготовленную мне комнату.

— Совершите ваш туалет, и потом милости просим рядом, в летнюю столовую.

О князе надо сказать особо два слова...

Конечно, вполне основательно утверждение, особенно настойчивое в современном взгляде на вещи, что каждый из нас — продукт той среды и действительной жизни, в которых он рожден и живет. Но позволю себе отметить, что иной человек, даже деятель, может существо свое не выражать вовсе или выразить превратно. Я знавал в юношестве людей, ныне давно отошедших, которые лет на пятьдесят опережали свой век, а посему в свое время годились на исполнения должностей лишь случайных и нисколько



для них не характерных. Так, собственный мой отец, человек большого философского ума, ненавидевший войну и весь ему современный государственный строй, всю жизнь принужден был отличаться на посту военного генерала. Также и дядюшка Юрий, страстный археолог, известный в Европе раскопками, занесен в историю завоевателем восточных земель благодаря одному блестящему военному действию, которое совершил он, по собственному признанию, не как военный, а как прирожденный азартнейший шахматист.

Князь Глеб Федорович принадлежал к таким людям. Внутреннее его содержание не соответствовало ни его званию, ни положению в свете. При тончайшей европейской образованности, он был из типа тех русских людей, которым ничего от жизни не надо. Сами же они, принимающие правой рукой подавание, а левой его отдающие, легко и любовно идут по земле. В простонародье чаще всего такие люди в буквальном смысле странники; не ханжи-дармоеды, а те мудрые простецы, которых подсмотрели писатели наши Толстой и Тургенев.

Князь Глеб Федорович, если бы не тетушки и не бабушки — норовистые старухи, давно бы роздал все имения и с сумой пошел по лесам.

Большой ум, суждения совершенно свободные, без пристрастия, давали беседе его очарование неизъяснимое и убедительность совершенного бескорыстия.

Встретясь с Верой, он сразу угадал ее гордую независимость и, как потом оказалось, уж давно предлагал ей выйти за него замуж для снискания полнейшей свободы действия при значительных средствах.

При воспитанности и брезгливом нежелании «дразнить гусей», князь сумел сохранить всю видимость светского человека, не вызывая в свете ни особой к себе близости, ни раздражения. Но, женившись на Вере и встретив горячую действительную волю проводить сейчас в жизнь свои чувства, он с головой ушел в земельную реформу, чем вызвал ненависть своего тестя Лагутина.

Князь и Вера по своему усмотрению, к благополучию крестьян, в ущерб себе, принялись исправлять «Положение» и с родительской заботой создавали



каждому тяглу наилучшие условия. Старик Лагутин перестал вовсе к ним ездить. В этот момент взаимного расхождения и, в частности, по его поводу я и был ими вызван.

На террасе, обвитой ярко-алыми турецкими бобами и вьюнками, кипел сверкающий самовар и дразнила аппетит румяная и сдобная снедь. Вера, отпустив девушек, хозяйничала сама.

Этот утренний свежий час среди двух лучших в мире людей, из которых она — моя единственная в жизни любовь, запомнился мне совершенной, нездешней красотой.

Пусть читатель простит мне сантименты. Этот час был как яблонный майский цвет, невзначай пропущенный жестокими Парками в кровавую ткань наших трех жизней. Без этого часа у меня бы сейчас не было примирения со всем, что, как это видно из дальнейшего, не замедлило разразиться над нами.

Итак, два слова об этом утреннем часе. Почему же он так выделен мною и запомнился как счастливейший? И что вообще каждый из нас перед смертью может вспомнить как счастье? Не правда ли, это будет лишь то состояние, когда хоть на миг, а тебе удалось, разбив оковы собственной маленькой личности, как из душной канавы вдруг выплыть в большое, под солнцем горячее море...

Бесчисленны в этом море струи. И чем ты мудрей, тем короче и чище твой путь. Однако, не осуждая, поверь, что и грязный подземный сток приводит туда же. Важно одно: хотя однажды, хотя на миг попасть в безбрежное море, над собой увидеть безбрежное небо. И где бы и в чем бы оно ни случилось, нет силы заставить тебя позабыть, что ты видел.

Я этот заветный мой час испытал в то утро, за незатейливым деревенским чаем.

Терраса была пронизана солнцем так сильно, что зеленые нежные листья дикого винограда изумрудами прикрывали яркие, будто чистая алая краска, цветы. Жужжали пчелы, неся к себе мед с отяжелевших хмельных старых лип, и текла внизу тихая синяя река.

Князь Глеб Федорович, склонившись ко мне лицом с особенно тонкою белою кожей, придававшей ему вид молодого, так и сиял большими добрыми глазами, объясняя мой вызов в связи с общим делом.



— У нас, видите ли, оказался естественный триумф-вират,— говорил он, отечески улыбаясь на Веру.— Я представляю собою казну и жизненный опыт, Михаил— яростную волю, Вера Эрастовна— умное сердце, по прекрасному слову поэта. Эти три фактора неизбежны, чтобы воплотить и провести в действие новые, лучшие формы жизни. Да что говорить по-журнальному: мы хотим попросту создать мужикам, перед которыми грешили столетиями, возможность свободной человеческой жизни...

Тут Вера взяла меня за руку и сказала с сестринской лаской:

— А вы, Сержик, избраны нами посредником между старым миром и новым. Для начала поезжайте-ка к батюшке в гости и убедите его отписать хутор и хоть пятьсот десятин Линученку в собственность. Он все еще дарственной не дал, а это крайне важно для нашего дела, чтоб Линученко был хозяином на своей земле и такой низкий человек, как управляющий Мосеич, не имел бы над ним своей воли.

— Какое же Линученко имеет отношение к вашему делу и в чем самое это дело? — спросил я.

— Я подробно вам рассказать не могу, это могло бы вас только смутить. Но у вас сердце, способное чутать прекрасное, доверьтесь только ему. Мы трое: князь Глеб Федорович, Михаил и я, хотим нашей рабской родине свободы, и за это дело мы готовы на смерть.

Вера встала. Воздушная от своих белых кисейных одежд, она быстрой походкой прошла два раза по террасе и стала передо мной. Ветерок развеивал ее мелкие кудри, выбившиеся из-под ровных светлых кос, положенных, как обычно, вокруг головы.

Глядя такими же сияющими, как у князя, властными серыми глазами мне в самую глубину души, Вера взяла мои обе руки в свои, и, как говорят слова любви, она еще раз сказала:

— Мы готовы на смерть. Но у вас, Серж, своя жизнь, свои цели. От вас мы только просим доверия. Помогите нам выполнить наше дело, ни в какую опасность мы насильно вас не вовлечем...

— Вера, я рад за вас отдать жизнь...— сказал я.

— Но мне от вас нужно больше, чем это,— сказала Вера торжественно и серьезно. Она села со мной рядом, не выпуская моих рук из своих.— Мне надо,



чтобы вы, помимо самого себя, помогли вовсе не мне, а, по доверию ко мне, одному нашему делу.

Я понял ее. Да, она просила большего, чем жизнь. Я должен был, ненавидя их политические идеи, помогать им по чувству к ней, не допускавшему и мысли, что такая, как она, избрать может злое. Читатель, я понял темный текст: «Несть больше любви, аще кто положит душу...» Обычно понимают здесь добровольную смерть за что-либо. Но сказано ясно: не жизнь, а душу.

И сколько коварства в том, что для достижения полной свободы от себя самого является предательство себя же!

Но Вера смотрела в глубину моих мыслей, и побелевшие губы ее еще раз, как вздох любви, прошептали:

— Мы, Серж, обреченные...

Я не выдержал и повлекся за ней, в ее сверкающее море без берегов, с синеющим небом без края. Я сказал:

— Жизнь моя в помощь вам!

Поцеловала меня Вера, поцеловал меня князь Глеб Федорович.

Затем за чашкой душистого чая, обвеянные медовым запахом липы, мы повели деловые разговоры. Михаила здесь не было, после производства этого требовала осторожность. Сейчас, устроившись с крестьянами и добившись укрепления за Линученком хутора, они оба, Вера и князь, едут за границу, где в Италии встретятся с Михаилом. Хутор Линученка будет русским центром кружка. Сюда же приходить будут письма Веры ко мне. Подробности обещали мне рассказать вечером, а сейчас торопили ехать в Лагутино, пока старику не донесли, что я проехал мимо него, и он от этого не пришел в раздражение.

Предстояло мне пробудить в Эрасте Петровиче родственную жалость к Линученку, который привез из Крыма все еще больную жену. Он хотел бы немедленно отвезти ее на хутор, но больше, чем когда-либо, тяготился зависимым положением и не хотел подчиняться Мосеичу. Настаивать надо было на дарственной.

Ни одной сопротивляющейся мысли уже не было в моей голове. Со всей страстью своих двадцати лет я



был охвачен романтическим пылом юного Вертера отдать рыцарски свою жизнь, и в тот миг даже не только за Веру, а за князя, и за Михаила, и за оскорбленных всего мира...

Но эта идиллия, хотя мне ее и хватило, чтобы помнить всю жизнь, продолжалась не более часу.

Вдруг к крыльцу подъехал на взмыленной лошади нарочный и, не слезая, крикнул, что взбунтовавшиеся мужики собрались поджечь лагутинский дом.

— Где мой отец? — спросила Вера.

— Барин вырвался и на жеребце ускакал к мельнице. Если там нет засады — уйдет. А Карлу Мосеича со старостой заперли в кладовой, где порох для фейерверков; как подожгут — крышка!

— Седлать вороного! — приказал князь.

Я попросил дать лошадь и мне, а Вера настояла запрячь шарабан, куда она села вместе с Марфой. Мы с князем решили взять разные пути: я на мельницу, он к усадьбе, куда приедет Вера.

О, сколь превратны и непрочны дни нашей жизни!

Бывало, в Неаполе, взбираясь верхом на Везувий, как бы усеянный лиловыми осколками разбитых аспидных досок, сколько раз я дивился детской беспечности поселян, чуть не на кратере насадивших свои виноградники. Больших извержений не ждут, а в случае беды надеются, — как надеялись и те, древние, — поспеть убежать.

Но куда убежать человеку, если, как сказано у Будды, ты рвешь цветок, а князь Мара, злой, уже спрятал ядовитую змею под цветком?

Давно ль мы сидели на террасе все трое? И вот уже я на вспененном коне лечу к мельнице, чтобы предупредить преступление. Увы, я опоздал!

Пьяная орава с топорами и с длинными заостренными кольями тесно охраняла двух рыжих парней, чинивших расправу. Парни подымали какую-то громаду без рук и без ног высоко над головами.

Это было перед самой мельницей, пущенной во весь ход. Вода в этом месте отменно глубока, и желтая пена бьет там и крутится, словно кипит. Не успев хорошенько разглядеть, я издали угадал, что громада без рук и без ног — связанный старый Лагутин и что сейчас его бросят под мельницу. Я выстрелил в воздух, желая остановить самосуд, и круче пришпорил коня.



Но конь мой внезапно шарахнулся, захрапев: на дороге лежало мертвое тело. Я вылетел из седла и, ударившись головой, потерял сознание.

Впоследствии я узнал, что труп, испугавший мою лошадь, был лагутинский мужик Потап, застреленный Эрастом Петровичем. Потап вызвал припадок бешенства у старика своей гневной речью в защиту обиженных баб. Когда он грозил отомстить за смерть жены, Лагутин уложил его выстрелом.

Это толкнуло крестьян ко всему происшедшему. Лагутина тут же связали вожжами, и, пока я был от падения в беспамятстве, они его бросили под мельницу в реку.

Меня же обезоружили и заперли в амбар. Всю ночь пролежал я там в смертном ужасе за Веру. Экзекуционный отряд казаков, вызванный еще накануне из города покойным Лагутиным, узнавшим от Мосеича, что крестьяне затеяли бунт, освободил меня только утром. От казаков я узнал, что князь Глеб Федорович погиб на пожаре, пытаюсь спасти старую няню Архиповну, со страху забившуюся в свою клеть. От Мосеича и старосты, погребенных под обломками крыши, не нашли и костей. Вера, живая и невредимая, укрылась у няниной дочери.

Не в состоянии сознать всего происшедшего, я, однако, понял ясно одно: судьба развязала все узлы в жизни Веры и Михаила, так или иначе завязанные при моем содействии.

В лице старика Лагутина выбыл из строя единственный враг Михаила, облеченный властью, который мог бы ему повредить в случае возвращения из-за границы и соединения его с Верой. Вера, оставшись сиротой, являлась обладательницей громадного состояния, и отныне ничто не стояло препятствием к широкому развитию их общего дела.

Мне же, выбитому ими из прочности моего бывшего уклада и не приставшему к ихнему, лучше всего было бы сейчас умереть. Насильственная смерть сообщников как бы восстанавливала былую незапятнанность моей совести, и, погружаясь от слабости вновь в глубокий обморок, я почти радостно подумал, что это конец. И было бы много лучше, если бы я не ошибся.



## Глава VIII

### ИЗ ДРЕВНИХ ФИВ В ЕГИПТЕ...

Когда Вера оправилась, я привез ее вместе с Марфой в столицу прямо к матери Бейдемана, которой обо всем происшедшем я написал. Старушка встретила нас как родных, отвела Вере чистую, как сама, слегка чопорную комнату и обласкала всячески. Тут узнала она про условленную встречу с Михаилом в Италии и все то, о чем в те поры не только писать было нельзя, но и говорить шепотом.

Удивительная была эта старушка: при чрезвычайной любви к сыну, у нее вера к нему и уважение были еще больше любви. В политических делах она разбиралась плохо, воспитана была, как и все женщины дворянско-помещичьей среды, конечно, в понятиях старого монархизма. Но она как-то умудрилась, оставаясь тем, чем была, совершенно не пугаться и не противоречить убеждениям сына.

Впрочем, она почти не задавала вопросов, она только страстно желала вестей, и вести пришли.

Приехал с юга художник Линученко с женою. Он от каких-то таинственных передатчиков привез письмо Михаила. Бейдеман писал восторженно о Гарибальди, о том, как вместе с «тысячью» вступил он в Неаполь. Но прибавлял: Гарибальди находит, что Михаилу необходимо служить родной стране, а не чужой, и торопит его ехать в Лондон к Герцену, куда он и едет.

Вслед за этим получила письмо и Вера все тем же таинственным образом, через передачу Линученка. Михаил писал, что из газет он узнал о несчастье в Лагутине и, не ожидая Веру в Париже, сам приедет в Россию, тем более что этого требует дело.

В ожидании Михаила Вера прояснилась и стала заметно бодрей.

У нее из квартиры не выходил ненавистный мне Линученко. Он был какой-то весь острый, не сидел на месте, все будто что-то высматривал, сощуря зеленые узкие глазки. Он был широкоплеч и приземист, с черной волосатой головой, большим лбом, калмыцкими глазками и увесистым носом. Впрочем, когда говорил, лицо его было умно и значительно.

В его студии на Васильевском острове у меня вышла одна странная встреча с человеком, ставшим



мне единственной поддержкой в страшные годы. И,—будь жив этот человек,—не к священнику, а к нему пошел бы я разрешить мой последний вопрос перед смертью.

Но нет его. Умер Яков Степаныч, великий мудрец. Был он дворцовый лакей, выслуживший себе пенсию, которую всю целиком раздавал приходящей во множестве бедноте. Он слыл прозорливцем и на Васильевском острове, где жил, был очень известен. Обладая особыми связями и влиянием, он был для некоторых планов нужен Линученку.

Старик же до странности любил этого человека и часто к нему заходил. Я как-то пошел провожать Веру на остров; она затащила меня в рисовальную студию, где, по просьбе Линученка, позировал этот вот Яков Степаныч.

Студия — огромная комната, вдоль и поперек перерезанная хитрой системой веревок, как на дешевых квартирах общий чердак. Это всё измышления Линученка для лучшего изучения анатомии.

Одни веревки болтались качелями, другие — туго натянуты, тронуть их — загудят. От потолка, привязанный к крюку лампы, спускался вниз толстый канат и, как змея, уползал по полу в не освещенный лампой угол.

— Мне инквизиция вспоминается,— сказал я, смеясь, Линученку.

— Дворники, хотя о таковой и не слыхали, и те пугаются,— отвечал он.— Ничего, живьем выпускаем. На этой дыбе как руки вывернем,—он указал на ламповый крюк,—мускулы все наперечет... Впрочем, Якова Степаныча мы не пытаем, он вольно сидит.

— Сижу да на них гляжу, что так невеселы,—сказал, указывая на меня, Яков Степаныч, небольшой старичок, чистенько одетый, весь пушистый и седенький, в ласковых тонких морщинах. Я удивился, как он мог угадать, что мне плохо; по виду это не могло быть заметно. Я только что весело смеялся, но на душе у меня было томительно и мертво, как перед обмороком или тяжелой болезнью. Пустая вычеркнутая душа, пуды на руках, словно вериги, так и клонило к земле. Вот бы лечь и лежать.

Я запутался. Из-за любви к Вере я вовлекся во враждебные моему чувству знакомства и не мог, как



старушка мать Михаила, соединять безотчетно несоединимое. Со дня на день нервы мои разбивались, я боялся, что, перестав собой владеть, я обнаружу себя перед Верой и мне придется от нее отойти. Но это равно было смерти, и, скрепясь, я носил маску смиренного парня.

А старичок Яков Степаныч, улучив минуту, когда Линученко занялся с другим художником разговором, а ему предложил отдохнуть, мелко прошагал ко мне и, щурясь в улыбку, сказал:

— Не тоскуй, чадо, выдержи! Перво-наперво без имени рождается человек и не ведает, есть ли у него душа: пробует так и этак ее переступить — ан границы-то и нащупает. А как перетерпит много мигів смерти духовной да выйдет из нее победителем, нарекается именем и приобщается на свой страх к великой работе, к тяготам земным. На огне, чай, кирпич обжигают.

— А в случае, лопнет кирпич на огне? — улыбаясь, спросил я в тон старику.

— А не вынесешь дух тления, отступишься сам от себя: управляй, дескать, мною, кто хочет, только покой дай, — ты свою жизнь, родимый, предашь. Хоть по облику — как все люди, на самом-то деле впустую, негодною шелухою, проболтаешься на земле. Ведь про это сказано: нельзя талант в землю зарыть, — а ты думал?

— Я думаю совсем про другие вещи, — засмеялся я.

— Ну, гордись, пока можешь, гордись, — улыбнулся старик. — А вот адресок ты запомни: Семнадцатая линия, в третьем дворе...

И он дважды повторил номер дома, так настойчиво, что я нехотя запомнил. И когда пробил мой час, по этому номеру я пошел. Но это случилось много-много позднее; сейчас я от старика отмахнулся и стал смотреть на художников.

Их было пять-шесть и две девушки, все ученики Академии, знакомые Линученка.

— Отчего не рисуем? — спросил один, длинный.

— Сейчас придут еще трое, — ответил Линученко, — они зашли к профессору холст Джорджоне смотреть.

Рисовать Якова Степаныча в этот день не пришлось. Только уселись, как раздался в дверь стук.



Косматый Бикарюк, товарищ Линученка, вошел, как-то ежась в своем не по росту коротком пальто. За ним Машенька, жена его, и какой-то небольшого роста художник. Глаза Машеньки были заплаканы.

— Аль не солоно хлебавши? — спросил Линученко. — Картина оказалась брехня?

— Джорджоне и есть, — отозвался хмурый Бикарюк, — на толкучке профессор нашел. Кому кривая везет, тот и в навозе перлы отроет. Да к черту его... с Кривцовым неладно.

— С Кривцовым? — Линученко побледнел и, шагнув к Якову Степанычу, сказал: — Сегодня рисовать мы не будем.

— Кривцов повесился, — словно пролаял Бикарюк.

Все молчали. Вера смотрела такими глазами, будто кого умоляла сказать, что это неправда. Машенька и другие ученицы заплакали.

— Кривцов из своей деревни письмо получил, что отца его насмерть засекли. Они ведь из Казанской губернии, крепостные: наш два года как выкуплен. По приговору отцу тысячу всыпали, а сердце слабое, старый и не выдержал. У Кривцова письмо от дьякона в кармане нашли, сегодня только и пришло. Сгоряча это он... А к последней картине он билет привесил: «Проклятие деспоту, проклятие рабской стране!» Вот он, я снял. Увидели бы, сестру арестовали бы. Она еще не знает, мы первые пошли.

Линученко тяжело ходил по комнате. Все сжались и умолкли. Было темно, но забыли о лампе. Большая, странно плоская луна со светлого северного неба спустилась совсем близко за самым окном. На окне косматый, скрюченный Бикарюк, с выдающейся вперед путаной бородой, зачернел космами длинных волос, как какой-то Иуда, на редком переплете ветвей.

Он хрипло от волнения сказал:

— А какую картину Кривцов не окончил? Гопак наш, украинский. Да, у него это тебе не хата с подсолнухом и дурнем вприсядку — вся Украина как есть! Эх, большого художника погубили!

— Мы погубили! Слышите, мы! — сказал, останавливаясь, Линученко. — Пока мы не решимся до капли крови отдать все силы, всю жизнь на борьбу с насилием — мы заодно с ними, с убийцами!

— Что же, нам с кистями и палитрою идти воевать?



— Есть состояние страны, когда ей не надо художников, а нужны одни лишь граждане. А гражданин найдет чем бороться. Все вы читали «Колокол» от пятнадцатого апреля, и разве не все вы согласны? Народ царем обманут! Крепостное право не отменено. Борьба против бесчестного правительства, кровавыми экзекуциями забивающего справедливые требования несчастных крестьян, обязательна каждому честному человеку. Наш товарищ был гениальный юноша, но он не вынес рабской смерти отца. Он умер, проклиная рабскую страну. Так принимайте проклятья и вы, пока остаетесь рабами. Кто со мной? — закричал Линученко. — Кружок Атаева зовет нас соединиться. Вместе мы вдвое сильнее. Друзья, пусть двинет нас хоть на один шаг вперед безвременная смерть Кривцова!

Бикарюк вскочил и, подойдя к Линученку, шепнул ему что-то на ухо.

— Не боюсь! — отмахнулся Линученко. — Лучше того, я сейчас и тебя самого выдам.

— Господа! — подошел он ко мне, стоявшему рядом с очень побледневшим, но спокойным Яковом Степанычем. — Товарищ мой сказал, что здесь есть чужие. Но вас, Яков Степаныч, я знаю давно и как отца почитаю, — он поклонился старику, — а вы, Сережа, хоть и военный, но Верин друг детства, вы...

— Я ручаюсь за Сережу, как за себя, — сказала, подходя, Вера.

Я был потрясен горестным событием с талантливейшим юношей, которого я знал лично; но отсюда до вовлечения в политический кружок, которому я никак не сочувствовал, было далеко. Я растерялся, не находя сразу мыслей и слов, чтобы сильно и раз навсегда отмежеваться от этих людей. Я уже отошел от Веры на середину комнаты, я хотел говорить, но сильный стук в дверь отвлек всеобщее внимание.

Когда вошедший опустил поднятый воротник штатского пальто и снял фуражку, какую носили мелкие служащие, я обомлел. Предо мною стоял переодетый мой собственный денщик Петр. Удивление мое возросло, когда Петр, в волнении не замечая меня, подошел к Линученку, как равный знакомый. Назвав его по имени и отчеству, он что-то стал говорить. Но вот он узнал меня, вздрогнул, как по заводу, взял руки по швам:



— Ваше благородие...

Кровь мне бросилась в голову. Мое достоинство офицера одержало верх над всеми чувствами:

— Как ты посмел...

Но Вера схватила меня за обе руки с необыкновенной силой и вне себя закричала:

— Ни слова дальше, или все кончено между нами! Здесь нет ни солдата, ни офицера.— Петр — наш верный товарищ, он пострадал от произвола моего отца, и кто не друг Петру — мне враг.

Линученко отвел Веру:

— Успокойся, я все объясню.— Он подошел ко мне: — Петр принадлежит к нашему кружку, в который зовем мы и вас. Ваше дело — войти или нет, но предателем вы, конечно, не будете. Если вашему чувству военного претит это нарушение дисциплины, то у вас есть простой выход: подайте рапорт об отчислении Петра из ваших денщиков, хотя это, конечно, нашему делу и повредит. У Петра есть кум в Третьем отделении, он там служит сторожем и дает через Петра драгоценные показания о политических заключенных, чем помогает нам облегчить их участь. Говорю это вам как человеку, чье благородство проверено и бесспорно. А теперь, Петр, какую же весть ты так поспешно принес?

Я был взбешен: как смел он говорить так назойливо о моем благородстве? Но, не в силах от волнения собрать свои мысли, я решил сегодня же письменно отказаться от всякого участия в делах кружка Линученка. Однако я забыл все на свете, когда Петр начал делать свое сообщение. Петр сказал:

— В пять часов вечера восемнадцатого августа с парохода, пришедшего из Выборга, был принят старшим адъютантом корпуса жандармов, капитаном Зарубиным, и помещен в арестантские номера при Третьем отделении Михаил Степанович Бейдеман!

Вера упала, не вскрикнув. Мы, положив ее на диван, кинулись приводить в чувство. Тем временем Линученко выпрашивал подробности: откуда привезли Бейдемана и что известно об его аресте?

Через кума Петр мог узнать только одно: арестовали Михаила в Финляндии, при переходе на русскую землю. При нем были найдены сущие пустяки: испорченный пистолет, перочинный нож и гребенка в



футляре. Из Улеаборга он был доставлен в Выборг, а оттуда морем в Петербург.

По архивным изысканиям, из той книжки, что всюду со мной, я должен прибавить следующую пояснительную выдержку: «18 июля 1861 года, в северном финском приходе Рованиemi, Улеаборгской губернии, на станции Корво коронный ленсман Кокк обратил внимание на неизвестного человека. На вопрос ленсмана, кто он и что делает, он ответил, что он кузнец Степан Горюн из Олонецкой губернии, искал в Финляндии работу, но не нашел и возвращается домой через Архангельскую губернию. Паспорта у Степана Горюна не оказалось; ленсман задержал его и приказал приходскому сторожу доставить задержанного в Улеаборг в распоряжение губернатора. Здесь он был посажен в острог и двадцать шестого июля на допросе подтвердил показание, данное ленсману. Через четыре дня Степан Горюн попросил допроса и заявил, что его показания неверны, что он — поручик Михаил Бейдемман, в июле 1860 года переправился через границу у Торнео в Швецию, откуда в Германию, а теперь возвращается из-за границы!..

Об аресте Бейдеммана было донесено великому князю, и он приказал препроводить его немедленно в III отделение».

Веру Линученки оставили у себя. У нее сделался бред, пришлось вызвать доктора. Я стал искать моего денщика Петра, но он исчез бесследно. Вместе с Яковом Степанычем, печальным и безмолвным, я вышел из студии.

Прощаясь, Яков Степаныч сказал мне еще раз: — Запомните, батюшка, мой адресок. Вы — сирота, а сироте совет нужен!

Он сказал деловито, как дают справку, и, поклонившись, пошел. Глядя ему вслед, я, помню, подивился его нестариковской походке; он ступал легко и точно, не сгибая прямой спины, как будто не было на нем тяжкого груза лет.

Было поздно. Все та же огромная луна висела уже не в темном, а в сумеречном небе, и свод небесный над далеким Исаакием казался безвоздушным. Сфинксы, как утомленные тигрицы, смотрели друг в друга, и в бесчисленный раз прочел я под ними: «Сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град святого Петра в 1832 году».



Запомнилась мне эта минута. Перед глазами за гранитом стены, тяжкая, ртутью свинцово катилась Нева. Чернели баржи. На другом берегу, в пустых глазницах бесчисленных окон, кое-где, как уцелевший зрачок, мигал огонь. Сзади огромная Академия художеств без статуи Минервы наверху, которую водрузили много позднее, казалась ближе, чем днем.

Я стоял смущенный, потерявший путеводную нить поведения и жизни. Честь офицера, достоинство дворянина, все привычные убеждения, моральные и государственные, вооружались, как на злейшего врага, на мои привязанности человека — безмерное чувство любви к Вере и верность дружбы к ее друзьям. А Петр? Что предпринять мне с ним? Как встретимся дома? Предеззостный обман его сношений с заговорщиками я всем существом ощущал как достойный одного: расстрела. А что дальше с Михаилом? Нельзя не предвидеть, что не кому иному, как мне, придется взять на себя все хлопоты об его освобождении, прибегнуть к связям тетеньки, молить Шувалова и Долгорукова, как родственников и хорошо мне знакомых людей, и о чем же? О даровании свободы непримиримейшему врагу царя! И для чего же? Для лучшего и хитрейшего применения его силы к борьбе разрушительной...

Нет, это было слишком. Сохраняя ко мне хоть каплю уважения, они должны были больше щадить меня и, хотя бы хитростью, столь свойственной их поступкам, оградить меня от муки невыносимых двоющихся чувств.

Но я был для них лишь удобным механизмом. И как в паровую машину для действия паров кидают уголь, так, чтобы меня использовать, как им было надо, они играли на этом пресловутом моем благородстве.

Я сошел по ступенькам вниз. У воды было холодно. Тускло светились тяжкие волны. Я подумал: не лечь ли на них? Пусть понесут под этим серым сводом, пока не устанут, а там погружусь... И не повернут каменных голов, увенчанных тиарами, эти двое, что вывезены из древних Фив.

Но я вспомнил о Вере и, ежась от холода, пошел домой. Я знал, что буду ей нужен всю мою жизнь.

На этом самом месте в восемнадцатом году со мною еще раз случилось то же самое и в такой же час.



Я, одетый в свои лохмотья и уже ставший на линию подаяния, по одной своей старости не возбуждая подозрений, ходил днем и ночью по городу и смотрел...

И вот, в такой точно час, когда такой же тусклый шел свет от большой плоской луны, я видел, как бросился в Неву человек. От правого уха к ноздре у него в сумеречном освещении багровел длинный шрам. Я знал этот шрам... Еще бы мне не знать! Это был тот самый, от удара турецкой сабли, когда мы двое в безумном азарте проскочили вперед. Вдруг подоспели наши и взяли в плен авангард турок. За этот шрам капитану Алферову дан был Георгий...

Сейчас старый, негнувшийся человек, он опять по-военному просто и смело отставлял себя сам от жизни. Я видел, как он поклонился по-русски на все четыре стороны, как разделся не спеша, как вошел в воду, как, отплыв, погрузился. Я его не окликнул. По-своему он был прав. Я сошел вниз по ступенькам. Свинцовые воды несъто ворчали, ударяясь подо мной о гранит. О, как тянуло меня в эту тяжкую глубину...

Но мысль о Вере остановила меня. Ей, давно уже покойной, я обязан обнародовать правду о многострадании Михаила и уж потом отойти.

Я вышел наверх. Чернела огромная Академия, опять — как в те годы — без возглавляющей статуи Минервы, которая в девяностых годах провалилась, разрушив потолок. Но сфинксы все так же таинственно и лениво смотрели друг на друга, и чернела под ними все та же надпись веков: «Из древних Фив в Египте».

## Глава IX ПОД КОЛПАКОМ

Перед тетушкиным особняком я был внезапно смущен. Вместе со мной подъехала карета, и в великолепных бобрах, легко выпрыгнув, граф Петр Андреевич Шувалов направился к дверям. Я, будто вдруг увлеченный витриной цветочного магазина, вплотную подался к большому цельному стеклу, которое украшало собою проспект рядом с последней полуколонной тетушкина дома.

Граф своим быстрым всевидящим оком увидал мой маневр и, улыбаясь почему-то с величайшим удовлетворением, подошел ко мне и сказал:



— Войдемте вместе к графине; что даром тревожить старого Калину?

Калина был тетушкин почтенный лакей, никому не уступавший своей привилегии открывания парадных дверей. Нередко жаловали к тетушке «особы», и первое им приветствие казалось Калине делом придворным, как бы по сану церемониймейстера двора.

Все было чрезвычайно естественно в манере графа, он только, казалось, был особенно в духе, и сейчас свойственный глазам его острый приметливый блеск был как бы притушен тонкой обходительностью великолепного красавца, не сознающего своей власти.

Непринужденно болтая, я внутренне трепетал. Меня пронизала внезапная и совершенная уверенность, что сейчас граф пришел к тетушке исключительно ради меня и боялся, что меня тут не будет.

Как человек, опустивший руку за билетиком и взявший шутя первый приз, он, при всей своей выдержке, не мог скрыть наплыв чисто животной доброты, которая бывает всегда при удаче без препятствий. Я раз сам наблюдал, как кошка, с размаху поймав мышь, очень миролюбиво уступила собаке кусок брошенного ей сала. Не зная научно пределов сознания у животных, не могу решить, была ли то простая случайность или указанное мною чувство. Но в том, что поведение графа Петра Андреевича в эту незабвенную ночь было похоже на добродушие тигра, довольного удачной охотой, у меня есть, увы, слишком неопровержимое доказательство.

К сожалению, нас научили слишком доверять только фактам и логике, презирая, как романтическое наследие предков, остерегающие движения чувств. Будь я мудр, я бы послушался своей безотчетной тоски при виде мраморного лица с острым блеском глаз, повернулся и ушел бы домой. Но я не был мудр и пошел вслед за Шуваловым.

В салоне у тетушки было оживленней обычного. Вместо центральной персоны, которую тетушка подавала, как метрдотель отменное блюдо, шумела оживленная молодежь обоего пола. За отсутствием салонного «кита», гости разбились на естественные группы, в которых велись соответствующие их интересам беседы.



Вокруг круглого стола, в мягких креслах, царила тетушка, окруженная «своими». Тут были люди чиновные и темы моднейшие: предполагавшееся закрытие воскресных школ, беспорядки в университетах и пресловутый «женский вопрос».

— Я всей душой за графа Строганова,— сказала тетушка,— по мне, он один не врет, говоря, что высшее образование прилично давать лишь имущим дворянам. Какой-нибудь разночинец выскочит грамотней отца, да и пойдет перед ним руки в боки! А другой наберется ума да с голоду вздернется, как давеча в газете писали. Нет уж, кому как от бога положено — пусть так и живет.

— Как вам нравится мнение барона Корфа? — сказал тетушке старичок. — Он предлагает прежде всего университет сделать с отменой учебных классов...

— Вздор! Мы не дозрели, батюшка, до парламентской системы: коли без дубины на водопой пойдем, мы, как скот, покос вытопчем! — оборвала тетушка.

— Любопытна записка Ковалевского... — начал осторожно Шувалов своим обычным вопросительным тоном, ничем не выдавая собственного мнения, а сманивая каждого, как воробья на мякину, высказать свои мысли.

— Фант, фант! — закричали со всех сторон, подвигая Шувалову саксонскую вазу с звенящим серебром.

— За Ковалевского, батюшка, у меня нынче фант платят,— сказала тетушка,— целый час из-за него тут шел бой. Я вижу — дело жаркое, значит, для сироток овечку и можно постричь. Плати, батюшка Петр Андреевич, да больше не поминай его: навяз в зубах, как рахат-лукум греческий!

— Есть о чем и говорить, когда с ним решили вчистую! Назначены Строганов, Долгорукий и Панин,— вскипел быстренький старичок и сделал ручкой другому старичку, как бы сбивая головку одуванчика. — Ковалевский... по шапке!

— Плати, плати штраф! — Тетушка передвинула старичку вазу. Все смеялись.

Обыкновенно, по моему художественному расположению ко всякого рода игре, я восхищался, как ловкими конькобежцами, миновавшими глубокие проруби, этим легким салонным искусством, ничего не задевая глубоко, касаться всего, выводя, как по



гладкому льду, сложнейшие словесные хитросплетения.

Но сегодня, оттого ли, что Михаил был заключен в III отделение, в совершенной власти человека, так непринужденно сидевшего против меня, эта светская беспечность была мне отвратительна.

— На Ковалевском заработано изрядно,— сказала тетушка.— Ну-ка, Мария Ивановна, теперь твой черед, садись на своего конька, только смотри, завлечешь разговор до Августина, двойной плати штраф.

У тетушки были старинные немецкие часы с боем и получасовой музыкальной фразой на мотив: «Mein lieber Augustin».

— Я не хочу сесть на конька,— сказала Марья Ивановна, улыбаясь,— я люблю по старинке, на целой тройке со всеми удобствами да полной хозяйкой. И себе я не вижу обиды от моего женского положения: как бабушки были домовитыми матерями, так и мне дай бог век скоротать.

— Да, ты баба толковая, все знаем; вот про дочку расскажи,— велела тетушка, почитая Марью Ивановну по отношению к себе девочкой, хотя той было за сорок.

— Точно, что с Любинькой мне горе; представьте—она художница,—Марья Ивановна покраснела, будто произнесла не вполне пристойную вещь.—Ну, порисовала бы часик-другой, а то не угодно ли—целый день! А намедни—в слезы. Учитель безо всякой дурной мысли ей сказал: «Большое у вас дарование, только жаль, что вы не юноша». А она в амбицию: «Вы, кричит, китайскому посланнику небось не сказали бы, что он умный человек, да жаль, что косоглаз, а женщине смеете? Вон из моей комнаты!» А мне говорит: «Я, мама, барышней вовсе себя не чувствую, хочу жить как мужчина».

— Приведи свою Любиньку завтра ко мне,— сказала тетушка,— я про одного женишка ей скажу, замуж-то ей ведь пора.

— Феминистический бунт! — воскликнул европейский старичок.—Если бы женщины были разумнее, они бы не бунтовались. Ведь научно известно, что, в среднем, их мозг на много единиц легче мозга мужского. И разве была из них хоть одна гениальной? Хотя бы в литературе? Больше каши, чем Жорж Санд, не заварят, а и ту Шарль Бодлер звал коровой...



— А Jeanne d'Arc?<sup>1</sup>— сказала, краснея, самая пожилая из незамужних женщин.

— Жанна д'Арк не по времени. И к тому же, сударыня, нам Вольтер ее обезвредил. Подвиг ее и необычайность военного дарования возникли на почве... ну, как бы деликатнее сказать?..

— А ты промолчи...— тетушка погрозила пальчиком своему любимому старичку, великому мастеру на французские скабрёзности.

— Словом, Jeanne d'Arc — не в пример женщинам, ибо она вовсе не женщина,— вставил небрежно Шувалов.

На что девица спросила:

— Но разве это возможно?

Все очень смеялись. Тетушка, в отличнейшем расположении духа, кричала:

— Еще штраф Петру Андреичу за то, что ввел красную девицу в краску!

Но скоро беседа стала серьезной. Кто-то привел статью Лескова из «Русской речи», и, хотя давно прозвонили часы и дважды сыграла их музыка «Августина», с этой темы гости сойти не могли. Начавшееся женское движение не на шутку взволновало отцов и матерей, а примеры увлечения новыми идеями не в одной семье создали трагические противоположения.

Я не приметно отошел к окну, желая скрыть свое волнение. Модный женский вопрос ведь и мне был особенно близок. Ведь благодаря ему погибло счастье всей моей жизни и Вера увлеклась Михаилом...

На мою удачу известный говорун и светский художник вдруг объединил всю гостиную своими ловкими репликами. Он говорил с неприятной кудреватостью, но, как показалось мне, неглупые вещи.

Читатель может быть поражен, как могу я, вспоминая о такой решающей минуте моей жизни, о чем догадался он по началу этой главы, размениваться на подробнейшие воспоминания пустых разговоров? И является сомнение: точно ли я это все запомнил или же, замаскировавшись удобным предлогом, обманывая себя самого, удовлетворяю свою слишком поздно пробудившуюся писательскую жилку, komponую какой-то светский журфикс?

---

<sup>1</sup> Жанна д'Арк.



Отвечу на вопрос вопросом. Разве не наблюдал читатель, как люди, перенесшие роковую утрату, искалечившую всю их жизнь, повествуя о ней другому, нарочито подолгу задерживаются на мельчайших вещах. Человек должен взывать к защите повседневности, чтобы иметь возможность перенести то, что выше силы обычного человека.

Что же до памяти, как фотография, отпечатавшей все, что свершилось полвека тому назад, то ведь этой памяти стариковской, словно солнышку, уже безразлично, что малое, что большое. Однако разрешу себе еще немного подробностей, как приметных кусочков, которые врезаются в память человека, ведомого на казнь.

Вышеупомянутый светский художник и говорун был в бархатной куртке и жестикулировал.

— Разрешите посвятить вас в тайну искусства, где глубже, чем где-либо, вскрываются тайны мужчины и женщины,— обратился он к тетушке.

— Посвящай, батюшка,— сказала со свойственным ей юмором тетушка,— только помни: и статуе непристойно быть вовсе голой. Впрочем, в местах опасных переходи на французский.

— Надеюсь и по-русски миновать Сциллу с Харибдой. Но к делу; допустим, что я рисую Гермеса... Выслеживая его крепкие, строгие мышцы, у меня чувство, будто я кую драгоценность. Когда проследишь и отметишь верно мускул, почти злое чувство расчета и логики, если смею так выразиться, ведет мой карандаш. Похоже: идешь над пропастью и собранной волей продвигаешь свой шаг.

— Кто это, кто? — зашептали тут и там.

— Талантливый *parvenu*<sup>1</sup>, пенсионер графини. Художник продолжал:

— Словом, *mesdames*, эти чувства — радость прицела, полет пули в мишень...

— Да ты нам о военной-то стрельбе не читай,— вставила тетушка.

— Терпенье, графиня, сейчас я перейду к Венере... Здесь я чую божественные формы уже не в линии, а в тенях: я вхожу будто по горло в синее теплое море, под чудным синим небом. Мне празднично, я слышу пасхальный перезвон... *Mesdames*, я купаюсь в Венере!

---

<sup>1</sup> Выскочка (фр.).



— Est-ce que c'est convenable?<sup>1</sup>—спросила Марья Ивановна.

Все рассмеялись.

— Плати штраф,— сказала тетушка,— ты зарапортовался.

— Позвольте, графиня, досказать до конца, и может быть, приговор общественный не будет столь жесток, как ваш.

И художник, как импровизатор, сделав театральный жест, продолжал:

— Если в художественном воспроизведении торсов мужского и женского такая разница в ощущениях, то, значит, тут глубокий закон, и нельзя в жизни путать оба начала или одному сбиваться на другое. Ну, да пусть мне дамы простят. Творчество не ихний, а наш удел. Венеру Милосскую и Медицейскую создал мужчина. Но, конечно, создал не из собственной головы, а любя без памяти какую-нибудь Аглаю или Клео. И вот оно, женское дело: вызывайте в нас любовь. Mesdames! Заставляйте нас творить прекрасные вещи, творить прекрасную жизнь!

Художнику аплодировали и мужчины и женщины, а тетушка сказала ему:

— Молодец, но за купанье в Венере все равно клади штраф.

Мне стало очень тоскливо. Невольно я сравнивал, не к чести светского общества, пустозвонство здешних речей с глубиной, которую почувствовал я в неприятном мне кружке Веры. Но где же теперь мое место? Одинако отравленный противоположными влияниями, не осужден ли отныне я вечно стоять на распутье?

Ко мне подошел Шувалов. Он нет-нет, а поглядывал в мою сторону, словно стерег.

— Вы, как я замечаю, хотите уйти,— сказал он, — у меня те же намерения; исчезнем à l'anglaise<sup>2</sup>,— не прощаясь.

Когда мы в передней одевались, у меня промелькнуло в уме: он позовет меня ехать с собой. И действительно, когда подали карету, Петр Андреевич сказал:

---

<sup>1</sup> Разве это прилично? (фр.)

<sup>2</sup> По-английски (фр.).



— Садитесь, у меня к вам разговор.

Боясь сделать промах, я молчал. Граф посмотрел на меня и сказал участливо:

— Вы совсем больны. Впрочем, не мудрено, у вас такое горе... Но я думаю, что могу вам очень помочь, если вы сами того захотите.

Я продолжал глупо молчать и напрягал всю свою энергию, чтобы догадаться, как мне себя с ним держать. На что намекает он, не называя? Неужто хочет, чтобы я невзначай вовлекся в разговор и выдал, что знаю, где Михаил? Но для ловушки это слишком просто и грубо. Мы подъехали к одному из лучших особняков и, минуя парадную лестницу, идущую вверх, прошли через коридор в какую-то дальнюю угловую комнату. В передней граф сказал швейцару, что у него спешное дело и гостям следует говорить, что его нет дома.

Комната, в которую мы вошли, была с очень глубокими небольшими окнами на Неву.

Прямо напротив сверкал длинный шпиль Петропавловской крепости, и вся она, с Трубецким бастионом и мысом треугольного равелина, была передо мной.

Кроме мягкого дивана вдоль стен, крытого каким-то летним, веселеньким ситцем, где чередовались птички и бабочки, не было ничего. На полу стояли ящики с упакованной в сено посудой, а в углу какая-то ломаная мебель. Комната была складочным местом.

— Прощу извинить, здесь весьма неказисто, — сказал граф, с удовольствием, как иностранец, преодолевший трудности языка, выговаривая слово «неказисто». — Но зато можно ручаться за нерушимость беседы. А беседа у нас, как вы сами отлично знаете, — первой важности.

Чтобы быть естественным, мне давно пора было воскликнуть, что я ровно ничего не понимаю, но горю желанием понять. Но я пропустил к тому все приличные сроки и сейчас, как откровеннейший дурак, стоял у подоконника. Я был в оцепенении, как заяц под взглядом удава.

Пустяк на окне привлек мое внимание: огромный стеклянный колпак, каким накрывается сыр, совсем пустой стоял на светло-желтом мраморе подоконника, и в нем стучаясь то об одну стенку, то о другую, докучно жужжа, из последних сил билась синяя толстая муха.



— Отпустим мушку на волю! — Шувалов приподнял колпак и выхоленным тонким пальцем с длинным ногтем столкнул на пол обалдевшую муху. Потом он чуть улыбнулся и взял меня под руку: — Держу пари, милый поручик, что у вас сейчас промелькнула одна аналогия. Что, попал в цель?

Я вздрогнул и, фальшиво смеясь, подхватил:

— Не скрою, граф, вы действительно отгадали; но будьте великодушны, как с бедной мухой: освободите мой разум от дурацкого колпака. Я теряюсь в догадках, о чем будет наш разговор.

— О Михаиле Бейдемани, — сказал просто Шувалов. — Как вы уже знаете, он сидит у меня в Третьем отделении.

Я приказал себе сделать жест изумления и, как плохой актер, развел слишком широко руками. Шувалов не дал мне сказать, перебив снисходительно:

— Ну, разумеется, вы обязаны выразить изумление. Милый Сережа, бросим программу!

Он взял меня за руку и серьезно и ласково, без всякой игры, посмотрел долгим взглядом. Шуваловы были с нами в свойстве, граф знавал меня с детства, но, занятый делами, редко обращал на меня внимание.

Внезапная родственность обращения, не будучи привычной, разбила последнюю официальность между нами, за которую я хотел укрываться.

— Сядем на диван. Хотите курить?

Граф протянул портсигар. Мы закурили.

«Предательства еще нет», — отмечал я себе. У меня в голове не было мыслей, было одно напряжение всех сил: не предать.

— Михаил Бейдемани пойман на финской границе, когда он под чужим именем хотел пробраться в Россию. Государь его делом раздражен необыкновенно, и юноше грозит наихудшая участь, если мне не удастся создать смягчающие обстоятельства.

Граф говорил очень серьезно, просто и только с той мерой чувства, которая была для него здесь уместна. Малейшая фальшь резнула бы мой слух, но, благодаря такту графа, я невольно стал верить обычному, столь естественному в порядочном человеке доброжелательству. К тому же, хоть я и помнил, что граф карьерист, но предположить, что история с Михаилом могла вплести новый лавр в его послужной список,



было бы нелепостью. Однако это было именно так; но только сейчас, через пятьдесят с лишним лет, узнал я это доподлинно. Кое-что пережив и имея перед собой историческую перспективу, я только сейчас вижу ясно все дело Михаила в связи с окружающим.

Ведь это были шестидесятые годы, первые годы реформы, которых столь пламенно ожидали и которые столько всех обманули.

Начинались революционные волнения молодежи, университеты всколыхнулись. Появились прокламации. Почти перед злосчастным арестом Михаила шеф жандармов получил по почте листы «Великоросса». А в августе и сентябре уже разошлось по широким кругам знаменитое воззвание «К молодежи».

Конечно, графу Шувалову, молодому генералу, было очень важно проявить свои таланты защитника трона. Для этого нужно было создание крупных врагов. Михаил оказался как нельзя более подходящим материалом.

Граф Шувалов, сделав паузу, многозначительно прибавил еще раз:

— Итак, если мне при вашей помощи не удастся создать смягчающих обстоятельств, наихудшее грозит Бейдеману, да и не ему одному...

Шувалов ожидал моей реплики. Но, стиснув до боли руки, я молчал. Тогда он тем же сердечным и задушевым тоном, как родне и другу, сказал:

— Я принужден арестовать и снять допрос с дочери Лагутина, Веры Эрастовны.

— Нет, этого вы не сделаете...— Я вскочил, я был вне себя.— Вера Эрастовна совершенно ни при чем, ее вовлекли!

— Но вы с нею вместе посещали кружок Бейдемана!— Шувалов не подымал глаз, как бы боясь их остроты, не соответствовавшей мягкости тона.

— Никакого кружка нет,— сказал я твердо,— есть один Михаил Бейдеман, совлеченный в вольнодумство...

— Послушайте еще раз и очень серьезно: вы один можете избавить Веру Эрастовну от неизбежного ареста, если поможете мне пролить свет на один документ.

Шувалов вынул из бумажника исписанный лист бумаги, положил его на стол, прикрыл большой белой,



еще белее, чем лицо, мраморной рукой и сказал, впервые глянув мне ярко и твердо в глаза:

— Все, что мы здесь говорим,— абсолютная тайна. При вашей малейшей нескромности и вы и Вера Эрастовна будете посажены в крепость, и еще кое-кто. У меня сведения есть о всех тех, с кем знаком Бейдеман.

— Каких вы хотите от меня объяснений? — сказал я.

— При тщательном обыске Бейдемана на дне коробки с папиросами мы нашли разорванную на мелкие клочья бумагу. Ее удалось сложить, и несмотря на пробелы, текст ясен. Вот он.

Шувалов протянул мне копию документа.

«Божьей милостью мы, Константин Первый, государь всероссийский», — торжественно начинался подложный манифест от имени измышленного сына Константина Павловича. В манифесте воображаемый претендент заявляет, что престол был похищен у его отца, Константина, братом Николаем I, а сам он с детства заключен в тюрьму. Далее шел призыв к свержению незаконной власти, грабящей народ, и следовали обещания раздачи всей земли, отмены рекрутчины и все прочее, о чем кричали все подметные листки.

Шувалов не спускал с меня глаз, но это было мне уже все равно. Я утратил всякую от него обособленность, я был возмущен грубой ложью документа и дерзким самовластием составителя. Таковы были в ту минуту мои чувства. Они отразились на моем лице.

— Милый Сережа, как я рад, что в вас не ошибся! — Шувалов пожал мою руку и уже без наигранной доверчивости, а как союзнику, деловито сказал: — Помогите же мне не впутать в это дело Веру Эрастовну. Расскажите мне сами все, что вы знаете о Бейдемани.

И сейчас, как собственный предсмертный судья, без утайки озираясь на прошлое, я по совести не могу осудить себя, такого, каким я был, за этот разговор с Шуваловым, до двух пунктов ненужного и рокового сообщения.

Желая одного — выгородить Веру из дела, я описал Михаила как упорного обособленного гордеца, желавшего привести в исполнение, ни с кем не соединяясь, а лишь всеми управляя, свои революционные замыслы.



Шувалов значительно развязал мне руки своим сообщением о признании Бейдемана в том, что замышлено было им не более и не менее как цареубийство. Этот злодейский акт, по его изъяснению, не трудно было ему исполнить, потому что, как воспитанник военно-учебного заведения, он знал прекрасно все обычаи и привычки государя. Шувалов привел подлинные слова Бейдемана, которые к тому же обновляет в моей памяти брошюра архивных изысканий об этом деле. Михаил сказал на допросе после признания, что ехал в Россию с тем, чтобы совершить покушение на государя.

«Не дорожа своею жизнью, которую я посвятил на это дело, я даже не намерен был по нанесении удара бежать и укрываться от преследования».

Бешенство охватило меня. Как, в своем беспредельном эгоизме бунтующего демона, Михаил смел не дорожить жизнью, предварительно связав свою судьбу с судьбой Веры? Имея хоть каплю рыцарского великодушия, он должен был бежать от ее любви, а не сметать мимоходом ее прекрасную юность, как сметают тяжелой рукой подлетевшую к огню бабочку, навеки губя ее легкие крылья.

Раздраженный этой его фразой, которая могла погубить во цвете лет близкое мне существо, уже не подстрекаемый Шуваловым, я был охвачен одной звериной ненавистью. Я стал толковать вслух, ища злейшего смысла в дьявольском по надменности заявлении Михаила.

— Он хотел поднять страну против дворянства! — вскричал я. — Убийство государя дворянином могло быть понято как месть дворянина за освобождение крестьян... Бейдеман ненавидел свое сословие, я помню его речи: «Вырвать с корнем его, как крапиву»...

— Сережа, дружок, успокойтесь, — отечески обнял меня Шувалов, — быть может, Бейдеман только жалкий безумец?

— Нет, он не безумец, он злой фанатик! И если сейчас из презрения к властям он дает скудные показания, то, поверьте, это только затем, чтобы на суде с яростью предать гласности свои злодейские убеждения, в дикой гордости прослыть в глазах других революционеров мучеником...



Я глянул на Шувалова и осекся. Он сиял от восторга, как получивший нежданно августейшую благодарность. Да, за свою коварную игру опытной кошки с глупой мышью он и получил ее в превосходнейшей степени, перескочив в производстве товарищей. А мне за предательство и глупую злобу он выхлопотал не в очередь орден.

О, мы дешево продали могучий дух и светлый ум Михаила!

Но ведь окончательно я понимаю суть дела только сейчас, на восемьдесят третьем году, погибнув раньше смерти. А тогда?.. Тогда я только бессознательно испугался торжества в выражении графа и вдруг остыл от своего бешенства против недавнего друга и стал думать, не предал ли я его.

Нет, я этого не нашел. И, окончательно великодушный, вообразив, что этим могу смягчить положение Михаила, вдруг подхватил мысль графа, что он, может быть, психически ненормальный. Теперь, в свою очередь, я приводил этому многие доказательства, но граф Шувалов их слушал уже без интереса. Он уже был обычно бесстрастный, отлично собранный механизм, заключенный в красоту мраморных форм. Очевидно, мои первые показания в минуту бешеной вспышки пришлись ему более на руку.

Придворным движением, как бы кончая аудиенцию, он встал и любезно сказал мне:

— Извините, у меня спешные дела. Относительно себя и Веры Эрастовны — будьте спокойны.

— А участь Бейдемана?

— Решится по заслугам.

Последнюю фразу он бросил уже как начальник, самовластно отстраняющий всякое чужое вмешательство. Граф сам вывел меня в переднюю. Он сказал лакею: «Шинель поручику!» — и упругим шагом поднялся вверх.

Выйдя на улицу, я пошел куда глаза глядят — по одному проспекту, по другому. У меня было чувство, что из меня выбрали все, что было мною, и пустую оболочку пустили ходить. Предо мной, как видение, стоял дьявол Микеланджело и держал перед собой кожу, снятую с грешника. Как одержимый, я шатался по островам, а под утро вдруг очутился опять у подъезда графа. Я хотел было войти, но в окнах было



темно. Я вдруг почувствовал себя безмерно несчастным и свалился тут же без чувств.

Конечно, если б я сознал тогда ясно все последствия моего разговора с Шуваловым, я бы не мог жить спокойно остаток своих дней. Но всего лишь смутное ощущение чего-то непоправимого в судьбе Михаила, свершившегося по моей воле, верней — посредством меня, неопределенной тяжестью легло мне на сердце. Вот это чувство, ставшее в дальнейшем невыносимым, двинуло меня на безумную попытку освободить Михаила с риском собственной жизни. После этого обстоятельства все укоры моей совести значительно притупились до нынешних дней.

Но сейчас, изучая нелгущие строки архивного изыскания, как не назвать мне себя главным виновником одиночной двадцатилетней пытки Михаила? Ведь у человека, в чьих руках была его жизнь и судьба, у графа Шувалова, самостоятельным было совершенно иное решение, нежели то, что последовало позднее, после разговора со мной.

Ведь это Шуваловым, как видно из доклада его великому князю Михаилу Николаевичу, было сделано предложение, чтоб передать Бейдемана в военное ведомство и судить его военным судом. Худшее, что могло ждать его, — была смертная казнь. Но не о ней ли, как о милости, будет умолять он в раздирающей сердце записке, которая словно чудом, из загробного мира, в один чудный вечер уютного чаепития появится с неизвестным перед нами... Но об этом позднее.

А теперь: вот итоги моего разговора с Шуваловым. Я подсказал графу новое освещение всего дела, а в связи с ним и роковое решение участи узника. Мое утверждение, что Бейдеман — не безумец, как они было склонялись признать, привело их к убеждению, что того, кто не гнется, всего проще сломать.

Число в число, после нашего разговора, Шувалов доносил царю в Ливадию буквально мои собственные слова. Он говорил, что упорное молчание, которое хранит Бейдеман, не желая давать дальнейших показаний, происходит только от того, что он собирается во всю силу заговорить «в день суда в единственной надежде предать гласности свои намерения и выставить себя мучеником за политические убеждения».

Для того чтобы опасному арестанту пресечь все возможности гласности, его без суда и следствия заключили в Алексеевский равелин, в камеру № 2.



## ОДЕТ КАМНЕМ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II

Был чудный июльский день, когда я нашел наконец силу пойти в Петропавловскую крепость, чтобы воссоздать в воображении Алексеевский равелин, где сидел Михаил двадцать лет в одиночном заключении.

Сколько раз я переходил Биржевой мост, вдоль тучнеющих огородов, которые разбил крепостной гарнизон рядом с деревянным широким помостом, ведущим во входные ворота! Вместе с экскурсией пытался я пройти внутрь. Но в глазах темнело, ноги подкашивались, и я мог только сесть на большой придорожный камень и долго бессмысленно созерцать громадный революционный плакат, вознесенный над этим первым входом. На небесном фоне изобразил художник слева и справа пушки, с высоким прицелом черного дула; над пушками вверху красная звезда, а в сердце у ней серп и молот. Еще выше труднейшее словосочетание: Штаб Петрогрукрепрайона. Я это слово твердил машинально весь обратный путь до своего чердака, стараясь отвести мысль от своей досадной слабости, которую, знал я, должен во что бы то ни стало преодолеть. Случай неожиданно мне помог.

Через бывшее Марсово поле, где этим летом разбивается отличный цветник, я, приветствуя украшение столицы, прошел было к Цепному мосту, чтобы точно найти дом бывшего III отделения, где спервоначалу сидел Михаил и где еще с такой несокрушимой силой и гордостью он отвечал на допросах.

Я был одет приличней обыкновенного: для торжественных случаев у меня уцелели весьма старые, но все же темно-зеленого гвардейского сукна брюки и сюртук. Я надевал их в последний раз, когда определял девочек в школу.

В этом виде все зовут меня «дедушкой», и мне это очень приятно. Самое главное: на вопросы отвечают как равному, а сегодня мне вот именно важно, чтобы мне ответили на вопрос, где дом бывшего III отделения.

Найти этот дом я так и не успел, потому что как раз тут случилось то происшествие, которое меня придвинуло к цели.

На Фонтанке есть пристань, где отдают по часам лодки. Было пустынно. В конторе белела голова



мальчика, дежурившего в этот вечерний час, да курил трубку, свесив босые ноги в воду, содержатель лодок.

Белокурая девушка, веселая, в коротком платье, с толстыми ножками, о чем-то шепталась со своим спутником-красноармейцем. Вдруг она подошла ко мне и сказала:

— Гражданин, не хотите ли с нами проехать на лодке? Наверное, вы умеете править рулем, брат мой будет грести, а я, как буржуйка, посижу сложа руки. Мы объедем крепость и вернемся назад. Времени не более часу.

Я поблагодарил и с биением сердца вступил в лодку. Эта поездка — как нельзя более кстати, если обречен я воскрешать в памяти былое...

Мы проплыли по Фонтанке мимо бывшего Училища правоведения и под тем странным местом, где бывали мы с Верой не раз, когда, как маньяки, одержимые упорной идеей, с утра до вечера искали одного: как ее выполнить?

Это было весной шестьдесят второго года, вскоре после того, как Петр проведал от кума, что Михаил свезен в крепость, но в Трубецком бастионе не числится. Оставалась догадка, что он в Алексеевском рavelине.

Вера продала все, что осталось в наследство от отца и мужа, и, когда составила крупная сумма, она, как безумная, стала требовать у нас помощи устроить побег Михаила. Напрасно твердил ей Линученко о неприступности рavelина, обнесенного высокой стеной, об обилии стражей, о неслыханной изоляции узников. Вера слышать ничего не хотела. Она отдавала на это дело все свое состояние и добилась того, что Линученко решил сделать попытку.

Петр должен был через верного своего кума организовать широкий подкуп людей в Трубецком бастионе и рavelине. Целый месяц прошел в тщетной надежде, но если капля со временем долбит камень, то и золото в неограниченном количестве всегда разобьет наемное сопротивление.

И вот Петр объявил, что человек соответственный есть. Это был помощник одного из надзирателей рavelина — Тулмасов. На подкуп часовых и прочих охранителей он требовал пятьдесят тысяч рублей.



Линученко объявил, что должен сам видеть этого человека. Свидание состоялось, и Линученко поведал нам план Тулмасова.

Глубокой ночью, когда не будет луны, двое должны будут подплыть в лодке со стороны Биржевого моста к стенке равелина и для сигнала на минуту зажечь огонь.

Кроме двух часовых, никто этого видеть не может. Часовые же, заметив сигнал, со стены бросят веревочную лестницу, по которой подыметесь Петр с необходимыми инструментами для распилки железной решетки каземата. В случае, если не удастся вывести узника из дверей, оба спустятся обратно по той же лестнице.

Линученко предупреждал, что Тулмасов ему крайне не понравился и что весь его план скорее всего вычитан им из дрянного романа и, кроме риска, не даст ничего. Но Вера, ослепленная страстью, умоляла нас отважиться на попытку. Вызвались я и Петр. Вот причина, почему так знакомы мне вдоль и поперек все протоки и речки, впадающие в Неву. Ведь мы целыми днями плавали с Верой, ища безопасных путей, как подойти к грозной крепости и уплыть обратно, увозя с собой Михаила.

Как Веру тешила эта затея! Но из-за этого с каждым днем все труднее было мне, подобно Линученку, ей объявить, что надежды нет ни малейшей, а риск для жизни велик. При первом подозрении нас с Петром уложат на месте. Но для меня, хотя б и бессмысленный, героический конец в глазах Веры — был в то же время и единственный желанный выход. Виновником заключения Михаила без суда и без следствия я уже и тогда ощущал где-то втайне себя...

Кроме того, жизнь моя была расколота, и своего в ней места я найти не умел. Сколько я себе ни твердил, что разговор мой с Шуваловым не мог иметь плохого значения, чувство мое подсказывало мне иное.

Сейчас, когда мы через канавку входили в широкое лоно Невы, воскресает предо мною во всех подробностях незабвенная ночь нашей безумной попытки освобождения Михаила.

Сейчас от закатных лучей, как на густо-синем атласе, разлилось жидкое золото на могучих холодных волнах, а тогда...



Тогда целый день шел проливной дождь, к вечеру разыгралась буря, и зловеще ударяла пушка, объявляя об опасности наводнения.

Я перенесся на полвека назад. Да, была черная ночь. На Неве буря. Не часто шли пароходы. Огромным черным телом чернели затонувшие баржи...

— Дедушка, не попадите под катер! Правее! — окликнула белокурая девушка, потому что, весь в прошлом, я позабыл о руле.

Мы подъехали. Петропавловская крепость с шестью бастионами похожа на невиданного паука, выставившего верхние членики лап и спустившего в воду концы. Мне почудилось: лапы его не кончаются там, в воде, а, расчлененные на тысячу нитей, незримой паутиной опутали весь Петербург. Когда в Музее революции я недавно рассматривал сеть царской охранки с разноцветными кружками слежки, у меня воочию связалась эта паутина над городом с таинственной подводной работой чудовищного паука Петропавловской крепости.

— Смотри-ка, эта крепость похожа на паука, — выкрикнула белокурая девушка, а ее военный спутник вымолвил с важностью:

— Потому что здесь пауки царского режима сосали кровь революционного пролетариата.

Паук... какой пророческой меткой была та родинка на правой руке Михаила! Так в феодальные времена люди сюзерена носили на себе его герб.

На замшелых ветхих стенах Трубецкого бастиона крупными буквами выбито: «Одет камнем при Екатерине II».

Одет камнем...

Не один он, этот бастион, — и Михаил, на двадцать лет без выхода в четырех стенах, с окном под тремя решетками, выходившими на другую несокрушимую стену, — и Михаил был одет камнем с 1861 года.

И не один Михаил...

Чуть поднять голову, над бастионом пушки. Вот главная, которая бьет в полдень, минута в минуту, без перерыва, с Петра Великого до последнего из царей, и от его отречения до нынешних дней, шестого года революции. Над пушками вышка, мачта и флаг. Ныне — красный.



Вот здесь, где пышно разрослись деревья, за Трубецким бастионом шла стена и внутри. За ней, отделенный каналом, на острове был Алексеевский равелин, откуда людей не выпускали, а выносили или в могилу под чужой фамилией, или в дом сумасшедших. За равелином — опять стена, за стеною Нева.

На эту последнюю стену, шестьдесят один год тому назад, уговорено у нас было с Тулмасовым, что выйдут подкупленные им часовые с веревочной лестницей. На самом же деле, едва мы подъехали ночью в лодке и сверкнули огнем, из двух противоположных кустов раздались два выстрела. Одна пуля предназначена была для меня, но я как раз откинулся назад, доставая свой револьвер, и обе они угодили Петру в голову. Петр, едва не опрокинув лодку, бесшумно скользнул в воду и скрылся в волнах. Мне оставалось с удвоенной силой грести к берегу, где в кустах, полумертвые от ужаса, меня ждали Вера и несчастная Марфа...

Как безмятежно сейчас в этом месте плещутся волны, вызванные пробежавшим весело пароходом! Какой смех на том самом берегу, где из-за кустов стреляли в нас подкупленные злодеи!

Красноармейцы купали здесь маленького ручного медведя и купались сами. Смешной медвежонок прыгал на солдата и, пока тот плавал, сидел у него на спине, как обмокшая собачонка. Мои спутники очень смеялись и с большой неохотой поплыли обратно.

— Вот роскошная, вот веселая прогулка! — твердила белокурая девушка, а я не удержался, чтобы ей не сказать;

— Однако место, вокруг которого мы только что оплыли, далеко не веселое! Знаете ли, сударыня, там лучшие и умнейшие люди сидели по двадцати лет...

— Гражданин, — сказал хмуро красноармеец, — у вас старозаветная ориентация говорить про единичные случаи, что они лучшие и заслуженные. Оплот и базис революции — вовсе не отдельные единицы, а сознательность коллективов.

Он был очень молод и важен, этот юноша в чистенькой форме, с розовыми петлицами на груди. Я притворился глухим, что-то промышчал и умолк.

На берегу мы расстались друзьями; оба пожали мне руку. Потом белокурая девушка купила у торговки булку и два куска постного сахара и подала мне, краснея:



— Мерси вам за руль, гражданин.

Эту ночь я вовсе не спал. Все, шестьдесят лет тому назад погребенное, продолжало воскресать...

Наутро после ужасной гибели Петра я подал начальству рапорт об исчезновении моего денщика. Его всюду искали и, не найдя, решили, что он утонул в пьяном виде. Для правдоподобности я дал показание о его пристрастии к водке. Мы боялись, что нас выдаст Марфа своим безудержным горем. В ее бессвязных речах о неудавшемся побеге было бы много подозрительного для опытных сыщиков. И, боясь, чтобы не пошла она к месту гибели своего мужа, мы держали ее взаперти, решив в скором времени увезти временно вон из города.

Вера как бы окаменела; глаза стали огромными и потухли. Пусто смотрела она часто в одну точку, и оживление в ней вспыхнуло вновь, только когда приехала из Бессарабии сестра Бейдемана, Виктория, хлопотать через видных родственников о смягчении участи брата.

На другой день после того, как я побывал в лодке у Петропавловской крепости в компании красноармейца и белокурой девушки, я уже не мог не попасть в нее и путем сухопутным.

Часам к трем я дошел до Троицкой площади, оттуда через мост — к Петропавловским воротам. Там руководитель делал перекличку своей экскурсии.

Это все были юные девушки с какого-то завода. Окончив свой рабочий день, они, не заходя домой отдохнуть, пришли сюда и на собственные сбережения наняли себе вольного инструктора, надеясь, как они выражались, что он и покажет «вольней»; у большинства я заметил ныне модные полосатые шарфы с мягкой кисточкой на концах. Когда их кто-то спросил: «Что это у вас всех одинаковые?» — сказали: «А мы их гуртом купили в Пепе».

— Пепо, как и депо, не склоняется, — поправил руководитель и подвел всех к воротам.

— Обратите свое внимание, товарищи, на возглавляющий барельеф. Тут изображен не столько летящий, сколь неблагопристойно, вниз головою, застрявший в воздухе человек. На него указывает сбоку мальчик такой чрезмерно длинной рукой, что, если ее опустить, она ему будет до пят. Бывший царь Петр хотел



почтить своего ангела, апостола Петра, и приказал выискать какое-нибудь чудо, им содеянное. Чудо выискали в лице неблагопристойно летящего человека, он же — посрамленный апостолом колдун Симон-волхв. Все это не более как преданье и басни в угоду слабоумных и малограмотных.

— Религия — опиум для народа, — сказали две в шарфах.

Руководитель указал дальше на две ниши в воротах.

— В них статуи, языческий бог Марс и супруга его — Венера. — Он прибавил с иронией: — Конечно, Марс тут на месте, по случаю военного учреждения, но Венера — по той причине, что при прежнем буржуазном строе муж, словно каторжный к тачке, был прикован к своей жене, то и в каменном виде поставили ему в нишу Венеру.

— По мифологии муж Венеры — Гефест, а Марс всего-навсего — похититель, — сказал, смеясь, какой-то «вузник», приставший к экскурсии. — Так что выходит: царь Петр поощрял не законную любовь, а именно свободную.

Все засмеялись, а руководитель рассердился.

— Это спорный вопрос, — сказал он с достоинством. Потом вспыхнул: — Которые примазавшись к экскурсии — уходите!

Вузник, посвистывая, отошел, а меня девушки скрыли в рядах, пригрозив, чтоб молчал.

Вошли в собор. Я никогда не любил его нерусскую роскошь. Низкий алтарь в завитках барокко, золотая лестница с нависшей ложей проповедника, царское место под тяжким балдахином, митрополичье — посередине под красным сукном. Колонны до самого верху, как зимними сказочными цветами, усыпаны серебряными венками с похорон царей. Все важные гробницы — серого мрамора, а Александра II символическая — кровавого камня.

В годы самодержавия любили цари в этом соборе проделывать однообразную восточную шутку. Волостных и сельских старшин, приезжавших поздравлять с коронацией, сюда приводили на парадную службу. Вспыхивала огромная хрустальная люстра, ей ответно сверкали серебряные листья несметных венков, брильянты придворных дам и золотая резь-



ба иконостаса. Незримые хоры пели с небес, и, овеянные клубами росного ладана, падали старосты на колени.

Каждый раз царь и царица спрашивали их, как им понравилась служба, и говорили старшины от воцаренья к воцаренью то же самое: «Как в раю побывали, ваше величество!»

Едва ли этот вопрос и ответ не входили и в обязательный коронационный ритуал церемониймейстера двора.

Сейчас собор был не тот. Сняты все венки и свезены в московский музей. Лучшие образа — тоже. Бесприютней могил бедняков на сельском кладбище однообразные мраморные гробницы. Только у императора Павла непонятное стечение народа. Под цветами не видно мрамора, венки из васильков, ноготков и ромашек, неугасимая лампада и паломники — стар и млад. До революции Павел в народе считался святым: одни верили, что помогает он от всякой беды, а другие — что от одной лишь зубной боли.

Я задумался, пока не увидел, что остался один. Экскурсия мигом обежала гробницы. Я заметил, что мужчины, как и раньше, были в церкви без шапок. Но они их сняли еще у ворот, как сейчас догадался, именно для того, чтобы не вышло прежнего оттенка особого уважения к храму. Однако и остаться им в шапках, по-видимому, было тоже неприятно.

Я присоединился к экскурсии под громадным деревом. Все сидели на траве, и руководитель говорил, что как раз здесь было при Петре «плясовое место» — место пыток и наказаний, от которых «плясали». Сажали человека на железного коня с острой спиной, пускали ходить по острым кольям.

Наконец руководитель перешел к тому, ради чего я пришел в это место. Он нас повел тем самым путем, как возили арестованных в черных каретах с зелеными занавесками. В карете сидели с каждым два жандарма и офицер.

Так проезжал тут в 1861 году Михаил Бейдеман — замуровать навеки свою юную жизнь.

Я больше не видел девичьих лиц и слышал руководителя, лишь поскольку мне это было надо, чтобы представить себе, где и как протекали дни заключения Михаила.



Не знаю, как именно везли его: вдоль Екатерининской куртины, как возили поздней Поливанова, или с другой стороны, мимо осевших в землю казарм Анны Иоанновны.

Впрочем, в обоих случаях была процедура одинакова. У низкого дома обер-коменданта карета останавливалась, офицер соскакивал и уходил в подъезд с докладом, а жандармы с арестованным доезжали до серых ворот, где сейчас на их месте — свернувшийся набок фонарь. Но с правой стороны все так же, как и тогда, вращались в небо частые бурые трубы Монетного двора.

Здесь уже угадываются сырые нижние камеры, черный карцер, двойные стены, вся глухая, бесправная гибель. И оттого ли, что так тесно сдвинуты небо и здания, — небо совсем не кажется уходящим вверх безграничным пространством, а низко упавшим, не легким покровом.

Настоящему руководителю надо бы здесь перебить хохот и шуточки и ожидание легкомысленной молодежи поскорей увидеть пошловатые рисуночки каких-то бывших охранников, сейчас очень модные в публике...

Я сказал соседкам:

— Вот для того, чтобы вы могли прийти сюда с хохотом после восьмичасового рабочего дня, здесь на всю жизнь замурованы были люди.

Но они, как тщеславные гусята, ничего не поняли и сказали:

— Этого больше не будет, не бойтесь, гражданин, ведь мы опрокинули царский строй!

Я хотел было объяснить руководителю, что, прежде чем показать одиночную камеру, одиночную баню и, как он выражался, «прочее, все одиночное», — надлежит найти слова, какими бы пронять молодежь, слова, какими бы им в глубину сердца ввести само содержание слов: принудительное бессрочное одиночное заключение.

Но я ничего не сказал, я не мог говорить. Я держался за стенку, чтобы не упасть. Волнение подрезало силы, я не мог угнаться за веселой экскурсией.

Посидев с десять минут на подоконнике, я попал в новую компанию. Четыре старые дамы, приехавшие из провинции, наняли себе ветерана-надзирателя,



здешнего старожила чуть не со времен Николая I. Я попросил позволения примкнуть, и мы все, соответственно возрасту, побрели черепашьям шагом.

Я был обрадован этой неспешностью, я мог вживаться в протекающую жизнь. Нет, скажу, как в святцах про мучеников,— житие.

Прежде чем впустить сюда, узника долго морили перед последней железной решеткой. Офицер нарочито задерживался у коменданта, чтобы создать арестанту особое нервное состояние. Затем в караульном помещении с него снимали домашнюю одежду и надевали халат.

Старик надзиратель — богомольного вида, с елеем в мелких чертах. У него есть гордость профессионала, когда он говорит:

— Я стерег заключенных при двух Александрах и при Николае последнем, стерег при Керенском... вот посудите размах времени. А почему уцелел в одном месте? Никому зла не делал, закон исполнял. Прикажут: «Гляди в глазок!» — я и гляжу. Арестант рассердится да в уголок, я его не дразню, отойду. А потом снова. А чтоб Фигнер не стучала соседям, мы ее отсадили промеж двух пустых кладовых,— вот, не угодно ли взглянуть? Она ножкой топнет, а внизу, как с боков,— никого-с!

Он говорил, как добрый дедушка про шалость внучат. Так в римском форуме с добродушным достоинством говорит опытный гид, гордясь перед иностранцами анекдотами древних времен. И как там путешественники, жадные к жестоким волнениям, не стесняясь меня, старика, потные от любопытства, приставали к надзирателю и эти женщины:

— А правда, что бывали тут избиения? А чем вы их тут били, куда?

Надзиратель с неудовольствием отрицал избиения; он стремился отвести внимание дам на заботу начальников:

— Вот, извольте видеть, мы сойдем этой лестничкой в сад, обратите, между прочим, внимание: к перилам приделан сплошной высокий забор — как бы вы думали, на какой именно предмет?

И, наслаждаясь недоумением, со своей стариковской улыбкой он сказал:



— Очень просто, это затем, чтобы политическим убиться не дать. Были случаи, были,— хитрый народ! И кому бы сидеть надо годы, он норовит собственный срок сократить. Очень просто: через лесенку в пролет да на голову.

В крохотном садике одиночная баня и несколько деревьев, дорожки чуть отмечаются — заросли.

— В прежнее время песочком тут было посыпано,— с укоризной к нынешним сказал надзиратель.— Напоследок, в военное времечко, царские генералы у нас тут гуляли. Адмиралы посиживали. Ну, у них уже не камера, а по два покоя, кабинет и спальня, а кушанье — свое в три блюда. И супруг допускали. А глядите, на стенке Пуришкевича стихи длинно написаны и подпись: «Владимир Митрофанович, несчастный Пуришкевич, краса и гордость контрреволюции».

Я запомнил две последние строчки его стихов: «Безумья семена дадут вам рабства всходы...»

Дамы алчно кинулись к стенам модной камеры охранника. Она вся в размашистых рисунках из «Нивы»: девица в джерси у окошка, рот бантиком; огромный, во всю стену, подробный, как план, вид Люцерна, с отмеченными окнами самых дальних домов. Под видом стих:

Ах, если б мы сюда вернулись снова,  
Где были мы столь счастливы с тобой...

Как выйти из Трубецкого бастиона, через несколько шагов влево Васильевские ворота. Через туннель попадаешь в новое место, по уровню много ниже. Здесь через подъемный мост, под которым прорыт был канал, шел треугольником Алексеевский рavelин — одноэтажное здание с четырнадцатью небольшими камерами. Туда заключали особо важных преступников. Заведовал им смотритель, и для внутреннего дозора приставлены были стражи. Ключ от каждого номера был у смотрителя, без которого в камеру никто не входил. Днем и ночью смотрел в глазок — узкую щель в дверях — зоркий глаз дежурного. Из неприступного, несокрушимого рavelина никто никогда не убежал.

В Алексеевском рavelине было так сыро, что в 1873 году, второго октября, двух узников, Михаила и



Нечаева, под наблюдением смотрителя Бобкова и караула рavelинской команды, из-за угрозы наводнения, каждого порознь перевели в Трубецкой бастион. Там оставались они под наблюдением этих людей до рассвета следующего дня.

Дамы, пошептавшись о чем-то со смотрителем, сунули ему деньги. Сторож молча кивнул головой. Одна дама, обернувшись, сказала мне:

— Дедушка, и вы с нами идите, а то нам, женщинам, одним будет страшно.

Не спрашивая, куда мы пойдем, я молча кивнул головой. Мы спустились обратно в нижний этаж Трубецкого бастиона, вошли в какую-то камеру, и надзиратель захлопнул за нами плотно дверь.

— Посмотрите по часам, чтобы не больше десяти минут,— воскликнула дама.

— Разумеется,— сказала другая,— больше будет, пожалуй, и вредно, а представить себе то, что они испытали, можно и в кратчайший срок.

— Закройте, mesdames, глаза, потом откройте... ах, как интересно испытать, как испытали они!..

Надзиратель обиделся, как честный профессионал, и сказал болтливым дамам:

— А вы, сударьни, помолчите: здесь ни говорить, ни смеяться ни-ни!

Я смерил камеру: десять шагов в длину, пять ширины. Грязно-белый потолок, серые стены — вот и все здесь цвета. В окно за тройной железной решеткой — кусок подступившей грязной стены. Привинчена кровать, привинчен стол, и в стеклянной нише привинчена лампа, чтобы узник не задумал сжечь сам себя. Одежда из мешочного полотна, верхний халатишко. Жидкое, не греющее одеяло...

Все то же самое было и у Михаила в его камере № 2 и позднее № 13, только еще много сырее, чем здесь. Но, по свидетельству там сидевших, звуки у них были слышнее и разнообразнее, нежели тут, отчего мука неволи становится острее: порой доносил ветер музыку Летнего сада.

Что же испытывал Михаил, одетый камнем, когда нараставшие пятилетия вошедшего юношу сделали зрелым и пожилым все в том же заключении: десять аршин длины и пять ширины? И это — при сознании, что всего лишь за двумя стенами течет прекраснейшая



многоводная река, по ней идут пароходы через Балтийское море во все части света, что укрепляется берег строениями, что идет накопление разнообразнейших опытов жизни через войны, просвещение и через простой человеческий быт!

Эту богатую, пеструю жизнь изведаль не он, а я, его бывший друг и предатель. Да, предатель — ибо человек есть только то, кем он себя сам ощущает. И да свершится надо мной справедливая Немезида!

Пусть читатель, искушенный в классификации явлений психологических, отнесет, соответственно своим познаниям, куда угодно мои дальнейшие сообщения. Я спорить не стану: нервическая ли это расслабленность старости или особое глубокое потрясение всего жизненного моего аппарата, — я слишком знаю то, что я знаю.

По капризу любопытных я пробыл в камере одиночного заключения всего десять минут. Но мука в ней заключенного, но вековая ползучая сырость насквозь пронизали меня — от волос головы до подошв моих распухших ног. Мука этих стен одела камнем. И вне этих стен мне уже не быть. И вот знаю, проведу ли я двадцать лет в этом застенке, незримом глазу, или какие-нибудь два-три года, что мне остается дожить, — я приму целиком заключение Михаила, я изживу его смертельные муки, и впишутся мне они, как ему, тем же полным числом, в мою черную книгу судьбы.

Читатель, свершилось надо мной пророчество предсказательницы m-m де Тэб.

Одеть камнем, как был Михаил в 1861 году, я в 1923-м — становлюсь на его место.





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава I

#### ЧЕРНЫЙ ВРУБЕЛЬ

Сергей Русанин и Михаил Бейдеман — одно. Я узнал о проницаемости тел, об одержимости личностью другого человека не сразу. Это случилось после того, как я стал сыном матери Михаила, мужем его кратковременной жены. А третье... третье не скажу. Словом, мое устремление к его личности и судьбе заставляет меня порой настолько отождествлять себя с ним, что я не могу вспомнить своего имени и называю его имя.

Так, на той неделе, когда я вышел на рынок за пятью фунтами картофеля, я почувствовал головокружение и должен был сесть на паперть той большой церкви, где в семнадцатом году на колокольне обнаружен был пулемет и взамен его водружен красный флаг. Я сам не помнил, но Ивану Потапычу говорили те, кто меня свел в лечебницу душевнобольных, будто



я там просидел с мешком недвижимо до вечера, чем и вызвал участие всех торговцев. Русский человек, как известно настолько же добродушен, насколько жесток. Торговки накормили меня и хотели водворить домой, но я твердо заявил им, что дома никакого не имею, ибо сегодня лишь утром выпущен из Алексеевского равелина Петропавловской крепости. А в равелине я будто сидел со времен царевича Алексея Петровича и неустанно ловил мышей с ножек княжны Таракановой. Она очень долго, несмотря на смертельную опасность, ей угрожавшую, сохраняла свою наивную женственность и не столько пугалась подымавшейся в ее камере воды, сколько мышей, в изобилии прыгавших на красный бархат ее бального платья.

О лечебнице душевнобольных я хорошо помню все. На вопрос старшего врача о том, кто я такой, я немедленно вызвал в памяти самый эффектный момент из жизни Михаила и, подняв плечи, легкой походкой прошел в дальний угол, как бы приглашая на контрданс Веру Лагутину. Поклонившись с достоинством, я отрекомендовался из угла:

— Михаил Бейдеман, юнкер третьего корпуса Константиновского училища.

И еще прибавил:

— *Vaut mieux tard jamais!*<sup>1</sup>

Последнее изречение должно было означать, что я желаю исправить с самого начала все вины перед другом, начиная с зависти к его прекрасной внешности.

Старший врач и помощники, конечно, полезные граждане, но они — лишь рабочие муравьи и ходят по своей линии. Они зарегистрировали меня сумасшедшим и приказали посадить меня в ванну. Но прочие, так называемые больные, меня отлично поняли и с одобрением мне аплодировали.

А горячо мною любимый художник Врубель, принявший образ какого-то верзилы с черной бородой, подошел ко мне и сказал:

— Из видов окончательного освобождения, о котором я узнал из своей последней работы — портрета Валерия Брюсова, теперь я таков. Но я вижу: меня вы

---

<sup>1</sup> Лучше поздно, чем никогда! (фр.)



признали, а значит, достойны, чтобы я разъяснил вам одну картину. Уединимся вечером.

Я доволен, что неделю провел с сумасшедшими. И раньше я подозревал, что и здесь, как над каждой вещью в земном обиходе, этикетки все перепутаны, и эти сумасшедшие — самые свободные из людей. Они сбросили маску. Ведь все дело — в преодолении странства. Люди в масках движутся вперед по прямой, а мы, как крабы... Впрочем, этого я не смею открыть, разве что намекнуть.

Проницаемость тел, одержимость другими начинается так: левый локоть под углом в 45 градусов... как кинжал. И пятками сейчас же в его пятки, а теменем в темя. Так у меня всегда с Михаилом, следствие — легкая дурнота.

Оказывается, Врубель с чернобородым верзилой сделал то же. Он рассказал мне это в тот же вечер, вскрывая причину принятия нового образа. Но об этом немного позднее, сейчас мне надо идти только вперед по прямой линии и, чтобы читателю было понятно, продолжать повесть обыденным способом передачи: предложением главным, от придаточного отделяемым скромною запятой.

Кроме продолжительных бесед с художником о вещах, понятных нам обоим, но вызывавших улыбку у старшего врача, странного в моем поведении ничего не нашли. К тому же на третий день я надел маску и, извиняясь за причиненное мной беспокойство врачебному персоналу, вежливо попросился домой, предполагая у Ивана Потапыча и у славных девочек тревогу по причине моего исчезновения. Я только отвечал на вопросы, дал телефон Ивана Потапыча. Сейчас он сторожем в Центросоюзе и, по ориентации на полнейшее равноправие в наши дни, имеет возможность говорить и слушать по телефону учреждения, как самый его главный товарищ начальник. Иван Потапыч не замедлил явиться. Он обрадовался мне, как родному, и тут же подарил антоновское яблоко, по своей обстоятельности прибавив, что в этом году яблоки дешевле огурцов.

Старший врач отпустил меня с Потапычем, наказав ему не выпускать меня вовсе из дому.

— Кровоизлияние в мозг, — сказал он, — может повториться, и старик, чего доброго, попадет под трамвай.



Я хотел было возразить доктору, что снимать маску я могу по собственной воле и в любой момент, так что этот способ расширения сознания совсем неосновательно называть почему-то кровоизлиянием в мозг... Но я ничего не сказал. Они в своих куцых знаниях упорны и посадили бы меня снова в ванну. Мне же сильно хотелось домой — чайку выпить с яблочком и записать необычайное открытие Врубеля, важное для каждого и для всех.

Однако продолжать будем по порядку, чтобы читателю стало понятно, как человек перестает быть «одетым камнем».

Первое доказательство взаимообщения через мысль, презиращее пространство и время, что в грядущем попадет в графу математических исчислений, а по модности обучения сменит ритмику, испытал я, идя навстречу событиям, еще в 1863 году осенью, когда я вез матушку Бейдемана в Крым.

После неудавшейся детской попытки освободить Михаила, жертвою чего погиб Петр, матушка внезапно пала силами, но не духом. Чувствуя, что болезнь ее (острое расстройство сердечной деятельности) значительно ухудшилась, она объявила нам, что должна торопиться прибегнуть к последнему средству: самолично молить государя о помиловании. Чувствуя к этой женщине искреннюю сыновнюю привязанность, я не мог отпустить ее одну и, взяв краткий отпуск, поехал с ней вместе.

Матушка Михаила заболела. Мы должны были остановиться в дрянном городишке, в гостинице.

Здесь и произошло...

Как много можно узнать от человека умирающего, если этому человеку есть что сказать. Ведь все, что равняет нас друг с другом или создает преимущества в смысле образования, *savoir vivre*<sup>1</sup> и прочих, как сейчас принято говорить, «культурных ценностей», все это отходит перед лицом смерти, как к ней ни отнестись — величайшей из тайн.

При человеке неотъемлемой до конца остается лишь емкость его собственной души. И вот в душе этой умирающей женщины горел целый мир.

---

<sup>1</sup> Умения жить (фр.).



Когда после одного особо острого припадка она поняла, что до Крыма ей не доехать, во всем существе ее изобразилась нечеловеческая мука. Но в одиночестве, собрав силы, она скоро овладела собой. У нее не было обычной женской религиозности, хватаящейся за духовника, но доверие к великому разуму и добру, к которым идет мир, несмотря на горести жизни, было так сильно, что давало ей совершенную организованность для себя и любовь материнскую и покрывающую для каждого, кто подходил.

Малоречивая и, как внутренне собранный человек, невольно внимательная к малейшей расшатанности другого, матушка, в светлые промежутки между страданиями, своими простыми вопросами, из которых ни одного не оказалось пустого, как бы принудила меня сделать итоги всему тому, что я продумал и прочувствовал до сих пор. У нее было особое умение помогать и давать, не навязывая...

В знаменательных разговорах Гретхен и Фауста не те ли качества, столь пленительные в существе невинном и мудром, открываются много испытавшему скептику?

Сколько бы жены ни обрезали волос, ни дымили папиросами, беря себя руками в бок, и ни писали трактатов хотя бы не хуже мужчины,—только от этого особого их достоинства, от любви материнской и покрывающей, будет жив и прекрасен весь мир. Был и будет!

Эта замученная горем, умирающая старая женщина в то же время была как артист, которого день-деньской заставили таскать тяжелые камни и лишь к вечеру освободили для любимого дела.

Музыкальность и гармония — основы высокой души — сообщили невыразимую нежность ее уходящему внутреннему существу.

— Стеша! — совсем перед кончиной сказала матушка убиравшей девушке, указывая при этом на принесенный ей голубой чайник кипятку. — Стеша, заткни ему носик чистой ваткой. Сережа придет — чай остынет, а я вдруг помру и уже не напомню тебе, чтобы согрела.

Но, к счастью, я поспел вовремя...

Какой земной последней радостью озарилось ее уже отрешенное от желаний лицо, когда я вошел!



Торопясь, что не успеет, сняла она с шеи ключик и указала мне подать ей ореховую шкатулку. Я открыл; она передала мне твердой бумаги серый конверт с надписью: «Ларисе Польшовой».

— Эта женщина Михаила любила, она сделает то, чего я не смогла... Ее в Ялте знают, она близка ко двору.

После этого матушка закрыла глаза. С каждой минутой дыхание ее становилось порывистей, и сердце трепетало так сильно, что ослепительно белая кофточка вздрагивала. Лежать она не могла. С высоко приподнятой головой раскрыла навстречу широкому окну свои вдруг помолодевшие ярко-синие глаза.

Был закат, и пурпуром охвачено небо. На нем большое, тяжелое, как бы дымное солнце. Внезапно до острой боли припомнился мне тот незабвенный закат в день производства, когда я побежал по двору училища вслед Михаилу. Сходство довершали десятки нестерпимо сверкавших стекол больших домов нашей улицы.

«Что с Михаилом? Чувствует ли он, что его мать умирает?»

В эту минуту матушка еще приподнялась на кровати и, как бы потянувшись вслед заходящему солнцу, сказала мне тихо, но ясно:

— Сережа, пойдем к сыну моему Михаилу!

Она протянула мне обе руки и взяла их крепко в свои.

На другой день я очнулся в постели в своем номере, и доктор, считавший мой пульс, предупредив, чтобы я не вздумал вставать и волноваться, рассказал мне, что вчера после заката, часов около восьми, меня нашли без чувств на кресле около старушки Бейдеман. Уже мертвая, она не выпускала моих рук из своих. Меня высвободили с трудом.

Я не расспрашивал о подробностях. Но и про себя я не рассказывал им всей правды. Но сейчас расскажу.

Едва матушка взяла мои руки в свои, солнце внезапно зашло, и наступило странное освещение, как бы без источника света, какое бывает только во сне.

Я увидел себя с нею в лодке и почему-то бешено стал грести. Мы мгновенно перерезали Неву поперек и подошли к Невским воротам Петропавловской крепости. Я было подумал: «Почему мы не входим Петро-



павловскими воротами, как обычно?» Но матушка махнула в том направлении легкой ручкой, и я увидел толпы людей вдоль валов. Через них нам с суши было не пройти. Новгородцы, олонецкие и петербургские крестьяне копошились по пояс в воде. Лишенные необходимейших инструментов и тачек, они рыли землю руками и, вместо мешков, подолами собственных рубаш таскали ее на валы. Они были мертвенно бледны, с огромными белыми глазами. Их желтые длинные зубы стучали от холода. Мне стало их страшно жаль, но тут же я понял, что мы с матушкой незримы, хотя сами видим хорошо, иначе как могли бы нас не заметить два парадных кортежа: с левой стороны, в Екатерининской беседке, Екатерина I с штатом своих фрейлин, а с правой — сам великий царь Петр, входящий с приближенными на колокольню послушать игру курантов.

Тому, что я вижу людей, давно уже умерших, я не дивился нисколько: ведь они, как и я, были во времени, а время что? Время — фикция.

Царь Петр с придворными сошел вниз и, соединившись на «плясовом месте» с двором Екатерины, шутя с хорошенькой фрейлиной, направил размашистые шаги к домику бабушки русского флота. Когда мы подошли к железной решетке Трубецкого бастиона, вдруг, заломив над бледной головой высоко руки, упала перед матушкой на колени княжна Тараканова. Прекрасная ее нагота была чуть прикрыта драгоценным кружевом и обрывком древнего истлевшего бархата. Матушка положила ей легкую руку на голову, будто игуменья, мимоходом дающая отпуск провинившейся послушнице, и мы прошли далее. Царевич же Алексей, не подходя близко, осторожными шагами крался поодаль. Вобрав в плечи длинную узколобую голову, он недобрыми глазами воззрился нам вслед. Мы шли между Монетным двором и Трубецким бастионом. В глубине дороги преградили ворота; не знаю как, но мы сквозь них прошли, хотя калитка была заперта. Налево зачернели другие ворота, в Алексеевский рavelин. Они открылись сами собой, будто чудовищный рот зевнул. Мы вошли под свод крепостной стены, перешли через канал с черной водой. В треугольном одноэтажном здании горел свет.



Перед последней калиткой вдруг выросли две фигуры. Высокий, в пальто военного врача, бормотал гробовым голосом:

— Я старик, и голова у меня поседела на службе, а я не помню, чтобы отсюда куда-нибудь увозили иначе, как на кладбище или в дом сумасшедших! — еще выкрикнул и отвратительно захохотал.

Бедная матушка как бы в отчаянии закрыла руками лицо, но я, обнадеживая ее, сказал:

— Это нас не касается, это слова грубого, недостойного своего человеколюбивого звания врача, некоего Вильмса, тюремного доктора, жестокие слова, брошенные им некогда народовольцам.

Вероятно, как в Дантовых адских кругах, здесь каждый таким, как он есть, застывает в своем преступлении.

— Пришли — так входите! — яростно крикнул нам другой омерзительный призрак и, подняв тяжелую руку, как будто для удара, вдруг опустив ее, быстро зашевелил короткими, словно обрубленными пальцами. Глаза его, бутылочного тусклого цвета, навывкате, не мигая, смотрели на нас, как глаза гнусного пресмыкающегося. Они застыли с выражением тупой и холодной жестокости.

— Соколов, — узнал я тюремщика, — ведите нас к Бейдеману!

— Есть пропуск — пуцу, нет — самих посажу, — начал было Соколов, но вдруг снизилась с неба, тяжело-го, как литая эмаль, голубая луна.

Луна нас покрыла.....

.....

Едва ноги мои коснулись пола камеры Михаила, моим первым невольным движением было оглянуться, чтобы понять, как мне выйти обратно. Стекла были матовые, и на них лежали черными полосами тени перекладин решетки. Стены были страшно сырые. Они на аршин от пола, казалось, обтянуты были черным бархатом. Я тронул пальцем и раздавил противную черно-зеленую плесень.

Налево была огромная изразцовая печь с топкой из коридора, у другой стены — старая деревянная кровать. Около нее на полу кто-то лежал без чувств.

«Михаил», — подумал я и хотел к нему кинуться, но матушка вдруг отдернула меня в угол, отдаленнейший



от дверей, и вовремя. Покрышка над глазком поднялась, и кто-то глянул в него. Громыхнул запор, и в сопровождении Соколова и сторожей вошел доктор. Сторожа подняли того, кто лежал, с полу. Лицо его было сине-багровое, шея туго затянута полотенцем, привязанным к спинке кровати. Доктор стал делать искусственное дыхание, сняв петлю с шеи. Из рта и носа хлынула кровь. Лицо из багрового стало как мел.

Я узнал Михаила. Он так похудел, что обозначились скулы, а тонкий нос с горбинкой обтянут был желтой кожей покойника. Глаза, не прежние, сверкавшие гордой силой, а глаза затравленного, угасающего в мучке, с робкой надеждой смотрели перед собой.

— Я умер? — спросил он. — Значит, мне удалось?

— Удалось сойти с ума! — ответил грубо доктор. — Отобрать у него полотенце и простыни, чтобы он снова не вздумал...

Сторожа сдернули простыни. Михаил привстал. Глаза его бешено засверкали; казалось, что сейчас он выкинет чрезвычайное. В этот миг матушка, протянув ему обе руки, двинулась к нему из угла.

— Матушка, наконец-то! — И Михаил, не в силах сдержать радость, несмотря на присутствие сторожа, зарыдал, как дитя.

— И без смирительной рубахи засмирел, ишь плачет... — сказал сторож.

— Ослабел, ночь обойдется без буйства, — решил врач и вышел, сопровождаемый сторожами, уносившими простыни и полотенце.

Опять загремел запор запираемой двери. Отвратительная светильня, распуская страшный чад, слабо озаряла изможденное, бессильное тело распростертого на грязном соломенном матраце. Горели безумные глаза, слезы текли по бескровным щекам, и слышался лепет частый и однообразный, как маятник:

— Матушка, выведи меня, матушка, я погибаю...

.....  
— Сергей Петрович, что это ты? Никак сонный пищешь, — потряс меня за плечи Иван Потапыч. — Чайку выпей.

Я очнулся. Тихо у нас. Девочки уже спят. Выпил с Потапычем чаю. Потапыч полез на диван. А я, когда все уснут, стелюсь на полу.



— Электричество не забудь,— говорит мне Потапыч,— оно с улицы видать, неравно донесут управдо-му-то, нас и выключат.

Задернул окно старым ковром. Перечел я написанное. Спросят: что правда, а что мне привиделось? А пусть раньше определит мне любопытствующий сам: что считать надо правдой? То ли, что случается с человеком, не бороздя ему душу и малейшею бороздою, или то, что он, едва лишь помыслит случившимся, запоминает навеки как самонужнейшую, как светлую правду?

Или правда лишь то, что можно ощупать? Извольте: такою правдою был толстый серый конверт с письмом матушки Михаила к Ларисе Польновой, на которую была надежда, что довершит она дело с просьбой к царю.

А чернобородый верзила, рекомендовавшийся Врубелем, пожалуй, мечтанье. Но, как известно, мечтаньем открыта Америка, да не одна она...

## Глава II КОЗИЙ БОГ

Я давно не писал. Отбывал Михайловы муки. Был одет камнем, как Трубецкой бастион. Во мне были камеры, и сам я был в камере заключен. А Иван Потапыч денно и ночью кричал:

— Не смей лазить в шкаф, отвезу в сумасшедший!

Надоел как попугай, до того, что сегодня я опять стал во времени, надел маску и взялся за перо. Люди пугаются больше всего, когда отменяется время...

К Ивану Потапычу сегодня пришел доктор, говорил со мной, но я безмолвствовал. Доктор говорил Ивану Потапычу, что сейчас замечается новое помешательство в связи с перестановкой часов. Людям вдруг страшно, будто последнего кита выдернули. Какую-то Агафью Матвеевну свезли на днях в тихое отделение. Есть-пить перестала.

— Почему именно,— говорит,— я знаю, куда пища и питье пойдут дальше! Сейчас ничему нельзя верить—уж ежели и часы фальшивят.

А про себя вот что заметил: когда смешиваются у меня в памяти сроки, когда сквозным ощущаю непро-



нищаемое, то, выйдя из камеры Михаила, ну, хотя бы на прогулку в треугольном садике равелина, я не хожу уже, как все люди, а подлетаваю.

С каждым днем все лучше, все выше. Почти как тяжелый мякинный воробей, могу вспорхнуть уже на печку.

Вот своего лета боюсь.

Иван Потапыч сейчас сознательный человек, ни живой, ни мертвой церкви не признает, а неблаголепия не спустит. Вдруг на печке в моем-то возрасте... и вообще, как ему после этого перед знакомыми быть? Но уходить раньше срока мне из дома не хочется: остается опять признать балласт дней и месяцев и осесть в плоскодонное.

Иван Потапыч верно отметил: перо и чернила меня, как няньки, ведут по гладкому... Ну, а уж я поведу свою повесть далее...

Я только ранней весной мог выполнить поручение матушки. Получив опять краткий отпуск, нигде не задерживаясь, я мчался в Ялту на поиски Ларисы Польиновой. Серый толстый конверт был у меня на груди. Я нашел дачу ее без труда. Ларису знал весь город. Почему-то я ожидал нечто вроде идейной девицы, стриженной и для меня не интересной, но оказалось наоборот...

Золотой дождь и густо-розовые цветы иудина дерева, как сейчас вижу, покрывали все склоны гор могучим расцветом, так что закаты казались потухшими. Все, что таилось в природе красок, было вызвано к жизни этим буйным цветением земли. Темный блестящий плющ, как змей, оползал вокруг огромных камней, а гроздья нежных глициний лиловели на его твердых листьях. Кругом горели розы — оранжево-розовые, как внутренность больших раковин Средиземного моря, и пурпурные, и белые. Розы города качались в садах, взбегали на крыши, свисали над открытыми окнами, ткали на белых стенах нежнейших нюансов гобелены.

Весь город был корзиною роз. В общественных парках, по главным аллеям, высоко вознесенные на поперечных шестах, с восходом солнца уже сверкали они брильянтами еще не испарившейся росы и поили воздух запахом свежего чая. Две ночи я не спал, а бродил по горам, как безумец. Наконец мне показа-



лось глупым не понимать того, что со мной случилось, и я понял.

Едва я увидел Ларису, я в нее влюбился. И если у нее был роман с Михаилом, то будет и со мной. Если с Михаилом были одни разговоры и лунная ночь, то же будет и со мной.

Какое взаимоотношение между этими условиями? Спросят — не умею объяснить, но угадано было верно.

Узнать окончательно и самое тайное про человека можно, только сойдясь в той же мере близости, в какой бывал он с одним из выбранных им себе дополнений. Это одинаково по отношению к мужчинам и к женщинам.

Через Ларису мне откроется, почему от личной любви бежал Михаил. На каком горне судьбы ковалась его революционная воля? Ведь из одних глубоко личных причин куются даже достоинства и недостатки, ставшие достоянием человечества...

Но мне было не до философий. В краткосрочный отпуск, с лапидарностью древних времен, надлежало мне: прийти, увидеть, победить.

И, хотя Лариса Польнова была молодая вдова с репутацией доступной ялтинской дамы, я был немало смущен и далеко в себе не уверен. За городом, у подножия гор, вблизи старинной крепости генуэзцев, у нее была своя дачка. Лариса была богата и, не считаясь с общественным мнением, жила по тем временам с поражавшей всех независимостью. Спервоначала я принял ее за прислугу, когда, подъехав верхом к ее даче, указанной мне первым встречным, я спрыгнул с коня и, не зная, где его привязать, обратился с вопросом к девушке, обвязанной по-украински платочком, в вышитой белой рубахе и темной юбке, возившейся с лейкой у гряд:

— Куда, милая, деть мне коня и где ваша барыня, госпожа Польнова?

— Коня привяжите к забору, здесь воров нет, а барыня я, точно, себе сама и есть.

И она засмеялась, освещая улыбкой лицо, такое необычайное, что я не понял, красиво оно или нет.

— Я — Лариса Польнова, войдите.

Дом был непохож на обычную дачную игрушку, выстроенный из красивого кирпича в стиле английского коттеджа, он был прост и удобен. В библиотечных шкафах много книг.



Горничная, подтянутая на петербургский манер, принесла мне кофе. Хозяйка, ничуть не меняя костюма, только вымыла руки, которые были в земле, вошла вслед за мной и спросила меня с прелестной естественностью:

— Вы ко мне от кого-нибудь с поручением?

— Вы угадали: я привез вам письмо.

Я вдруг почувствовал самолюбивое раздражение, которое испытывает мужчина от совершенной натуральности красивой женщины, которая позволяет себе в его присутствии продолжать свою жизнь, не вводя в нее ни малейшего волнения, которое — бессознательно считает он — должно бы было в ней вызвать его появление... Она же проходит сквозь вас, как сквозь пустое пространство.

Лариса смотрела на меня спокойно своими серыми, по-калмыцки приподнятыми глазами. Черты лица были некрупны, приятны, кожа ослепительно бела, и темно-рыжие волосы, с которых снят был платок, словно пронизанные солнцем, задержали в себе его блеск. Они, как у девушки, ниспадали до колен пышно густой косой. Поражала она и фигурой, подобной Тициановой Магдалине, крупной, здоровой, с выражением свободы и покоя в каждом движении.

И вдруг мне стало приятно разбить этот покой, сказав ей прямо в упор, подавая письмо:

— Вот вам от покойной матушки Михаила Бейдемана с мольбой взять на себя хлопотать об ее несчастном сыне. Он четвертый год как томится в каземате.

Лариса не изменилась в лице и продолжала с тем же спокойствием ждать, что я скажу ей еще.

Я подумал, что она не поняла моей речи, и воскликнул:

— Письмо от матери Бейдемана! Вы не можете не помнить ее сына, ведь вы же любили его...

У нее дрогнули брови, медлительно она покраснела, взяла письмо из моих рук, стала прямая и важная, позвонила. Вошла петербургская горничная, приносившая мне кофе, к которому я не успел и притронуться.

— Маша, вы отвяжете коня от забора и покажете поручику, как короче проехать в город.

И, не дав мне выговорить что-либо, чуть склонив голову, ушла с письмом в свою комнату. Я же глупо пошел вслед за горничной.



Я бродил по горам, не находя себе места. Все мной пережитое: безнадежная любовь к Вере, влечение дружбы и ненависть к Михаилу казались мне занимательной, но уже прочитанной книгой. Впервые сейчас я понял, что молод, что передо мной — вся жизнь неизведанных собственных радостей и своих страданий. Для чего, в самом деле, как отжившему и бесстрастному старику, мне жить не своей, а чужой судьбой?

Мое обещание матери Михаила было исполнено. Я письмо передал. Но женщина, интересная мне доселе лишь как разгадка чуждой мне психологии друга, внезапно стала завлекательной сама по себе. И вот бестактным напоминанием о бывшей любви я сразу испортил отношения с ней и был ею изгнан из дома. Впрочем, не этим ли меня раздражившим поступком воспламенила она все сложные взрывчатые вещества, из которых образуется страсть?

Все мои прогулки, откуда бы я их ни начал с утра, приводили меня к одному и тому же месту — развалинам Генуэзской крепости. Дня два окна в доме были закрыты, ее не было. Но вот все окна открылись, на рояле играли Шопена. Играли прескверно: с задержкой, с шумливой страстью. Я, помню, обрадовался, подумав: «Если это она, я тотчас ее разлюблю и буду снова свободен». Но играла не она. Ее, как и первый раз, я опять не узнал, хотя, когда она мне сказала, смеясь: «Здравствуйте!» — оказалось, что стояла она совсем близко на камнях. На ней были татарские шаровары и куртка, в руке альпийская палка и кожаный саквояж. Она, как будто между нами не вышло ничего неприятного, смотрела приветливо на меня.

— Куда вы идете? — осмелился я.

— Я иду к старому чабану, моему приятелю, несу ему разного зелья. У нас уговор: я хожу к нему каждое лето.

Я не знаю, как мог ей сказать:

— Возьмите меня с собой!

Она чуть подумала, медленно обмерила меня взглядом и сказала:



— Ну, хорошо, с одним условием: вы будете всю дорогу молчать. Я терпеть не могу с болтовней ходить в горы.

— Я стану глухонемым,— обещался я.

— Довольно только немым до козьей сторожки, там вы можете говорить.

Я взял у нее из рук чемоданчик, и мы пошли.

Сначала тропинка была некрутая. Справа синее море, слева цеплялся за ноги кривой кизил, цвели ломонос и шиповник... Серые скалы были навалены друг на друга, будто с силой брошены великанами из-за главного хребта огромной крутой горы, похожей на верблюда, поджавшего ноги. Растения встречались с душистыми листьями, и серебряной пылью подернуты были цветы из семьи эдельвейсов. Гора, похожая на верблюда, поросла небольшими колченогими соснами.

И сейчас вижу я, как странно они закрутились много раз вокруг своих же стволов, с облупленной вовсе корой, совсем серо-лиловые.

Иные, горбылями изогнув всю середину, будто червь-землемер, вершиной уперлись в камни, разметывая по скалам и шишки и темные ветви. Меня эти перекрученные жилистые сосны наполнили романтической грезой, и, памятуя Дантову песню, которую, по настоянию тетушки, графини Кушиной, я хорошо изучил и очень любил, как дающую воображению пищу, я, забыв обещание немоты, вдруг воскликнул, указывая Ларисе на горбыли сосны:

— Это — непокорные калеки адского круга, это — закрепленные в дереве души самоубийц!

— Ну вот, начинаете,— с непритворной досадой, как просыпаясь от сладкого сна, сказала Лариса.— Бросьте книжки из головы, да и мысли в придачу. Вы здесь ничего не поймете, если будете думать... Или хоть мне не мешайте.

— Простите, я не буду,— сказал я,— я люблю сам природу...

Я знал, что сказал глупо, но мне было все равно. Я вдруг перестал чувствовать близко Ларису. Пропала острота ее существа. Мне теперь только казалось, что я ее знаю бесконечно давно, что мы родные, что мы возвращаемся вместе, как дети, на родину.



Мы шли без конца. Под самым верхним хребтом горы, как замки зубцами своих бойниц, вырезывали легкое синее небо. Между бойницами окаменелые залегли навеки какие-то чудные ящеры и драконы. С самого верха скакали вниз по камням, будто мальчишки, разогнавшись в лошадки, веселые буйные ручейки. Было и освежающе и знойно. И чудилось, когда вошли мы в глубокое изумрудно-сумеречное ущелье, что это — вход в жизненную грудь земли. Мы присели на скалу, и, охваченный духовитостью трав, я сказал:

— О, если б обратно в мать-землю, в ее темные недра, и не думать, не знать и не чувствовать...

— Это на вас действует козий бог, — сказала Лариса, — тут всё его... Но молчите, молчите.

Лариса сидела тяжелая. Лицо ее со странно застывшей улыбкой было как лица архаических статуй, чьи изображения меня так особенно волновали в музее. Сама богиня земли была предо мной, и от нее шла ко мне сила, текущая, ровная, как полуденный зной.

— Идем выше, — сказала она, встала и опять пошла безмолвно вперед. Я за ней.

Куда мы сейчас забрались, казалось, еще не ступала нога человека. Великолепие цветущей травы, диких ирисов и гвоздики не было примято и дыханием ветерка. Солнце слабело. Все быстрее шел таинственный обмен красок между небом и соснами. Густые сосны жадно вбирали в себя синий покров и одевались им, как венчальной фатой.

— Вот и козья сторожка, — сказала Лариса, — я вам возвращаю дар слова.

## ВСЕ ЕЩЕ ВТОРАЯ ГЛАВА

### (Заметка о дюжине и об единице)

Только сейчас, через полвека, когда черный Врубель объяснил самое нужное для всех людей, я понял всю бессмыслицу, которая случилась со мной в козьей сторожке. Для всякого — два выхода, только два, все прочее — обстоятельства второстепенные.

Вот слушайте: есть древняя мелкоглавая церковь вблизи сумасшедшего дома, где впервые сидел черный Врубель, объявив за литургией, что в этой церкви



хозяин он, ибо сам же ее расписал. Было митрополичье служение, а он, столкнув с амвона владыку, встал на его место сам. Но ведь это чистая правда, что наверху, на коробовом своде хор, есть его картина — откровение всем. Он учил меня, как ее надо смотреть, чтобы вышло...

К заходу солнца по лестничке скоро взбежать, озираясь в пролеты сквозь узкое оконце, чтобы поспеть назад вовремя. Вдруг зажмуриться и вдруг глянуть на безбородого молодого пророка, на того, у кого уже глаза демона... он готов к полету, как тот, кто разбился в падении, развеяв о скалы павлинье перо.

Над пророком двенадцать. Сидят плотно, твердо оперев две босые ноги на квадраты ковра. Сидят на деревянной скамье, огибающей внутренний купол. Кисти рук исполнены дивной жизни: лежат ли на коленях, как у старого справа, прижаты ли к груди или чуть воздеты.

Руки и ноги держат тела. Не будь их яростной силы, тела бесновато закорчились бы на квадратном полу.

Черный Врубель держал предо мною большую фототипию с той картины и раскрывал мне ее тайный смысл под гогот непосвященных. Он делал руками поочередно, как каждый из двенадцати.

— Люди думают, им нет числа. Им число есть. Двенадцать. И все, как солдаты по роду оружия, по этим вехам: Петровы выхватят меч; Иоанновы, безмолвствуя, знают; от Фомы не устают влагать перст. Все, что рассеяно мелочами во всех, отстоялось в двенадцати. Найди своего, встань, как он. Руки легонько сложи, чтобы их не знать, глаза закрой, и вся сила в точку: стой, солнце!..

Оно ударит последним лучом на картину, нестерпимый свет заструится... двести тысяч свечей. Хе-хе... Электрификация центров. А вы думали? Невинный образ на стене для молящихся? И кто это? Такой-то художник, как Врубель. Чтобы вам всласть плакать и каяться... да, черта с два! Завуалировано от дураков. И под покровом Изиды одному показалось ведь пусто...

А в газете читали? Отличнейшая передовица; я выписал слово в слово:

«Мы стоим у порога разрешения задачи передачи на расстояние энергии без проводов».



Так вот-с: некая энергия без проводов может заструиться на каждого, как там, на стенке, желтым лучом, с утолщением в виде шелковичного кокона... А наивно обнесенные вокруг голов венчики — фиговый лист. Ибо можно увидеть, можно услышать, можно узнать, чего обычно не знают! Но вывод делает каждый сам: расточить себя, как двенадцать, или собрать себя, как один.

Мы держали в руках фототипию, пока не стало заходить солнце. Пора.

Вдруг, глянув в окно, шепнул черный Врубель:  
— Последний луч принять в себя, им, как багром, зацепить солнце, солнцу не дать зайти. Остановим солнце для мировой эле-ктри-фи-ка-ции! Всем, всем, всем!

Художник вскочил на кровать и залаял; я, помнится, ему лаял вслед, считая лай заклинанием. Но кругом нас завыли. Увы! — опыт был опять преждевременный. Солнце зашло.

— Опыт с солнцем отменяется, — кричал в коридорах художник, когда нас обоих влекли в буйную.

Вот тогда-то, повернувшись ко мне, он и решил:

— Сперва единичный пример, мы призваны оба, оба!

И, подняв два указательных костлявых пальца кверху, он крикнул на весь коридор:

— Две единицы!

А в козьей сторожке, под властью козьего бога, я было сбился в числе. Единица — захотел подешевле прожить, стать из двенадцати, включиться в двенадцать.

Козий бог — страшный путаник.

### Его капище

Мне Лариса сказала:

— Вы любите чувствовать по книжке, как давеча с кручеными стволами; так я же вам покажу...

Она взяла меня за руку и повела к каким-то постройкам циклопов.

Огромные белые камни навалены друг на друга. Каменным поясом-стеной охватили черный утоптаный круг. Посредине три жбана. На жбанах чабаны. Свисают с боков шаровары в густых, словно кожаных



сборах. На бронзовых лицах этих людей, все лето живущих в горах, покой окружающей природы. Но вот они запели гортанно, чуть-чуть качаясь. У них была та же улыбка древних бездумных предков, что на лице у Ларисы.

— Песнь козьему богу,— шепнула она.— Они просят обильного удою.

Перед узенькой дверцей толпились несметные козы, рвались доиться. Девичьи большие глаза полны крупных слез, бородки трясутся от мемеканья, громадное вымя напряглось и торчало. Татарин, низавший на толстую нитку бараньи шкурки для просушки, вдруг гикнул разбойничьим гиком и поднял заслон у ограды. Козы втиснулись, чабаны рванулись со жбанов, схватили коз за хвосты, развели им тонкие розовые ножки, посадили перед собою. Черными цепкими пальцами дернули за сосцы, будто пробуя инструмент, и вдруг, стиснув вымя, по горному обычаю, вытиснули из него разом все молоко. Подоенную козу татарин хлопал по пыльному задку, стогнял и сажал пред собой другую. Удой был обильный, все козы здоровы. Чабаны пели хвалебные песни козьему богу.

Козы перекликались человеческими голосами, смотрели девичьим кротким взором, а люди с улыбкой древнего предка, с глазами без мысли пели песнь козьему богу.

Я припал головою к камню. Он был как колени матери. Надо мною ласковым звездным покровом держалось небо. Кругом горы: каждая в собственной думе, с окаменелыми замками, зверями и бойницами стерегла, охраняла пастбища козьего бога и густые отары овец.

Вдруг Лариса взяла меня за руку, провела за камни и, подведя к обрыву, отвесно возникавшему с глубокого дна ущелья, сказала:

— Бросьте вниз камень!

Я бросил. Лишь через долгий миг глухой звук мне отметил падение.

— Вот в этом месте чуть было однажды не совершилось кровавой жертвы козьему богу,— сказала Лариса,— но козий бог крови не любит. Старый чабан-ведун поспел вовремя: только он да козы умеют ходить по откосу. На мое счастье, он поспел вовремя...



— Почему на ваше? Разве жертвой были вы?

— Да, меня бросил сюда в припадке дьявольской гордости тот, кто меня побоялся любить...

— Михаил Бейдеман! — со злобой окончил я, и вдруг, полный мести к нему за отнятую любовь Веры и сейчас за возникшую тень его между мною и новой любовью, я сказал в бешенстве:

— Так знайте ж, каков он! Он такой же звездной ночью другой женщине, которую любить не боялся, рассказал про этот случай с вами...

Лариса молчала. Стало очень темно. Я не видел ее лица, но я знал ее рядом: тяжелую, плотную, со страшным каменным лицом.

Когда она заговорила, как всегда, ее голос был прост и ровен.

— А как вы-то узнали о том, что ваш друг говорит, оставшись вдвоем? Вы подслушали?

Моего лица не было видно, и я сказал ей ли, себе ли — не знаю. Я был как пьяный, я сам будто летел по отвесному обрыву на дно глубокого ущелья. И слова мои были как отзвук падения.

— Да, да... Я подслушивал... Я любил безнадежно ту женщину, которая любит его.

— Почему же в прошедшем? И сейчас ее любите?

— Сейчас я люблю только вас, только вас...

— А... — сказала Лариса. — И вы позабудете, что вы его друг? И позабудете, зачем вы меня разыскали?

— Я передал поручение, — сказал я, — и какое мне дело... У меня своя жизнь!

— Здесь козий бог, здесь козья жизнь. — Лариса тихо засмеялась. — Это он, Михаил, так называл нашу любовь: козья. А меня — жрицею козьего бога. Что же: пусть так и будет. Так он про меня рассказал?

— Имени он не называл. Он сказал, что это было в Крыму.

— А если бы она спросила, он бы имя назвал?

— Они соединялись навеки. Он бы имя назвал...

— А... — протянула снова Лариса и безмолвно, взяв меня под руку, повела.

Перед козьей сторожкой, сложенной из камней, с холщовым верхом, стоял необыкновенный старик.

Он был невысок, совсем голый, в ярких лохмотьях вокруг пояса. На длинных седых волосах по самые брови надвинута полосатая шапка. За спиной желтая



тыква паломника. Безусый, безбородый, он походил на жреца. Улыбнулся Ларисе; не поздоровались, а хлопнули друг друга по рукам. Лариса передала чемоданчик.

Вдруг подскочил татарчонок, что-то прокричал, и два чабана, доившие коз, положили к ногам старика внезапно заболевшего козла.

Старик тотчас присел на корточки, замурлыкал протяжную песнь и, вынув из-за пояса кривой нож, поставил его луне. Луна, дымная и неполная, выходила из-за облаков. Как белые бельма, тускнели закатившиеся глаза больного козла. Старик прищурился, скрипнул зубами, полоснул козла около живота. Хлынула черная гадкая кровь. Он прихватил цепкими пальцами, как крючками, разверстую рану, придержал ее недолго и вдруг, дернув козла за рога, поставил его на ноги. Козел, шатаясь, пошел к стаду. Стадо шарахнулось от него, чего-то испугавшись.

Чабаны, гортанно гикая, стали щелкать бичами.

Старик подошел к нам, остро глянул на меня, тронул черной рукой. Проговорил что-то ласково Ларисе, указав на сторожку.

Лариса, побледневшая под луной, с каким-то новым помолодевшим лицом сказала мне:

— Дед уводит стадо на ту сторону, а нам дает свою сторожку.

Многоглазый небесный покров, ужас стада, темная власть старика, кругом немая, плодородная земля.

— Идемте же в козью сторожку, к козьему богу!

И я сказал:

— Я пойду, куда поведете...

В большой холщовой палатке, обложенной снизу дерном, было душно и совершенно темно. На земле на душистом горном сене разостланы козьи шкуры, они же развешаны были вдоль и поперек. Несло острым потом, козьим молоком, кожей, сыром, прокисшим вином.

Усевшись в шелковистую шерсть, мы словно попали в отару овец.

И мы целовались, не видя друг друга.

Перед рассветом я, должно быть, заснул. Когда, открывая глаза, я почуял на лице своем солнечный луч, мысли мои прояснились, и я вдруг пришел в ужас, что сейчас увижу Ларису.



Но тут же по ощущению той физической свободы, которой ее присутствие меня всегда лишало, я мгновенно понял, что ее больше нет в палатке.

Эта мысль неожиданно меня наполнила беспокойством. Я вскочил — ее не было. Я выбежал наружу: солнце едва взошло. Горы, как умытые, стояли в нежно-голубых тенях.

Полное безмолвие. Стадо с пастухом ушло до восхода. Я крикнул:

— Лариса!

Откуда-то снизу, быть может из того же ущелья, куда ее толкнул Михаил, мне ответило твердое, неприятное, как попугай, эхо.

Я сел на камень и заплакал. Мне казалось: я себя потерял безвозвратно.

Старый чабан вырос откуда-то из кустов. Он мне знаками объяснил, что Лариса ушла. Своей узловатой палкой он указал мне подробно дорогу.

Я стремительно кинулся по тому же пути, где мы подымались вчера. Я, спотыкаясь, топтал огромные шишки с пахучей прозрачной смолой, и опять мелькали по краю обрыва серебристые сосны с перекрученным голым стволом. Опять в бархатистых складках зеленых долин между гор белели отары овец. Сейчас я не видел красот, мне все было — лишь вехи в пути. Мне надо было только одно: скорее ее видеть, заставить ее отвечать.

За минуту боявшийся ее присутствия, я сейчас был в бешенстве от одной мысли, как смела она убежать. Ее коварство походило на издевательство.

У водопада я услышал голоса: девица и некто плотного вида, с золотой цепью, похоже — инженер. Он говорил галантно девице, покачивая тросточкой над разбитым в ручейки водопадом:

— Не правда ли, водопад этот — страсть: она свободная мчит, закусив удила, а разбитая исходит потоком слез...

Не задумываясь, не колеблясь, как был, запыленный, в колючках и белом пуху ломоноса, с небритым лицом, я вошел в дом к Ларисе.

— Барыня занята, — ответила мне петербургская горничная, и, как почудилось, с дерзкой усмешкой.

— Мне должно быть исключение, я вечером еду, и мне нужен ответ в Петербург.



Горничная пожала плечами, но через минуту пришла:

— Посидите в кабинете, пока барыня кончит работу.

Я прошел в кабинет и сел на диван. Из соседней комнаты, должно быть, будуара Ларисы, дверь была полурастворена. Слышен был стук молотка, какое-то противное дребезжание.

— Барыня выстукивает себе камин,—пояснила горничная и исчезла.

Я видел с дивана белый утренний пеньюар Ларисы. Лицо было скрыто. Конечно, она знала, что я вошел. Она продолжала свою неприятную работу. Перед ней лежала полоска железа, и по узору, наставляя разной величины долотца, она сверху ударяла молотком.

Противный, раздражающий звук царапал нервы.

Я не выдержал, шагнул в полуоткрытую дверь и схватил Ларису за руку с молотком:

— Вы можете кончить потом, у меня есть дело...

— Дело? — Она усмехнулась. — Если упрёки, то оставьте их при себе.

— Я желаю спросить не о себе.

Я осекся. Мои глаза уперлись в большой портрет на стене. Это была знакомая мне увеличенная карточка Михаила юнкером. Огненные глаза его вопросительным укором глянули на меня.

Я сухо спросил Ларису:

— Какой же ответ мне свезти в Петербург? Когда начнете вы хлопотать?

— Я хлопот никаких не начну.

Лариса теперь не стучала, но делала вид, что выбирает узор из кучи наваленных на столе.

— Вы мне сами сказали, что у Бейдемана осталась невеста. Пусть она и хлопочет.

Презрение меня охватило:

— Низкая женская злоба... Но никто ведь не добьется того, чего добиться можете вы, если верить слухам.

Она подняла глаза:

— Договаривайте здешнюю сплетню, тем более что она правда.

— Правда, что вы были близки с великим князем?

— В той же мере, как с вами, если вы это называете близостью.



Эта женщина, влекущая к себе безглазой, тяжелой земляной силой, была мне сейчас отвратительна. Я видел перед собой одно лицо друга и — уввы! — с поздним жаром стал умолять ее взяться за хлопоты. Не помню, что я говорил, но я нашел краски изобразить его жестокую участь в противоположность ее годам свободы и праздных капризов.

— Только подумайте: он сидит в бес-сроч-ном одиночном заключении!

Ни стыда, ни смущения не было на лице ее, когда с непонятной мне горечью вдруг она прервала мое жалкое красноречие.

— Кто знает сроки? — сказала она. — Быть может, я завтра умру и больше не буду ничем наслаждаться. Но хлопотать за свободу того, кто был враждебен той земной жизни, которую я люблю, я не стану.

Дрожа от негодования и ненависти, я сказал:

— Не правда ль, предел этой жизни — лишь козья сторожка...

— Где я вам подобных обращаю в козлов? — с невыразимым презрением оборвала Лариса.

Я поклонился и пошел к дверям.

— Подождите, — вскрикнула она и встала во весь рост. — Запомните на всю жизнь, ведь больше мы не увидимся. Запомните: это вы разбудили во мне обиду и злейшие силы мои. А у меня нет, во имя чего с ними бороться. Я козьей жрицы — козий бог. Еще запомните, что в ваших руках было иное: вы могли соединить две наших воли только в заботе о друге. Если б вы были ему верны, и я б оказалась иной. Но вы мне предали Бейдемана. Будьте же вы прокляты, как и я!

Я уехал из Ялты. Последнюю неделю отпуска я пробыл в Севастополе. В ресторане у моря я слышал, как пришедший с пароходом капитан рассказывал о том, что все в Ялте взволнованы происшествием в горах.

— Я держал пари, что эта Лариса Польшова плохо кончит!

— Эксцентричных женщин всегда убивают, если они не догадываются убить себя раньше сами, — сказала ближняя дама.

— Я подозреваю, что тут не без романа с татарами, — вставила дальняя.



— Нет, нет! — защищал капитан. — Хотя ее действительно принесли с гор татары, но это простые, хорошие люди, всем известные пастухи, из которых главный, старик — приятель Ларисы, рыдал, как ребенок. Он рассказал, что она, принеся ему, как всегда, запас нужных лекарств, подарила на память часы. Он показал расписку ее, где написано, что дарит в полной памяти и здравом уме такому-то в знак многолетней дружбы. Умнейшая барыня все обдумала: распоряжение насчет имущества написано отцу Герасиму заказным по почте, просит в смерти своей никого не винить... Татары говорят; она отбежала на край отвесной скалы и у всех на глазах застрелилась, они же ее вытащили с опасностью для жизни и принесли домой на руках. Хотя эти татары все же арестованы, но по следствию их, разумеется, оправдают.

— Уж какой-нибудь виновник да есть, — сказала ближняя дама и случайно глянула в мою сторону.

«Да, я виновник», — подумал я, но вслух сказал, как обычно, лакею:

— Подайте мне счет!

Я пошел далеко по камням туда, где узкая коса клинком врезалась в море.

Я помню: вырезным и бумажным мне показался огромный диск луны, и отражение ее отвратительно. Все было кругом как захватанный и пошловатенький лунный ландшафт над красным бархатным гарнитуром гостиной в провинции. Больная душевная мука выветривала жизнь и красоту из самой природы. Вдруг я ощутил с новой силой, отделяющей меня от всего живого, свое клеймо древнего Каина — мой новый позор предателя.

Да, никем не изобличаемый, как мерзостный хитрый гад, сокрывший себя между трав уподоблением их окраске, предатель угнездился в бессознательных недрах моего существа.

Ибо я предавал людей, не желая предать.

### Глава III

#### ГЛИНЯНЫЙ ПЕТУШОК

Когда, уезжая в Крым, я сказал Вере о письме матушки к Ларисе Польшовой, Вера, нахмутив брови, ответила:



— Такие женщины самоотверженно не помогают.

Она уже не верила в возможность освобождения Михаила и все силы свои и надежды направила на деятельность революционную. Только от нее в зависимости ставила она разрешение вечных узников от уз.

У Линученка, с которым Вера жила, умерла жена на хуторе, он поехал ее хоронить. Квартира Веры была теперь осаждаема откуда-то набравшейся молодежью. То заседали кружки взаимопомощи по доставлению средств образования, то составлялась библиотека запрещенных книг, то типографию приносили прятать. От меня она по-прежнему ничего не скрывала, и я терзался от мысли, что кто-нибудь донесет и ее постигнет ужасная участь. Наконец, когда я стал ее умолять быть осторожней, она сказала, глядя пустыми отчаянными глазами (такой точно взор был у Ларисы, когда она меня прокляла):

— Ради чего беречь мне себя? Хоть малую пользу делу, а значит, и Михаилу, принести может только моя гибель. Без него я рядовой боец и погибну в начале или в конце — дело случая. Сейчас для революции одно важно, чтобы правительство знало нашу непримиримость до смерти.

Но я всеми силами стал вливать в Веру надежду на освобождение Михаила через Ларису Польнову, рассказав ей, что, по наведенным справкам, эта женщина действительно близка к одному из великих князей. Я обещал, что найду слова убеждения, способные растопить камень...

Мне удалось повлиять на Веру, и она мне дала обещание, что до моего возвращения не примет участия в рискованном деле. Больше даже: она решила поступить на фельдшерские курсы и отдаться всецело занятиям.

И вот сейчас я ехал из Севастополя в Петербург, как негодяй, которому доверили последнюю ценность, необходимую для жизни, а он расточил ее на свою прихоть.

В Петербурге меня ждало новое испытание.

Как в романах Дюма события нарочно нагромождаются в особенно важных главах, так и в эпилоге моей жизни одно за одним пошли необычайные приключения.

Впрочем, именно такое неправдоподобие обличает порой самую правдоподобную действительность так



же реально, как чудища из облаков на невероятно окрашенном фоне, вырывающие у зрителя восклицание: «Если б художник нарисовал, ему бы никто не поверил!»

Едва вошел я прямо с вокзала к Вере, в небольшую ее комнатку на Васильевском острове, как вместе со мной протянул руку к звонку некто высокого роста, в башлыке, обмотанном вокруг шеи. Он отдернул руку, уступив мне звонок. В комнате было сизо от дыма, на полу окурки, на диване и сундуке тесно сидели незнакомые люди. Председательствовал Линученко, вернувшийся с хутора. Лица все новые, молодые.

Только одного блондина, угрюмо забившегося в угол, я признал тотчас же. Лицо его было знаменательно, и я, еще в первый раз видя его, очень отметил. Вера почему-то именно его мне упорно не хотела назвать.

Сейчас, едва я вошел в комнату, Вера кинулась ко мне, схватила за руку и шепнула:

— Она согласилась?

Как заводной истукан, я ей ответил:

— Она внезапно скончалась, я в живых ее не застал.

Вера еще смотрела, не понимая смысла моих слов, как вошедший за мной, подойдя к Линученку, протянул ему руку и назвал себя. Тот радостно его обнял и громко объявил:

— Товарищи, поздравьте! Счастливый выходец из казематного ада. Ну, дружище, с какими вестями? Здесь все свои.

— Прежде всего поручение. Один из наших, выйдя из еще худшего места, чем я... из Алексеевского равелина, дал мне для передачи родным и друзьям Бейдемана записку. Он сидел полгода рядом с несчастным. Тот простукал ему и взял клятву о доставке домой. Мне сказали, что здесь...

— Здесь! — воскликнула Вера. Она протянула руку и застыла, как на миг застывает мать, у которой на глазах тонет дитя.

Линученко прочел вслух записку:

«Умоляю, хлопчите об освобождении. Надвигается безумие. Пусть сошлют в солдаты, на каторгу... Пусть казнят... Все, все лучше, чем это».



— При первом приступе безумия он пытался повеситься, но неудачно. У него отобрали полотенце и простыни,—сказал пришедший.—Это было осенью шестьдесят третьего года.

— Да, двенадцатого августа тысяча восемьсот шестьдесят третьего года! — воскликнул я.— Да, это было в день смерти его матери!..

Меня словно вихрем рвануло куда-то, и я без чувств грохнулся на пол. Это понято было всеми только как законная скорбь о друге, но на самом деле это был еще и обратный удар того потрясения, которое испытал я в этот день, уйдя вместе с матушкой в мое первое воздушное путешествие. Ведь я тогда не был еще обучен черным художником в том, что он зовет «электрификация центра», я еще не мог использовать миг, разрывающий предел и движение по линии, не теряя сознания.

Зато не далее, как сегодня утром, я пустил машину времени ровно на пятьдесят лет назад и, когда девочки и Иван Потапыч ушли в гости, сам вошел в камеру к Михаилу.

Он только что съел свои вечерние ужасные щи, из которых выловил двух тараканов живыми. Он забавлялся тем, что, вылепив из черного хлеба им помещение, искал, куда бы ему их запрятать от зорких глаз ирода Соколова, чтобы сделать потом их ручными. Хотя лицо его было бледно и измождено, как бывает от тяжелой болезни, оно светилось хитрой улыбкой. Увидав меня, он испугался, но, как только узнал, ласково обнял.

Сидя с ним рядом на жестком матраце его нищенского ложа, я рассказал ему не про то, что было в горах, а только про то, что там должно было быть.

Я говорил, что Лариса и Вера подружились, как сестры, оттого, что обе любят его, и о нем завтра же пойдут хлопотать. А сейчас я предложил ему прогуляться в горах.

И, высоко подымая ноги, Михаил стал ходить по камере. Как дитя, он гонялся за бабочкой, рвал цветы. любовался направо восходом, налево луной. Времени не было; все, что вступало в мысль, вдруг делалось жизнью. А когда старый пастух напоил его теплым молоком, пришла Лариса и, обняв его, увела в козью сторожку. Я же не ревновал. Я был рад, что несчастный наш друг нашел хоть минуту забвения.



Когда вечером смотритель Соколов вошел со сторожем, Михаил спал с такой блаженной улыбкой, что даже это грубое животное было тронато и проявило несвойственную ему заботу, конечно — в соответствующем ему выражении:

— Не будите его; натоптался днем, пускай дрыхнет!

.....  
Иван Потапыч мне сегодня сказал:

— Это очень похвально, что ты перестал прыгать, как воробей, трепыхая локтями. А нынче окончательно возмись за ум, прекрати бормотание, сделай милость,— девочек пугаешь. На вот, маракуй себе на бумаге: спокойное дело.

И добрый человек подарил мне стопу чистейшей бумаги, присовокупив пояснение:

— Тебя ради облегчил наверху канцелярию; чай, казенная, нет греха.

Сделаю праздник, напишу на белой бумаге и черновик. К тому же пусть канцелярская эта бумага — хищение Ивана Потапыча,— как действие, лежащее всецело в наших трех измерениях,— удержит мою недавно освобожденную мысль в пределах, приемлемых здешними. Ибо про событие исключительной важности мне сейчас надлежит рассказать. Факты этого события общеизвестны, но кое-что из того, что за фактами, может вскрыть только такой, как я, кому время стало — фикция.

Однако сначала два слова о том, что произошло после записки, так чудесно попавшей из Алексеевского равелина к Вере.

Вьписанная эстафетой, приехала сестра Михаила — Виктория, женщина высокая, очень лицом на него похожая, безмолвно твердая. От имени ее составили следующий документ, который ныне напечатан целиком в книге о Михаиле:

«Поручик драгунского Военного Ордена полка, Михаил Степанович Бейдеман, три года тому назад без вести пропавший, оказался содержащимся в С.-Петербургской крепости. Мать его в сентябре 1863 года умерла на пути из Бессарабии в Крым для испрошения у государя императора помилования ее сыну. Сестра заключенного в крепости Бейдемана, Виктория, уверенная в благодушии



вашего сиятельства, осмеливается испрашивать единственной милости: дозволить навещать Бейдемана в его заточении».

Записка эта через влиятельного родственника с письмом от другого важного генерала к третьему была доложена самому шефу жандармов князю Долгорукову. Князь написал, что резолюция государя на этот раз и на все будущие попытки сношения с узником одна: о Михаиле Бейдемане правительству ничего не известно.

Пока не пропала последняя тень вновь воскресшей надежды, Вера, оставив свои кружки и даже единственное утешение — работу в госпитале, как в дни нашей безумной попытки освободить Михаила, опять, словно маньяк, с горящими глазами, безмолвная, с нечеловеческим напряжением воли, хлопотала о доставлении записки Виктории куда следовало. После резолюции, положенной свыше, она, как автомат, который рука заводящего перевела на другую пружину, стала так же безмолвно и без оглядки работать на дело революции: ходила на какие-то тайные сходки, кого-то осведомляла, кого-то прятала. Ни дождь, ни тьма, ни опасность глухой окраины ей не были препятствием. Она не худела, а просто таяла на глазах. Я сказал Линученку:

— Если ее не остановить, к весне у нее будет скоротечная чахотка.

Линученко горько ответил:

— Если можете — остановите:

Полный невыразимой жалости и вспыхнувшей с силой любви, я искал случая застать Веру одну. Однажды я пришел, когда в квартире не было никого; дверь в ее комнату полуотворена. Я увидел ее в кресле в глубокой задумчивости: исхудавшие руки ее были жалостно вытянуты на коленях, и крепко, по-детски, стиснуты пальцы. По тишине, царившей в комнате, как и во всем доме, я решил, что у Веры нет никого, и, войдя быстро, вдруг неожиданно для самого себя стал на колени и, целуя ее милые руки, сказал:

— Вера, очнись! Вера, если тебе не жаль себя, пожалей меня, я гибну... Уедем на Кавказ, попробуем начать новую жизнь. Ты будешь со мною свободна.

Кто-то сзади кашлянул. Я вскочил в ярости. Мы были не одни: здесь сидел этот, уже мною отмеченный, угрюмый молодой блондин. Он подошел ко



мне и, глядя сконфуженными, прелестными, полными необычайной доброты голубыми глазами, сказал поспешно:

— Простите, но, право, я не в счет.

И действительно, неловкости от его присутствия я не почувствовал.

Вера встала, взяла этого человека за руку и с видом вдохновения, напомнившим мне лицо ее тогда на террасе в деревне, когда цвели липы и на один миг она, князь Глеб Федорович и я были нечеловечески счастливы, мне сказала:

— Сережа, брат, вот мой новый жених, единственный, чьей невестой я смею быть, не изменяя Михаилу. Но только невестой...

— Итак, поезжай,—повернулась она к нему,—и помни и знай: каждая мысль моя, и дыхание, и сила всей воли — с тобой! И больше нет колебаний. Бесповоротно.

Он повторил приятным и глуховатым, как у больного, голосом: «Бесповоротно».

Вера поцеловала его, он мне поклонился и ушел.

— Кто это? — спросил я.

— Зачем имя...—уклонилась Вера.— Впрочем, это имя скоро узнает вся Россия, и его впишут в историю. Сережа, я принадлежу к революционному обществу, которое зовется «Ад» и члены его — «мортусы». Это звучит по-ребячески; но, удастся нам она или нет, мы возобновим попытку декабристов дать родине свободу. Вас привела сейчас судьба в решительную и необычайную минуту — неужели опять понапрасну? Опять, чтобы, мучительно раздвоив вашу душу, не выковать решения воли? Сережа, вы своего места в жизни все равно не нашли, пойдите же с нами! Мы знаем, за что и на что мы идем. Сейчас нет свободной жизни, сейчас нельзя жить для себя. Сейчас время гибели за грядущее. Пойдем вместе с нами!

— Смерти я не боюсь, но умереть предпочитаю один, а не за компанию.

Первый раз в жизни я враждебный простился с Верой и уехал в полк. У меня шевельнулось недоверие к ней из-за этого нового «жениха», и мелькнула мысль, что, как свойственно большинству женщин, самое обыкновенное увлечение свое она из самолюбивой гордости облакает в форму таинственную.



И первый раз не в ее пользу я сравнил ее с гордой дикостью Ларисы.

Ужасные события не замедлили обнаружить всю плоскость моих суждений. Зимой я провел отвратительно: образ Ларисы, как бы оспаривая в моем сердце привязанность к Вере, возник вдруг с такой томительной силой, что двинул меня на нелепую связь, одну из тех связей, которых каждому надо бояться как огня. Случайное сходство в одном из поворотов головы, напомнившее мне ночь в козьей сторожке, заставило меня очертя голову, не ища подтверждения в уме и характере, бешено влюбиться в одну из полковых дам. Впрочем, я больше всего искал забвения, которого ни вино, ни карты мне не давали.

Полковая дама в маленьком городке, как известно, исчисляет дни своей жизни от романа к роману, и страсть моя не только препятствия не встретила, но очень скоро превратилась в тяжкое обязательство. Дама оказалась неумной, с сильнейшим характером и совершенно мещанским обычаем. Она ревновала, делала сцены и всячески предъявляла «права». Соединение двух без участия чувств и разума, по одной лишь физической склонности, вероятно, безопасно для людей исключительно деловых, с воображением сонным и тупостью восприятий. Но ежели кому не редкость волнение чувств, пробужденных художеством или мыслью, тому будет жестокое наказание уже в том обстоятельстве, что он примет в свой организм, как инородное тело, всю грубейшую часть ему чуждой души. Качества эти ему придется или переработать, или быть ими отравленным.

Сколько я ни защищался от влияния этой женщины, я был ею затянут в болото каких-то отвратительных мелочей, и, не хвати у меня силы воли бежать, я бы погиб в этой тине, как гибнут десятки юнцов. Но я подал прошение об отчислении меня для подготовки в Академию генерального штаба и уехал в Петербург учиться.

Веру нашел я в совершенно мне новом состоянии. Она остриглась, курила прескверные папиросы и манеры свои изменила соответственно типу окружавших ее фельдшериц, акушеров, курсисток. И самое главное: она потеряла неуловимые, ей одной присущие черты. Только и узнал я прежнюю, особенную



Веру, ту, которую любил, когда на вопрос мой, зачем она себя изуродовала, она серьезно сказала:

— Так легче мне жить. Меня прежней нет вовсе, а есть только винтик сложной машины, которому легче делать работу, когда он смазан тем же маслом, что и соседние с ним винты.

Но, с другой стороны, уже не Линученко, почему-то вдруг страшно замкнувшийся и безмолвный, где-то занятый неизвестным мне делом, а Вера была верховодом и душой кружка. В кружке были опять новые лица. Из отрывков разговоров, которые велись много осмотрительнее и серьезнее, чем в первые годы, я понял, что в Москве у них главный центр, а здесь, у Веры, лишь самое первое звено.

Революционное движение после студенческой истории развивалось с необыкновенной быстротой, а в салонах тетушки графини Кушиной и ей подобных все еще считали, что движения серьезного нет, а есть, как выражалась тетушка, «сплошные амуры безобразнейших синих чулков с бурсаками». Интересовались в свете больше всего внешней политикой. Европейские старички захлебывались от восторга при имени Бисмарка, твердя в сотый раз всем и каждому, что канцлер превратил Staatenbund в Bundesstaat<sup>1</sup>.

А у тетушки на столе в чудной ореховой рамке стоял наш посол барон Брунов, удостоенный этого отличия за находчивую поддержку, как выражалась тетушка, чести родины.

Когда в заседании лондонской конференции прусский уполномоченный возобновил давнее предложение Франции решить вопрос о пограничной черте в Шлезвиге между датчанами и немцами опросом населения, барон Брунов сказал корректно, но твердо:

— Было бы противно началам русской политики, чтобы подданных спрашивали, хотят ли они остаться верными своему государю.

И добавляла иронически тетушка:

— Смешно подчинять приговор правительств Европы мнению шлезвигской черни!

В конце пятой недели поста, через несколько дней после моего приезда в Петербург, я опять встретил у Веры того блондина с необыкновенным лицом.

---

<sup>1</sup> Союз государств в союзное государство (нем.).



Какие неопознанные психические силы стоят на страже нашего существа, которые при встрече с иным человеком, как бы угадывая роковое пересечение его судьбы с твоей, наполняют сердце необъяснимым ужасом? Впрочем, после встречи с черным Врубелем и разъяснения его схемы эволюции мира я могу формулировать.

Ужас испытывает каждый, кто связан с судьбой числом двенадцать при встрече с единицей.

Я был одним из многих, а тот человек с необычайно светящимися лаской глазами был единицей.

В эту встречу меня поразили его донельзя измученный вид: впалые щеки, чахоточный румянец, светлые волосы без блеска, мертвыми прядями прижатые к вискам.

— Вы больны? — спросил я его.

— Я только что из больницы, — отозвался он своим ослабевшим, глухим голосом, — и на самом деле я плохо оправился.

— Тогда отложить? — зорко глянула Вера, услышав разговор.

— Нет, откладывать дольше нельзя, — сказал он твердо, — моя чахотка не ждет, у меня сил будет все меньше... — Он говорил про себя, как говорит машинист про свою машину.

— Главное ваше дело, Вера Эрастовна, через месяц отпечатать воззвания. Поспеете?

— Отпечатаю и привезу... Но вы обещайте мне, что дождетесь меня и что еще мы увидимся.

Он подумал, глядя в сторону:

— Обещаю. Только для дела лучше, чтобы вы сидели в деревне.

— Но я еще успею отдать делу остаток всей жизни!.. — Вера сказала это так резко, что я окончательно уверился в мысли, что чувства ее, отданные, как я предполагал, Михаилу навеки, вновь воскресли для этого человека.

Что поделать? Каждый из нас умеет любить всего только лишь для себя и предъявляет за муку лишения свободы требования без границ. За неверность Михаилу я, ревновавший всю жизнь к нему, сейчас презирал Веру за воображаемое новое чувство. Слепец, опутанный тиной провинции, я меньше, чем когда-



либо, мог понимать тот особый пламень, которым горели эти чуждые мне по духу люди.

Вера уехала на хутор печатать прокламации. Я уже не боялся, что она будет арестована и сядет в тюрьму.

Вера, Лариса и моя последняя связь в провинции — все оскорбительно объединялось теперь у меня в одну женскую похоть, которая лживо носит то ту, то иную личину...

Я с головой ушел в светскую жизнь, и к апрелю у меня уже было несколько салонов, где наперерыв меня звали на спектакли и вечера. Один из интереснейших предстоял четвертого апреля в доме европейского старичка, приятеля тетушки.

Я еще накануне занялся своим туалетом. В голове у меня было легко и пусто, как у игрока, проигравшего все ставки и твердо решившего с последним грошом самому выйти в тираж.

Были сумерки. Что-то вроде разбавленного молока было разлито по небу и белесым туманом отодвинуло вдаль привычные глазу здания. Горели две лампы, я стоял перед большим зеркалом и при помощи маленького ручного пытался проверить, безукоризнен ли новый мундир.

Мне доложили, что меня хочет некто видеть.

— Не обзываются кто, должно быть по бедности, проситель... — от себя прибавил денщик.

— Пусть входит, — сказал я рассеянно, занятый швом, который разглядеть мне надо было, свернул в сторону шеи. Так, увлеченный своим делом, не поворачивая головы на вошедшего, я увидел его в зеркале.

Краска залила мне щеки; я, сконфузившись, как мальчишка, застигнутый в глупости, спрятал спешно зеркальце и приказал слуге:

— Запри дверь и не пускай больше никого, пока не выйдет мой гость.

Предо мной стоял странный Верин «жених».

— Я к вам пришел, — сказал он, не подавая руки и тоном, каким не начинают, а продолжают давно начатый разговор, — чтобы просить вас передать Вере Эрастовне...

Он покачнулся, я подхватил его и усадил в кресло.

— Вы совершенно больны. Что с вами?

Я подумал, что он сумасшедший. Яркие голубели его удивленные глаза, устремленные прямо на лампу, рот,



с детски сложенными, как бы огорченными губами, слабо улыбался. Его сознание отсутствовало.

— Вы, больны, больны! — бессмысленно повторял я, не зная, что предпринять. Я налил ему вина, он с видимой радостью выпил и немного оправился.

— Да, я глубоко болен, — сказал он, — но сейчас это кстати. Я вас прошу передать Вере Эрастовне, что больше ждать по причине моей болезни было нельзя. И так лучше для дела и для меня лично, что мы не видались. Еще передайте, что я ее благодарю...

Он встал и пошел к двери.

— Что вы хотите сделать? Вы собой не владеете...

Он вдруг твердо, с большой силой посмотрел на меня и сказал:

— Я владею собой совершенно, и это будет мною доказано завтра. Да, в пять часов у Летнего сада. Придите, чтобы ей рассказать. Но прошу: не называйте меня по имени никому после того, что будет завтра.

— Я не знаю, кто вы.

— И нет нужды. Слуга народа — вот мое имя!

— Я знаю, вы не скажете, что будете делать: себя ль убивать или другого, и в конце концов мне это решительно все равно! — закричал я, взбешенный, что судьба опять выбивает меня на чуждую мне колею. — Но вот на одно я прошу вас ответить, на то, что важно для каждого: во имя чего? В чем ваше дело?

— В достижении свободы.

— Слыхал и не верю... Свободы, которой сами-то вы не увидите, потому что лопух из вас вырастет, а в бессмертие души вы не верите. Я вас не про то, что полагается... про личное ваше спрашиваю. Лично для себя зачем вы-то боретесь за других?

Он ответил то, что я ждал:

— Лично для каждого окончательная свобода — добровольная смерть.

— Но за что? За что?

— За что каждый найдет нужным... Надо найти. Я нашел.

Вдруг он страшно смутился, покраснел, неловко выворачивая худую руку в локте, полез в карман.

— Передайте вот это Вере Эрастовне.

Он вынул глиняного петушка, из тех, что продаются на ярмарке за пятак:

— Это с детства осталось, подарок матушки.



Он повернулся и ушел.

Почему я его не удержал — я не знаю. И зачем эти люди врезались в мою жизнь? Я не знал их. Пусть я совсем заурядный, не умный и не глупый человек, неудавшийся художник и офицер, как все; я, наконец, желаю прожить собственную свою жизнь, а не ихнюю.

Я помню, как в гневе еще и еще бормотал:

— Да, собственную, хотя бы тараканью...

Я напился пьян в одиночку и тут же свалился на диван в новом мундире, зажав в руке глиняного петушка. И в пьяном мозгу мне гвоздило одно: держать его, чтобы не вылетел!

Проснулся наутро я поздно, с отвратительной головой, и хватился сейчас же за часы: опоздал я или нет? Я не помнил, куда: то ли на обед к тетушке Кушиной, то ли на five o'clock<sup>1</sup> в два других дома. Я помнил одно: к пяти часам.

Денщик, которому раз навсегда не велено было будить меня, в каком бы виде и где бы я ни заснул, вошел с чаем и, поставив поднос, вдруг нагнулся поднять что-то с полу.

— Никак свистнет, ежели в хвост ей подуть, — сказал он.

— Как смеешь трогать, пошел вон! — закричал я, хватая петушка. Денщик, непривычный у меня к крику, думая, что я все еще пьян, пробормотал:

— Опохмелиться не прикажете ли, ваше благородие?

Я приказал приготовить мне ванну. Вид глиняного петушка напомнил мне все: больше того, я понял весь ужас своего поведения. У меня вчера был больной человек, в припадке на что-то роковое решившийся, и я, сознавая его состояние, не двинул пальцем, чтобы его остеречь.

Уложить его надо было в постель и не пускать из дому! В пять часов у Летнего сада он свершит роковое... Ну и черт с ним, пусть свершает. Что я, нянька им всем? Предназначен спасти их в последний момент? Как хотят, так пусть кончают. Обвинение Ларисы, что я ей принес смерть, ожесточило меня. А теперь этот Верин сумасшедший «жених», с указанием дня и часа! Не пойду!

---

<sup>1</sup> Пятичасовой чай (англ.).



Я пообедал и отправился играть на бильярде. Мне везло. Я позабыл про часы. Но, очевидно, внутренне это было не так. Часы важно ударили половину.

«Если это лишь половина пятого, я успею», — подумал я и, взглянув на часы, увидел, что, точно, это было так. Я сказал, что у меня деловое свидание, и пошел к Летнему саду...

Не могу сегодня дальше писать. Как тогда, все воскресло во мне, и нестерпимая тяжесть на сердце. Будто великан стиснет и отпустит, как кошка мышь. Вот если б перебить это состояние, полетать бы по комнате? Да боюсь Ивана Потапыча, и то уж поваркивал:

— Смотри мне, говорить сам с собой будешь — све-зу тебя в сумасшедший!

А мне раньше срока нельзя, дописать надо. Милейший человек Иван Потапыч: с тех пор как я побывал в сумасшедшем, он считает, что я потерял себя, опозорился, вроде как проворовался, и он говорит мне «ты», ворча, как на баловника мальчишку.

#### Глава IV

#### РОВНО В ПЯТЬ

Когда я свернул к Летнему саду, я увидал необычайное зрелище: толпа народа с криками бешенства, с ревом «ура» толпилась у решетки. В коляске сидел государь с племянниками. Кучер не мог тронуть с места от напора людей. В другой коляске был граф Тотлебен с каким-то невзрачного вида малым. Дамы наперерыв сыпали этому человеку деньги, махали платками, купцы лезли в коляску с объятиями. Тут же поодаль была ужасная свалка: полицейские не то колотили кого-то, не то отбивали его от толпы, которая его избивала. Я подозвал извозчика, влез в пустую пролетку, так что, встав, оказался выше всех головой и мог разобрать то, что происходило.

— Вот злодей! В царя стрелял...

Извозчик мне указал на темную фигуру, которой полицейские скручивали назад руки; другие, став цепью, удерживали озверелую толпу, готовую кинуться и растерзать.



Лица схваченного человека не было видно. Шапка сбита в борьбе, и по волосам, светлым, льняного мягкого цвета без блеска, по покатым слабым плечам я узнал его. Вдруг он повернулся в мою сторону и, сияя прелестными серо-голубыми глазами, с невероятным чувством сказал:

— Дураки, дураки, я ведь это для вас!

И сейчас, через миг после покушения, в его лице не было и тени жестокости.

— Цареубийца! Антихрист! Смерть ему!

Полицейские посадили его в пролетку и, хотя связанного и не сопротивляющегося, держали его с двух сторон. В сопровождении конных чинов все двинулись к Цепному мосту.

Я пошел куда глаза глядят. Не помню, где я ходил. Мне казалось, я в необозримом поле, где надо мной только серое небо, под ногами талый почернелый снег...

А может, я ходил по улицам, и, как обычно, по обе стороны шли дома, горели огни, за самоваром пили чай почтенные семьи. Мне было безразлично. Я шел и крепко сжимал в кармане пальто грошового глиняного петушка. Вдруг вспомнил, как сказал давеча мой денщик: ежели подуть его в хвост, чай, свистнет. Я вынул, подул. Петушок не свистнул: вероятно, он засорился. Я сунул его обратно и опять крепко сжал. Я будто держался за него, как за единственный твердый предмет. Все разорвалось в моей голове. Всплывали какие-то рожи, и Петька Карский пел в самое ухо поганую песню.

Капитан, как я рад, что я вас увидел,  
Вашей роты подпоручик дочь мою обидел...

Я старался об одном: шагать в такт словам.

Если признать меня умом поврежденным, как в этом заверил Ивана Потапыча старший врач, то повреждение мое началось именно в этот день.

И только внешне до самого последнего времени мне удавалось носить непроницаемую для постороннего глаза маску, приличествующую тому обществу, куда я попадал.

Поздним вечером того дня, четвертого апреля, я оказался у тетушки Кушиной. Помню, что глиняного



петушка я переложил из кармана пальто в карман брюк и вошел, как обычно.

Народу у тетушки было несметно, и, к счастью, я мог, не участвуя в разговоре, узнать все подробности покушения. В четвертом часу царь выходил после обычной прогулки из Летнего сада в сопровождении племянника и племянницы. Неизвестный выстрелил из пистолета в него. Как говорили, крестьянин Осип Комиссаров ударил убийцу по руке, и пуля пролетела мимо.

В салоне все возмущались. Забыв свой благовоспитанный обычай, мужчины ругали грубейшим манером преступника. Прекрасные дамы одна перед другой изыскивали пытки, боясь, что преступник не сознается; предлагали письменно изложить эти пытки шефу жандармов. Всех без исключения раздражало, что пойманный скрыл свое имя и звание, назвавшись крестьянином Петром Алексеевым. И с злорадством добавляли: раз что звание неизвестно, на него наложат оковы.

Во всем винили князя Суворова, генерал-губернатора, за потачку революционерам. Утверждали, что в самый день покушения он получил предостерегающее письмо, но спрятал его под сукно.

— Должны вызвать Муравьева, этот сумеет принять меры...

Я ушел. Напился. Спал мертвецки до позднего часа. Встав, снова пошел по знакомым. Всюду можно было молчать, не возбуждая ничьего удивления. Говоривших было слишком много, и для чего-то мне было нужно каждый день слушать все, что будет сказано об этом человеке, имени которого я так и не знал. Но ни на чем ином, кроме него, я не мог остановить своих мыслей.

Вера не ехала с хутора. В былое время я бы к ней полетел. Сейчас мне было все безразлично, кроме события, участником которого я себя ощущал. Все прочее выпало из меня, как выпадает то, что не вошло в поле зрения. Порой тупо я думал: если б я этого человека с голубыми глазами не выпустил от себя, а уложил бы в постель, происшествия не случилось бы. Но укоров совести я не ощущал.

.....



В Белой зале Александр II сказал дворянам.

— Все сословия выразили мне свое сочувствие единодушно; эта преданность поддерживает меня в трудном служении. Надеюсь, что господа дворяне радостно примут в свою среду вчерашнего крестьянина, который спас мне жизнь.

Этого обалдевшего от рукопожатий и объятий нового дворянина, недавнего пропойцу-картузника, я видал сам на обеде у князя Гагарина. С идиотским видом он молча напивался и в ответ на пространные тосты патриотов бормотал лишь свое: «Премного доволен». Супруга его, говорят, величала себя «женой спасителя».

Наперерыв графини, княгини вырывали друг у друга «спасителя», истязая его обедами и раутами, где сидел он обычно, растопырив все десять перстов на коленях, пока не валился, упившись, под стол.

Какой-то шутник обучил его на вопрос государя, чего ему еще хочется, непременно ответить: камер-юнкера! Смеялись, что первое слово он позабыл и попросил просто юнкера, почему сейчас же был значислен в Тверское юнкерское училище. Оттуда он в скором времени уволился в отставку корнетом.

В дальнейшем Комиссаров запил горькую и, как ходили слухи, в припадке белой горячки повесился.

Каракозова же повесили.

Черный Врубель, вскрывая свою схему «электрификации центра», объяснил мне, что до исполнения зрелого срока нанесенный удар не нарушит обычных законов физики, угол падения останется равным углу отражения.

Ранний выстрел пролетел мимо, и оба, проявившие активность, разбиты обратной силой. Каракозова повесили. Комиссаров повесился. Но исполнились сроки — и нет царя.

В тот день, когда на неизвестного надели оковы, Александр II принял поздравления сената, явившегося во дворец в полном составе, с министром юстиции во главе. На другой день принесли поздравления представители иностранных держав. Митрополит Филарет прислал образ в честь избавления.

Тетушкин сенатор говорил:

— Истинно, государь имел полное основание произнести: «Сочувствие ко мне всех сословий со всех



концов обширной империи доставляет мне трогательное доказательство несокрушимой связи между мной и всем преданным мне народом».

Кругом вести так и сыпались:

— Вы слышали, князь Суворов оставил пост генерал-губернатора?

— Должность будет совсем упразднена.

— Заведование столичной полицией будет поручено генералу Трепову.

— Рескрипт председателю совета министров, князю Гагарину, с предписанием «охраны основ».

— Привлекут, слава богу, одни благонадежные силы!

— Граф Муравьев вызван. Опрокинет Валуюева.

— А Суворову, князь-либералу, он припомнит его охотничью остроту. Как, вы не слышали? Как же, государь удачным выстрелом убил медведя, а Суворов и выскочи: недурно бы, дескать, двуногого Мишку<sup>1</sup> так-то. Царь его резко обрезал...

И еще важным известием для меня было то, что из Прибалтийского края вызывается граф Шувалов, с назначением его шефом жандармов.

О преступнике сообщил по секрету тетушкину старичку князь Долгоруков, что допрашивают его день и ночь, не давая заснуть ни на час, но, хотя он в совершенном изнеможении, а придется его еще «потомить». В городе говорили еще об иных пытках, сопровождающих эту пытку бессонницей. Пока преступник имени своего не открывал. Как известно, его имя — Каракозов — и звание дворянина были открыты случайно, по найденной записке в Знаменской гостинице, где он стоял. Привезенный из Москвы двоюродный брат Каракозова Ишутин подтвердил достоверность догадок. Когда я услышал, что привезен и писатель Худяков, организатор общества «Ад», я со дня на день ожидал услышать имена Веры и Линученка.

Каракозова перевели в Алексеевский равелин. В квартире же коменданта Сорокина стал заседать верховный уголовный суд. Для сильнейшего нравственного воздействия, чтобы вызвать на откровенность и раскаяние, приставили к Каракозову изве-

---

<sup>1</sup> Имя Муравьева — Михаил.



стного протоиерея Палисадова. Замученный непрерывным допросом, узник, придя к себе в камеру, не имел возможности прилечь, а должен был, не прислоняясь к стенке, слушать службу и речи о. Палисадова.

Этого протоиерея я не выносил. Он был модным светским священником и раза два в год служил у тетушки в доме молебны. Палисадов был лектором университета, и вечными про него анекдотами пересыпал игру на бильярде один мне знакомый веселый студент. Он любил изображать протоиерея со всеми его жестами и нижегородско-французским прононсом. В доказательство, что вера без дел мертва есть, он говорил:

— Допустим, что у нас есть некий flacon, а в нем две жидкости: желтая и голубая, два невзрачных сами по себе цвета; а попробуйте их взболтать, смешать, и у вас получится прелестный *vert de gris*<sup>1</sup>.

О благодати божией у о. Палисадова был не менее игривый вывод: он призывал слушателей восхищаться тем, что бог — великий любитель прекрасного, при создании человека преследовал не одну лишь грубую пользу, а и тончайшие наслаждения.

— Ибо что есть органы обоняния и вкуса, как не орудия наслаждения?—восхищенно разводил Палисадов руками.—Ибо для-ради поддержки бренного тела достаточно было б иметь в животе прорез, наподобие кармана, куда, как в оный, ссыпали бы просто-напросто пищу с тарелок.

Был Палисадов статного роста, чернокудр с проседью, с манерами недуховными. Любил вспоминать о томике своих проповедей, изданных в Берлине на французском языке.

Он настолько офранцузился в Париже, что, приехав в Россию, подал было прошение митрополиту о том, чтобы ему разрешили носить короткие волосы и штатское платье. За эту просьбу его чуть не упрятали в монастырь.

Какое утешение мог дать этот игривый, тщеславный человек Каракозову? Впрочем, как сейчас известно, не утешения ради просился модный пастырь напутствовать смертников, а для карьеры...

.....

---

<sup>1</sup> Серо-зеленый (фр.).



Сегодня ночью я силой мысленного тока установил себя в том году, месяце и дне, о котором вчера написал. Я очень думал о Михаиле. Что должен был он испытать, когда тут же, недалеко, пытали Каракозова, а потом на рассвете увели на казнь? Конечно, я знал, что их комнаты не могли иметь сообщения. А хотя б и были рядом — о перестукивании не могло быть и речи. Но ведь на гребне великих страданий есть способ узнавать больше обычно доступного.

Итак, сегодня ночью я силой своих устремлений побывал у Михаила и разузнал доподлинно. Продолжаю сегодня уже как очевидец. Нам удалось пройти к Каракозову вместе. Уже тогда, силою страданий, Михаил научился тому, что я лишь недавно, в конце моей жизни, узнал от черного Врубеля: проницаемости материи перед напором воли.

Итак, сегодня ночью, а во времени в 1866 году в апреле, мы вошли к Каракозову. Была, вероятно, середина апреля.

Замученный бессонными ночами, бессменными допросами, Каракозов перестал владеть членораздельною речью, и сам Муравьев собирался доложить царю, что, по мнению докторов, надо дать отдых преступнику.

Мы вошли, когда Палисадов едва кончил всеобщую в его темной камере и, сняв облачение, аккуратно его складывал обратно в большой принесенный платок на доске, привинченной к стенке, служившей столом. Мы с Михаилом спрятались за печь. Я не узнал Каракозова, видевши его месяц назад. Он был покинут жизнью больше, чем мы.

Если б он умел двигаться в нашем пространстве, то он нашел бы снова себя самого. Но он еще был неразрывен со всей тяжестью скелета, мускулов и крови, и небольшие оставшиеся силы его, до положенного каждому срока, обязаны были охранять его форму. Той же частью своего существа, которая мыслит и чувствует, он был уже вне этой формы и потому лишь с трудом мог отвечать обыкновенной человеческой речью.

Палисадов с недовольным лицом за то, что ему приходилось служить без дьякона и обходиться без помощи дьячка, о чем он впоследствии подавал записку с указанием особой за это mzды, подошел с



узелком к Каракозову. Он поднял для благословения руку. Лицо его, выразительное и очень подвижное, изобразило религиозный восторг. Он сказал своим бархатным сладким голосом балованного проповедника:

— Да возбудится в вас живейшая вера в незримого судию вашей жизни, да возведет, да очистит он вашу душу до состояния ангелоподобного!

Он сам приложил к посинелым губам Каракозова свою холеную полную руку, потому что тот стоял как истукан, мертвенно бледный, с потухшим взором своих прекрасных серо-голубых глаз.

Собственная элоквенция настолько понравилась Палисадову, что у дверей камеры он еще раз сделал ручкою:

— Да, да, состояние ангелоподобное даруй вам бог!

Каракозов почти без чувств повалился на кровать. Мы оба с Михаилом подошли к нему. Михаил сел в ногах, я стал на колени и, целуя его восковую исхудавшую руку, сказал:

— Простите меня, что вас не остановил, когда вы больной были у меня накануне покушения. Ведь в здравом уме вы бы не рискнули на подобное дело.

Каракозова будто подкинуло, он сел. Румянец вспыхнул на ввалившихся щеках. Глаза, невыносимо яркие, пылали. Он своим прежним глуховатым голосом произнес:

— Если бы у меня была не одна, а сто жизней, я все бы их отдал за благо народа!

Эти слова общеизвестны. Каракозов написал их государю. Ими он выразил всю свою внутреннюю сущность.

— О, сколь вы счастливы!—вскричал Михаил.—Ваша смерть родит новых героев. О, почему мой злосчастный жребий не ваш!

Михаил стал неистово вопить, биясь головою о стену. Вошла стража; на него с побоями надели смирительную рубашку, связав узлом на спине... Я в бешенстве, не помня себя, кинулся с кулаками на стражу... все вмиг исчезло. Я со стоном открыл глаза. Со стаканом воды стоял Иван Потапыч:

— Испей водицы; привиделось что. Да не ори больше, девочек испужаешь.



Я извинился и притворился, что вновь задремал. Я понял, что изменил наставлению черного Врубеля. Овладеть центром животного электричества можно лишь при совершенном бесстрастии. Моя бурная жалость к Михаилу мгновенно, как постороннее тело, выбросила меня из той тончайшей сферы, где хранятся отпечатки событий...

Через некоторое время мне удалось вновь собрать свою разбитую чувством волю и привести себя в состояние хирурга, который чем закаленней, тем благоприятней для операции устремляет себя к заданной цели.

И вот опять я в уже знакомой мне камере Михаила с черным бархатом плесени внизу стен, с убогим соломенным матрацем, с которого сняты простыни, чтобы он снова не вздумал повеситься. Как белая мумия, туго спеленатый вместе с руками, лежал он на спине. Михаил был в глубоком, блаженном забытии. За минуту искаженное безумием и гневом лицо его было покойно, и слабая улыбка была на бледных губах. Он бывал таким в редкие минуты беспечной веселости, когда загибал мне салазки на огромном столе в дортуаре и мы в драке оба с грохотом катились на пол. Боясь потревожить редкий радостный отдых несчастного друга и самому от размягчения чувств утратить снова необходимый над собой контроль, я не стал будить Михаила и проник один к Каракозову. В его камере был смотритель тюрьмы. По его приказу жандармы одевали узника, чтобы вести его на первое заседание верховного уголовного суда, на квартирку коменданта.

Я не знаю, как перевели нас из Алексеевского равелина в крепость. Вероятно, это произошло еще прошлой ночью. Днем и вечером из равелина не выходили.

В длинной зале коменданта было заседание верховной уголовной комиссии. Оно было назначено для выдачи главным подсудимым копии с обвинительного акта, с правом вызвать себе защитника.

Я вспомнил, что у тетушки один из сенаторов рассказывал, как перед тем, чтобы впустить Каракозова, у председателя суда князя П. П. Гагарина было некое препирательство с секретарем: князь упирался на том, чтобы говорить Каракозову «ты», ибо



с таким «злодеем» зазорно быть на «вы». Наконец секретарь убедил старика, что для судьи выражать таким образом негодование — неприлично. Сейчас, глядя на князя П. П. Гагарина, седоватого человека с большим носом и мохнатою бородою, похожего на доброго волка, я припомнил и комическое осуждение его тетушкой Кушиной: ежели злодей дворянин, его надо б и вешать без тыканья!

Первым из подсудимых должны были ввести Каракозова. Я сейчас же стал с ним рядом. Сзади и спереди нас — два солдата с обнаженными тесаками. Каракозов тонкой костлявой рукой пощипывал свои усики. Он был, видимо, смущен, не знал, куда ему идти и где сесть.

— Каракозов, подите сюда! — сказал князь Гагарин дрожащим от волнения голосом; он в сущности был добрый человек, и объявлять смертную казнь было ему тяжело.

Для отобрания показаний введен был и Осип Комиссаров, предполагаемый спаситель, о котором полгорода говорило, что он выдуман графом Тотлебенном, хронически пьяный картузник, случайно всех ближе стоявший к воротам. Но пьяный картузник был нужен как символ руки народа, как охрана царя. Символ стал идолом. Басне спасения не верил никто, но по отобрании показания председатель суда встал. Встали все члены, и, стоя, князь Гагарин, председатель суда, сказал Комиссарову:

— Вам, Осип Иванович, вся Россия выражает свою благодарность!

Каракозов вздрогнул. На минуту с глубокой скорбью обвел глазами все лица; бледная улыбка чуть прошла по губам, когда он встретился на миг с перепуганными глазами Комиссарова, который, неестественно выпятив грудь и держа руки по швам, как любили стоять перед фотографом денщики, собрав в крупные сборки низкий, тупой лоб, силился понять, почему его снова чествуют.

Я не знаю, видел ли я все это сам, или только слышал рассказы, или только на днях прочел из тех книжек, что принес мне Иван Потапыч...

Путается у меня в голове с непривычки к новому способу думать и чувствовать. Все, что волнует чувство, сейчас для меня одинаково: прочел ли я это, услышал или сам пережил.



На столе вещественных доказательств лежали пистолеты Каракозова, шкатулка и яд, который он себе приготовил, чтобы отравиться немедленно после выстрела, но, придя в оцепенение, не успел.

Глаза Каракозова приковались к столу. Секунда: схватить яд, проглотить — и нет долгого ужаса смертной казни. Глаза его как-то побелели. В тяжелых взорах была нечеловеческая борьба, потом сила их потухла. Глаза тускло-голубые, безмерно утомленные бессонницей. Часто моргали покрасневшие веки. Каракозов решил себя не убить, а принять казнь.

Через минуту граф Панин, перешепнувшись с соседом, быстро убрал яд и пистолет.

Я не могу больше писать сегодня. Нечеловеческая борьба Каракозова с самим собой разбила меня, как будто сильнейший ток мне пропустили сквозь сердце. Оно не выдержало, но я остался жить.

Какая сила, какая вера в свое дело были у этого человека, если дважды, имея перед собою неслыханные душевные муки и на месяцы отложенную смертную казнь, он не прибег к самовольному мгновенному концу?

## Глава V БАРАБАНЫ

Я не вставал эти дни совсем с постели; безнаказанно невозможно преодолеть волей пространство. Добрейший Иван Потапыч, давая мне с воркотней лучший в доме кусок, сказал:

— Дело твое старое, знай полеживай, — нам так от тебя безопаснее. А ежели к тому и чулок вязать выучишься — прямой толк. Понять не мудрое дело, когда грамоте знаешь; я ужотко бумагу и спицы тебе принесу, девчонки обучат.

Лежу я. Лежу, отдыхаю. Опять по-прежнему, по прямой пошли мысли. И в отличном порядке память. Но нет, сегодня ночью не пойду к Михаилу. Припомню, что видел я в тот страшный день сам, тем способом, как обычно видят люди.

Был конец августа 1866 года. Очень умилялись в салоне у тетушки, что государь дал знать через Шувалова: если казнь Каракозова не будет совершена до двадцать шестого августа, до дня коронации, то уж ему не угодно, чтобы она произошла между двадцать



шестым и тридцатым августа — тезоименитством царя, памятью князя Александра Невского.

Это распоряжение Александра II, вызванное нежеланием омрачить высокотожественные дни, доказывало, по мнению всех, необыкновенное сердце императора, которому даже казнь последнего злодея могла быть безразлична. Помню по этому случаю «мо» графа Панина:

— Я того мнения, что двух казнить было бы лучше, чем одного. А трех лучше, чем двух. Но... *faute de mieux*<sup>1</sup>, хорошо, что хоть один самый главный висельник будет.

Но были светские салоны оттенка либерального, где распоряжение государя о дне смертельной казни не находили гуманным, а все восторги вызывал П. П. Гагарин, который от слез едва мог дочитать Каракозову резолюцию, осуждающую его. Он прибавил, что осужденный может подать просьбу о помиловании.

Защитник Остряков сам составил краткую и сильную просьбу. Каракозов, в последнее время почти лишившийся сознания действительной жизни, прошение подписал.

Государь в помиловании отказал.

— Но как, как он это сделал? Что за изысканность формы! — восхищались дамы.

А европейский тетушкин старичок, нарушив ради этого свой до минуты размеренный день, как юноша, прибежал к тетушке рано утром, чтобы передать подлинные слова министра юстиции Замятина, который доложил прошение Каракозова царю в вагоне, когда ехал с ним из Петербурга в Царское Село.

— Какое ангельское выражение было на лице у государя, — говорил Дмитрий Николаевич Замятин европейскому старичку, — когда царь сказал: «Я давно простил преступника как христианин, но как государь простить его не считаю вправе».

Добрый старик П. П. Гагарин эту окончательную резолюцию передал Каракозову за несколько дней до казни, чтобы он успел подумать о своей душе.

Узнав об этом, я взял обратно свое прошение о поступлении в Академию и стал хлопотать о зачисле-

---

<sup>1</sup> За неимением лучшего (фр.).



нии меня в один из действующих отрядов против немирных горцев.

Охотников было немного, и я без труда получил назначение. Я до странности успокоился, словно поместил себя в верное место. В тот же день я прочел в газете, что казнь Каракозова будет произведена публично на Смоленском поле в семь часов утра.

Это было назавтра.

Второго сентября на всех углах улиц расклеены были объявления о казни Каракозова. Я знал, что я пойду. Не могу не пойти. Но до рассвета я не мог быть один и отправился играть на бильярде. Знакомый студент был уже там. Говорили все, как и в последние дни, лишь о правильности судебного процесса.

Чиновник юстиции, с губами ниточкою, медлительным голосом, будто в гору вел воз, доказывал, что Худякова как идеолога организации и Ишутина как подстрекателя справедливо было бы присудить к той же каре. Он говорил, что в высших сферах недовольны сентиментальностью первого гласного суда и что государь сказал с раздражением Гагарину:

— Вы ничего не оставили для моего милосердия!

Впрочем, Ишутину он заменил смертную казнь — после прочтения ему приговора у виселицы с наброшенным саваном — пожизненной каторгой.

Пришел и завсегдатай-студент. Он рассказал, что сегодня на лекции богословия о. Палисадов сидел долго задумавшись, потом тряхнул кудрями и отечески гневно сказал:

— Вот, поучай вас истинам христианским, а потом вози вас, вешай...

Но разговоры о суде были только вечером, когда еще много часов отделяло нас от того, что должно было произойти на рассвете на Смоленском поле. Вечером, при уютном освещении знакомого зала, при веселых возгласах: «дуплет в среднюю...», слово «смертная казнь» хотя говорилось в строчку, как другое всякое слово, но для чувства было оно и чудовищно и посторонне...

Но вот пробило четыре часа, пять часов, и кто-то сказал:

— Господа, надо бы двинуться, занять получше места.



Я вздрогнул и внезапно понял, что двинуться надо нам на Смоленское поле, где произойдет как раз то, что черными буквами на белом квадрате бумаги стояло на всех углах улиц:

«Исполнение приговора верховного уголовного суда о государственном преступнике Дмитрие Каракозове последует 3 сентября, в субботу, в С.-Петербурге на Смоленском поле в 7 часов утра».

— Они соберутся у министра юстиции,— сказал чиновник с губами ниточкой.

— Кто они? — спросил студент.

— Директора департаментов, генералы, члены обвинительной комиссии, чиновники сената.— И, как бы наслаждаясь лицезрением переименованного блестящего сборища, он прибавил: — И все в золотом шитых мундирах.

Я вышел из бильярдной и пошел один на Смоленское поле.

День еще не начался, а уже дворники мели улицы. И оттого ли, что тротуары не были утоптаны прохожими, оттого ли, что не тарахтели по камням мостовой извозчики, двигаться было легко. Казалось, будто за ночь выпустили из-под голубого небесного купола весь вчерашний воздух и накачали нового. Сдержанное волнение было в осеннем чистом, бестуманном небе. Солнце готовилось к выходу.

Я вдруг вспомнил о глиняном петушке. Да, он был здесь, в кармане. Значит, все правда. Помню, что тогда еще я подумал: «Если взойдет солнце без туч и день будет яркий, то все еще может быть хорошо».

Стали появляться в калитках кухарки с корзинами, под большими платками, отчего все они казались толстыми.

Солнце взошло яркое, точное, без малейшего облачка. И я, глядя на такую же яркую, для случая начищенную хлебной гущей медную бляху полицейского, понял вдруг, что ничего не будет хорошо, ничего не поможет: ни то, что метут рано улицы и кухарки с корзинами, ни глиняный петух...

Будет — казнь.

Улицы вдруг наполнились. На Васильевском острове это была уже сплошная масса во всю ширину до домов. Полиции едва удавалось создавать криками посредине проезд. Блестел, как зеркало, черный лак



карет. Мимо меня протянулись в николаевках с плюмажами чины военные, штатские. Увидев экипаж, толпа решила, что опоздала, и кинулась бежать. Испуг и алчность исказили лица. Я свернул в сторону, чтобы пробраться одинокими закоулками. Сократив сильно путь, я подошел вместе с экипажами на Смоленское поле. Вдруг, не доезжая, экипажи остановились. Для комиссии по исполнению приговора приготовлен был небольшой домик. Все в него вошли, дожидаясь привоза осужденного. Некоторые, выходя из экипажей, разговаривали, но никто не улыбался, и все были бледны. Рядом со мной спешили на казнь гуляющие женщины. Они говорили о своих делах. Та, что постарше, корила младшую.

— Гуляла ты с Васькой, гуляла с Сидором. Ну, а чем тебя разодолжил Клим? Уж без него тебе звезды не светят? Что он, что они — один товар.

— А вот и не один, — сказала младшая, с мягкими прядями из-под платка и пустыми глазами, так мне вдруг напомнившими глаза Веры в последнее время. — Гуляла я и с тем и с другим, а судьба моя — он, Клим. Ему одному я есть нужная. За него и ответ мне давать.

— За него ответ мне давать, — повторил я и злобно, помню, подумал, как отдавать буду Вере глиняного петушка.

Проехал обер-полицмейстер Трепов. Военные и штатские чины вышли из домика, сели в экипаж и поехали следом.

На поле, там, где было каре из войск, все снова вышли и медленно взошли на деревянную возвышенную площадку, выкрашенную черной краской. Я перевел глаза напротив и увидел то, что ожидал увидеть, что знал отлично по начертанию, и все-таки не понял, что это то самое, то есть виселица.

Конечно, если б меня спросили, где виселица, я бы показал на эти черные два столба с перекладиной. Но чувством я этого не понял, потому, вероятно, что самый большой ужас я ощутил не от виселицы, как ожидал, а от высокого помоста, свежеевыкрашенного, как и все здесь, черною краскою. Этот обширный черный помост, как резервуар с нечеловеческой черной кровью, зловеще отблескивал в ответ только что взошедшему солнцу. И самое ужасное произошло на этом помосте.



— Это зовется эшафот,— сказал гимназист гимназисту, показывая пальцем.

Может быть, позорная колесница подъехала тихо, я не знаю. В моих ушах стоял грохот. Но я думал, что это громыхала она, безобразная колымага, запряженная парой, с высоким сиденьем. На этом сиденье, спиной к лошадям прикован был кто-то.

Я не узнал Каракозова. Да это и не был он. Не тот, который гордо кинул царю в предсмертном письме, что «не одну, а сто жизней отдал бы за благо народа», и не тот, исполненный сердечного обаяния, с прелестными серо-голубыми юношескими глазами, который поручил мне передать свой предсмертный привет, игрушку детства, той, которая была ему, может быть, дорога.

Здесь, на позорной, безобразной колымаге — синее лицо с беловатыми, уже словно незрячими, мертвыми глазами.

Глаза эти встретили виселицу, голова отдернулась назад, как в конвульсии.

Потом он окаменел. Как на распятье Рембрандта, на минуту, неживое, осело его тело, когда палачи отковали его от позорной колесницы, взвели по ступенькам на высокий черный эшафот и поставили к позорному столбу в глубине эшафота.

— Так называемый позорный столб,— сказал кто-то в швейцарской пелерине, и ответил ему такой же другой:

— Не позор ли... сколько позора! И казнить-то должны поподлей.

У самого эшафота сидел на лошади один из полицмейстеров; с другой стороны стояли кучкою североамериканцы с той эскадры, что пришла в Кронштадт. Я продвинулся ближе со стороны обер-полицмейстера. Я слышал, как он сказал секретарю суда:

— Необходимо, чтобы вы взошли на эшафот, а то никто не услышит приговора. Надо, чтобы народ понял, что у нас все чинится по закону.

Секретарь взошел по ступенькам, в мундире, генеральская шляпа с плюмажем под мышкой, бумага в руках. Он стоял у самых перил. Бумага дрожала в его руке, он был так же сине-бледен, как осужденный.

«По указу его императорского величества...»



Какой холод от боя барабанов! Меня всего затрясло отвратительной мелкой дрожью, пока войско делало на караул. Все сняли шапки. Барабаны утихли, но я продолжал дрожать и не понял ни слова из того, что прочел секретарь, сошедший обратно на помост, где стояли министры и комиссия.

На эшафоте перед Каракозовым был теперь протоиерей Палисадов. Он в твердо вытянутых руках, как бы защищаясь или нападая, держал сверкающий на солнце золотой крест. Палисадов был в полном облачении.

Что он говорил осужденному, не было слышно. Приложив крест к мертвым губам стоявшего под позорным столбом, Палисадов повернулся и сошел вниз.

Взошли на эшафот палачи. Вдвоем они подняли над замерзшим, посиневшим, мертвым лицом, в котором не оставалось и признака жизни, белый саван. Они его почему-то не умели надеть и прежде всего накинули колпак на голову и лицо.

Для приговоренного в этот миг потухло солнце, и, может быть, он уже умер сам.

Я думаю, это самая страшная из всех минут, когда еще живым сознанием переживается смерть.

Но тут произошло нечто, превышающее жестокостью все преступления и все кары. Пережитую сознанием смерть на миг сделали вновь жизнью, чтобы в следующий за этим другой миг дать несчастному новый ужас смерти.

Палачи, ошибочно накинувшие саван, по движению руки полицмейстера сделали то, что делают только при помиловании. Они саван сняли.

На миг лицо его озарило солнце. На миг глаза, вдруг вспыхнувшие жизнью, просияли невыразимо. Дрогнул детски очерченный, вдруг заалевший рот. Кто бы он ни был, ему было всего двадцать четыре года, ему хотелось жить. И в этот миг он поверил, что жить будет.

Но два палача спешно втиснули его руки в длиннейшие, как у маскарадного Пьеро, рукава, завязанные сзади крепчайшим узлом, и вторично накинули саван.

Оба палача взяли крепко под локти эту огромную белоснежную куклу без лица и без рук, свели неспеш-



но по лестничке вниз и влево под виселицу. Здесь оба палача бережно, как драгоценную вазу, поставили снежную куклу на скамью.

Тот, кто только что невыразимо просиял глазами и по-человечески, по-детски дрогнул ртом,— как заводной, переступал тупо ногами.

Белоснежной кукле на шею надели веревку, и палачи ногой вышибли из-под ног скамью.

Забили барабаны...

И бьют они, бьют... Иван Потапыч, уймите ба-ра-ба-ны!

## Глава VI СПЛОШЬ БЛИНЫ

Пишу после большого промежутка. Иван Потапыч заставил меня лежать неделю, а вторую — в сидячем положении — вязать чулок. Если я не слушался, он грозил отвезти меня сейчас же в дом сумасшедших. Мне же ранее срока нельзя видаться с черным Врубелем. Но срок есть, и свидание будет...

Я решил не перечитывать написанное, я могу вычеркнуть совсем не то, что надо. Я ведь позабыл, что понятно всем, а что — только мне самому. Пусть вычеркнет для чистового товарищ Петя. Он отличный юноша и земляк, из нашей губернии, приятель Горецкого.

А случилось две недели тому назад вот что: когда писал я прошлый раз, то затрещали барабаны. Мне так невыносима была их гнусная дробь, что я стал кричать, а полицмейстер на коне один из барабанов приказал мне проглотить. Он сделал знак рукой, солдаты взяли на прицел, я испугался и проглотил. Руками защищаться я не мог, длинными белыми рукавами руки у меня завязаны туго сзади. Но проглоченный барабан и внутри меня продолжал выбивать дробь. Заткнув уши ватой из шубы Ивана Потапыча, я подлез под кровать и загородился мешками с мукой. Иван Потапыч таскает, как в восемнадцатом году, на всякий случай запасы. Так заслонившись, я думал, что скроюсь от полицмейстера на коне, и он меня перестанет пытаться. Я за мешками заснул. Оказывается, Иван Потапыч очень испугался и искал меня



до глубокой ночи, предполагая, что я ушел без верхнего, которое он запирает. Когда же девочки, подметая утром, закричали, обнаружив мои ноги, я не пожелал вылезать, по глупости решив, что это снова полицмейстер.

Иван Потапыч привел Горецкого 2-го, и его веселая болтовня перебила мой кошмар, вернула меня к действительной жизни. Я вылез, рассказал про барабан и вежливо извинился. Но Иван Потапыч был неумолим: он хотел немедленно водворить меня к черному Врубелю, предположив вдруг смехотворную вещь, что я могу начать кусаться.

Благодаря заступничеству товарища Пети, молодого приятеля Горецкого, Иван Потапыч дал мне последнюю отсрочку. Он согласился продержать меня лишь только до октябрьских торжеств, но не иначе как в постели, отобрав у меня платье и сапоги. Он и не подозревает, что октябрьские торжества он назначил не свободно, а по моему внушению. Этот день — условная встреча и первый наш опыт с черным Врубелем.

### Великий опыт

А Ивану Потапычу удобно сбыть меня с рук: у него и девочек в эти дни суматоха и выступление.

Я покорно лег в постель и отдал запереть в большой сундук мои сапоги. Но бумагу, перо и чернила он мне дал, как всегда, сказав: «Мне всегда спокойнее, когда ты пишешь».

Горецкий 2-й сел на сундук. Против света заметно, какой он глубокий старик. Но одет теперь чисто, опять держит грудь колесом и, как при Александре II, пробривает подбородок. Товарища Петю Тулупова я и раньше видел у него: он брал уроки французского и немецкого языка, привязался к старику и звал его дедушкой. А старик прозвал его: «Петя Ростов от коммуны или Петя Тулупов-Ростов». Он был похож на эстандарт-юнкера и отлично ездил верхом. Едва девятнадцати лет стал коммунистом: как чистейший сплав, без брака, без трещинки, отлился в форму. Мне он близок и особенно мил: ведь и мы, по-иному, но были точно такими в своей юности.

Я сказал ему:

— Товарищ Петя, вас именно прошу я через две недели, накануне октябрьских торжеств, прийти сюда.



Я передам вам свою рукопись о днях минувших и днях нынешних; прошу вас процenzуровать и, что возможно, напечатать.

— Мемуарная литература? — сказал Петя. — Хорошо. Но если ориентация антимарксистская, я, знаете, не стану...

— Ориентация у него безотнoсительно военная, — вступился Горецкий 2-й. — Он, как и я: приемлет. Коль скоро дисциплина — значит, дело бамбук. Крепко. Вчера Петя водил меня в конюшни, ну, братец, — чистота! Фальцфейнова завода полукровки у него в денниках, как в салонах.

Горецкий, как это делал, бывало, при имени модной балерины, причмокнув, поцеловал кончики пальцев.

— В Корсаре здóрово крови, — сказал Петя, — может, он и кровный.

Горецкий в ужасе замахал руками:

— Без аттестата от Фальцфейна не в счет! Будь он Араповского завода — иное дело, но от Фальцфейна одни стати без аттестата не в счет.

Он стал так кричать, что я закрыл уши, боясь опять услышать барабаны. Однако, обернувшись на меня, он вдруг спохватился и сказал:

— Тебе, дружище, надобен покой. Вставай скорей да к нам на чаек. А я к тебе уж в последний, пухнут ноги, хоронить приходи!

— Протянешь до ста лет, дедушка, — сказал Петя.

— Вообрази, mon cher, Петя огорчается за мое социальное положение, сколько я ему ни твержу: «самодержавен», а канцелярии нет никакой! Но дело в том, что он пописывает. После моей смерти уж наметил препикантнейший некролог. Я, ma foi, жажду теперь одного: на этом месте скончать дни свои и положену быть в гробу. И последняя воля моя... дружище, я апеллирую к тебе!

— Вы бы их и не беспокоили, — начал было Иван Потапыч, но, глянув на возбужденного Горецкого, только рукой махнул: — Обои малые дети!

Горецкий сел ко мне на постель и вдруг заплакал:

— Я, mon cher, прошу у Пети уважения, а он не согласен.

— Брось, дедушка, брось, — сказал Петя.

— Mon bon ami, потерпи, я сейчас объясню. Моя последняя воля вот: вместо венчика пусть мне оденут



пурпуровый ободок, c'est tout à fait simple à coller<sup>1</sup>, мы детьми клеили. Гуммиарабиком отлично берет. Тем более что добротность бумаги безразлична, хотя бы папиросная. Главное — цвет: пурпур революции! Но отпевать должен поп, а не поп-живец, а отец Евгений, почтеннейший старец.

Горецкий вскочил на сундук. Он или бредил, или сошел с ума.

— Mon bon vieux<sup>2</sup>, — сказал Горецкий, — я не уверен, достаточно ли я верил в бога, но вот двенадцатые праздники чтил я истово. Я до спаса, как у нас в доме водилось, яблочка не вкушал. Я на крестопоклонной говел и в рот спиртного ни-ни. Но прежде всего как был, так и есть — я военный. И вот со мною сделали так, что мне в церковь ходить стало так тяжело, как водить дружбу с товарищем, хоть любимым, но битым.

— Но при чем красный венчик? — спросил товарищ Петя.

— При чем?! — зарычал Горецкий. — А при том, что девять лет долбил я или нет катехизис Филарета? Я или не я целых полвека налаживался чувствовать так, как в наше время чувствовать полагалось? Волнение мозгов, быть может, в себе убивал, чтобы каждой кровинкой прирасти мне к походной нашей церквушке. Без водосвятия в атаку никак... Хоть и в пьяном виде, а зря грудь грудью колоть — это, батенька, не фунт изюму! Небось Керенский солдатику-то ответить не сумел: зачем ему идти на смерть, когда от этой «земли и воли» ни черта не увидит?! Только ножками изволил топотать. Да-с, а нам, помимо доблести, «венец» был уготован, и на пролитие крови благословляли нас протоиереи. А про церковь мы знали: «врата адовы не одолеют ю». Ну-с, а теперь куда я пойду? Твердыня взорвана, острижен поп. Все, чему полвека веровал, что любил, — все насмарку! Так пускай в некоем высшем разуме совокупят происшедшее, ибо аз не вместих! Я вон путать стал, кто взял аул Гильхо. Я ли взял или Войноранский? А посему моя воля — на тот свет в пурпуровом венчике... Накось, выкуси!

Горецкий 2-й, как плохой король Лир, надменно вышел из комнаты.

---

<sup>1</sup> Это очень просто приклеить (фр.).

<sup>2</sup> Мой добрый старик (фр.).



Вдруг красное лицо его снова появилось в дверях. Он был окончательно вне себя, он крикнул:

— Полвека ступал правой ногой и вдруг пошел левой. А порох-то вышел. В расход, старичок! Но не смирно в расход, а с поднятою левой!

Горецкий дрыгнул ногой, к радости девочек прокричал петухом и ушел.

— Обожди, дедушка,—крикнул товарищ Петя и, подойдя ко мне, сказал:—А ваше писанье я обязательно заберу, будьте благонадежны...

После истории с проглоченным барабаном у меня к себе мало доверия. Вдруг случится со мной раньше времени то, что у нас с черным Врубелем назначено на октябрьские торжества. Передо мной всего две недели; надлежит мне торопиться занести только самое главное по линии Михаила.

Ну вот: я уже говорил, что в тот день, когда сентябрьское утро вставало такое румяное, а телега в одну лошадь везла черный гроб с телом Каракозова, провисевшим весь день до ночи, у меня впервые возникла в ушах эта мерзкая дробь барабана. Чтоб ее заглушить, я, не зная другого дурмана, пил непробудно неделю. Очнувшись, я, не колеблясь, пошел к одному прекрасному особняку. Я чувствовал в себе несметную силу, не боялся ни смерти, ни жизни и знал, что сейчас моей воле покорится всякий, кого я изберу.

Покорится даже он—шеф жандармов.

Я выбрал его не потому, что сейчас мне близка была участь друга, а потому, что шеф был каменный. Мне же надо было разбить камень. Что касается чувства дружбы и прочего, их я забыл. Я сам каменел.

Только собирался я узнать, когда принимает хозяин, как сам он, граф Шувалов, вышел из подъезда.

«Судьба»,—подумал я, и мне это придало решающую дерзость.

— Я должен с вами говорить, граф, секретно,—бросил я ему, как приказ.

Неподвижное лицо графа еще более застыло, и, сделав пригласительный жест к двери, он неспешно сказал:

— Я собирался было по личному делу, но оно подождет. Я к вашим услугам.

Мы вошли в переднюю. И так отвратительно иной раз повторяются вещи: граф повел меня в ту же



комнату, где был некогда памятный наш разговор. В этой комнате было все, как тогда: ящики, запасная посуда и на подоконнике тот же стеклянный колпак. Я подумал невольно, нет ли под ним синей мухи. Мухи не было. Мне пришло в голову, что эта комната устроена тут нарочно. Я глянул на Шувалова и удивился, как за это время он постарел. Это был уже не мраморный красавец, а постаревший каменный истукан. То, что зовем мы душой, та, просвечивающая в чертах, внутренняя жизнь человека, казалось, окончательно от него отлетела. Сейчас это был механизм.

— Что же вы имеете мне сообщить? — спросил граф, стоя сам и предлагая мне сесть.

Но ни его отстраняющий вид, ни холодный прием, наметанный большой властью, — ничто меня сейчас не смущало. У меня возникла в ушах снова мерзкая дробь барабанов, и, заглушая ее, я с бешеной внутренней силой сказал:

— Я прошу вас доставить возможность Михаилу Бейдеману быть лично допрошенным государем.

— Вы нездоровы, — сказал опешивший от дерзкого тона Шувалов. — Раз навсегда по поводу этого узника дана резолюция начальству: о нем ничего не известно.

— Но вам лично, граф, должно быть известно, что этот узник близок к безумию, что сейчас, после судопроизводства и обличения всех причастных к делу покушения, еще очевидней стало, что Бейдеман вовсе не связан ни с какими организациями. Граф, он оговорил себя сам, у вас и раньше мелькала догадка, что он безумец. Прошло шесть долгих лет, неужто нельзя сделать проверку?

По недрогнувшему лицу графа пробежало не чувство, нет, а будто какое-то соображение. Глаза его, точные и острые, какие должны быть у летчика перед сложным маневром, умно глянули на меня, когда он сказал:

— Я сделаю все, что возможно.

Но, тут же спохватившись, как примернейший формалист, он добавил:

— Если, разумеется, такой политический узник числится в списках. Будьте через неделю у вашей тетушки, графини Кушиной, и я дам вам ответ.

Я поклонился, мы вышли вместе.

.....



Я все еще не мог жить, как раньше, и всю неделю пил. В воскресенье я пошел к тетушке.

Когда я входил в салон, европейский старичок громогласно объявил, что сейчас пожалует граф Шувалов с интереснейшим письмом от священника Палисадова о последних минутах Каракозова.

— Эта конфиденция — чистейший плод недоразумения. Вы слышали, что произошло на поле казни? — обратился к тетушке сенатор. — Граф спросил Палисадова, чистосердечно ли раскаялся преступник, и тот с необычайным для него достоинством обрезал: «Это секрет духовника!» Но, увы, достоинство модного пастыря не изменило ему лишь до тех пор, пока он не узнал о своей ошибке. Он было принял графа Шувалова за кого-то из обыкновенных смертных, но тотчас испугался и разрешился витиеватым посланием, которое вы будете иметь удовольствие сейчас услышать.

— Какой ты нынче желчный, — сказала тетушка. — Хотя, положим, Палисадов мне самой не угодил — русскому попу французить непристойно. Но, бог с ним, в проповедях он соловей. Ты лучше объясни, что стало с графом: чисто монумент.

Славянофильский старичок, бывший на ножах с европейским, быстро поспешил сказать:

— Я сделал наблюдение, графиня, что все русские люди, коим идеал — Европа, презирая отечественную безалаберность, впадают в смехотворную крайность, втискивая год, месяц и каждый день до получасового интервала в свою записную книжку. Безалаберность, точно, уходит, но с ней вместе и весь человек.

— Вот и выходит, что прав мой садовник Тишка, — сказала тетушка, — когда говорит: «Не в свой срок поспеет ягода, тотчас и скашлатится».

— Граф Шувалов скашлатился... — смеялись кругом.

Однако насмешка превратилась мигом в любезнейшие улыбки, едва лакей доложил о графе, и тот вошел, как всегда, великолепным и внушительным царедворцем.

Ни в его рукопожатии, ни в скользящем надменно взоре, на миг относившемся и ко мне, я не мог прочесть того, что он мне скажет. Мне даже показалось, по привычному элегантному движению, каким он вынул отереть усы ослепительный носовой платок,



распространяя крепкие, но фешенебельные духи, что он позабыл наш разговор и меня самого не отличает от привычной ему тетушкиной мебели.

По просьбе присутствующих граф стал читать письмо Палисадова.

Письмо было исполнено гнусной пошлости и самого лживого ханжества. Но мужчины и дамы, вытянувши, с таким алчным любопытством слушали эти бездушные упражнения в элоквенции о последних минутах замученного человека, что меня вдруг охватило отвращение. Внезапно я перестал видеть лица. Вместо лиц мне почудились сплошь блины. Блин с усами, блин без усов. Ни глаз, ни характеров...

И сейчас едва вспоминаю того, с серо-голубыми глазами, и слышу необычайный голос его там, у Летнего сада:

«Дураки, я ведь для вас...»

И потом жадность уличной черни, бегущей на казнь, и жадность черни светской — услышать пикантное о последних минутах казнимого... Мне стало так страшно, так страшно!

Не могу, нырну под койку...

Полежал часочка два за мешками. Обошлось. Ни девочек, ни Ивана Потапыча еще нет дома. Я до их прихода опять прилично улегся в постель. А за мешками мне в полумраке легко, будто выскакиваю на другую планету. Если б рассказать, что я вижу, закрывши глаза, что я слышу!

Однако же нет, я не стану рассказывать: получился бы вред государственному ходу машины, ибо всякий гражданин вместо службы и прочих приличных занятий стал бы учиться выпрыгивать вон.

Но тогда, у тетушки, я еще дорожил мнением о себе, и, выпята грудь и сделав в меру почтительное выражение, я подошел ближе к дверям, чтобы при выходе графа расспросить его про наше дело. Граф должен был в тот же вечер прочесть свое письмо еще в двух домах и очень торопился. Он подходил уже к ручкам дам; мимоходом, не глядя на меня, он мне обронил:

— Просьба не может быть уважена, его в списках нет.

Помню, я молча поглядел на его хищную, грациозно извивающуюся в поклонах спину и подумал: «Шеф жандармов солгал!»



Я ушел от тетушки ни с кем не прощаясь. Кому мне было жать руку: блинам с усами, блинам с буклями? Я пошел домой, чтобы застрелиться. Мне это было так просто в тот вечер и так неизбежно. Одно меня смущало: кому передать для Веры глиняного петушка? У кого не блин, у кого лицо? Кто человек?

Передо мною возникла вдруг сама Вера, как тогда, на крыльце лагутинского дома. Беловатым огнем сверкнули ее светлые глаза, и, опять вспыхнув, сказала отцу:

— Вы этого не сделаете, батюшка!

Лицо было у Михаила и у того... с серо-голубыми глазами. Даже с высоты черного эшафота, у позорного столба, сине-мертвенное — это было лицо.

Еще необыкновенным, единственным я запомнил лицо Достоевского. Если б я знал, где он живет, я бы пошел к нему. Пред тем как уйти совсем отсюда, я должен взглянуть на лицо человека. У себя дома, в зеркале, ведь я тоже вижу лишь блин. Но я не знал, где жил Достоевский.

Вдруг предо мною непрошеным всплыл некий адрес. Яркий, черным крупным шрифтом, на белом квадрате, как намедни были объявления о казни. «17-я линия, дом...», и голос серебряного румяного молодого старика Якова Степаньича:

— Придет час, по адресочку приди!

И, не рассуждая, я пошел.

## Глава VII

### ОДИН АДРЕСОК

Да, шеф жандармов солгал...

Но мне с каждым днем все труднее писать. Приближаются октябрьские торжества, и мое тело все легче, все легче. Теперь я уверен, что даже без упражнений, которые запретил мне Иван Потапыч, я полечу, когда черный Врубель даст знак. Да, через две недели мы соединимся для «великого опыта».

Товарищ Петя Ростов-Тулупов приходил еще раз уже без Горецкого за моими записками. Я рассказал ему, как в чулане достать у нас лестничку и, прислонив ее к железной печке, взять наверху рукопись. Я там спрятал ее от мышей. Я передал Пете все мной



написанное, взяв обещание, что он придет через две недели еще, обязательно накануне двадцать пятого. Придет и унесет главу последнюю о последних событиях...

Я больше не могу писать связно, у меня мысли толчками, будто отара овец там, в горах: чуть без пастуха — разбегаются. Да, мысли мои — одни, без пастуха, и все лезут в голову сразу. А бумаги-то кот заплакал. Иван Потапыч больше не дарит. После сумасшедшего дома говорит: «Пиши сверху писанного, не все ли тебе равно!» Что же, напишу самое главное про себя и про Михаила.

Шеф жандармов солгал, царь с ним видался.

Как я об этом узнал? Хотя не сказка, но похоже на сказку. Мне все рассказал Яков Степаныч.

.....  
Он сам отворил мне дверь. Комната была узкая, помню половик из разноцветных тряпок, какой плетут чухонки зимой. Яков Степаныч меня узнал; не только не удивился, а будто бы ждал:

— Посидите на диванчике, пока я отпущу пришедших; уж извините — приходят.

Он поклонился, пошел в комнату рядом, но дверь не закрыл за собою, и разговор мне был слышен. Мерцала из угла лампада, чернел темный лик. Я почему-то подумал, что Яков Степаныч старообрядец.

— Опять, батюшка, запил, опять, — говорил со слезами старик, вероятно — про сына. — Убить я могу, гажусь я им, опоганел он мне... Легче убить его мне, чем злобой давиться.

— Немедленно передай торговлю старухе, а сам вон из дому, вон! Стань работать, как давеча, год назад. Кули потаскай, гнев разгони: сам родил, сам. А порешишь его — не исправишь. Отопьет сын свое, я его в мыслях держу, отопьет — сам ко мне придет, как тогда, адресок вспомнит. Год целый не пил, а сейчас два не станет. Опять оступится, опять подбодрим. И прутья целым веником никому не сломать, а поодиночке — мигнуть не успеешь.

— Верю, отец, тебе, верю, — сказал восторженно старик и земно поклонился Якову Степанычу. — Пойду отработаю за его душеньку и всю выручку нищей братии...



Старик вышел, высокий, в пальто, с седой бородкой, похоже — небогатый купец. Мне он поклонился со словами:

— Не печалуйтесь, барин, и вас Яков Степаныч, отец наш, рассудит.

Яков Степаныч сам проводил гостя, запер дверь на засов и, вернувшись, еще раз весело сказал мне:

— Извините-с.

Он принимал теперь старуху.

— Уж плачу, рекой изошла, в ногах у ей вяну... не слушает!— ноет старуха.— Как это села она уже три дня на сундук, ни пищи, ни сна, глаза — что чашки, устала в угол, молчит. Опять, видно, в петлю затеяла. Кум да кума с ней, а я к тебе: облегчи, отец.

Старуха свалилась на пол. Яков Степаныч строго крикнул, подымая:

— Ленива ты, мать! Себя лишь слезами тешишь, а ей твои слезы — банный пар, вконец запаривают. А ей надо б силы поддать. Силушки жить у иного нехватка, бодрить надобно строгостью, да не с бабьей злостью твоей, а с одним гневом за лик человеческий. Эх, глупа ты, мать, что с тебя взять! Хоть силком, с кумой и кумом, тащи твою дочку ко мне, а не расположится — скажи: сам, старик, к ней зайду.

Яков Степаныч проводил благодарившую старуху, опять запер засов и, как добрый врач, сказал мне:

— Пожалте-с!

А у меня вдруг пропала охота с ним говорить.

«Василеостровский гипнотизер,— подумал я,— он, чай, и меня включил в число своих клиентов. И куда это платить ему: на стол или в руку?»

Комната была очень чистая. Вся беленая, без обоев. Постель, стол, два стула, на которых мы сидели, и все белое, но на больничный номер не похожа. Полка книг над столом. Я с изумлением отметил Ренана «Жизнь Иисуса» по-французски.

Яков Степаныч тотчас это заметил.

— Ренан вас дивит? Это Линученко мне подарил. Всю книгу с начала до конца самолично мне перевел и на память оставил. Вот завтра на хутор поедете, так особенно поклонитесь ему; твердый он человек.

Старик взял меня за руку и взглянул ясными, на первый взгляд простоватыми глазами.



— Я вовсе на хутор не собираюсь, откуда вы взяли?—сказал я, защищаясь от неприятного мне напора чужой воли.

— Обязательно соберетесь, обязательно...—очень серьезно сказал Яков Степаныч,—сами увидите, что иначе нельзя. Я о вас всю неделю подумывал. Адресочка не знаю, да и сказывали люди о вас, что вы с самого дня казни и дома-то не ночуете.

— Что вы, сыщик, что ли?—вдруг рассердился я.

— В особенном смысле, пожалуй, что и да,—усмехнулся Яков Степаныч,—без сыска и помощи не окажешь. Но перейдем к делу. Дело важное есть. Из-за этого дела я пристально дни и ночи о вас думаю, и вот посчастливилось: ведь всплыл у вас адресок-то, припомнили...

— Колдун вы, что ли?—Я хотел, чтобы меня возмущал шарлатанский прием старика, но внутри я ему почему-то сразу поверил.

— Никакого колдовства на свете и нет, сами вы знаете, и я знаю,—спокойно заговорил Яков Степаныч,—а может быть, только большая воля у человека. У одного — к добру, у другого — к злу. В обоих случаях, если при тщательном управлении пристально думать, достигаются вещи, которым принято изумляться, а они вроде как телеграф. В Индии всякий голый факир, как фокус, делает... И у нас есть мужички. Я дедом обучен. Но не во мне сила. Я вам имею сообщить секретное дело для Линученка. Про такое не написать... Ну, словом: того офицера, заключенного в равелине, о котором денщик ваш Петр тогда при мне говорил, я на днях видел.

Яков Степаныч, лампада и темный лик спаса вдруг подернулись голубой мглой. Мгла поплыла, стало темно.

Измученный безобразным пьянством, бессонными ночами, я не выдержал внезапности сообщения. Очнулся я на белой кровати Якова Степаныча. На голове у меня был компресс. В комнате пахло чебрецом и мятой. Яков Степаныч ласково и по-бабьи, как бабушка, хлопотал вокруг меня, причитая:

— Прости, родной, прости, голубок, огрел я тебя, как медведь пустытника! Просчитался, старый дурак. А уж износил ты себя, износил...



Я совершенно пришел в себя и сел. Яков Степаныч взял меня за обе руки. Уже не защищаясь, я повлекся к нему с детским доверием. Просто узнал: все, что скажет он, чистая правда.

— Оправился? Ну, испей капель и лежи себе ровно, а я расскажу по порядку. Запомнить ты должен слово в слово. Сам поймешь, как услышишь. Этого записать нельзя.

И вот то, что я запомнил.

Граф Шувалов неделю тому назад присылал за Яковом Степанычем, принял его тайно и дал приказ: ночью, около часа, ждать его близ решетки дворца направо к Неве. У Якова Степаныча с Шуваловым дело не первое: он был истопником во дворце по рекомендации кума, тамошнего служащего, и граф его очень отметил: был у него на дому, уверился, что он не болтун, компании не водит, а живет по своей линии. Яков Степаныч через это доверие графа, по словам Линученка, оказывался многим полезен.

Итак, ночью Яков Степаныч был у решетки дворца, далеко до часа. Вот видит: карета Шувалова. Кучер его признал и по данному знаку сейчас же взял на козлы. Открылись бесшумно ворота, кучер подъехал к дворцу, ночь черная, зги не видать, на дворе часовые, у кареты два жандарма.

Вышел граф, жандармы вынесли кого-то, за темнотой не разобрать. Рост высокий, на ногах и руках кандалы. Выйдя, он не хотел дальше идти. Жандармы его тотчас под руки, подоспел третий, подхватил ноги. Лязгая цепями, внесли мигом в тамбур, тот, что внизу, в подвальном этаже; Яков Степаныч с графом вошли следом. Захлопнулись обе двери. На ключ их и на засовы. Тогда осветили большим фонарем винтовую лестницу, что ведет в следующий этаж, в особые покои императора Николая. Жандармам с револьверами наготове граф приказал остаться у наружных дверей, как только ввели через порог этого человека. Дверь за ним запер граф собственноручно. Якову Степанычу приказал стать в первой комнате у бронзового бюста Михаила Павловича и по первому знаку кинуться на помощь, если приведенный станет бесноваться. Яков Степаныч запомнил, граф так и сказал: «бесноваться». Сам же граф вынул револьвер и, держа его в левой руке, правой открыл следующую дверь в спальню и вполголоса доложил сидящему у окна.



— Мы прибыли, ваше величество!

Граф взял под локоть нежданно послушного узника, с трудом переступавшего по ковру, звеня кандалами, и продвинул его за собой. Горели свечи в бронзовых канделябрах на столе. Царь сидел спиной к окну, к тому, что выходит на Неву и Адмиралтейство. На окнах были тяжелые двойные занавеси. Шувалов поставил узника направо, наискось от царя; свет бил ему и царю прямо в лицо.

Хотя царя отделял от него огромный письменный стол и в проходе между стеной и столом стоял граф Шувалов с револьвером наготове, за дверью два вооруженных жандарма и Яков Степаныч с веревкой в руках, врученной ему на тот случай, если узник начнет «бесноваться», Александр II был очень бледен и как будто испуган. Между тем высокий человек, стоявший перед ним, если б и захотел, едва ли имел силу что-нибудь сделать. Он был закован. Его руки висели, как плети. Тонкие длинные пальцы ровно вытянуты и прижаты к солдатской шинели, надетой на него, по случаю поездки, сверх арестантского халата.

Он поражал страшной худобой. Скулы на щеках были обтянуты темно-желтою нездоровою кожей, к которой черные как смоль борода и усы были словно приклеены. Невыразимое страдание было на лице его. Зрачки глаз, яркие и большие, как бы вопияли к кому-то, моля о сознании. Высокий лоб был мучительно сморщен, длинная шея вытянута, все тело застыло в неслыханном напряжении.

Он хотел и не мог что-то припомнить.

Возможно, что граф не предупредил узника, что везет во дворец для свидания с императором, или же, предупрежденный, от слишком большого волнения заключенный сейчас был разбит.

— Я думаю, что он не понимает, где находится,—сказал царь Шувалову,—предлагаю вам ему разъяснить.

Шувалов подошел близко к закованному человеку и сказал ему, как говорят глухому или иностранцу, излишне расчленяя слова:

— Государь по своему милосердию оказал вам неслыханную милость, приказав привезти вас из крепости во дворец. Шестилетнее заключение, надо



надеясь, привело вас к полному раскаянию в злодейских помыслах вашей юности. Откровенно назвав всех вовлекших вас в пагубное заблуждение, вы тем самым смягчите свою участь. Вы поняли? Пред вами сам государь.

Вдруг узник выпрямился, закинул голову назад, глаза его загорелись дивным огнем...

Помню, тут Яков Степаныч показал мне на проповедующего Иоанна Крестителя на гравюре Иванова, висевшей у него на стене. Михаил вдохновенный действительно на него был похож.

Голосом хриплым, лающим, отвыкшим издавать человеческие звуки, узник произнес:

— Самозванец!

И, взмахнув рукою, гремя цепью, крикнул еще громче, сделав шаг к императору:

— Самозванец! Царя давно нет, я его смертью купил благо народа! Я даровал конституцию... Приказываю вернуть Чернышевского! Министрами Огарева и Герцена. Чего стоишь идилом?— кинулся он к Шувалову.— Беги! Выполни! А этого самозванца...— Узник повернулся к побледневшему царю. Вдруг он словно признал его. В бешенстве, потрясшем все его тело, он поднял оба кулака над головою и крикнул:

— Палач! Да здравствует Польша! Да здравствует свободная Россия!

Шувалов стремительно закрыл узнику рот, крикнул Якову Степанычу:

— Держи его за руки!

Яков Степаныч подскочил, но держать ему пришлось падающее без чувств тело узника, силы которого надорвались.

— Ваше величество,— сказал Шувалов,— вы видите, он совершенный безумец. Прикажите, быть может, перевести его в Казань, в дом умалишенных? Это— отдаленное место, где держать его можно в одиночестве.

Царь встал, молча подошел к распростертому на полу бесчувственному страдальцу и долго смотрел на него. Страшно бледное лицо его дрожало от неразрешившегося гнева. Холодно и недовольно глянув на Шувалова, он сказал:

— Пусть узника водворят на прежнее место,— и, помедлив, прибавил,— для примера.



Шувалов впустил жандармов. Все еще бесчувственного человека они подняли и унесли. Яков Степаныч отметил: как у мертвого, в одну сторону свисали его руки, окованные кандалами. Страшно выдавался орлиный, заострившийся нос из-за впавших щек и черной спутанной бороды.

.....

Вот что я запомнил на всю жизнь — слово в слово.

## ГЛАВА VIII ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

«Помимо занятых клеток, в мозгу человека есть еще масса свободных клеток для ощущений и представлений новых, имеющих еще проникнуть в мозг данного индивида, словом — запасной склад клеток, незанятых и свободных, куда можно было сложить будущий материал...

И дальше по Мейнерту: клеток в мозговой корке от 600 до 1200 миллионов, количество же наших представлений несравненно меньше. Кроме того, сила человека тратится в каждодневной жизни на прохождение волевых импульсов по проводниковым путям. Да, на это времени тратится в пять раз больше, чем на образование представлений.

Ну-с, а если волевые импульсы прекратить и всю силу собрать на одно? И кто знает, какие новые представления, а за ними какие новые открытия станут уделом незанятых клеток? Быть может, человек вновь откроет...»

.....

Эту выписку нашел я на листке голубой бумаги, написанной тончайшим, но не женским почерком, в старой «Ниве» с картинками, которую дал мне смотреть Иван Потапыч. «Ниву» же он вчера выменял на махорку еще с пайковых времен.

Я потрясен этой запиской. После слов «вновь откроет» приложен рисунок колеса Фортуны: колесо с двумя крыльшками, летучее.

Да ведь это — как раз то, что мы с черным Врубелем знаем. Ко-ле-со!

Все у нас точно условлено, старший врач прозевал. Ему б нас рассадить, а не оставить шептаться. Дошептались, хе-хе...



Попросим у Ивана Потапыча ножницы. Надо вырезать кое-что из газетной бумаги, а ножницы он не дает. Повернулся ко мне от бритья, щека в мыле, скосил глаза под кустистой бровью, и будто не Ивана Потапыча голос, а того... художника черного:

— Проткни горло, проткни!

Ну, конечно. А я-то мучился, я позабыл...

Проглотить колесо надо накануне, чтобы за ночь оно вставилось в кадык, как пропеллер.

А днем, едва толпы народа заполнят проспект и музыка хватит под окнами, надо впустить воздух, чтобы началось вращение колеса. И вот я забыл... что именно для этого нужно сделать?

Утомленный мельканием колеса жизни, я овладел ключами, я прочел книгу, я понял символы. И мне разрешено передать мое знание. Для передачи нужно общепонятное действие.

Посредником между центрами движения и чувствительности служат нервы. Ну, а передачу между глубоко скрытым центром полета и первым удачным взмахом рук-крыльев еще надо создать!

Но мы догадались. Близка наша благая весть и другим.

Теперь ясно: на улицу Иван Потапыч меня не отпустит. Бежать у меня нету силы, ноги колодой. Придется лететь одному. К черному Врубелю я уже послал с этим известием воробья. Открывали форточку, и влетел воробей. Как только я сказал ему адрес, он вылетел, и напрасно Иван Потапыч собрался ловить его длинным сачком: воробей — по-польски ведь Врубель, хе-хе...

Колесо, по моим просьбам и слезам, вырезали девочки. Каждая по колесу. Если одного будет мало, проглочу и другое. Но, пока Иван Потапыч не сказал: «проткни горло!» — я не знал, как мне принять воздух из сфер. Впрочем, как уже сказано, через Ивана Потапыча шел мне приказ от *иного* учителя.

Теперь только одно: к двадцать пятому октября украсть ножницы!

Я стал очень волноваться. Кричать я боялся, но каждый раз, как Иван Потапыч проходил мимо меня, я вытягивал шею и шипел, как змей. Деликатней и ясней нельзя было объяснить ему, что, задерживая мировое открытие, он уподобляется пресмыкающему-



ся. Но по невежеству Иван Потапыч не понял ничего, а девочки по невинности очень смеялись.

— Пиши свои сочинения! — крикнул мне Иван Потапыч и, как ему теперь стало обычным, сунул мне в руку перо.

Только взял я перо, как увидел на печке Якова Степаныча. Он сначала был маленький и похож на «американского жителя». Ему это было надо, чтобы сползти с печки по бечевке от душника. Когда он подходил ко мне, он был уже обычного своего роста, в люстриновом блестящем пиджачке, серебряный и румяный. Обе руки положил мне на голову.

— Успокойся и людей не пугай! Возьми глиняного петушка и Вере Эрастовне передай все, что видел.

Я взял глиняного петушка, и он перенес меня на хутор Линученка в комнату Веры.

Или нет, нет. Я ехал долго: и по железной дороге и на тройке мимо пожарища бывлой лагутинской усадьбы... Впрочем, не все ли равно, как я добрался, раз я попал?

В комнате было светло от первого выпавшего снежка, окна только что вставлены, чисто промыты. Сквозь стекла гляделись какие-то кудрявые молодые деревца. Они не хотели сдавать земле свои еще крепкие листья и предерзостно зеленели, продираясь сквозь снежную пелену.

Вера лежала высоко на подушках, покрытая из разноцветных шелков испанским одеялом. Это одеяло я помню с детства. Когда она бывала больна, я сидел около, и мы играли. Гуляли, как по парку, по дну морскому, по лунному кратеру — по тончайшим оттенкам шелковой ткани.

Вера смотрела в окно и не заметила, как я тихо вошел с Линученком. Я с трудом узнал ее, так она исхудала. Она была прозрачно бледна, косы, без прежнего золотистого блеска, мертво и ровно лежали по плечам.

— Вера! — позвал Линученко. — Сережа приехал!

Она легко повернула голову. Глаза ее — огромные, пустые — в какой-то надежде глянули на меня. Она чуть протянула мне руки. Я встал на колени. Я взял эти бледные, слабые пальцы и приник к ним губами. Как я мог забыть ее? Я любил Веру за то, что не мог разлюбить. Едва видел ее — я любил.



— Он с вами видался? — спросила она, не называя кто.

— Он был накануне и просил меня вам передать, что больше ему ждать нельзя, он чувствовал себя очень больным. Он посылает вам любимое, что осталось от детства.

Я отдал Вере глиняного петушка. Но едва она взяла его и слезы безмолвно полились из глаз, мне стало невыразимо мучительно. Повинуясь сложным и едва ли добрым чувствам, не щадя ее слабости, я сказал:

— А Яков Степаныч видал Михаила. Он был свидетелем его свидания с царем; Михаила в кандалах привезли во дворец.

— Что вы делаете? — вскричал Линученко.

— Говорите, Сережа, я умру, если вы мне не скажете...

Она села. Судорожно сжала петушка, как бы держась за него — совсем как делал это я, когда бродил как безумный после покушения в Летнем саду.

Я ей все рассказал. Она слушала, не двигаясь, не дыша, так, что мне вдруг показалось, что она умерла. Я прервал речь и кинулся к ней. Она отвела меня рукою и твердо сказала:

— Я слушаю. Я все понимаю. Не пропускайте ни слова.

Когда я кончил, она повернула голову к Линученко, долго молча смотрела и выговорила с мольбой:

— Друг мой, никого, кроме меня, не посылайте по Волге! Я в Казани останусь. Ведь когда-нибудь его туда привезут.

Вера откинулась на подушки и закрыла глаза. Я вышел вслед за Линученко.

— Зачем вы ей рассказали? — начал он и перебил себя: — Впрочем, для нее так лучше. Для нее, не для вас.

Он испытующе и жестко мне глянул в лицо.

— Однако я сейчас не могу говорить с вами, придите ко мне поздно вечером. Но придите непременно!

Я пошел бродить по местам, родным с детства, с ними прощаться навеки. Я был уверен, что больше сюда не вернусь. Кончилась эта жизнь...

Ведь каждый живет несколько жизней. Изживает одну, временно пребывает, как труп, нет — как земля,



под снежным саваном с мертвой травой и с глубоко дремлющим новым семенем. И, как земля от морозов, от лютейшего горя отходит убитый человек. Опять держится, опять, как и все, заполняет каждый свой день. Только ночи не те. Ночью у того, кто знал смертную муку, сама смерть держит сердце в руках; сама смерть не дает ему сна, не дает отдыха.

Но это ночью.

Наутро я уезжал на Кавказ. Сейчас я пошел по избам прощаться с молочными братьями, с крестниками, с кумовьями. Там мне так усердно наливали настойками «посошок» в дорогу, что, перед тем как идти к Линученку, я прошел к круглому озеру, к Ведьмину глазу, чтобы отрезвиться.

Вот и большой камень, где семь лет тому назад сидели мы втроем, полные муки и надежд, каждый своих. Сейчас один из нас безумец, погибший для жизни, а мы с Верой — разбитые люди.

Но озеро все то же: весь день застывшее, словно зеркало, ночью оно дивно менялось. Тысячеглазое небо отражалось в воде, звезды вверху мигали звездам внизу и зарождали в воде совсем необычайную жизнь, которую не видать днем.

Мелкая рябь, как холодок по взволнованной коже, пробежала от одной звезды до другой. Под мелкой рябью чье-то смутное очертание, большое и темное, заколотилось глубоко на дне. Словно хотело оно вырваться, родиться наружу, и не умело.

На синее небо вышла луна, белыми лебедями проплыли облака. Луне отдавая почет, отступили вглубь звезды, и, как созревшая равнодушная красота, смахнув облачных лебедей с чистого неба, в свое чистое зеркало — озеро, на себя одну залюбовалась луна.

Вот на дне закипели ключи: из вязкого ила, из тяжких пут водорослей, в судорогах выбивалось наружу плененное. Выбралось. Ударило в зеркальную гладь и на миг, на один только миг, разбило уверенный точный круг луны в миллионы сверкающих искр. Огнем зажгло озеро. На миг, на один только миг.

Ушла луна, огни умерли. И, торжествуя над усмирившимся бунтом, звезды вверху улыбнулись звездам внизу, как древние авгуры, храня про себя свою тайну.



«Но едва взорвешь все пограничные камни, земля станет легкой, и ты полетишь!» Кто сказал это, кто? Все равно кто. Он сказал, а я сделаю.

Полечу. По-ле-чу.

.....  
Прошло полвека после этого разговора, а я до сих пор ненавижу его, Линученку. Этот человек обобрал меня и оставил жить. Есть вещи, которых или нельзя говорить вовсе, или, сказав, надо человека прикончить. Впрочем, мало кто подозревает силу слова, мало кто умеет действовать словом как оружием. Люди ссорятся, любят, изменяют, порой убивают, и все это как-то помимо друг друга. Каждый выставил в жизнь вместо себя заместителя, а сам скрыт.

Линученко добрался до меня самого, до того, кого знал только я. И только сам себе, и то в иную минуту, имел я силу сказать то, что открыл во мне, не повышая голоса, этот приземистый неприятный человек.

— Вы, я слышал, едете на Кавказ? — сказал Линученко, запирая комнату на ключ, чтобы никто не вошел.—И, надеюсь, надолго?

— Еду. Но почему вам приятно «надеяться»?

— Потому что иначе мне пришлось бы вам предложить прекратить с нами общение. Мы переходим на такую деятельность, которая безразличных свидетелей не выносит. Дальше недопустимо быть вам не с нами и не против нас. И еще я хотел вам сказать... как видно, вы сами не знаете... Мне дает на это право известная привязанность к вам, как к человеку, знакомому с детства.

— А я думал, вы меня презираете,—вырвалось у меня.

— Пока не за что, насколько я знаю,—он сказал без улыбки, что меня очень кольнуло.—Но предупредить вас мне очень хочется. Вы разрешаете?

— Я вас прошу,—сказал я, ненавидя это скуластое твердое лицо.

— Вы уже не юноша, а все еще безответственны. Между тем пора бы знать вам, что мысль, чувство и воля должны быть согласованы. Говоря вашим военным языком, вам пора сделать себе инспекторский смотр, мобилизовать свои силы, наметить себе в жизни ту или иную позицию. Несобранные люди — худшие из предателей.



И, сверля меня узкими зелеными глазами, он бросил:

— Признайтесь, вы пытались изменить участь Михаила? Я уверен, что вы говорили с Шуваловым.

— Разве попытка смягчить участь друга, хотя бы и неудачная, есть предательство?

Мне показалось, что человек этот говорит оскорбительные вещи, но я не чувствовал гнева. Он говорил так бесстрастно, как какой-нибудь старший механик, сосредоточенный на том, чтобы части машины были свинчены скоро и точно.

— Если вы, хлопоча за Бейдемана, допускали по вашему слабоволию, как сейчас вы это сделали в разговоре с Верой, хоть тень чувств иных, разрушающих ваше стремление ему помочь,—вы его так или иначе предали. Разве вам не известно, что капля собачьей крови, привитая кошке, убивает ее? Там, где нет цельности воли, лучше не действовать. В вас этой цельности нет, а вы, как я уверен, действовали. Фактов я у вас не спрашиваю. Формально вы даже можете оказаться правы. Из своей среды вы вышли, но и к нам не пришли. Мы же — сплав одного металла. Прощайте!

Я опять подумал, что, быть может, надо вызвать его на дуэль, но вместо этого я поклонился ему сухо и сказал:

— Прощайте, если это вам угодно. Я еду завтра навсегда. Но я хочу видеть Веру наедине.

— Хорошо,—сказал Линученко,— все равно больше повредить ее здоровью, чем вы это сделали, вы не можете.

— К черту ваше менторство! —закричал я, теряя терпение.—Я к вашим услугам. Можно и без секундантов, на жребий... Американская дуэль.

Он посмотрел на меня отрывисто и прямо, как смотрят, кидая слово «дурак», но слова этого не сказал, пожал плечами, открыл дверь и вышел.

Ночь я не спал, я считал, сколько раз я предал Михаила. Я насчитал четыре. Да, благодаря вмешательству моей воли судьба этого человека четыре раза была мною повернута. А воля моя была не из чистого, не из цельного сплава. Следовательно...

Первый раз я дал Мосеичу «Колокол», чем помешал соединению Веры и Михаила. Второй—я вну-



шил Шувалову иное освещение всего дела, чему следствие — Алексеевский равелин, а не дом сумасшедших, откуда бы друг мог бежать. Третий раз я, чувственно увлеченный Ларисой, с пробудившейся завистью к безоружному другу лишил его мощной заступницы. Четвертый и последний раз, вовсе не помышляя об освобождении друга, а лишь желая разрядить свою собственную боль, я подвел его, уже безумного, под вечный гнев Александра II.

Пусть оправдывают меня присяжные судьи. Я в старости знаю лишь то, что я знаю.

Не только твой поступок — твоя злая мысль, твое злое чувство могут быть той решающей тяжестью, которая потянет книзу горькую чашу чужой судьбы.

## Глава IX ПАУК И УДОД

Я слежу за окном. Сегодня чуть было не случилось несчастья. У Ивана Потапыча вышел спор с девочками; он требовал, чтобы окно замазали, девочки стали плакать и божиться, что замажут двадцать шестого. Все к тому, чтобы двадцать пятого был мой последний бой. Осталось несколько дней.

И еще мне сегодня знаменье, что решение взято правильно: за стеклом между рамами незамазанного окна, моего окна, появился...

Появился Паук.

Едва я его приметил, как Иван Потапыч, о ком-то повествуя, выразительно сказал:

— Преданный друг.

Какое слово, какое слово! Ведь не иное, а это — выражение сильного чувства дружбы. Да, да, друг только и дорог, когда он предан.

У меня есть предан-ный друг и:

Паук.....

.....  
Как странно. Веру не должны были повесить, как того... с серо-голубыми глазами. Отчего же лицо ее было, как у него, мертвенно-синее, когда я сказал ей, что уезжаю навсегда.

Мы молчали. Я держал ее за тонкие пальцы, потом, указывая на испанское одеяло, я сказал:



— Вот и опять мы с вами, Вера, как, бывало, мальчик и девочка, прошлись по разноцветным шелкам. Не правда ли, пусть кто хочет нанимает квартиру, пусть кто хочет покупает гарнитуры в гостиную и множит детей. Мы начали и мы кончим тут, в разноцветных шелках испанского одеяла. Я не знаю, что это было у вас; у меня, сколько бы женщин я ни знавал,—это была только любовь. Неистребимо единая, как у бедного Вертера. Прощайте ж, моя любовь, навсегда, я еду на Кавказ.

— Навсегда, Сережа?

Она была так поражена словом «навсегда», что внезапно я понял: она привыкла считать меня своей собственностью. Кроме того, с моим отъездом обрывались все связи с ее личным прошлым и оставалось на долю ее одно лишь суровое служение революции под железной рукой Линученка.

И вдруг на миг, на один только миг, мелькнуло в глазах ее не Верино, а простое, женское... И я понял: она испугалась.

— Навсегда,—твердо сказал я и, вспыхнув от всплывшей в памяти отповеди Линученка, добавил гневно:—Довольно быть мне при вас прикладным.

— Сережа!

Необычайная, впервые ко мне обращенная нежность пришла слишком поздно. Я был измучен, я был разорен. В этом выражении ее глаз, о котором мечтал я тщетно столь долгие годы, в ту минуту я лишь злобно прочел: она прикидывает, а вдруг можно со мной нанять ей квартиру, купить гарнитур и завести детей. Главное—детей. Ведь женщины в отчаянии, как заяц в кусты, вечно прыгают в этих детей.

— Навсегда, Сережа!

И в этот миг, мной угаданный, вернее, по низкой злобе придуманный, случилось последнее ужасное несчастье...

Я выпустил ее руки и встал. Я ее разлюбил.

Неправдоподобно?

Нет, именно так и бывает.

Впрочем, понимаю я это только сейчас, а тогда я не знал, что я разлюбил. Мне только стало вдруг томительно скучно, но и вместе необычайно легко, будто я весь стал пустой. Только бы выйти из комнаты, только б уехать.



И вот уже не я, а она сказала с мольбой:

— Если я вам напишу, что мне необходимо вас видеть, вы приедете, где бы вы ни были? Обещаете? В память прошлого нашего детства, в память юности...

Я молча стоял у окна.

Она, угадав, что со мной произошло, но, как и я, не умея назвать, приподнялась и сказала:

— Ну, в память Михаила?

Она нашла верное слово. Я подошел к ее постели и, протягивая руку, сказал:

— И в память того, другого, кто дал нам глиняного петушка. Клянусь честью офицера, что приеду, где бы я ни был. Знаю, что зря вы меня не позовете.

Мы не поцеловались. Я приложился к ее руке, как к руке покойницы, и вышел.

Помню, я ехал на Кавказ совершенным мерзавцем. По дороге пьянствовал, играл в карты и твердил каждому, что возвышенно любимая женщина требовала, чтобы я ей купил малиновый гарнитур. А жениться я — черта с два! Мне черный Врубель сказал, что каждый человек должен себя выразить художником. Завершиться и выразить, а в промежутке между человеком и невыраженным художником каждый просто-напросто негодяй.

Я был в промежутке. Как этот паук между окон. Однако скоро он ткёт. Трудись, славный ткач! Он на чьей-то руке... Чья рука на такой высоте? И засучен по локоть рукав. А, это тетушка Кушина опять делает Михаилу перевязку. Матушка Михаила, будучи им в тягости, испугалась паука.

Паук отметил жизнь Михаила.

— В трамвае мужчина нонче как дятел сидит, — жалуется старушка гостя Ивану Потапычу, — а ты перед ним с корзиной стой. Здоровый мужчина сидит.

Солнце ударило в окно. Паутина — золотая игла. Еще такая на крепости. Там сидит. Двадцать один год здоровый мужчина сидит. На руке у мужчины паук. То Михаил — мой пре-дан-ный друг!

Я нарочно поклялся Вере честью офицера, чтобы отмежеваться от них. И действительно, я офицер. Я кавалер орденов: Георгия, Анны, Владимира, персидского Льва и Солнца и многих иных... послужной список при мне. Перепечатан на теменной кости



внутри, чтобы скрыть от правительства, как скрыта фамилия. Там же дела мои против немирных горцев.

Кроме войн, было куначество. И чудесный кунак был рыжий имам даже после того, как оказался преступником. Его судили за то, что на груди у жены разводил он горячие угли, пока не прожжет ей сердце. Но ведь жена обобрала его и бежала с другим. Он поймал и пытал.

А меня Вера обобрала безнаказанно: когда поняла, что теряет навеки, она в уме прикинула гарнитур. А я ей в ответ: черта с два!

И все-таки: тот, кто воевал с немирными горцами, дружил с преступными, бывал ранен и награжден, заводил любовь с татарками и офицершами, тот был не я, а черт знает кто.

Я же был и остался невыраженным художником. И поэтому я копил в памяти все восходы, закаты, запах горного воздуха, блеск кинжалов в попойках с резней и многое, не нужное никому. Я из лиц человеческих скопил три лица: лицо Михаила, лицо того, кто был повешен, и лицо Веры, которая для сердца моего умерла. Остальные мне были — блины. И, сам блин, жил с блинами. И когда ели блины, мы их запивали ай.

Но ордена я любил надевать и за честь офицера держался. И когда пришла эстафета от Веры из Казани с просьбой ехать немедленно и спешно — я выехал.

.....  
Девочки очень смеются, мешают писать, допишу ночью; уже двадцать третье.

Девочки себе вшивают для сладостей большие карманы, их будут угощать комсомольцы. Пусть тащат — дело детское.

## Глава X

### МИРГИЛ

Я пишу ночью. Колесо проглотил. Устанавливается в кадыке. Легкая щекотка, но терпимо. Я лишен речи: мычу. Впрочем, речь ни к чему. Но завтра иное действие... убедительнее речи. В мозжечке кружится кое-что, набирает пары. Допишу, брошу перо и до утра продержу затылок ладонями, а локтями: мах, мах!



Этому я научился от Михаила. Я же сказал: Михаил Бейдеман и Сергей Русанин — одно. Понемножку и сделалось: пятками в его пятки, темечком в темя, и вместо имен Михаил и Сергей вышло имя новое: Миргил. Имя художника, который взорвал пограничные камни. Миргил полетит!

Я сказал: так стоял Михаил Бейдеман в одиночке, когда мы с Верой к нему вошли. Да, клянусь, это так было. И не сейчас, после смещения времени, а в самых настоящих человеческих днях с боем часов.

Да, пробило в коридоре дома умалишенных ровно шесть, когда подкупленный фельдшер Горленко провел меня с Верой к безумному таинственному узнику за номером 14, 46, 36, 40, 66, 35 и т. д.

Под этими цифрами, как сейчас стало известно, зашифровано было: Михаил Бейдеман.

Последними, несказанными усилиями мозга, уже перерождающегося в части дивного механизма для полета Миргила, я постараюсь передать то, что было в Казани.

Получив Верину эстафету, я подумал, что она при смерти и хочет со мной проститься. Получая изредка письма от тетушки, я знал, что Вера давно жила в Казани вместе с бывшей крепостной женщиной Марфой, а Линученко, как я узнал из газет, по участию в первом марте был давно сослан в Сибирь. Вера тоже немало просидела в тюрьме, подведенная плохими знакомствами, как по наивности писала мне тетушка, и, выйдя из тюрьмы, заболела злой чахоткой. Письмо последнее от тетушки пришло в восемьдесят шестом году. Сейчас, когда я, спешно вызванный, ехал в Казань, был конец ноября 1887 года.

Я не видел Веру двадцать лет. Значит, сейчас ей, как и мне, пошел сорок седьмой. Я ехал бестрепетно, холодно любопытствуя о цели моего вызова. Но в Казани, когда на окраине города ямщик еще издали указал мне ее квартиру, я вдруг приказал ему остановиться и пешком прошелся раз-другой в переулке, чтобы унять неожиданную острую боль в сердце. Как ни пытался я объяснить себе, что у меня от долгого пути обыкновенный сердечный припадок, сознание, не обманываясь, знало, что это не сердечный припадок, а сердечное чувство.

— Ей сорок семь, — твердил я, — и давно я ее разлюбил.



Наконец вошел. Открыла она.

Вера не была старухой. Горели щеки ее, как никогда, ярким румянцем. Глаза блестели, седины не было видно из-под белоснежной косынки фельдшерицы. Безмолвно мы обнялись и разрыдались. Ведь, не живя, мы прожили вместе всю жизнь.

— Сережа, вы остались один из всех, кто знал Михаила. И Марфу весной унес тиф. Я бы не посмела вас звать, если б была хоть она. Но мне нужен свидетель.

Вера страшно закашлялась, у нее сделалось от волнения кровоизлияние. Доктор уложил ее в постель и, когда я назвал себя родственником, сказал мне, что дни ее сочтены.

Вера, горя той нечеловеческой энергией, которая охватывала ее, бывало, в дни надежды помочь Михаилу, уже на другой день овладела собой и могла рассказать мне, в чем дело.

Марфа, служа в доме умалишенных фельдшерицей, дозналась, что с первого июля 1881 года, в особой, ото всех изолированной комнате, содержится таинственный узник, привезенный под конвоем двух жандармов из Петербурга. Из низшего персонала, кроме фельдшера, никто в эту комнату не допускался. Вера немедленно решила, что это Михаил. Фельдшер на подкуп не шел и ни за какие деньги не хотел устроить свидание.

— Мне удалось умолить его сделать одно.— Вдруг Вера побледнела:— Сережа, а что, если вы не помните? Вся моя надежда на вас! У Михаила была родинка у правого локтя...

— По виду суций паук,— прервал я, успокаивая, и рассказал ей эпизод с обваренной рукой в салоне тетушки Кушиной. Об эпизоде знала она от отца.

— Теперь я спокойно могу умереть,— сказала Вера,— свидетель есть. Сережа, фельдшер сказал, что родинка-паук на руке у безумного больного... Это было как раз пред внезапной болезнью Марфы. Сейчас этого фельдшера переводят в другой город, и за большую сумму он склонен дать мне свидание. Я говорила про вас. Ваше звание и чин на него сильно действуют. Подите к нему завтра же и устройте, чтобы назначен скорей был день и час. Мне осталось недолго.



Все уладилось. Подкупленный фельдшер назначил нам первое декабря в шесть часов вечера. Он сказал, что узник очень слаб, вероятно, протянет недолго.

Первого декабря мы забрались за два часа в жарко натопленную комнату фельдшера в нижнем этаже здания, вблизи одиночной камеры узника. Нас не должен был видеть никто из персонала больницы. В половине седьмого, когда все мимо нижнего коридора пошли на обед, фельдшер сделал нам знак, взял ключи и повел в одиночную камеру.

— Одну минуту,—сказала Вера, когда повернул ключ,—одну минуту.

Она не могла дышать. У меня самого подгибались ноги. Нам предстояло увидеть Михаила после двадцатishестилетней разлуки.

— Он седой?—спросил я.

Надо было что-то узнать, как-то подготовиться, как готовятся к зрелищу дорогого покойника...

Фельдшеру вопрос показался пустячным, вместо ответа он пробормотал:

— Не дольше десяти минут, по уговору.

Мы вошли.

В большой, давно не беленной комнате, на больничной койке сидело существо. Я не знаю, кто... Ни одной черты Михаила. Как лунь белые волосы и борода. Глаза стеклянные, без признака мысли. Когда он увидел, что мы подходим, лицо его исказилось ужасом; он дернулся в постели, привстал, хотел было юркнуть под койку, но распухшие от колена ноги не пустили, и он, спасаясь от воображаемых мучителей, сделал жалкую попытку улететь.

Вытянувшись во весь свой высокий рост, он заложил руки на затылок, отчего широкие рукава рубахи осели и обнажили иссохшие от худобы заостренные локти. На правом локте чернел явственно паук с тонкими, словно пером прочерченными ножками. Михаил хлопал локтями, как крыльями. Он думал взлететь...

Но он не знал, как знаю я, что нужны ножницы, чтобы через надрез горла впустить себе воздух сфер... Но это будет завтра. Сейчас я должен вспомнить, отчего Михаил стал таким.

Да. Двадцать лет одиночного заключения в равелине. Увезен безумным в казанский сумасшедший дом,



где еще шесть лет одиночества. Итого: двадцать шесть лет. Я считал, глядя на этого чужого мне человека, где не было ни одной черты того вдохновенного, прекрасного юноши. Только черный паук на заломленной, как птица трепыхавшей руке: мах... мах...

— Михаил, я — Вера. Я пришла... Вера. Я — Вера!

Она говорила голосом, после которого совершается чудо. Она поникла на колени, обняла его ноги. Она не уставала взывать к его померкшему сознанию, как, должно быть, взывал вне себя тот пророк, извлекая воду из скал.

— Я — Вера!

— Вера...

Он повторил хриплым, отвыкшим от речи, но все же своим голосом, ему одному присущим, глухим, глубоким звуком: «Вера...» И он протянул руки. Вере? Нет, не ей, не той, которая вызвала чудо. Ее образу юности, он увидал ее в прошлом...

Лицо его осветилось на миг подобием чувства, но тут же вдруг, утомленный, он рухнул на постель.

Она целовала его длинные, желтые, как у мертвеца, руки. Он смотрел бесконечно утомленными, тусклыми глазами без признака мысли.

— Пора уходить, подведете, сударыня! Пора, пора,—торопил Горленко.

Узнав фельдшера, Михаил радостно замычал и, широко открыв беззубый рот, стал громко чавкать.

— Есть просит,—объяснил Горленко.

Мы ушли. Вместе с фельдшером я довез Веру домой. На другой день она лежала на столе, покрытая белым, такая же чужая, как Михаил.

Я не узнал ее, когда, обмыв ее, со словами «готово» какие-то женщины впустили меня в комнату. Помню: на глазах у этой желтой восковой куклы были медные пятки. И под одним пятаком поблескивал белый-белый белок.

— Не закрылся один глазок; знать, высмотреть надо ей своего врага,—сказала баба.

Этот враг — я.

Я не исполнил и последней Вериной просьбы. Я не рассказал никому, как замучили Михаила, ни тогда, ни в 1905 году, когда ко всем с просьбой пролить свет на это дело обращался один историк.

В архивах все узнано без меня.



А я, не желая себе неприятностей, жил в своей деревеньке и очень часто бывал пьян. Тогда-то в моей голове завелся Верин удод и стучал день и ночь:  
— Худо тут... худо тут.

.....

В мозжечке кое-что развивает давление всех атмосфер. Я бросаю перо, держать надо голову, приучать руки к крыльям—мах! мах!

Едва завтра музыка и такие слова: «Это есть наш последний и решительный бой»...

В горло... рраз!

Головой в стекло—два. И к черту паук!

А над городом плавно Миргил.

Художника — лёт.

И нет — лет...

Кавалер орденов: Владимира, Анны, Георгия...  
пр-ра-вое плечо впе-ред!

1924—1925



# СОВРЕМЕННОКИ

РОМАН



*Иллюстрации*  
*А. Яцкевича*





## Глава I ФЛАКОН БОРДЖИА

Есть сумерки души во цвете лет.

*Лермонтов*

— Он помнит вас, Глеб Иваныч; столь заметлив, да чтоб позабыть.

— Да притворяться-то что за расчет?

— А таракан-с, Глеб Иваныч? Таракан, особливо черный, чуть не по нем, сейчас — хлоп, и в мертвом виде-с! Вот и он с вами: моя, дескать, хата с краю, — украинская наша замашка.

Багрецов в упор глянул на Пашку-химика, встретился, как всегда, не с глазами его, убежавшими куда-то в кусты, а с бровями, черными и вихлявыми, как пиявки, и сказал:

— Ты-то сам с каких пор украинец? Помнится, был поляк, потом чех. Вральман ты, Пашка, неизвестного возникновения и темной профессии.

— Шехеразадой сами прозвали-с, — хихикнул Пашка. — А ведь привилось прозвище, Глеб Иваныч,



даже овербековцы с горы, на што постники, и те кличут: Шехеразада! Что же, Глеб Иваныч, выходит — у меня с князем тьмы один формуляр-с: неизвестность возникновения и темнота профессии. Однако сей образ не плохо воспет... сам лорд Байрон или наш Лермонтов, из-за которого, Глеб Иваныч, весь разброд вашей фортуны пошел, вплоть до «флакона Борджиа»...

Багрецов дрогнул, побледнел, на миг замер и так врылся в землю, словно ему следующий шаг был бы в пропасть. Пашка остро сверкнул очень умными глазами, но тут же потушил блеск и, будто не заметив волнения Багрецова, обыкновеннейшим тоном сказал:

— Сущие пустяки, Глеб Иваныч, сплошной бред в вас влюбленной приезжей барыньки. Старинная вам знакомая живет инкогнито у Карагиных. Я разговорчик слыхал, ведь при мне, что при лошади — не стесняются!

Багрецов оправился, даже улыбнулся, взял Пашку под руку, пошел с ним в глубь широкой аллеи каштанов.

— Расскажи про инкогнито, — уронил он небрежно.

— Ручку освободите, Глеб Иваныч, в ногу с вами нам все равно не попасть, ведь я поменьше калибром-с, хе-хе...

Пашка нагло глянул на спутника. Веки Багрецова были опущены, лицо приняло вид обычного бесстрастия. Он, видимо, сдерживался.

— В декабре, как вы знаете, будет в Рим высочайший приезд. Так вот из свиты его величества заблаговременно уже приехала жена одного адъютанта, вам до брака знакомая-с, фамилии не разобрал, но подруга княжны Карагиной. С ней при мне и совет был по случаю маскарадных костюмов. «Я, говорит, хочу нарядиться флаконом с надписью «флакон Борджиа», и пусть все с Багрецова глаз не спускают. Держу пари — вздрогнет он и побледнеет как смерть. Ну, тогда я кое-что про него расскажу...» Женская глупость, Глеб Иваныч, не иное. Вот я вам рассказал, а вы решительно ничего-с, разве что под ручку взяли, впервые меня удостоили-с за промежуток немалых годков-с, хе-хе...



Багрецов в бешенстве бросился к Пашке, схватил его за плечи, но тут же осекся, выпустил и молча сел на скамью.

— Вы ошиблись, Глеб Иванович,— сказал без шутовства Пашка,— я вам вовсе не враг.

Однако рядом не сел, а продолжал речь, стоя у дерева:

— И последний разбойник, Глеб Иванович, имеет свои увлечения. А я умнее вас никого не встречал, уж не отторгайте-с. А беспокойство от женской дури теперь вам какое же? Благодаря мне о главной козни вам все известно, так что в неудобное положение вы не станете. Остается инкогнито разъяснить—это тоже обдумано-с. С той недели княжна Карагина с этой новой своей другиней в развалине форума рисовать собирается, вы же утречком сходите и накроете. Нет, Глеб Иванович, я вам друг и союзник всегда-с.

— Довольно об ерунде,— обронил Багрецов.— Мне до Гоголя дело, Гоголь меня рассердил, а ты с сплетнями... Да что ты стоишь-то, сядь рядом, ведь не убью.

— Помилуйте, Глеб Иванович,— заегозил Пашка,— я довольно сам понимаю, что несоизмерим интерес ваш к персонажу, так сказать, отечественно-гениальному или к некоей жене адъютанта, хотя бы вам с детства знакомой...

— Мне помнится,— сказал Багрецов,— тогда в именинный обед старика Аксакова в погодинском саду не было?

— Вот память-то! Истинно, не было. Старик заболел флюсом, прислал одного Константина. А ведь правда, Глеб Иванович, сколько б народу ни нашло, Аксаковы, как шмели между пчел, всех слышней? Не любили вы их!

— Старику я завидовал,— сказал Багрецов,— он был моложе нас, молодых, полон здоровья и особой, коровьей силы, от скотного, что ли, двора? Знай удит свою рыбу и набирается...

— А с Гоголем, Глеб Иванович, ведь совершенно как в басне «Пустынный и медведь»! Кто голосистей кричал: «У написавшего «Ревизора» нервы нам не чета, его общим судом не судить...» А сам-то дубиною—хватать! Как же-с, я своими глазами видал, как он Гоголя, совершенно больного, убежавшего от рева



публики, тащил опять на эстраду, и корил, и пел — все любя-с. А едва друзья разгласили о некоей его хлестаковщине с чинопроизводством...

— Ты зарапортовался, — осадил Багрецов.

— И вот нет, Глеб Иваныч, ей-ей, после выпуска «Вечеров», проездом через Москву, Гоголь на заставе прописался не коллежским регистратором, а чином много повыше-с — коллежским асессором! Так и в «Московских ведомостях» я самолично прочел. И отметил-с.

— Да не для себя же, дурак, — для ослов, столь им гениально воссозданных...

— Как знать, Глеб Иваныч. Гений — тот же человек, хоть диапазона-с несоизмеримого. Впрочем, я держусь мнения: *кто всему знает цену, тот и сам может делать все-с!* А вы как, Глеб Иваныч?

И, не ожидая ответа, Шехеразада встал.

— Мне некогда, Глеб Иваныч, — делишко-с. Разрешите уйти. Ужо после обеда, в остерии Лепре, я весь ваш.

— Иди себе, — махнул рукой Багрецов и, проводив глазами его зливый облик Пашки в нелепом халате отечественного происхождения, глубоко задумавшись, остался сидеть на скамье.

Да, именинный обед в погодинском саду был Багрецову особенно памятен. В тот день игрою судьбы дан был толчок его воле на так называемое *черное дело*.

В тот день много пили, ели, говорили тосты. Гоголь был чопорно натянут, — казалось, он в какой-то собственной пьесе играет «хозяина дома». И нарочно волнуется, все ли в порядке, все ли как «у людей».

После обеда в саду он сам варил жженку, и когда легкое пламя охватило сахар, сказал, объединяя синий тон огня с синевой жандармских мундиров:

— А нуте-ка, принимайте в желудок своего Бенкендорфа!

Гоголь сам подал бокал одному гусарскому офицеру, который, если бы не форма, заметная среди большинства штатских, не показался бы Багрецову ничем замечательным. Он был безмолвен и не искал выделиться. И немало были все удивлены попозднее в саду, под сенью лип, когда большинство гостей разбрелось по аллеям и Гоголь, обратясь к этому бледноватому офицеру, сказал вдруг с необыкновенной лаской:



— А нуте, Михаил Юрьевич, скажите-ка нам из «Мцырей», народу поредело.

Да, офицер этот был Лермонтов. Он тотчас, просто и естественно, не заставляя просить себя, вышел перед всеми и прислонился к стволу дерева. Оглядывая всех и никого не видя вдруг вспыхнувшими огромными глазами, он начал отрывисто и глухо, будто невольную жалобу:

Я мало жил, и жил в плену...

Багрецов вспомнил, как пронзительно и внезапно полюбил его. Вспомнил, как Лермонтов открылся ему в необычайной нежности и простоте, как понял он, что все грубое и плохое, о чем кругом про него говорили, была лишь защита человека, *иного, чем все, для возможности жить между всеми.*

Проскрипел, как тогда, прямо в ухо, голос Пашки-химика,—он пришел тоже с группой украинцев:

— Этот Лермонт невиннее всех великих людей-с, недаром и демон его, как девушка, верует в бога!

А с другой стороны рядом Гоголь...

Гоголь стоял, руки в карманы, больше сгорбившись, чем обычно, длинные волосы его упали прямою стеною, срезав навкося к подбородку круглое лицо, отчего нос вытянулся еще непомернее и заострился. Он как бы слушал еще некоторое время после того, как Лермонтов кончил, и, не дожидаясь оценки, укрылся в глубь сада.

Волнение Багрецова было чрезмерно. Он получил последний, недостававший его воле толчок. На что именно—он еще не знал. Одно он почувствовал: *совершу!*

Но тут же, испугавшись себя самого, он неудержимо потянулся к Гоголю, как к старшему, к учителю, к отцу... Вдруг поверил: он угадает, придет на помощь. Преодолевая обычную застенчивость, Багрецов тронул Гоголя дрожащими пальцами за руку и сказал:

— Николай Васильевич... эти стихи как порох! Ведь они могут взорвать, как же мне быть?

Он не кончил. Гоголь обернулся весь, кругловатым лицом. Багрецов навеки запомнил лицо. Необыкновенное. В профиль выраженное носом без меры, оно, склонившись в улыбке, с тончайшим лукавством приподнявшей подстриженный ус над полноватой



губой, вдруг все засияло в глазах. Небольшие, острые, они прощупали всю подноготную, на миг вобчали в себя и тут же сплюнули, как плюют шелуху подсолнуха.

— А ты себе, хлопче, взорвись! — хватил Гоголь и припечатал по-украински крепчайшей печатью. Кругом так и грохнули смехом.

Багрецов и сейчас, через десять лет, покраснел. Он вспомнил, как вдруг, по-детски, совсем глупо вспыхнув, сказал Гоголю:

— Это грех, это грех...

Чуть не плача, он в тот же миг кинулся прочь из сада к себе на Васильевский. Пашка-химик теперь божится, будто Гоголь тогда потускнел и раза два с тревогой произнес:

— Ишь какой... недотрога...

После этого Николина дня неделю тому назад встретились здесь в Риме, в остерии Лепре. Александр Иванов, старый одноклассник, назвал Гоголю Багрецова. Гоголь глянул сонно, пренебрежительно сунул руку, мертвую, без рукопожатия.

Багрецов встал со скамьи. Пока он тут сидел то в отупении всех чувств, то переживая вновь бывшее, быстрые итальянские сумерки сменились ночью. На синее небо томительно вышла луна, застрекотали цикады. Из-за акведука Клавдия мужской голос, аккомпанируя себе на лютне, то выводил арию, то срывался, раздражаясь по-итальянски целым фонтаном отборнейшей ругани.

Багрецов сказал *maestro di casa*<sup>1</sup> не пускать к нему никого и, пройдя в свою комнату, на ключ запер дверь, спустил на окна зеленые жалюзи. Потом он отпер дорожную шкатулку и отобрал из нее одну из переплетенных тетрадок:

Как просвященный современник Евгения Онегина и Печорина, Багрецов, подобно «герою нашего времени», для беседы с собою исписывал тонким почерком не одну десть бумаги.

Найдя место, в подробностях воскрешавшее то, что сегодня забыть уже не было силы, он стал читать:

«...Я ехал полями и перелесками нашей губернии, безлюбовно узнавая родные места; я ненавидел свое

---

<sup>1</sup> Хозяин дома (*ит.*).



детство. Чудовищный эгоизм отца пожрал мою юность, разбил нервы, изуродовал навсегда, сделав неспособным к действительной жизни.

Прошло много лет, как я отсюда выехал в Петербургскую Академию, но при виде белого, в колоннах, хитиновского дома встало предо мной все, что было. Бессонные ночи, зеркальный паркет залы с двойным светом, хождение под руку с отцом до восхода. Встали воскрешенные бессонницей, обилием выпитых рюмок призраки войн, походов, путешествий по Европе, лекций по истории, по конским заводам, игре в рулетку — все вперемежку, как придется.

Эти путешествия безумного старика с подростком продолжались до тех пор, пока легко розовело и расступалось небо, чтобы принять юное солнце, пока не появлялся в строгом фраке, с почтительным зовом, лакей Илья:

— Пожалуйте в ванную, Иван Никитич!

Отец не сек людей, не продавал в розницу, даже не терпел, чтобы его звали барином, но все это не от гуманности, а лишь от брезгливости умного человека с европейским развитием. По своему непомерно строптивому нраву он себе испортил большую карьеру, заперся в деревне, ушел в книги.

Восхищенный моей быстрой сметкой, он облюбовал меня для ночных разговоров. Сначала мне это было лестно, но вскоре я изнемогал уж под бременем яростных впечатлений и сложнейших взаимоотношений мира. Впрочем, я кончил тем, что втянулся, отравившись безграничностью воображения. Больше того, фантазия, развитая за счет других сил души, навсегда меня сделала чувствительным только к острому и необычному.

Днем, как и отец, я спал до сумерек, потом шли занятия, потом бессонная ночь. Так перевернуто, неслыханно для здорового деревенского быта прошла моя ранняя юность. Вероятно, к годам двадцати я просто спился бы, не вмещайся тут моя тетка, такая же крутая, как батюшка. Тетка, узнав о моих способностях, поместила меня своекоштным в Академию в Петербург. По тогдашнему времени это было просто чудачество: в художники шли кантонисты, мещане, в лучшем случае сыновья живописцев. В нашем классе я был один потомственный дворянин. Отец и тут рад был случаю поступить не как все...»



Багрецов бегло просмотрел унылый ряд лет, где полуневежественные учителя отличались один от другого лишь тем, что у каждого была своя манера драться, где ученики, полуголодные, одичалые, ложились в холодных дортуарах с чадной лампой, чтобы на рассвете, вскочив по звонку, начать новый день, подобный вчерашнему.

«...В эти опасные годы пробуждающегося сознания один замечательный человек, пейзажист Рабус, имел для меня решающее значение. Квартира его представляла из себя целый музей. Он интересовался всеми отраслями знания: прекрасная библиотека, модели военных кораблей, обсерваторийка, устроенная на крыше собственного дома. И все это кроме живописи, которой он предан был совершенно. Да, Рабус дал мне впервые постичь, насколько наслаждения умственные богаче всех прочих. Впрочем... это познание пошло мне, пожалуй, не к добру.

Рабус необыкновенно пленил меня. В серой академической жизни это был первый человек — не узкий специалист, а широкой европейской хватки. И я поставил себе задачу — стать таким же. Это для начала... дальнейший мой план был иной. Уже давно я не жил только живописью, моя мысль работала. Меня увлекала история иных, свободных народов; мне была невыносима забитость понятий и чувств, в которых нас держали насильственно. Но средств для широкого образования у меня не было. А для того, чтобы получить наивысший здесь жребий — заграничную поездку, — мне надлежало, задушив все прочие мысли, работать на конкурс по двенадцати часов в сутки, подделываясь под вкусы начальствующих.

Необыкновенные обстоятельства пришли на помощь моей жажде широкого знания. В последнем классе я получил от отца эстафету и, теряясь в догадках, поехал после многих лет домой.

Я нашел отца очень постаревшим. Вокруг были незнакомые мне приживальщики из мелкопоместных дворян, экономка из немок. Родных детей никого: почему-то отец вызвал только меня.

Встретил с ласкою необычайной, увел к себе в кабинет, весь день все расспрашивал, как бы экзаменовал.



Поначалу я отвечал нахохлившись, готовый к отпору, но отец проявил столько просвещенного интереса по разным вопросам, что я, вдруг утратив чувство отчуждения, стал сверкать смелыми парадоксами, предвосхищая открытия в науке, создавая новую живописную школу.

Как скоро пришлось мне раскаяться в моей искренности!

Вечером старик призвал меня в свой кабинет, закрыл двери, сказал:

— Экзаменом, который я тебе произвел, я доволен весьма. Вижу, что задуманное мною для твоей дальнейшей судьбы задумано с умом и подлежит выполнению. Слушай: имений своих я, как ты знаешь, не прибавил, а значительно пропустил. Детей и внуков у меня до полсотни, дураков не обобратся, лишь у тебя и характер и ум. Приятно поражен и расположением твоим к европейскому ходу жизни. А посему вот: наследства я тебя лишаю вовсе, в пользу тех, дураков...

Отец остановился и, любопытствуя, глядел на меня. Я молчал, полагая, что старик заговаривается или ломает каприз.

Он угадал.

— Я в своем уме, и преострейшем, что тебе сейчас докажу.

Он отпер ящик и по толстой слоновой бумаге стал читать длинейший реестр движимого и недвижимого.

— Ну, это до завтра не кончить! Словом, на твой век довольно. Это не что иное, как приданое твоей будущей жены, княжны Котовой.

Я, впадая в тон затеянной отцом с неизвестной мне целью интриги, сказал небрежно:

— Кто же это без моего ведома меня сосватал?

— Я сам,—сказал отец.—Невесту я примерял как бы для себя, вообразив себя в твоих летах и в твоём положении. Мы ведь необыкновенно с тобой сходствуем. Если не пожелаешь противопоставить ложного самолюбия, не замедлишь во всем согласиться. Вот слушай, держа в руках этот портрет.

Отец передал мне дагерротип, изображавший молодую женщину, худощавую, с чертами резковатыми, с черными глазами, с печатью грусти на всем гибком ее существе.



— Сплошное разбитое сердце,— сказал я.— И это героиня?

— Она грустила после измены недавнего жениха, который предпочел ей еще богатейшую. Но дело было уже год назад, сейчас снова весна. Жизнь вступает в свои права. По гордости княжна любит утверждать, что личное счастье ее кончено, что теперь она выйдет замуж лишь из самоотвержения. Преотличная женская разновидность, и к тому же не болтлива! Сейчас у нее особая склонность к исправлению павших: возится с ворами и пьяницами. Я этот пыл ее верно учел; на приманку клюнет... Она тебя старше годков на пять, что совершенная ерунда. В швейцарских кантонах испокон века каждая жена старше своего часовых дел мастера, что не мешает Швейцарии славиться отменной семейственностью. Тебе ж такая жена — просто клад для качеств обратных. Ты в меня — посуди, каков будешь семьянин? Полагаю, для тебя уже не секрет, что так называемая любовь не для умных людей. Умному не забыть ни из-за чьих милых глазок: один человек рождается, один умирает! Что же до мгновенных вспышек страстей, воображения, сердечного чувства и просто каприза или похоти, то удобнее всего производить их при постоянной жене такого именно типа, как княжна. Впридачу повторяю: родовита, богата и — важнейшее — малословна.

— Но она чего ради пойдет за меня?

Отец хитро улыбнулся.

— Я изобразил ей тебя совершеннейшим негодяем с проблеском сердечного чувства, которое, будучи отогрето умелой рукой, даст прекраснейший урожай. Натурально, княжна возгорелась спасти. Дагерротип твой я ей показал невзначай. О том, что ты недурен, тебе нечего разъяснять. У княжны оскорбленное самолюбие, здесь глушь.

— Словом, вы затеяли упражнение произвольного спаривания? — сказал я не без яду.

— Если бы к этому способу спаривать юное поколение прибегали с умом их родные, человечество было бы много счастливее. Скрытая жизнь страстей — бездна, кишущая чудищами, из коих каждому легко тебя проглотить. Не удобнее ли проделывать сии эволюции, держась за канат, который в случае чего всегда может вытянуть в безопасность.



Я расхохотался. Мы с отцом обнялись...

Отец сказал:

— Математические принципы и в жизни самые достоверные, на них надлежит строить историю не только отдельного рода, но всего человечества. Если две величины порознь равны третьей...

Каким способом установлена была связь между этой формулой и необходимостью моей женитьбы на Котовой — я уже не слыхал.

Давно соблазненный тончайшей отравой опасных для юности чар развратников XVIII века из подобранной отцом библиотеки, я уже торопился к себе, чтобы обдумать план действий, речи, костюм.

Ведь, кроме занятой игры, предо мной раскрывалась с женитьбой свободная жизнь, поездка в Италию — словом, все то, о чем злобно мечталось, как о недоступном.

Одевшись к лицу, но небрежно, с миной поэтического негодая, я сошел вниз к обеду, где представлен отцом был княжне, приехавшей вместе с теткой, прескучной старухой. Княжна оглядывала меня горящими от любопытства взорами, наконец первая завела разговор о мастерах старой школы. При отъезде я был приглашен к ней на завтрак в имение.

Начатое по программе сближение пошло вдруг само собою. Я не был влюблен, но Марья Юрьевна ко мне действительно подходила, обладая характером нежным, живущим в собственных мыслях. Очень скоро я мог быть с ней даже вполне откровенен. В расчете избавить себя от грядущих сцен ревности, я готовил ее к своей непригодности для прочной семейственной жизни, на что она очень мило сказала:

— Умные жены ревнуют молча.

Скоро отец справил свадьбу со всею возможною в деревне роскошью. Мы уехали в Петербург.

Академию я бросил. Прекрасно обставив квартиру, пустился жадно расширять свои знания, чем еще больше пленил свою жену, отчаянную домоседку.

Помню, в Академии, когда я сказал Александру Иванову о перемене своего положения, особенно о том, что я женюсь, — он изменился в лице и с испугом спросил:

— А как же с заграничной поездкой? Ведь женитьба тебя по закону лишает...



Я снисходительно улыбнулся и, как разбогатевший лакей, отпустил:

— Я теперь довольно богат, чтобы ехать в Италию на собственный счет!

Иванов побледнел еще больше, так что я подхватил его, боясь, что он упадет. Как ни знал я его подверженным сильному чувству дружбы, подобное волнение приписать лишь одной перемене в моей личной судьбе я не мог.

В одну из суббот у Рабуса я понял все.

Когда вместе с отцом, музыкантом Гюльпеном, вошла его дочь, прелестное легкое существо, Иванов так вспыхнул, что сомнений быть не могло. Он влюблен. Больше того: я тут же узнал от товарищей, что он хочет на ней жениться, но Академия лишала женатых поездки, и перед ним встал роковой выбор: искусство или личное счастье? Италия, дивные мастера, совершенство в развитии дарования или... Пример был перед глазами: родной отец. Талантливый, нежный, запуганный вечной зависимостью, ради семьи забивающий педагогией свободное творчество.

Весь этот год Иванов колебался и страдал до нервного расстройства. Однако при твердой поддержке Рабуса он отказался от брака с дочерью Гюльпена и всего себя отдал безвозвратно искусству. В половине июня тридцатого года мы его наконец проводили в заграничную поездку.

— До скорой встречи, счастливцев, — сказал он мне, намекая на то, что я против него вдвойне взыскан фортуной, и прибавил, поникнув:

— О, горе художнику, рожденному нищим! Нищета нас лишает свободы.

Да, я знал это слишком хорошо, когда шел на сделку, предложенную отцом. И первой наградой этой мною добытой свободы будет поездка в Италию. Мы с женой порешили — через год. Но в жизни не то, что в мечтах.

Через полгода после свадьбы умер внезапно отец. По завещанию оказалось, как он мне и сказал, что я, женившись на богатой, им исключен из числа сонаследников. Отец оставил мне лишь свою библиотеку развратников XVIII века.

В этот день, как выражаются повествователи, появилась первая черная туча, предвестница жестокой грозы на моем супружеском горизонте.



Узнав о завещании отца, моя благоразумная жена улыбнулась лукаво и произнесла:

— А ведь при всем уме твой отец и не понял, что я его перехитрила. Сейчас, когда мы так счастливы, я раскрою тебе свою тайну. Я отлично видела, как отец твой готовил меня тебе в жены. Я любовалась его стариковским прехитрым маневром и с охотой пошла ему навстречу, увидав твой портрет. Но, признаться тебе, я тебя не любила. Горько оскорбленная в своем поруганном юном чувстве, я к браку влеклась лишь потребностью материнства. Уверившись в твоих качествах, я остановила на тебе свой выбор; за корысть я тебя не корю. Мы квиты. Мы взаимно, по разным соображениям, но сыграли одну и ту же роль. Тебе выгодной показалась такая жена, как я, ты мне подошел как отец моих грядущих детей. Но теперь, когда первенец наш должен явиться, я тебя люблю, милый друг, от души.

Я сидел за большим рисунком, скрывавшим лицо и помогшим скрыть мое бешенство. Жена, растроганная своей длинной тирадой, оставила работу, поцеловала меня, охватив руками мне голову.

Я остался сидеть как окаменелый. Ничего особенного не было сказано, а предо мной разверзлась бездна, в которую, знал я, неминуемо полечу. Мы с отцом думали, что распоряжаемся наивной женщиной, а она, в свою очередь, распорядилась мною, определив меня себе в производители.

И я вспыхнул внезапной ненавистью к ней и к этому, ни на что не нужному, первенцу. Я был слишком молод, к тому же я предчувствовал и дальнейшее... в чем не замедлил удостовериться на другой же день.

В такой же вечерний час, когда жена в маленьком будуаре шила что-то из детского приданого, я ей сказал:

— А ведь, пожалуй, пора нам подумать о подыскании кормилицы, я надеюсь, появление ребенка не задержит назначенный отъезд наш в Италию?

— Мой милый,— чуть хмурясь, сказала жена,— я посторонней женщине свое сокровище не отдам, поездка же будет зависеть от здоровья ребенка.— И, пытаясь смягчить слова улыбкой, с отвратительным мне доктринерством промолвила: — Привыкай к



мысли, что детям в нашей семье принадлежать будет первое место!

Она говорила как человек, имеющий в своих руках всю власть, говорит другому, зависящему от него всецело.

— Я не люблю отступать от задуманного,— возразил я с твердостью.— Надо привести в ясность урожай с твоей Пустоши и, если окажется недохват, поторопиться с продажей, чтобы нам хватило жить на два дома.

Жена встала. Со свойственным ей тактом, уже не подходя ко мне, а направляя шаг к двери, остановилась.

— Милый мой, раз навсегда... я не желаю что-либо продавать, считая своим долгом передать в наш род все угоды в том виде, как их получила сама.

Она очень естественно вышла. Мое бешенство не имело границ. Лишенный своей части в наследстве отца, я был теперь нищим. Между тем, в расчете на средства я порвал с Академией и уже избаловался роскошью. Но что же мне предстояло теперь? Смотреть из рук женщины в награду за то, что я, как в экономиях жеребцы, выбран ею на завод? Ее упоминанием о детях уже во множественном числе гнусно подчеркивалась эта моя роль специального производителя.

Характер у Марьи Юрьевны оказался твердый, с дьявольской выдержкой. Все женственно-милое, что раньше она выдвигала приманкой, с беременностью отошло.

Теперь предо мною стоял равносильный боец, с тем преимуществом, что он был вооружен, а я нет. Мне оставалось превзойти ее хитростью, на что я и пошел. Еще сам хорошенько не зная конечной своей цели, усилием воли скрывая злобу, я необыкновенным вниманием к ее положению восстановил поколебленное было доверие.

Но вот жена моя заболела, домашний врач настоял на осмотре ее знаменитостью. Тот объявил, что роды жене моей будут смертельны вследствие каких-то больших уклонений, и предложил произвести их искусственно и преждевременно. Жена, охваченная психозом материнства, не хотела и слышать об операции, где наверное спасалась только она, тем более



что другая знаменитость города, враждебная первой, сумела убедить ее в благоприятном исходе, с сохранением жизни доношенному ребенку.

Почти без усилий мне удалось расположить жену к себе в такой мере, что она написала духовное завещание, где все имущество оставляла ребенку, делая меня его пожизненным опекуном. Через несколько дней, в минуту особенно горьких предчувствий, она прибавила и роковую последнюю строчку: «В случае смерти ребенка наследником всего движимого и недвижимого является мой муж...»

Как это ни удивительно, мысль добыть яд зародилась у меня впервые тогда, в Николин день, на именинах у Гоголя.

Тот заряд энергии, тот зов к свободе, который большой поэт заключил в алмазный стих «Мцыри», коснувшись меня, сосуда грубейшего, лишенного музыкального строя души, явился толчком лишь на то, чтобы разрядиться в преступлении.

Я мало жил, и жил в плену...

До боли острая, стрелой пронзающая жажда свободы, до потемнения в глазах и мозгу... О, почему Гоголь не понял меня!

Но он не понял. И вот одно имя, как вспыхнувшие тогда в темноте именинные шкалики, одно имя огнем в черном мраке души:

Амичис ди Гамма!

Я боролся два дня, на третий пошел. Амичис был просто Андрей Иванович Гамов, брат одного нашего ученика, влюбленный в эпоху Возрождения. Он был фармацевт, занимался химией и алхимией, имел слабость к сбиранию ядов. Я заставил его показать себе коллекцию им добытых. Наметив подходящий, я решил принести схожий по виду и цвету флакон — подменить.

Для поддержания в себе того разрывающего душу чувства свободы, без которого, раз вкусив его, я не хотел больше жить, — мне стал нужен яд. Пока без определенной цели, на всякий случай. Конечно, виной тому были книги... Да, книги были моя жизнь и гибель. Роман Шодерло де Лакло «*Les liaisons dangereuses*»<sup>1</sup>, дьявольски подсунутый мне отцом, в его

<sup>1</sup> «Опасные связи» (фр.).



увлечении психологическим экспериментом, оказался для меня роковым развратителем. Ведь первая ударившая по сердцу книга — что первая любовь. Это призма, через которую впоследствии преломится бессознательно все мироощущение человека. В этом романе предвосхищены и «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени». Де Вальмон взят автором заостренное и с тем окончательным цинизмом, который про себя держит каждый свободный ум, не знающий иных авторитетов, кроме собственной воли...

Однако я обладал немалой силой внушения: Амичис, подстрекаемый моими хвалами, показал мне заветнейшие коллекции, особенно гордясь неким флаконом... «флаконом Борджиа», без следа и без боли усыпляющим навсегда.

Мне блестяще удалось подменить эту уника. Я был как хороший актер в ответственной роли и все же достаточно трезв, чтобы отмечать свои настроения. Меня, помню, очень тогда поразило, что чрезмерное напряжение, чем бы ни было оно вызвано, дает одинаковое сознание мощи и радости. Тогда же я сделал, быть может, опрометчивый вывод о прирожденной аморальности человека.

У Лермонтова, Пушкина, Шодерло де Лакло герой богат, образован и убивает других: пулей, игрой, насмешливым словом, так себе — с жиру. И все же читатель подобным героем любит. Почему же, думалось мне, почему, усвоив себе всю психологию этого образа, не убить мне из жажды свободы и просвещения? Я нашел, что моя цель благороднее. К тому же, при моем напряженном вкусе к благам интеллектуальным, все, что носит печать только жизни инстинктов и рода, у меня, как у брамина вид парии, вызывает одну лишь брезгливую отчужденность.

Моя жена донашивала последний месяц. С лица ее не сходило выражение самодовольства. Она была окончательно уверена в благополучном конце. Приданое шилось двумя партиями: на случай рождения девочки — с розовым бантом, и мальчика — с голубым.

Поглощенная своим материнством, жена как человека перестала окончательно меня замечать. Она требовала только восторгов при виде пеленок, свивальников и каких-то гнусных подгузников.



Что касается похищенного мною «флакона Борджиа», я, признаться, не слишком-то доверял, что он усыпит навсегда и без муки, так что, когда я его всыпал жене, мое воображение не было поражено неизбежностью смерти и «макбетовский трепет» мне не пришлось испытать. Я почти мальчишески играл в «чет и нечет». Впрочем, как холодный и умный герой, я на всякий случай наметил себе в бессознательные союзники доктора Радина, очень слабого, неуверенного в себе человека, в определении болезни поддававшегося диагнозу о себе самого больного и близких ему.

Неделю тому назад, когда у меня уже был в кармане яд Амичиса, я зазвал к себе доктора Радина и долго наставлял его относительно слабого сердца моей жены, ссылаясь на определение знаменитостей, приводил и свои опасения, основанные на внезапной гибели от разрыва сердца ее сестры.

Радин удостоверил при некоторых знакомых все, чего мне хотелось. Прописал порошки и обещал заходить ежедневно. Давая порошки доктора Радина, я к ним прибавил и свой.

Наутро жена моя была мертва.

Радин, видя мое сильное расстройство, растерянno, как виновный, меня успокаивал. Родня жены была далеко. Подозрений я не возбудил. Жену похоронили. Впрочем, нет, подозрения были у одного существа. У ребенка двенадцати лет. Это была сестра моей жены, которая жила по сиротству вместе с нами.

Галина, или, как уменьшительно ее звали, Гуль, была неприятная девочка. Смуглая, с румянцем, вдруг загоравшимся, обличавшим потаенную страстность, Гуль каким-то угрюмым, безмолвным добавлением входила в нашу жизнь. Порой мне казалось, что она очень несчастна. Но я был слишком занят собой и не мог войти в жизнь существа, которое меня к себе ничем не влекло. Совсем напротив: меня крайне раздражали ее недетские, следившие за мною взоры. Нередко я перехватывал ее, выбегавшую из моей комнаты.

В тот день, как я всыпал жене содержимое «флакона Борджиа», я, вернувшись тотчас к себе, стал искать пустой пузырек, только что бывший в моих руках. Пузырька не оказалось.



Вне себя от ужаса, я кинулся с допросами к Гуль. Добиться признания ни страхом, ни лаской мне не удалось. Дня через два, потрясенная смертью сестры и жестокостью моих тайных допросов, она заболела нервной болезнью. По выздоровлении я заметил, что несчастная девочка безумно в меня влюблена, и успокоился на естественном предположении, что пустой «флакон Борджиа» был взят ею на память и давно, быть может, затерян. Во всяком случае опасностью разоблачения эта выходка мне не грозила.

Прошло полгода. Мое положение огорченного, от всех удалившегося мужа было упрочено. Скоро я сам отвез Гуль в пансион, пересмотрев на всякий случай очень тщательно все ее вещи. Среди них флакона не было...»

Багрецов закрыл тетрадь, спрятал ее в двойное дно шкатулки. Шкатулку запер дважды ключом и снес в шкаф.

Конечно, Багрецов угадал, едва Пашка-химик доплел свою сплетню, что женщина, замышлявшая маскарадный костюм — «флакон Борджиа», была Гуль.





## Глава II ОСТЕРИЯ ЛЕПРЕ

Если вы любите искусство, то  
хоть пешком, но будьте в Риме.

С. Гольдберг

На длинных скамьях в остерии Лепре было набито немало народу. Русские *pittori*<sup>1</sup>, длинноволосые, с бородкой, в черных плащах, подбитых алым, скульпторы и даже овербековцы в своих чопорных черных сюртуках. Они с любимым учителем, «папашей Овербеком», жили для настроения в католическом монастыре и в пирушках не участвовали. Были здесь разного чина и звания иностранцы, жадные до разнообразия итальянской кухни и римских сплетен.

За суматохой гости и не замечали, что кушанья те же самые, а меняются лишь приправы; что престарелая курица, сдобренная специей и начинками до неузнаваемости, идет за птицу высшего ранга, в чем не уставал, впрочем, заверять *servittore*<sup>2</sup>, ловко скидывая

<sup>1</sup> Живописцы (ит.).

<sup>2</sup> Слуга (ит.).



по две нагретые тарелки с каждой руки и поспевая принять в настороженные уши десять разных заказов *risotto*<sup>1</sup>, узнать альковную тайну знатной римлянки, перехватить последние слухи о планах «Юной Италии».

Голоса прерывали друг друга, ножи стучали, споры велись через головы, с разных концов стола, без возможности спорящим в страшной давке сесть ближе.

Своим нескрываемым восхищением выдавались лица молодых, только что приехавших из Петербурга пенсионеров. Забитые академической дрессировкой, они уже заметно ожили, как недоморенные цветы, обласканные жарким солнцем. Вместе с серебряным воздухом Италии их пьянила дивная красота акведук-ков, портиков, базилик — словом, все, что давно знали они по сухой выучке, и потрясены были, увидав здесь во всей волшебной действительности. Они были как восторженный юноша, очарованный заочно красавицей, внезапно узнающий ее живую.

Старшие товарищи взапуски посвящали молодых в подноготную заметных римлян и героев дня. Поминали и прошлое. Не переставал волновать всех «великий Карл», с его никем еще не покрытым успехом «Последнего дня Помпеи».

Не без зависти всю удачу замысла приписывали влиянию некоей девицы Дюмулен, причем влиянию, выраженному в форме необычайной. Новоприбывшему всю историю начинали *ab ovo*<sup>2</sup>, с самого Сильвестра Щедрина.

Этим славным пейзажистом русские художники гордились особенно, а красотой выдвигали его первым против красавца римского исторического живописца Каммучини. Уезжая в Сорренто, Щедрин передал (таковы были нравы) свою временную подругу пресловутому Карлу Брюллову, прожигавшему свой гений в разнообразнейших похождениях и хотя блестящей, но разбросанной живописи.

Как водится, девица Дюмулен весьма скоро опротивела Карлу ревностью, и он стал от нее отдаляться; но в то же время, со свойственным ему озорством, не

---

<sup>1</sup> Кушанье из риса (*ит.*).

<sup>2</sup> С начала (*лат.*).



удержался, чтоб не подразнить ее. Живя напротив, окно в окно, он устраивал нежнейшие амурные сцены с манекеном, бесподобно загримированным женщиной. Девушка Дюмулен посылала отчаянные письма, которые Брюллов позабывал прочесть, и наконец, отчаявшись в просимом свидании, бросилась в воду с *ponte Molle*. Ее спасли. Брюллов пуще затосковал от внутренней пустоты, завертелся в попойках. Графиня Самойлова, ценя его живопись и желая его образумить, увезла с собой в Неаполь. Угрызаемый раскаянием за беспутную трату сил, в расположении к сюжету грусти, Брюллов полюбил Помпею и, бродя по мертвому городу, вдохновился его «последним днем».

Из этого мораль, учили бывалые молодых: обзаводись скорей девицей да топи ее в Тибре, авось выудишь себе пышный сюжет.

— *Dio vuol carnevale, e non vuol cardinale!*<sup>1</sup> — вдруг крикнули в углу. — В праздник кардиналов хлестало как из ведра, а в карнавал всегда чудесная погода.

— Ставлю две фульты, — кто со мной? «Русалка» Моллера как раз будет в меру картины Лапченко.

— А ну пройдем к обеим, померяем...

— Да что далеко ходить, вон синьор Александро со своим ментором. Он наизусть знает.

Спорившие, брыкая товарищей, выбрались из-за скамьи и подбежали к входившему мелкими шажками невысокому плотному человеку в синих очках. Занятый разговором со своим спутником, забиравшим место у раскрытого окошка, он не сразу понял вопрос, с которым на него наскочили молодцы.

Лицо его, славянского облика, несколько иконного письма, изобразило внезапное беспокойство. Но тут же, разобрав причину напора юношей, он вдруг засмеялся, детски приоткрывая приятный рот, обрамленный окладистой русой бородкой, и сказал, слегка пришепечывая и торопясь:

— Ну, конечно, «Русалка» Моллера аккурат в меру «Сусанны» Лапченко и, как и она, вся нагая-с. Но полезно нам узнать, интересуясь Моллером, и всю силу его трудолюбия, — ведь им уже отосланы в Петербург «Пастушка», «Поцелуй» и «Профиль»...

— Собственноручной возлюбленной, знаем!

---

<sup>1</sup> Бог хочет карнавала и не хочет кардинала (*ит.*).



Повесы захохотали и, оборвав на полуслове, так же дико, как появились, убежали на свои места.

— Ей-богу, наплюйте на них, да садитесь, все простынет... — сказал спутник Иванову, так низко склонившись над своей тарелкой, что темно-русые волосы, очень длинные, упали у него на кушанье.

— Совершенно оголтелый народ-с эти молодые пенсионеры, — сказал Иванов, — мало кто работает, а в Академию отписываться умеют похитрей нас, стариков. Один лодырь вчера мне показывал, сплошное вранье-с, а к начальству с этакой патокой... Оно и то сказать, преподлая нас сопровождает инструкция, на лицемерство сама наталкивает. Вот если любопытствуете, Николай Васильич, для картины нравов, я вам ее наизусть...

Спутник с длинными русыми волосами, усердно подбиривший с тарелки risotto, поднял острые глаза и, не слушая, сказал:

— А знаете ли, у Фальконе, что у Пантеона, жареный баран поспорит с кавказским, телятина много жирней, и такая, черт ее дери, crustata из вишен, что производит слюнотечение на три дня. У Фальконе, что у Пантеона, бес ему в рифму... Едали?

— Гоголь в духе, будет представление, — зашептали кругом. Иные бросили свои места и подсели ближе к окну. К столу подошел человек, невысокий, с большим лбом. Лицо твердое, честного немецкого колониста, сразу обличало нерусское его происхождение. Верхняя губа была длинновата, отчего выражение лица, когда он молчал, было неумно. Он одернул бархатный жилет с искрой и сказал медлительно:

— Что за диво Фальконе? Вот я намедни так в дрянном трактирчике был свидетелем жанра, достойного вас, Николай Васильевич, бытописателя нашего именитого.

— А нуте, Федор Антоныч, нуте...

Гоголь оживился, заулыбался, помолодел лицом.

— Вчера засиделся я в театре, вышел последним, ищу, где бы закусить. В нашем трактирчике свет. Вхожу. Только у русского стола лампа. За столом Рязанов с батареей полуфульт. В руке стаканчик красного. Любуется им на свет... Этакая поза! А пьян вдребезги. «Ортодокс, — кричит мне как резанный, — посмей сказать, что есть чудеснее кóлер!»



Иванов залился хохотом, так, что прыгали щеки, кольхалось брюшко, а пальцы, пухлые и короткие, теребили в восторге салфетку. Гоголь молча вынул салфетку у него из рук и отложил в сторону. Иванов этого не заметил и, продолжая перебирать пальцами в воздухе, все еще прерываясь хохотом, сказал:

— А ведь это Иордан не врет! Рязанов точь-в-точь. Шутка ли — батарея полуфульт. А если, боже упаси, ему сервитторе надумает поднести сразу хоть одну целую, — какова обида! «Я, крикнет, тебе не пьяница, чтобы дуть по целой фульте». Помнишь, Федор Антоныч, мы с тобой слышали? Еще он по-свойски тебя обложил, когда ты рассмеялся.

— Это было... сейчас я скажу когда. — Обстоятельный Иордан, припоминая, водил по-заячьи длинной губой. — Есть! В тот самый день, когда в кафе «Del buon Gusto» ты наконец мне объявил, что порешил написать свою картину больше размером, нежели «Медный змий» Бруни, а я тебе сказал — *большая картина будет занимать много места!*

Иордан самодовольно расхохотался. Гоголь бочком глянул на него. Лицо его сморщилось, стало важным и умильным.

— Совершенно справедливо, необыкновенно справедливо, в высшей мере справедливо, маленькая вещь занимает небольшое место, а большая вещь место занимает больше.

Все вмиг узнали, кого Гоголь изобразил; грянули аплодисменты.

— Попугай святой коллегии, *il pappagallo del santo collegio*.

Это был живой кардинал Маццофанти, всем известный старичок-полиглот, любивший щеголять своим знанием русского языка вплоть до стихотворения, начинавшегося так:

Люблю российских муз,  
Я голос их внимаю.  
И некие слова их  
Часто повторяю...

Гоголь мастерски обличал секрет плавной русской речи маленького кардинала. Видно было, как он, твердо заучив немногие фразы, поворачивал одно и то же, слегка переставляя слова. Впечатление при италь-



янской, стучащей, быстрой манере говорить получалось как от беглого и богатого разговора.

Между тем Иванов прервал смех и стал грустен. Он сказал Иордану:

— Ну что с тебя взять, Федор Антоныч! Ведь вот и Жуковский не стыдясь говорит про картину. Мне Чижев передал. Порицает размер: кому, говорит, продать да куда повесить? Будто и сам я не знаю, что для коммерции много выгодней писать вещицы да картинки жанра. Но не все же коммерция!

Высокий человек, до того безмолвно сидевший напротив, прервал речь Иванова:

— А ты, Александр Андреевич, так и не сказал текста инструкции пенсионерам, который было припомнил. Мне б особенно интересно его услышать,—ведь я здесь не от Академии, а, как ты знаешь, на собственный счет. Любопытствую, чего я столь счастливо избежал?

Гоголь быстро и недовольно окинул говорившего. Это был человек с очень бледным лицом, богато и скромно одетый. Лицо его почти могло быть красивым, но все же не было. И каждого тянуло выяснить тому причину. Приятны были волосы того тусклого тона, который зовется пепельным, прекрасен лоб. Но глаза, спокойно и умно глядевшие, были странно мертвы. Ничто не заставляло их вспыхивать и меняться. Тонкий рот, бледные губы и эти глаза носили печать какого-то остановившегося существования, оторванного от общей жизни.

Багрецов знал, что люди при постоянном с ним общении, несмотря на его вежливость и приятную с ними манеру, чем-то в нем оскорблялись и скоро отходили навсегда. Впрочем, в редких случаях, когда ему надо было их удержать, он пускал в ход разнообразное очарование своего граненного скептицизмом ума.

Но Александру Иванову Багрецов, старый приятель по Академии, сумел стать исключительно нужным человеком благодаря знанию языков. Он усердно переводил ему все труды по искусству и философии. Сейчас Багрецов затеял разговор в надежде втянуть в него Гоголя или по крайней мере обратить на себя его внимание.



— Итак, если тебя не затрудняет, скажи, Александр Андреич, пресловутую инструкцию.

— Она преподлая-с, и, признаться, я ее желал бы забыть... Но изволь, изволь!

«Не скрывайте ваших чувствований и мнений ни о чем. В начальстве вы имеете людей, имеющих способ быть вашими *благодетелями*. Надобно это чувствовать, быть *признательну*, а потому *откровенну*».

— Поначалу, признаюсь, бывало невыносимо. Я забываюсь в созерцании красот искусства, но внезапно вспоминаю, что приказано о сем восхищении оповещать в известные сроки с непременною благодарностью,—и все благородное во мне замирает. Ох, тяжело быть нищим художником, Николай Васильич!

Гоголь не желал замечать Багрецова, ни отвечать на взволнованный тон Иванова. У него будто было собственное внутреннее раздражение, которое то замирало, то возрастало.

— *Servittore!* — перехватил он острым глазом человека, который извивался, как угорь, чтобы одновременно дать два разных обеда в противоположные углы.

— *Subito, signor Niccolo?*<sup>1</sup>

— Что это у вас пошли за беспорядки: макароны сырые, рис переварен?

И, ворча, продолжал по-русски, подмигивая на хозяйку, синьору Пепиту:

— Ишь ее, расселась, как индюшка, на толстой своей бригадирше!

Гоголь надул щеки, подморгнул и стал вдруг хозяйкой остерии. Сервитторе прыснули и разбежались с тарелками.

— Что это вы с ними вяжетесь, Николай Васильич,—прошептал опасливо Иванов,—предрянной народец, захотят — изведут... Я никому здесь не верю.

Вдруг вся остерия поднялась, забубнила, как рой:

— Шехеразада! Ура!.. Что на хвосте принесла, каковы новости?

Пашка-химик, он же Шехеразада, был неизъяснимого пола. Лицо под сорок, налито желтым жиром; по расплывшимся, сразу будто добрым чертам оно подходило бы к иной хозяйке-матушке, осевшей плотно в

---

<sup>1</sup> Сейчас, синьор Никколо? (*ит.*).



деревне, но брови, две ярко-черных пиявки, гнули сходство на китайского мандарина. А шустрые, как мыши, острые карие глаза обличали просто-напросто беса. И костюм был необычен: большая, когда-то драгоценная кашемировая шаль драпировалась на холщовом халате. Халат этот в деревне известен под именем «пыльника», и набрасывают его при поездке в летний день, когда в бездожде пыль стоит паром в дорогах.

Пашка-химик, человек почти научных занятий или художник из неудачных,—кто его разберет! Врал он много и разное, не затрудняясь. Когда и как он возник в колонии русских—никто не запомнит. Его приняли, он стал необходим. Промышлял он чем попало: от позирования натурщиком до подделки древностей, будто изысканных в Колизее. К обеденному часу у Лепре у него всегда была свежая сплетня или измышлены два-три сюжета.

Последнее качество ценилось особенно кучкой тупоумных уличных pittori, стряпавших картинки на вкусы разнообразнейших форестьеров. Сюжеты обеспечивали Шехеразаде блюдо макарон или ризотто.

Сегодня он принес не сплетню, а потрясающую новость о художнике Коневском, написавшем папский портрет.

— Синьоры,—пропищал Пашка голосом бабьим, подходящим к его виду евнуха,—отныне среди русских питторов есть «кавалер золотой шпоры»! Как же, из рук его святейшества самого папы принят орден!

— Неужто Коневский? Пролез-таки!

И сразу, со всех углов:

— Пусть ставит выпивку!

— Сами себе и ставьте,—Коневский, братики, фью...

Шехеразада вставил пальцы в рот и свистнул, как свистят лаццарони. Синьора Пепита шагнула было грозно к нему, но по пути только гневно сплюнула и, как монумент, утвердилось снова за стойкой.

— Ну и к черту его! Сыпь свой сюжет, Шехеразада! Англичан вчера понаехало, сваляй такое, чтобы лестно было ихнему гонору. Здоровей наврешь—сытей будешь!



Шехеразаду усадили в середину стола. Он прехитрым взором обвел собрание, с особой лаской задержался на вновь прибывших из Академий пенсионерах. Их лица сияли. Здесь все так выходило из петербургской забитости, что непритязательная вольность остерии им ударила в голову, как вино.

— Пашка, ассигнации глазом не выберешь, к делу, подавай свой сюжет!

— Синьоры, сюжет отменно хлебный для форестьеров-инглеze: «Коронация королевы Виктории». Роскошь и великолепииe, церемониал древнейших времен. Куда ни плюнь — Вестминстерское аббатство. Судьи в громаднейших париках, герольды в негнущихся парчовых рубашках. Коннетабли, епископы сплошь кентер-бе-рий-ские! Королеве вручают меч, казначей бросает в публику доллары — *момент!*

Для справок: одежда королевы — два миллиона франков, бедным роздано сто тысяч — приблизительно конец шлейфа Виктории.

Сюжет хлебный, сюжет-кормилец для подковки островных дураков! А второй... Да вот Бенедетту просите, — указал Пашка на входящую красавицу.

— Бенедетта... — и десяток молодых кинулся к входившей прекрасной итальянке. Она была в национальном костюме, как позировала одному из пенсионеров. Ее сопровождал итальянец, по виду и манере не римлянин, а приезжий из южного города. Бенедетта улыбалась знакомым.

— Бенедетта, дай сюжет, достойный картины, кроме тебя самой.

Бенедетта о чем-то горячо говорила со своим спутником. Она повернулась к художникам и сказала:

— Какой же сюжет может предложить итальянка, кроме самой Италии? Италия, а вокруг герои... каждый город может назвать героев, павших за отечество.

— Ну, для подобных героев у твоих властей недурно отточен топор...

— «Юная Италия» отточит кинжал поострей!..

— Бенедетта, — дернул ее за рукав сервитторе, — здесь только остерия, а не карбонарский ваш клуб, и тайные агенты наравне со всеми за столом жрут ризотто.

— Тем лучше, — сказала Бенедетта, — сейчас мы решили, что для дела нужны аресты.



Бенедетта прошла к столику, где сидел Иванов.

— Бенедетта, приди завтра позировать! — раздавалось со всех сторон. — Ко мне, нет, раньше к нам в студию!

— Синьоры, я уезжаю, берите Джулию...

Джулия и Бенедетта были сестры-близнецы, такого необычайного внешнего сходства, что могли заменять одна другую.

— Синьор Алессандро, — сказала Иванову Бенедетта, — завтра будете рисовать? У меня для вас одного отложено все утро...

— Ты видишь, опять я в синих очках — разболелись глаза. Перенеси мое утро на ту неделю.

— Придется кончать вам по Джулии, я на месяц уеду из Рима, что она, что я — то же самое, я ей скажу...

— То же, да не то, — засмеялся Иордан, — как бурное море и одна рыба из этого моря...

— Федор Антоныч метил складно, а вышло что-то неладно. А кто твой кавальере, Бенедетта? — спросил Иванов. — Уж не он ли тебя похищает?

— Кавальере? Да это же брат мой... Доменико! — крикнула она своему спутнику. — Иди знакомься с сеньором Алессандро.

К столу подошел человек с неожиданными у итальянца мягкими чертами лица и особенной привлекательностью в улыбке.

— Как он чем-то вызывает облик Вьельгорского, — прошептал Гоголь Иванову и вдруг насупился, умолк, ушел весь в свой галстук.

Необыкновенный нос его, не смягчаемый улыбкой и общей жизнью лица, выдвинулся, поражая своей длиной.

— Скажите, сегодня не отменено «благословение полей» папою, — он, слышно, болен? — спросил Иордан итальянца.

Доменико, усевшись на краю стола, блеснул зубами и весело сказал:

— Что вы, разве отложат... да кардиналы для этого дела совлекут папу и со смертного одра, папская власть только помпой и держится! Без помпы она — пустое место.

— Но общеизвестно, что итальянцы благочестивы, — как из книжки сказал Иордан.



— Совсем недавно, в холерный год, мы видели, что стоит их благочестие! Разве не та же чернь, что шла босая, нанося себе в грудь удары, к церкви Maria Maggiore, не та ли самая, отчаявшись в чуде, надругалась над свежими трупами сестер святого Сердца Иисуса?

— Но ведь это вне себя, в исступленье безумства...

— А в трезвом виде скоро будет и почище...— Доменико понизил голос так, что его слышали только те, к кому велась его речь.— Поверьте, стоит лишь итальянцам понять, что Италия—добыча каждого, кто ее хочет взять, и это благодаря папам,—они и этих пап пошлют к черту! Идеал единого римского союза заложен в крови римлян.

— Значит, еще раз прав Макиавелли в своих «Discorsi»<sup>1</sup>.—сказал Багрецов,—итальянцы обязаны церкви и духовенству тем, что у них нету веры.

— Однако все лучшие произведения искусства имеют своей базой веру,—вступил робко и смущаясь Александр Иванов.

Доменико подхватил:

— Братъ красоту оболочки еще не значит брать сущность, к тому же наше искусство воскресло только в язычестве Возрождения. О, Италия—страна крайностей, она легко переходит от грез Савонаролы, зовущего страшный суд, к грезам Кампанеллы, к мечте о рае здесь, на милой земле... Поверьте, фанатическое суеверие—лицевая сторона неверия, аскетизм и разгульные новеллы Касти—все одно! Но оттого, что так сейчас есть, не значит, что так и будет!

— Можно надеяться, что кровавые перемены произойдут не при нас?—спросил опасливо Иордан.—Ведь мне сдается, Григорий—предобродушный папа?

— Как сытый тигр, прикрывающий когти,—вспыхнул Доменико,—нынешний папа—злой иезуит, с особой склонностью давит мысль и науку. Разве вы не слыхали, что он запретил ученым Папской области участвовать в конгрессе естествоиспытателей в Лукке? Прямое следствие его брефа...

— Если не ошибаюсь, вы говорите о брефе тридцать второго года,—спросил Багрецов,—где объявляе-

---

<sup>1</sup> «Речи» (ит.).



но, что свобода совести — «сумасшедшая ложь», свобода мнений и слова — «чума»?

Доменико утвердительно кивнул. Гоголь и Иванов молчали.

— Если это не секрет, — сказал, еще понижая голос, Багрецов, — расскажите, что сейчас за волнения в Болонье?

— Волнения вызваны невероятным самовластьем таможенных чиновников. Народу ничего другого не оставалось, как, соединившись с вооруженными контрабандистами, на самовластье отвечать самоуправством, а уж Риму почудилась демагогия... В Болонью послана чрезвычайная военно-судная комиссия, тюрьмы переполнены, и если демагогов еще не было, — конечно, они народились.

— А как к волнению относится «Юная Италия»?

Опять подошедшая Бенедетта, вдруг вспыхнув, ответила за брата:

— Если *guerra di banda*<sup>1</sup> — путь, которым начнется освобождение народа, то соединение не только с бандитами, а с самим чертом нам благословенно! Однако, Доменико, нам пора идти, прощайте, синьоры!

— Ну, этим не сносить головы, — сказал неодобрительно Иордан, когда брат и сестра вышли.

— Типун тебе на язык, — махнул Иванов, — это семейство отменных людей, до собственной гибели преданных родине. Имя отца их с почетом произносит весь Рим, — он при предыдущем папе погиб в изгнании; Джулия и Бенедетта — девицы особенной складки, скромнейшие... Бенедетта к тому же образованна и открылась мне, что единственно ради удобства вести дела «Юной Италии» она укрывается под маской натурщицы, не вызывающей подозрений у папских шпионов.

Но сейчас у них, видимо, решено лезть на рожон... Приезд этого Доменико... Он, представь, удивительных дарований, сподвижник Мицкевича...

— Александр Андреич, довольно тебе зря выбалтывать, пойдем, — оборвал Гоголь, встал и, не глядя, следует ли за ним спутник, направился к выходу.

---

<sup>1</sup> Партизанская война (ит.).



— А ты, без сомнения, скоро зайдешь? Премного тебе обязан...—Иванов крепко жал руку Багрецову.—Без тебя я теперь точно без глаз! Почитаем, поспорим, твои толкования...

Но тут, спохватившись, что Гоголь уж вышел, он вдруг бросил Багрецова и, торопясь, вперевалку засеменил к двери.

У дверей Гоголя неожиданно задержал Шехеразада:

— У меня анекдотец вам, Николай Васильич, специальный, на вашу тему-с. Охота бы рассказать. Когда прикажете? Может, нынче после лицезрения его святейшества? Очень повеселит вас. Не выбалтываю, вам одним берегу-с. Так сегодня?

Гоголь, нахмурясь, слушал Шехеразаду. И, нимало не улыбаясь, хотя тот был презабавен, по-бабьи одергивая шаль и топочась в своем пыльнике, мрачно сказал:

— Ну, приди поздно вечером!

Гоголь и Иванов ушли. Багрецов позвал:

— Павел Иваныч! Ше-хе-ра-за-да!

Он сидел поодаль один, пред ним стояло вино. Молча налил два стакана, молча дал.

— Люблю Глеб Иваныча за серьезность,—похвалил Пашка и, опрокинув вино, вздернул черные брови. Стал ждать, ничуть не балаганя, глядя с умом.—Что прикажете-с?

— Я слыхал, ты сегодня вечером напросился к Гоголю, ну так вот: деликатным манером узнай, точно ли он не помнит меня, или делает вид?

— Насчет того случая вспоминаете, в день именин? Что говорить, обремизил он вас. Глеб Иваныч... а фамилийку-то записал. От меня узнавал, от меня...

— Не егози,—оборвал Багрецов.—Вот теперь разузнай, помнит он, что я *есть, дескать, тот самый*...

— Вызнаю, Глеб Иваныч. Прибегу-с, доложу-с.





### Глава III «ФЛОРА» ТЕНЕРАНИ

Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника!

Боже, что за жизнь наша! — вечный раздор мечты с сущест­венно­стью!

Гоголь

Этот день всегда был Гоголю труден: годовщина смерти Вьельгорского, безвременно погибшего друга. Итальянец Доменико его к тому же чем-то напомнил. Впрочем, какие напоминания были нужны тому, у кого вовсе не было прошлого, у кого ничто из пережитого не съедалось временем, ничто не тускнело, а все тут: стоит, мучает.

И вот сегодня с утра этот час, роковой не для одного покойного. С утра перед глазами, высоко в белых подушках, желтое, восковое лицо, с трепетными ноздрями, жадно ловящими воздух. Рядом в черной сутане аббат Жерве и она, стареющая, с остатками



большой красоты, все еще великолепная княгиня Зенеида Волконская.

Простая, добрая Черткова то выступит, то ее нет; но эти трое неотступны. Они в оsterии Лепре, они вот здесь, в базилике св. Каликста.

Иосиф Вьельгорский слабеющей рукой снимает с пальца перстень, чтобы отдать его милой Чертковой, одними глазами благодаря ее за долгие терпеливые ночи без сна, и вдруг, как хлыстом, этот шепот княгини:

— Mais c'est immoral!<sup>1</sup>

И, повернувшись к аббату Жерве:

— Не правда ли, последние минуты не должны быть о земном?

И мягкий, извиняющий глаз аббата, которым он как бы покрывает неумную черствость княгини.

Напрасно, напрасно... Тончайшие нити очарования и надежд, которыми они так настойчиво сумели вот-вот оплести, уж рвались...

В последнюю минуту этот аббат, много проще и глупее княгини, оказался все-таки человечней.

— Необходимо, чтобы он умер католиком, обращайтесь к нему, обращайтесь, — суежилась она, желая завоевать изможденное тело друга хоть перед тяжким концом, на что аббат с укоризной сказал:

— В комнате умирающего должен быть полный покой!

Тогда она сама, шурша шелками, склоняется над Иосифом, напряженно что-то шепчет, пока тот в последний раз не глотнул жадно воздух и, дрогнув всем телом, не умер.

Чуть всплеснув маленькими белыми руками, она воскликнула радостно:

— Я видела, душа его вылетела католичкой.

И помыслить хоть миг, что эти люди облегчат в неслыханной муке, что их «единая католическая» даст ту опору творить, как давал Пушкин?! Вместо него, ушедшего *освободителя*, чье разрешающее слово снимало все путы, искать заместителей в этаких...

Гоголь в полутемном храме в глубокой задумчивости стоял под огромной мозаичной пасхальной свечой, а Иванов восхищенно оглядывал древние трибуны и разбирал устройство амвона в стиле ранней архитектуры. Он подбежал к Гоголю с записной книжкой и, не

---

<sup>1</sup> Но это безнравственно! (фр.).



обращая внимания на его оцепенелое состояние, увлеченный одним своим делом, сказал:

— А ведь базилика Каликста в своих трех ярусах запечатлевает три разных периода из жизни Рима. Ярусом ниже девятый век-с, там, где мощи святого Климента, принесенные Кириллом и Мефодием с востока. А еще пониже знаете что?

И вдруг шепотом, хотя, кроме безучастного сторожа, в базилике не было никого:

— Еще пониже ярусом — храм языческого божества Митры! Каков диапазон-с? В Риме каждый камень дышит историей, каждая пядь земли напоена кровью народов: язычников, римлян, варваров... Под землей, в катакомбах, несчетны мученики христианства. И художник все это богатство чувствует каждым нервом своим... Где же художнику жить, кроме Рима?! Николай Васильич, вы только прикиньте в уме: храм Митры и церковь! Несовместимое благороднейше совместилось и сколь радуется глаз!..

Гоголь наконец понял восхищение Иванова, тускло глянул на него и сказал, кривя усмешкою рот:

— В искусстве несовместимое радуется, ну а в человеке? Спасибо, если можно пропеть ему: «в огороде бузина, а в Киеве дядько»... то еще добрая скотинка, хотя чаще просто дурень. А если забрать по линии подобной разнопесицы поглубже да поумней — так от вони придется нос зажимать да швиденько втикать! Однако и тут не какое-нибудь важное амбре от пыли веков, ходимте на воздух.

По длинной и широкой аллее, которая лежала вдоль цветистых зеленых лужаек от Капитолия к Колизею, шли они тихо и молча.

По лугу паслись коровы из соседних домов.

Стояли телеги с бочонками вина и выпряженными лошадьми. На обломках античной колонны сидели погонщики, ели сыр, запивая вином. Ослы их, развьюченные и ленивые, катались по земле, выбрыкивая ногами.

— Присядем и мы, — сказал Гоголь, — до папской церемонии добрых два часа.

Гоголь сел на один из обломков, а Иванов продолжал вслух свои мысли, пробужденные базиликой св. Каликста, семена мелко вокруг, сопровождая свою речь неразмашистыми движениями рук.



— Простой народ зовет римский форум сапро вассино — коровье поле, а священный Капитолий, где венчали героев, — сапро d'olio, масляное поле, — вот и все-с. Буден день знай себе копошится на поверхности, и невдомек ему, что он унаваживает свои огороды историческим прахом веков...

Вдруг опять, как тогда у Лепре, Гоголь прервал его, не в силах сливаться с собеседником, под налетом собственных тяжких дум. Так в иной гущине леса, где крикнешь, по привычке ожидая в ответ эхо, вдруг чаща задушит тебя, выслав хлопанье крыл, чей-то посвист и гогот.

— Все эти дни... — начал Гоголь и костлявой рукой одернул за плащ Иванова. — Да не крутитесь же, как бес перед заутреней. Сидайте...

Иванов тотчас послушно сел.

— Все эти дни у меня, как болезнь, потребность забежать к Тенерани... он кончает свою «Флору». О, что за линии представляет она, особенно сзади. Красота линии потеряна у женщин везде, кроме Италии. Если взглянуть тут на иную в одном только одеянии целомудрия, так воскликнешь невольно: она с неба сошла! А возьмешь поучения Исаака Сирианина...

— Я слушаю, Николай Васильич...

Иванов, сидя несколько ниже, глянул сквозь синие очки настороженными глазами на друга, нахохленного и так странно носатого при огневиستم закате.

— Исаак Сирианин о женщине в слове девятом говорит так: «Лучше тебе принять смертоносный яд, нежели есть вместе с женщиной, хоть будь это мать твоя и сестра».

Вот и примечайте: базилика, соединенная с храмом Митры, гармонии не нарушила, а человеку-христианину язычество в себе надлежит вырвать. Вырвать, хотя бы с самим сердцем.

— Да чего же вы так смотрите да молчите, — вспылil Гоголь, — прежде вы бывали тех же мыслей, хоть и прегрешали по слабости с Аннунциатами...

Иванов покраснел и страшно смутился, как смущаются одни лишь маленькие дети, пойманные у буфета с краденым пирожком.

— Мне о таких вещах сейчас не хотелось бы говорить, я еще не додумал свои новые мысли. Ведь я, Николай Васильич, теперь не тех мыслей... я не



полагаю, что язычество надлежит зачеркнуть... там есть свой гений. Язычество надо в искусство включить, для полноты истории человека... а впрочем, это все мне новое-с.

— С которых пор? — спросил грубо Гоголь.

— Как сказать? Отчетливой мыслью встало впервые на выставке Овербека. Подумать только, четырнадцатилетний труд его, писанный с молитвою и постом, выражает один скудный бесчувственный аллегоризм... а живописи нет никакой-с. Пред вами не скрою. И между прочим Перуджин — слышали по биографии? — утратил веру, поддался легкомысленной жизни и дал незабвеннейшие по чувству вещи...

— Что вы хотите этим сказать? Да вы что... отвечаете за такие слова?

— Отвечаю-с, — сказал твердо Иванов, — хотя не вполне умею сказать. И говорю это, — обратите внимание, Николай Васильич, — говорю вам одному. Важнейшему для меня соотечественнику. Ни батюшке моему, сколь с ним ни близок, никому, кроме вас, не мог бы сказать... Николай Васильич, я ныне твердо узнал: *трагедия художника в покорстве своему гению, куда б он его ни завел!*

Гоголь еще сгорбился, весь как-то сжался и повторил как бы для себя:

— *Покорство своему гению, куда б он ни завел? А если на гибель?*

Иванов вскочил, поправил нервно очки, заходил взад и вперед своим дробным шагом.

Они давно так не говорили. Каждый отошел в свою сторону. Оба, загнанные внутрь, нося для людей обманные личины, привычной скрытностью слившиеся в воображении всех с их личностью, на короткий миг дружеской встречи сбрасывали их, как ненужный хлам.

Гоголь, оставив свой вечный дозор за собой и другими, как раненный насмерть орел, долетевший до родного гнезда, уже не хорохорясь из последних сил, не стесняясь, страдал просто и больно. Он верил Иванову совершенно. А тот забыл слово-ерик, подхихатыванье, юродство, весь нелепый облик, защищавший нежнейшую в мире душу.

Он сказал:



— Если б знали, Николай Васильич, какие муки терплю! Что болезнь глаз? Я ей рад. Она — отсрочка такому решению, такому...

Слушайте, я разорван, как жалкий червь. И при-сужден сам взирать, как бьется в предсмертных муках отмирающая моя половина...

О боже! сказать себе: работа всей твоей жизни, съевшая молодость, личное счастье, твой гений... эта работа остаться может примером лишь того, как не надо, слышите? как *не надо* работать.

Но нет! Пусть лучше не выдержит мой тленный состав, нежели я предам искусство! Я не поступлюсь мне данным прозрением, я раскрою все, что увидел, я докажу миру, что может художник русский! Недаром *самоотвержение вполне* — наш исконный удел.

Николай Васильич, вы мне важнейший из всех людей, слушайте: мой старый храм разрушился, и мне его не удержать. Но я воздвигну новый, и уже для всего человечества, я прослежу и выведу путь к свободе духа от самого зарожденья культуры, от плена...

Афродитой, выходящей из пены морской, Гераклом в колыбели, удушающим змия, я бескощунственно окружу ясли младенца Христа, я объединю уже не нацию, а все человечество...

— Замолчите! — вскричал Гоголь. — Это не ваши речи, вас опутал бес... бес гордости. В ущерб спасению души нельзя служить искусству. Еще повторяю: язычество надлежит вырвать, хотя бы вместе с сердцем! Да, вырвать и растоптать.

И, не замечая несоответствия в дальнейшей своей речи, продолжал уже совсем вне себя:

— Что мне до того, что Галаган меня славит новым Гомером! Речь женщины, умудренной религией, мне зазвучала глубже... а она что мне сказала? «Ваше фантастическое и смешное еще не есть высокое... Христос никогда не смеялся». Этакая мысль! Да, ее сплеча не срубить одним махом...

Гоголь обеими руками уперся в колени, уронил на ладонь голову и еще прошептал:

— Христос не смеялся.

Долго молчали.

Иванов сел рядом на камень.



— Николай Васильич, и мне ведь близко подобное жестокое двоение,— сказал он тихо и робко.— Но ведь эти вопросы вовсе не умом решаются. Не смею, конечно, учить вас, но скажу про себя, Николай Васильич, дражайший, я держусь любовью за каждую травку, за малый камешек в Субиако, где я в работе забываю себя...

— Совершенствуясь в искусстве, много ль двинулись как человек?— Голос Гоголя был строго брезглив.— Картины не вечны. Сколь ни гениален да Винчи, от «Тайной вечери» — одни пятна сырости на стене... Впрочем, все, все, чем внутренне строится человек, вы узнаете скоро из моей новой книги.

Глаза Гоголя заблестали, румянец выступил на широких скулах.

— *Этой книге настало время явиться в свет*,— сказал он торжественно.— Одна высокая душа мне недавно сказала: «Вас осязательно посещает благодать: прежде одна ирония прорывалась из вас, вы будто кололи всех своим носом, палили глазами, а ныне сколь вы добры, сколь дышите христианством!»

Отныне мой компас в трудном деле писателя — не отзывы литераторов, а мнение высоко настроенных душ. И скоро я смогу успокоить их, укорявших меня, что чтение «Мертвых душ» — сплошное утопанье в грязи. Грязным двором, ведущим к изящному строению, останется точно лишь первый том... *Том же второй...*

— Это страшно, что вы говорите,— воскликнул Иванов,— как вам отказаться от первого тома, гордости всех русских! Николай Васильич, не верьте оценке светских ваших дам,— им неведомо, им не свято само слово русское. Улещивая вас как человека, они разве ценят художника? Их проклятый круг сгубил нам Пушкина, сгубит и вас... Вспомните хотя бы чтение «Ревизора» на вилле Волконской.

Гоголь, как от боли, дернулся, хотел что-то сказать, Иванов не дал.

— Простите, я только наедине с вами, и то впервые, решаюсь сказать искренне, раз вышел такой разговор... даже батюшке в Петербург, клянусь вам, я написал, что все вышло превосходно, но вам скажу, превосходного было одно лишь намерение ваше, вопреки нездоровью, великодушно помочь несчастному художнику...



— Да ведь Шаповалову нехудо и собрали, по скуди шел билет. Для этого случая и зал был освещен превосходно, и чай с лакеями, и мороженое, все, кроме самомалейшего аплодисмента!

Гоголь усмехнулся. Улыбка медленно проползла от изогнутых полноватых губ к прищуренным острым глазам, ядовитой волной вывела только что бывшее на этом лице изображение смиренного.

— Эти чопорные безмозглые люди разве сумели вас понять? Вас, отечественного, лучшего писателя нашего! Сочли они за счастье вас слушать? Вся эта светская конюшня, не удостоив вас и единого хлопка, после первого же акта вытопала вон из залы... и к концу обступили с восторгом и благодарностью вас мы, одни горемычные русские питторы...

Николай Васильич, бесценный, важнейший из людей...—Голос Иванова пресекся от волнения. Он схватил худую руку Гоголя своими теплыми толстоватыми пальцами.— Не верьте вашим святым женщинам, ни всему аристократству, которое вы хотите считать своим. Поймите ж, им не ценно слово русское. Не стану вам повторять: они не сберегут в вас художника, как светские сестры их не сберегли Пушкина...

Наконец, при вторичном упоминании Пушкина, Гоголь как бы дрогнул и пришел в себя. Он, видимо, чем-то так был расстроен сегодня, что малейшее прикосновение к чувствительному месту души вызывало в нем боль нестерпимую. Глаза его блеснули острей, болезненный румянец разошелся по всей щеке. К тому же, что бы ни говорил его язык, когда вставал перед ним тот вечер на вилле Волконской, его охватывала свойственная ему тяжкая злоба, не находящая обыкновенного человеческого выражения. Она разрешалась только наедине, одному ему ведомыми припадками...

Страшным усилием воли он отмел подступившее чувство и обрушился вдруг на Иванова совсем в неожиданной для того форме:

— Да что вам дался «Ревизор»? Плевать я на него хочу! стыдно вам и предполагать во мне столько мелкой, честолубивой дряни. Да если б появилась такая моль, которая съела бы экземпляры «Ревизора», я бы благодарил судьбу. Идемте, не то опоздаем к церемонии.



Иванов, привыкший к мудреному характеру друга, притаился и умолк, чтобы больше его не рассердить. Впрочем, Гоголь уже принял обычный свой сдержанно-замкнутый вид, только глаза его чудно блестели, и румянец не сходил со щек.

Увидев на площади Иоанна Латеранского огромную нарядную толпу, Гоголь повеселел. Небо было такой прозрачной голубизны, что далекое Альбано приблизилось. Горы невыразимой нежностью очертаний ласкали глаз, выглядывая то из-за огненной мантии кардинала, то из-за белых платков, особенным манером прилаженных на прическах красавиц, болтающих с мужчинами в широкополых соломенных шляпах. Разноцветные перья военных трепетали то тут, то там, как крылья редкостных птиц.

— А гляньте-ка, монахи да аббаты как маком посыпали площадь,— сказал Гоголь,— доминиканцы ни дать ни взять—наши богаделки в кофейных платьях. А этих вот в треуголках и черных натянутых чулочках я особенно люблю после одного случая... Как увижу, развеселюсь.

— Какого же случая?—Иванов был рад, что Гоголь разошелся.

— А знаете, я своей любовью к Италии так умею другого взвинтить, особенно, когда я вдали от нее. Просто потребность какая-то расписать и серебряный воздух, и голубые, как матовая бирюза, вот эти Альбанские горы, и Фраскати, и Тиволи... Вы представляете: у женщин глаза уж горят, а сердце слышать, как бьется. А тут-то и поддать пару: а ночи-то, скажу, звезды блещут сильнее, чем у нас, по виду больше. О, когда все вам изменит, идите к ней, к Италии!

И так я одну раззадорил, что и сам как кур влопался. Представьте, взяла с меня слово, что если я первый попаду в Рим, то от нее поцелую колонну да поклонюсь непременно первому встречному аббату в туго натянутых чулочках. И до того я как-то расшалился, что проделал и то и другое, только колонна в ответ поцелую не дрогнула, а аббат говорит: «Извините, синьор, не могу вспомнить, где виделись».

— Он превежлив, аббат-то,—заливался Иванов.

— Я взял да ему и рассказал про данное поручение, он улыбнулся и премило сказал: «Знакомство, начатое



так необычно, надлежит непременно нам продолжать». Вообразите, оказался недурным поэтом. А у нас, пожалуй, за невинную шалость дали бы в морду...

Вдруг говор смолк, площадь опустилась на колени. На балконе Иоанна Латеранского появился папа с двумя зажженными свечами в руках, окруженный кардиналами. Папа благословлял поля Рима.

Заходящее солнце нестерпимо усилило пурпур мантий кардиналов, блеск золоченых крестов, фонарей, белизну трепетных, как чайки, уборов кармелиток. Тяжелая красота римских женщин, загорелые лица мужчин, полные силы и страсти, невольно заставили художника прошептать:

— Что за чудный народ!

И над этим морем неистовых красок, яростной силы жизни, в таком же пурпуре последних лучей, вознесенный над всеми, грузный и вялый старик, венчаный тиарой.

Папа невнимательно и бесстрастно, как старая стряпуха исполняет надоевшую, хотя ставшую второй натурой привычную работу в кухне, подымал и опускал руки. Лицо его не выражало ровно ничего. Мертвыми глазами обводил он площадь и, совершив свою повинность, ушел с балкона.

— Александр Андреич! — окликнул Иванова протиснувшийся Багрецов. Он легко вскарабкался на каменную площадку строящегося дома, где стояли Гоголь и Иванов.

— Чудеснейший отсюда вид — не правда ли? — сказал Иванов, без нужды протягивая обе руки для опоры.

Багрецов был, видимо, озабочен.

— В толпе очень волнуются, — сказал он. — Болонские дела, о которых в остерии говорил нам Доменико, у всех на языке. У многих родственники в тюрьмах, надеялись сегодня на прекращение дела, на амнистию... но папа, напротив того, высказался за строжайшие новые аресты. Этот старик — мастер бесстрастно и бездушно засаживать в тюрьмы. Он передал все дело своей тайной полиции. А эти — уж раздуют...

Багрецов не кончил: из-за левого крыла базилики с победными криками: «viva la guerra di banda!» вынеслись какие-то люди, потрясая кинжалами, за ними вслед толпа, вооруженная палками, разъяренные сби-



ры. Грянули выстрелы. Мгновенно откуда-то выросли папские швейцарцы с сверкающими алебардами, прилетела кавалерия. Когда толпа рассеялась, на площади остались раненые и арестованные, которых полиция грубо втискивала в кареты, и витурино, бешено стегая лошадей, уносил их куда-то вскачь. Вдруг молодая девушка в ярко-красной юбке и бархатном корсаже, подхваченная двумя полицейскими, подняла голову и крикнула еще и еще, с необыкновенным упорством: «Viva, viva la guerra di banda!»

— Бенедетта! — воскликнул Иванов. — Она это, спасите ее, — молил он Багрецова, — бежимте вместе, заступимся...

— Полно дурака-то валять, — одернул его Гоголь за плащ, — кто вы для полиции, чтобы ей вас послушать? Здесь нужны хитрость и подкуп.

— Оставайтесь, Александр Андреич, я разузнаю...

Багрецов спрыгнул вниз и почти бегом направился к карете, увозившей Бенедетту. Но она уже скрылась на повороте, и он попал только в взметенную на площади пыль, золотым столбом заигравшую в последнем луче.

Багрецов, поговорив с одним из полицейских, пошел куда-то с ним вместе.

— Бенедетта — чудеснейшая девушка, — чуть не плача, твердил Иванов.

— Да в голове-то, видать, толку не много, — рассердился Гоголь. — Если охота бунтовать, пошла бы в путный заговор, а не то зря, на площади. Ну, подержат да выпустят, успокойтесь, придет к вам позировать. Однако пойдемте, сейчас сумерки; на моей strada Felice<sup>1</sup> прекрасно, ни козлов, ни иностранцев.

Комната Гоголя была в два окна с решетчатыми ставнями изнутри. Рядом с дверью кровать, а посреди круглый стол, тот самый, за которым он ежедневно диктовал Анненкову «Мертвые души». Против другой стены — высокая конторка. Гоголь любил писать стоя, по временам отхлебывая из стакана ледяную воду, которую почитал для себя лекарственной. На мозаичном полу, звонко отдававшем каждый шаг, книги, платье, белье в беспорядке...

---

<sup>1</sup> Счастливая улица (ит.).



Единственной драгоценностью, любимой Гоголем, была в этой комнате лампа проконсула, на высоком подставе с красивой светильней для масла.

Гоголь поправил фитилек и зажег. Болезненно и неприятно сочетались на миг, пока он закрывал решетчатые ставни, два света: ранний лунный, осеребривший дома и сады и даже непроницаемую плотность литого черного кипариса, легчайшей дымкой разлился было по комнате, заголубел по деревянному полу, скользнул по книгам, овеял лицо — остроносое, как маска, с надетым будто бы париком прямых русых волос. Но желтое пламя древней римской лампы без игры, ровным одноцветным покровом легло сбоку.

Разбитое двойным освещением лицо друга вдруг Иванову почудилось неживым. Но закрылись ставни, и Гоголь, подмигивая и лукавясь, сказал:

— Вы что? на боковую, чтобы с рассветом в Субиако, или дернем в бостончик?

— Я лягу, — сказал Иванов, — завтра точно с восходом в путь, да и вам то же советую предпринять, коль не раздумали, со мной вместе. А в бостон я вам нонче навру, — Бенедетта не идет из ума.

— Подержат да выпустят! Повторяю: придет к вам же на пытку. А я б предпочел в тюрьму сесть, чем вашей братье позировать. Вот Моллер, хоть скоро работает, замучил меня на портрете...

Иванов простился, ушел в соседнюю комнатку и весьма скоро захрапел. Гоголь сел в кресло, упер локти в колени, положил голову на руки, как часами мог сидеть в одиночестве, и задумался.

Он уже знал: сна не будет.

Лампа проконсула стала коптить. Гоголь встал, поправил фитиль. Глаза его скользнули на библию, ярче всего освещенную. Он откинул кожаный переплет и в бесконечный раз увидал дрожащей рукой написанное:

*«Дорогому другу — Николаю».*

Это был подарок Вьельгорского.

Гоголь поднял крышку конторки, вынул мелко исписанную тетрадь. Перелистал ее, прочел:

«Ночь первая. Они были сладки и томительны — эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он



безмолвно и невольно, казалось, уважал святыню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу ты. Как ближе после этого он стал ко мне! Он сидел все тот же кроткий, тихий, покорный. Боже, с какой радостью, с каким весельем я принял бы на себя его болезнь! И если б моя смерть могла возвратить его к здоровью, с какой радостью, с какой готовностью я бы кинулся тогда к ней!

Ночь восьмая. Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла и тоже свое сидячее положение. В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постели. Душенька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сюртук, медленные движенья шагов его — все это я вижу, все это передо мною...»

Гоголь дальше не мог читать, закрыл тетрадь, положил ее в ящик.

Стоял перед глазами заострившийся профиль друга, в тщетной жажде не задохнуться запрокинутый на высоко взбитых подушках.

И вдруг... что ж это? «Матушка,— прошептал, бледнея, Гоголь,— матушка, заступись...» Не дав принять последнего вздоха Иосифа, совсем рядом, заслоняя высокую желтизну его тела, возникла своей слепящей белизной мраморная «Флора» Тенерани. При мигающем пламени лампы мрамор был как розовое трепетавшее тело.

«Начинается...» — прошептал Гоголь и, склонясь, как подстреленный, уйдя головой в плечи, вдруг рухнул на кресло.

Жестокий круг принудительных галлюцинаций сомкнулся над ним. Конечно, он знал, что его болезнь имеет свою регистрацию и свой латинский термин в отделах бесчисленных страданий человечества,— что пользы! Средств от сверхчеловеческой муки, его посещавшей, там не было.

В дверь постучали. Сначала тихо, потом настойчиво.

— Кто там? — очнулся Гоголь и, радуясь, что сейчас войдет хоть кто-нибудь живой, поспешил открыть дверь.



Гостем оказался Пашка-химик, Шехеразада. На нем был надет не обычный смехотворный халат с кашемировой шалью, а черный сюртук. Он был чисто выбрит, слепило белье белизной. В манерах сдержанно строг, похож на иностранного консула, знакомого Гоголю. И, приняв Пашку за этого консула, с недоумением Гоголь привстал.

— Не извольте беспокоиться, Николай Васильич, это точно я-с, Шехеразада, или Пашка-химик. Присядемте!

Пашка себя вел с достоинством и, как хозяин, пригласил рукой Гоголя сесть.

— Ну и шут ты гороховый, братец! — повеселел Гоголь, — а ведь я думал, право, что это консула черт принес!

— Точно, консула-с, или по-французски — *conseiller* советника-с. С советом я к вам, Николай Васильич!

— Нуте, выпьем-ка нашей украинской запеканочки, земляки ведь с тобой...

Гоголь испытывал то, что испытывает человек, когда, разбуженный грубой вседневностью, вдруг постигает, что смертный ужас был испытан лишь во сне.

Приход Пашки отсрочил час. Гоголь был готов шалить, как в лицее.

Но Шехеразада впал в мрачность и будто обиделся:

— При свете дня, Николай Васильич, я мог быть, точно, и шутом. Но ночь, прошу вас отметить, ночь — время иное. Я, быть может, ночью пишу мемуары-с. Ночное время мне дорого, и я буду краток.

— Запеканку-то облюбуй...

Шехеразада выпил, вытер уста белым новым платком и сказал:

— Я пришел, Николай Васильич, не по своему, а по чужому делу-с. Обед именинный на Девичьем поле не вспомните ль? И между всем прочим стихи-с: «Я мало жил, и жил в плену...», и волнение юного Багрецова, и вашу отменно крутую печать-с? Припомнили? Хе-хе-хе, — мелко и дробно, как-то внутрь себя, без движения губ прохихикал Шехеразада. — Багрецов от вас в слезах и отчаянии убежал, а вы у меня про фамилию спросили. Я тогда был в украинцах и с вами рядом стоял. Как же, в книжку вписали-с, видал сам, как вывели: Баг-ре-цов.



— Ну, и дальше? — Гоголь насупился.

— Ах, событие не сразу чревато последствием...  
верней: очевидность чреватости не сразу ясна-с.

— Ты, брат, того, — сказал Гоголь, — зарапортовался. О чем анекдот твой?

— О философе Канте, Иммануиле Канте, хе-хе... том, что в Кенигсберге всю жизнь прокорпел. Книгу вечную написал-с. По Кенигсаллее час в час ежедневно прогуливал и на зицштуле платном час в час порционно просиживал-с, под дубками. К механизму совершеннейшему себя приводил-с: для ради окончательной политуры практиковал еженедельно два раза — освобождение от страстей, по некоему библейскому образцу, так сказать! В записной книжечке помещал. Как же, дознано, дознано... почитатели-с, что поделаешь! В примечанье под звездочкой взяли да вынесли. Не скрою, сам не читал, кто видал — тот сказал. А я вам-с...

— Грязный ты, Пашка, субъект, — поморщился Гоголь, — этакой дрызг про великого человека выудил.

— Какой дрызг, помилуйте? И грязи нет никакой. Ухо ваше вас обмануло, ибо не та совершенно тональность! Да это впору одним педагогам не отличить сего дерзания от деяния, гимназисту обычного и законно наказуемого! Но мыслителю тождество фактов, можно сказать, еще не весь факт! А в данном мною примере онный факт есть следствие весьма пышного мироощущения с проекцией на свободу от грубой персти, умнейшего человека-с...

Да ведь это, Николай Васильич, в некотором роде «восхищения во вселенную» с утратой тленного естества. Это родственно браку с природой — «Великой Женщиной», как звал ее Гете-с! Это то состояние освобождения от уз, которое Рейсбруг Восхитительный воспевал: «Восторг несказанный! Все, что объемлет око, входит в тебя. Горы, леса, и ручьи, и лужайки, и вся земля, зараз мать и жена — отдается тебе одному...»

— Ты передернул «Одеяние духовного брака», передернул!.. — болезненно крикнул Гоголь.

— Единственно для уяснения темы-с, — подскочил близко Пашка и вдруг с вкрадчивой ласкою зашептал: — Оставим опыты иностранцев. У вас, Николай Васильич, у вас самих первоклассное есть письмо насчет брака с Природою.



Не вы ли доселе о том не знающих научили, как узнать «бесовски сладкое чувство и какое-то пронзающее томительно страшное наслаждение, когда кажется, что и сердца вовсе нет, а только слышишь, как звенят голубые колокольчики, склоняя свои головки». Напечатано и подписано-с: Н. Гоголь. Но как не подумали, дражайший вы мой...

Пашка все ближе, наглее,— а Гоголь как в тяжком сне: ни крикнуть, ни рукой.

— Как это вы не подумали, беря на себя, что после познания толиких необычайностей одним лишь дурням будет охотка входить в обычную цепь, когда кровь в голову и все равно кто... как в стаде бугаю. Оксана ли, Гапка ли.

Да ведь после подобных состояний от брака с Природой или хотя бы с Италией, которая, по вашему неоднократно при мне признанию, представляется вам черноокой женщиной в пурпурном плаще,— какое убожество чувству может дать любая женская персональность, будь она хоть столь дарами осыпана, как, к примеру, Смирнова-Россет, смуглая ласточка, воспетая самим Пушкиным... Дражайший мой,— Пашка гнусил уже в самое ухо,— при Александре Иванове, помните, вы помянули (мое присутствие вам было не в счет), что эта Смирнова как-то сказала вам: «Уж не влюблены ли вы в меня?» А вы за одну эту мысль столь великое возмущенье учуяли и как бы лишение свободы, что прекратили ее дом лицезрением на долгий срок времени? И, как признавались, приравняли ее в воображении к штаб-офицерше, которая подпоручику своему сказать может: «милашка!» Конечно, Смирнова, чарующая и отменно умная женщина, так вам не сказала. Это злобно сказали вы себе сами.

Но уже за одно то, что могли так сказать, ненавидели ее долго и при встрече с ней мыслили в злобе: милашка...

— Лгун, пасквилянт...— задыхался Гоголь и, собрав силы, оттолкнул к дверям Пашку.

— Помилуйте-с, Николай Васильич, ни капли не лгун, а всего-навсего ваша памятная книжка-с! Еще в «первый петербургский период», как про вас пишут теперь в биографиях, на вашей квартирке вас дозировал-с! Еще там, на Морской улице, отмечал я, какой



вы любитель в других править низшей стихией, чтобы самому быть с волшебною силой Цирцеи и тихесенько хохотать, как они себе, землячки, доведенные вашим хохлацким перцем да салом до последнего взвода, хрюкают пятаками.

— Вон отсюда, вон!

Гоголь вскрикнул, привстал и вдруг осел, смертельно бледный, без чувств.

Шехеразада вмиг налил воды из графина, прыснул в лицо.

— Может, вам раздеться помочь, свести в постель?

Он говорил без фиглярства, и лицо его так изменилось, что, придя в себя, Гоголь принял его за врача и охотно из рук его выпил воду. Потом откинулся на спинку кресла и долго не мигая смотрел в одну точку.

Шехеразада раскланялся церемонно и сказал:

— Спокойнейшей ночи, Николай Васильич!

Однако, подойдя уж к дверям, опять не стерпел.

— Не беспокойтесь, дражайший мой,— с отвратительной фамильярностью сказал он,— я вошел так, что меня никто не видал-с, и наш разговорчик в учебную хрестоматию не включают.

А в заключение от консула — *conseiller* — вам совет: если вы над смертными хотя в единой точке уже вознеслись и не вкушаете от корыта-с, то надлежит вам, для оправдания себя, вознестись и прочим всем над низкой перстью... да, да. Рейсбруг Восхитительный жил в лесочке, отшельником, Симеон-столпник на столпе стоял-с. И заметьте себе, на одной лишь на правой ножке, левую, ту, что от лукавого, он поджимал-с, и в ведро и в дождь поджимал. Вот и вам, первейший наш сочинитель, не до содомского, а до святого конца надо бы! А исходная точка одна-с, хе-хе, одна... адью вам!

Шехеразада толкнул дверь и исчез.

Гоголь долго сидел неподвижно. Потом встал, пошатываясь, прошел к двери, накинул железный болт. Сейчас он уже боялся, чтобы кто не вошел. Вдруг он выпрямился, глаза его чудно сверкнули. Иным, легким и твердым шагом прошел он к своей конторке, обмакнул перо и, как всегда стоя, начал писать:

«О сердце мое... сердце, исполненное нежности и пламени небывалых...»



Раздался тихий и сладостный смех... в его комнате стояла Италия. Да, он знал ее, эту сверкающую черноглазую красоту в пурпурном плаще!

Схватившись дрожащей рукой за ящик старинной шифоньерки, он невзначай его дернул. Выпало в беспорядке белье, расшитые шелком подтяжки, носовые платки и фуляры той нежнейшей желто-розовой розы, какими окрашены с внутренней стороны огромные раковины красавицы Средиземного моря...

«Матушка... заступись!»

И, бесшумно рыдая, он упал на пол.

С восходом солнца желтый и постаревший Гоголь будил Александра Иванова для поездки в Субиако, предварительно приведя в нарочитый беспорядок свое несмятое ложе, чтобы хозяйке были невдомек его бессонные ночи.





#### Глава IV «ВЗАИМНЫЙ ЭКИЛИБР»

— Кто бы мог подумать, чтобы моя картина «Иисус с Магдалиной» производила такой гром? Сколько я ее знаю, она есть начаток понятия о чем-то порядочном.

А. Иванов

Для поверхностного взгляда Джулия и Бенедетта были действительно одно лицо. Все художники, начав писать Бенедетту, сейчас кончали по Джулии. И Багрецову пришла мысль...

— Джулия, — сказал он, — что бы вам обменяться с сестрой? То одна, то другая была бы на воле. Да и тюремщиков превесело одурить. Поучитесь у Казановы, Бенвенуто Челлини.

Джулия молча уставила волоокие итальянские глаза. Она бесила Багрецова безмолвием. При неразличимом почти сходстве с сестрой она в той же мере была тупа, как та блистала жизнью и умом.



Багрецов составил хитрый план для освобождения Бенедетты. Действовать он решил через виллу Волконской. Княгиня Зенеида была в тесном общении с иезуитами, в чьих руках при папе Григории находились дела политических. Надо было влиять на Иванова и на Гоголя. Разговор с Гоголем не выходил. Он вдруг страшно уединился перед скорым отъездом в Неаполь, хотел что-то закончить...

При встрече с Багрецовым Гоголь вспыхивал, несколько пугаясь.

— Должно быть, Шехеразада перехватил в разговоре,— догадался Багрецов.

Но Пашка-химик как провалился; говорили—уехал с кем-то на юг. С Ивановым у Багрецова была большая напряженность, хотя они будто дружили и вместе читали Штрауса. Но Багрецов знал: не сегодня-завтра его неукротимой волей исследователя произведена будет на другом та жестокая проба, которой опытный ювелир подвергает ценные камни, капая на них разъедающей жидкостью. Фальшивый разлетается — неподдельные остаются.

Багрецов знал Иванова с юных лет, с Академии, где они были одноклассники. Когда Александра Иванова привели учиться, ему было лет двенадцать. Он отличался от заброшенных полууличных юнцов как маменькин сынок, нисходящий до игры с дворовыми. Его невзлюбили за чистый вид и белые воротнички. Разница в положении была велика: в то время как одичалые академисты свободное время глушили в разгуле и водке, Иванов, балованный сын почитаемого профессора, видал дома всех выдающихся живописцев, слышал просвещенные мнения об искусстве. Не мудрено, что впоследствии, в старших классах, многие встретили с злорадством несправедливый поклеп профессора Егорова о том, что Иванов выполняет свои программы не сам, а при помощи отца. Эта ранняя обида легла в основу того душевного расстройства, которое позднее стало болезнью.

Душевная гармония была нужна Иванову, как воздух для дыхания. Для этого как нельзя более кстати им был взят от отца, из рук в руки, какой-то готовый порядок, упоение красотой православия. Там, где ученики Академии, стиснув кулаки от бешенства на «утеснительство высших мира сего», с глубоким



сочувствием твердили запретные изречения,—Александр умело разворачивал безмятежную схему, которую впитал с детских лет: «иерархия земная—несовершенное отражение иерархии небесной».

Багрецов молчал до времени, пока Иванов был сильнейший. Он уже знал идеи, которые надо было ему противополжить, но пока был слабо вооружен и не умел их защищать.

Однако, по страстной злопамятности своего ума и унаследованного от отца желания власти, он знал, что наступит тот час, когда он взорвет огражденное здание Александра и неотразимой логикой, во имя культуры и вечно поступательного бега истории, убьет его голубиную веру. Однако не она ли, эта вера, давала такие восторги и упор вдохновению друга, что уже юношей, когда так мучительно говорят страсти земные, он весь был охвачен одним лишь огнем героическим?

.....

Багрецов стал особым предметом забот Иванова, склонного к дружбе. Со слезами он выговаривал ему сухость сердца, ядовитое и жестокое направление воли, убеждал, что живопись его от этих качеств останется вялой и «от проходящего века». Иванов вовлек Багрецова в изобретенный им «союз взаимного духовного экилибра», где каждый должен был служить другому примером, взаимно исправляя свои недостатки.

Увы, союз распался, едва возникнув. Кроме Иванова, все были слишком грубы, забиты холодом жизни и слишком знали, что борьба—закон каждого дня. Багрецов стал Иванова чуждаться, скоро они встречались только раз в неделю по субботам у общего знакомого, пейзажиста Рабуса...

.....

После похорон жены Багрецову Александр Иванов вспоминался единственным человеком, которого он мог бы видеть без тяжкого принуждения. Но Иванов давно был уже в Риме.

После ввода во владение Багрецов стал богатым человеком, но странно, ни в Италию, никуда он ехать теперь не хотел.

Первое время он весь ушел в наблюдение за собою. Он раздвоился: сам себе стал дозорным. Просьпался



рано от здорового сна, и вот уже становился у своего изголовья, как бы жадно вглядываясь в свое млеющее смуглым румянцем лицо, слушая сердце. Бьется ль сердце? Вот занает... и начнется.

Ничего не начиналось — из того, чему принято быть в делах убийства во всех обнародованных доселе случаях: рассказов, уголовщины. Ни призрака жены, ни грызущей жалости — ничего.

Багрецов даже начал думать, не был ли он игралищем случая и смерть жены не произошла ли сама собою, от ее плохих органических свойств, а вовсе не от дилетантского, проблематического порошка Амичиса. Он напряженно ждал, что Амичис спохватится в пропаже, испуганный прибежит, решив, что он над ним подшутил. Он так и решил обставить дело.

Но Амичис куда-то уехал, получив новое место.

Мысль удостовериться, был ли ядом его порошок, чуть не стала Багрецову ловушкой. Ему вдруг назойливо захотелось жену выкопать, вскрыть, посмотреть. Еле убедил он себя, что такой прием самообличения взят им от криминальных авторов, и силой воли отклонил свои мысли от этого дела.

Впрочем, он был слишком здоров, чтобы любить щекотку самоистязания, тем более — понимая опасность ее в своем положении. По природе страстный исследователь, Багрецов, отметив пагубу мысли, мог уже к ней не возвращаться. Но отметить, в себе ли, вокруг ли себя, он должен был решительно все.

Шли дни. И внезапно он понял: да, он не тот. Порошок Амичиса отравил, кроме жертвы, и ее палача. Сколько б ни повторял Багрецов, кривя рот с сардонической усмешкой: да здравствует общее место — народная мудрость веков — «Преступление влечет к наказанию», — наказание было налицо.

Непосредственность, необходимейший спутник всякого творчества, была в нем с корнем разрушена. Это почувствовал он при первых усилиях композиции, которая прежде ему так давалась.

«Я совершил преступление, и мой талант погиб — какая пошлость! И глупее всего, что эту мысль о непременном воздействии я внушил себе сам».

Багрецов был в бешенстве. Наконец он решился: пошел к одному модному магнетизеру-месмеристу, прося его сделать внушение в том, что он обладает в полной мере своим дарованием, особенно блестящим



по композиции, объяснив, что сейчас, из-за нервного страдания, уверенность в этом им вовсе утрачена.

Модный болван, скрестив руки и пронзая его глазами, властно потребовал кучу денег и признанья, с каких лет он предается онанизму.

Багрецов послал его к черту и решил предоставить свое состояние всеисцеляющему времени. Но поездку в Италию отложил. Увидать великих творцов, без надежды попасть в их семью, хотя бы и младшим членом, было ему невыносимо... Он забросил живопись.

Один знакомый заинтересовал его было кружком недавних студентов его факультета — Огаревым и Герценом.

Насколько Багрецов понял из восторженных речей этого зеленого юнца, подбор молодых людей был объединен наивнейшей верой, что им предназначено обновить и спасти мир посредством собственных прекрасных качеств души. Багрецову чужды были люди с гуманными побуждениями, не умевшие возвыситься или до спокойного созерцания идей, или до решительных действий. Но сейчас, после смерти жены, в нем пробудилась своеобразная тяга именно к обладателям веры и истины субъективной. Едва он перестал быть творцом, неудержимо захотелось ему стать разрушителем. Утверждение чьей-либо веры или убеждения уже волновало его сладкой властью эту крепость разбить. Особенно потянул его Герцен. Но, как нарочно, его тогда в Петербурге не оказалось, он, скомпрометированный нелепой студенческой историей, был сослан в Пермь.

Из всех прежних знакомых только с одним человеком у Багрецова сохранились отношения. Больше того: из ученически почтительных они превратились в привязанность. Выходило, будто сама судьба опять связала его косвенно с другом, который еще в годы учения столь великодушно искал с ним союза «взаимного экилибра». Через старика Иванова Багрецов стал узнавать все тайны вдохновения его сына.

Простодушный старый ребенок! Он бы самого дьявола мог натравить на своего сына, не понимая, что делает. Отношения старика Иванова к Багрецову начались с случайной встречи на улице. После того как Багрецов разбогател и завел свой особняк, быв-



шие товарищи при встрече кланялись с ним неохотно, подчеркнуто звали по имени-отчеству, тем выражая безмолвное ему осуждение. Как-то утром, после ночи, проведенной в загородном кабаке,— таков стал у Багрецова обычай,— он, чтобы освежиться, с островов пешком шел домой. У самой Академии его окликнул Андрей Иванович, шедший на лекцию. То, что старик по-прежнему назвал его «Глебушка», нежданно тронуло его, как ребенка.

— Что ж не зайдешь? Тебя сыночек мой особо любил, да и мне охота тебе похвастать его итальянским успехом. Да вот, не откладывай, приди нонче обедать.

Отвыкший от бескорыстного человеческого привета, Багрецов с удовольствием пошел к шести часам, через знакомые академические коридоры, отдавая поклоны постаревшим сторожам и натурщикам, в квартиру Иванова, так памятную с детства. Едва он перешагнул порог этих необыкновенно опрятных комнат, увидал моложавую мать Александра за пальцами, неоконченную акварель сестры, лампы перед образами, как уже весь был окутан атмосферой особой, тепличной нежности. Не она ли являлась главным источником повышенной чувствительности Александра? Семья Ивановых была не только сплочена, как редкие русские семьи, она была ярким выражением своего времени, и при всей привлекательности сердечной там царил дух трудно выносимой приниженной покорности. В своей крепкой обрядовой вере отец смиренно принимал все виды произвола, от царского самодурства до самоуправства чиновников, как установленные волей божией. Это был талант запуганный, обезличенный требованиями Академии насаждать искусство «строгое, безвредное и высокоумное», с предписанием: Микеланджело именовать «дерзким», Рафаэля «добронравным». Но все же это был талант.

Мать, рожденная Демерт, происходила из артистической семьи, была очень красива, с чертами правильными, типа Тициановых женщин. Особенного влияния на сына она не имела. Отец был единственной поглощающей привязанностью Александра Иванова, как человек и художник-учитель. Это чувство у него обострилось сейчас на чужбине, особенно после отказа от радостей первой любви.



Старик Иванов, запуганный интригами товарищей, бесцеремонностью сановного академического начальства, наряду с нескрываемым восторгом к успехам сына, чуть-чуть, как и он, пришепетывая, то и дело вставлял:

— Пишу Александру, ох, бойся высокоумия, беседуй с священниками, избегай разговоров, внушающих надменность! Впрочем, сын мой далек от гордыни. Вот гляньте, он пишет, что счастлив одобрением именитого Каммучини. Под его влиянием отменный эскиз свой «Сусанна и старцы» положил переделать...

Старик вынул из старинной шкатулки черного дерева, полной римских писем сына, листок и прочел:

«Каммучини сказал: бегущие старцы ни в коем случае недопустимы. Я их выбросил...»

Багрецов особенно помнил эти нехитрые слова старика, они были ему живым документом силы его теперешнего влияния на его сына. Не на днях ли Александр Иванов про этого же римского премьера сказал Багрецову его же словами: это мастер надутый!

Подрыв влияния Каммучини, чья слава не стоила и мазка гениальной кисти Иванова, был началом иных предполагаемых воздействий Багрецова, решающих...

Не зная, для каких соблазнов, в своей старческой болтливости отец Иванова предавал Багрецову тайные мысли, и характер, и все интимное содержание творчества сына. То он подробно расчленял композиции присланных из Рима копий с «Братьев Иосифа», с «Самсона и Далилы», то, перебивая себя сам, восклицал:

— При такой мощи рисунка, думаешь, Глебушка, он зазнался? Нимало. Он все тот же, скромнейший. Да вот выслушай, что говорит...

Старик надевал на свой крепкий коротенький нос очки и читал из письма сына:

«...Я работаю, чтобы удовлетворить *вечно недовольный глаз мой*, а не для снискания чего-либо».

— Глебушка,—воскликнул добрейший профессор,—ты молод и невинен, отдайся, как Александр, всецело искусству! Поверь, нет счастья большего на земле, как, имея *вечно недовольный глаз*, продвигаться все дале, в область радостей бескорыстнейших. Отдайся живописи!



Но Багрецову было трудно работать. Он еще долго, бесплодно и грязно болтался в России. И странно, на отъезд в Рим толкнул его снова он, отец Александра Иванова. Это было осенью, на выставке прекрасной картины его сына «Христос в вертограде»...

Невольно залюбовавшись Магдалиной, ее улыбкой сквозь слезы, Багрецов не заметил, как старик Иванов оказался с ним рядом. Он был в вицмундире из уважения к итальянским успехам сына. Эта встреча была для Багрецова окончательной, и он помнил ее до пустячных подробностей.

— Какова сила письма,— шепетнул старик, не здороваясь, а беря под руку и как бы продолжая давно затеянный разговор.— Ну, разве не живая жена-мироносица? После бесконечно пролитых слез, «утру глубоко», как поется в пасхальной песне, она лицезрит учителя живого! О, сколь натурально разведены в удивлении руки, а тело? Оно восхищенно склонилось долу, а полные слез глаза уже сияют неудержимой нечеловеческой радостью. Представь себе, Александр заставлял натурщицу для натуральности резать крупную луковицу, что вызывало в ее глазах слезы, а он ее при этом изрядно смешил... Я боюсь, не плохой ли он уже христианин? Вот ведь и у Христа торс Аполлона, и нет обычных к этому евангельскому тексту атрибутов садовника. Мы с ним письменно пререкались...

И вдруг испугавшись, не предал ли сына, старик с новым жаром подхватил:

— Вся Академия в восхищении от свободы драпировок, от глубины картинной плоскости! Президент Оленин удостоил меня, как отца, поздравлений, сам император соизволил высказать похвалу...

Похвале императора, которой старик хвастал, Багрецов уже знал цену от академистов. При всей своей забитости они осмелили оценку царя назвать жеребцовой.

И по справедливости. Едва завидев картину, неспособный оценить ее достоинства живописного, Николай выпалил про Магдалину: «Могла бы быть поприморознее!»

Старик опять затащил Багрецова к себе, и он должен был слушать о том, что говорит о картине



критика «Северной пчелы», о мнении Кукольника, находившего, что признание картины копией с древних мастеров, как это произошло с кем-то на выставке, есть уже для нее наивысшая похвала.

— Ему дали *академика*,— сказал старик со слезами на глазах,—но самое неизъяснимое и прекрасное — это все же собственная душа его. Пойдем ко мне в кабинет!

Андрей Иванович провел Багрецова к себе, запер двери, посмотрел, нет ли кого чужого в коридоре, и, дрожащими от волнения руками держа последнее письмо сына, прочел:

*«Как жаль, что меня сделали академиком! Мое желание было никогда не иметь никакого чина...»*

— И, представь, еще юношей он, бывало, говорил, и с каким азартом: *«Художник должен быть свободен совершенно, никогда ничему не подчиняться!»* Но, Глебушка, узнай и главнейшее,—случай: моего сына с детских лет окружала восторженная вера всей нашей семьи. И вот я опасаюсь, не гордость ли это? Сюжет так необычаен по внутреннему расположению. О, что он замыслил! Вообрази: он решил всех *обратить ко Христу*. Да, да, ни более ни менее. Такого написать Христа, такое дать несказанно благодатное его появление, с такой силой перелить свою веру, заразить ею, передать из рук в руки неверующему, чтобы, едва подойдя к картине, он бы в сердце своем пал на колени, тут же, не отходя, смысл в духовной Иордани все преступления, все грехи и, восстав в чистых ризах, с Иоанном воскликнул бы:

— Се агнец *вземляй грехи мира!*

.....  
Растративши безумно юность, опустошенный и разоренный, Багрецов стал вдруг неотступно мечтать о встрече с Александром Ивановым. Сперва без ясно очерченной цели, с одним острым волнением охотника, которому вдруг указали давно желанную дичь. Но с каждым новым посещением старика Иванова, с каждым свежим письмом из Рима — мысль его наливалась жестокостью. Сам бесплодный, он присутствовал при развитии громадного замысла, который художник почитал уже событием мировым.



Да, мысль Багрецова наливалась жестокостью, и напряженная злая воля знала: или картина Иванова, которой отдал он целую жизнь, будет им брошена неоконченной, или я вместе с ним еду в Иерусалим, куда он так долго и горько просится у бездушных властей, я на его дело отдам состояние, стану слугой и хранителем его дарования.

И вместе с тем в тайнике сердца, про который человек сам себе уж и не хочет сказать, Багрецов, разбитый собственной пустотой, нет-нет, а мечтал о некоем «чуде»: заткнув уши, зажмурив глаза, не ровен час, самому выкликнуть вслед за Ивановым, как кликуша: «Credo, credo, quia absurdum!»<sup>1</sup>

Прежде чем уйти к черту, попробовать надо б и это. И Багрецов уехал в Италию.

---

<sup>1</sup> Верую, верую, потому что бессмысленно (лат.).





## Глава V СЕВЕРНАЯ КОРИННА

Перо терзает иногда сильнее,  
Чем пытка! Чтобы уничтожить царство,  
Движения пера довольно; даже рай  
Дает перо отца святого папы.  
Ты веришь в эту власть?

*Лермонтов*

«...Царица муз и красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений», — так писал ей Пушкин, посылая «Цыган». Стихами менее прекрасными, но не менее лестными восхвалили ее Баратынский, Иван Киреевский, Козлов и безнадежно влюбленный юноша Веневитинов. Адам Мицкевич был с ней связан восторженной дружбой, или, как это лучше звучит: *amitié amoureuse*<sup>1</sup>. Император Александр посылал ей письма с особым курьером. А Глеб Иванович Багрецов замыслил против нее предерзостный и хитрый план.

---

<sup>1</sup> Любовная дружба (фр.).



— Ты уверен, Гоголя ничем не заставить пустить в ход свои связи с княгиней, чтобы освободить Бенедетту? — спросил он как-то Иванова.

— Пропащее дело. Гоголь говорит, что княгиня не станет просить за пошедшую против ватиканского управления. Она всецело под руководством умелых патеров, которые гонят ее золото в свой карман, а силы души только в небо, где — уверили ее — знают лучше, кому что давать. Не так давно близкого ей юношу, некоего сироту Владимира, первоначально взятого на воспитание как сына, она, не поставив на ноги, выбросила просто писцом к банкиру Валентини: признаюсь, я немало был изумлен...

— Ужели тебе не прискорбно видеть, — сказал Багрецов, намеренно задевая слабую струну в чувствах приятеля, — как дорожит Гоголь ее обществом? Не сам ли ты намедни мне говорил, что даже его матушка мучится, как бы патеры не свернули его в католичество? Сердце матери чутко: и не оглянемся, как Рим прибавит к именам аристократов имя славнейшего писателя русского. Ты полагаешь, что это возможно?

Иванов приподнял синие очки и для верности глянул в зрачки Багрецова внимательными, необыкновенно умными глазами.

— Это возможно, — сказал он с печалью, — Николай Васильич сейчас в таком разоренье. Намедни сказал мне: *«Забвенья, глубокого забвенья жаждет душа моя!»* Потом глаза его зажглись и пророчески, как ихний ксендз с кафедры, он вдруг возгласил: «Все и вся должны исчезнуть, не только литература русская. В нетленном мире тленное не будет иметь места!» О, сколь хитры ковы иезуитов.

— Вот видишь, — подхватил Багрецов, — и я боюсь за Гоголя. Вовлекут в сети твоего «важнейшего» так, что потом и не вызволить... и потому вот предложение: входи со мной в заговор против святых отцов на пользу Бенедетты. Строчи немедля Гоголю, чтобы он выпросил у княгини позволения привести к ней, ну, отгадай, кого? Конечно, Доменико. Он в ярости не похуже патеров сумеет погнуть на свою линию, а до новых впечатлений княгиня, побожусь, что падка и сейчас.

— Что ты, что ты, большие могут выйти неприятности, — отмахнулся Иванов, но, подумав, приба-



вил: — Однако посоветуюсь с самим Николаем Васильичем.

Через несколько дней все по обыкновению встретились под вечер в кафе Греко. Вдруг Гоголь в отличнейшем расположении духа сам сказал Багрецову:

— Передать вашу просьбу княгине и подготовить ее к революционным речам Доменико я не берусь, но подобное свидание считаю сам не без пользы ввиду Бенедетты, из-за которой работа Иванова стоит. И знаете что?

Он прелукаво ухмыльнулся и шепнул:

— Повалимте-ка этим же вечером в виллу гуртом, без никакого зова, как истые северные медведи? А нуте, обработайте для этого дела того голосистого...

И вдруг, пристально вглядываясь в Багрецова, будто впервые его увидал, Гоголь сказал:

— А ведь вы были *тогда на Николин день у меня?* Еще в погодинском саду Лермонтов нам читал, аль запомнили?

— Вы отлично знаете, что я *этот вечер* забыть не могу, и сами меня сразу узнали, но по капризу признать не хотели.

— Ишь вы какой, — ухмыльнулся Гоголь, — замечливый! Ну, зайдите, тогда и побалакаем, а сейчас того... брата Гракхова раздобудьте, да швиденько, пока на виллу черных сутан не набралось. Я свободный от них час знаю...

Багрецов, не торгуясь с возницею, понесся из одного конца города в другой захватить Доменико на одной из известных ему квартир. Доменико видался с ним в последнее время ежедневно и, польщенный его непритворным интересом к планам «Юной Италии», был с ним доверчив. Он оказался в крохотной комнатке за кухней в остерии Лепре, которую толстая синьора Пепита, к изумлению Багрецова сочувствовавшая революционерам, давала ему безвозмездно.

— Синьор Доменико, — вскричал Багрецов, — если вы хотите увидеть на свободе вашу сестру, чудесно пополнить тощую кассу «Юной Италии» и в придачу натянуть длинный нос отцам иезуитам, идемте со мной нынче вечером к древним Клавдиевым акведукам!

— Вы раскопали клад? — спросил Доменико, не отрываясь от работы.

— Да, и как всякую неподдельную ценность, его блюдут драконы. На этот раз не огнедышащие, а медоточивые, в черных сутанах.



— В таком случае, и не будучи архистратигом, я сразиться готов! Но в чем дело?

— Мы сегодня идем с вами на виллу Волконской, где Гоголь вас представит княгине, а вы, как маэстро в бенефис, превзойдите себя самого: чаруйте ее какими знаете чарами, но вовлеките в круг своих интересов.

— Но княгине я покажусь самым дьяволом, через два слова она мне велит замолчать.

— Ваше дело направить верно подкоп, и Троя взята была не оружием, а лишь деревянным конем. Княгиня чувствительна и полна благородных стремлений. Троньте ее страданием несчастной страны и, когда «пламя голубое» ее воспетых поэтом, когда-то прекраснейших в мире глаз затуманится слезою сочувствия, идите смело в атаку!

— Однако у вас выработан целый комплот,— улыбнулся Доменико.— Есть сообщники?

— Иванов и Гоголь. У последнего внезапный каприз нам помочь. Надо спешить, пока он не остыл. Гоголь проведет всех в час, когда нет никого. Он же изобрел этот истинно варварский способ ввалиться «без никакого зова», как он выразился, одной сплошной гурьбой. Княгиня—артистка с головы до ног. И, сколько ни забивают ее ловкачи-патеры страхом ада, прежде всего равнодушна ко всему яркому и даровитому. Вдохновитесь же, милый Доменико, в ваших руках свобода Бенедетты!

Смуглое лицо Доменико не вспыхнуло, а покраснело медленно и тяжело. Он был взволнован.

— Если дело серьезно,—сказал он,—то расскажите мне все, что знаете про княгиню. Признаюсь, то, что я знаю про нее сам, меня немало смущает: то она ставила оперы, то выступала на конгрессах певицею и поэтом, то писала научный трактат, то отдалась благотворительности. Не есть ли этот всеобъемлющий дилетантизм прирожденное легкомыслие? Но то, что восхищает в гостиней, всего меньше бывает способно к серьезному бескорыстному одушевлению. Однако расскажите мне про нее на совесть, без излишнего красноречия, попротокольнее, вроде как пишут «жизнеописание».

— Извольте: княгиня родилась в Дрездене, где отец ее был посланником. Детские годы ее прошли в Турине. Мать ее умерла рано, ее заменила мачеха,



отчего у девочки возник восторженный мечтательный культ покойной матери. Как видите, сразу: ни крепкой нормальной семьи, ни родины, ни своего языка. Отцу ее — князю Белосельскому-Белозерскому, блестящему стилисту и только из-за дипломатической карьеры не литератору, Вольтер писал: «Вы владеете нашим языком лучше, нежели все молодые придворные французы». Естественно, что и дочери французский заменил русский.

Отец был помешан на искусстве, его салон являлся сборным пунктом всех знаменитых артистов и писателей. Стихийная любовь к искусству и религиозность в наследство от бабки Татищевой — вот две линии, по которым пошло развитие княжны Зенеиды.

Очень рано она выходит замуж за брата декабриста Волконского, и начинается для нее ряд непрерывных блистательных успехов. На Венском конгрессе она набирает группу из поклонников Россини, ставит его оперу на частном театре, вызывая бурные восторги. В Вене выступает певицей, с таким успехом, что знаменитая Марс говорила: «Жаль, что такое дарование у дамы большого света, ей не дадут сделаться артисткой». И, конечно, ей не дали. Император Александр, говорят, не однажды пенял ей за страсть к публичным выступлениям, а за ним великосветские осы жалили как могли. Я много подробностей из жизни княгини слышал от моего отца, приятеля старого Белозерского. В двадцатых годах княгиня в Риме. Теперь она — композитор. Написала оперу, в которой, как здесь многие еще помнят, сама исполняла главную роль. Бруни и Брюллов писали ее портрет...

На Веронском конгрессе новые выступления, новые лавры. Затем в Петербурге княгиня углубляется в археологию и историю. Задумывает повесть о первобытных славянах, не без некоей мистической подкладки, пишет поэму об Ольге, великолепной язычнице и проблематической христианке, которую родословная князей Белосельских считает в своем родстве. Работа ее оказалась настолько интересна, что ученое общество российских древностей избирает ее своим почетным членом. В двадцать шестом году салон ее особенно блистал: в нем появились Пушкин и Адам Мицкевич... В позднейшее время княгиня занялась проектом эстетического музея при Мос-



ковском университете, готова была жертвовать свои средства на закупку мраморов, на заказы копий с классиков, но прекрасный и нужный проект отклонили. Этот отказ порвал последнюю надежду, которой она пыталась связать себя с жизнью родины. Да, наша грубая и жесткая родина оказалась тоже мачехой по отношению к этой необычайной по дарам и энергии женщине. Русский быт парализовал возможность таланту ее завершиться во что-нибудь окончательное. Княгиня расточила себя по мелочам, нигде не выразившись в совершенстве. Но зато она сумела объединить вокруг себя художественную жизнь России. Ее имя навсегда связано с именем Пушкина, с блистательным мигом истории нашей культуры.

Как видите, вы неправы,—закончил Багрецов,—обвиняя княгиню в легкомыслии и дилетантизме. Всею виной ее биография. Повторяю, Зенеида Волконская характера благородного, способная увлекаться до самозабвения, но жизнь с рождения бросила ее в мир фантазий. Сама она не умеет спуститься на землю, но благородная, твердо устремленная воля может направить ее на какой угодно подвиг. Словом, мой друг Доменико, отбейте эту прекрасную душу у святых отцов!

— Во имя сатаны, патрона всех отважных, я ее отобью! Но куда же идти? и когда?

— Сию минуту, сборный пункт у Гоголя, оттуда на виллу.

.....  
Вилла княгини стояла на холме. Если взглянуть на нее снизу,—необъятная корзина цветов. От подножия до верху стены заткал темный плющ. А по нему пышно разбросались розы, чайные и розовые, и мелкие сорта банкций. Благоухание гелиотропа, лакфиолей, глициний и горький дух повилики дурманили голову. Гордый акант, увековеченный греками в роскоши коринфской капители, как изваянный из темного камня, вырезывался на легком зеленоватом небе. Княгиня приютила свой казино под сенью колоссальных арок древнеримского акведука. Вот здесь любил в одиночестве лежать Гоголь, теряясь взорами в пустынях Кампаньи.

Пониже тянулись густые аллеи, где между листвой кипарисов, платанов, маслин сверкали обломки пьеде-



сталов, колонн архитравов, которые помнили времена Цезаря и времена еще более ранние. На монументах золотились надписи о незабвенных людях: иных великих по человечеству, других просто близких сердцу.

Они четверо шли по громадному винограднику, разделенному полуарками Клавдиева водопровода. В этих арках, как в рамах, открывался то древний собор, то голубые Альбанские горы. Внизу змеилась дорога, обсаженная орехами и платанами. Вокруг четырехугольного дворика, как солдаты на смотре, выстроился лоза к лозе кудрявый, усатый, пышно разросшийся виноград.

— А гляньте-ка, вон и княгиня,—сказал Гоголь,—она в «аллее друзей», в самом конце, у колонны Байрона.—И, понижая голос, продекламировал: «Звездой полуденной и знойной, слетевшей с Тассовых небес, даны ей звуки песен стройных и гармонических чудес...» — А ведь это ей было писано в юности и не от кого-либо — от крупнейшего из людей.

Все свернули на «аллею друзей». Здесь уже в известном порядке, чередуясь с кипарисом, мимозой и лавром, возвышались обломки древностей с надписями.

— Никак это Campo Santo<sup>1</sup> княгини? — спросил быстрый Доменико.

Глаз схватывал то тут, то там посвящения. Пред одним камнем Гоголь всех задержал движением руки.

— Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Жуковский.

Сняли шапки, молча стояли. Потом блеснули буквы:

A Goethe. Il fut l'oreole de sa patrie<sup>2</sup>.

— А вот и Веневитинов, прекраснейший юноша, полный души и таланта, беззаветно отдал свою лиру и сердце этой женщине...— начал с нескрываемой досадой Иванов.

Но Гоголь, строго взглянув на него, кончил сам:

— Дмитрию Веневитинову посвящена прекрасная строчка из его собственного стихотворения: «Как знал он жизнь, как мало жил!»

---

<sup>1</sup> Кладбище, украшенное памятниками (ит.).

<sup>2</sup> Гете. Он был славой своей родины (фр.).



На колонне Байрона, около которой стояла княгиня, ярко светилося: «Implora pace!»<sup>1</sup>

— Вот я привел вам, княгиня,— сказал без всякого предисловия Гоголь,— своего приятеля, пламенного патриота среди итальянцев, синьора Доменико.

Княгиня с естественностью очаровательной сказала:

— И отлично сделали, что привели.

— «Implora pace»,— прочел вслух Доменико,— но разве покоя хотел этот неукротимый? Его ль он искал, когда бежал из отечества, живя у нас близ Равенны, принимал участие в заговоре карбонаров, хранил их оружие в своем замке? И в бою за чужую свободу нашел себе смерть в Миссолунге? Зачем же молить о том, чего человек себе сам не хотел?

Княгиня с милостивым снисхождением, как на интересного ребенка, смотрела на Доменико. Гоголь поспешил сказать:

— «Implora pace» адресовано совсем не к земному поприщу поэта. Однако именно здесь, в Италии, приятно было бы каждому прочесть благодарность от страны, столь им дивно воспетой. Вот и просим мы вас, княгиня, сказать нам хотя бы собственное ваше стихотворение в прозе по этому поводу.

— И очень просим,— поклонился Иванов.

Тотчас княгиня со всей естественностью, ее отличавшей, сказала прекрасным грудным голосом:

— Венеция! волны морские могут залить тебя, твои дворцы и храмы, смыть радужные краски Тициана, но имя твое, Венеция, звучит навеки на золотой лире Байрона. Стихи великого поэта — неразрушимый Пантеон.

— Теперь вы довольны? — обратилась она к Доменико.

Княгиня, все еще прекрасная в своем увядании, была охвачена поэтическим чувством. Ее большие голубые глаза, столько воспетые, лучисто засияли.

— Прикажете быть искренним, княгиня?

У Доменико, при виде этого изменчивого, живого лица, явилась надежда на успех своей проповеди.

— Если для этого нужно мое приказание, я приказываю,— улыбнулась она.

---

<sup>1</sup> Молю мира! (ит.)



— Ну вот: для меня никакие стихи Байрона не могут сравниться с его прекрасной готовностью бросить жизнь за свободу чужого народа; будь это лишь вспышка благородного сердца, одна она достойна бессмертия. О, если бы вы знали, княгиня, что значит отдать свою жизнь народу, жить не одной, жить тысячью жизней, горем и радостью всех!

— Но я очень понимаю вашу страстную любовь к такой чудной родине,— прервала княгиня чрезвычайно любезно, но вдруг с той же светской сдержанностью, которая неуловимым холодком предупреждает неприятную чужую экспансивность. И, желая свернуть разговор в знакомое русло искусств и науки, она обратилась к Гоголю и Иванову, жестом приглашая их в свой союз.

— Не правда ли, все страны — должницы Италии? Она положила начало европейской науке, создала мировое искусство и мировую литературу. Ведь Данте только по языку принадлежит вам...— И она очаровательно улыбнулась Доменико, как человек, осыпаящий нежданными милостями.

Голова Доменико, кудрявая, чистого римского типа, была так хороша среди древних руин, что Иванов, не сводя глаз, едва ли слышал разговор. Зато Гоголь, сидя по обычаю своему нахохлившись и уйдя в воротник, весь насторожился и зорко глядел то на княгиню, то на Доменико.

— Что, не довольно вам торжества? — сказал он ему.— Слышали: все страны вам должники? По искусству вы — первейшая страна...

— К сожалению, это первенство в искусстве мы купили ценой своего политического существования,— отрезал Доменико так желчно, что княгиня с испугом оглянулась кругом.

Иванов, как бы спрятавшись за синие стекла своих очков, упорно молчал. С лица Гоголя не сходило лукавство. Багрецов, как всегда не в интимном кружке, умел настолько стусеваться, что никому не приходило и в голову его замечать. Но внутренне он был в сильном волнении от того, чем разрешится визит Доменико. Его революционным речам здесь до грубости неуместно было звучать. Вдруг Гоголь придумал ловкий маневр.



— Княгиня,— сказал он,— к вам не далее как через час придет ваш аббат, и вы будете под надежной защитой. Выслушайте же пока, не оскорбляясь их смыслом, речи Доменико. Тем более, если молодой друг наш заблуждается и пришел к вам с полным доверием, вы должны его выслушать, хотя б для того, чтобы узнать, от чего именно его вам придется спасти! Доменико — такое же дитя народа, как и те, что зовут вас «beata» и к кому вы столь бесконечно добры.

— Только разрешите держать мне свою речь в более уединенном месте,— попросил итальянец.

— На моем акведуке,— подсказал Гоголь.

Княгиня ласково улыбнулась. Артистка проснулась в ней. Горячее лицо Доменико, необычайный в ее доме тон — все ее заинтересовало. Она сказала:

— Разумеется, на акведуке всего безопаснее. К тому же, кроме Николая Васильича, туда любят лазить только коты. Еще несомненное преимущество: там сухо, и даже этот малярийный час не опасен.

По каменной лестнице они вошли на просторную террасу, вознесенную высоко над городом. Солнце село, и набежавшие сумерки уже успели заполнить весь город лиловою мглою и отнять у зданий их дневную отчетливость. Пустыня Кампаньи отодвинулась дальше и казалась затихнувшим в безмерности океаном.

— Я люблю этот тихий час,— сказала княгиня,— когда Рим замирает пред тем, как ему вспыхнуть огнями. Даже пения не слышно. Я вас слушаю,— повернулась она к Доменико.

— Княгиня,— начал он в заметном волнении,— я буду говорить вам о том, что поглотило все мои мысли и чувства, всю кровь до последней капли. Я буду вам говорить о судьбах Италии. Простите, если это выйдет немного похоже на лекцию, но ведь в истории без беглого обзора прошлого нельзя понять, чего мы жаждем в настоящем.

— Охотно вас слушаю,— сказала княгиня,— хотя, признаться, если это политика — я всех менее могу вам помочь...

— Вы наблюдали, княгиня, в силу вашего положения всегда только внешний ход событий, не зная их корня. Вы имели влияние в высших сферах, но были



устранены от самого *процесса жизни*. Но ведь только участие в этом процессе и дает человеку сознание своей неразрывной связи с целым. Княгиня, припомните, как прекрасно вы понимали страдания патриота Адама Мицкевича, как глубоко хотели их облегчить. Так вот: эти страдания сейчас — удел *целого народа*, которым вы окружены, который, как сказал сейчас Гоголь, зовет вас «блаженной». Узнайте же эти страдания!

— Говорите,— сказала княгиня.

— Еще среди хаоса средних веков мечтой о едином итальянском союзе были живы мы — итальянцы. Мы помнили, что мы римляне. И, как мощный разорванный организм, мы знали боль свою и жаждали воссоединения. Мы рано поняли: на стороне какого бы из владык, папы или императора, ни оказалась победа — *жизнь нации связана только со смертью обоих*. Уже Ломбардский союз — разительный пример обаяния идеи свободы и единения городов. Благодаря папам и королям, бессильная составить единое тело, нация стремилась к единству, хотя бы отвлеченному. Вы только подумайте: как сейчас, и тогда каждый жил своим маленьким виноградником, своими мелкими распрями... Но едва иноземец Барбаросса посягает на права городов, разорванные клочья встают мощным Ломбардским союзом! О, не будь предательства папы, мы тогда уже свергли бы чуждое иго! Не раз, не раз хоронили папы зарождавшуюся свободу Италии.

— Простите меня,— прервала княгиня,— однако недавний опыт Бонапарта, наводнивший вашу страну республиками, нашел тоже немало хулителей. Какая же свобода еще вам нужна?

В ее голосе слышалось раздражение, и руки, легко лежащие на коленях, дрогнули.

— Княгиня, ваша речь — вода на мою мельницу. Ваш пример был у меня на устах. Но совсем с иным выводом. Тот, чье убеждение было: *tout par le peuple, rien pour le peuple*,<sup>1</sup> — разве мог дать народу свободу? Да он искромсал несчастную страну ножом по живому телу. Он раздавал, как вотчины, своей родне наши древние республики, он приносил народ в жертву

---

<sup>1</sup> Все руками народа, ничего для народа (фр.).



чуждым ему замыслам. Нет, напрасно бонапартисты клянутся, что замысел Наполеона был — единство Италии. Но за урок мы ему благодарны: французское владычество и преобразования закрепили в нас сознание бесповоротное, что народ освобождается только *собственной силой*.

Дальнейший опыт — Венский конгресс. Он превзошел и Наполеона. В самом деле, что дали Италии все эти герцоги и короли, водворенные на старые места? Трудно поверить, но уже это — история.

Ботанический сад в Турине разрушен, как произведение французского вольнодумства. По той же остроумной причине отменена прививка оспы и освещение города фонарями. Больше того, король Фердинанд отказался ездить по главной улице, проведенной французами, и велел прекратить раскопки Помпей. Восстановлена инквизиция, папская булла прокляла книгопечатание. О, Макиавелли еще раз прав. Никакие неистовства Борджий не могли быть так губительны для Италии, как тот путь, на который толкнула ее сейчас власть духовная. И что за дикость — *над нами монах государем!* Объявляет себя главой христианского мира, из которого три четверти не признают его вовсе, а половина второй четверти терпит его из нужды...

— Нет, таких речей я слушать не желаю!

Княгиня встала.

— Простите его, княгиня, — заторопился Иванов. — Про папу это зря он болтнул. У него настоящее дело есть к вам, кровное, уж дайте ему досказать.

Но Доменико летел, как в бою. Забыл этикет, наступал на княгиню, кричал:

— Благодаря стольким испытаниям люди нашего поколения пробудились к страданию! А страдание научает мыслить.

Княгиня подняла руку, Доменико и тут не дал ей сказать:

— Простите мою резкость, но я говорю о том, что для меня дороже жизни! Своим положением в свете вы были отрезаны от действительности, я вырос в нужде, я знаю ее слишком хорошо. Все страны мира — должницы Италии, — это ваши слова. Так заплатите же ей хоть за вашу страну. Помогите вы, восхищающаяся ее Рафаэлем, ее Микеланджело, по-



можете завоевать ей то, что есть у каждого поденщика,— родину!

И прежде всего, княгиня, помогите освободить бойцов, восставших за достоинство народа, о котором намерен один из королей себе позволить сказать: «Мои провинции должны забыть, что они итальянцы. Они должны быть соединены только общими узами — повиновением моему дому».

Княгиня, всем известно, что вы благородны и чувствительны, повторяю: не даром народ наш прозвал вас «beata», но вы в заблуждении, вы не знаете правды, вопиющей человеческой правды ни о чем!

На Веронском конгрессе, когда вы пожинали восторги и лавры, выступая публично, вам не приходило в голову, что делали с нашим народом эти герцоги, дипломаты и короли, целуя ваши руки и выражая изысканно свой восторг! Знали ли вы, что на этом самом восхищавшем утонченное чувство конгрессе было решено, что австрийский корпус в двадцать пять тысяч человек займет Неаполитанское королевство и весь наш Пьемонт?

И сейчас, княгиня, у вас дурные советники. Их черные сутаны закрыли вам свет солнечный...

— Только не сбейте одного из них с ног,— шепнул Багрецов, одергивая за руку Доменико, который, в пылу речи отступая назад, чуть не столкнулся с ног аббата, подымавшегося на террасу.

Доменико отскочил, как ужаленный, но аббата уже не было. Увидав, что княгиня здесь не одна, он скользнул в боковую нишу.

Княгиня сделала несколько шагов к Доменико и сказала с мягкостью, но очень решительно:

— Между нами пропасть, и говорим мы с вами на разных языках. Поясню примером: когда император Николай спросил митрополита Филарета, освободить ли ему крестьян, тот ответил, что для церкви ему не важно, свободны они или рабы: для церкви важно, чтобы они были православными. Так для меня сейчас, когда я узнала истину о вечности, мне тоже кажется достойным заботы только одно: чтобы все люди стали католиками. Все же прочее, вплоть до исторических судеб народа,— суета сует.



Бешенство, как огонь, пробежало по лицу Доменико. Гоголь схватил его за руку, а Иванов выбежал вперед и, растопырив ладони и нелепо трепыхая своим черным плащом, заговорил, пришепечывая, торопясь спасти положение:

— Но есть, княгиня, поприще, где люди даже противоположных убеждений могут не быть враждебными, это — *сострадание*, простое человеческое сострадание! Сестра Доменико, прекрасная Бенедетта, почти ребенок, томится в тюрьме. Похлопочите об ее освобождении!

— Я не делаю ни единого шага, не посоветовавшись со своим духовником, — сказала, заметно побледнев, княгиня.

— Тогда во имя чести забудьте весь наш разговор! — крикнул Доменико. — В Италии каждый служитель алтаря — предатель народного дела.

И, не оборачиваясь на спутников, Доменико стремглав кинулся вниз по лестнице.





## Глава VI ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИЕЗД

Вдруг двери студии распахнулись, и вбежавший стремглав Александр Андреевич Иванов в вечном плаще с красным подбоем от поспешности чуть не растянулся на пороге.— Государь здесь близко, в базилике Maria Maggiore, и сейчас будет к вам! — вскрикнул он.

*Ставассер*

Александр Иванов жил на горе. Пройдя с улицы Сикста через чудесный сад, затканый гроздьями винограда и цветущими розами, Багрецов прошел к нему в мастерскую. На огромном окне стояла ширма в полтора стекла, чтобы убить яркую зелень рефлексов от деревьев: миндаля, фиг, орехов, древней змеевидной лозы.

Гигантская картина «Явление Мессии» была задернута драпировкой. Внезапно отдернув ее, художник, словно посторонний, мог глубже отмечать недочеты. Больше двухсот этюдов природы и фигур было развешено по стенам.



— Александр Андреич,— сказал Багрецов,— ты еще долго намерен, как муравей, из римских камней здесь лепить Палестину? Сколько раз предлагал я тебе: дай свезу на свой счет. Перестань чудачить. Общество Поощрения тебе денег на поездку не даст. Я доподлинно знаю, что в Петербурге по этому вопросу говорят: Рафаэль писал первоклассные вещи, не выезжая из Италии, подобное может и Иванов.

— Нет, уж я дождусь, чтоб художника русского для славы родины послала б, как мать, она сама, родина... А пока что из окрестностей Рима как-никак я создаю иорданский ландшафт. Вообрази: наиболее подошел Субиако, в горах сабинских. Скалы голы и дики, река чудесной быстротекущей воды. Обидно одно: приходится втягиваться в развлечения, до которых я не большой-то охотник. Но, не вызывая злобы у братьев «питторов», нельзя отказать с ними поужинать и прочее... даже ломать комедию под гром барабана. Эх, если бабка не наворожила, как тебе,— трудна дорога художнику русскому!

Мало того, что картине жертвуешь жизнью и удобствами,—как удары плетью—этот обрыв беспрестанный в работе: то болезнь глаз, то натурщик неплочен, то голых людей искать надо—близок свет—в Перуджии! Ведь эти аспиды, содержатели римских купален, ни самомалейшей щелки для глаз наблюдателя не оставляют.

Однако хоть и питаюсь я одной чечевицей, но на предложения Общества Поощрения я, братец мой, не пойду.

— А что пишет оно тебе неприятного?

— Предлагают любовь мою разорвать другою, и это убийство зовут «легким занятием кисти». Говорят, что, изготавливая картины жанра для лотерей, я смогу найти себе и дальнейшие средства к жизни. Варвары люди!

И вдруг вспомнив о чем-то совсем недавнем, еще и еще с гневом воскликнул:

— Варвары, варвары... о, что они сделали с Бенедеттой! Да я ведь было бежать к тебе хотел, если б ты сам не пришел...

Багрецов вспыхнул. Вдруг при имени Бенедетты забило сердце, и тут же мелькнуло в уме: как, неужто влюблен? Он даже не сразу понял, что толко-



вал ему Иванов, торопясь, перебиваясь и дополняя речь руками.

— Прибегал на заре Доменико, ее брат, переодетый, с привязной бородой. Его ищет полиция... наспех сообщил: слуга, который склонялся за подкуп выпустить Бенедетту, на другой день после нашего посещения виллы Волконской отказался наотрез. Хуже того: Бенедетту перевели в сырую камеру, запретили свидания. В этом деле видны руки монахов. Я побежал к Гоголю, просил, молил идти немедленно к княгине. Гоголь был недвижим, сам чем-то крайне удручен. Представь, он сказал: «Хлопотать не стану. Как попало, зря, в этакую кашу нечего и мешаться. Довольно того, что раз уж напутали, приведя на виллу заговорщика».

Он мрачный такой, Гоголь. «Вопрос по существу решать надо, говорит, кого именно вы считаете на земле хозяином? Ежели себя, то и суйтесь в дрызг политики! Я же признаю над собой хозяина, важнейшего себя. И этот хозяин повелевает мне одно: заниматься грехами собственной моей души, мирным устройством общества, а не какими-нибудь заговорами и подкопами под властей... Поверьте: вы своей картиной, а я книгою сделаем сильнейшую революцию в мире, нежели глупым вмешательством в дела итальянской полиции».

— И ты в душе с ним согласился? — с гневом вскричал Багрецов. — Когда же ты выйдешь из порабощения Гоголю? Да ты слеп, что ли? Не видишь, что все биготство его, весь тон проповедника — от дьявольского самолюбия? Да он ведь ни с кем из людей не вяжет себя чувством, а каждый ему лишь средство или предмет наблюдения. Ну, вот, предлагаю тебе: проделай с ним опыт. Жизнь всего лучше докажет мою правоту. Помнишь, ты мне говорил о своем проекте новой инспекции над художниками, где бы взамен чиновника стоял человек к художникам близкий? Чего ближе поэта? Вот и твоему Гоголю предложи для мирного исправления общества писать о всех вас отчеты своим гениальным пером. Пусть научит власть имущих и все варварское общество наше вернейшей оценке произведений искусства! Это ль не достойное служение отечеству? Вот предложи-ка ему разработать хорошенько проект.



— Изумительный совет, необыкновенное измышление,— сказал Иванов, обнимая Багрецова.— Не сомневаюсь, что порадую этим проектом Николая Васильича в его жажде служить отечеству. А в секретари я приглашу профессора Чижова. Но как жаль, что Гоголь на днях едет в Неаполь! В один миг проект не испечь, а я такой копотун...

— Ну и копайся, над тобой не горит,— сказал Багрецов, в досаде, что этот «блаженный», влюбленный в одну лишь свою картину, как глупая рыба, идет на каждый крючок. Гоголь, которым он так дорожит, при бешеном своем самолюбии, конечно, с ним на смерть поссорится за подобное предложение...

— Ну и черт с ними!

Багрецов был особенно зол: не переставая наблюдать за собой, он немало был поражен сердечным волнением — чувством, давно необычным, которое не оставляло его при мысли о Бенедетте.

«Недостает, чтобы я в это дело ввязался!» — подумал с досадою Багрецов и тут же невольно сказал Иванову:

— Я попытаюсь добиться помощи у Волконской, но без свидетелей...

Иванов пустился обнимать его и благодарить, будто он делал ему личное большое одолжение. И, конечно, так было: Багрецов снимал с нежной совести этого чувствительного человека то, что в нем порождало непосильное чувство ответственности.

Отец Багрецова, живя в Италии, близко сошелся с отцом княгини Волконской. Будучи намного его моложе, он испытывал род юношеского ему поклонения, восхищаясь необычайной просвещенностью, изяществом, грансеньерством князя. Тем более, что по сухости своей природы он подобных размягчающих чувств не любил испытывать по адресу пола слабейшего, боясь утратить свободу.

Княгиня Зенеида была тогда уж подростком и отлично запомнила красивого юношу. Как-то она даже намекнула Багрецову, что отец его был ее первой и, вероятно, единственной, несчастной любовью.

Багрецов помнил с детства рассказы об уме и пышности старого князя и почему-то очень раздражительные отзывы теток о молодой княжне Зенеиде. Одна особенно едко приводила слова фрейлины Вол-



ковой другой светской даме, Ланской, по поводу поведения княжны на Воробьевых горах при закладке храма Спасителя: «Уж так-то компрометировать себя, как она с синьором Барберини! Ведь уехала с ним в Одессу. Ей мало и горя, что сам государь недоволен».

Багрецов шагал к вилле Волконской и думал о том, какое бы это было счастье, если б он действительно мог любить Бенедетту. Но нет... Он знал слишком трезво, что за чувство им движет... Все та же капризная жажда власти, что гнала деда с полком неприступные братья высоты, гнала отца в увлечении модным научным вопросом — за шальные деньги выписывать негров, венчать их силком в церкви с девками, за каждого ребенка шоколадного цвета выдавать премию...

Честолюбие военное и штатское было чуждо Глебу Ивановичу, но в жизни себя ощущал он хозяином. Да, так было с юности...

Багрецов вдруг, как вчерашний, припомнил один случай с отцом. Старик в тех же целях естествоиспытателя принудил обвенчаться свою побочную дочь Анну, существо недалекое и забитое, с псаломщиком сельской церкви, жадно ожидая, как живописно сам говорил, чем отрыгнется военное семя предков в кутейных кровях псаломщика. Потомства не последовало. Но назло чванным теткам старик ежедневно приказывал лакею звать «зятя» на бостон. Изрядно подпоив дьячка, старик говорил: «А ну, дьяче, держи-ка мне Иону во чреве китове, али Троицу фигурально».

Закрывал дьяк руками лицо: «Вот он един-с».

И, вдруг развернув на обе щеки ладони, сияя покрасневшим от жертвы Бахусу носом: «А вот он, между прочим, и троичен в естестве-с».

Как-то, идя за книжкой в библиотеку, Глеб Иванович наткнулся на эти увеселения, пришел в мгновенную ярость, схватил, что мелькнулось в глаза, — большой хлебный нож и кинулся на отца.

Все помертвели. Старик вовремя отскочил. Очень бледный, сказал: «Уважаю вас, Глеб Иванович, и при вас скоморошить не стану».

Слово сдержал, но до последнего приезда из Академии сына звал его на «вы» и по имени-отчеству, как бы тем закрепляя свое от него отчуждение.



Багрецов так погрузился в прошлое, что очнулся, лишь споткнувшись об обломок капители, неожиданно забелевший в изумрудной зелени. Он уже давно был в парке княгини и незаконно топтал ее чудесные травы, сбившись с тропы. Багрецов решил войти в виллу без доклада, почему-то уверенный, что встретит княгиню в парке. И правда: белое платье уже мелькнуло ему в четырехугольном дворике, обсаженном густо лозами.

Княгиня была одна на скамейке. В руках она держала кожаную золотообрезную книгу. «Фома Кемпийский», — угадал Багрецов. Глаза ее смотрели вдаль, в голубое Альбано, и полны были грусти невыразимой.

Уважая ее печаль, Багрецов в нерешимости остановился. Княгиня сама его увидала. Обыкновенно столь сдержанная, ушедшая в свою особую жизнь, она вдруг в детской доверчивости, как бы не в силах удержать радость, пошла к нему навстречу, протянув обе руки.

Багрецов смутился, что княгиня по близорукости его спутала с кем-либо иным и сейчас он попадет в гнуснейшее положение, определяемое французами непереводаемым словом — *ridicule*.

Изумление его возросло, когда княгиня заговорила: — О, как хорошо, что это именно вы, вы — русский, и через Татищевых будто бы даже родной. Не правда ли? К тому же образ вашего батюшки со мной навсегда...

Она улыбнулась тою улыбкой, которая, должно быть, некогда кружила головы поэтам, и проговорила с нежной грустью:

— Есть минуты, когда сердце так слабо, что хочет только родного по языку, родного по крови, по родине.

Багрецов вмиг представил себе лицо ее молодым, как он видел его на картине Брюллова: огромные, голубые как небо глаза, сияющие, ликующие вдохновением, золотистые, отлетевшие под зефиром кудри, благородство и нежность сверкающего умом белоснежного лба и эта несравненная легкость, как бы крылатость и сейчас тонкого, стройного стана.

— Предо мной воскресло мое прошлое с такой силой, какой я в нем и предположить не могла. И знаете что? Москва, и два вечера у нас, на Тверской... Но присядем здесь.



Она опустилась на скамью в густой беседке вьющихся роз.

— Пушкина, едва привезенного фельдъегерем из двухлетней ссылки в Михайловском, привел ко мне вдруг Соболевский. Я пела ему. О, как он слушал... Румянец то вспыхивал, то угасал на его необыкновенном лице. Так выражалось у него всякое сильное волнение. И поверьте: я пела ему лучше, нежели четверем императорам на Венском конгрессе со всею их свитою. Это была его элегия, положенная на музыку композитором Геништою: «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман...»

А торжество мое, когда я получила поэму «Цыганы» с большим листом почтовой бумаги, где его крупным, размашистым почерком написаны были единственные по гармонии стихи...

— Я их помню,— сказал Багрецов и, заражаясь ее волнением, понизив голос, сказал:

Среди рассеянной Москвы,  
При толках виста и бостона,  
При бальном лепете молвы,  
Ты любишь игры Аполлона.  
Царица муз и красоты,  
Рукою нежной держишь ты  
Волшебный скипетр вдохновенья...

Он прочел до конца чудесное посвящение. Слезы брызнули из прекрасных глаз «северной Коринны».

— А второй незабвенный вечер,— сказала она,— это когда Мари Волконская приезжала проститься. Она ехала к мужу, в снежную могилу Сибири, где погребены были декабристы. Избранной музыкой хотели мы ей, музыкантше, усладить горечь разлуки с сыном, благословить ее на долгие годы страданий.

Как сейчас слышу: я пою отрывок из *Agnès*, вот я его оборвала в том месте, где несчастная дочь просит отца простить ее. Внезапно я сделала сближение горя Алисы с горем Мари, которая ехала к мужу против воли отца, и рыдания сжали мне горло. Я кинулась на шею несчастной Мари, и, заливаясь слезами, мы обнялись.

Горькие и светлые, о, незабвенные дни на родине, в этом белоколонном доме на Тверской...

Княгиня закрыла глаза белым платком. Багрецов вдруг догадался, что с ней приключилось что-то



необычное: быть может, ей нужна помощь. Багрецов, растроганный, с глубоким сочувствием сказал:

— Княгиня, как соотечественнику, как сыну друга вашего дома и, если разрешаете,—родне, доверьтесь мне, скажите, что с вами случилось?

Есть простые, задушевные звуки, пред которыми самые скрытные, окруженные загородками люди выходят из своего уединения. Княгиня, по природе полная доверия и прелестной доброжелательности к людям, вдруг сбросила запуганность последних лет, забыла горечь опыта, клевету близких, угрозы муками ада, гибелью души, всю тяжкую эгиду черных сутан и, кладя руку на руку Багрецова, с забытым доверием сказала:

— Мой духовник передал мне вчера постановление святой коллегии в ответ на мою просьбу похоронить меня в церкви святого Анастасия, где хранятся сердца пап со времени Сикста. Но под каким условием они согласны на это! О, как мне оно тяжело! Вообразите, под тем условием, если я собственноручно подпишу вот под этим документом свое имя.

Княгиня вынула из книги лист крепкой белой бумаги и, не в силах прочесть вслух, только сказала:

— Вот...

Багрецов прочел:

«Склеп для праха католиков из русских княжеских родов Белосельских-Белозерских и Волконских, которые желают, чтобы тела их лежали у подножия, где погребены сердца римских пап, дабы протестовать и загладить от имени всей России ее величайший грех, что она не признает римского папу как единого главу всей церкви и наместника бога на земле».

Багрецов был смущен. Он не мог понять муки княгини. Ему самому было так безразлично, где и как зароят его прах, а папы, бывшие и грядущие, казались одной бутафорией. Он молчал, понуриив голову.

А княгиня сквозь слезы продолжала таким голосом, каким говорит человек о самом заветном, за что ему умереть:

— О, как мне тяжело принять этот приказ. Мне так... будто, подписав его, я предаю свою родину. Может, это только соблазн, минута слабости, и, не появившись вы сейчас, я бы справилась с собой.



Багрецову стало томительно душно, его вдруг потянуло с такой неудержимой силой к яркой, к солнечной Бенедетте, что, со всем почтением целуя руку Волконской, он горячо сказал:

— Княгиня, сама судьба, а по-вашему сам бог привел меня к вам в ту минуту, когда вы доступны, как все смертные, слабости, колебаниям и боли. Я неверующий и, простите меня, ничем не могу помочь в вашем деле. Наблюдал же я в своей жизни одно: если один человек действительно приходит на помощь другому — он тем самым множит и свою внутреннюю силу. Княгиня, будьте великодушны! Вы страдаете сами, облегчите ж страданье другого... упросите отпустить из тюрьмы Бенедетту, молодую итальянку, сестру того Доменико, который здесь недавно у вас так на шумел...

Кроме того, снимите горькое подозрение со своего дома. Ведь наутро, после речей Доменико у вас, был приказ о строжайшем заключении его сестры с лишением ее свиданий. Все это относят на счет вашего духовника, княгиня, с которым столкнулся Доменико, произнося на акведукке свои пламенные речи о свободе Италии.

Княгиня, если у вас, душой и телом предавшейся католицизму, все еще не угасла любовь к России... во имя сегодняшней вашей муки, поймите же, посочувствуйте пламенной страсти итальянца к его действительно истерзанной родине!

Во время речи Багрецова княгиня заметно бледнела, голова ее гордо откинулась назад, брезгливость и гнев сверкнули в потемневших глазах.

— Вы мне даете слово, что не введены в обман? — воскликнула она. — Вы можете заверить честью, что этой девушке свиданья запрещены? И это после... после посещения моей виллы?

— Клянусь о том, княгиня! Но вы легко можете это проверить, послав доверенное вам лицо с запиской и передачей чего-либо для девушки.

— Это ужасно, — прошептала княгиня, — мне обещано было как раз обратное. Но прощайте, мой друг... Мне сейчас надо остаться одной. Обещаю вам твердо: эта девушка в скором времени будет на свободе! А вас, в свою очередь, прошу забыть мой откровенный с вами разговор...



Багрецов еще склонился над рукой княгини и ушел с виллы Волконской как юноша, полный забытых надежд.

Однако прошло несколько недель, а все оставалось по-прежнему: Бенедетта сидела в тюрьме, и свидания с ней были запрещены. Багрецов сунулся было на виллу: один раз ему сказали, что княгини нет дома, другой — что не велела никого принимать. Багрецов хотел послать Гоголя или Иванова, но первый внезапно уехал, а второй, пользуясь счастливым промежутком здоровья, затворился в своей мастерской. Багрецов знал, что если сейчас добраться к Иванову через все запоры — все равно он не поймет ни слова о чем-либо постороннем своей работе. Стипендия его иссякла, и он должен был день и ночь двигать картину, чтобы можно было просить о новом продлении пенсии у государя. Николай I собирался приехать в Рим.

Как-то под вечер Багрецов встретил княгиню Волконскую на Пинчио. Она была в коляске с своим духовником. На его поклон она не ответила. Не заметила вовсе или было ей так внушено иезуитами, обступившими ее тесней прежнего?

Багрецов вспомнил ее слезы и колебания и злобно сказал: «Ну, дело в шляпе, княгиня погребена будет в церкви святого Анастасия!»

От препятствий чувство к Бенедетте, пусть воображаемое, становилось мучением. Он кинулся к синьоре Пепите, узнать хоть про Джулию, — оказалось, что и той нету в Риме, — уехала временно к брату в Реджио.

Наконец ночью 13 декабря приехал в Рим император Николай из Чивита-Веккиа через станцию Поло.

Какая буря была в эту ночь! Ветром сломало немало чудесных старых маслин. Кипарисы стояли растрепанные; нарушив свою конусообразно-строгую форму, они походили на гигантские веники. Государь в карете посланника на превосходных серых лошадях проехал днем в Ватикан к папе.

Багрецов бродил по площади св. Петра и мельком видел его. Он был в конногвардейском мундире, молодцеватый, громадный, с волнующим и повелительным взором. Римляне пришли в восторг от его роста и выправки.



Колоннада Бернини набилась зеваками. Широкие ступени лестницы расцвелись нарядными офицерами в затянутых до удушья мундирах. Как попугаи, пестрые швейцары папской гвардии, сверкая серебром алебард, пугали ими напиравший народ для очищения свободного схода царю.

Николай показался на лестнице. Его, видимо, тешил эффект появления в вечном городе. А римляне, как их древние предки, всегда жадные до зрелищ, всегда пьяные солнцем и душистым кианти, что было духа кричали: «Evviva!»

Какой-то транстеверинец, такой же большой, как и царь, с седыми кудрями, в белоснежной рубаше, с перекинутой через плечо синей бархатной курткой, всплеснув руками, воскликнул:

— О, если б ты был нашим государем!

Тут нарядные дамы, и русские и итальянские, потеряли всякое самообладание и принялись бросать пред лошадьми севшего в карету царя — одна перед другою: розы, шитые шелком платки, разноцветные шарфы... Казалось, они готовы были сами кинуться под серых коней, как кидаются исступленные Индии под колесницу Джаггернаута.

Глядя на эти восторги толпы, Багрецов в сотый раз задавал себе вопрос: какие качества толкают людей на подобное поклонение? И что за дикая потребность выражать его ничем не заслужившему, совершенно постороннему человеку? Ужели только за высокий его рост и за сан монарха?

Всем художникам, русским пенсионерам Академии, равно как и проживающим здесь на собственный счет, было необходимо представиться государю немедленно в соборе св. Петра. Веселой гурьбой поспешили туда.

Государь явился уже в штатском: он был в коричневом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в черном галстуке, без воротничков. Его сопровождал по храму граф Федор Толстой.

Представившихся было человек около двадцати: медленно и чинно, как всем по инструкции рекомендовалось, они подошли.

Государь окинул пенсионеров быстрым сверкающим взглядом и вдруг недовольно рванул:

— Слыхать, шибко гуляете?



— Но в такой же мере и работают,— вступил немедленно добродушный Толстой.

Государь круто повернулся и быстро, по-военному, словно делал смотр, стал переходить от одного произведения к другому, нигде не задерживаясь. От времени до времени он бросал Толстому в короткой повелительной форме приказы, слегка указуя рукой на предмет:

— Поручить сделать копию!

В коричневом суконном сюртуке большая фигура царя казалась чугуновой. Он был как бы собственный памятник, сошедший с пьедестала.

Багрецова поразило обиженное и вместе надменное выражение лица его, когда он сказал, подняв голову на купол Петра:

— И у нас бы такой храм построить! Желательно, чтоб при мне...

— Ваше величество, но это чудо строилось веками и сейчас не закончено,— деликатно начал Толстой.

— Полно вам,— оборвал государь,— вы всегда говорите одно и то же!

И уже с полным неудовольствием, войдя внутрь и воззрясь в пол, воскликнул:

— Так это-то мой Исаакий? Неужто так мал?

Самолюбие царя было задето сравнительной линией соборов, вычерченной на полу, где размеры Исаакия пред собором Петра были просто мизерны.

— Быть не может...— еще раз повторил царь и вскоре пошел к выходу.

Все приделы храма и ниши заполнены были монсиньорами и аббатами.

Царь вышел из собора и уехал. Художники повалили в остерию Лепре обменяться впечатлениями и узнать, кто получит какой заказ.

Багрецов сам больше не видел государя, но получил живейшее представление о дальнейшем его пребывании в Риме в остерии Лепре, куда через несколько дней попал в урочное время.

Художники прежде всего ругательски ругали Килля, своего заведующего. Это был упрямый немец, дилетант в живописи, приставленный, как унтер, к пенсионерам с инструкцией свыше «погонять» их в работе.



— Проклятый немец,— кричал Рамазанов,— затеял нашу выставку, слышал ты— где? — кинулся он к Багрецову, еще хмельной со вчерашней попойки.— В палаццо Фарнезино, где фрески Рафаэля! Да чья живопись выстоит против них?

— А ведь предлагали ему устроить выставку в мастерской Иванова, тем более что его громаду с места не сдвинешь... а исторических живописцев у нас всего — он да Воробьев, да и тот в Палермо.

— Тем больше вам сраму, что подчинились зловредному Килю,— кричал Рамазанов,— состряпали по его немецкому рецепту этакое рагу «Aus nichts»<sup>1</sup>, выставку из ничего...

— Скульпторов небось не переломал, не понесли работы из глины! Все как один отрезали: сквасится по дороге глина, а грязищи царь довольно помесит на римских улицах.

— Что за цель была у директора, что за цель? — подозрительно повторял измученный, побледневший Иванов, кутаясь в свой вечный плащ на красной подбивке.— Одурить пред царем художников русских! Хорошо хотя, что Михайлов впросак не попал,— не избыть бы беды.

— А что же Михайлов?

— Да вот он и сам, пусть расскажет.

В остерию вбежал Михайлов, беспечнейший из художников, знаменитый тем, что терял целые папки драгоценных рисунков. Все закричали ему:

— Ladro, ladro...<sup>2</sup>

Он хохотал, крича всех громче:

— Ладра — ладрой, а зато взыскан царским заказом!

Михайлова обступили, требовали подробностей про анекдот, с ним приключившийся.

— Я, как, братцы, знаете, копировал в монастыре святого Мартина с Рибейры и хотя знал, что царь ко мне будет, пошел, как обычно, пешком, думая поспеть вовремя. Вдруг жарит коляска, а в ней неаполитанский король да с нашим. Пропала головушка! Без крыльев не долетишь. Гляжу, на привязи чей-то осел. Я вмиг на него, и хлыстом... Тут хозяин осла выбежал,

---

<sup>1</sup> Из ничего (нем.).

<sup>2</sup> Вор, вор (ит.).



орут итальянские бабы не хуже нашенских, мальчишки с свистками, витурины с бичами... Вор, дескать, ladro... За одну минуточку пред монархом приехал, влез на леса. Тут царь входит, спрашивает: «Для кого делаешь копию?» А я от бега дышу, как мех. Царь принял за волнение. Он это любит. «Не робей, говорит, Академии другую сделаешь, эту — мне».

— А сознайся, что хозяин осла тебе здорово всыпал?

— Не поспел... откупился я немалым количеством скуди. Вот у Ставассера похуже дела, — слыхатъ, карабинеров звал. Расскажи-ка, Ставассер!

— Зачем звал карабинеров? Кто ж твои статуи грабил?

— Самого чуть не разбили... Сижу в студии над своей нимфой, вдруг вбегают, кричат: «К вам император!» Ну, вошел со свитой, весьма похвалил и велел выполнить в мраморе. Тут душа ушла у меня было в пятки, да спасибо графу Орлову — спас. Царь говорит: «Делай для меня побольше размерами!» — «Воля вашего величества, бормочу, но я держал величину в натуру, и сюжет этот большего размера не терпит...»

Тут граф Орлов немедля взял мою сторону, и царь, как кость, милостиво бросил: «Делай как знаешь, главное, поскорей! И готовься: желаю тебя видеть в работе в присутствии твоей прекрасной натурщицы».

При этом адъютант, сопровождавший царя, так погано влип глазами в статую, что царь ему сказал: «А тебя не возьму, скажу все твоей жене, смотри — приревнует».

А когда царь уехал, вся улица ринулась на мою мастерскую требовать «скуди», которые царь будто бы мне оставил для раздачи народу. Уж не знаю, кто пустил этот слух. Грозилась всё изломать. Карабины чуть отстояли. Что касается Джулии...

— Дальнейшее мы знаем сами, — вмешался Шехеразада, — фортуна улыбнулась Джулии... Онный адъютант свел с ней знакомство и уже раскошелился поднести ей сияющий рубинами браслет и ангажемент в Россию... А там, гляди, взберется повыше. Адъютант лишь первая ступень.

— Нет, нет, римлянка не то, что парижанка, — вступился Рамазанов. — Джулия, узнав, что царь ее желает



видеть в райском виде, сказалась больною. Я уверен, что покуда царь будет здесь, она позировать не станет.

— Однако ж у тебя на дому бриллианты приняла! Как же, хвастала тетушка!..—прогнусил вдруг Пашка-химик.

Багрецова взволновал разговор.

— Но ведь Джулии здесь не было?—вмешался он.—Она уехала к брату...

— Уже с неделю как она на Реджио,—подскочил Пашка-химик,—и, сохраняя невинность, получает рубины...

Пашка продолжал какую-то гнусность. Багрецов уже не слушал. Он вышел из остерии и закоулками прошел к квартире, где, узнал он, жил прежде Доменико с двумя сестрами.

В пролете ворот, темном от обилия цветущих гроздей глициний и плюща, заткавшего всю стену, Багрецов столкнулся носом к носу с длинноногим и несомненно военным человеком. У прирожденных штатских не бывает в сюртуке грудь колесом и так не подрагивают на ходу плечи, привыкшие к кудрявым эполетам.

Багрецов догадался, что это и был адъютант, подаривший браслет Джулии. Непонятное чувство ужалило Багрецова. Он с изумлением подумал: «Ужели ревность?» И странней еще: он вовсе не думал о Джулии. Он бесился из-за чести дома... из-за того, что сестра Джулии не кто-нибудь, а она—Бенедетта.

Тетка, ведьмистая и страшная, как все старухи итальянки, не хотела впускать Багрецова.

— Джулия в жестокой малярии..., ой, ой, какой жестокой!

Он дал старухе золотой, и, погано шамкая ему в ухо, она зашептала:

— Джулия на работе в студии, сейчас туда направился высокородный русский принчипе...

— Ну, хоть он и долговяз, а я попаду раньше его,—сказал Багрецов.

И, чуть не давя полуголых чернокудрых ребятишек, он напрямик побежал в мастерскую Рамазанова.

Но художник заперся. Тщетны были стуки. Он так увлекся работой, что не слышал ничего. Вскоре подо-



шел и адъютант. Багрецов, спрятавшись в кустах, имел удовольствие видеть, как наконец вышедший на стук из кухни мальчишка-итальянец — слуга Рамазанов — сказал адъютанту, что маэстро уехал на несколько дней в Альбано. Тот в досаде пощипал усы и повернулся вспять. Багрецов, сам не зная для чего, продолжал пребывать в своей засаде.

Смеркалось. Уже заморенные зноем итальянцы заваливались спать, чтобы, пропустив час, когда минует опасность злой понтинской малярии, в ночной прохладе, забрав гитару или мандолину, бродить с возлюбленной до света. Багрецов без конца сидел на горке, в запущенном винограднике. Он решил во что бы то ни стало выследить Джулию. Он был уверен, что Рамазанов ее укрывает. Джулию он хотел расспросить о сестре. Решительно Бенедетта не была ему безразлична, особенно с тех пор, как он, приведя Доменико на виллу Волконской, тем самым невольно ухудшил ее положение в тюрьме.

Наконец, совсем поздно, действительно Джулия вышла с черного хода. Сам Рамазанов открыл ей дверь в запачканном глиной фартуке. Сперва он один выскочил на улицу, для чего-то оглядевшись во все стороны, потом выпустил ее. Джулия была в большом черном платке, зашитом шелковой гладью, какой носят вечерами на Пьяцце венецианки. Лицо ее было скрыто. Чуть сверкнул в сторону Багрецова пламенный черный глаз, и голос, полный и звонкий, который Багрецов запомнил единственным, который ни с чьим другим спутать не мог, этот голос сказал Рамазанову:

— Addio! Значит, завтра опять в этот час?

— Да, да, и опять в строгой тайне, будь покойна, — сказал Рамазанов, запирая дверь.

Багрецов в мгновение прыгнул с виноградника и, перерезав девушке в узкой улочке путь, схватил ее за руки и шепнул в самое ухо:

— Ты не Джулия, ты Бенедетта!

Девушка дрогнула. В нерешимости на минуту закрылась платком поплотнее, но вдруг откинула его совсем с головы на спину и, беря Багрецова под руку, сверкая зубами и глазами и всей ослепительной красотой своего лица, она бросила:



— Синьор, я Джулия, Джулия... сестра-близнец Бенедетты!

Багрецов сжал ее ручку, похолодевшую от волнения, и сказал:

— Ложь! Не поможет, я тебя узнал, ты — Бенедетта. Больше того: я тебе раскрою, каким образом ты на свободе. Это следствие моего же измышления. Не кто иной, как я, дал твоей статуеобразной сестре совет смениться с тобою платьем на свиданье, что, конечно, она и сделала.

— Остроумный совет еще не доказательство... — улыбнулась девушка; она окончательно овладела собой. — Да и где у вас доказательство, что я не я, а моя сестра? Ваша любезная характеристика? Но, быть может, я статуя только по отношению к вам!

Багрецов опешил. В самом деле: где же доказательства? Уж не то ли, что его сердце билось с давно забытой силой, что безошибочно знало оно: эта девушка — Бенедетта! Не вступая в пререкания, он стал ей рассказывать про тот вечер, когда он привел на виллу Волконской Доменико, про неловкую попытку Иванова замолвить за нее пред княгиней, про общий ужас, когда наутро оказалось, что попытка спасти только ухудшила положение. Багрецов рассказал ей про вести, которые принес в остерию Шехеразада, про предложение адъютанта и его сияющий рубинами браслет...

Не будучи ни сват, ни брат, Багрецов почему-то ощутил необыкновенный прилив красноречия и яростно изобразил весь стыд такого падения для политической героини.

— Даже во имя дела? — спросила девушка, густо вспыхнув, и приостановила шаги.

Они проходили по совершенному пустырю, где уже солнце выжгло зелень, кустарники были обглоданы козами, и только камни с древними надписями стояли то тут, то там со времени императоров. Ничто не напоминало о современности. Какие-то волнующие, неуловимые сознанием грезы охватили Багрецова. Сумерки превращались в ночь так быстро, как в грозу голубизна неба сменяется лиловыми тучами. Багрецову уже неясны были ресницы на опущенных и, как он



угадывал, гневных глазах его спутницы. Пытаясь разбить свою зачарованность Бенедеттой, из самолюбия не желая терять давно, впрочем, опостылевшую ему свободу, он продолжал со страстью заправского моралиста:

— Есть дела, которые пачкают,— опять Багрецов внезапно развил мысль с такой беспощадностью, что маленькая ручка, зажатая в его руке, вдруг задрожала и выскользнула.

— Если вы посмели так со мной говорить, то вы теперь должны мне и помочь избежать позора... Иначе вы — презренный болтун!

Девушка была бледна от гнева. Ее лицо, обрамленное черным шелком платка, было как у «Юдифи» Аллори с головой Олоферна.

Окончательно утвержденный в своей догадке, опять сжимая ей до боли руки, Багрецов ответил:

— Клянусь честью, я дам тебе сколько надо для выкупа твоей сестры, для дел «Юной Италии», но пошли к черту долговязого адъютанта и признайся мне, что ты Бенедетта!

— Да, я — Бенедетта,— сказала она и, опускаясь на камень в этой пустынной местности, залилась вдруг слезами.— Я так измучилась...

Багрецов обнял Бенедетту. Он так был благодарен, что полюбил ее, не зная даже, что любит.

— Я ненавижу этого адъютанта,— прошептала Бенедетта,— я бы хотела вернуть ему тот браслет... но Барбара уже его продала. Ведь она мне вовсе не тетка, а совсем чужая. У меня не было чем ей заплатить, а брат мой Доменико тоже в тюрьме, в Реджио.

— Не беспокойся ни о чем, дорогая,— сказал ей Багрецов,— браслет, разумеется, куплен на Корсо, где их делают дюжинами, мы вместе поищем, и я его обратно отошлю адъютанту. Но надо, чтобы ты от Барбары немедленно переехала ко мне. Ты не беспокойся,— поспешил он ответить на опасливый пытающий взор,— у тебя будет полная свобода и отдельный выход. Мы можем даже не видаться совсем. Ведь я прочных романов заводить не охотник, а на легкий ты сама не пойдешь. Пусть лучше нас свяжет интерес к «Юной Италии».



— О, как вы благородны! — прошептала она. — Да, конечно, я сейчас водворюсь у вас. Я боюсь, что синьора Барбара подкуплена тем офицером.

Багрецов привел к себе в дом Бенедетту, которую представил своему *maestro di casa* как Джулию, нанятую им портниху для шитья белья.

*Maestro di casa*, чудесный старик, пробормотал:

— Знаем мы этих портних. Девушку-сироту обидеть нетрудно.

Отличное начало: старик, у которого внучку загубили солдаты швейцарской гвардии, будет особенно досматривать за Бенедеттой, обрадовался Багрецов, ведь только это и было нужно. А сама Бенедетта была совсем покорена его благородством.

Багрецов счел полезным для дела рассказать старику про происки адъютанта, чтобы на случай, если бы он явился, тот не допустил его до гостьи.

— Да я его, *esselenza*<sup>1</sup>, будьте покойны, спущу с лестницы, — погладил он нежно по голове Бенедетту, вспомнив собственную обиженную внучку.

---

<sup>1</sup> Ваше сиятельство (*ит.*).





## Глава VII ХУДОЖНИК ЗЛАТОГО ВЕКА

...С изумлением прочел ваше письмо, недоумевая ко мне ли оно писано?

Мне поставляется в закон писать пять отчетов в год... и какие странные выражения: писать я их должен гениальным пером. Стоят отчеты ни о чем — гениального пера? Какое странное ребячество в мыслях и какое неразумие, даже в словах, в выражениях...

Гоголь

Багрецов запутался и как бы потерял сам себя. Он ехал в Рим, как инфернальный романтик из какого-нибудь «Эликсира сатаны», для того чтобы, стукнувшись о твердыню духа Александра Иванова, — или взорвать ее, или взорваться самому.

А на деле вышло, что занялся он спасением прекрасной сподвижницы *il risogimento*, «возрождения Италии». Что же до Александра Иванова, то тут он просто встретил не то, чего ждал. Это не был так



раздражающий издалека монолитный человек, заставший в своей идее,— это был целый мир, сложный, трепетно-живой, противоречивый, с обаянием мудрости древних народов, с сердцем ребенка.

И вот Багрецов, собравшийся было совершить преступление, подобно средневековым злодеям, покусавшим для своего обновления здоровую юную кровь,— коварным духовным воровством так или иначе поживиться от внутренней мощи бывшего друга, едва увидел его, вдруг понял всю безвкусную пошлость подобной затеи. Это было, как если б он задумал тешиться картонной декорацией леса, попав в подлинный дремучий благоухающий лес.

Багрецов полюбил Иванова и занялся его судьбой.

Прежде всего он предложил ему денег, но тот, хотя сильно нуждался,— не взял. И тут, как во всем, он был своеобразен. Брал легко от сильных мира, от казенных учреждений, так даже требовал, унижался, считая своим долгом во имя своей работы хватать чуть ли не за шиворот всех, у кого был громкий титул, чем Гоголь строжайше, но тщетно его попрекал.

Но у Багрецова, добровольно хотевшего ему дать, Иванов не взял, говоря:

— Ты человек ленивый и скучающий; растрясешь деньги,— даже жениться не сможешь. У ленивого братъ грешно, он себя сам обобрал.

Последние дни Иванов был в чрезвычайном волнении: генерал-майора Киля, курляндца, дилетанта в акварели, назначили на место покойного Кривцова надсмотрщиком за русскими художниками в Риме.

Когда Багрецов вошел в мастерскую Иванова, тот бегал взад и вперед, заложив за спину короткие руки, бросал отрывисто:

— Я его образ суждения знаю, я с ним уже имел ссору лет десять назад, он не преминет вспомнить...

— Не наддай, Александр Андреич, вздору...— предупредил, здороваясь, Багрецов.

— Поздно-с. Наделал-с...

Иванов остановился и развел руками:

— Я секретарю Зубкову уже написал, что, работая безусьпно над картиною, в виду взятой с меня подписки о скорейшем ее окончании, не могу уделить



ни вот эстолько-с времени для приема посетителей, хотя бы и генерал-майоров. Задвижкой задвинусь, задвижкой, от курляндского дядьки над вдохновением художника русского!

— Чудак,— сказал Багрецов,— плевать ему на все твои задвижки, он и не глядя на картину пошлет донос...

— И поспел уже, вообрази. Из Петербурга пишет мне батюшка: «О тебе слышно в Обществе Поощрения, что ты ленив и нарочно тянешь работу, растекаясь во множестве подготовок». Варвары люди!

Однако слушай: я составил целый проект преобразования инспекции над художниками русскими в Риме. По этому проекту Гоголь должен вступить на службу секретарем при князе Волконском...

Иванов побежал к столу, отпер ящик, вынул бумагу и торжественно прочитал:

«Исторический живописец Иванов, избранный специально, к тому ведомый прямым божеским промыслом, откровением и вещими снами...»

— Удивляются удальству мужика, выходящего сам-на-сам на медведя, дивились Яну Усмовичу, удивятся и мне, когда я в разъяренный час государя войду как художник русский и своею картиною успокою его...

— Александр Андреич, тебе надо лечиться! — воскликнул испуганный Багрецов.

— Пустое,— отмахнулся рукою Иванов,— дай досказать. О, насколько такого рода живописец превышает предшественников! Новый исторический живописец произведет преобразование всей земной жизни, возведя низкое и недостойное к силе и гармонии. Все нации притекут к нам за советом...

И следствие, дражайший мой, о, какое отсюда личное следствие для одной партикулярной судьбы! Дражайший, я тебе доверяю. Ты знаешь меня сизмальства... Академия... субботы у Рабуса... Ты видел ее, ту воздушную невесту, ты знал мои муки. Преодоленную ради искусства любовь... И вот вторично: на сей раз высокородная дева, увы, имеющая мать, коей именитый род препятствует войти в равенство со мной, бедным художником. Однако молчание, молчание...

Скажу только одно: когда исторический живописец в чаемом мной «златом веке» преобразования



нашей жизни через искусство, поставлен будет на должную высоту, то все вельможи за счастье... слышишь меня? за счастье почтут выдавать своих дочерей за светильников человечества!

— Глеб Иваныч,— сказал Иванов жалобно и доверчиво,— не правда ли, женщина создана быть помощником человеку? И не правда ли, я смею сейчас снова об этом думать, когда в мозгу моем зародились начинания беспримерные? Одинокому их не выполнить...

— Но тебе надлежит прежде всего окончить картину...

— Что картина? я пережил ее. Новое стучится, неизмеримейшее по заданию. *Откровение всему человечеству!* Но без поддержки сердечной изнемогаю...

Послушай, Глеб, ведь это ты причина моего счастья, ведь это ты ввел меня в их дом. О, что за чудо: молодая дева, знатного происхождения, по внешности полна прелести рисунков Леонардо, полюбила меня горячо. Верь, Глеб, отвечу ей святостью жизни и откровением в поприще живописном...

Багрецов остолбенел. Не было сомнения в том, что Иванов верует непреложно, будто Полина Карагина его любит и хочет с ним соединиться. Между тем вчера еще она в разговоре сказала:

— Ну и пусть он гениален, но в такой же мере он просто тюфяк.

Нечто вроде угрызения проползло в сознании Багрецова. Да, это он ввел Иванова в аристократическую семью и себе для забавы раздувал его влюбленность. Передавал поклоны, подчеркивал улыбки и разные светские пустяки. Но сейчас что было делать? Всей правды сказать невозможно. Багрецов попытался сделать слабую попытку:

— Ты забыл о матери, Александр Андреич, поверь, какое бы ты ни занял высокое положение, эта надменная женщина останется тем, чем была. Она на брак с тобой дочери не согласится, ибо она...

Он не кончил. Иванов вдруг побледнел и, как бы отталкивая от себя короткими пальцами некое ужасное виденье, зашептал:

— Знаю, что хочешь сказать. Почти ценою жизни знаю. Намедни, после кофе, в трактире Ельветико я почувствовал боль в животе... Это она подкупила



гарсона, я знаю, это ее отравы! Только доза была незначительна...

Иванов метался по мастерской, топоча крепкими ногами:

— Глеб, да объясни же этой женщине всю высоту, все значение художника! Докажи ей, найди слова, ты ведь мужчина. Не то что я... Сижу в гостиной как пень. Ты скажи, Глеб, одно: высокое происхождение не помеха войти в равенство со мною. О, как пойдет моя работа, как вырастут крылья. Иди, Глеб, иди!

Багрецов вышел из мастерской вне себя. Как? Неужто он приложил руку к гибели художника, чья гениальность была для него несомненна? Но как мог он забыть своеобразие этого человека с волей необычайной. Ради картины он годами мог вести жизнь аскета, а в делах каждого дня так бессилён был защищать все богатство своего большого ума и, невыносимо страдая, подчинялся нередко чужой, настойчивой системе. Это была трагедия жизни Иванова. И подчинявшиеся, много бездарнее его, как пресловутый Овербек или собственный отец, почтенный профессор, по старинке почитавший Рафаэля «благодетелем», а Микеланджело «дерзким», безбожно сушили его смелое вдохновение.

И какая насмешка судьбы. В ту минуту, как привязанность и уважение к Иванову все сильнее наполняли Багрецова желанием служить ему,— он сам являлся виновником нового большого страдания, которое, конечно, надолго отсрочит окончание картины.

И вдруг, как вдохновение, Багрецову пришла в голову мысль не разбивать безумной мечты друга,—напротив того, сделать все, чтобы соединить его браком с княжной. С каждым шагом выдвигались все новые доводы в пользу этой затеи. И когда Багрецов подходил к дому Карагиных, он весь уже полон был бешеной энергии, готовый принести Иванову в жертву всех, лишь бы создать ему условия для успешной работы.

Багрецов знал Полину с детства и сам не раз любовался лицом ее, по определению Иванова полным бесколёрной флорентийской нежности, с затаенной улыбкой да Винчи.



Полина была хорошо образованна, с тонким вкусом. Но с внешностью несколько надземной прекрасно соединяла и раннее честолюбие и прерасчетливый холодок.

Великодушный мечтатель Иванов, не привыкший к женскому обществу, выдавший или однообразно доступных за лиры натурщиц или запомнивший чопорность моды петербургских девиц, строгую скромность дочки Гюльпе,—обычную светскость княжны и интересы к искусству отнес к своей собственной личности.

Багрецов решил с умной Полиной говорить прямо. Своим твердым и быстрым шагом он дошел до ворот Константина и еще издали увидел Полину под огромным зонтом пред мольбертом. Бегло, по привычке все отмечать, он отметил ее белый, еще не виденный им костюм, перевел глаза на ее спутницу и вдруг должен был остановиться, сесть на камни, почувствовав острое сердцебиение.

Как он мог забыть, да еще выполняя программу Пашки-химика, утром шествуя на форум, кого он там встретит? Беспокойство об Александре Иванове затуманило все его личные обстоятельства.

Ну, конечно, эта небольшая женщина рядом с Полиной—она, замышлявшая обличительный костюм «флаконе Борджиа», маленькая Гуль, сестра его покойной жены.

Опустив голову с черными волнистыми волосами, она читала, шляпу положив на колени. Ничто не мешало Багрецову изучать этот странный египетский профиль со знакомыми темными веками, так похожий на профиль жены. Обе женщины его не видели.

Гуль—жена адъютанта, который приехал с высочайшим посещением... И вдруг он понял, что этот адъютант не кто иной, как тот долговязый поклонник Бенедетты, с которым он столкнулся у ворот ее дома. С тревогой у Багрецова мелькнуло: «Почему Гуль не дала мне знать, что приехала?»

Быстро решив, что тактичнее всего не показывать ни недовольства, ни удивления, Багрецов с своей обычной насмешливо-галантной манерой направился к камням. Гуль подняла голову и узнала его. Испуг, страстное волнение, гнев—все отразило лицо ее, смуглое, с удлинненным овалом. Минуту она не владела



собой: схватила шляпу, опять положила, встала, как бы желая укрыться. Но привычная дрессировка взяла верх над ураганом взметенных чувств, и когда Багрецов был рядом и прикладывался к руке Полины, Гуль уже приготовила улыбку и столь обычное:

— Ах, это вы, вот неожиданность!

— Для меня еще более, чем для вас, и, вероятно, приятнейшая,— сказал Багрецов,— потому что, будь я на вашем месте, я бы, приехав в Рим, пожелал бы немедленно вас видеть...

— Гуль, приехав, заболела, да и вы, кажется, были в отъезде...

Полина покраснела. Она лгала, и Багрецов это знал. Он злобно решил наедине от нее выпытать все.

— Я к вам по спешному и серьезному делу,— сказал Багрецов.— Назначьте, где и когда мне вас можно сегодня увидеть?

— Но говорите с Полиной сейчас,— вставая, сказала Гуль.— Мне необходимо пойти по делам. Вам часа не будет довольно?

Она старалась себе придать лукавое выражение, но лицо ее было строго, и почти сросшиеся черные брови неприятно напомнили Багрецову мертвое лицо покойной жены.

— Ты смотри, через час возвращайся,— сказала Полина.

— Нет, уж лучше я прямо домой, я забыла,— есть нужный визит.

— Но когда в таком случае я буду иметь честь с вами встретиться? — Багрецов задержал на миг в руке худую руку Гуль.

— На маскараде у Карагиных,— улыбнулась она многозначительно, глядя на Полину.

— Почему же на маскараде? Или я должен буду отгадать вас под маской, чтобы быть достойным свидания, не так ли?

— Вы догадливы, как всегда,— засмеялась Полина.— На этот раз только наоборот: вы будете достойны его, если не угадаете Гуль.

Гуль, не улыбаясь, слишком серьезно сказала:

— О да, я бы так хотела не быть вами угаданной!

— Во всяком случае, не-раз-га-дан-ной вы мне были и такою, видно, останетесь,— поклонился Багре-



цов, думая с раздражением: «У этих женщин против меня целый заговор!»

Когда Гуль ушла, он сказал Полине небрежно: — Что это у вас с ней за тайны?

— Я корыстна,—улыбнулась своей флорентийской улыбкой Полина,—и мне сперва надо узнать, что я сама могу получить.

— Дешевый дар — маскарадный секрет,—поддразнил Багрецов.

— Не шутите маскарадом, особенно в Италии, где при помощи маски издавна совершаются преступления... или узнаются уже совершенные.

Полина пытливо глянула Багрецову в глаза, но он сказал холодно и серьезно:

— Это все пустяки, времени мало, займемся вами. Я знаю, Полина, как вы умны, и потому не прибегну с вами в том деле, ради которого пришел, ни к одному из обычных приемов хитрого увещания. Я начну прямо с цели. Я явился к вам сватом...

Полина рассмеялась.

— Для пущей оригинальности,—сказала она сквозь смех,—я предполагаю вас даже не уполномоченным на это сватовство самим женихом?

Полина была невысока и тонка. Багрецов должен был наклониться к ней близко, чтобы говорить. Он сел рядом на камень. Издали могло показаться — влюбленные.

— По вашей реплике,—улыбнулся Багрецов,—я вижу, жених вам известен.

— Еще бы! Синьор Алессандро.

— Так слушайте ж меня хорошо: это художник гениальный. Первый из художников русских, не подчинившийся влиянию ни Рафаэля, ни Тициана, ни дель Сарто в изображении близкого им сюжета. Если вы не видите на его полотне щегольского мазка и фейерверка Брюллова, то это лишь залог того, что вещи им писаны для веков, а не для злобы дня. Его работа — целая академия. Благородство стиля, сила композиции...

— Что это, вы затеяли целый трактат,—сказала лукаво Полина,—и не боитесь наскучить?

— Сейчас дело коснется вас лично, и тут, я знаю, у вас терпения хватит на век!



— В таком случае слушаю. Но напрасно вы полагаете, что я не знаю цены Александру Иванову. Вчера Каммучини не мог им у нас нахвалиться. Он ставил его выше Брюллова. Но что мне от этого?

— Полина, дослушайте до конца. От вас одной зависит, чтобы всеобщие надежды на его гений были оправданы, чтобы имя его уже сейчас, при жизни, прогремело в Европе. Припомните триумф его «Магдалины» здесь, в Капитолии. Если «Явление Мессии» будет окончено так, как начато,— оно вызовет бурю.

Полина, возьмите фортуна этого ребенка-мечтателя в ваши умные, деловые руки. Покажите, что вы не обыкновенная женщина. Действуйте не по сентиментальности обманчивых чувств, а по логике и уму, которые знают, откуда идут и к чему приводят.

Заставьте Иванова скорее окончить картину. Если, не размениваясь по сторонам, он все силы отдаст на нее, он скоро ее завершит. Вы настойте на том, что тщетно и давно ему предлагают,— везти свою вещь по главным городам Европы. Подобная выставка ему даст огромные деньги и всемирную славу.

О том, что выигрываете лично вы, Полина, излишне мне говорить. Свободу действий при муже-ребенке, независимость и славное в Европе и России положение. Если ж в вас есть хоть капля любви к искусству, то и гордую честь — спасти России ее гения.

Без вас он погибнет. Он тяжело и глубоко в вас влюблен. Он надломлен мелочью жизни, бездарностью власть имущих, он уже на пути к мистическим бредням Гоголя...

Но выведенный вашей рукой из одиночества, он оправдает надежды России. Вы спасете гения, Полина. Это ль не доблесть?

Решайте: брак, полный почета, свободы, земных благ и благодарности русской истории, или тусклая, как у каждой, пустейшая светская партия, которая убьет вашу оригинальность и прибавит к дюжинам светских журфиксов еще один, никому не нужный.

Решайте, Полина. И в ближайший вечер, когда ваших не будет дома, уйдите от вашей англичанки сюда. Я сам отведу вас в студию на улицу Сикста. Вы должны говорить с Александром. Вдвоем все решить. А матери сообщить о решенном. О ее согласии,



конечно, нельзя и мечтать, но фактам в любовных делах все родители покоряются.

Полина долго сидела безмолвно. Потом она подняла голову, ясно глянула на Багрецова своими голубыми, тона северного неба, глазами и сказала деловым, трезвым голосом:

— Ваше предложение принимаю. Оно как раз кстати. Ко мне вчера сватался граф К.: богат, стар, глуп и ревнив, как паша. Если я могу иметь те же средства при лучших условиях, хотя бы с потерей титула, но с приобретением всемирно славного имени,— я согласна. В том, что у Иванова оно будет, мне порукой слова Каммучини и Торвальдсена. Они даже уверили мою мать. Я же хочу одного—свободы!

И чтобы не откладывать в долгий ящик, свидание—сегодня же вечером. Идите, предупредите Александра Иванова, чтобы он не упал в обморок, увидев меня в мастерской.





## Глава VIII

### ДВА БРАТА

Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях природы, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного.

*А. Иванов*

На красноватых камнях Колизея, укрывшись от заходящего, но все еще жаркого римского солнца, в тени куста отцветающей желтой розы сидел молодой сухощавый человек. Судя по чемоданчику, стоявшему рядом, по измятой дорожной куртке, это был приезжий.

Он читал письмо, вероятно с указанием необходимого адреса, потому что то и дело, отрываясь глазами от строчек, вскидывал кудреватые волосы, оглядывал



узкие улицы Рима, словно прикидывал, по каким из них ему пуститься на поиски.

В бесчисленные ниши Колизея глядело пурпурное небо. Вечерний, уже освежающий ветерок шелохнул кусты и сорвал пышный опадающий цвет. Он, как золотом, осыпал желтыми лепестками сидевшего.

— Эй ты, избранник розы, идем в кафе Греко, все наши там...— И, спрыгнув с камней вниз, молодой художник крикнул:— Очнись, куме Марченко, ходим до Бахуса!

Вдруг он смутился: приезжий был ему незнаком, но, улыбаясь, протянул ему руку и сказал:

— Очень рад неожиданному привету. Вы, как видно, художник и можете мне помочь. Я пустился на поиски брата по его же письму, да, вероятно, запутался. Александр Иванов — мой брат.

При этом имени остальные художники прыгнули на камни и окружили приезжего. Шумно перебивая друг друга, они засыпали его вопросами по-русски и по-итальянски. Приезжему себя называть не пришлось.

Все русские художники встречались в кафе Греко, где знали доподлинно друг про друга мельчайшие подробности. В кафе Греко замышлялись картины, велись бурные споры об искусстве, налаживались заказы и со всех концов города неслись и множились вести. Всем было известно, что Александр Иванов ждет к себе брата Сергея — архитектора.

— Айда, ребята, за архитектором всей гурьбой, быть может, синьор Алессандро на радостях пустит и нас в свою мастерскую.

Александр Иванов, проживший уже семнадцать лет в Риме, прославленный выставленной в Капитолии картиной, поглощенный новой громадной работой, давно удалился от шумных товарищей. Но тем сильнее возрастал их интерес к его заповедному холсту, который он все еще ревниво держал на запоре.

— Вот бы взглянуть,— закричали кругом.— Подмалевок, слышать, закончен,— шутка ли, тридцать пять фигур во весь рост!

— Подготовительных этюдов штук двести.

— Из-за каждого камня и дерева исколесил все окрестности... Ночевал чуть не в понтийских болотах, чтобы верно дать пустыню, сам схватил лихорадку.



Питается чечевицей да водой из фонтана, свою пенсию всю извел на натурщиков...

— Простите,— прервал архитектор,— я боюсь, что мечты ваши напрасны. Брат еще не хочет показывать своей картины. Он недавно писал батюшке, что, рискуя навлечь гнев начальства, отказался пустить в мастерскую ревизующего генерала.

— Да его к черту было мало спровадить, этого Киля! — крикнул верзила в бархатной куртке.— Генерал от пушки, да к Аполлону!

— А что, в Академии все по-старому? Все чины да поклоны? И усы брить приказано, и жениться нельзя?

— Кто добрался до Италии, мигом оженим, хоть на срок, хоть навеки!

И юркий маленький художник, под руку с черным, как жук, итальянцем, стал по очереди представлять всех Сергею Иванову:

— Вот сухопарые овербековцы-назарейцы, божественное измышляют, свой жар теряют. Потолще — немцы пивные, они жанр пишут: свиньями промышляют, знай гроши собирают.

— Ха-ха-ха, овербековцы их презирают? Они на горе, как монахи...

— Монастырек-то ихний на горе, а гора в винограднике. А на горе Арарат, как известно, Варвара рвала виноград.

— Не грехи, их папаша Овербек всех в псаломщички повернул!

— Вы — назареец? — повернулся с интересом Сергей Иванов к худому, очень серьезному человеку.— Мне хочется поближе узнать вашу новую школу. Брат писал несколько лет тому назад об ней с большим увлечением.

— Сказано: сухари постные — вот и вся школа,— ввернул маленький.— Синьор Алессандро, бывало, не брезговал пить с нами, пел под барабан, плясал под бубен, а назарейцы его задурманили: не отдадим Овербеку хоть брата. Айда в кафе Греко, спрыснем архитектора, посвятим его в рыцари нашего ордена имени Вакха.

— Я не дальше, как завтра, приду к вам,— отбивался Сергей Иванов,— сейчас мне надо к брату, в улицу Сикста...



Багрецова, проходившего мимо с поручением Полины, привлекло сборище знакомых художников. Поняв из разговора, что приезжий — Сергей Иванов, архитектор, тот самый любимый брат, которого давно жаждет видеть Александр Андреевич, Багрецов выступил из толпы и сказал:

— Я спешу с одним экстренным поручением к вашему брату, так что нам с вами по пути. Я часто бывал в вашем доме, может быть, вы фамилию запомнили — Багрецов.

— Глеб Иванович, как я вам рад! Отец часто вас поминал, — оживился Сергей, и они, распрощавшись с шумной ватагой, отправились вместе. А художники, о чем-то поспорив еще, всей кучей сверглись по лестничкам опять в Колизей и, выстроившись в две шеренги, как задорные петухи, стали насакивать друг на друга.

— Пустые ребята, — сказал Багрецов. — Посудите сами, что общего может быть у вашего брата, увлеченного громадной идеей, и этими шалопаями, хотя они и не без таланта?

— Мне писали, что брат изменился за последнее время, — сказал робко Сергей. — Он стал окончательно нелюдим, запирается... порвал со своим лучшим другом Гоголем...

— В вашем брате давно происходит мучительная творческая работа, неизменная спутница того нового, что большие таланты дают человечеству.

Багрецов волновался за встречу братьев. Александр Иванов мог в припадке недоверия не пустить к себе сразу Сергея.

— Вот мы подходим, — сказал он. — Мастерская вашего брата в глубине этой аллеи роз, прямо в двери, второй этаж.

Сергей Иванович сам был полон тайной тоской, боясь поверить дошедшим слухам об Александре как о человеке одичавшем, чуть не больном манией преследования. А он помнил брата двадцатилетним юношей, открытым, полным надежд.

— Вы сейчас постучите в эту дверь три раза и, помедля, еще два — таков наш условный стук с Александром, когда я прихожу ему читать. Чтобы не помешать вашему свиданию, я пойду в сад. Вы позовите меня, когда найдете удобным. У меня очень



важное поручение к Александру, которое немало его может обрадовать.

Багрецов немного отошел, а Сергей, собравшись с духом, постучал в дверь. Она приоткрылась. Как аист, осторожно высматривая, выдвинулась голова с длинными непричесанными волосами и всем спокойным обликом Александра Иванова, так напоминавшим хозяина-мужика средней полосы России. Только глаза его, большие и темные, беспокойно-подозрительно глянули по сторонам. Он сделал щиток над глазами, защищаясь от последних лучей заходящего солнца, падавших ему прямо в лицо через узкое оконце коридора, и мягким голосом, слегка пришепetyвая, спросил:

— Ваше имя-с?

— Это я... я приехал,— сказал Сергей и запнулся. Он тоже вдруг не поверил, что это его брат.

— Александр Андреич! — крикнул Багрецов снизу.— Да ведь это брат твой, архитектор. Я привел его сюда.

Стоявший в дверях еще минуту вглядывался, вдруг лицо его дрогнуло, он протянул обе руки и ввел Сергея Иванова в мастерскую. Сейчас же за ним старательно запер дверь.

Потом еще молча, жадно глядел в молодое взволнованное лицо, как бы ища в нем былые черты детства:

— Да, точно, Сереженька, брат мой,— наконец сказал он и, обняв брата, заплакал.

Солнце зашло, но луны еще не было. Над Римом встала темно-синяя душистая ночь. Трещали цикады, пела мандолина. Песней и смехом полны были лодки, скользившие вдоль Тибра.

Через открытое окно Александр Иванов окликнул Багрецова, тот вошел. Все трое уселись на низком диване, единственной мебели в мастерской. Братьям надо было столько друг другу сказать, что они больше молчали, чем говорили, и присутствие постороннего им было приятно. Ведь Сергей приехал на долгие годы.

Односложно спрашивал старший про уже покойную мать, про отца и сестер, с которыми расстался почти двадцать лет тому назад. Долго, пристально смотрел на брата и думал, вероятно, о том, как же сам он постарел, если брат стал совсем новым, незнакомым ему человеком.



— Увижу ли когда своего старика? — сказал Александр с грустью и перевел глаза на чудовищный, всю стену занявший холст, закрытый драпировкой.

— Вот где моя юность и сила, радости и здоровье, — сказал он брату, подходя к холсту. Он протянул руку, чтобы отдернуть драпировку, но остановился в волнении. — Нет, не сегодня... сегодня слишком счастливый день, а холст этот — как неизлечимая болезнь, которую лучше забыть.

Сергей был изумлен:

— Что ты говоришь? Неужели заветное дело твое, твоя необычайная картина тебе уже не дорога? Как? Сколько жертв даром!

Лицо старшего брата вспыхнуло, потом он побледнел, повторил:

— Да, сколько жертв даром... Жестоко сказано... Но самое жестокое в том, что сказано верно.

— Прости, брат... — смутился Сергей, поняв, что здесь та тайная большая боль, перед которой и нищета, и обиды чиновников, и все прочее — булавоочные уколы.

— Батюшка и родные очень польщены твоим званием академика, — думая сказать приятное брату, вспомнил Сергей.

— Вот как, — горько усмехнулся Александр, — они все еще полагают, что жалование в шесть — восемь тысяч и удобная квартира в Академии есть предел блаженства художнику. А я думаю, что это его совершенная гибель.

Александр Иванов в волнении небольшими шажками пробежал по мастерской, взял Сергея за плечи и жарко сказал:

— Брат мой, звание академика, казенная квартира — *по-ги-бель!* Ты молод, ты начинаешь, запомни: совершенно свободен должен быть художник. Никогда ничему не подчиняться!

Добрые утомленные глаза Александра Иванова горели. От мешковатой добродушной фигуры веяло долго сдерживаемой силой. Он говорил как власть имущий.

— Я дорого заплатил за познание, что есть свобода... Ценою вот этого чудища, этой неудачной картины, а значит, и всей своей незадачной жизни...



Багрецов прервал Иванова, подавая ему конвертик Полины:

— Александр Андреич, вот тебе просили передать.

Иванов прочел несколько раз строчку Полины и, кинувшись к брату, пришепечывая и захлебываясь от восторга, сказал:

— Сережа, сегодня необычайный, счастливейший день моей жизни... Я не привык к откровенности, но мне хочется, Глебушка,— он как бы извиняясь обратился к Багрецову,— мне хочется сказать сейчас брату, почему я так счастлив. Но выйдем на воздух, мне легче говорить всюду, нежели в этой мастерской, где я столько лет привык к скрытности и безмолвию. И ты, Глеб, иди с нами.

Багрецов отметил, как болезненно поразило Сергея то, что, несмотря на чрезмерное оживление, брат его, прежде чем щелкнуть ключом, еще раза два входил в мастерскую, подозрительно оглядывая все углы, и только тогда, запирая дверь, вымолвил:

— Много, ох, много у меня врагов!

Они все трое спустились в сад. Лицо Александра Иванова, озаренное луною, было так задушевно и трогательно, что Багрецов невольно на него загляделся.

Да, этот белый широкий лоб, усталые добрые глаза, нежные, как у ребенка, щеки трогательно вызывали нежнейшие чувства дружбы... «Но, может быть,— подумал Багрецов,— для любви надо что-то совершенно иное, иначе не вырывалось бы у Полины так пренебрежительно часто «тюфяк».

— Друзья мои, мне хочется вам сказать, как безмерно я счастлив...— начал Александр Иванов.

— Подождите,— остановил Багрецов, глядя на часы.— Мне время идти за ней.

— Повремени, Глеб, минуточку,— удержал Иванов как бы в незапном страхе за руку Багрецова и сам в страшном волнении повернулся к брату:

— Слушай, Сережа, после многих лет монашеской, отреченной жизни судьба посылает мне радость. Я люблю и любим. Сейчас она придет мне сказать решающее слово. Какое доверие! Ведь это — девица высшего круга, ее из дома одну никуда не пускают. Верно, родители дали согласие. Прекраснейшие люди,



но чудаки, они до сих пор считают, что художник унизителен ихнему роду. Иди, Глеб, приведи ее!

— Но, Александр, не делай себе детских иллюзий,— с беспокойством воскликнул Багрецов.— Повторяю тебе: ее мать продолжает быть и навсегда останется того же мнения. Приход Полины — ее собственная затея при моей поддержке, и еще неизвестно, что этот приход тебе принесет.

— Русская дева, о, что может быть самоотверженнее! Беги, Глебушка, не опоздай!

— Я уйду, чтобы тебе не мешать,— сказал поспешно Сергей.

— Милый брат, ты не гневайся... такое совпадение! Твой приезд и эта записка... Ведь первый раз в жизни, ты знаешь меня. Конечно, она пробудет недолго, в доме такая строгость... Впрочем, мать предостойная женщина и, между нами сказать, если она и покусилась на мою жизнь, то я извиняю ее от души.

— Брат, ты бредишь,— испугался Сергей,— какое покушение?

— Думаешь, мнительность? Возможно, возможно...

И, понизив голос, Александр Иванов горько сказал:

— Будь ко мне добр, Сережа, ведь моя странная судьба только и делает, что питает подобную мнительность. Хоть вспомни недавнее: заказ Тона для храма Христа. Я всю душу положил, без конца сделал эскизов, и вдруг... перемена — Воскресение пишет Брюллов. А бесконечные издевательства глупых начальников, и разочарования, и утраты. Мне сдается порою: мои нервы болезненно, непоправимо потрясены.

Но сейчас долой все подозрения! Сережа, при твоей помощи и ее, этой ласточки, моего флорентийского божества, я окончу свою картину! Я займу первейшее место между живописцами, между художниками современности. Долой одиночество, долой черствая старость неудачника! Иду на первое свидание, иду!

Он поцеловал брата и побежал какой-то презабавной дробной рысцой к своей мастерской.

Сергей с глубокой грустью глядел ему вслед.





## Глава IX В МАСТЕРСКОЙ

...Я опять испугался людей.

А. Иванов

Когда Багрецов с Полиной вошли к Иванову в мастерскую, он забавно стоял посреди с охапкою роз, недоумевая, куда бы их поставить. Увидя Полину, он кинул цветы на диван и, безмолвный от охватившего волнения, протянул обе руки вошедшей.

— Ну, вот я и пришла,— сказала Полина и кокетливо махнула шарфом на Багрецова.— Глеб Иванович, скройтесь, нам с Александром Андреичем надо поговорить.

— Глебушка, пройди в спальню... тут у меня за стеной,— заторопился Иванов,— займись эстампами. Есть преинтересные, новые...

— Обо мне, друг, не беспокойся,— и Багрецов поспешил скрыться в соседнюю комнату, испугавшись, что Иванов от конфуза пустится читать трактат об искусстве.



В комнатухе Багрецов немедленно устроился так, чтобы все видеть и слышать по праву режиссера, которому принадлежит честь постановки.

Это было нетрудно: римские мастерские все на живую нитку, и тонкая перегородка была с большой, заклеенной обоями щелью. Багрецов без зазрения сделал брешь и, не сходя с жесткого ложа отшельника, мог наблюдать за свиданием. Иванов продолжал упорно молчать, перебирая по привычке пухлыми пальцами. Он даже не предлагал Полине сесть. Она, сморщив носик, села сама на тахту.

— Садитесь же,—не без досады сделала она ручкой Иванову.

Он неуклюже опустился как можно подальше от нее.

— Глупейшее начало,—злобно проворчал Багрецов.

— Каммучини уверяет,—сказала жестковато Полина,—что картина ваша далеко превосходит брюлловский «Последний день». А как велик был его триумф, когда весь Рим кинулся на выставку! Брюллова равняли со старыми мастерами. Подумайте, что же ждет вас, если вы перестанете упрямитесь и последуете мудрым советам!

Она тронула рукав Иванова тонкой в кольцах рукой и, блестя загоревшимися умными глазами, сказала нежно, как слова любви:

— Знаете, что меня побудило сделать этот решительный шаг и прийти к вам? Вчера в салоне у нас говорили, что вы составите себе европейское имя, если повезете свою картину по всем главным городам Европы. «Он прославит не только себя, но прославит и всю Россию»,—сказал дипломат З. А знаете, что сказала моя мать, когда мы с нею остались одни? Мы сидели в маленькой гостиной...

— Где я впервые слышал ваше чудное пение?

— И где от вас только зависит слышать его сколько угодно.—И Полина потупила глазки, как полагается в таких случаях.

«Не слишком ли круто она пустилась в атаку»,—опасливо подумал Багрецов.

По лицу Иванова пробежала мучительная тень. Он потупился, как-то втянул голову в плечи, словно ожидая, что на него сейчас свалится огромная тяжесть.



Полина, все не подымая глаз, продолжала:

— Ну вот, мама выразилась так: «Когда он и вправду прославит Россию, то имя его если не сравнится с родовитыми именами, то по крайней мере *станет прилично для всякой*, которая захочет разделить его странную жизнь...»

— Странную жизнь? — неожиданно вспыхнул Иванов в ту минуту, когда Багрецов опасался, что он разомлеет от восторга.—И вас не покорило ни определение, ни убогий, в нем скрытый мещанский взгляд на художника как на забаву и развлечение хотя бы разъевропейских бездельников?

Полина сделала жест негодования. Багрецов еще не мог понять, что могло так разобидеть Иванова, а тот уже продолжал, забыв всю недавнюю робость:

— Вы только поймите, что так называемые ваши «приличные» люди не пишут картин, не сочиняют музыки, не двигают вперед ни мысль, ни чувство—они пьют, едят, множатся. Они просто-напросто навозят собой землю, не оставляя для *человечества* никакого следа. Если ж кому даны особые дары и он ими служит миру, быть может, он имеет право и на *особую жизнь, не схожую с обычной...*

— Ну, я пришла к вам не для назидательных бесед...—прервала высокомерно Полина.

— О, какой я болван! Простите. Дикость, одиночество...—Иванов схватил Полину за обе руки.—Простите, но как стало мне больно от ваших слов! Я стал слишком чувствителен: про меня и то пустили слух, что разговор мой всегда в тоне грусти, а такого рода люди неспособны будто бы к высокому в искусстве. Варвары люди!

Но вы, ангел мой, не правда ли, вы пришли мне на великую радость, сказать, что отреченность моя от мира, что жестокое одиночество мое кончено? Вы пришли мне дать новые силы для нового, громадного дела?

Иванов вскочил и стал, как обычно, очень скоро ходить по своей мастерской.

— Пусть этот холст-чудовище,—он показал на завешенную картину,—пусть он учит, как не надо писать! Опираясь на вашу нежную руку, освещенный вашей красотой, я создам неслыханное! Я соберу миру в смелой, исполненной жизни живописи творческий



дух всего человечества. Я дам новый храм. Войдя в этот храм и выйдя из него, каждый без слов, без сухого назидания, одним лишь созерцанием моих картин станет выше, умнее, сильнее. Станет сам воплощением божественного человека. Высоким искусством спасется и подымется даже обыкновенный, пошлый лентяй. Это ли не достойная задача? И не соблазнительно ль прекраснейшей из дев быть на подобном поприще вдохновительницей?

Полина подошла к Иванову, вскинула обе руки ему на плечи и с чарующей лаской сказала:

— Наша судьба в ваших руках. Везите картину в Париж, Лондон—и у вас деньги, у вас всемирная слава... и я.

Иванов вздрогнул, снял ее руки со своих плеч и отошел к окну.

Молчали. За окном в саду выводил кто-то под мандолину старинную песнь о любви.

Багрецов уже готов был ринуться из своей засады, чтобы скрепить новый союз, соединив руки жениха и невесты.

Вдруг Иванов быстрым шагом подошел к Полине, сидевшей на низкой тахте, остановился, не доходя, и голосом глубоким, прерывавшимся от внутренней муки, заговорил:

— Выслушайте меня: в судьбе моей нерасторжимо сплетены—жизнь личная, искание религиозное и живописное. И все они три—равно опустошительные трагедии. Сил человеческих не хватает, поймите! Ужели и дальше так?

В юности однажды я отказался от любви. Брак лишал меня заграничной поездки, а я признавал, что я призван вывести знание художника русского в круг имен европейских. Я не смел лишать себя необходимого развития в искусстве, я не смел думать о себе лично.

Жизнь моя здесь, мои великие труды, нужда, унижения, бескорыстные искания—все перед вами.

Я встретил вас. Вы тронули и взволновали меня нежным вниманием, проникнув в мои замыслы, в мою душу. Отрекшись от радостей личных, я стал надеяться на чудо, но поймите ж меня: художник от человека во мне неотделим. Картина моя—моя душа. Могу ли свою душу развозить по городам и торговать ею? Когда отдам ее в Петербург, пусть делают что хотят, но сам, сам... Картина моя—моя душа.



— Но кончить-то ее вы по крайней мере не отказываетесь? — сказала резко Полина и встала. Лицо ее покраснело, слова были отчетливы, жестки, как приказ. — Сведущие люди говорят, что вам только осталось привести пестроту отдельных групп к общему тону. Связать все части воедино. Почему до бесконечности делать этюды? Петербург больше не хочет продлить вашу пенсию! — почти крикнула она. — К вам приставляют невежд и бурбонов. Живете вы нищенски, вы басня города. Между тем стоит вам две-три вещицы послать на лотерею, и средств у вас сколько угодно! Воля ваша, понять это никто из здравомыслящих не в состоянии. И знаете, что я вам скажу: когда мать моя возмущается вами, мне ей возразить нечего, нечего... Я только плачу, как сейчас.

Полина села и закрыла лицо белым платком.

Иванов опустился перед нею на колени, лицо его пылало, в глазах блеснули слезы. Он молча целовал ей руки. Внезапно он встал, как бы опомнившись, отскочил к окну. Все необычайно мягкие, растрепанные, славянские черты его лица стали твердыми. Ярko кидался в глаза умный побледневший лоб, оттененный волнистыми волосами. Он поднял голову, скрестил по привычке на груди руки и с большой силой сказал как бы себе одному:

— Безгранично свободен должен быть художник, безгранично. В великой свободе — великое творчество. А вы какое ярмо предлагаете мне?

При первом звуке этого голоса Полина выпрямилась и окаменела. Иванов продолжал:

— Вы заодно с чиновниками петербургскими, этими «мертвыми душами», предлагаете мне рисовать для лотереи картинки, писать вещицы, когда громадные идеи околдовали меня? Не то ли сделать, что сделал художник в бессмертном «Портрете» Гоголя? Продать душу за деньги ради подделки под пошлый вкус публики?

О, у меня мелькает в ответ написать вам распятого Христа, которому на вопль его «жажду» — подали желчь, а не воду. Нет, искусство предателей не прощает! Искусство требует себе всего человека.

Он подошел, протягивая обе руки, с улыбкой необычайной. И в глубоком, прекрасном чувстве сказал:



— Общее служение великой идее пусть создаст наш прекрасный союз.

Полина попятилась от него, спрятала руки за спину.

— Женщина, как и искусство, требует себе тоже *всего человека*,— сказала она холодно и, подойдя к дверям, сделала знак их открыть.

— Я провожу вас,— сказал он робко.

— Не беспокойтесь, в саду ждет меня горничная.

Полина вышла. Иванов остался стоять среди мастерской.

Багрецов не мог больше выдержать, кинулся к нему из своей комнаты, молча положил на плечо руку.

— Глеб Иваныч,— сказал Иванов, не двигаясь, не переводя глаз из точки, куда они случайно попали,— все кончено, она больше сюда не придет. Что же, видно, ничто личное — не моя судьба.

Вдруг Иванов подошел к своей громадной картине и с силой отдернул драпировку. Багрецов, давно ее не выдавший, невольно отступил, пораженный.

В картине уничтожены все женские фигуры, отчего группы стали суше и расположены как бы для скульптурного барельефа. Складки на апостолах искусственны, в духе мертвого академизма, вода первого плана похожа на пестрый узор. Лицо раба, столь потрясающее в этюде, теперь было лицом позеленевшего трупа.

— Александр Андреич,— сказал растерянno Багрецов,— что ты сделал с Крестителем? С одними вдохновенно поднятыми руками, без мантии и креста в руке, он был много прекраснее...

— Крест присоветовал мне Торвальдсен,— сказал тускло Иванов,— а надеть мантию — Овербек. Женщин же я удалил по настоянию батюшки. В одинокой жестокой жизни у художника часто нет сил доверять лишь себе одному.

Багрецов был потрясен болью невыразимой: на его глазах зарождалось, возникало произведение гениальное, обещавшее чудо, а для него самого — тайное разрешение его личной судьбы. Он ждал окончания «Мессии» как приговора или надежды на воскресение. И вот взамен чуда — работа холодного мастерства, от которого почти отлетел дух живой.



«Гобеленов ковер,—впервые подумал он то самое, что впоследствии говорили между собой все художники.—Где же былой огонь? Где широта кисти, столь поражавшая в подмалевке?»

Багрецов вспомнил о старом отце Иванова, восторженный шепот его, и гордость, и страх перед дерзкой гениальностью сына, задумавшего чудо обращения всех ко Христу «Появлением Мессии».

Долго стояли оба с тяжкими думами, как вдруг послышались шаги, и в дверь, которую впервые после ухода Полины позабыл накрепко запереть Александр Иванов, вошел его брат Сергей.

Александр быстро обернулся, вздрогнул, пришел в себя. Лицо его вспыхнуло, потом побледнело, и в сильнейшем волнении, нелепо пытаясь заслонить собою картину, он заторопился оправдать себя брату:

— Против прежнего тут изменение... Вместо городских стен теперь у меня дальние горы близятся равнинами, а во втором плане кроются обильными оливами; все это должно быть подернуто утренним испарением земли. Кроме того, картина должна получить сильную глубину в перспективе.

— Брат мой! — воскликнул Сергей.— Но это превзойдет все доселе бывшее, когда будет окончено...

— Картина окончена не будет,—прервал Александр Иванов.— Не будет! — крикнул он вне себя.— Капля точит и камень, а художник беззащитнее ребенка. И русскому таланту, чтобы совершить задуманное, надлежит прожить не одну, а две жизни. В первой жизни его лишь измучают до смерти...

— Помилосердствуй, Александр Андреич,—вступил Багрецов,—ведь тебе тут работы немного!

— Ах, пожалуйста, не надо...—Иванов в испуге, как бы защищаясь от удара, слегка поднял руки,—не надо-с. Конца не будет.

— Брат мой,—Сергей чуть не плакал,—как не довершить начатое гениально? Какое глубокое всенародное постижение Христа! Это не царь царей мастеров Возрождения—это иной, всем близкий, простой. А ожидание толпы, а этот затравленный раб? Старик, молодые, эта внезапность надежды в чудесно тобой возрожденном типе древнего палестинца? О, какое разрешение! Эта непостижимо легкая поступь. Эта спокойная сила Иисуса. Невольно вступили



мне в память стихи Федора Ивановича Тютчева. Они ходят у нас по рукам, еще рукописные...

— Скажи их, Сереженька. Вот он каков... Юный, еще не общелканный жизнью. Ведь и я был такой же. Ну, Сережа, скажи.

Сергей, восторженно глядя на картину, продекламировал в той напыщенной, несколько приподнятой манере, которая в Академии установлена была для публичного слова:

Над этой нищею толпой  
Порабощенного народа  
Взойдешь ли ты когда, свобода?  
Блеснет ли луч твой золотой?  
Блеснет твой луч, и оживит,  
И сон разгонит и туманы;  
Но старые, гнилые раны,  
Рубцы насилий и обид,  
Растление душ и пустота,  
Что гложет ум и в сердце ноет...  
Кто их излечит, кто прикроет?  
Ты, риза чистая Христа...

— Именно так, именно,—сказал Александр Иванов.— Да, так я веровал. А когда больше веровать так я не могу — тогда пришло время кончать. И вот: конца картине не будет.

Молчали.

Иванов тихо поднял руку, как поднимают над дорогой могилой, чтобы бросить прощальную горсть земли:

— Глеб Иваныч, задерни полотно!

Багрецов был бледен, руки его дрожали, когда он задерживал серым покровом трепетное тело юноши, выходящего из воды, орлиное лицо Иоанна и спешащего к людям Христа.

Наутро Багрецов нашел снова Полину на Форуме. Она была одна и тотчас сказала, натянуто улыбаясь:

— Ну, вот и развязка вашего незадачливого сватовства! Во всяком случае, я на вас, Глеб Иваныч, не в претензии. Тем более, что вчерашняя ликвидация наших умных планов сердечных моих чувств нимало не затронула.

— Что с вас взять,—пожал плечами Багрецов.— Упрекать вас за то, что вы есть, бесполезно и глупо.



— Ваше высокомерие нимало меня не трогает,— прервала Полина.— Сколько б вы ни корили женщин за то, что они не жертвуют собою гениям, они не исправятся. Для них последний обыкновеннейший мужчина может оказаться более достойным любви, между тем как Сократ будет вечно достоин одной лишь Ксантиппы! И знаете почему?

— Это любопытно. Просветите меня!

— Потому что женщина ценит только того, кому она хоть когда-нибудь может быть *целью*, а не *средством*. А потому грубейшая страсть ей предпочтительней любви— лекции по искусству. Однако я прошлым жить не люблю. Давайте заключим и на будущее союз дружбы. Ведь ваши услуги могут быть и удачней!

Багрецову Полина сделалась отвратительна, но мысль о «флаконе Борджиа» заставила его улыбнуться и сказать со всеми чарами героя романа:

— Услуга за услугу! Вы должны вскрыть мне тайну маленькой Гуль. Откуда эти очи, полные гнева, и таинственность и нежелание со мной говорить? Ужели она так стала важна от брака со своим адъютантом? А, кстати, он интересен по внешности?

— Успокойтесь: долговяз, краснонос от жертв Бахусу...

Багрецов прервал с улыбкой:

— И потерпел здесь аварию, пытаюсь приносить жертву Амуру... Передайте жене его, что он притча во языцах у художников. Скульптор Рамазанов не пускает его в мастерскую по просьбе натурщицы, в которую он соблаговолит влюбиться.

— Ах, это маленькой Гуль очень на руку,— оживилась Полина,— муж этот ей до смерти надоел. Ведь Гуль... Да неужто не догадались? Она с пелен любит вас!

Багрецов притворился изумленным, что польстило Полине.

— Вы меня поражаете,— воскликнула она.— Но знайте, Гуль настолько же вас любит, как и ненавидит. Но не правда ли, наш союз *à discretion*, клятвенный и нерушимый?

— Разумеется, что так,— удостоверил Багрецов.

Они сели под серебристой оливой на камне, и Полина с наслаждением бессмертной Евы, наруша-



ющей клятву, хотя место было пустынно, стала шепотом предавать подругу.

— Вы всегда щадите мое самолюбие и даете доказательство вашего уважения. И сейчас, хотя дело не вышло, я ценю, что вы мне хотели добра. Ну вот, я отплачу вам тем же, не желая, чтобы вы стали посмешищем. У нас на маскараде против вас целый заговор. Гуль заинтриговала всех родных и знакомых. Кто б мог подумать о коварстве в таком хилом существе! Когда она выйдет в своем костюме, все должны изучать ваше лицо.

— Для какой же цели?

— Гуль уверяет, что вы побледнеете, как преступник. Что это будет вашей уликой, и тогда она раскроет одну вашу старую тайну. Будет мстителем за совершенное будто бы преступление или за намерение его свершить — уж не помню. Ни дать ни взять опера! Вообразить вас преступником в наши дни? Флакон яда? Да чем же это не Ренессанс?

Скрывая волнение, Багрецов сказал:

— Да, презабавная история! А каков будет костюм вашей Гуль?

— Флакон с надписью: «Яд Борджиа». Недурен романтизм?

Багрецов засмеялся, и уж это вышло напрасно. Смех его вышел не легкий, а злой, так что Полина, помолчав, заметливо сказала:

— Однако вас в этой истории что-то все-таки зацепило.

— И даже очень зацепило, — поспешил он, — как всякая подчеркнутая человечья гнусность. Ведь я знал эту Гуль девочкой, она росла у меня на глазах; как умел, я о ней позаботился. И вдруг эта чисто женская кошачья месть, только за то, что я не оценил ее прелестей?

Багрецов, уже вполне овладев собою, найдя все необходимые интонации, рассказал Полине о том, что этот странной формы флакон жена его хранила при себе на тот случай, если ребенок родится мертвым.

— Подозревая, что это мог быть яд, я, похитив его у сонной, тихонько унес из-под подушки, положил к себе и, не поспев хорошенько спрятать, поспешил на зов проснувшейся жены. Вернувшись, я нашел, что флакон исчез. Сейчас мне все понятно: Гуль, с



своим замкнутым характером, разрываемая детской страстью и фантазией, вообразила целую мелодраму. И все это было бы даже мило, если бы не ее теперешний маскарадный замысел с такой гласностью и предательством. Впрочем, и это извинительно,—сказал он, смеясь.—Ведь я разбил ее семейное счастье, добродетельно помешав соблазнить натурщицу Рамазанова долговязому адъютанту Гуль.

— О, какой вы широкий и великодушный человек! — воскликнула Полина.— Сколько снисхождения к нашему женскому коварству.

«Бесподобно разыграно», — похвалил сам себя Багрецов и, придумав какой-то предлог, распрощился с Полиной и, взяв веттурино, уехал на целый день в Субиако.

Багрецов шел к себе домой в отвратительном настроении. Он был противен себе сам, как эта Гуль, с непрошеной любовью и ненавистью вставшая у него на пути.

Всплыло прошедшее. То дурманное состояние, близкое к бреду, которое охватило его после именин на Девичьем поле. Снова возникла не оставлявшая в те дни ни минуты, разрывающая все существо его, зовущая в бой музыка строк:

Я мало жил, и жил в плену,  
Таких две жизни за одну,  
Но только полную тревог,  
Я променял бы, если б мог...

Сейчас, в эту темную, безлунную, благоуханную ночь, заглушая плеск тихих весел на Тибре, звуки журчащих о любви мандолин, охватывая взором ожерелье огней на башнях святого Ангела, где сидели, бывало, в заточении благороднейшие, откуда на разрезанной простыне бежал Бенвенуто Челлини,—эти строки звучали ему вновь и вновь с прежнею силой:

Таких две жизни за одну,  
Но только полную тревог,  
Я променял бы, если б мог...

В комнате Бенедетты горел огонь. Багрецов стукнул в стекло, размахнувшись бутоном розы, продрался сквозь заросли и шипы подсмотреть в окно; удивленное прекрасное лицо глянуло в темный сад и, никого не видя, отодвинулось.



Бенедетта была в костюме транстеверинских женщин. Бархатный корсаж ловко обхватывал белоснежную рубашку. Шея и руки, от локтя голые, были тверды, налиты здоровьем. Лицо знойное, прекрасное в своей простоте, как лицо молодой богини.

Багрецова, после всей путаницы, боли и мелочи последних дней, это лицо потянуло, как тянет теплая большая река разбитого в пути странника. Минута отдыха и забвения... Он опять постучал и вплотную, как мальчик-шалун, приложился к стеклу, соорудив из лица расплюсченную маску. «Если узнает,— успел подумать он,— значит, полюбила...»

Она узнала его. Радостно вспыхнув, она открыла окно.

— Бенедетта, можно к тебе? — прошептал Багрецов. — Я по делу.

Бенедетта кивнула, указав на двери, и, спустив от лишних взоров зеленое жалюзи, пошла в глубь комнаты отворять.

— Как вы узнали, что я еду? — удивилась Бенедетта.

— Куда едешь? Нет, я не знаю ничего, — сказал Багрецов. — Я соскучился по тебе, я пришел навестить.

— Как же, поверю, вас сколько дней не было дома? — сказала она с сознанием, что вот не смеет делать упреков и все-таки упрекает.

Багрецов обнял Бенедетту и, целуя, сказал:

— Вот и прекрасно, я поеду вместе с тобой.

Бенедетта высвободилась, отступила. Лицо ее вдруг все засветилось прекрасной глубиной чувства, гордый рот, способный на резкое, жестокое слово, детски доверчиво приоткрылся:

— Надолго?

Это была такая полная, настоящая, большая любовь, что у Багрецова голова пошла кругом. Он забыл и кто он и на что способен, он смог в ответ сказать ей только одно, тысячу раз им осмеянное:

— Навсегда!

Они не спали всю ночь. Он ей все рассказал про себя, как матери, другу, жене.

Молча глядя его волосы, она все поняла, не удивляясь. Наконец она просто сказала:

— Мы теперь будем вместе работать для свободы. Ведь ты любишь Италию, раз ты любишь меня?



Он отвечал:

— Борьба за свободу Италии — начало борьбы за свободу людей. Мне терять нечего, мне жалеть нечего. Все мое только с тобой. Едем же, едем скорее!

И он бы в те дни с ней уехал. И кто знает, быть может, нашел бы себе, если не покой, то хоть доблестную смерть, как любимый им Байрон, сражаясь в чуждых рядах, за чуждую отчизну.

Но он не поехал. Он остался. Это она, Бенедетта, и в любви не забывающая дела, в интересах своего «тайного общества» решила, что безопаснее для дела ей ехать одной. А ей предстояло немало нужных бумаг перевезти контрабандой к Доменико. Порешили на том, что она уедет одна и вызовет Багрецова при первой возможности. Когда утром он усадил Бенедетту в высокую тележку знакомого веттурино, она, целуя его в последний раз, так грустно сказала: «Теперь мне без тебя даже неделя большой срок», — что Багрецов прыгнул к ней в экипаж и, презирая всякую осторожность, еще и еще убеждал ее взять его себе в спутники. Но прекрасная Бенедетта была тверда. Она сделала знак веттурино, тот ударил по лошадам, и она уехала, не оборачиваясь. Она не обернулась, хотя любовь к Багрецову в ней была так же сильна, как любовь к Италии, но жила в Бенедетте, как и в брате ее, Доменико, та пламенная верность делу, что принудила знаменитого узника венецианской тюрьмы, их отца, покончить с собой голодовкой, чтобы не предать тайного плана восстания.

Багрецов, безумный, влюбленный, каким не был и в дни своей мрачной юности, то таскался по узким улочкам Рима, то с головою зарывался в прошлое Италии. Он вдруг сумел убедить себя, что ему безразлично, какой страны быть гражданином, и если судьба представляет ему Италию поприщем деятельности, то он готов умереть за Италию, как Байрон за Грецию. Он зараз брал уроки истории, итальянского языка, изучал фехтование и военное дело. Он стал юношей — он любил.

Среди своих личных дел он даже не отозвался на внезапное появление Пашки-химика, который приходил за ним, чтобы идти вместе к Гоголю. Но вся острота этой долгожданной встречи для него теперь пропала. О чем говорить, хотя бы и с Гоголем,



будущему члену «Юной Италии», мужу Бенедетты? Для своего нового итальянского будущего Багрецову хотелось, как уходящему в монашеский орден, одного: поставить крест над всем своим прошлым.

И немудрено: служба делу возрождения Италии, ведь он ухватился за чудо собственного своего возрождения.

Пашка-химик корчил бесовские рожи, хихикал, но, даже не рассердив Багрецова, разобиженный, отошел. Так с Гоголем Багрецову в Риме и не привелось говорить. Гоголь уехал в Неаполь, откуда собирался двинуться через Чивита-Веккию в Палестину.

— «Чиновник восьмого класса, Николай Гоголь,— так аттестован наш «важнейший» в официальной бумаге, находящейся в Неаполе,— отправляется в путь по святым местам, сроком на полтора года»... Сие отмечено печатями, что значит — документ,— сказал в последнее посещение Пашка Багрецову и еще раз настойчиво убеждал: — Съездите, Глеб Иванович, съездите к Гоголю хоть в Неаполь, ведь единственного в своем роде великого человека проморгаете. Что ж до девицы... Да ведь у нее, что у нашей калуцкой, что у древней, гречески-римской, один коленкор-с!

Багрецов Пашку гневно прогнал.

Как-то вечером, молодой и веселый, все еще не доверяя своему внезапному, своему второму рождению, Багрецов захотел сентиментально пережить недавнее прошлое с начала, с той самой минуты, как он постучался в окно, продираясь сквозь крепкие душистые ветви вьющихся роз. А в окне, освещенная сверху, сверкая белизной шемизетки и смуглой своей красотой, предстала ему Бенедетта.

Он входил к себе в сад от синьора Стацци, старого знатока истории тайных обществ, которую сам он теперь выучил назубок. Он подошел к окну, по-мальчишески прыгнул в газон, как тогда, приложил было лицо вплотную к стеклу, как вдруг его сзади кто-то робко позвал:

— Глеб Иванович!

Багрецов обернулся. Недалеко на садовой скамье сидела Гуль.

Он не удивился. Сейчас в его жизни все было неизъяснимо и чудесно. Ведь он стал не он. В нем какое-то новорожденное, доверчиво-светлое существо



заменило привычную злую насмешку добротою ребенка.

— Милая Гуль, как хорошо, что вы пришли, — сказал он с непринужденною лаской, но в ответ на эти слова худенькое тело сидевшей вдруг все содрогнулось и, странно свернувшись на скамейке, забилося в рыданиях.

— Гуль, маленькая Гуль... — И, не желая чьих-либо нескромных взоров, Багрецов почти внес ее в свою комнату.

Но он не успел подать ей воды, как Гуль, соскользнув на пол и схватив его руку, стала целовать, говоря:

— Простите меня, о, простите!

Багрецов вмиг припомнил все, что вылетело у него было из памяти, и то, как должен себя он держать, чтобы не выдавать своей тайны. Но после *той ночи*, когда Бенедетта смогла все понять, играть роль было тяжело. Однако природная осторожность проснулась, и сдержанно он спросил:

— За что же прощать мне вас, милая Гуль?

— Вовсе я вам не мила. Вы не любите меня. А с тех пор, как поговорили с Полиной, вы должны меня презирать.

Гуль впервые подняла на Багрецова огромные, обведенные черными кругами бессонницы глаза.

— Полина передала мне весь разговор. Она не хотела, чтобы и я оказалась в глупом положении. Дайте воды... Я должна вам все рассказать.

Багрецов подал стакан, потом сел напротив на низкий табурет, у ног Гуль и, опустив голову на руку, не глядя на нее, приготовился слушать.

— Когда я попала к вам в дом двенадцатилетней девочкой, я вздохнула впервые. — Она говорила прерывисто, как после быстрого бега. — Быть может, вы не знаете: сестра не любила, стыдилась меня, тетя тоже. Наша мать, которая умерла за границей, бросив своего мужа, не была верной женой. Тетя имела жестокость не однажды при мне говорить, что я не имею права носить графский титул и фамилию Котовых...

Сестра терпела меня как обузу, она была суха и расчетлива. Вы первый приласкали меня. Я полюбила вас страстно. Вы не знаете, может быть, что такое любовь в юные годы, когда еще нет разнообразия



впечатлений, когда не накоплено опыта, не развиты способности ума и воли. О, это всепожирающее пламя! Да, как пишут в старинных романах.

После смерти сестры вы меня отдали в пансион. Я бы умерла, если бы вы не стали меня хоть изредка посещать. Я жила от встречи до встречи.

Да, я знала все, что свершалось между вами и сестрой. Я отлично понимала, что не по любви вы женились, поняла и то, что сестру вы скоро возненавидели. Я стала за вами следить: ваш растущий гнев, ее бестактное утверждение в своем богатстве, наконец, ваше отвращение, когда она к вам приставала с приданным малютки... — Гуль остановилась. — Вы меня слышите? — сказала она.

— Я отвечу, когда вы кончите, говорите все.

Голос Багрецова был все так же ласков, но лица он не подымал.

— Это было за день до конца, вы только что вышли из комнаты, дверь не была прикрыта, я проходила мимо и по обычаю скользнула к вам. Я так делала часто. Мне как ласка было побыть в вашей комнате, потрогать ваши вещи, некоторые пустяки я воровала.

Я носила на шее рядом с крестиком вашу запонку, я таскала ваши носовые платки. В тот день я на столе увидела флакон необыкновенной формы. Но только я взяла его в руки, как за дверью раздались шаги. Убежать было некуда. Не выпуская флакона, я укрылась за шкаф. Я думала — я умру. У вас было отчаянное лицо, досиня бледное. Вы вошли и упали в кресло, охватив руками голову. Потом вы стали метаться, что-то искать, вероятно флакон.

Ваше лицо изобразило такой ужас, не видя его, что я, не в силах выдержать, хотела уж кинуться к вам и отдать. Вдруг сестра стала звонить, зовя вас. Вы бросились вон из комнаты. Я, по непонятной мне причине прижимая к себе флакон, убежала в свою светелку наверх.

Зачем вечером вы так испугали меня! Вы льстили, подкупали, приказывали отдать... вам так нужна была пропавшая вещь, что я видела, если бы безопасно для этого было меня запытать, вы бы, не дрогнув, меня запытали. О, как ранили вы меня вашей жестокостью...



Но, чересчур испугавшись, вы выдали свой страх. Оскорбленная в своем детском чувстве, заброшенная и злая, я решила держать вашу тайну в своих руках. У меня явилось чувство власти над вами.

Наутро сестра умерла.

Я подумала: если и сегодня он будет мне говорить про флакон, значит, он ее отравил. Я флакон не отдам, но когда вырасту большая, узнаю у врача про его содержимое. На дне оставалось немного приставшего к стеклу порошка. Я залила пробку сургучом и закопала флакон в саду, отметив место камнями.

Вы в тот же вечер опять начали ваши допросы. Вы помните, как я рыдала, потом заболела. Я была в таком ужасе, что вы — убийца. Больше меня вы не допрашивали.

— Этот пузырек я взял из-под подушки моей жены во время ее сна. Она добыла себе яд, чтобы самой умереть, если ребенок родится мертвым.

Багрецов сказал это с твердостью и спокойно: того человека, который отравил его жену, он в самом деле чувствовал теперь себе совершенно чужим. Сейчас он острее, чем все дни, знал одно: спасение его — брак с Бенедеттой, новая родина, новая жизнь.

От простых слов Багрецова Гуль вдруг сделалась очень бледна и с непонятным ужасом прошептала:

— Как, и сестра моя вам лгала? Вас пугала отравой Борджиа? — Она почти лишилась чувств и долго сидела молча, закрыв глаза темными, будто выкрашенными веками.

Багрецов был поражен. Он стал догадываться, что Гуль или знает что-то ему неизвестное, или сходит с ума.

— Видно, ложь в нашей семье. Сестра с вами играла, она не могла... О, простите меня! — Гуль чуть всплеснула своими тонкими ручками. — Но помогите мне сами сказать все до конца. Нищему душой так трудно дается великодушие. Если б я имела хоть одну жалкую радость узнать... ну, вот, скажите мне правду, как перед смертью: если вы не любите меня, то ведь, не правда ли, вы не любите и никакой другой женщины? Увлечение, страсти — не в счет. Я говорю про любовь, про любовь... от которой сердце как солнце!

— Как вы прекрасно сказали — сердце как солнце. Да, Гуль, с недавних пор такое чувство мне стало понятно.



— Благодаря натурщице Рамазанова! — вскрикнула Гуль. — Из-за нее я поссорилась с мужем, из-за нее снова теряю я вас. Будь она проклята, итальянская девка!

— Вы не смее... Это — моя жена.

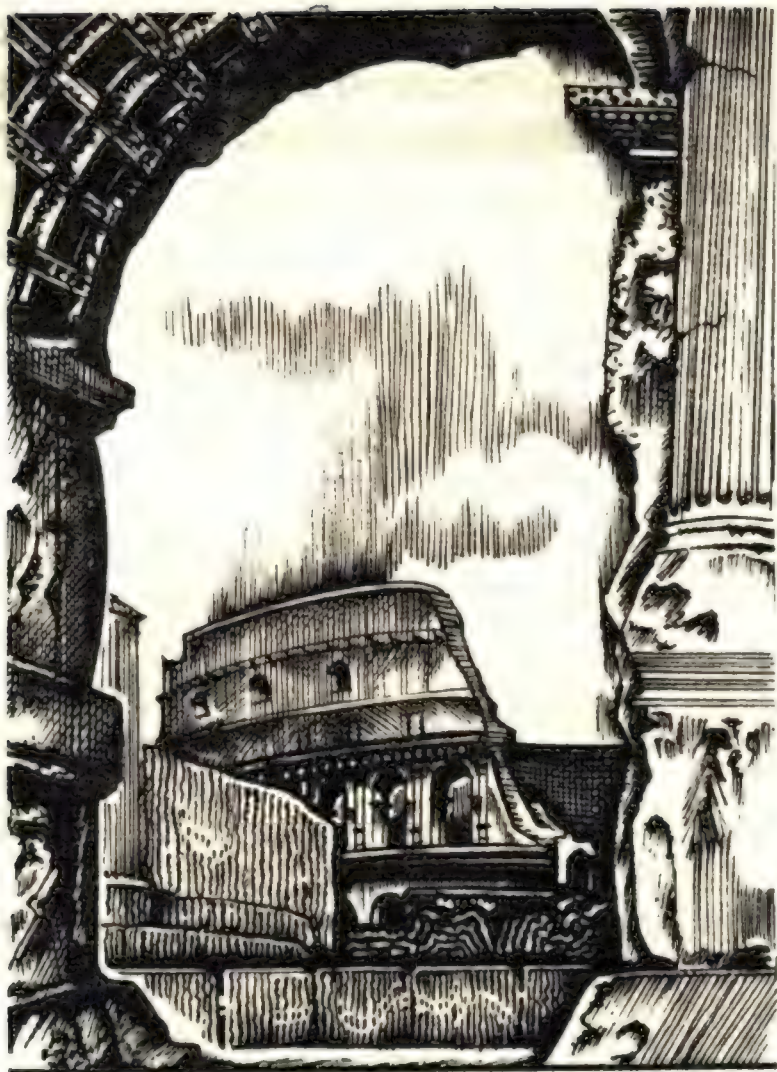
Багрецов, бледный, схватил Гуль за плечи, но в ту же минуту встретился с глазами ее. В них было столько муки, что он отступил и невольно сказал:

— Простите, простите меня.

Гуль, шатаясь, пошла к двери. Лицо ее, с опущенными веками, на миг выразило жестокую борьбу: вот рот уже дрогнул пронзительной нежностью, и казалось, она готова, ценою собственной жизни, произнести какое-то разрешающее слово. Но когда она подняла глаза, тусклые, темные, пятна без жизни, голос ее был только злобно отчетлив:

— Желаю вам счастья с новой женой, и пусть не повторятся у вас, как с первой, припадки ненависти, которым вы столь подвержены. Улик против вас нет, и, конечно, давность прошла, но я все-таки знаю: *убийца сестры моей — вы!*





## Глава X ШОРГАТИВ

Один — раб человека, дру-  
гой — раб судьбы.

*Лермонтов*

Сегодня откроется конклав, да, да, конец десяти-  
дневных поминок по усопшем папе Григории.

И стучат деревянные каблучки, и спешат римляне  
и форестьеры на ближайшую площадь за свежими  
слухами. Народ на улице. Волнение в Риме: не хотим  
черного папу!

— Беппо, кто сядет на папский престол: Ламбру-  
скини или Ферретти?

Беппо все знает. Он говорит, пыхтя трубкой:

— Сядет папой Микера, гнусный шакал. Когда его  
спросили, кого бы он сам хотел видеть в папской  
тиаре, не постыдясь, он ответил: «Для спасения души  
годен кроткий Мастаи, но для спасения финансов, что  
гораздо важней, ибо в ваших карманах скоро будет,  
сеньоры, столь же пусто, как в банках, — для спасения  
финансов лучше меня не найти!»



Багрецов, заодно с итальянцами, сейчас жил на площади и в таком же волнении, как его старый *maestro di casa*, бежал на закате к Ватикану смотреть, как на розовом небе черной лентой извивается дымок *fumat'ы*.

Уже не раз вылетал этот дымок из трубы над Сикстинской капеллой, где заседали шестьдесят кардиналов над избранием нового папы. Кардиналы не могли сговориться, твердого имени их записки не давали и по традиции предавались огню. Дым из трубы, по-местному — *fumata*, был горестный знак населению, что продолжается его сиротство и что римляне — все еще бедные овцы без единого пастыря.

Наконец в один из чудесных июньских вечеров фуматы не было, и стало известно, что папой избран Мастаи Ферретти.

Ему же выпал черед разворачивать билетки закрытой баллотировки, и передавали знакомым своим кардиналы, что скромный Мастаи, по мере того как повторялось его имя, все сильнее бледнел и наконец, поняв, что именно он избран в папы, воскликнул:

— О, что вы наделали! — и лишился чувств.

Однако от власти отказаться не так-то легко. Когда Мастаи очнулся, то на вопрос: принимает ли он папский сан, он скромно ответил:

— Я подчиняю свою волю избирателям и провидению.

Немедленно стала известна Риму вся подноготная нового папы. И несчастная любовь юности и отличие в науках в знаменитом Тосканском университете. Последнее возбуждало большие надежды, так как означало, что губительное влияние семинарии его не коснулось. Чуждый честолюбивого лицемерия и нетерпимости, новый папа хорошо знал обыкновенную человеческую жизнь. Он заведовал сиротским домом с такой любовью, что дети прозвали его «тата Джиованни». А на последнем своем месте, епископом в Имоле, он снискал всеобщее уважение покровительством просвещению, в духе модных писателей Джиоберти и д'Азелио. Багрецову шепотом сообщали, что новый папа принимал даже участие в действиях «Юной Италии».

Когда Пий IX ехал из Квиринала в Ватикан принимать поздравления от кардиналов, римляне приветствовали его восторгом чрезмерным...



Багрецов, полный своей любовью, ожидая письма от Бенедетты с вызовом в Неаполь, переживал нечто близкое перевоплощению. Любовь Бенедетты — как волшебный чан, куда прыгает Иванушка дураком, а выходит умником — переродила его из отжившего, охлажденного человека в юношу. Заодно со всем Римом он был охвачен восторгом в дни амнистии политических, заодно со всеми яростно требовал отставки черного кабинета Савелли.

Пий IX, сколь ни запугивали его кардиналы, приступил сразу к реформам, чем вызвал бурное обожа-ние римлян.

Три дня непрерывно шел праздник: процессии, факелы, карнавал. У многих ссыльных не было средств вернуться на родину — возник комитет помощи, посыпались добровольные жертвы. Багрецов давал деньги, собирал, агитировал. И заодно с итальянцами обожал вождя Рима, Анджело Брунетти Чичероваккио.

Это был неподдельный народный герой, ломовой извозчик, достойный представитель транстеверинцев, лучшей части простонародья, великодушный, гибкий и пламенный.

Имя Брунетти у всех на устах. Народ ему верит, и он не обманет народ. Этот человек с черной бородкой, с тонкими быстрыми руками, которыми обычно дополнял свою яркую речь, был больше чем вождь, он был сердце и воля народа.

Чичероваккио прекрасно умел на банкетах сидеть рядом с древнейшими князьями Рима, и, не давая им себя убаюкать лестью, как сторожевой орел, зорко следил, до каких пор интересам народа не вредит быть заодно с Ватиканом.

И хотя мелкие реформы папы сыпались как из рога изобилия, хотя вместо старого губернатора Савелли назначили известного либеральностью Грасселини, Чичероваккио все острее понимал, что от одной перемены людей пользы мало, если учреждения останутся те же. И после дней особых римских торжеств говорил с горечью среди близких своих транстеверинцев:

— Чихнет папа — факелы, проедет по Корсо — ракеты, — ох, боюсь, как бы нам все дело Италии не пропраздновать в карнавалах! Национального ж войска как не было, так и нет, а шпионы и сбирь кишат по-прежнему, словно клопы.



Нижние полицейские чины набирались в Тоскане, как и всюду в Италии, из самых подонков города, а пользовались властью громадной. Они действовали заодно с ворами, чтобы брать свою долю за открытие краж. Они доносили, шпионили, они гнусной коростой прослаивали под разнообразной личиной тайные кружки «возрождения Италии».

Наконец флорентинцы, придя в ярость, разрушили здание полиции и на огромном костре сожгли все дела. За ними восстали и прочие города Тосканы, пока не добились декрета, навсегда упразднявшего полицейские низшие должности.

На время народ успокоился. Он был горд своим первым, доселе неведомым опытом: его воля — высший закон.

Хуже всего дела были в Неаполе. Даже незначительные реформы Пия выводили из себя Фердинанда, а отмена сборов его окончательно утвердила в трусливом самовластии. Но едва он усилил полицию, как возник тайный заговор. Заговор перешел в восстание в Мессине и Реджио, как только генерал Стателла был послан с незначительным войском, чтобы усмирить в Калабрии неаполитанских беглецов, занимавшихся разбоями. Среди заговорщиков главным был брат Бенедетты — Доменико.

Он в предместье Мессины, где ненависть к Неаполю была сильнее, чем где-либо, задумал за большим обедом захватить генерал-губернатора Ланди со всеми офицерами и затем овладеть крепкой цитаделью.

Но план Доменико был выдан предателем, и губернаторский обед отменен. На улице завязалась борьба. Революционеры, бессильные перед войсками, должны были бежать в соседние горы...

Вот эти последние события в тайном письме к Багрецову излагала Бенедетта, прося его ехать к ней немедленно в Неаполь.

Багрецов, счастливый, стал собираться. Он поручил своему *maestro di casa* заказать лошадей, а сам пошел в банк за деньгами. И все время, что бы ни делал, Багрецов не уставал отмечать в самом себе с радостным изумлением присутствие все еще ему необычайного влюбленного юноши...

На Корсо он встретил Александра Иванова. Тот только что вернулся из Ливорно. Увидав Багрецова,



замахал в оживлении руками, зашептал, щекоча его бородой в самое ухо:

— О, я застал там важнейшие происшествия...— И с презабавным, конспиративным видом потащил Багрецова к себе в студию.

По дороге на все вопросы Иванов отвечал многозначащим безмолвием, прикладывая к губам один из своих толстых пальцев.

Наконец, у себя в мастерской, после обычной церемонии накрепко задвинутой двери и осмотра всех углов, Иванов ликующим голосом сказал:

— Я застал, мой друг, *исторический момент* в Ливорно—предъявление требований правительству национальной гвардии.

Или чивика, или революция! Вообрази, это смело кричали в самом городе. Мне советовали убираться; все форестьеры, как крысы, сбежались на пароходы. Но я остался. Конечно, главным образом, оттого, что нашел великолепные древнепалестинские лица, но и из интереса к событиям также.

Наутро, представь только,—да ведь это, братец, *история!*—сам грандука объявил афишами, что просьбу народную он отдал на рассмотрение в государственный совет. Толпа становилась все больше, двинулась маршем на площадь, каждый с трехцветной кокардой. Какие знамена взвились! А бюст папы, как лебедь, поплыл впереди. Вообрази, губернатор со страху иллюминировал свой собственный дом. Каково, Глеб Иваныч? Сво-бо-да!

Да, я видел впервые волю народа, и, представь себе, я понял, как вдруг может меняться весь пункт зрения. Истинно, художник постигает историю не по книгам, а едва лишь увидит ее своими глазами. Только от глаз возникают в нем выводы.

Иванов был необыкновенно возбужден, он помолодел, он опять стал раскрыт и доверчив, как, бывало, в дни юности и «взаимного экилибра». Впервые Багрецов видел его так захваченным живой жизнью, что временно даже живописная работа его остановилась.

— Глеб Иваныч, я совсем не работаю, а без конца думаю, думаю. О, что пережито мной в Генуе! Прибыл я туда больным, замученным бессонницей, но, увидав генуэзцев, воспрял. Да, Генуя великолепна. Независимость их сделала вдруг героями. И ходят



сейчас по-иному... Повсеместная честность, порядок, жизнь, бодрость.

И меня вдруг как обухомхватило — хоть и сказано «повинуйтесь властям предержащим», но отнюдь не безразлично, дражайший, *каким именно?* Да-с, Глеб Иваныч, вот мысли — для русского новые!

— Свободная чивика или наемники деспотизма, еще бы не разница, — рассмеялся Багрецов. — Только это ведь азбука! Александр Андреич! Эк, Америку, подумаешь, открыл!

Иванов подкатился к Багрецову совсем близко, и, всем взволнованным существом своим обнаруживая, как важны были ему эти для русского «новые мысли», понижая голос, сказал:

— Неужели от состояния политического и впрямь зависит душевное?! Судя по лицам, это — очевидность для художника. О, я давно не дышал столь облегченно. Но, друг, на границе все кончилось, едва шпионский, желтый цвет будок с черными полосами сменил нам свободу Сардинии на рабский, удушливый воздух Ломбардии...

В дверь мастерской кто-то яростно застучал. Сначала одним кулаком, потом ногами. Иванов побледнел, схватил за руку Багрецова, шепнул ему:

— Австрийские шпионы! Некий следил за мной от самой границы...

— Глеб Иваныч, вы здесь? — донесся в щель голос Шехеразады. — Откройте, я один. К вам дело...

— Пашка-химик, — узнал его Иванов, но все же опасливо переспросил: — Да есть ли кто с тобой?

— Един, как хрен, — завизжал Пашка.

Иванов открыл, попенял:

— Испугал, братец, стуком. Вперед стучи троекратно и дробно.

— Я к Глебу Иванычу двойным гонцом бога Амура, — застрекотал Шехеразада, подбегая к Багрецову.

Он на обычный свой балахон нацепил трехцветную кокарду, а в руках у него был герб Ломбардии.

— Ты что это, на пути в волонтеры? — спросил Багрецов.

— Как же-с, Глеб Иваныч, хочу и я записаться. На поле битвы еще паду или нет, а уж вторую-то молодость приобрету себе без просчету-с. Каждому лестно от фортуны сорвать двойной урожай-с!



Багрецов понял намек, раздражился, как всегда оборвал:

— А сюда что тебя принесло?

— Единственно увлечение вашей судьбой, Глеб Иваныч. Ну как же-с, по поводу вас в один час две встречи, и обе важнейшие. Maestro di casa, почтеннейший старец, вас ищет в целях задатка вознице на свадебный ваш кортеж. А вторичное вам извещение—ваша знакомая просит свидания на холме Пинчио. Да разве не акт дружбы, Глеб Иваныч, заставил меня пугать вас здесь стуком? Согласитесь, что именно акт...

— Глеб Иваныч, да как же ты мог утаить? — подскочил с изумлением Иванов.— Неужто и вправду женишься? А может, ты, Пашка, сбrehал?

Багрецов покраснел, отмолчался. Ему не хотелось раньше времени говорить про Бенедетту. И он поспешил спросить Пашку:

— А второе поручение от кого?

— От жены долговязого адъютанта, от Галины Юрьевны.

— Да разве она не уехала с мужем?

— Никак нет-с. Осталась одиначенька. Адъютанта отпустила совсем одного. Я видел своими глазами, как он, словно аист, этак голенасто вышагивал из отеля вслед за лакеями, вносящими в экипаж его вещи. А Галина Юрьевна просит вас для важного дела быть на Пинчио ровно в пять.

Часы ударили половину.

— «Глагол времен—металла звон»,—вскричал Пашка.— Выйдемте вместе, Глеб Иваныч, мне в ту же сторону. У дамы-то вашей лицо было бледное, и глаза... Она бросится в Тибр, если вы не придете. Ей-богу, бросится.

Иванов ужасно взволновался. Припомнил, как певица Дюмулен из-за того, что Брюллов не отвечал ей на письма, бросилась с *ponte Molle*. Он заторопил Багрецова:

— Иди, Глеб Иваныч, не ровен час... ужо на досуге придешь, побеседуем о мыслях, для русского новых...

Багрецов шел на свидание с Гуль, а думал об Александре Иванове. Ему был и пленителен и одновременно досаден этот большой ребенок, мироощущения которого менялись по особым законам не мысли, а



живописного впечатления. Между тем он был остроумен. Но как совместимо с большим умом, что такие простые вещи: свободная национальная гвардия или наемники деспотизма — есть разница — могли быть им поняты только сейчас воочию, при переезде с свободной земли в подневольную?

Еще он думал о том, как хорошо стало жить, как радостно ходить юношей вслед Чичероваккио и сливаться с транстеверинцами! Быть может, удастся навсегда ему вжиться в эту жизнь и страну и зачеркнуть в себе того прежнего, бесплодного и тоскливого человека.

Пускай позади, в прошлом, было преступление, были долгие годы чайльдгарольдовщины и тоски — всему есть конец. Любовь обновила. Можно начать жизнь с начала. Больше того, любовь стала возможной только благодаря пережитому. Иначе разве отметил бы он Бенедетту?

Лишь пройдя через сложности и, быть может, через преступление, сознание научается ценить простоту и невинность. Он вспомнил гетевскую мудрость, для всех рассказанную в «Фаусте»: разве не после погубленной им Маргариты сумел Фауст постичь возрождение через «вечную» женственность? Так было для каждого из тех, кто познал тяжесть свободы и мысли. Так будет...

Багрецов думал обо всем, кроме той, которую сейчас он был должен увидеть — сестру жены, несчастную Гуль.

На одном повороте они встретились. Гуль первая окликнула Багрецова и, подавая руку, сказала:

— Так вы пришли? Ну, хорошо...

Она была как после сильной болезни. Лицо истончилось, просветлело, отчего черные брови на нем стали еще тверже и, казалось, своей тяжестью клонили книзу всю голову. В синем дорожном костюме, подобранная, как англичанка, Гуль была сдержанна, незнакома. Но Багрецов, по трепету горячей маленькой ручки, которую дружески задержал обеими руками, почувствовал ее особую взволнованность и с лаской сказал:

— Я слышал, вы в Риме надолго?

Они сели на отдаленную от гулянья скамью, где уже мимо никто не ходил, где свидетелями любовных



и прочих свиданий был только ряд ваз с большими агавами.

— Я не уеду отсюда совсем, потому что не хочу жить с мужем. Мы совсем с ним чужие. Брак наш был, как у всех, самый светский. Ведь и я, как сестра, хотела только семьи.

Гуль горько улыбнулась.

— И как у нее — не вышло. Впрочем, я вам благодарна, что вы мне на мужа раскрыли глаза, хотя бы мимоходом, по пути собственной жизни. Ведь Полина мне все рассказала...

Гуль жарко вспыхнула и глянула на Багрецова большими измученными глазами:

— Не бойтесь, никаких претензий я к вам не имею, кроме пожелания вам счастья. Простите тогдашнюю глупость, я столько перемучилась с того дня у вас, в саду... ведь я шла к вам сделать признание, но от гнева, от ревности не смогла. Сейчас скажу до конца. Но сперва прочтите письмо доктора Радина... он писал вам пред смертью, передал мне...

— Но Радин умер пять лет назад? — удивился Багрецов.

Гуль, едва сдерживая рыдания, сказала:

— Вот пять лет я и утаивала. Письмо связано с тем, что я могу вам открыть только сейчас, — вот оно!

Багрецов распечатал плотный конверт, быстро пробежал глазами немногие строки, написанные слабой рукой.

— Вот чудак! — усмехнулся он. — Страдал редчайшею болезнью — честностью, ради нее готов наклепать на себя!

В письме стояло:

«Чувствуя близкий конец, спешу покаяться в том, чего не имел силы сделать много лет назад.

В смерти жены вашей Елены Юрьевны виню одну свою слабость характера, столь пагубную для врача. Уступая ее уговорам, от страданий бессонницы я ей выдал специальное для этого лекарство.

Больная в забывчивости приняла двойную дозу, что при слабости сердца оказалось для нее катастрофично...»

Дальше шли просьбы о прощении.

Гуль молчала, уставясь глазами в огромную, почти черную на огненном закате агаву.



Еще Багрецов сказал:

— Ну не добряк ли этот Радин? Немудрено, что век ему был недолог, если так он себя грыз из-за каждого пациента.

— Доктор Радин написал правду,— беззвучно, с усилием перед каждым словом сказала Гуль,— только порошки в двойной дозе сестрой приняты были не добровольно.

Гуль помолчала. Потом, все так же не сводя глаз с агавы, словно держась за нее глазами, без всякого выражения сказала:

— Доктор Радин при мне убеждал сестру быть осторожней... Это не она сама... ей лишнее подсыпала я. А в вашем флаконе Борджиа...

— В флаконе Борджиа...— как эхо, повторил Багрецов, вдруг такой же бледный, как она. Оба смотрели друг другу в глаза, как смотреть могут только враги, встретясь на узкой тропе над смертельной бездной.

— Любя вас, я поняла, что вы хотите смерти моей сестры.— Гуль шевелила губами почти беззвучно, но Багрецов ее понял.— Я это сделала, не отдавая себе отчета, смутно желая соединиться с вами хоть в преступлении. Ведь я была уверена, что только закончу дело, начатое вами. А раз вы так сделали — значит, так можно...

Через много лет я узнала, что и тут ошибалась. Ничего вы не сделали — убийца я одна. В вашем флаконе Борджиа был не яд.

Багрецов привстал. Опять сел. Взял Гуль за обе руки и выговорил тем легким, нежным, окончательным словом, каким говорит человек, обрекая на гибель другого или идя на нее сам:

— Вы мне можете доказать?

— Уже взрослая, я была у врача, он и сейчас жив, в Москве, можете проверить, и флакон взят им в коллекцию, на память. Я ему все как на духу. Этот врач — Оттон Иванович Рузберг. Я у него упала в обморок, потом сильно плакала. Он старый и добрый. Я ему, как отцу, про любовь свою, про подозрение вас в убийстве... Флакон отдала на анализ...

Рузберг очень смеялся и, помню, сказал: «Хорошо, если бы все убийцы столь весело убивали. О, я фарс люблю больше трагедии, это, говорит, полезнее пищеварению...»



— Что дал анализ? — оборвал Багрецов.

— Анализ? Я хотела мстить вам, и я берегла это мое последнее оружие. Но больше я не могу... Вы невинны! В флаконе Борджиа был не яд, а сложное старинное слабительное...

Гуль осеклась и в испуге кинулась к Багрецову. Багрецов на короткий миг остолбенел, потом, откинув голову, стал хохотать. Неслышно, как в припадке, трясся всем телом. Превозмог себя, выговорил:

— Так вместо яду нечто послабляющее, этаким старинным *compositum*, ха-ха-ха!

Проходившим мальчишкам понравился этот смех, и они тотчас в тон подхватили «ха-ха!» и, пока бежали вниз по дорожке, усилили звук до рева. Гуль стояла над Багрецовым, не смея коснуться его, чутьем любви ужасаясь, что случилось непоправимое, и сказанное ею для Багрецова — смертельный удар.

Багрецов совладал с собой, перестал смеяться и, не глядя на Гуль, брезгливо сказал:

— Если вы знали, что преступника нет, то для какой цели затеян был ваш маскарад с «флаконом»?

— Были минуты, я верила: злой замысел у вас был... тайна флакона мне неизвестна... вы могли быть обмануты сами и, всыпая порошок, думать, что это яд, значит, не убили только случайно. Как ни владеете вы собой, внезапное напоминание могло обличить. Я так хотела власти над вами. Простите, простите меня, я больше не хочу, не могу считать вас преступником, я одна... Не убийца вы!

— Па-корнейше благодарю!

Приподняв шляпу, Багрецов церемонно поклонился и, словно выжидая похоронную процессию, задержал над головой шляпу.

— Вы меня презираете? — с отчаянием прошептала Гуль.

Багрецов на нее и не глянул. Сидел на скамье, прямой, даже не перевел тяжелого взора с листьев все той же пышной агавы, куда случайно попали его глаза.

Гуль встала, задержалась на миг в какой-то надежде, потом медленно пошла вниз по желтой песочной дорожке.

Багрецов долго еще сидел на скамье, потом встал, пошел за город, по старой Аппиевой дороге.



Уже далеко за его спиной круглел мавзолей Цецилии Метеллы, и на золотистом трепетном небе, как парящие гигантские птицы, чернели зонтики пиний. Кругом безлюдье, изредка торопился запоздавший из окрестности римлянин с женой или погонщик с ослами.

Наконец Багрецов остановился. Обвел глазами без границ уходящую в небо Кампанию, глубоко вдохнул воздух ее, пьянящий и малярийный, и опять расхохотался, как давеча:

— Шут гороховый — отравитель!

Он был безумен от бешенства. Выходило, что жизнь его вся зачеркивалась. История с женой, преступление и следствие его, — не похожая на других «стальная жизнь», презиравшая жалкие будни, — все маскарад. А тот гранитный упор, который дал возможность выпрыгнуть из жизни каждого дня, пресловутый «флаконт Борджиа», — не что иное, как старинный пургатив.

Багрецов прислонился к большому кипарису, чтобы не упасть. Вдруг поздняя, острая ненависть к отцу налила его, как отраву. Да, конечно, чудовищный эгоизм старика сожрал его... Эти ночи с хождением до восхода по зеркальному паркету, эти призраки прошлого, бессонница, и вино, и чудовищная отравка безграничностью воображаемой жизни... Фантазия заслонила действительность до того, что в жизни он в ней оказался глупее всех глупых. Не убийца, а гороховый шут! Старинный *compositum*! Ха-ха!

— А у кого не так? — прервал сам себя Багрецов с яростью хищного зверя, затравленного сотнею мосек. — Моя биография смехотворна? А у кого доблестна? Что у важнейших? что у отмеченных?

Гоголь, обстоятельство личное, невозможность влюбиться в женщину, как это может всякий болван, облек в состояние сознания подобное столпникам. Отсюда заключил о себе как о «сосуде избранном» и, чтобы не угодить в Содом, метит в святцы.

Умный Паскаль знал, что сказал: «Будь у египетской Клеопатры кончик носа чуть-чуть длинней — картина мировой истории была бы вся иная».

Моя биография смехотворна? А синьор Алессандро хорош? Вместо «чуда» — чудовище-холст! Под славянофильской лампадой тихо сходит с ума, бормоча:



«Самоотвержение вполне дано только русским»? Да-с. Жизнь каждого дня от умников защищается. Изловчится камешком и отметит умника в дураки. Всем, всем флакон Борджиа — пургатив.

От яркой злости боль отпустила, и холодно, как на счетах прихода-расход, Багрецов досмотрел свой бюджет.

Любовь к Бенедетте? Зависть была — не любовь. Зависть и алчность мертвого поглотить живое, чтобы жить. Никакой любви не было. До итальянских делишек — как до прошлогоднего снега. Почему не турецкие, где еще глупей жизнь, наконец не свои русские, уж чего, кажется, ближе?!

...Я мало жил, и жил в плену.

Багрецов плюнул на изумрудную пробежавшую ящерицу и попал. Ящерица присела на миг всеми четырьмя лапками к желтому песку и вдруг, как стрела, прозмеила под камень.

Придя домой, Багрецов позвал старика *maestro di casa* и спросил его, нет ли верной okazji в Неаполь.

— Если синьор желает передать синьоре Бенедетте что-либо, то есть как раз парень из ихних «*Giovine Utalia*». Он едет в полдень.

— Вы угадали, *maestro*, придите через час за посылкой.

Багрецов написал Бенедетте, что она его может считать негодяем, но ее он никогда не любил, потому что, вообще говоря, любить не может. Гореть отраженным патриотизмом для него *à la longue*<sup>1</sup> слишком глупо, но на дело Италии он искренне посылает деньги и не менее искренне желает Бенедетте успеха и счастья, которых она несомненно достойна.

Когда письмо было запечатано, пред Багрецовым на миг ярко встало слепительное прекрасное лицо... лицо богини. И хотя, как в ту ночь, он знал и сейчас, после ядовитой проверки: нет, не подделка — глубина этого не заслуженного им чувства, вошедшему старику-итальянцу Багрецов все-таки дал свое письмо к Бенедетте.

— А вот и деньги: я уверен, что ваш выбор себя оправдает!

<sup>1</sup> Длительно (фр.).



Maestro di casa поклонился.

— Еще бы, ведь это деньги на дело Италии!

Но дойдя до дверей, он по-старчески подозрительно глянул, насупя мохнатые брови, и сказал:

— А в письме вашем не будет ли синьоре Бенедетте огорчения? Синьор, быть может, не знает, как подобную девушку обидеть легко?

Багрецов упрямо молчал, пока старик не убрался. Была минута вернуть, взять письмо... и кто знает, не проворчи итальянец своего назидания, быть может, он бы и вернул.

— Если все случай, то пусть же и тут,— злобно шептал Багрецов.— Но вдруг Бенедетта не вынесет? Пусто... Женщину, ушедшую в политику, стрелы Амура не ранят смертельно. А если иначе? Ну что же, с фортуны взят будет ловко реванш... за «флакон Борджиа» — пюргатив!





## Глава XI КРАТЕР СОЛЬФАТАРО

Но если и музыка нас оставит,  
что будет тогда с нашим миром?

Гоголь

После бессонной ночи Багрецов целый день прошатался по Риму без цели и впечатлений, как автомат, заведенный кем-то на бессмысленный бег. Добравшись в сумерки до терм Каракаллы, он свалился на камни и заснул как убитый. Когда он очнулся, была уже ночь. Древние своды казались еще громаднее. Где-то в глубине кричали совы. Старая,—верно, высланная на разведки,—деловито и тяжело пронеслась над его головой. Багрецов шевельнулся, чтобы встать, но, услышав в камнях разговор, притаился: голос ему был знаком. Багрецов плотнее закутался в плащ и стал ждать, когда месяц выглянет из-за тучи и осветит говоривших. В ясной зеленой луне он узнал одного, только не смог припомнить, где видал это лицо молодого римлянина с твердым подбородком и орлиным носом. Быть может, просто на музейных бюстах, и доселе хранящих всё те же черты.



Другого разговаривавшего не было видно, но его манера говорить показалась так необычна Багрецову, что он тут же решил: это человек необыкновенный, притом русский и, наверно, приезжий. Все здешние русские давно примелькались.

— Признаюсь, не понимаю вашего восхищения перед «мощью» римлян,— с иронией подчеркнул итальянец,— уже одна мысль, что без рабов им бы ни за что не построить подобных дворцов...

Русский не дал окончить:

— Рабы были и не у одних только римлян. Как это ни кошмарно, рабы и сейчас есть у нас, в девятнадцатом столетии, но что-то о великолепии построек не слышно. Но здесь, в Риме, каждая арка, каждая колонна говорят о шире, о силе, о стремительном беге...

— Да что за польза во всей этой красоте? — вступил итальянец.

— Вам ли, итальянцу, такое говорить? — И, захлебываясь от обилия мыслей, русский забросал его жаркой речью:— Вся поэзия жизни состоит из ненужностей! Рафаэль рисовал ненужные картины, Микеланджело делал каменные куклы, Данте писал вирши вместо того, чтобы делать дело, однако выбросить их из истории человечества — это отнять у неба глубину, у цветов аромат, это выхолостить, оскопить жизнь, это...

Теперь прервал итальянец, и по горячему звуку его голоса было заметно, как он вспыхнул:

— Мы неолибералы, как вам угодно было нас окрестить, жестокие утилитаристы, и если, как в сказке, мне бы одним росчерком пера предложено было снести все галереи и дворцы к черту, а взамен их дать Италии отличное войско, неужто, вы думаете, я бы дрогнул?

Багрецову понравился разговор, и он двинулся с камней, чтобы подсесть ближе.

— Кто там? — крикнул юноша.

— Извините, за темнотою не могу как следует отрекомендоваться,— сказал Багрецов,— но я человек мирный и преданный искусствам. Разрешите вставить слово в ваш разговор, меня заинтересовавший. Вы только что защищали право на существование искусства; не ответите ли мне на один вопрос? Предполагаю в вас русского,— сказал Багрецов, посылая слова вверх, под своды развалин.



— За границей русских угадывают главным образом по обжорству,—и слышать было по голосу, что говоривший усмехнулся,—и мне лестно попасть в исключение; я вас слушаю.

— Я бы хотел знать ваше мнение о том, почему искусство не нуждалось в защите только во времена языческие? От христиан, равно как и от революционеров, его, сколь ни защищай, ничем не оправдаешь. И не только перед профанами, а перед своими ж художниками. Мне их здешний быт очень знаком. Вы не поверите, какой мартиролог жизнь тех, что предались искусству до самозабвения. Да вот недалеко ходить — Иванов...

— Иванов Александр Андреич? Как, вы его знаете? Сама судьба привела вас в ночное время сюда. Простите меня, на заданный вами вопрос об искусстве я готов отвечать курсом лекций, но сейчас мне важно другое. Я должен торопиться, меня давно дома ждут.—И незнакомец, под стремительным шагом обрушивая мелкие камни, стал спускаться к Багрецову, продолжая говорить на ходу:—Иванова я просто жажду увидеть, но, признаюсь, оттягиваю со дня на день, удрученный слухами о его ненормальности в связи с неудачей картины. Говорят—влияние художочной школы назарейцев с Овербеком во главе да в придачу биготство Гоголя совсем его свели с ума.

— Слухи преувеличены, и сплетни злы, как все, что говорят про жизнь великого человека,—с раздражением ответил Багрецов.—Определение же картины неудачной раньше, чем она закончена и выставлена,—просто недопустимо...

Волнуясь, Багрецов встал и пытался разглядеть говорившего. Русский оказался невысокого роста, плотный. Походка была у него быстрая, как и речь, так что, когда все трое пошли по залитым луной узким улицам, спутники от него слегка отставали, и, говоря, ему приходилось поворачивать назад голову. Освещенная огнем папиросы, ярко выступала его крутая бровь и прекрасный, как у больших музыкантов, выпуклый вдохновенный лоб.

И Багрецову стало неприятно, когда этот пленительный незнакомец грубовато сказал:

— Согласитесь, это все же известная бедность и пассивность творчества — писать тридцать лет одно и



то же. И где, где? Среди Рафаэлей, Тинторетто и Тицианов, давших сотни вещей, из которых каждая — первоклассная...

— С картиной у Иванова связалось собственное душевное дело художника... Кроме того, нельзя судить его работу по одной вещи, надо видеть все, что вокруг нееросло,— весь самобытный новый мир. Несчетные этюды и композиции. Все вместе — это явление, это будущность целой школы. Впрочем, защищать голословно считаю бессмысленным, а к себе в мастерскую Иванов сейчас никого не пускает; так что до поры вы должны остаться с непроверенным слухом.

— А самого его можно видеть?

— Да хоть завтра у Фальконе; я его к вам подведу, если сам вас узнаю. При сегодняшнем освещении ведь я видал вас лишь по частям, под огнем папиросы.

Засмеялись. Русский назвал себя: Герцен.

— Ну, конечно! — вскричал Багрецов. — И как мог я вас тотчас не признать!

О втором спутнике, молодом римлянине, Багрецов совершенно забыл, но когда назвал себя в ответ Герцену, римлянин дотронулся до него и странно дрогнувшим голосом спросил:

— Так вы тот русский... знакомый синьоры Бенедетты?

— Да, я ее знаю, — ответил холодно Багрецов и почему-то, лишь крепко пожимая руку одному Герцену, вымолвил: — Итак, до завтра у Фальконе.

Вопрос итальянца о Бенедетте неприятно взволновал Багрецова. Он вдруг вспомнил, что видел его не однажды в обществе Доменико, и всегда пристальный взгляд его испытующих глаз был ему необычайно тяжел.

«Он не верит вам, иностранцам, этот Беппо Марио, — объяснила как-то Бенедетта, — он говорит, что даже для Байрона было дорого не освобождение Греции, а лишь щекотание собственных нервов. И все же сердиться на него не следует! Беппо — узкий человек, но героизму его нет предела, он пойдет в огонь первым...»

Страшная тоска вдруг охватила Багрецова. Впервые он понял, что совершил, разорвав так жестоко свой союз с Бенедеттой. До сих пор у него было чувство, что он своим письмом убил только свою же



мечту, обобрал только себя. Вдруг сейчас, едва этот итальянец помянул Бенедетту, Багрецов понял, что удар был нанесен и другому человеку, невыдуманному, такой живой и близкой, ей — Бенедетте.

Боясь своих терзаний, новой бессонной ночи, только на рассвете Багрецов подходил к своему дому. *Maestro di casa* стоял у ворот, как бы его поджидая. Он так осунулся, так взъерошены были его седые усы, что невольно Багрецов спросил:

— Что случилось?

— Синьора Бенедетта с корабля бросилась в море и утонула, — отрезал было маэстро жестоко, как заготовленный в гневе удар, но тут же все лицо его перекосилось, дрогнуло, слезы хлынули из глаз на страшные седые усы. Он махнул рукой и пошел к себе.

— Вы должны, я умоляю... скажите все, что вы знаете... — Помертвелый Багрецов кинулся ему вслед. Он дрожащими руками хватался за старика.

— Я знаю то, что синьор немедленно должен уехать из Рима, к себе на родину, — ответил тот. — Люди из «*Giovine Italia*» поклялись убить вас. Они будут тянуть жребий, кому...

— За что?

— Как за что? — повторил старик и вдруг побагровел, налился гневом и, сверкнув, как старый боец, своими недавно плакавшими глазами, вскричал: — Да за то же, за что я готов задушить, как собак, всех до последнего папских приспешников. За погубленную юную жизнь.

— Маэстро, вы говорите о том, что вы не знаете. Я Бенедетту ни в чем не обманывал. Я хотел ей только счастья, которого со мною, немолодым и больным, она получить не могла.

— А если все-таки она его хотела только с вами одним! Простите, синьор, я вас знаю давно за порядочного человека, — смягчился старик. — Но видите ли, письмо ваше, где вы пишете, что не любите Бенедетту (и как это можно было не любить такую красоту!), совпало с известием, что поймали в Калабрийских горах ее брата Доменико и губернатор Ланди его расстрелял...

И, конечно, приди ваше письмо в другое время, у такой твердой девушки, как Бенедетта, оно, самое большее, могло бы вызвать две-три бессонные ночи и



никем не подсмотренные слезы. Но ваше письмо — будь оно проклято! — совпало с известием о гибели ее брата. Когда судьба хочет, злые вести, как вороны, летят тучей; кроме всего, в эти зловещие дни бедняжку сразило нечто ужаснейшее, чем измена в любви, — измена товарищей! Предатель, раскрывший заговор против Ланди, был не один. Проклятие малодушию, которое бьет верность насмерть! Ваша жестокая рука нанесла лишь последний удар. Но это был, синьор, добивающий удар Брута.

Как истый римлянин, на всякий случай жизни вызывая в крови историю вечного города, *maestro di casa*, несмотря на свое несомненное глубокое горе, развел руки, как если бы на нем была древняя тора, и, страшно хмуря мохнатые брови, бросил Багрецову: — *Et tu Brute! Et tu Brute!*

Но тут же, скользнув заметливым глазом по отчаянному лицу его, *maestro* смягчился и, уже дружески соболезнуя, сказал:

— Бедняжка была уже на пароходе «*Il giglio delle onde*», да, да, «Лилия волн», когда пришли все эти дурные вести. На воде борцы «Юной Италии» развязали свои языки... о том не подумали, что вода под самым бортом; одна проклятая минута — и человек в воде! Так наша бедняжка и сделала. Тело вытащили. Записка ваша была при ней. Эти молодые из «Юной Италии» все были страстно в нее влюблены, особенно Беппо Марио. Говорят, он еще не знает, что вы здесь замешаны, а когда узнает, то вас убьет безо всякого жребия сам.

— Беппо Марио — так вот кто он! — И пред Багрецовым встал римский профиль недавнего ночного знакомца. — Отчего же он не убил в ту ночь? Так было удобно. Или еще не знал? — И Багрецов едва слушал, что говорил ему в возбуждении старик.

— Хотя вы не итальянский дворянин, которых революционеры ненавидят, вы, синьор, все же богатый русский форестьере, подданный страны, которая поддерживает Австрию против Италии; значит, всячески вы попадаете под приговор «молодых». Синьор, я от вас зла не видел и охотно допускаю, что гибель бедной девушки просто несчастье, но и помимо этого за смерть брата и сестры — красы тайного общества — нужна кровавая месть. Бегите, синьор, бегите.



Багрецов холодно поблагодарил *maestro di casa*, сказав, что смерти он не боится, и заперся на ключ в своей комнате. Однако Иордану он не забыл послать записку, прося его устроить на завтра свидание Герцена с Ивановым, чего он сам по болезни сделать не в состоянии.

Через несколько дней Багрецов все же поехал в Неаполь. Он бежал от самого себя, бежал от безумия.

Ведь Неаполь был последний город, где жила Бенедетта, а он в нее сейчас был влюблен, как никогда. Да, едва узнав о ее смерти, он стал испытывать, нежданно для себя, все муки смертельно раненного любовью. Больше того: он понял вдруг то, чего глупей для него до сих пор не было, — возможность самоубийства от любви. И в то же время он ярко знал, что эти чувства — мираж, что будь Бенедетта жива, и десятой доли их бы в нем не было.

В Неаполе он долго не мог ничего узнать. Корабль с раздражавшей его сентиментальной кличкой — «Лилия волн» — «*Il giglio delle onde*» снялся с якоря и ушел неизвестно куда. Багрецов спрашивал у матросов, у полиции и просто у встречных, что знают они о причинах самоубийства девушки с этого корабля. Все пожимали плечами, косились недоверчиво, отвечали вопросами:

— А кто же их знает, отчего девушки кидаются в воду?

Багрецов ходил по берегу залива и молил, сам не зная кого, чтобы известие о смерти Бенедетты оказалось ложью. Он впал в отчаяние, он рыдал, как ребенок. О, если бы Бенедетта была жива, он не колеблясь уехал бы с ней на край света или отдал бы все состояние, всю жизнь за свободу Италии. Он бы даже стал жить на этом дурацком корабле «Лилия волн».

Багрецов ходил вдоль залива, вперял глаза то в неподвижный «*Castelovo*», то в раздраженный, дышащий огненной лавой и черным дымом Везувий. Он хотел чуда.

А вокруг жизнь шла день за днем, как и раньше. У зеленого моря стояли лари — вроде как на родине,



на южных базарах, только вместо сала старый pescatore<sup>1</sup> отхватывал покупателю кусок розового, ноздреватого спрута или вертел перед носом огромной камбалой с прищуренными в улыбке глазами.

Торговки зеленью, цветами и кораллами стучали голосами, как вороны клювами. На балконах предместья сохли яркие тряпки. То тут, то там из-под древних арок сверкал мрамор площади, на белоснежных плитах, залитых солнцем, как красные угли, брызгали во все стороны помидоры из опрокинутых в драке корзин. Багрецов пошел дальше за город, за горбатый мост, где далеко, заступая дорогу, выползали древние дома. Окна, натыканные как попало в стенах, разноцветные, в узорах, в подтеках,—ни дать ни взять одеяла из кусочков, какие, бывало, мастерила старая няня.

За гротом, где так особенно звонки все звуки, мимо могилы Вергилия, Багрецов прошел по узкой дорожке в густую рощу каштанов и дикой орешины. В изумрудных травах торчмя стояли розоватые и мясистые колокольчики.

Багрецов сорвал один и, понюхав, бросил с отвращением. От цветка несло тяжким запахом тлена.

Долго шел Багрецов, оглянувшись — кругом ни души. Тогда он лег на прогретую солнцем землю, раскинул руки и стал смотреть в синее без облачка небо, в дрожащую серебристую дымку, стоявшую над травой, стараясь всем своим телом чувствовать одну только землю. Без мысли, без воли...

В его мрачной юности это бывал его лучший отдых. Он сливался сознанием с жизнью земли, он знал, лежа так на траве, о том, как живет все кругом, с каким трудом пробиваются из земли разные злаки, как идет бархатный крот по своим коридорам, как тяжело держать тонкому стеблю свою грузную чашу большого цветка...

Солнце вдруг село, и сразу стало смеркаться. Багрецов встал и пошел по тропинке. Нежданно она оборвалась, и вместо сочной зелени засветил вдруг совсем лысый огромнейший круг желто-бурого цвета. Он изборозжден был глубокими морщинами. Это был потухший кратер вулкана Сольфатаро.

---

<sup>1</sup> Рыбак (ит.).



Обнаженный кусок был живой. Под ним рокотало, вздувало то тут, то там почву. Земля трескалась, и из трещин кто-то тяжело и часто вздыхал серным дымом.

Forum romanum древних, вспомнил Багрецов, — ныне вульгарнейшее место добычи серы. Он остановился и стал смотреть, как дым, выталкиваемый из трещин, серо-желтыми клубами свивался в лиловатом воздухе, и над потухшим кратером стоял невыразимой нежности живой трепет.

На минуту Багрецов забылся. Ему показалось: он подсмотрел тайную жизнь земли до зарождения на ней формы и образа. Освещения не было никакого, границы терялись, и время выпало из сознания. Где он? Когда вышел и зачем? Он не ел с утра; от голода и слегка удушливых серных паров закружилась голова, назойливо встал тяжкий запах цветка орхидеи, и хотелось опять лечь на землю — не быть.

Вдруг на той же тропинке, которая привела к кратеру Багрецова, появился некто, сутулый, приземистый, руки в карманы. Камнем продвинулся он, будто проплыл, до половины одетый густыми парами, к тому краю, где был Багрецов. Человек поклонился, снял шляпу. Врезался в лиловый сумрак остро вытянутый профиль, стеной свисли ото лба к подбородку длинные волосы...

— Гоголь, — себе не веря, прошептал Багрецов. Но тотчас крепкая память ему вызвала желтую маску — лицо Пашки-химика там, в мастерской у Иванова, и скрипучий голос его:

«Дано разрешение чиновнику восьмого класса Н. Гоголю на путешествие к святым местам из Неаполя...»

Чуда не было никакого, все естественно до тошноты.

Подойдя, Гоголь сказал Багрецову:

— Я давненько выискиваю, как с вами бы мне побеседовать, едва мне донес Пашка-химик, что вы здесь, — он как всегда ведь все знает... И вот сегодня издали по спине вас узнал. Как ни торопился, никак не догнать, шибко бежали. Однако судьба все же свела. Вздумалось прокатиться в Сольфатаро, вот только что из веттурина вылез, прошелся сюда — гляжу, вы. Вдруг я решил: хоть прогоните, а уж я попытаюсь... Должок у меня перед вами, с тех пор... *С тех именин самых на Девичьем поле...*



— Хотите покрыть, отправляясь в святые места,— усмехнулся Багрецов,— чтобы ангелы вам в приход записали? Что же до меня—то с вашей мне помощью вы опоздали. Тогда, *тогда* надо было.

— Поговорим, брат мой, как пред смертью, без малодушных упреков...— Гоголь вздохнул.— Разве знаем мы, где и что мы найдем?

— Коль хотите, можно и поговорить,— сказал Багрецов,— только выйдем из этого смрада на свежий воздух.

Молча оба прошли по тропинке. Гоголь—руки в карманы, сутулясь и тяжело напирая на шаг, Багрецов высокий, все еще не начавший полнеть, гибкий, как юноша. В каштановом лесе сдвинулись рядом.

— Раз вы меня вызвали на разговор, уж не пеняйте за грубость, правда всегда груба,— Багрецов пустыми, тяжелыми глазами обмерил Гоголя,— к тому же все сроки прошли, когда я с *трепетом хотел видеть вас*. Сейчас мне все равно—одно любопытство ума.

— Со смирением принимаю,— склонился Гоголь.

Багрецов прищурил глаз, как на мушку для выстрела.

— Сперва послушайте, может, и принять не под силу. Да поднимите глаза,—почти крикнул он,—с безглазым я и говорить не хочу!

И вдруг Гоголь устремил на Багрецова взор, такой, какого тот никогда у него не видал. Не сверло прозорливца, не мощь гения—глаза женщины—матери, без конца доброй и бережной.

«Так, верно, смотрел он на Иосифа Вьельгорского, так смотрит на свою духовную дочь, молодую Балабину,—подумал Багрецов,—тоже практика...»,—и грубее, чем желал, он промолвил:

— Не верю я в ваше смирение, ни в то, что вы верите в бога. И на кой черт и кому это надо? Смех Вольтера взорвал больше, нежели слезы Руссо, слышите? Что вы дадите лучшее, чем дали уже? И какая гордость и пошлость «пророка» заставила вас мудрить над своим гением? Почему не продолжаете вы, как начали? Мало вам оплеухи Белинского за «Переписку»? Мало вам глумления и гнева всех тех, кто вас так почитал?

Багрецов в ярости глянул на Гоголя и осекся. Облитый зеленоватым светом луны, как камень стоял



он. Глаза были прикрыты веками, руки втиснуты крепко одна в другую и прижаты к сердцу.

Мука долгая, терпеливая мука, уже изъевшая всю душу, на миг не сдерживаемая упорной волей, проступила на его лице. Надбровные дуги дрогнули.казалось, слезы хлынут из глаз.

Гоголь тихо сказал:

— Ну что вам толку, если б величайший в музыке Бетховен попытался бы вам объяснить постигшую его глухоту? Как расскажу, почему слово, недавно зацветавшее, под пером, стало вдруг как... колода? А между тем чувство силы в себе необъятное! Но умер Пушкин, мой разрешитель, один он сумел бы разогнать их... несказанные муки мои...

Гоголь оборвал и умолк. Внезапно стряхнувшись, пришел в себя—устремил на Багрецова опять те глаза, которых тот никогда у него не видал. Глаза без конца доброй и бережной матери.

— Поговоримте лучше о вас, поквитаемся. Ведь даже лошади, стоя рядом в деннике, сочувствуют друг дружке, трутся мордами. А если человек, как вы, да еще не верит ни во что, кто же поможет ему, как не любовное сердце другого? О, если б люди больше аукались душа с душою—безумий и самоубийств многих бы не случилось.

Багрецов молчал. Молча сел с Гоголем в экипаж. Доехали до предместья; здесь вышли. Тихо пошли по берегу близко к морю.

Гоголь заговорил первый:

— Вот я сказал вам про себя наитруднейшее. Выставил себя как бы осмеянным *самою судьбою*, грешно вам ответно гордиться. Ведь кроме звезд этих, побольше величиною, чем у нас, могучих и близких, никто не разделит со мною святую тайну слов ваших. Ну что же, мой ближайший, что постигло вас?

Была уже синяя, благоуханная южная ночь. Они вышли из грота и медленно огибали заигравшийся рябью залив. Нежными очертаниями, как в старинной гравюре, вознесся над городом сонный, утихший Везувий.

— Без утайки, как на духу, брат мой, переложите на меня вашу тяжесть...—сказал Гоголь.—Ах, попробуйте! Кроме звезд, никого, а я уж не в счет...

И просто рассказал все Багрецов:



— Тогда, в Николин день, на Девичьем поле, я хотел уцепиться за вас, чтобы не убить. Я думал — вы всё чудом узнаете и как-то мне поможете. Впрочем, не так это в сущности было просто... Думал, поможете, чтобы силы, меня разрывавшие, не пошли к черту так, зря. Ну, все равно... Одни факты. Потому — «...душу можно ль рассказать?» Это он, тот чародей, толкнул меня. Сам с демоном спознался, а уж других просто к мелким чертям вверх тормашками... Запретить бы стихи! Впрочем, опять-таки все равно, я так устал от себя самого. Ну вот — чуда с вами не было. Жену я отравил, всыпал ей яду, сам стал богат. Что, небось, покаяния ждете? — огрызнулся он вдруг на Гоголя.

Тот молчал, руки крепко одна в другую, шагал спокойно, тяжело наступая на землю.

Багрецов помолчал, потом продолжал, как рассказ не про себя, а про другого:

— Ни угрызений, ни мук, отличное пищеварение и сон. Собака зарыта совсем не в этом обычном всем месте.

Вот где собака... впрочем, оскорбление игрока за битую большую игру в христианский ваш диапазон, пожалуй, никак не включить? — Он пробовал засмеяться, вышло нехорошо.

Гоголь все молчал.

— Николай Васильич, — сказал очень серьезно Багрецов, сам недоумевая на вылетавшую из уст его ровную речь, — я одурачен жестоко! Пятнадцать лет жизни своей я построил на ерунде, на том, что дал яд, а он оказался... не ядом. И я не убийцей, а дурацким колпаком.

Поймите, вникните: во всех случаях своей жизни я отталкивался от своего якобы преступления, я отныне хотел только того, что отбирал себе сам. Со мной ничего не «случалось». Я убил в себе несправедливость, убив свою жену. Однако у меня хватило сил и на выбранной мною линии разрушителя создать себе свой особенный мир.

И вдруг по анализу специалиста, — не стану рассказывать обстоятельств, но мне пришлось узнать это только на днях, — по анализу этот яд — старинный пургатив, а прожитая мною жизнь — мыльный пузырь...



— Я слушаю вас,—сказал взволнованно Гоголь,—уж доскажите все, если начали. Но как бы тяжело вам ни было, ведь тягчайшее, самое главное с вас уже снято: вами не убит человек!

— Это-то меня и прихлопнуло,—ядовито сказал Багрецов,—если *убить я хотел*. Впрочем, и здесь вы ошиблись: человек мною убит.

От бешенства за свое осмеянное положение и боясь от судьбы новой ловушки, я написал ей, Бенедетте, девушке, которую люблю сейчас, как и не знал, что умею любить... я написал ей такое письмо, что она бросилась в воду.

О, если бы она была жива! Впрочем,—прибавил он мрачно,—если б она была вправду жива, я не поручусь, что любил бы ее, как сейчас... Как видите, Николай Васильич, случай мой безнадежен,—уже обычным, равнодушным тоном кончил Багрецов.—Говорю вам о нем единственно потому, что не отмахиваюсь ни от каких встреч, поставленных мне судьбой, и люблю все досмотреть до конца. И еще говорю вам от злости, чтобы для святых мест положить вам булыжник за пазуху... Ведь если б тогда, в Николин день, на Девичьем поле, вы бы обо мне забеспокоились так, как сейчас,—кто ж его знает, что было бы и чего не было?

Гоголь взял Багрецова под руку, но долго слов не говорил. Наконец, почти шепотом, как бы себе одному:

— Знаю, знаю, тягчайший из всех крестов—это подвиг воли человека, который остается жить на земле, вынося собственный холод души и черствость, никаким светом уже не согретые. Этой муки имени нет...

И все-таки и такому человеку есть путь. Полюбить дело свое, все равно какое, но с доведением этого дела до *мастерства, до пределов*. Тем свалит с себя он ответ. Дело рук его поведет его. Все равно на каком поприще: управитель, ученый, художник. Всю жизнь сам ищу... и знаю уже твердо: нет ненужного звена в мире. Да неужто у вас даже к этому нету веры? Ну если не дожить,—*досмотреть надо жизнь свою, досмотреть...*

— Даже в случае: не погребен, но уж мертв и смердит? — пропищал гнусоватый знакомый фальцет.



Багрецов и Гоголь невольно шарахнулись к морю. Из-за больших камней, лежащих на берегу, где они проходили, выскочил Пашка-химик и закричал:

— Это только я-с, не какой злой дух, наше вам с кисточкой! После жары — изумительная ночка-с. И я тут в своей засаде перенаблюдал все виды людских комбинаций: куплю-продажу, амурное, политику и как у вас — нечто философическое. А из лодок от рыбаков, вообразите, все та же самая песня.

И Пашка запел:

*O dolce Napoli, o sol beato...*<sup>1</sup>

— Уши дерешь, замолчи! — прикрикнул Гоголь. Пашка скорчился, завизжал:

— Ай, ай, со всеми благ, со мной наг! А я ведь, именитейший, рядом с вами стою, за Киаей, в отельчике крайнем.

— Обрадовал... — процедил сквозь зубы Гоголь.

— Глеб Иванович, дражайший, — загозил Пашка, перебежав к Багрецову, — поучитесь у важнейшего писателя русского, ибо рапорт за номером таким-то готов. А в рапорте значится: «Чиновник восьмого класса Н. В. Гоголь отправляется ко святейшим местам». Сам вернется святейшим! Да воскреснет бог и расточатся врази его... Мы тогда с вами как бес от него, шариком, шариком...

Пашка прыснул и стрельнул куда-то в сторону, к проходящим рыбакам.

— Видать, пьян, — сказал Гоголь, — препустейший субъект!

---

<sup>1</sup> О, милый Неаполь,

О, благословенное солнце (ит.)





## Глава XII КОЛИЗЕЙ

На груди моей возле распятия  
трехцветная кокарда свободы.

*Pater Gavazzi*

Братья Ивановы поселились в комнатах рядом, но виделись только вечером, когда вошло у них в обыкновение гулять далеко за чертой города по древней Аппиевой дороге. Распорядок дня был у них разный. Старший в пять часов, когда младший еще спал, стоял уже за мольбертом и с небольшим перерывом, чаще всего выходя из мастерской лишь для того, чтобы пообедать в ресторане, работал то карандашом, то кистью до сумерек.

После крушения последней надежды на личное счастье Александр Иванов стал окончательно необщителен; никого, кроме брата Сергея, видеть не хотел. Мастерскую закрыл не только для любопытных, но и для близких делу художников, которые жадно следили за его работой.



Вот эти долгие годы отъединенности от людей, замкнутости в своем замысле и наложили на Иванова ту особую печать, которая так поражала современников. Уже с первого взгляда казался он страдающим ярко выраженной манией преследования. В манерах была то подозрительность, то испуганная, заискивающая робость; при появлении нового лица он вздрагивал. Рассеянный, сжигаемый своей внутренней работой, на смех болтунам, он в ресторанах усердно раскланивался с лакеями, принимая их за всем известных знаменитых людей.

Но писатель, которому повезло встретиться с Ивановым в одну из его счастливых минут и съездить с ним в чудесный осенний день в окрестности Рима, досмотрел в нем иное: «Едва Иванов привыкал к человеку и начинал ему доверять, как его детская, сохранившая свою гениальную свежесть душа так и раскрывалась. Пропадал подозревающий взор, он чудесно хохотал от самой пустой остроты, удивлялся до смущения самым общепринятым положениям, пугался каждого немного резкого слова. Как-то даже подпрыгнул в воздух, услышав, что такая-то известная русская писательница просто глупа,— и вдруг произносил слова, исполненные правды и зрелости, свидетельствовавшие об упорной работе ума замечательного».

Иванов переживал глубочайшее раздвоение. Его душе, любвеобильной, необычайно мягкой, сраставшейся кровно, каждым нервом, с своими привязанностями, с традицией, с авторитетами, в которых вырос, воспитался и созрел, которые долго по-своему вдохновляли и давали цельность всему внутреннему строю его,—надлежало все кровное вырвать с болью из сердца. Больше того, стать лютым врагом всему кровному.

Революция в Италии, которой он являлся свидетелем, потрясла его. События шли в лихорадочной смене, каждое без отдыха наводило на пересмотр не только личного своего уклада и религиозности, но и основных задач человечества. В этих вопросах единственный, с кем «душа не уставала», «ближайший» Гоголь отодвигался все дальше, все враждебнее. Багрецов в свое время науськивал без просчета. В ответ на измышленный Ивановым пренаивный



«проект» с предложением Гоголю «гениальным пером» обслуживать нужды русских художников, Гоголь, как безошибочно рассчитал Багрецов, прислал такую грубейшую отповедь, что Иванов долгое время был нервно разбит.

Однако размолвка по внешности кончилась миром. После на шумевшей статьи Гоголя «Исторический живописец Иванов» Александр Андреевич написал ему: «Как ни закаивался я не писать писем, но ваша статья обо мне насильно водит перо и руку. Целую и обнимаю вас в знак совершенного с вами примирения и возвращаюсь опять в то положение, когда, смотря на все с глубочайшим уважением, верил и покорствовал вам во всем».

Но, в сущности, уже прежней любви между ними быть не могло.

Гоголь чем дальше, тем менее мог не только ценить, но и понимать муки, разрывавшие сознание и чувство Иванова. Сам же он от поставленных жизнью, съедавших Иванова вопросов поспешно уехал прочь, молиться ко гробу господню.

Александр Иванов читал жадно все, что печаталось в Риме и во французских газетах тех дней.

Да, здесь, в этой католической Папской области, где жестокая реакция проводилась соединенными руками Австрии и Григория XVI, подточили были устои веры Иванова. Он был свидетелем чудовищных по внутреннему кощунству и внешнему великолепию церемоний в Нерви, народного невежества и ханжества духовенства, когда для предотвращения холеры запрещено было принимать какие-либо меры, кроме служения молебнов. Он возмущался чудом «разжижения крови» св. Дженнаро, которое ежегодно с большой себе прибылью проделывали монахи; он видел в Терни такие процессии в страстную пятницу, где чувственная театральность, казалось, высмеивала чистоту и веру. Его благообразное византийское чувство оскорбил блеск папской службы, когда папу носили по церкви на драгоценном троне под опахалами и перьями, словно идола, а шеренги солдат лязгали под команду ружьями и под команду же падали на колени.



Последнее время приехавший из Парижа Герцен, которого свел с Ивановым по записке Багрецова Иордан, доканчивал это разрушение всего бывшего уклада. Иванов глубоко принимал каждую мысль Герцена, хотя не показывал тому вида, и даже, оскорбленный напором чуждого ему ума, только жаловался на расстройство всех своих чувств и заверял Гоголя: «Я к Герцену не иду!» Но он к Герцену все-таки шел и мучительно слушал, как тот, сверкающий и неотразимый, ставил последние точки и неумолимо гнал к выводам.

— Если вам в здешних церквах оскорбительны ружья, штыки и толпы откормленных тунеядцев-монахов, то во имя истины вы обязаны сделать полный пересмотр. А сделав, поймете, что у нас хоть и благолепней, но такое же язычество. Политика и язычество давно заслонили учение Христа. Неужто вам не ясно, что время всех ритуалов прошло, или, лучше сказать, переходя на привычные вам образы: настало время «поклоняться не в храме и не на горе Гаризим, а в духе и истине». Дух веет, где хочет.

— Дух веет, где хочет...— шептал полный волнения Иванов,—так вы уверены, что время всех ритуалов прошло?

— К счастью, это не только моя личная уверенность—это истина. Взгляните: на наших глазах перерождается Пьемонт. Лицо городов меняется, не узнать их, не те люди... всюду новая, удвоенная жизнь, открытый вид, деятельность, и все только оттого, что свергнуто недавнее иезуитское и инквизиторское управление, без всякой гласности, с тайной полицией, с духовной цензурой, убивающей всякую умственную деятельность...

— Но все же православие не католицизм,—пытался защищаться Иванов, но Герцен не сдавал.

— О, я знаю ваши славянофильские чаяния. Но задумайтесь над византизмом хотя на минуту как художник. Не замечательно ли вам, что византийская архитектура, иконопись, церковная музыка и ваяние не имеют в смысле художественном высшего развития?

С одной стороны, это, конечно, подтверждает мысль славянофилов, что восточная церковь чище и вернее христианству, но, с другой, о чем же свидетель-



ствуется? Да вот о чем: о несовместимости христианского культа со всякой живой, изменяющейся жизнью. И в известном смысле прав ваш Гоголь, что доходит до конца, считая свободу своего художественного дара греховной и стремясь подчинить дар этот религии.

До глубины потрясенный, Иванов убежал от Герцена, запираясь в своей мастерской. Часами ходил взад и вперед дробными шажками и, уже не защищаясь, не боясь страдания, додумывал до конца все те мысли, одно зарождение которых так когда-то гневило Гоголя.

«Да, конечно: церковь и искусство должна считать себе чуждым и наукой пренебрегать. Гоголь прав: незатемняемая религия отрицает мир, она ждет лишь конца его, ждет новой земли и нового неба. Незатемняемой религии — искусства не надо...»

А Герцен, словно угадывая тайные мысли Иванова, с каждой встречей давал ответы, неотразимый в логике, заставляя его самому себе ставить все новые и новые вопросы.

— Задумайтесь, почему социальная сторона жизни, практическое разрешение человеческой тяготы так мало занимает церковь? А между тем евангелие должно войти в жизнь, в быт, оно там может помочь создать личность, готовую к братству. Да неужто Христос хотел этих церквей с окаменелыми институтами, целиком взятыми у левитов? Вдумайтесь и решите для своего искусства так же, окончательно, как решил Гоголь. Незатемняемая религия отрицает мир, она ждет лишь конца его, ждет новой земли и нового неба, а мы и вы с нами, мой друг, мы хотим устроить и украсить лишь нашу старую, милую землю, потому что высшее благо — само существование, какая бы внешняя обстановка ни была. И что же может быть глупей — пренебрегать настоящей, живой жизнью в пользу призрачной? Нет, нам должно ловить каждую минуту, душа непрерывно должна быть раскрыта навстречу Великой Природе, великому всему. Она должна наполняться миром и развивать в мир себя — вот жизнь!

Дух, выработавшийся до вечности, звучит так, как цветок благоухает. Делить же людей на агнцев и козлов — дело не хитрое и не новое. Ставить в одну категорию всех людей религиозных и преимущественно православных, как это делаете вы...



— Не делаю, а делал...— поправил Иванов.

— Душевно рад, значит, влиянию Гоголя и Овербека вечная память. Весь мир теперь ваш.

Велики были муки художника, который истины всеобщие, азбуку истории мог и умел понимать, только когда их увидел своими глазами. Когда подсмотрел по выражению лиц, по походке, по звуку речи и одежде и другим мелочам, что свободное устранение народов не только лучше, но и религиозней, чем та, свьше освященная схема, которой полвека он поклонялся и которой был вдохновлен.

Сейчас вся Италия подымалась на его глазах, и не мог он не видеть, что совсем не клерикалы жертвовали собой для свободы забитого бесправием народа.

Иванов туго сдавал, он защищался, пока мог. Однако наступил его час, и тот мост, та перемычка его с действительной жизнью, через которую лилось его вдохновение в продолжение тридцати лет, выразившись гигантской композицией, была до основания разрушена. Он отвернул чудовище-холст к стене. Он надел синие очки, хотя глаза его не болели. Но чиновникам, но Петербургу нужно было дать какое-нибудь объяснение в медлительности, в поглощенной годами пенсии. Он махнул на все рукой. Смерть отца дала ему неожиданно несколько тысяч. Он бросил навеки неоконченную картину и устремил все силы к своему новому «Храму».

Да, перед ним возник грандиозный храм всего человечества. Его расписанные стены и своды должны были вещать миру, внятно для каждого, как внятен вечный язык любви, согласованные между собою символы, общие всем расам и культурам, символы, которыми бессознательно выпаян, вылеплен человек наших дней.

Храм Всечеловечества.

Человек, погруженный в темное лоно страстей, еще не имеющий своего лица, и человек, вырастающий в свободе познания над своей низшей природой,— Гермес, удушающий змия, Венера, рожденная пеной волны,— все, все вокруг Вифлеемской пещеры...

Сверхчеловек Дионис-Аполлон, полнота и завершение земной красоты, и рядом—разрешенный и разрешающий от всех вожделений—силой собственной полноты—Иисус. Сотни композиций рождает ге-



ний Иванова для строго расчерченных, глубоко продуманных стен заветного храма. Тут были сверкающие и крылатые ассирийские ангелы, охваченные вихрем гнева и скорби пророки, и Зевес-Иегова, великолепно и необъяснимо живописный и волнующий, как ни одно из лиц той огромной картины, горько задержанной слепой драпировкой. В этой буре веющих крыл, неуклонных левитов, народа, первосвященников, храмов и простого восточного быта Александр Иванов наконец нашел сам себя.

Уж он не спрашивал: смеет ли? И кого спрашивать? Отец умер, Овербек стал чужд, Гоголь враждебен, все прочие далеки. Лучшие из художников ушли в сейчас модный жанр, в повесть о быте каждой отдельной минуты, и кому же было дело до воскрешения в реальнейших формах тысячелетней древности?

Но он воскрешал. Он хотел закрепить не минуту, а *вечность — для вечности*. И все больше путаясь в хитрых и мелких людских отношениях, отучась, как люди, говорить, одеваться и лгать, здесь, пред лицом всемирной истории всего человечества, он знал, смел, мог.

Сейчас, когда все правительства Италии волей-неволей принуждены были приступить к реформам, для жаждущих «*il risorgimento*» уже этого было мало.

— Одними чивиками да железной дорогой теперь не отделаться!

— Это только клешни, которыми омар хватает добычу. А сама-то добыча? Где свобода? Где независимость национальная?

— Но это незаконно пред лицом трактатов,— кричали законники,— несвоевременно по политическим обстоятельствам, наконец безрассудно по недостатку сил...

Но пред каждой истинной страстью смолкает рассудок. И горел клич от Ломбардии до Неаполя: «Долой варваров! Долой угнетателей!» Меттерних верил только в штык и полицию, а Италии было давно этих блюд по горло. Занятие австрийцами Феррары оживило все былые обиды. Для народов есть возраст, когда они легко сливаются друг с другом, но тут этого уже быть не могло. За Италией стояли века огромной своей культуры, и она могла только извергнуть вон из себя Австрию, как инородное тело.



Русским художникам в Риме, полюбившим Италию, как вторую родину, было мучительно знать, что Россия поддерживала Австрию в осуществлении Венского конгресса. Стыдно было быть заодно с Англией, коварно дурачить Италию двойною игрой.

— Viva la indipendenza italiana! <sup>1</sup> — отвечал лорд Минто приветствию толпы, а лорд Пальмерстон в то же время посылал Австрии ноту сочувствия, и торийские журналы трунили запауски над скороспелым реформатором Пием IX.

Но если дело свободы Италии встретило мало поддержки за границею, тем единодушной росло и крепло внутри единство самих итальянцев. Уже не было речи о дроблении: Рим, Тоскана, Неаполь... Уже дышала жизнью одна нераздельная Италия. Партии, сословия забыли свои интересы, все воли слились в одну, забились вместе все сердца. И, как всплеск океанской волны, как голос этого моря, в самом центре Италии, в вечном городе, вознесен был все тот же народный герой — извозчик из Трастевере Андже-ло Брунетти. Восторг пред Чичероваккио был единственным, что Багрецова могло сблизить с Герценом.

Багрецовым все еще владело холодное отвращение к себе самому и разъедало сознание бездарности и ненужности своего существования, но о самоубийстве он больше не думал. Встреча с Гоголем тогда, на Сольфатаро, переломила волю его, удержала от смерти, и теперь уж он знал, — как бы там ни было, он «досмотрит» свою жизнь.

Мысль о Гоголе раздражала больше обычного: то, что он вошел пустым эпизодом в жизнь великого человека, а сам из-за него дважды перевернул свою судьбу, лежало в его памяти странной обидой и злобно вызывало желание поквитаться.

Может быть, этот внутренний опыт был отчасти причиной особенно настороженного отношения к Герцену. Багрецов воздавал должное его уму, талантам, видел огромную роль его в общественной жизни России, но к Герцену-человеку оставался холоден.

Как у всякого, кто только что был близок к смерти, глаз Багрецова стал до жестокости обострен. Дар слова Герцена, столь поражавший сразу, в обыкновен-

---

<sup>1</sup> Да здравствует независимость Италии! (ит.).



ном, вседневном общении, становился утомителен, немзыкален и как-то в сущности несерьезен. Вдруг делалось тяжело слышать по поводу каждого пустяка — сверкающие сопоставления, афоризмы, едкую сатиру. Все, что Герцен ни говорил, было из ряда вон, и поэтому именно все теряло какую-то тончайшую подлинность, обращалось в цветок без запаха.

Багрецову казалось: этот блистательный человек выговорен весь, и за ним уж не слышно той глубины, тех корней, укрытых от взоров, где у каждого, обыкновеннейшего, бьется источник жизни, не исчерпываемый сознанием до дна.

В злые минуты Багрецову рядом с Герценом вызывался образ тех культурных деревьев, которые опытный садовод распластывает вдоль стенки, заставляя каждую веточку нести образцовый, совершеннейший плод. Постоишь в изумлении, но вдруг скучно станет и захочется неудачи, корявости, ерунды...

Раз как-то Багрецов сказал Герцену:

— Мне думается, общественный деятель не может не чувствовать зависти к Чичероваккио.

— Почему зависти и к чему именно? — спросил Герцен, внезапно и особенно оживляясь.

— Да хотя бы вот к чему: каждый, по своей воле избравший поприще общественного деятеля-руководителя, тем самым возносит себя как некий произвольный маяк среди моря; хорошо, кому случится он по пути, а ведь весьма многим и нет. И тогда сей произвольный маяк уподобиться может по роскошной расцветке всего-навсего мыльному пузырю. Как выдули его, так и лопнул. Произвольный маяк как бы не остался один среди волн, а корабли, гляди, по своим путям побегут, огибая его. Но общественный деятель, как Чичероваккио, это — гребень волны, взметаемый в бурю самим морем. С морем вздымается, с морем падает. Он пульс народа. Его дыхание — тысяча воль, его вдохновение — жаркое биение миллионов сердец...

— Вы правы, — сказал, потускнев, Герцен, — доля Анджело Брунетти — завидная доля! Все, что вы сказали, я прочувствовал сам под Новый год на улицах Рима, когда был свидетелем, как народ ходил на площадь святому отцу заявить, что ожидает исполнения его обещаний, все еще не удовлетворенных консультой.



Народ звал папу на балкон, он не вышел. Хуже того, была угроза разогнать всех солдатами. За минуту восторженный, народ пришел в ярость. Вот тут во всем блеске я увидел власть Чичероваккио. Он отвел самыми простыми словами гнев народа, обещая, что завтра недоразумение разъяснится и святой отец, обманутый министрами, сам придет к римлянам.

И народный мудрец был прав. Наутро папа каялся и плакал, что злые советники оклеветали пред ним римский народ, и поехал по улицам с повинной. Я видел, как Чичероваккио влез на карету, которая следовала за папской, и сел на ее крышу с своим знаменем, нимало не смущаясь тем, что из-под его грязных сапог брезгливо выглядывал его эминенция кардинал!

— А в результате что? — прервал с гневом Багрецов. — Даже губернатор Савелли не уволен! Чичероваккио истощил все возможности этого, очевидно, невозможного союза с трусливым папой. Недовольство им растет с каждым днем. Что-то будет?

Устрашенный народным настроением, Пий IX решился наконец издать худосочную конституцию, где неприкосновенной оставалась инквизиция и доминикальные суды.

Герцен острил, что единственно хорошим в этой конституции было то, что она доказала возможность существования *конституционного папы*, причем прибавлял:

— И тут опоздали. Мир уже догадался, что *никакого папы не надо* вовсе!

Новости из Ломбардии стали грозными. Австрия, видя, что восстание Милана неминуемо, — душила его. Вся Италия напряженно хотела идти на помощь Милану. Когда на римских торжествах являлось знамя Ломбардии, покрытое черным крепом, ему выпадали безумные овации. Все требовали защиты Ломбардии. Папа молчал.

Багрецов, сначала чтобы заглушить внутреннюю пустоту, но скоро искренно захваченный, опять вовлекся в итальянские дела. Все чаще были минуты, когда ему удавалось снова забыть себя, раствориться с толпой и сбросить всю свою биографию, как прочитанную и ненужную книгу.



Даже образ Бенедетты, все еще его заполнявший, не причинял страдания, рождая одну могучую жажду действия, слитую с волей народа. Он был римлянин, его сознание было подчинено воле *il popolo* Чиче-роваккио. На площади, рядом с сапожниками из Трастевере, с которыми теперь вместе пил и играл в «минто», он сегодня напился пьян от восторга, когда пришла весть о восстании в Милане и о венской революции. Было ли это чувством самосохранения, бегством от внутренней пустоты или иным чем, но, вовлекшись в экстаз римских патриотов, Багрецов уже не хотел опомниться. Ему радостно было требовать вместе с толпой, чтобы крепость святого Ангела палила из пушек, чтобы ударяли в колокол по случаю падения правительства в Австрии и волнений в Ломбардии. Он был пред палаццо «Venezia», когда с него снимали австрийский герб и возносили ломбардское знамя. Двуглавого ненавистного орла привязали к хвосту осла, закидали грязью, сожгли на костре на *piazza del Popolo*. На все это папа затаился, будто его и не было. Народ требовал выдачи оружия из арсенала, папа медлил, за что был наконец обвинен в соучастии с Австрией.

Возле обелиска у фонтана министр Галетти и здоровенный красивый патер Гавацци, ненавидимый кардиналами, но любимый народом революционер, стали призывать всех в Колизей. Гавацци произнес потрясающую речь: «Римляне! вас ждут ломбардцы! Уже раскрыта книга, куда может вписаться всякий, желающий идти на войну. Времени терять нечего. В Колизей!»

Народ кинулся за Гавацци. Багрецову мелькнуло в толпе красивое взволнованное лицо Герцена, но едва хотел он пробраться к нему, как старик, *maestro di casa*, одернул его за плащ и сказал шепотом:

— Синьору надо спасаться! Убийца его высмотрел и только ищет случая... синьору готова лошадь, идемте со мной, ехать из Рима надо ночью.

— Ни за что не уеду, ни за что,— сказал Багрецов, в ужасе от возвращения своей прежней постылой судьбы,— я римлянин, я в память Бенедетты иду волонтером в Ломбардию!

— Безумие, синьор, никто вашей искренности не поверит, бежать много вернее!



Старик понял гражданские чувства Багрецова лишь как хитрую уловку и, щуря глаз, прошептал:

— Это вам не поможет...

Багрецов рассмеялся, дал старику на память часы и сказал:

— Верьте, не верьте, но сегодня последний раз, что я ночую в Риме. Я завтра с отрядом иду в Ломбардию.

Едва Багрецов решил идти в поход, как почувствовал за собою никогда у него не бывшую крылатую молодость. Бегом догнал он тех, что ушли вслед за Гавацци — неутомимым миссионером итальянской свободы, отлученным папой от церкви, ненавидимым иезуитами и, наравне с Чичероваккио, обожаемым народом. Речи Гавацци были пламенны, всегда внезапны, всегда только о том, что всех кровно касалось.

Большой плотный человек, в полумонашеском, полувоенном одеянии, он говорил во всяком месте, во всякое время о том, что надо свергнуть Бурбонов, а папу лишить светской власти, о единении всех, о реформах.

Его клич был: «Дело народа и есть дело божие!»

Подбирая рясу, он взбирался на крышу, на обломок колонны, на дерево. Он отовсюду кричал богатырским своим голосом:

— Друзья мои! Только революция может создать Италию! Пусть какой угодно шпион доносит мои слова его эминенции кардиналу — народ хочет свободы и религии без поповских обманов...

— Безбожник, женатый монах! — кричали ханжи из толпы.

Гавацци весело отругивался:

— В счастливом браке нет никакого греха — одна сладость. И, конечно, я был бы женат, не посмотрел бы на запрет, если б того захотел... но вся моя любовь у ног одной прекрасной дамы — Италии!

В Колизее Багрецов опьянел от восторга. Был закат, небо пурпуром врывалось во все арки, делая людей черными силуэтами. Как в древности, когда праздник сулил Риму неслыханно острое наслаждение — борьбой, ловкостью, кровью, — все выступления, арки, все стены были унижены римлянами сверху донизу. Из одной выдававшейся ложи патер Гавацци гремел:

— Юноши Рима! первые идите в ряды! Я вместе с вами. Кто идет?



Колизей заревел: «Все идем!»

Кровь бросилась в голову Багрецову. Он кинулся вслед за первыми туда, к столу, под древнюю арку, где под вспыхнувшими факелами велась за столом запись добровольцев на защиту Ломбардии.

Опять на мгновение встало пред ним лицо Герцена, у него в глазах были слезы. Но лишь только Багрецов к нему кинулся, как снова потерял его в толпе. Багрецов стал в очередь для записи. Он чувствовал, будто Бенедетта с ним рядом, прощает его и, как и он, знает, что теперешнее их соединение во имя Италии прекрасней бывшей, едва ли долговечной любви.

— За свободу Ломбардии! — произнес высокий прекрасный юноша, первый подписавший свое имя в книге волонтеров, подняв высоко руку с трехцветным значком, им только что полученным.

Багрецов узнал юношу. Это был тот, кто ходил с Бенедеттой, кого он встретил в термах Каракаллы, тот, который любил ее и за нее клялся отомстить, — это был Беппо Марио.

Внезапно Колизей загудел от рукоплесканий. Посреди, на арене, стоял Чичероваккио со своим подростком-сыном. Сняв шляпу, он низко кланялся на все стороны и говорил:

— Римляне, если я точно нужнее вам здесь, чем в Ломбардии, то взамен себя отдаю вам кровь мою — сына моего, в ряды первых бойцов!

— Evviva Чичероваккио! — ревел Колизей.

Багрецов подписал свою фамилию, выложил все деньги, какие были, на стол пожертвований на поход и приколот себе трехцветную кокарду.

С зажженными факелами пошли ополченцы за отцом Гавацци. Наутро им надо было выступать в поход. Багрецов, все в том же окрыляющем восторге легчайшей юности, подходил к своему дому. Вдруг кто-то, пробежав было мимо, внезапно обернулся, занес руку с сверкнувшим тускло кинжалом и с возгласом: «За Бенедетту!» — ударил его в грудь.

Несмотря на слабый свет от проносимых мимо факелов, Багрецов, падая, успел узнать своего врага — это был он, высокий, с вдохновенным лицом Антиноя, записавшийся первым в ломбардский поход, — Беппо Марио.



Уже на другой день после несчастья с Багрецовым у постели его неотлучно сидела Гуль. Полина Карагина узнала обо всем от maestro di casa, нередко приносившего ей записки от Багрецова; она привела врачей. Положение было признано тяжелым, но не без надежды. А едва Багрецов встал на ноги благодаря неусыпному уходу Гуль, врачи настояли, чтобы он уехал из Рима.

Воля Багрецова сломалась. Итальянские дела его уж не занимали. Юношеский восторг и недавний подъем не возвращались. Больше того, они сейчас казались ему при воскресшем во всю силу привычном скепсисе — добровольно на себя принятой и по прихоти разыгранной ролью.

Багрецов принимал как привычные и уже необходимые для каждого дня любовь и заботы Гуль. Объяснений не было, но они уже знали, что больше не расстанутся. Только однажды Багрецов с слабой улыбкой ей сказал:

— Помните — вы всегда и совершенно свободны уйти, если встретите что-либо лучшее.

Новое и особенно тяжкое для Гуль было то, что Багрецов выпивал. Никогда не пил допьяна, но всегда был нетрезв и угрюм. Одна надежда была, что возврат в Россию его изменит. Охватят на родине интересы, жажда дела...

Молчали оба много. Об итальянских делах Багрецов не спрашивал. Перечтя старые газеты и расспросив, что произошло за время его болезни, он понял, что освобождение Италии надолго потеряно.

Наконец он решил ехать в Россию вместе с знакомыми художниками, которые выезжали по требованию правительства или вследствие прекращения им казенной пенсии. Только Александр Иванов с братом оставались в Риме. Недавно умер их отец и оставил обоим небольшое состояние. Хотя Александр Андреевич свою большую картину навсегда бросил неоконченной, уединенная жизнь в любимом Риме была необходима ему для новой заветной работы, для «Храма человечества». С Багрецовым он простился душевно, до новой встречи в Петербурге, куда в конце концов должен был привезти свое «Явление Мессии».





### Глава XIII

#### УБИЙСТВО «МЕРТВЫХ ДУШ»

Дня за два, за три до сожжения рукописи Гоголь поехал на извозчике в Преображенскую больницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошел к ним, воротился, долго ходил назад и вперед, долго оставался в поле на ветру, в снегу...

*Записки д-ра Тарасникова*

Багрецов два года прожил в деревне, в Хотынове, у той сестры Анны, дьяконицы, вступаясь за мужа которой он когда-то кинулся с ножом на отца. Анна была уже во втором браке и многодетна. Глеб Иванович выкупил у нее хотыновских мужиков, помог им наладить хозяйство и, разругавшись с сестрой за вновь накупленных ею людей, уехал с Гуль навсегда в Москву.

Стоял 1852 год, когда Глеб Иванович вселился в свой особняк на окраине города против больницы умалишенных.



Та жизнь вдвоем с Багрецовым, о которой Гуль когда-то мечтала, была ужасна. Она с каждым днем понимала все больше, что есть такая степень омертвелости, которую уже никакая любовь растопить не в силах.

И странно: не испытывая угрызений за свершенное преступление, Гуль свое страдание приняла безропотно, как справедливую кару за гибель сестры.

Что же до Багрецова, то его еще могла бы пробудить к жизни какая-нибудь крупная деятельность государственная, с сознанием большой власти и ответственности, но он все поприща прогулял за границей и сейчас был разбит, без желания борьбы.

Ему предстояло то же, что отцу его: коротать жизнь среди обширной библиотеки, имея себя одного собеседником, да вот ее, Гуль, не подругу жизни — няньку. Как быть тут без коньяка?

Винить Багрецова Гуль ни в чем не могла. Сам он не раз говорил ей об ужасе, который ждет ее, но она не поверила.

Гуль чисто по-женски надломленность Багрецова всецело объясняла трагедией с Бенедеттой. Правда, роились смутные подозрения, что как-то ранила и глупая та история с «флаконом Борджиа» — тем именно, что в нем яду не оказалось. Но об этом Багрецов замолчал навсегда, а ей самой было не под силу разобраться. Она сделала одну попытку понять, но запуталась еще хуже. Не переставая считать оскорбительным свое бывшее подозрение Багрецова в убийстве, Гуль разыскала в Москве того доктора, который определил ей содержимое флакона. Да, доктор, ныне старик, был еще жив. Как же, он ее очень запомнил. Ведь она после его анализа, что яд — только слабительное, упала в обморок. Тогда же, не называя имени, она рассказала ему всю историю. Сейчас она была женой этого псевдоубийцы. Доктор опять так хорошо засмеялся, так рад был, что трагедия окончилась свадьбой, что просил непременно к нему приехать вдвоем.

Когда Гуль это предложение передала Багрецову, он непонятно оживился и такой нелюдимый сам стал настаивать на скорейшем визите.

При встрече сентиментальный доктор от чувств прослезился.



— По воле фортуны я был ваш первый сват! — сказал он Багрецову и налил всем в зеленые рюмки дорогого немецкого мозельвейна. Вдруг, приложив палец ко лбу, доктор слегка подпрыгнул: — О, в центре события должен стоять сам виновник.

Подойдя к стеклянному шкафу, осторожно открыл его ключиком, вытащил из гущи пузырьков странный, пузатый флакончик с надписью: «Флакон Борджиа» и поставил его с торжеством среди рюмок.

— Вы тогда у меня его бросили, — сказал он Гуль, — а я включил его в число моих реликвий, иначе говоря «вещественных доказательств», спасенных моею рукой, — самоотравившихся. Ведь я, старый холостой врач, могу иметь свои сувениры.

Багрецов взял пузырек, пристально вперился в него.

— Да, тот самый, — сказал он. — И в нем, вы утверждаете, точно не было яду?

— О, только послабляющее, правда старинное, но легчайшее, безобиднейшее, — хохотал доктор.

Гуль помнила, как мрачен вдруг стал Багрецов, как, выйдя от доктора, не проронив ни слова, заперся у себя.

Вечером вышел. С непонятной ей грустью поглядев на нее, вымолвил:

— Есть еще время — уйди от меня! Тебя ждет жестокая жизнь.

И, заметив испуг в глазах Гуль, криво дернул ртом, улыбнулся.

— Не бойся, истязать и бить не буду. И сцен никаких. Но я погибший, я конченный человек, и вся любовь твоя как в пропасть. Пока ты сама не начнешь мерзнуть, я знаю, ты меня не поймешь. Но верь мне на слово: есть нечто неизмеримо худшее сцен, измен, побоев, ревности и всех атрибутов обыкновенного несчастного брака. Там все-таки жизнь — здесь безнадежное окоченение... Уйди от меня, Гуль!

Но она не ушла.

С Гоголем Багрецова все хотел опять свести Пашка-химик, но Багрецову охоты видеть Гоголя сейчас не было. Доходили вести, что воспрянул Гоголь духом, что вторая часть «Мертвых душ» наконец приводится



им к концу, остается переписать ее набело и сделать последние исправления, что одновременно работал он и над подготовкой к печати нового издания своих сочинений.

Багрецов холодно решил, что Гоголь укрепился от своей поездки к святым местам. Ну и на здоровье! Теперь речи его должны быть окончательно учительские. Багрецов где-то в глубине бережно хранил последнюю встречу на потухшем кратере Сольфатаро. Гоголь разбитый, и глаза его, бережные, как у матери, и горькое признание его в том, что недавно зацветавшее слово сейчас ему «как колода», и вызванный образ глухого Бетховена — все это странно дало Багрецову силу пережить, не убить себя. Так ставит на ноги изнемогшего от горя благородный вид горя чужого, безмернейшего...

Но к Гоголю, благополучному, снова нашедшему «драгоценное слово» и вкус к работе, Багрецов был холодно доброжелателен, но чужд и для себя лично ничем не заинтересован.

Но все же, когда он увидел его на Никитском бульваре, узнал издали на скамье, то так сильно взволновался, что хотел было повернуться и убежать. Однако остался стоять, долго с биением сердца смотрел на него, им не замечаемый.

Был вечерний, тот ненарядный час, когда фонари еще не зажгли и на бульваре гуляющих мало. Шел до того обильный мелкий снег, так кружился он в легком ветре, что Багрецову показался снег оперным, вроде как тот, что в «Жизни за царя», пущенный с потолка, покрывает вмиг и Сусанина и поляков.

Темным монументом сидел на скамье Гоголь. Складки длинной шинели лубом спадали на землю, скрывая ноги. Из поднятого воротника далеко вперед выключнуло носатое лицо. Глаза как уперлись, не двигались. И будто он весь не дышал.

Ударили ко всеобщей. Гоголь не сразу услышал, а услышав, без раскачки встал вдруг, как поднятый пружиной, и тяжело пошел. Смотрел прямо вперед. Поровнявшись с Багрецовым, его б не заметил, если б тот не ступил поперек:

— Николай Васильич... Я Багрецов, видались последний раз в Сольфатаро...



— Как же, помню,— сказал Гоголь и, поеживаясь и знобясь, высунул правую руку из широкого рукава.— Помню. Пройдемте, мне нельзя опоздать...

— Как съездили? — спросил Багрецов, он не назвал — куда. Но хотя после Иерусалима Гоголь был и в Одессе, и в Калуге у Смирновой, и недавно в Оптиной пустыни, но ответил сразу на то именно, о чем спрашивал, даже не называя словами, Багрецов.

Есть отношения каждого дня, и есть отношения внезапные, без наличности пресловутого «пуда соли» и долгого времени познать друг друга, но глубочайшие. Бывает: на полустанке войдет человек в вагон, где другой уже обселся, и обывательским враждебным оком встретит соседа. Но проговорят ночь, а примут друг друга уже навсегда, через годы, службу, семью. И даже в тот смертный час, когда производит каждый в своей жизни отбор, гляди, полновесным зерном лежит в сердце та встреча. В таких встречах люди не прячутся и не лгут.

Гоголь сказал:

— Я удостоился провести у гроба господня целую ночь, но познал лишь одно — как окончательно велика черствость моего сердца. Удостоился приобщиться святых тайн, стоявших на гробе вместо алтаря,— но земное во мне не сгорело, а небесное в меня не вступило. Сонно и смутно было в душе. Где-то в Самарии сорвал цветок, в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции... Так-то. Да и блохи покусывали, прегустая там, знаете, кавалерия...

— А Оптина пустынь? — И опять Багрецов не объяснил, что это через него, через Гоголя, самая последняя и ему надежда — Оптина.

Гоголь остановился, подозрительно впервые во все глаза глянул на Багрецова, и тот увидел, что не те у него глаза. Не как в погодинском саду, острые, вбивавшие подноготную, чтобы тут же сплюнуть, как шелуху; не играющие хмелем и жизнью, как тогда в Риме, когда подбивал нагрянуть на виллу Волконской «гуртом без никакого зова»... не те, незабвенные, в Сольфатаро, глаза матери нежной и бережной. Сейчас глаза смотрели и, конечно, всё видели, но сами для зрителя были так: зрачок черный, больше обычного в



сумерках, голубоватая радужная оболочка и белок. Глаз из любой анатомической книжки, не глаз Гоголя, просто «глаз человека».

И слова были раздельно, наизусть:

— А в Оптиной пустыни я вот что узнал: «демоны не суть видимые тела. Мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные. Ибо, приняв сии помышления, мы принимаем самих демонов и явными их делаем в теле».

Но, сказав это и, как посторонний, выслушав собственный голос и лишь в следующее мгновение поняв сказанное, вдруг, весь дрогнув, Гоголь взял под руку Багрецова, пригнулся к уху его, зашептал:

— За монастырской оградой, там, где бегут уж поля, шел по канавке монах. Слепец с посохом, изможденный бдением... поравнявшись со мною и не зная, кто я, прозорливец сказал свои потрясающие, знаменательные слова. И пока я, сраженный, молчал, присовокупил и последнее: «О взыщи, сын мой, огненного духа! Будь в этом теле как те, кои уже без тела... взыщи!»

И, еще надвинувшись, почти коля Багрецова своим острым носом, чуть слышно Гоголь прошептал:

— Взыскал и сам взыскан, сам! *По молитве моей* вчера болеющей Екатерине Михайловне Хомяковой наступило чудесное улучшение. Да, по молитве моей. Я взыскал и сам взыскан!

Багрецов не помнил, как они простились и что еще было Гоголем сказано. В памяти осталось одно: раскрытая дверь храма, охваченная пламенем несметных свечей, кровавыми пятнами лампад, и—Гоголь, в темной шинели, отлитый из чугуна, с головой непокрытой, далеко выключнув из воротника длинным носом.

Прошел месяц после этой встречи. Багрецов из дому никуда не ходил. Нравилось ему здесь за городом: безлюдье, безумие, в поле волчий вой.

В окна приземистого многоглазого дома неслись снеговые поля. За окнами крутила метель.

Багрецов давно молчал. Сидя в глубоком кресле, сперва курил длинную трубку, потом пил коньяк. Пред ним Пашка-химик—по римской кличке Шехеразада—докладывал.



Кроме них обоих, в доме не было никого. Жена уехала в Москву на блины, прислуга была отпущена на балаганы. Стоял последний день масленой недели.

— Говоришь, оживился, узнав, что живу против лечебницы? И сказал, что зайдет,— Гоголь, Николай Васильич? Да не врешь ли?..

— Помилуйте-с, Глеб Иванович, да какой еще разговор допустил. Плохо вы окружены, Николай Васильич, говорю, Аксаковы вас обнимают, Погодины обсчитывают, прочие сахарят да вареники ваши любимые лепят. Съездили б в зеркальце глянуть к Глеб Ивановичу, тряхнули бы римской стариной. Бывало, мы с вами на Via Felice часами-с... А живем мы в чистом поле, глаз стал острее да зорчей, обдуло, обветрило, просторы кругом да дом людей, сшедших с ума. И фрака, говорю, к нам не требуется. Засмеялся, представьте, сказал: «Доложи ему, я приду; когда дома?» Натурально, говорю, дома-то всегда-с. Ведь умный человек, говорю, превращает себя к концу дней в собственного собеседника, и тогда ему некуда уходить. Цель достигнута-с. Finis. А Гоголь, Глеб Иванович, столь гневно: «Ты, несчастный, уверен, что иного финиса на земном поприще нет, как от себя и к себе же?»

Глеб Иванович, руки в карманах, грузно ходил от стены к стене. Остановился, налил коньяку себе, Шехеразаде. Пожевал тонкими, как у Вольтера, губами, сказал:

— Ну, а ты что? Да не слишком-то ври...

— Ничего я не вру, Глеб Иванович, а извините, ответил Гоголю пренебрежливо. Но посудите сами, после римской свободы это житье монастырем, в руках четки, запостившийся вид... да мне как ладан на беса... а ему вынь да положь: от себя и к себе, так иного финиса умному нет. Есть и иной, говорю, есть,— к чертовой матери под соусом пикан-с.

— А он?

— А он, Глеб Иванович, ка-ак качнется, словно проклюнуть безмерным своим клювом и этаким шипом: «Не свои, не свои слова говоришь. У беса моего с-схимистил соус пикан. Что под сим мнишь?» А я, Глеб Иванович, для легкости, с этакой хлестаковщиной: мною под соус пикан, говорю, протчее тому подобное, никому не ведомое до конца-с: науку, добродетель, ре-ли-гию-с.



— Не тyani,—оборвал Багрецов.

— Вот тут, Глеб Иваныч, и случилось. Гоголь прикрыл глаза веками, побелел-с и этак ровно стрелой в меня: «Сгинь!» И поверите ли, пока не придвинулся я к дверям, все крестил: себя большим крестом, а меня как блошку, чрезвычайно мелко-с. Я полагаю, Глеб Иваныч, дабы выразить этим относительным масштабом свое презрение к бесам низшего калибра. Подумать только, Глеб Иваныч, и здесь табель о рангах. А в Риме-то и после виллы Волконской разговором со мною не брезговал... Еще в спину заклиал-с: «Не смей приходить».

— Сам он сюда придет, не вытерпит,—сказал Багрецов.

— Едва ли, Глеб Иваныч, уж очень запуган-с. Когда отца Матфея нет, он за юбку старушки Шереметевой держится. От Симеона-столпника бежит к Савве освященному, всю обедню, пав ниц, горько плачет. Едва ли, Глеб Иваныч, он к вам, к этакому римскому другу... Однако в случае прибытия уж разрешите и мне присутствовать, почитатель ведь я.

— Что слышал о нем в городе? От Семена? — прервал, не слушая, Багрецов.

— Чрезвычайно-с друзья озабочены. Представьте, и сейчас уж, на масленой, говеть вздумал. Как строжайший монах встречает преддверие поста. При всей известной его склонности к чревоугодию стал в пищу урезан: сухую просфору вменил себе в объедение. А припомнить: остерию Лепре и Фальконэ.

— Да,—усмехнулся Багрецов,—бывало, загоняет сервиторов капризами.

— А Семен, Глеб Иваныч, как верный раб тоскует: «Еще, говорит, недельки две тому назад, если утренний кофий недостаточной крепости — беда: этакое выдаст словесного векселя. Ныне же за обедом едва примет несколько ложек овса на воде. Отговаривается, что от обильной пищи в нем кишки перекрутятся».

Глеб Иваныч ходил, не останавливался. Из двух зеркал на поворотах на один миг бросался в него высокий человек в сюртуке, но без галстука. Над сюртуком было бритое, одутлое, бледное лицо. Глеб Иваныч любил тщательно бриться.

Под Глебом Ивановичем поскрипывали половицы. Стены длинной комнаты, многоглазой от окон, всё



светлели. Громадные хлопья взмывались вьюгой с сугробов снега, поднявшихся выше рам.

— Смерть Хомяковой, говорят, расстроила его больше, чем мужа и братьев. Читал по ней псалтырь в своей комнате. Не знаешь: был на выносе?

— Не был, Глеб Иванович, у Аксаковых я узнал. Старик-то как есть пустынный и медведь, все с ним не в точку. При мне полез с расспросами: почему да отчего? А Гоголь с строгостью: «Екатерину Михайловну я и один так сумел помянуть, что такова ее благодарность... она всех близких привела пред меня». И вдруг сник, зашептал: «О, сколь страшна минута смерти». Семен поведал: с похорон Хомяковой решил Гоголь помереть-с. Одно твердит: когда-нибудь надо же. Так лучше сам приготовлюсь и помру. Еще Семен полагает, главное все расстройство от отца Матфея, что не так давно был из Ржева. Пугал Гоголя страшным судом, что-то требовал... Семену в щелку не слышать было, что именно, только крик этот «страшно мне, страшно!».

— Больше нет ничего? — спросил Багрецов.

— Еще последнее, Глеб Иванович, вчера утром. Сам я ведь крепко больной, сунулся было лекарства просить. У них там наши хохлацкие травы да мази. Семен вышел, не до меня ему. На самом лица нет. «Ночью барину голоса были: уверился он вконец в свой близкий час. Разбудил, погнал за священником — пособоровать. Однако, когда я привез, поспокойнее вышел, прощения просил. Отложили».

— А ведь ты, братец, и сам вправду болен, — рассмотрел вдруг Глеб Иванович гостя. — Никак, твоя желчь разлилась? Лицо будто желтая репа. Доктора надо бы... Ну, выпьем.

Бах... бахнуло в стены.

Хлопьями мокрого снега лепить стало окна. Будто великаны, промахнувшись в снежки, хватили с силою в стекло.

— Ишь, вьюга-то, Глеб Иванович, смерчем по полю... А вот, бывало, Гоголь вьюгу умел заклинять-с. Наберется нас, украинцев, к нему в петербургской квартирке. Дрянь, мзга сыплется с неба, а он, чародей... ведь глаза отведет: «У нас-то на родине, скажет, скоро тополи ушпигуют весь Киев, на базарах вывалят бабы рядна абрикосов да вишенья. Ученый дрызг — и тот



заснует по улицам. И все в очи Днепр... Днепр — темный, синий...»

В дверь на парадном постучали, сначала робко, потом погромче.

— Что за черт стучит,— проворчал Багрецов,— звонок есть. Когда болен, ложись в диванную, Пашка,— крикнул он и, чего-то волнуясь, пошел к дверям.

Тотчас из зеркала метнулся навстречу ему высокий в сюртуке, но без галстука и проблеснул нетрезвыми глазами на бледном, иссиня-бритом лице.

В большой многоглазой комнате стояла голубоватая мгла, и нельзя было понять, откуда подобное, ни дневное, ни лунное освещение.

В холодную дверь по медной пластинке дробно и сухо лязгали, будто по одному ударяли связкой железных ключей.

Шехеразада, как неживой, замер на белом окне. Лысый череп на тонкой жилистой шее. Желтое, слоновой кости лицо. На нем высоко вздернутые навеки всосались две черные пиявки бровей.

Стук за дверью вдруг рраз... всеми ключами.

— Кто там? — громче, чем хотел, спросил Багрецов. Слабый голос сказал:

— Впустите... Я, Гоголь.

Багрецов поспешил открыть. Ветер хлынул из двери и ледяным поземком понесся по комнатам.

— Где ваша лошадь, Николай Васильич?

Багрецов протянул руки, чтобы снять с гостя шинель.

— Я так посижу,— сказал Гоголь,— я недолго.

— Да что вы? В карете? На вас снегу нет. А кучер?

— Там...—махнул Гоголь рукой.—Согревается...

— Пройдемте ж отсюда в диванную.

Гоголь снял только теплую шапку с наушниками и перчатки. Густые русые волосы, давно не стриженные, упали до плеч. Пробелел пробор. От пробора, как обычно, шел гладкий зачес на правое ухо. Шерстяной шарф, скрывая шею, охватил и подбородок. Нос, иссохший, еще подлинневший, будто из прозрачного алебастра, свисал над чуть видными усами.

Несмотря на мороз и вьюгу, одни скулы едва розовели, отчего казались накрашенными на неестественной для живого белизне лба и лица. Руки, тесно



вдвинутые одна в другую в широких рукавах шинели, делали фигуру узкоплечей и необычной. И так же необычно, как изваяние слоновой кости, смотрелась в гостя желтая маска — лицо Шехеразады.

Встретясь с ним глазами, Гоголь дрогнул и надменно сказал Багрецову:

— Ну, зачем *это* здесь. Ну, зачем?

— Это — Пашка, Николай Васильич, вам знакомый Шехеразада из Рима. У него желчь проступила. Не беспокойтесь. Иди, ляг!

— Нет, уж по уговору, Глеб Иванович, давеча вы разрешили присутствовать.

— Как? — вскрикнул Гоголь. — У вас с таким был обо мне у-го-вор?

Он выпростал из рукава правую руку и крепким, как у скелета, пальцем перевел с Багрецова на Шехеразаду.

У Багрецова мелькнуло, что вот этими костяшками желтой руки он и стучал так снаружи в медную ручку дверей.

— Сядьте, Николай Васильич, вы чуть держитесь, да вот коньячку бы — согреться.

Багрецов подкатил Гоголю просторное кресло. Гоголь сел и слабо отмахнул рукой поднесенную рюмку, забиваясь вглубь кресла:

— С таким уговор... обо мне!

Багрецов опрокидывал рюмку за рюмкой, стоя так, чтобы не видеть зеркала. Язык его чуть заплетался:

— Все окончательно просто, Николай Васильич, просто и понятно. Он<sup>ый</sup> Шехеразада сказывал, что вы собираетесь в наши места, и, почитая вас безмерно, просил в этом случае быть. Вот и весь уговор.

— А что я желтолик, — вскричал Пашка, — так это от вашей обиды... Как же-с, Николай Васильич. Я заболел разлитием желчи, едва вы меня закрестили, как блошку-с, излишне мелким крестом-с.

Гоголь тесней жался к креслу, защищаясь как бы от нападения исхудалыми кистями рук.

— Издеваются. Над кем? Над писателем русским. — И, воззрившись испытующе в Багрецова, с трудом, но внятно сказал: — В «Брани невидимой» повествуется, что к неким, пронзенным гордыней, во услужение идут бесы, приняв образ раба эфиопа или иной необычайный для страны лик.



— Полноте, Николай Васильич, если я чем пронзаюсь, так одним коньячком, а Пашка тем менее бес... он просто некий... Пашка, ты некий, не оправдавший своих и общих надежд!

— Как многие, как оч-чень многие...— подскочил к Гоголю Пашка.

Словно тополь, прохваченный ветром, весь дрогнул Гоголь. На миг выбрался из шерстяных складок шарфа, обнаруживая обтянутую одной кожей предсмертную худобу лица. И вдруг... ударила тяжесть, сник вглубь до самого носа.

Багрецов еще выпил. Глянул в окно. Сейчас вьюга мелко кружила снежинки. Они в глазах прыгали искрами.

Багрецов перестал чувствовать стены. Но от коньяку ему было не холодно, и он не мог понять, наружи ли он или в доме.

— Как это вы выбрались в вьюгу?— сказал он Гоголю.

— Это они к Корейше юродивому ездили,— хихикнул Пашка.

— Иван Яковлевич меня принять не изволил,— сказал с грустью Гоголь.

— Да не у Корейши ответ вам искать!— закричал Багрецов.— Он зря пряник даст, зря к черту пошлет, не он вам ответит...

— Тогда вы?— медленно, внятно, как часовой бой, сказал Гоголь.— Ах, ответьте! Ведь больше в поле нет никого. А голос был мне: в поле ответ. Отец Матфей приказал мне совсем не писать. Я спротивился. И вот... Дальше противиться нет сил: перо как колода. Мысли все вихрем. О, как же мне быть?

Багрецов покачался на ногах. Сказал:

— Если напишете вторую часть лучше первой...— я про «Мертвые души»,— плюйте всем в бороду и печатайте. Но хуже, Николай Васильич, хуже— вам писать уж нельзя. Про второй том друзья растрезвонили. Второй том Россия вся ждет...

И как эхо— желтая маска:

— Ждет-подождет, ждет-подождет.

— Пошел под стол!— заревел Багрецов.

Шехеразада стал на четвереньки и, метя шелковым персидским халатом ковер, пополз в дальний угол. Гоголь сжался в комок.



Багрецову на миг показалось, что Гоголя будто в креслах уже нет, а сгустилась в кучу одна лишь пустая шинель. Но, пригнувшись, он рассмотрел безмерный алебастровый нос и с удовольствием, что ясная, твердая мысль не уходит от него, продолжал:

— Хуже писать вам нельзя, чем писали, сами знаете... За обновлением сил не зря в Ерусалим съездили. Однако весьма могло выйти, что зря... Никак сами заверили, что желудок ваш встал кверху ногами, перо колодой, мысли вихрем. Ведь заверяли?

Гоголь приподнялся. То возникая, то опадая в шинели, он безмолвно стискивал руки.

— Мне жаль вас,—сказал Багрецов,—и вот слушайте: я предлагаю...

— Гау-гау...

Это в углу Шехеразада собачкой, халатом укутав голову.

Багрецов опять:

— Николай Васильич, я вам предлагаю все ваши писания сжечь.

— Мне сжечь?—Гоголь вцепился в шинель, где под ней билось сердце.

— Все сжечь,—пролаяло из угла.

— Натурально,—качнулся Багрецов,—жечь, так уж все. Да ведь лучшее вами читано: Шевыреву, Смирновой. И одобрено. И известно... хе-хе.

— Кхе,—чихнули в углу.

— Это прямой вам расчет, Николай Васильич, чисто все сжечь. Задним числом, что не читано, пуще расхвалят. А учителей-то словесности, пачкунов, изыскателей—вот обложете! Века спорить будут. Века... ах-ха...

— ...ха...

В углу трепыхался персидский халат без конца и начала.

— Ах-ха-ха...

Забился в хохоте Гоголь, клюя носом над чуть видными в шарфе усами.

Метель рвала, ухала. Метель хотела скрутить в смерч этот дом.

Хлопал слетевший ставень, и по крыше топали то босые, то медные ноги. Завыл пес.

Гоголь вырос и, пятясь к дверям, как посыпают из щепотки табак, закрестил вокруг мелким крестом:



— Сгиньте...

У входа он высунул из шинели сухую, голую до локтя руку.

— Открой! — приказал Багрецову так властно, что тот, хотя пьяный, не посмел ослушаться, снял крюк, щелкнул ключ.

Гоголь исчез.

— Да как же я выпустил? Да он без лошади...

Багрецов схватился за голову и осел прямо на пол рядом с персидским халатом.

— Вставай, беги за ним. Пашка, беги, — теребил он химика, уснувшего камнем, — беги, вороти!

— Да кого, Глеб Иваныч? Никого тут и не было. Вы да я. Выпивали да спали.

— Гоголь был, — прошептал Багрецов, — Гоголь... — И, падая навзничь, Багрецов стукнул затылком об пол.

В тот же миг внизу стенного зеркала нацелились в комнату две огромных, новой кожей подбитых подошвы.

Приехавшую из города в сумерках Гуль с испугом встретили в передней Дуняша, кухарка и Петр, старый лакей Багрецова. Они, вернувшись с балаганов, вошли через черный ход, от которого был у них ключ. Шехеразаду, Пашку-химика, нашли в диванной в жесточайшем бреду, а Глеба Ивановича на полу распростертым во всю длину. В правой руке его был крепко зажат ключ от парадного.

— Похоже, что Глеб Иваныч только что заперли двери, выпуская кого-то, — пояснил Петр, — в случае, если б вздумали прогуляться, — были б одевши. Мы их перенесли в спальню, раздели.

Гуль прошла к Багрецову. Он был очень бледен и спал тяжким сном нетрезвого человека. Она прошла по комнатам, на окне увидела бутылку коньяку. Гуль села в то самое глубокое кресло, которое Багрецов подвигал своему недавнему гостю, и заплакала.

Пашку-химика пришлось отправить в больницу, где, не приходя в себя, он вскоре умер. А в тот же самый день, когда вышел номер «Сына отечества» с объявлением о смерти Гоголя, у Багрецова оказался легкий удар. Ему строго запретили пить.



Была ранняя весна. Пасха только что отошла. Багрецов, досиня выбритый, но не в сюртуке, а в халате, ходил туда и назад по анфиладе комнат. Зеркала почему-то стали ему неприятны; но так как были слишком велики, чтобы их спрятать в сарай, он приказал их закрыть простынями. Стало похоже, что в большой глазастой зале — покойник.

Без Шехеразады Глеб Иванович заметно скучал; раз даже ошибся, приказав Петру его вызвать из города.

Наконец с заметным трудом он спросил о Гоголе. Гуль подала ему молча отложенные в порядке февральские газеты.

Глеб Иванович заперся у себя. Выйдя вечером, долго безмолвно сидел у окна. Подозвал Гуль. Взял «Сына отечества» и, водя пальцем по строкам, прочел вслух: «С понедельника на вторник ночью он велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вынул большую кипу писанных тетрадок, положил в печь и сжег все».

— Он сжег все.— И Глеб Иванович так усмехнулся, что Гуль заплакала и сказала вне себя:

— Глеб Иваныч, да вернись ты из могилы, стань человеком... сил нету!

Глеб Иванович глянул удивленно и печально, будто только что узнал ее. Потом опять стал ходить.

Наконец как-то утром он сказал:

— Собирайся, поедem к Гоголю в Данилов монастырь.

И в ответ на безмолвную ее тревогу только махнул рукой:

— Небось хуже не будет.

Далеко за городом предместье у заставы. Домишки о трех окнах, улицы поросли травой, ходят свиньи и куры, или, громыхая, протрясется рысцей дилижанс. Старинные казармы. Дальше белая стена, еще более древняя, чудесной кладки с наплывом верхнего ряда зубцов, вознесенная при царе Алексее Михайловиче вокруг монастыря. Врата въездные веселые, пестрые. Голубые пузатые столбики с прохваткой желтым, красным, зеленым. Все в чешуйках да в шашечках.

Во дворе над колодцем шатер с угодником. Далее церкви московские златоглавые да шатровые — и Растреллиева стили и своих стилей, русских. Золотеют, голубеют сквозь пушистую, еще прозрачную зелень.



— Хомяковы. Языкова... Вот здесь, должно быть, и он,— сказал Багрецов.

У забора, на могильных деревьях, протянута тонкая бечева. Какая-то баба, озираясь по сторонам, очевидно делая запрещенное, но ей необходимое дело, пользуясь ярким весенним солнцем, развешивала детское белье.

— Толстая подоткнутая баба, квохтанье кур... что-то знакомое,— сказал Багрецов.— Да, словно им описанный двор Ивана Никифоровича.

Гуль нашла временный желтый крест, еще свежую насыпь. Сели оба на скамью.

— Молитвы он просил,— сказал Багрецов,— на всю Россию кричал, чтобы молились. Благообразия хотел... а в последние минуты, говорят, врачи его истязали, обкладывали горячим хлебом, к носу две черных пиявки. Так и вижу его с ними. И в могиле не укрылся. И сюда жизнь наперла. Сейчас, полагать надо, ему все равно; однако мне — глядеть тошно. Эй, баба,— крикнул Багрецов,— чего тут развесилась? Не чердак, чай.

Баба обернулась, круглая, добрая, и, сверкая зубами, просительно сказала:

— Да я на часок, пока солнышко. Ведь не на памятник, чай, и повешено.

Багрецов махнул на нее рукой и задумался, упершись в могилу. Страннее всего был этот небольшой размер для такого человека. Как и для всякого — три аршина. Рядом немцы какие-то, наискосок Екатерина Хомякова, по которой он читал ночами псалтырь... вот и все.

— Вот и все,— сказал Багрецов, вставая.

— Я слыхала,— робко проговорила Гуль,— собираются камень ему положить, черного мрамора, и на нем из пророка Иеремии вырезать стих:

Горьким словом моим посмеются.





#### Глава XIV ГОБЕЛЕНОВ КОВЕР

Грустил и пугался я Петербурга постоянно.

...Я думаю, что никогда таким плохим французским языком не говорили у двора русского, каким я теперь начинаю там говорить. Это тоже причислено может быть к моим бедствиям.

А. Иванов

Еще прошли годы. Багрецов по-прежнему жил на окраине против сумасшедшего дома.

Гуль удалось кое-как наладить жизнь. Нашлись люди одних умственных интересов, Глеба Ивановича втянули в журнальную работу, он даже подумывал об одном капитальном труде. Вся его энергия перешла в интересы каждого отдельного дня, и сегодня катилось как вчера.

Гуль больше ничего не ждала для себя. Ни чудес от своей любви — для него.

Благодаря большому такту она сумела сделаться для Багрецова необходимой, и, насколько мог, он теперь был к ней привязан.



Был июнь, стояла жара. В городе начинался панический страх холеры. Багрецов с утра был чем-то так разволнован, что не мог заниматься, а все ходил взад и вперед вдоль глазастых окон.

Из зеркал, как много лет тому назад, на тех же поворотах, ему бросался навстречу высокий, иссиня-выбритый человек. Только прежняя грузность пропала. Глеб Иванович бросил пить, иссох, а со спины стал, как в юности, сухопарый с сутулинкой.

Гуль, приученная жить без расспросов, перебирала в уме, что бы могло его сейчас так взволновать, как Багрецов, остановясь на ходу, ей сказал:

— Приготовь все к отъезду, завтра я еду в Петербург на выставку Иванова.

И, захватив со стола только что читанного «Сына отечества», он, пройдя в свою комнату, заперся.

Гуль заметила, что с тех пор, как пришло известие о приезде Иванова с его картиной, Багрецов расстроился. Раза два выпивал. Конечно, с этим приездом воскресло в нем прошлое: Италия, Бенедетта,— и Гуль глухо ревновала, рада была хоть тому, что Багрецов не стремится к быстреей встрече с другом, и, списавшись с ним, спокойно ждет его приезда в Москву.

И вдруг перемена... Уж нет ли чего в газете?

Гуль не ошиблась: в газете точно была непристойная статья о картине Иванова.

Глеб Иванович, сидя в своем кресле, еще и еще ее перечитывал, не доверяя глазам. По некоторым весьма специальным суждениям и художественной оценке, обличавшей представителя известной школы, а также по дошедшей молве, он явно видел, что под темным именем неизвестного литератора Толбина, подписавшегося под статьей, скрывались иные вдохновители: художники-враги со своим главой — Бруни.

Огромный труд Иванова, раздерганный по мелочам, сводился ими к нулю. Не без яду воздавалось должное лишь его трудолюбию. Местами тон критики унижался до грубой пошлости и издевательства. Так, про великолепную фигуру юноши, выходящего слева из воды, автор заверял, что она исполнена *avec un peu trop de licence*<sup>1</sup> и напоминает собой довольно вольные типы фигур Джулио Романо, за которые удалил

---

<sup>1</sup> Несколько вольно (фр.).



его от своего двора папа Климент VII. К этому добавлено было: «Принимая в соображение религиозный, чисто нравственный сюжет композиции, следовало бы, кажется, вспомнить художнику, что всегда приступали к воспроизведению божественного сюжета с постом и молитвою и всякую лишнюю наготу тела считали недостойной художника-христианина. И что же сделал г. Иванов?.. Он даже не позаботился сообразиться с античными типами... А воспроизвел что-то, напоминающее вакханалии в празднествах Венеры».

И дальше длиннейший столбец в том же роде.

Багрецов не спал всю ночь. Засунув руки в карманы, скрипя половицами, он ходил до утра. То и дело останавливался у окна. Как бывало, наливал в рюмку коньяк, опрокидывал.

Думал об Александре Иванове, а, непрошенный, возникал рядом Гоголь, длинноносый, как тогда, в свой последний приход. Гоголь шептал в самое ухо, щекоча шею свисшими набок длинными волосами:

— Вот я и в Назарет съездил... Мало поучительно-го, признаюсь,—дождичек шел, как у нас, и блохи преотчаянные, этакая легкая кавалерия, как на отечественных постоялых дворах...

А Пашка-химик из всех углов ерзал бровями-пиявками на желтом, как репа, лице, травил Гоголя, улюлюкал: люлю...

Или, может, то дождь шел, и в трубах бурлило.

— Александр Андреевич Иванов, ваш «ближайший», в Риме полвека гостил, а вернулся домой... и к развратной Венере, к «им-пу-дике» угодил. Хоть кого обремизят в нашей столице-то!

А филин в окошко: хо-хо...

— Поэт... живи один, ты сам свой высший суд,—выкрикнул для защиты себя Багрецов.

Но тотчас все Пашки из всех углов:

— Один сказал-с, один оправдал-с! Александр Сергеевич Пушкин, щедрейший. А прочим уединившимся, прочим...

— Ну, прочим-то? Ну? — И Багрецов, став посреди, размахнулся бутылкой в углы.

И квакнули желтые морды:

— Гррррр...

Да, не вовремя приехал Иванов в Петербург с делом всей своей жизни. Три события волновали столицу:



открытие Исаакия, приезд Александра Дюма и приезд Юма, потешавшего знать чародействами. Александром Дюма был очарован не только бомонд, но и весь литературный мир. Он будто напустил всем в мозги французской своей легкости. Какая-то хлестаковщина общелкивала общественное мнение, всем хотелось нарядного, забавного, несерьезного. Наперерыв цитировались изречения французского гостя, и нельзя было понять, он ли дурачил всех, сам ли был одурачен, когда изобрел пресловутое племя les «clorshik», имеющих одну ногу и ни малейшего признака рук, или величественное дерево «la клюк-ва́», и прочий вздор в том же роде.

Несомненно было одно: легкий французский пляс Дюма-пера обтанцевал суровый подвиг, глубину, строгое целомудрие родного гения.

— Что за краски, что за гобеленов ковер! — из салона в салон твердил про картину Иванова один известный всякому щелкопер и болтун, и с ним все соглашались. Все смеялись, что не стоило, дескать, «Илье Муромцу» корпеть тридцать лет...

Когда Иванову передали, что чтимый им поэт Тютчев не устает повторять свою же остроту: «Этот чудовищный холст полон не апостолов, а одной сплошной семьей Ротшильдов», — он глубоко огорчился.

— Как, неужто может он так говорить? Столь прекрасный поэт? — воскликнул Иванов и, усмехнувшись, добавил: — Ну, это все Дюма-пер-с, значит и Тютчев «одюмачен»...

Иванов помнил, как его брату Сергею при взгляде на картину пришли на память не чьи-либо иные, а как раз его, Тютчева, стихи:

Над этой нищею толпой  
Порабощенного народа  
Взойдешь ли ты когда, свобода?  
Блеснет ли луч твой золотой?..

Иванов после этого не обращал ни на что уж внимания. Он тихо и скромно прохаживался на своей выставке среди этюдов. Его почти никто не знал из публики. Портрета его издано еще не было. Он был серьезен и молчалив, когда его хвалили, когда бранили — оживлялся, вытягивал голову, жадно ловил, есть



ли тут путное, чему бы поучиться. Больше всего ждал, чтобы заговорили не о нем, а о том, что ему было дороже себя,— об искусстве в таком смысле, как думал о нем сам.

Как-то Иванов пришел очень рано. Народу еще было мало. Едва завидев его, от окна отделился некто высокий в сюртуке и подошел к нему, протягивая обе руки:

— Александр Андреевич!

Иванов узнал не вдруг Багрецова. Но узнав, сильно обрадовался: обнялись, не виделись десять лет. Багрецов уже не был одет так, как в Риме, отменно и с заботой. Сильно исхудавший, он как-то путался в подержанном своем сюртуке, его галстук был завязан небрежно, только выбрит он был, как обычно, с особым пристрастием. Лицо его, во всех чертах заострившееся, было угрюмо и тяжело. Глаза так окончательно покинуты жизнью, что невольно Иванов воскликнул:

— Ну, чем это извел ты себя, Глеб Иванович?

— Знаешь ли что, тряхнем стариной, пойдем на скамейку в любимый наш палисадник,— предложил Багрецов,— день ведь чудесный!

— Пойдем, мой дражайший,— заторопился Иванов,— столько есть рассказать...

Он взял Багрецова под руку и хотел уже было двинуться, как вдруг внимание его привлекла группа учеников Академии. У одного в руках был «Сын отечества». Они подошли с хохотом сравнивать статью Толбина с картиной.

Багрецов вмиг понял, в чем дело; он видел, что ученики Иванова не узнали, и сейчас он мог услышать пошлые суждения статьи с прибавкой их собственных и с досадой сказал:

— Александр Андреич, плюнь на них, отойди, раз они принесли «Сына отечества» для сличения, путного ждать от таких нечего. Все понимающие дело твердят, что именем Толбина прикрылась враждебная тебе партия, интриганы...

— Нет, почему ж, я послушаю, молодые хоть жестоки, да в точку...— Иванов, добродушно улыбаясь, придвинулся ближе к говорившим.

— Вот она, махина — не картина! Одна таинственность, которой окружал ее автор, довела всех до



истомы,—сказал высокий, в воротничках á la Брюллов.

— Велика Федора, да дура,—подхватил другой,—поистине нечего было огород городить, тридцать лет высиживать.

— Пойдем, Александр Андреич,—тащил Багрецов,—срам слушать этих ослов.

— Во всех фигурах северное белое тело... и это Палестина? Под зонтиком, что ль, они шлялись? Прав Толбин, прав...

— Братцы, раб-то! Как у трупа, зеленая морда.

— А посадка вся сперта. Да это точильщик из второй античной галереи!

— Фигура старца точно замучена, а юноша-то! Верно Толбин привел: юноша из вакханалий «Венеры импудики», ха-ха...

— А что значит вся правая группа из двадцати семи фигур? Уж точно — семейная баня Ротшильдов. Какие тут к черту апостолы?

— Да уж пред «Последним днем Помпеи» столько не спросишь, там каждый штрих за себя говорит. И у Бруни и даже у Моллера...

И резолюцию поставил высокий:

— Это, братцы, не картина, а просто маринад из римских жидов!

— А вы просто ослиные головы, а не художники! — сильно окая, вдруг крикнул доселе безмолвный ученик.

Иванов давно заметил лицо его: прекрасный лоб Тициана и глубоко сидящие, очень яркие глаза. Весь зардевшись, в гневе он продолжал:

— Вам мозги засластил Бруни картинками, Брюллов задурил вас бенгальской шумихой,—то-то большого да скромного мастерства вы не чувствуете?!

— Скажи, как задается?! — наступали кругом,—уж этот известно... откроет Америку.

— Сапожники, говорю, не художники, а не то б поняли: от Александра Иванова не только приказ: стань мастером! А наука-то вся дана — как им стать. Да это понимать надо.

Александр Иванов кинулся к юноше, обеими руками схватил руку его. Грустное лицо его просияло.

— О, благодарю вас,—пришепетывал он в волнении,—благодарю,—значит, и для молодых труд мой не даром!



У юноши слезы стояли в глазах.

— Простите,— смутился он,— вас я не узнал, при вас я бы так не посмел. В защите-то вы не нуждаетесь.

Батага академистов с высоким во главе в смущении отхлынула. Иванов вынул часы, посмотрел:

— У меня сейчас свободное времечко, не хотите ль пройтись со мной и другом моим Багрецовым сперва в кондитерскую, а потом в скверик поговорить? Кстати, кофейная все так же стоит на углу?

— Все так же,— подтвердил Багрецов,— и по-прежнему ученики Академии не могут посещать ее из-за карманной чахотки,— ухмыльнулся он, видя смущение юноши.

— Позвольте, мой юный защитник, старому художнику угостить вас,— сказал, с лаской беря юношу под руку, Иванов.

Когда они шли по темным коридорам Академии, из квартиры какого-то профессора вышел важный генерал. На повороте он сверкнул золотом своих эполет и звякнул шпорами. Иванов вдруг дрогнул и, побледнев, вытянулся, руки по швам. Он так застыл, пока генерал не прошел.

— Ты его знаешь, Александр Андреич? — спросил удивленный Багрецов.

— Зачем же знать? Довольно того, что это генерал-с; если не вытянуться, как бы не вышло чего. Ведь у нас в России и самый мундир тугим шитьем ворота так приспособлен, чтобы в нем стоять не иначе, как вытянувшись.

Багрецов боком глянул на Иванова и при ярком свете поразился тому разрушению, которое наложили на лицо его годы нищенской жизни, нечеловеческого труда, отчужденности...

Юноша тоже был грустно смущен: он не мог разобратся в поступке Иванова с генералом. Ирония это или та болезненная мания, которую молва давно связывала с его именем?

В кофейне спутников Иванова ждало новое огорчение: он наотрез отказался брать закуску и кофе из рук молодых слуг, всем на смех требуя, чтобы ему привели кого-либо из самых древних.

— Нет-с, увольте, из рук этих молодцов я ничего пить не стану-с и вам не советую,— твердил он со страхом и только тогда успокоился, когда ему указа-



ли, что жив помнящий его юношей Ермаков. Иванов сам подбежал к старику с седыми баками, облобызался, принял из рук его кучу пирожных и, веселый, притащил их своим гостям и сам с жадностью в них погрузился.

Багрецов молча пил кофе. Лицо его было внимательно и неподвижно, как при непоправимой утрате, когда каменеют в человеке все чувства. Он вспомнил, глядя на Иванова, переданные ему на днях слова Тургенева: «Бедный отшельник, глубокое одиночество не прошло ему даром».

Иванов, прикончив пирожные, с отеческой лаской глядя на ученика Академии, спросил:

— Вы не Тверской ли губернии? Сильно окаете — видать, что Тверской.

— Я-то? А ведь угадали, — улыбнулся молодой так ясно, во все лицо, что улыбкой этой еще больше понравился Иванову. — Да, я из Красного Холма, двенадцати лет вывезен в Академию. Сейчас она мне вместо родины.

— А чтобы художником стать, Академию забыть вам придется... да вот пройдемте в сквер, и точно, погожий денек, — глянул Иванов в окно, — а говорить здесь нельзя, всюду уши...

Вошли в сквер, где в это время, как и всегда, было пустынно. Высокая, все та же, колонна на гранитных ступенях, кругом утоптан песок. Под большими деревьями скамья. Сели.

— Да, да, Академию забыть надо, — продолжал, свободно вздохнув, Иванов, опять на безлюдье вдруг радостный и доверчивый. — Разучитесь взгляду на натуру, через образцы, хотя бы и бессмертные. Художнику самому надлежит все увидеть и, как древнему Адаму, всему дать имя. *Впервые данное имя — и есть картина.* Это запомните!

— Я сам так чувствую, — сказал, краснея, молодой, — я только словами не умею.

— Но, чтоб дать всему имена, самому надо все раньше отдать... Глеб Иванович знает, — обернулся к другу Иванов и взял его за руку своей, с детства знакомой, теплой рукой с короткими пальцами. — Он знает... Я отдал все: любовь, утрату всех близких, больше того: веру души моей...



— Ты в этом не прав, Александр Андреич,— прервал Багрецов,— зачем обстоятельства личные делаешь законом общим? Не всякому надо терять и близких и веру.

— Книгу Иова читали? А вот поняли ли? Там это самое написано. На все времена и для всех людей написано. *Отдать надо все, чтобы создать хотя нечто.*

— Помнится мне, Ренан книгу Иова хвалит за кучу навороченных противоречий.

— Что — Ренан, книжный остроумец... — прервал Иванов, — ксендзов французских дразнил? Кровью сердца узнают иную правду. А символически для детей эта история звучит так: бог хвалится Иовом сатане. Тот в ответ: спору нет, праведник. Но почему? Да потому, что тобою спеленут, без своей воли живет, знай из рук твоих смотрит. Отыми руку твою, развяжи повод его — и увидишь! Когда человек вступил в жизнь на готовое, без пересмотра и выбора взял историю и веру отцов — его самого как бы еще вовсе нет. Каждый рождается как *художник-творец*, лишь когда в свои руки возьмет жизнь свою!

Иванов взволновался и по привычке своей стал ходить взад и вперед, иногда останавливаясь перед скамьей. Вокруг по-прежнему не было никого. Старый слугитель дремал у ворот. По реке лениво шли баржи, и черными тенями на синеве воды мелькали прохожие за оградой.

— Я видел революцию сорок восьмого года, я понял то, чего вы, молодой человек, живя здесь, понять не могли, — бросал Иванов на ходу. — Не знаю я, кто проклял нашу землю, но без крови люди долго еще на ней не устроятся. И художнику вот задача: среди войн, грязи и мрака — сохранить и провести во всей силе образ и лицо человека. Одному художнику ответить на каждое время, на каждый период истории — новым высочайшим выражением духа своего времени! В идеальнейшем виде его. На высоте уровня своего века должен стоять художник, и способ выражения его — *мастерство*. Бесконечность совершенства стояла пред очами Рафаэля, на бесконечное засматривался да Винчи... И художнику на меньшее нельзя переводить взора, иначе и сапога-то ему путного не слепить.



— Я вас понимаю,—прервал, сильно волнуясь и окая, тверской,—одни, скажем, свиньи хрюкают, не отрывая вверх морду.

— Ха-ха,—залился Иванов, подмахивая растопыренными руками,—понял, истинно понял... Имечко ваше как? Имечко?

— Павел Чистяков.

Они встретились глазами в глаза.

Есть минуты, когда человек бывает способен понять другого без доказательств, даже без слов. Вдруг разбивается средостение между людьми, падает преграда, и глаз, как в минуту возносящей любви, минуя наносное, вздорное, не существенное человека, проникает в его тайное и прекрасное, быть может, еще неведомое самому человеку.

В такую минуту мудрый опытом, предчувствуя свой уход, как сеятель, встретивший для посева раскрытую, вспаханную целину, умеет кинуть посев в нее полной горстью.

Александр Иванов, глядя неотрывным мудрым взором в глубокие глаза молодого ученика, сказал:

— Подвиг художника в том, чтобы стать мастером. Мастер — оправдание человеку. Мастер — это...

Иванов, не найдя слов, покрутил пухлыми пальцами и, волнуясь, снова забегал.

Багрецов поднял свои мертвые умные глаза и с необычною для себя нежностью сказал:

— Александр Андреич, покажи мне твои композиции, обидно ведь — город о них говорит, а я и не знаю...

Тотчас Иванов на ходу как-то весь осел. Лицо из вдохновенного стало испуганным, он с болью выкрикнул:

— Ящик-то, ящик с композициями взломан! Подвергли осмотру всю тайную работу души. Мысль моя еще не приведена для показа, а уже грубо расхватана. Со всех сторон слышу: Иванов затеял цикл иллюстраций. Варвары люди! Храм человечества — всему человечеству,—вот что я затеял.

Он выпрямился, вспыхнул. На миг глянул очень умными яркими глазами, подойдя, потряс крепко руки Багрецову и молодому ученику и сказал:

— Раз у нас вышел такой прекраснейший разговор, уж надо его до конца... Я извещу вас обоих, когда можно смотреть композиции. Одним вам их покажу...



Иванов вынул часы и опять, внезапно утомленный, вспомнив, что опутан заботами, затормошился с своей записной книжкой, ища в ней расписания дня. И, смущенный, что, увлекшись дружеской встречей, перепутал все планы, Иванов сказал резко, усиленно пришептывая:

— Повсюду опоздал. Ну-с, мне сейчас в Эрмитаж и в Публичную, и обязательно-с одному, обязательно...

— Да никто к тебе и не вяжется,— усмехнулся впервые добро и весело Багрецов.— Иди себе, Александр Андреич, иди...

— Ах, какой ты! Или это я виноват, я обмолвился? Ну, простите, друзья.— И, в бессилье объяснить себя, он слабо махнул рукой и убежал.

Запомнился молодому художнику необыкновенный этот человек, семенящий небольшими шажками по набережной, среди вихрей взметаемой пыли, то держа шляпу, отлетавшую с каждым его шагом, то нелепо одергивая фалды своего вздымаемого ветром мундирного фрака.

Иванов шел по Дворцовой площади своей тяжелой походкой вразвалку, и лицо его все больше расстраивалось. Горькие мысли о взломе ящика с заветной работой пробудили пред ним те римские годы, когда он проводил над композициями для «Храма» пламенные ночи: вызывал древнеассирийских ангелов, Соломонов храм, патриархов, самого бога пред лицом Авраама. Он себя, художника русского, отдавал всем векам, расам, народам. Испепелял в себе все: личные вкусы, традиции, гнал себя вон из векового пристанища. Был без ограда, без повода, быть может погибший, как кричал ему как-то Гоголь, быть может охваченный самим Денницей. Да, так и чувствовал он порой, преступая заветы отца, Академии, бывшего уклада и веры. Он был как огромная чаша, куда капля по капле стекались лучшие чаяния всех времен, всех народов.

Изучив Штрауса, сам утратив детскую веру, он смотрел вперед, он знал: Герцен прав. Скоро опрокинуты будут все культы, человек станет как Иов на гноище. О, как охолодает в пустыне. Куда будет пойти ему в слабости, горе, экстазе? В кабак? И еще— в кабак. Нет, художник русский даст человеку Новый Храм, где встретит его все человечество.



Но тело не выдерживало, тело пугалось дерзости духа. Разорваны были в нем человек и творец все большее, все глубже. Столь мощный наедине в своих композициях, на людях был беспомощно-боязлив. Чем удачнее шла работа наедине, тем ярче бил в ухо голос, едва выходил он в люди: здесь такого не надо... здесь такому — отравя. От-ра-ва...

И вот, как-то, в ответ на приглашение Тургенева отобедать за общим столом в одном отеле, голос яростно крикнул: «Отравят! Отравят!»

Из последних сил, чтоб не выдать себя, Иванов стал безжалостно стискивать руки, но все же под пристальным умным взором Тургенева — не выдержал:

— Нет-с, уж я не пойду. Там меня отравят... яду дадут.

Вспомнил, как Тургенев и Боткин отшатнулись в ужасе, как через миг взгляд их выразил обидную жалость. На днях дошло до него, что они его невыразимую муку определили, как и все, — *мания*.

Ах, это началось так давно... еще тогда, в юности. Одна мысль, что его, ху-до-ж-ни-ка, подозревают в подделке, потрясла душу его, глубокую и совершенно простую. Дальше — обманы, коварство, интриги, ссора с ближними и дальними из-за неумения жить, как все... книга Штрауса — потеря веры, потеря мечты личного счастья. Наконец, революция...

От прежнего в душе не осталось камня на камне, когда с последней жаждой общения писал в Лондон Герцену: «Я утратил ту религиозную веру, которая облегчала мне работу, жизнь... Мир души расстроился, сыщите мне выход, укажите идеалы! События, которыми мы были окружены, навели меня на ряд мыслей, от которых я не мог больше отделаться, годы целые они занимали меня, и когда они начали становиться ясней, я увидел, что в душе нет больше веры. И вот... я мучусь тем, что не могу формулировать искусством, не могу *воплотить* мое новое воззрение».

Но он сумел! Годы под синими очками искусственно изображая уже прошедшую болезнь глаз, чтобы оставили все в покое, а на самом-то деле, обобранный и бесплодный «труп в пустыне», он вынашивал в себе *Новый Храм Человечества*. С ним восстал из мертвых. Но какою ценой? Какою ценой? Гоголь в себе предал художника, а он? А он...





## Глава XV

### СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Мы живем в эпоху приготовления для человечества лучшей жизни. Следовательно, все мерзости от прошлых времен мы должны взять на себя, и в исправности представить обществу — каждый свое поприще, и за прошедшие наши пакости не сметь и ждать, под конец жизни нашей, отрадных результатов: они будут гораздо впереди, со следующими поколениями, и тогда разве вспомнят и об нас.

А. Иванов

Мучительно Багрецову не удавалось эти все дни встречаться с Ивановым. Два раза Иванов присылал ему записку с назначением дня и часа, когда тот должен был прийти к нему с «молодым, тверским», писал он про ученика, которого сердечно запомнил, — но всякий раз прибегал мальчишка от Боткина с «отгласительной» запиской. Иванова экстренно куда-то вызывали. Оценка картины и покупка ее затянулись до тошноты долго. Кроме неблагоприятного и



компрометирующего в глазах властей отзыва Толбина — серьезной критики не было никакой. Толки кругом шли презлые. Мир хищный, завистливый, дорожащий своим покоем, как пчельник, взбудораженный залетевшей вольной бабочкой, наготовил художнику свое жало. Наконец Иванова вызвали в Петергоф, где за дело всей его жизни предложили вчетверо меньше, чем строителю Монферрану, — десять тысяч рублей. Поверивший в полную неудачу, задерганный — он согласился.

И вдруг Строганов от имени президента Академии объявляет, что и это жалкое присуждение — еще не наврное. Еще надо мыкаться, на днях идти на прием к министру двора. Иванов решил, что это просто отказ.

Когда он сел на пароход, чтобы из Петергофа ехать в Петербург, — он почувствовал, что силы защищать себя, бороться с незримым врагом иссякли. Он больше не мог...

Был легкий ветер. На палубе свежо. Вид перламутром играющего моря успокоил Иванова. Широкоплечий, приземистый, стоял он у борта и не отрываясь смотрел на нежнейшую акварель северных волн. Но зашло солнце, и вода и небо стали однообразны.

Тогда своей развалистой походкой Иванов пошел топотать взад и вперед вдоль палубы. Из-под широкополой шляпы замелькал чистый лоб, выставилась благообразная окладистость бороды, широкоплечесть, приземистость, все такое родное, общерусское, крепко сбитое, как у хозяина-мужика. Стоять ему век — не погнуться. Но глаза, вглубь ушедшие, обличали иное. Глаза были как у загнанной лошади, когда, упав под превысившей силы тяжестью, она уже знает — не встать ей.

Петербург Иванова доконал. Ужасное предчувствие сбылось. Недаром столько лет упирался не ехать. Да и что могло быть здесь мило после тридцати лет отсутствия? Не дождались родители, умерли. На Смоленском и могил не нашел. Модная живопись, модные нравы, лепешки барокко у Исаакия — все оскорбляло в нем чувство и вкус. Ради выставки и продажи картины без конца надо было просить, благодарить, кланяться. Время разметывалось зря, то и дело трепался в придворных экипажах по загородным дворцам князей и княгинь. Кучера с высоты



козел его обливали презрением как лицо нечиновное, без орденов, в бороде. А титулованные господа, похуже своих кучеров понимающие искусство, отмечали одну лишь нелепость манер и плохой французский язык новоявленного итальянского чудака.

Сейчас нестерпимо болела голова, и отвратительный нервный озноб пробежал по спине. Чтобы заглушить смутные опасения надвигающейся какой-то болезни, Иванов, заломив короткопалые руки за спину, ускорил свой бег по палубе. Мысли прыгали. На миг бросалось в память то одно, то другое из недавнего прошлого.

Вот прекрасного тона «vieux rose» шелковая обивка кресла. На кресле сидит президент Академии, сестра государя. Отвернувшись своим профилем камеи, она с высокомерной брезгливостью говорит:

— На открытии вашей выставки быть не могу, разве на той неделе. Мне в Академию надо на осмотр фотографий с образов князя Гагарина — так вот после осмотра...

Это она дает урок хорошего тона в ответ на только что сказанную им «грубость». Забыл, с кем говорит, вспыхнул, как художник, и прервал ее на похвалах этому князю как «первому представителю иконной живописи»:

— Амадёр он в живописи, простой амадёр-с!

Потом узнал: Гагарина прочили в вице-президенты Академии.

Все больней ударяло в виски... Неужто повторение недавней болезни? Намедни едва отходили от холеры. Ах, если б не крутили заботы, если б замкнуться сейчас в своей мастерской, отстала б болезнь! В Петербурге, как пленному зверю, и в нору не укрыться. И безденежье и тоска.

Бруни дал скверный зал, где рефлексy убивают картину; придворный и неискренний человек, он не устает ткать интригу...

— Русский, какого бы ни был чину, не смеет быть в бороде, когда сам государь бреется! Я вас не допущу в бороде на открытие Исаакия... Ах, этот граф Гурьев. Да неужто это он не шутя?

— А у меня и чина к тому ж нет никакого!

Иванов на миг улыбнулся по-детски, во весь рот. На минуту стало забавно, что одурачили-таки графа



Гурьева. Без него пробрался на открытие, а бороды и не сбрил.

Вдруг, заслоняя собой мачту, скамью и немногих сидящих на палубе, встала пред глазами дородная фрейлина, та, что на интимном открытии картины в присутствии государя глядела на нее и в лорнет и в кулак, вопрошая: «А каковы были украшения у женщин древних евреев?» Перед этим новый царь, совсем как и прежний, отец его, принимая картину за рапорт, приказал:

— Ну, разъясняй, какова тут позиция раба!

Иванов остановился. Как ему было привычно при душевных волнениях, крепко, до хруста, стиснул руки и, глядя в уже почерневшую воду, ежась от вечерней сырости, вдруг, как юноша, с безумной страстью захотел сейчас только одного: сию же минуту перенестись в дорогой сердцу Рим. Только в Риме мог жить, выйдя из собственной биографии, в одном своем мастерстве, не Иванов — *signor Alessandro*, ото всех погребенный в студии. О, как счастлив был там в самозабвении рабочего дня, бок о бок с единственно любимым братом! Какое чудо были те вечера на «Via Arria» и дружное возвращение домой вдоль золотом напоенной Кампаньи! Погрузиться б на миг в полноту творческих сил, в собранность воли... Пусть там нищета, питье — вода из фонтана, на обед чечевица, одна жизнь — *мастерство*, одна родина — *Рим*!

Истинно прав бывал Гоголь там, на акведуке Клавдия... И только подумал о друге, как тотчас увидел необычайный носатый профиль его, пронзающий синее итальянское небо, слышал невыразимой страстности шепот: «Италия, страна души моей, к черту Петербург, театры, департаменты, подлецы...» Да, здесь это все охватило... И вот уж душит кольцом, особенно подлецы. И дивно: собираются будто порядочные люди, передовые, но едва наберется их два-три — возникает в придачу какой-то четвертый, подлец. Обговоренные дела тормозят, слова и мнения передергиваются, кто-то завидует, кто-то клеветает! Ничего, ничего не понять.

Иванов сел на скамью и невольно схватился рукой за сердце. От всего того, что сейчас вызвалось непрошеной памятью, ему стало физически больно.

Ящик с альбомами весь доставлен разбитым. Все композиции перерыты, в город пущен слух о новой



большой работе, которая досужими названа иллюстрациями...

Едва вступил в дом Боткина, помнит, были ему голоса: ограбят, заветное пустят по дешевке. Варвары люди! Не иллюстрации — Храм Человечества.

Закрыв глаза, он схватился за канаты и страшно побледнел.

— Дурно вам, господин? Пожалуйста-с в каюту, — и лакей, поддерживая, свел его вниз.

По дороге рвануло с Иванова шляпу, мальчик поднял, принес; глянув в лицо его, испуганно отбежал.

С ветром поднялись голоса:

— Травить его, за-тра-вить!

Иванов едва спустился в каюту, упал на койку.

— Первый сраженный, — засмеялись в углу, — здоровая качка!

Он испугался, стал мелко дрожать, зашептал забытое: «и расточатся врази его...»

...Голос под подушкой тонко, но ясно сказал: «Ящики с композициями разломаны, кто-то всё переснял, альбомы у Боткина. Хе-хе... Что ты сам думал про Боткина?»

И, как выполняя приказания, Иванов прошептал себе свою мысль, не оставлявшую его, пока он жил в Петербурге: «Ой, обшарит меня этот юноша, обшарит насквозь! И композиции, за которые плачено жизнью, пойдут шататься по ветру».

Голос строго сказал: «Довольно! Конеч. Ну, и съешь, что обобран. А за работу всей твоей жизни не куплен, а только продан. Тридцать лет — тридцать сребреников, как тот, на картине... Ты его, а уж за это тебя».

Иванов выскочил из койки и, шатаясь, опять вышел на палубу. Ветер надул его плащ так смешно, что дети вслед ему хохотали:

— Ай-ай, пузырь, улетит!

Иванов вспомнил, как в Париже, в зоологическом саду, сторож не позволил ему рисовать верблюда, не поверив, что он художник: «Должно быть, тоже увидал во мне что-нибудь смешное, не как у всех...» Он улыбнулся детям своей усталой, доброй улыбкой,



засеменил было по палубе мелкими шажками, но закачался и сел. Опять ветер донес голоса:

— Травить, за-тра-вить!

Тогда он понял — спасения нет: сам ветер отравлен. Яд просочится сквозь поры кожи, концы волос, сквозь уши, глаза. Яд проникнет внутрь костей. Да вот уж струится он вместе с кровью.

Иванов в городе еле выбрался с парохода, еле дотрясся домой на извозчике.

Яд к вечеру ужалил в сердце. Стало смертельно холодно. Иванов упал. Ему казалось, что до последних сил нельзя уступать, и, защищая от похищения свой «Храм», укрывшийся в обледенелом уж сердце, пока он был в силах, он отталкивался от врагов руками и ногами.

В некрологе наутро было написано, что вечером Иванов забился в ужасных судорогах и призванные на помощь доктора к полуночи объявили его положение безнадежным.

На два дня отлучившийся за город Багрецов, подъезжая на извозчике к Академии, где предполагал на выставке встретиться с Александром Ивановым, прочел в газете, что, проболев холерой три дня, он скончался вчера, 3 июля.

Отпевали Иванова в церкви Академии художеств. Багрецов видел, как профессора, ему враждебные, те, что подуськивали Толбина написать его жалкую статью, хотели с соболезнующими лицами подхватить гроб, — молодые им не дали, донесли Александра Андреевича сами на руках до могилы на Новодевичьем кладбище.

После смерти пришла от двора резолюция: пятнадцать тысяч за картину, две тысячи пенсии — *пожизненно!*

После смерти прислал царь и орден св. Владимира. Наперебой заработали в газетах художники, критики, друзья и поэты. Сам Стасов уже готовил бойким пером диплом «гения» человеку, столь скромно приходившему учиться в Публичную библиотеку.

На могиле прочтено было предлинное посвящение Вяземского.



В искусстве строго одиноком  
Ты прожил долгие года  
И то прозрел, что никогда  
Не увидеть телесным оком.

.....  
В картине, полной откровенья,  
Все это передал ты нам...

Все было поздно, все было ненужно. При жизни — ветер родины общелкал его с одним посвистом: за-тра-вить.

Домой, в Москву, Багрецов ехать не мог. Каждый день ходил он в Эрмитаж, к картине Рембрандта «Блудный сын» и часами смотрел. Без мысли, без чувств, не как художник. Если б спросили, не сумел бы сказать, зачем ходит. Нет-нет мелькало: так вот и Гоголь перед концом: от Симеона столпника к Савве освященному, к Корейше юродивому...

Минутами по привычке холодно дивился, как мог умудриться гений Рембрандта из друзей своих, обыкновенных евреев Амстердама, сделать чудо для всех людей и на все времена?

Впрочем, мысли он гнал. Смотрел просто, как тот мужик в лаптях, что вдруг засопел с ним рядом: — Ишь, по кабакам нашлался, а к батьке прибёг...

Да, старик и блудный — из притчи. От сына — видна одна спина в лохмотьях. Вот свернутся прахом и обнажат грешное грубое тело, порочный череп дегенерата. На первом плане огромные мозолистые пятки.

Вот на эти пятки Багрецов и смотрел. Долго, не мигая. Быть может, он сходил с ума... неразрешимая, такая последняя скорбь держала его здесь. И не за себя... за всех тех, что были, есть, будут. Всем бывает свой час: добегаются, и бежать больше некуда.

— Ишь, по кабакам нашлался, а к батьке прибёг... — уже без укора, соболезнующе говорит мужик. И еще про сына: — Небось в отца мордой уткнулся, ровно пес недотравленный, из последнего, видать... А отец, даром не смотрит — видит, брат... без никаких разговоров. Руки развел, что уж тут, заждался. Прибёг к батьке, прибёг... — окончательным одобрением разрешился мужик и побрел дальше.

У Багрецова не было «батьки», и «блудным сыном» ни перед кем себя он не чувствовал, но прежде чем



решиться на свое, на последнее, он испытывал странно отрадное чувство смотреть, как кто-то иной, чем он, мог, обобрав себя, найти себя снова.

Однако довольно... Насиделся перед пятками.

Глеб Иванович встал... И уже как ценитель и приличный, образованный человек отозвался о картине подошедшим академистам так:

— Если истина требует точности, то истинная страсть — крайней простоты. И у Рембрандта достигнуто...

Багрецов написал Гуль письмо. Он благодарил ее за долгие годы терпения и любви, обещал ей часть своего состояния, прощался как отъезжающий навсегда, не указывая, куда именно он уедет. Потом, довольно дорого заплатив, Глеб Иванович достал один несомненно действующий порошок у аптекаря, причем задел его пренеприятно, спросив дважды: «Вы со слабительным, часом, не спутали?»

Аптекарь в гоноре хотел тут же «минимальнейшей» дозой травить забежавшую кошку. Глеб Иванович не позволил... Доверился порошку. Завернул аккуратнейше, еще надписал, уложил на дно чемодана.

Багрецов уехал в Хотьново, то имение, где прошло его детство, где он женился, где теперь жила сестра его Анна, вдова дьякона, вторым браком народившая большую семью.

#### ИЗ ДНЕВНИКА ПЛЕМЯННИКА БАГРЕЦОВА

...Как сейчас помню дядин последний приезд. Еще б мне не помнить! Но расскажу по порядку: мне тогда было восемь лет, но я все же заметил, что неожиданное появление нас забывшего дяди Глеба очень всех угнетало. Он был вежлив, но холоден, говорил, что явился ликвидировать все имущество, чтобы уехать навсегда в Новый Свет.

Раздав при соответствующих грамотах свои земли, он с иронической улыбкой отклонил благодарность. Наконец однажды вечером, простившись со всеми, дядя ушел на свою половину с камердинером, чтобы, отобрав нужные вещи, наутро уехать. Лошади были заказаны.



Непохожесть дяди на всех людей, которых я доселе видал, потянула меня взглянуть, что он делает на прощание один в своей комнате. Сердце мое замирало, но любопытство было сильнее страха. Я дошел до кабинета и остановился. Как я ни боялся двигаться и даже дышать, дядя, у которого был особенно острый слух, крикнул:

— Кто там? Войди.

Я окаменел и ни назад, ни вперед... Дядя вышел, сам увидал меня и нежданно с радостью воскликнул:

— Как хорошо, что это, братец, ты! Ребенок чист, его рукой правит сама судьба. Даже в лотереях, на величайший куш, берут тянуть жребий — детей.

В комнате он меня посадил себе на колени, чего прежде не делал никогда. Молча гладил по голове. Потом встал. Взял серебряный подносик с ночного стола, поставил два бокала. Позвонил. Лакей, обученный всем привычкам барина, налил нам шампанского и ушел. Дядя, пристально на меня глядя, спросил:

— Знаешь ли какой-нибудь стишок?

— Я учиться не люблю, — сказал я, — я люблю играть в городки.

— Отличная игра, — одобрил дядя, — ну вот: и мы с тобой поиграем. — Он открыл тайный ящик ключом на шейной цепочке, достал порошок, всыпал в бокал.

— Вот тебе и игра, — сказал дядя, — загадка с отгадкой. Слушай внимательно: я отойду в угол, не буду смотреть, а ты переставь бокалы под команду: раз, два, три. Если я выпью тот, что с порошком, я тотчас упаду на диван и крепко усну. Ты, ко мне не подходя, скушай вот это яблоко. — Дядя протянул мне огромный белый налив. — Только ешь не торопясь: с чувством, с толком, с расстановкой... Когда съешь — позвони, и начнется представление...

Помню, с каким невыразимым ехидством он выговаривал это слово. Я испугался и стал просить:

— Ах, не пейте гадкий бокал! — Я даже обнял его и почему-то заплакал.

Неподвижное, как у мертвого, лицо дяди стало вдруг такое доброе, он погладил меня по голове и сказал:

— Но я могу выпить бокал и без гадкого порошка. Тогда ты поедешь со мной завтра в Италию. Там



превесело, там апельсины, как яблоки, на деревьях. Я подыму тебя, и ты будешь их рвать сколько хочешь.

— Так выпейте сразу бокал хороший, я хочу ехать с вами в Италию.

— Представь,—сказал очень серьезно дядя,—и мне вдруг захотелось, чтобы вышло так, как хочешь ты, но такова игра; перерешать уж ничего невозможно. Если вся жизнь только случай, пусть будет так и со смертью. Ну, похозяйствуем хоть разочек сами!

Дядя хорошо размешал ложечкой бокал с порошком. Он не помутнел и был одного с другим цвета. Отойдя в угол, дядя выкрикнул:

— Раз, два, три,—и закрыл лицо руками.

Помня обещание дяди об Италии и все чего-то смутно боясь, я схитрил: полагая, что он, как и я, отлично помнит, где порошок, и кроме того, конечно, подсматривает сквозь пальцы, как это мы всегда в игре делали, вместо того чтобы бокалы менять, я каждый приподнял и поставил на то же место.

— Готово? — спросил дядя.

— Готово.

Своей быстрой, легкой походкой дядя Глеб подошел к бокалам, не глядя взял тот, с порошком. Усмехнулся и, словно что-то припомнив, сказал непонятные мне слова:

— Ну, *finis* — от себя и к себе же! — Он одним махом выпил его и тут же свалился на диван.

Веря дяде, как богу, я, как он приказал, стал есть яблоко, не разбирая его вкуса, горя одним нетерпением — увидеть скорее обещанное представление.

Наконец я позвонил. Прибежал лакей, кинулся к дяде, закричал не своим голосом. Комната переполнилась; призвали врача. Дядя был мертв. Сколько меня ни выпрашивали, больше того, что я знал, я им не мог рассказать.



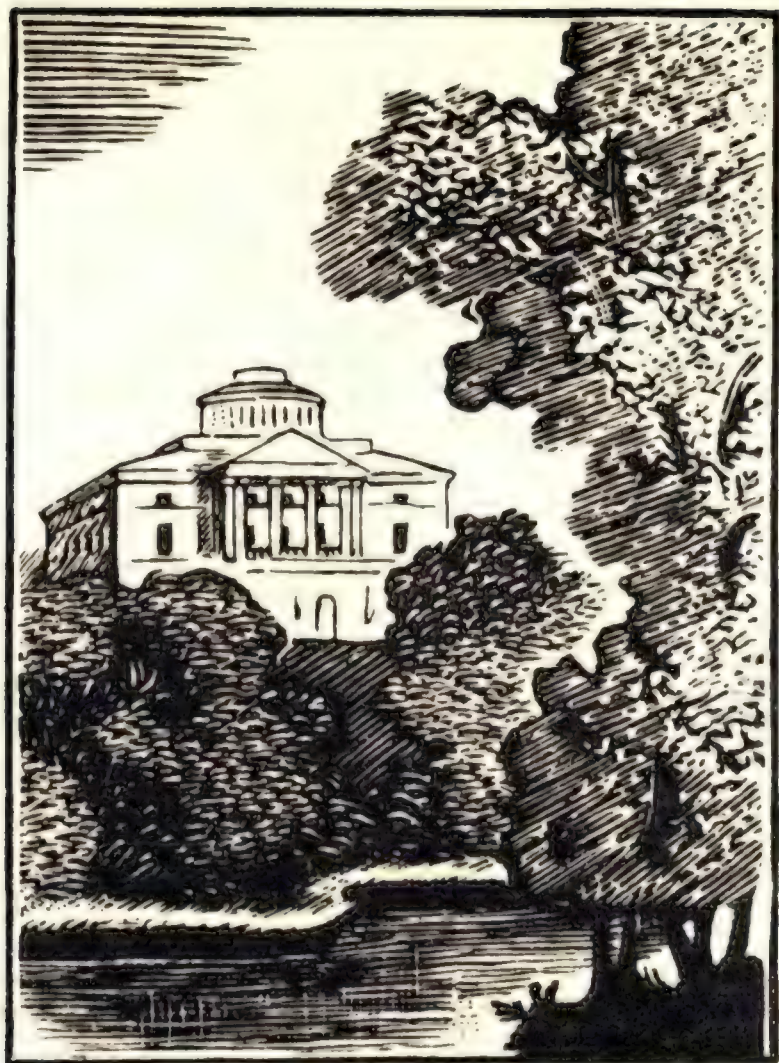
# МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

РОМАН



Иллюстрации  
Г. Епифанова





## Глава первая

В 1798 году Наполеон мимоходом, направляясь в Египет, захватил остров Мальту. Несмотря на боевые запасы артиллерии, магистр Ордена сдался без всякого сопротивления и скрылся в Триест. Достоинство великого магистра предложено было русскому императору Павлу Первому. Мечтая о воскрешении древнего рыцарства, Павел не только принял предложение кавалеров Ордена, но дал приказ: «Повелеваем опубликовать о сем во всей империи нашей и новый титул внести в прочие титулы наши». Тотчас дана была аудиенция в Зимнем дворце депутации капитула Ордена, которая торжественно поднесла императору корону и регалии великого магистра. На Новый год Павел явился перед изумленными придворными в короне, супервесте и великолепной мантии и объявил, что впервые будут сожжены в Павловске в канун Иванова дня знаменитые костры Мальтийского ордена.

Преувеличенный восторг, с которым русский император отнесся к протекторату над Мальтийским орденом, вызвал в Европе насмешку, и с лукавой иронией записал аббат Жоржель: «Русский император, не



принадлежащий к католической церкви, но исповедующий схизму Фотия, сделался гроссмейстером Ордена религиозного и военного, имеющего первым своим начальником папу. Император Павел поразил Европу».

Однако, кроме этой, забавной аббату, стороны дела, возникновение постоянных сношений с Мальтой было серьезным по своим последствиям расчетом Павла и продолжением умной политики Екатерины. Упрочив свое влияние на Мальте, Россия могла на Ближнем Востоке успешней бороться с Англией.

Накануне Иванова дня Павел ушел из дворца один в дальнюю прогулку. В конце липовой аллеи, на парадном плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой молодой березы девять костров. Гирлянды из редких оранжерейных цветов и прочие украшения плаца поручены были молодому ученику придворного живописца Бренны—Карлу Росси. Мать его была знаменитая прима-балерина, мадам Гертруда Росси, отчим—не менее знаменитый постановщик балетов Лепик, а настоящий отец его был неизвестен.

Император задумался, приближаясь в своей одинокой прогулке к любимой им Старой Сильвии. Было здесь безлюдно и не парадно. Под июньским солнцем особой свежестью пахли травы, еще не кошеные, блестящие после недавнего дождя. На этих вот лужайках, бывало, отроком, в сопровождении любимого воспитателя Порошина, собирал он цветы и травы для гербария. Порошин, душой преданный,—был бы жив—охранял и сейчас...

Впрочем, к чему теперь охрана, если завтра ночью вспыхнут девять мальтийских костров? Иезуит патер Грубер, которому разрешено в любой час дня и ночи входить в императорскую спальню, сказал сегодня особо торжественно:

— Едва запылают девять костров во имя святого Иоанна, как охранительная стена, незримая глазу, будет воздвигнута вокруг вас, помазанника и духовного главы рыцарства всего мира.

Как всегда в минуты, когда он верил всей душой в могущество охраняющих его сил, Павел вдруг освобождался от подозрений, страхи отступали от него, и он был счастлив тем простым счастьем, как в памят-



ный день, когда царица-матушка подарила ему это село — Павловское.

И, молодо оглянувшись вокруг голубыми глазами, прекрасными, когда не затемняло их безумие, отбросив докучные мысли, Павел с любопытствующим восхищением новичка, попавшего впервые в эти прелестные места, стал осматривать извилистые берега веселой речки Славянки.

Двадцать лет тому назад Екатерина подарила ему эти земли, но полюбил их он много раньше. Сюда, в этот густой сосновый бор, когда здесь еще было всего два охотничьих домика, смешные Крик и Крак, спасался он, бывало, из Петербурга, оскорбляемый фаворитами.

...Все дальше шел Павел, любуясь цветущим своим парком. Вспоминал, как начинал разбивку его вдоль речки Славянки к старому шале и от него к мосту Крика. По модному английскому образцу вели посадку кустов, искусно пользуясь красивыми склонами речки. Давно забытая детская радость охватила, когда узнал места самых первых наивных построек: вот хижина монаха, трельяж, там беседка на китайский манер, и другая подальше — подражание Пиранези — построена в виде полуразрушенной башни-руины...

А какие были узорные цветники на многочисленных островках, какие шаловливые между островками каскады! Камерон давал указания на устройство просек. И хотя все, что напоминало царство и вкусы матушки, было непереносимо и наполовину уже уничтожено, Павел сейчас воздавал должное Камерону, вызывая в памяти им одним созданную особую легкость, изящество и прелесть планировки.

Когда под именем князей Северных он с женой путешествовал по Европе, построен был большой дворец, начата колоннада Аполлона, храм Дианы, большой каскад, вольтер и дворцовая баня. Всё заботы ее, матушки-царицы.

Пока сын отсутствовал, Европы ради строила напоказ, чтобы крепко держалась молва об ее материнской заботе. О каждом пустяке писала своим друзьям за границу, забрасывала их подарками, они же ее — хвалой. Всё для видимости... А скуповата была для истинных нужд семейных! Выписан был знамени-



тый Гонзаго для росписи дворца, а приехал — платежей нет. В необходимом, в белье и платье нуждались. Зато сейчас его время, его право.

Едва мать умерла шестого ноября, как уже двенадцатого император переименовал сельцо Павловское в город. И судорожно, с раздражением, стал по-своему переделывать парк: Славянку приказал запрудить, часть островов уничтожить...

Павел дошел до мыльни и Пиль-башни и присел на скамью.

Да, не тот теперь Павловск — подтянулся. А при матушке-то сколько фальшивого сентимента вызвал приказ его о прекращении нищенства? Правда, случился некий пересол — на цепь посадили одного инвалида... Так ведь не помер же он с того!

И с удовольствием Павел подумал о своих последних приказах директору парка: воспретить строжайше в парке свист, зряшные разговоры, непотребный хохот... не матушкин, чай, дом распутства. В городе Павловске пребывает он, самодержец, гроссмейстер Мальтийского ордена.

Впрочем, приличному веселью и он не препона: кавалькады, прогулки, завтраки в молочном домике, вечерний чай в шале. Но императору и отцу необходимо всегда знать, куда именно, надолго ли и зачем ушли от него его близкие. Придумал лотерею, чтобы прикрыть свою тайную подозрительную настороженность: вынимали как бы шутя билетики, куда именно идти сегодня, — он же записывал.

Прогулки, им одобренные, были: в зверинец, в охотничью будку, по пограничной просеке и назад, по аглицкой дороге и через Звезду — семь верст. Самая длинная прогулка.

Любил, чтобы приходили назад точно, по часам. Все концы были выверены. Дышал спокойно, когда знал, что никуда зайти не могут, что некогда им пошущукаться — только и дела, что прошагать туда и обратно.

Вдруг Павел налился кровью, побагровел, сильнее забилося сердце. Вспомнил, как недавно наткнулся на Александра, который записан был как ушедший на просеку. Александр с книжкой в руках сидел в беседке и в вытянутой руке держал большие карманные часы.



На просеку он с прочими, видимо, не пошел, а сидел тут один и следил по часам, когда ему явиться к отцу.

Оттого что тогда сдержался и сына не обличил — тем тяжелее запомнил ему эту обиду.

Мысль о сыне повела в те места, которые с такой любовью украшала царица-матушка для любимца своего и — тайно мнила — наследника.

Павел двинулся к Александровской даче и с горечью думал:

«Неужто матушка, столь разумная и в многих государственных случаях справедливая, не понимала, что, минуя отца для преимущества сына, она сеет в сердце моем страшные семена?»

Вот она — Александрова дача — воплощение сказки императрицыной о «розе без шипов и царевице Хлоре», написанной для любимого внука.

Встали в памяти слова пиита:

И отрок с самого начала,  
Когда рассудку мысль его внимала,  
Научится быть осторожным здесь...

Дом на крутом берегу, а в долине театр с золотым верхом. Недлинная аллея, обсаженная цветами, ведущая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья полей и синева дальних лесов.

Павел не мог удержаться от зависти к сыну, когда попадал в царство его счастливого детства. Сколько внимания и нежности шло к внуку от той, которая обидно пренебрегала им, родным сыном. Таков ли был бы он сейчас, выпади ему в детстве жребий Александров?

«И отрок с самого начала... научится быть осторожным здесь». Да, осторожности Александр научился!

И вдруг неудержимо и больно пронзила сознание одна мысль — так огненная змейка, вновь возникшая на пожарище, которое, сдавалось, потушено, вырастет вмиг в злое пламя: Екатерина вовлекла Александра и Константина в постройку дворца. Ребята, забавляясь, клали фундамент. А что, если заложили туда и такое, что может взорваться? И оно взорвется?

Долго в оцепенении стоял, прислонясь к статуе Амура. В смертной тоске глядел, как Амур, на веки



вечные обреченный натягивать лук свой, медленно розовел, словно оживал под лучами летнего солнца. Стоял неживой, пока совсем простая, здоровая мысль не пришла сама на выручку: да ведь дворец-то уже много лет тому назад строили, ребятишками сыновья были... Вздор это! Вздор и безумие! Сам дьявол взбудоражит вдруг подозрениями, спутает сроки, навевает бессмыслицу...

Павел пугливо оглянулся: не видал ли кто, не угадал ли его постыдные мысли? Вдруг посветлел и весело крикнул:

— Полкашка, сюда!

Стремглав летел к нему через кусты и тропинки большой лохматый пес. В собачьем восторге, что донюхался, где его хозяин, Полкан неистово прыгал, норовя лизнуть прямо в губы.

Ребячливо смеясь, Павел сам обнимал собаку, усаживал рядом с собой на скамейку. Полкан с сознанием исполненного долга высунул красный язык и спустил пышный хвост со скамьи.

Павел рассмеялся, вдруг что-то вспомнив, и сказал Полкану, доставая из кармана вчетверо сложенную бумажку:

— А ты, братец Полкан,— знаменитость. Адмиралы про тебя пишут. Вот послушай-ка...

И он стал читать собаке вслух то, что давеча досрочно списали из записок гостившего в Павловске адмирала Шишкова:

«Забавы наши в Павловске однообразны и скучны».

— Ну и поскучай, коли хочешь быть при дворе. Так, Полкашка?

«После обеда степенно, мерными шагами прогуливаемся по саду. После шести шествуем на беседу весьма утомительную. Государь с великими князьями садится рядом, мы подпираем стены, как безмолвные истуканы. Государь ведет с детьми сухие разговоры, мы же не смеем ни говорить между собой, ни вставать со стульев. На длинном шлейфе императрицы лежит всегда простая дворная собака».

— Это же ты, Полкашка!— мазнул Павел собаку листом по морде.— И простая и дворная, а мне сего адмирала милей.



«Неизвестно, откуда явилась сия собака. Но она не отстаёт от императора...»

— И не отставай, Полкан, охраняй меня!

«И скоро со всеми прочими сия собака стала предерзкая, государь может один ее гладить, и его она не кусает. Однажды она залаяла во время вахт-парада. Государь рассердился и крикнул: «Уберите ее от меня!» Но она не далась никому на руки и просила прощенья, повалившись на спину, четыре лапы вверх, и махала хвостом,—он простил ее».

— А ведь и точно, было дело,—смеялся Павел.—Ну и дурак же этот Шишков, такое записывать! Как с ровней, с тобой, Полкашка, считается. Если бы римский безумец Калигула не произвел своего коня в сенаторы, я бы тебя, Полкан, пожаловал в адмиралы.

«Сия собака любит театр. Во время действия сидит в партере на задних ногах и смотрит на актеров, будто понимает их речи и действия».

— Донос на тебя,—веселился Павел.—Ай да адмирал Шишков! Завтра, на зависть ему, посажу тебя с собой рядом в ложу.

Павел спрятал бумажку в карман, решив еще посмеяться вечером вместе с Аннушкой Гагариной, и, веселый, пошел в сопровождении Полкана через мост, украшенный трофеями, к храму Цереры, рядом с которым высокой струей бил ключ, посвященный Марии Федоровне.

Император и пес напились студеной воды и, поднявшись на высокий холм, вошли в храм «Розы без шипов».

У храма был крутой купол на семи колоннах. Посреди алтарь, на нем ваза. В вазе прекрасная роза с гладким блестящим стеблем без единого шипа. На плафоне торжественная фреска: Петр с высоты небес смотрит на блаженствующую Россию—дородную женщину в сарафане. Она же, окруженная наукой и промышленностью, опирается на щит с изображением Фелицы. Внизу орел когтями разламывает рога луны.

Павел вспомнил, что граф Литта вручил ему статут Ордена, требующий неукоснительного выполнения всех правил, от чего крепла сила охраняющего действия ритуальных костров, которые зажгут завтра на парадном плацу. Он вынул записную книжку, посмот-



рел в который раз параграфы и сделанные к ним собственные отметки. Между прочим была и такая:

«Справиться у Винцента Бренны, кто истинный отец ученика Карла Росси? Если не дворянин, обладавший грамотой, восходящей к десяти предкам, личное присутствие одного Росси на сожжении костров допустить нельзя».

Кроме Росси, записаны были и другие.

Вдруг Полкан с веселым лаем кинулся со всех ног к небольшой открытой беседке, и Павел увидал там рисующим в альбоме того самого юношу, о котором только что думал.

Карл Росси так был охвачен своей работой, что, погладив мимоходом Полкана, даже не оглянулся на императора, хотя не мог не знать, что лохматый пес неотлучен при царе.

Павел большими шагами направился к беседке, он готов был разгневаться. Мария Федоровна, супруга, не нахвалится изяществом рисунков этого Росси, только по ним и режет свою слоновую кость, а намедни донесли, что в городе болтают — Михайловский-де замок воздвигается дарованием сего юного Карла, его учитель Бренна только проекты подписывает...

Тем более столь доблестному юнцу не след манкировать своему императору. Всем существом обязан он чувствовать его приближение.

Подойдя вплотную, Павел хлопнул Росси по спине. Тот, испуганный, вскочил:

— Ваше величество?..

— Хвалю, сударь, хвалю, — мгновенно смягчившись, скороговоркой проговорил Павел, — у вас чистый взгляд, чистый!

Росси недоумевающе смотрел на императора широко расставленными глазами, еще весь поглощенный своей работой.

— Дышать забываете, сударь, когда рисуете, — смеялся Павел, — не то что салютовать вовремя своему императору. А ну, покажите.

— Эскизы украшений для завтрашнего праздника, — протянул Росси альбом.

Он был очень молод, прекрасной внешности. Со-размерность частей его стройного тела давала впечатление особого изящества. Волосы вились, усиливая приветливость лица, глаза, светлые, с ярко отмечен-



ным зрачком, доверчиво, не страшась, смотрели в глаза императора.

— Ваши рисунки отменного качества, сударь. А известно ли вам символическое содержание завтрашнего таинства костров?

Павлу отрадно было думать, что никакой задней, скрываемой мысли у этого юноши нет, он полон одним беззаветным увлечением своим искусством. И горько мелькнуло: «Вот такого б мне сына... такому б я верил».

Полуобняв Росси, облизанного мохнатым Полканом, Павел пошел с ним обратно к Большому дворцу. Дорогой он давал Карлу последние указания, как надлежит распределить гирлянды и венки, какую постепенность требует сожжение костров и фейерверка. Подойдя к плацу, где сейчас производилось учение, Павел нахмурился, заложил руки за спину, что всегда у него было началом гнева. Вдруг он оттолкнул Полкана и один проскочил далеко вперед, бросив Росси. Ему показалось, что сын Александр, командовавший марширующими гатчинцами, потушил мгновенную усмешку, увидя отца с молодым архитектором. К тому же и гарнизон шагал не по артикулу. Хотя это были любимые гатчинцы, под командою Александра они с неряшеством, неточно печатали шаг.

Вмиг рассердившись на сына, на гатчинцев и неимоверным усилием воли сдержав этот гнев, Павел круто повернулся к оторопевшему Росси и неприятным, повизгивающим голосом прокричал ему:

— О вашем происхождении, сударь, не имею чести знать в точности! Матушка ваша — прима-балерина, вотчим — Лепик, ну-с, а, собственно, родной ваш батюшка кто будет?

Павел попал в больное место. Росси покраснел до слез, однако, не теряя достоинства, отчетливо вымолвил:

— Я не знаю сам, ваше величество, кто мой родной отец.

Опять юноша стал приятен.

— Бы-ва-ет... — с мягкой насмешкой протянул Павел, вспомнив, как сам немало страдал от пересудов досужих придворных, что он не сын Петра Третьего, а всего-навсего Сергея Салтыкова.



— Учителю вашему, Бренне, передайте, что проекты я ваши одобрил. А точные сведения об отце — добыть от матери и представить мне наутро.

Павел, стуча каблуками, держа за ошейник Полкана, зашагал быстро к дворцу, а Карл Росси, потрясенный происшедшим, избегая ненужных встреч, пошел темными аллеями на почтовый двор.

Тройка отличных коней быстро домчала Карла до города. Он взял ялик и, перед тем как увидеться с матерью в театре, поехал кататься по Неве. Как спасательный круг утопающему, чтобы выбраться из захлестнувшей пучины, необходимо Карлу в хватившей его лютой тоске убедиться, что все так же незыблем вознесенный над Невой монумент Фальконета, все так же великолепны творения Растрелли, усыпанные украшениями, залитые золотом, дремотно мерцающие под нежным, нежарким северным солнцем.

Карл мысленно вызвал в памяти своей и то, чего сейчас не было перед глазами: вот усилием воли, под мерный плеск весел, перенесся он в здание изящного Камерона, и тотчас знакомой утешающей лаской коснулось его разбитых чувств это ожившее в новой форме чудесное искусство древней Помпеи. От камероновой галереи перешел он мыслями к строгим, величественным колоннадам Кваренги, этой души воскрешенного Рима, и ему стало легче, отпустили горечь и боль.

Эти воображаемые, мгновенные, по желанию вызванные путешествия по творениям великих мастеров зодчества были ему привычны с детства, как его сверстникам слова молитв. В минуту душевного упадка они просто спасали. Выхватывали по волшебству из тяжелой действительности и, как на ковресамолете, вмиг переносили в область навеки незыблемого и прекрасного.

Яличник налег на весла, и Карл погрузился в бездумный отдых, глядя на студеную и летом, синестальную воду Невы, на чайки, белых и легких, как большие хлопья снега.

Чайки, занесенные на многоводную красавицу реку с моря, казалось, приносили с собой и его освежающий морской запах.



С освобождающей душу отрадой смотрел Карл на гранит, одевший Неву, на Мраморный дворец Ринальди, на изумлявшую каждый раз заново своей воздушной красотой Фельтенову сквозную решетку Летнего сада...

Далеко отступило, выпало из памяти лживое придворное общество Павловска, и потухли обиды, нанесенные безумным царем и легкомыслием родной матери.

В углах средней башни Адмиралтейства, рядом с флагами, вдруг зажглись фонари,— так повелела Екатерина после наводнения,— и Карл, боясь опоздать в театр к матери, приказал яличнику причалить к берегу.

Ему повезло. Сегодня дежурили служители, знавшие его с детства, они беспрепятственно пропустили в уборную матери. Она была одна.

— Мадама гримируется,— сказала горничная,— но вы пожалуйста...

— О сынок мой маленький, хотя уже большой,— с нежной лаской пропела Гертруда, не отрываясь от зеркала, перед которым она кончала накладывать грим.— Ты сейчас увидишь мать крылатой Психеей. Я буду сегодня чудесно танцевать. О, я уничтожу Настасью Берилеву, уничтожу!

Гертруда постучала заячьей лапкой по столу.

— Настасье сбавят столовые и квартирные и на башмаки и на чулки. Не ей равняться со мной!

Карл съежился, онемел. Как далека была от него эта мать, полная закулисных интриг. И даже свои ласковые слова говорила она ему без всякой мысли, как говорят любимой комнатной собачке.

Карл встал, подошел к Гертруде, сказал жестоко, не глядя:

— Я требую от вас правды, пора мне узнать... кто, собственно, мой отец?

— О, зачем так сердито!— простонала Гертруда.— Ты ранишь мое сердце этим голосом.

Она не сказала — словами...

— Император мне задал вопрос, и я должен узнать про отца. Понимаете: кто тот человек, от которого я рожден?

Гертруда жеманно хихикнула и, как в балете, погрозила игриво пальчиком:



— Неприлично говорить о таком со своей матерью!

— Мать должна открыть тайну моего появления на свет.

Росси подошел к выходной двери и загородил ее собою, чтобы Гертруда не упорхнула без ответа на сцену.

Мадам Гертруда, все еще прекрасная, неистребимо молодая, подбежала к сыну, высокому ростом. Поднявшись на носки, туго обтянутые розовыми туфельками, она пригнула голову Карла обнаженными душистыми руками к своей груди и с очаровательной грацией прошептала:

— Сын мой, дитя... ведь я не ведаю и сама, кто твой отец! Но я люблю тебя за двоих. И сейчас я буду танцевать для тебя... только для тебя.

В дверь постучали. «Иду!» — весело крикнула Гертруда и, еще прильнув к сыну, сказала с мольбой:

— Не надо нам ссориться, дорогой, не надо!

Прима-балерина была права. Едва сын увидел ее на сцене театра легкокрылой, поистине воздушной Психеей, он все ей простил. Точность рисунка ее танца, волшебный полет, совершенство движений восхитили его, освободили, унесли. Прославленный танец Гертруды Росси был совершенной силой искусства, снимавшей бремя вседневных тягостей. Недаром писали про нее, что она вызывает благодарные слезы восторга.

А когда, минуя жадные взоры гвардейцев-балетоманов, ловивших ее улыбку, ему одному, возлюбленному сыну, она послала воздушным шарфом приветствие и скрылась за кулисами, — Карл выбежал из театра.

Он боялся, что мать позовет его ужинать. Он уже не хотел утратить свое разнеженное дивным танцем благодарное к ней чувство. На сцене мать — совершенный художник, в жизни — неумная, тщеславная женщина. Какие с ней счеты!..

Была лунная ночь. В зеленоватом прозрачном свете стоял город. Росси, не отдавая себе отчета, не глядя по сторонам, почти без сознания мчался по непривычным ночным улицам к великому утешителю своему, бессмертному всаднику Фальконета. Перед ним замер.



Глядя на Петра, юноша испытывал великое удовлетворение.

Его охватило настроение совершенного бескорыстия. Ничего он для себя не хотел и вместе с тем сейчас впервые узнал — он свершит в своей жизни великое, для всех нужное.

Он глядел неотрывно на освещенного лунным светом скакуна, который откуда-то, из недр, вихрем взлетел на самую вершину скалы.

Невиданный этот конь нес на себе всадника, увенчанного лаврами. Всадник простер над городом отеческую десницу. Он звал вперед.

И Карл ощутил всем своим существом, что несокрушимая, всепреодолевающая воля к созданию еще никем не угаданных зданий до конца дней стала ему второй природой.





## Глава вторая

Согласно ритуалу мальтийских рыцарей Карл Росси не был включен в число гостей, имеющих право присутствовать при сожжении девяти костров. Необходимых по статуту предков у него не оказалось.

— Как художнику, вам даже будет любопытнее охватить все зрелище сразу, с вершины ближайшего холма...

Так, с любезной улыбкой, желая смягчить удар его самолюбию, сказал Росси церемониймейстер Ордена.

Но Карлу было только дело до того, что скажет ему его Психея, Катрин Тугарина.

Воспитанная отцом-вольтерьянцем, веселая насмешница — кто лучше ее способен подметить неумное чванство придворных, их фальшь, ханжество? Как мило, наверное, она посмеется над тем, что у него не хватило предков, тогда как у нее их излишек.

Но сейчас искать встречи с Катрин невозможно, работы еще по горло. Придется отложить свидание до позднего вечера, уже после сожжения знаменитых костров. Любопытно, прочтет ли Катрин без ошибки его любовный мадригал на гирляндах? Подбором



разнообразных оттенков живых цветов Карл собирался окончательно выразить Катрин свои чувства. Ему уже удалось послать ей предупреждающую записку:

«Возобновите в памяти «язык цветов», чтобы прочесть на гирляндах костров предназначенные вам слова».

Хотя император Павел строго преследовал все забавы, которые были в обычае при дворе его матери, у каждой девицы хранился в тайничке вместе с толкователем снов и «язык цветов».

Карл отправился в оранжерею, где он должен был дать последние указания помощникам. Дорогой он еще раз осмотрел воздушные зеленые беседки, затейливые павильоны, боскеты, сооруженные по его рисункам, и остался доволен. Хотя ему давно хотелось на чем-то громадном развернуть свой дар, которому, чувствовал он, уже пора найти достойное применение,— эти легкие, веселые работы из живого материала самой природы восхищали его. Он был как первый создатель мира, располагая по собственному вкусу купы деревьев и кустов, нагромождая скалы и камни в излучинах речки, вознося лиственные арки, низвергая каскады...

В оранжерее подручный Митя рассказал Карлу, что и наследник Александр по поводу запрета художникам, как не имеющим достаточного количества предков, присутствовать на празднестве вместе со двором, прищурясь, вымолвил: «И дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Иные из молодых уж слишком подбираются к государю...»

— Это он на вас намекал, Карл Иванович,— бережно сказал Митя,— все отметили, наследник вроде вам завидует, потому что государь особливо к вам ласков.

— Для ученика Лагарпова такие чувства едва ли подходящи,— улыбнулся Росси,— но меня Александр и вправду не слишком жалует.

Карл вспомнил, как он недавно принес в кабинет Марии Федоровны заказанные ею рисунки для чернильницы, а она, восхищаясь, протянула их наследнику и сказала:

— Хорошо, если бы вы так умели для меня рисовать.

— Но я ведь в художники не готовлюсь,— вспыхнул Александр.



— Очень помню, мой сын,—вы готовитесь царствовать,—уязвленная его тоном, подчеркнула мать.

И намерении как нехорошо на него глянул Александр, когда с обнявшим его императором он подошел к марширующим гатчинцам.

— Самолюбив очень,—неодобрительно сказал Митя,—и фрунтом задерган, и отцом запуган, и глухоту свою скрывает. А у вас так все выходит легко и свободно.

— Наследнику, конечно, живется невесело, но довольно о нем. Нам с тобой, Митя, сейчас дело кончать. И домой мне еще заглянуть, переодеться...

Карл быстро и точно сделал последние распоряжения; не в силах сдержать счастливую улыбку, перечислил Мите, какие оттенки цветов еще необходимо доставить из самой дальней оранжереи. Наконец он двинулся к проспекту Лепика — так, по приказу Павла, именем его отчима окрещена была близлежащая прямая улица, в конце которой возвышалась затейливая дача знаменитого танцовщика.

Митя догнал Карла и, шагая с ним в ногу, застенчиво сказал:

— Просить вас хочу об одном деле...

— Проси, Митя, только шаг не задерживай.

— Узнайте у господина Лепика про Машеньку. Она ведь всегда при вашей матушке в кордебалете танцует. Сильфидой ее прозвали... а сольной партии всё не дают. Очень ей это обидно. Проведать бы у господина Лепика, есть ли скорая надежда?

— Спрошу, Митя,—улыбнулся Карл.—Машенька — твоя невеста?

— Выкупить мне ее надо раньше,—грустно ответил Митя.—Я, Карл Иванович, на это жизнь свою положу. Сумма немалая, но благодаря вашей помощи и господина Бренны я кое-что уже скопил. Годика через два-три авось...

— Будет ли Машенька так долго ждать? Соблазнительей много в балете.

— Она верная,—прервал, вспыхнув, Митя.—Она давеча мне сказала: «Лучше умру, а бесчестьем сольной партии не возьму».

— Хорошо, Митя, что ты веришь Машеньке. Вот и я верю...

Карл запнулся и покраснел. Митя сам деликатно закончил:



— Вашей избраннице, Карл Иванович, тоже вполне можно верить. Умница какая, красавица... Уж я вам для мадригала всё как есть подберу. Куда мне доставить цветы?

— Всю охапку неси прямо к кострам, я туда скоро приду. А просьбу твою, будь покоен, исполню. Ну, беги.

Митя был племянник и крестник замечательного литейщика Хайлова, который спас при отливке монумент Фальконета от гибели. Он был сероглазый юноша, почти с белыми льняными волосами, младший ученик Бренны, который употреблялся больше для работ подготовительных, нежели живописных. Как мастера Возрождения, Бренна почитал приличным иметь штат подростков-помощников при выполнении больших заказов и работ, требуемых двором.

Росси сразу отличил Митю за недюжинные способности, прямодушный ум и, узнав про мечту его выкупить свою невесту, стал ему передавать доходную работу.

Митя нравился ему и сам по себе и тем, что был племянником человека, который вызывал особое уважение. Бецкий передал отливку памятника Петра самому Фальконету, а надзор за работой — русскому мастеру Хайлову. Меди заготовили триста пятьдесят пудов, и когда она, растопленная, была уже пущена в нижние части формы и заполнила их, произошёл прорыв, и медь разлилась по полу.

Фальконет в отчаянии, что его труд рушится и честь погибает, выбежал вон из мастерской. Его примеру последовали все рабочие, кроме Митиною дяди. Один он, не потерявшись, заделал отверстие и стал, с опасностью для жизни, вычерпывать медь и вновь заполнять ею формы.

Отливка вышла на славу, только лишних два года пошло на шлифовку изъяна. За спасение памятника Хайлов получил денежную награду и первым долгом выкупил из крепостного состояния родную сестру с Митей, его крестником. Литейный мастер был крепкий, умный, вольный человек, и Митя, подрастая, наследовал его независимый нрав. Карла Росси он преданно любил, восхищался его талантом и мечтал в будущем, когда женится на свободной Машеньке, строить под его началом.



Карл Росси подходил к даче своего отчима, очень приметной благодаря большой террасе, затканной сверху донизу ярко-красным турецким бобом.

Павел не выносил танцующих мужчин, считая, что самым богом они предназначены быть только воинами. Но для Лепика император сделал исключение: кроме того, что Лепик был европейски признанный танцовщик, он писал балеты на модные классические темы, среди которых попадались и военные — балет «Дезертир».

Феликс Лепик вместе с Гертрудой Росси и ее маленьким мальчиком Карлом — после триумфов в Париже и Лондоне — из Италии приехал в Россию.

Карл значился в бумагах — пасынок Лепиков; так он был записан и дальше на службу при дворе.

После особого успеха поставленных Лепиком балетов собственного сочинения — «Амур и Психея», «Прекрасная Арсена» — ему предоставлена была, к зависти всех прочих актеров, «безденежно» ложа третьего яруса и наивысший оклад.

Феликс Лепик дремал в большом кресле на собственной террасе, а несколько поодаль стоял мальчишка-казачок с длиннейшим чубуком в руках. Вся фигурка казачка выражала большое напряжение. По опыту он знал, что если промедлит минуту, чтобы поднести барину, едва он проснется, раскуренную трубку, — размашистый удар по спине этим самым, вырванным из рук, чубуком будет ему назиданием. Казачок не переставая дул на тлеющие угольки, Лепик мирно похрапывал, и черные усы его, отпущенные за лето, пока он не танцевал, а только писал балет, вздрагивали, как у таракана. Нос был горбатый, римский, а брови, как намазанные густой черной краской, полукружием обегали закрытые веками глаза. Одет Лепик был пестро, словно фазан: шелковый халат с разводами, на голове красная феска, узорные шитые туфли на босу ногу.

Сон отчима был чуток. Еще сладко храпел его римский нос, как внезапно приоткрылся карий глаз, с любопытством оглянул Карла, и Лепик прокричал тенорком:

— Пасынка бог послал! С чем поздравить?

Он вскочил с кресла, легко подбежал к Росси и скороговоркой насмешливо сказал:



— Веночки, беседки, гирлянды цветов — дамское занятие, дамское... Не вижу для вас в том много чести — не в садовники вас готовили.

Карл что-то хотел возразить, Лепик не дал, сам продолжал, махая руками:

— Говорят, ваш учитель Бренна, как на осле, на вас воду возит... Вашими руками жар загребают. Постоять за себя не умеете. Ну, с чем пришли? Есть до меня дело? Говорите скорее, я сейчас примусь за работу.

Лепик выхватил у подскочившего казачка свой чубук, кинулся обратно в кресло и скоро исчез в клубах дыма, как сказочный волшебник.

Воспользовавшись минутой, когда отчим, занятый делом, принужден был помолчать, Росси, памятуя просьбу Мити, сказал:

— С моей матерью танцует в вашей постановке некая Машенька, именуемая за грацию Сильфидой. Она в кордебалете...

— Знаю Сильфиду и первый ее одобряю, — сказал важно Лепик. — Ну и что же, ты влюблен?

— Она невеста моего приятеля Мити, одного из младших учеников наших. Он просил меня узнать, есть ли надежда получить ей вскорости сольное выступление?

Лепик вынул изо рта чубук и рассмеялся.

— Как раз вчера получила. Из-за ее упрямства твоя мать разбила два хороших стеклянных стакана, пока наконец убедила Сильфиду. Маша свое счастье поняла и сделала то единственное, чего не хотела делать: по приглашению нашего князя Игреева с ним поужинала наедине. А сегодня я получил предписание дать ей партию Амура. И если твой приятель не будет дурить, эта Маша от щедрот князя скорее добудет себе вольную сама, нежели ожидая до седых волос выкупа от жениха. Убеди этого Митю... Жизнь есть жизнь!

— Как можете вы так говорить? Вы ничего не понимаете в таких людях, как Митя...

Лепик заклектал опять птичьим смехом, потом выпучил страшно глаза и крикнул:

— Умная рыба ищет, где глубже, умный человек — где лучше! Здешняя русская пословица есть истина, а жизнь есть жизнь. Это надо понимать, а вы тоже не понимаете. Почему вы наотрез отказались



учиться танцам? Вы отказались от своей фортуны. О, если бы вы танцевали!

Лепик ловко бросил подскочившему казачку свой потухший чубук.

— Если бы вы танцевали, вы могли бы стать наследником славы вашей матери и моей... да, моей славы.

Лепик хлопнул небольшой растопыренной рукой по шелковым разводам выпиравшей грудной клетки и поднял голос, как актер высокой трагедии:

— Если бы вы танцевали, я бы мог вас вполне назвать своим сыном. Но молодой человек, рисующий беседки, цветочки, веночки, вместо того чтобы посвятить себя благородному богу движения, — мне не может быть сыном.

— И желанья особого к тому не имею, — сказал холодно Росси.

— Предерзкий негодяй! — вскричал гневно Лепик. Брови его, черные и толстые, как пиявки, вздернулись кверху, щеки побагровели, римский нос побелел.

Карл круто повернулся и пошел в свою комнату переодеться.

— Осел!.. — крикнул ему вдогонку отчим, кидая на пол ноты, пепельницу, черешковый чубук, вырванный у перепуганного казачка, и с нарастающим гневом продолжал: — Пудель любит танцевать... Лошадь любит танцевать... Одного осла надо стегать, чтобы он танцевал. Но и осел танцует... Вы — хуже осла.

Не найдя больше достойных для утишения своего гнева предметов, Лепик дрыгнул ногой и послал далеко в коридор, через незакрытую дверь, свою туфлю с босой ноги.

Казачок, как собачка, стремглав кинулся к туфле и водворил ее снова на ногу барина.

Вдруг Лепик сразу охладился, взял в руки карандаш и как ни в чем не бывало стал им выстукивать такт и напевать что-то, черкая в нотах.

А Карл, нарядный, красивый, полный мечтаний о восхитительной Катрин, желая, чтобы его не увидел отчим, черным ходом направился к парадному месту.

Карл шел и думал о том, как он встретится с Катрин. Вероятно, она уже знает, что его не будет на парадном торжестве. Конечно, она не сочтет это для него унижением. Сколько раз сама ему говорила, что



таланты выше всякого происхождения. Да, одной ей, восхитительной Психее, хотел Карл рассказать о том, что пережил недавно ночью у памятника Петру. Рассказать, как ему, великому всаднику, и самому себе дал обет — сделаться первым в мире зодчим.

И, взяв ее прекрасную руку, он ей скажет:

— Быть может, вы, Катрин, никому не отдадите вашу свободу, пока я этим зодчим не стану?

Или нет... зачем так долго ждать? Быть может, довольно ему только вернуться из двухлетней поездки в Италию, куда повезти его хочет Бренна. И когда он, как Баженов, привезет из Рима и Флоренции признание его высоких успехов, — с ее умом, свободой взглядов, ужели она сама не скажет смело отцу:

— Я люблю этого художника. У него большое будущее...

И отец-вольтерьянец благосклонно ответит:

— Как вы оба можете сомневаться в моем согласии?

Так юношески мечтая, наслаждаясь медовым запахом лип, Карл вдруг заметил в конце темной старой аллеи два белых платья. Как узнать, кто эти гуляющие так близко от дворца? Карл, чтобы остаться самому незримым, когда белые платья с ним сравняются, спрятался за скамью, укрытую кустами жасмина. В просветы ветвей вдруг мелькнули голубые ленты, как дымок завился белый газовый шарф, и обе женщины, смеясь, кинулись вперегонки к скамье. Это была Катрин со своей замужней подругой Аделью.

Насмеявшись, они продолжали прерванный разговор, и вдруг Катрин назвала его по имени. Она сказала:

— Какое же благополучное разрешение судьбы любезного Карла Росси вы придумали, дорогая Адель?

Адель, смеясь, вынула из ридикюля книжку в сафьяновом переплете:

— Это наш женский оракул. Здесь советы на все случаи жизни и на самые тайные наши желания. Откроем заветную главу...

— Я хочу прочесть сама. — Катрин потянула книжку.

— Только читайте вслух, ведь в вашем деле заинтересована и я, — лукаво сказала Адель. — Начинайте отсюда. Это подходящий для наших разговоров анекдот прошлого времени.



И Катрин прочла:

— «С некоей мадемуазель Дюшатель случилась беда, неприятная для девицы высокого положения в свете. Она влюбилась без ума в красивого гувернера своего младшего брата. Молодой человек отвечал ей пламенной взаимностью. Каролина — так звали девицу — таяла на глазах своих родителей и знакомых, молодой человек, на ее счастье, был робок».

— Ну, разве это не ваш случай, Катрин? — всплеснула руками Адель. — Но продолжайте, разрешение ваших мук через несколько строк.

— «Старшая сестра Каролины, опытная в сердечных делах баронесса Д., приласкав сестру, ей тихонько сказала: «Я вижу все, дорогая, но помочь вашему горю вы легко можете сами. Скорей примите предложение старого маркиза де Зет, вы станете несметно богаты, и, так как сейчас у нас в моде книжки Жан-Жака Руссо, вы даже подниметесь во мнении света, если вашим любовником станет красавец бедняк. У меня же для вас и для вашего милого всегда найдется уютный приют...»

— Но ведь это решение времени прошлого, — сказала Катрин, — и я думаю...

— Это решение бессмертно, — прервала Адель. — Время только вносит маленькие внешние изменения. Сейчас не только вам надо выйти замуж, но и Карлу жениться на какой-нибудь титулованной, чтобы быть принятым в нашем обществе по праву; руссоизм не в моде, и бедный зодчий списка ваших побед не украсит. Я, конечно, возьму свою долю, — тонко улыбнулась Адель, — но зато отлично сосватаю вашего Карла...

— Хорошо, если б на глупом уроде, — подсказала насмешливо Катрин. — Но как вы мыслите вашу долю?

— О, я не оригинальна, помирюсь как раз на том, чего хочет от своей младшей сестры предприимчивая баронесса Д. Прочитайте...

— «Чтобы все между нами было без облачка и претензии, — сказала старшая сестра, привлекая в объятия свою младшую, — уговоримся сейчас: иногда вместо тебя встречать его буду в гнездышке — я».

Карл, сдерживая дыхание, смотрел на мелкие золотистые кудри Катрин, на ее детскую шею... Психея. Что ответит она?



Катрин сказала тем спокойным, чуть насмешливым тоном, который всегда — так казалось Росси — таил в себе и свободу ума и благородство поступков: — Я принимаю все ваши условия, мудрая Адель.

Она тихо засмеялась, и ее голубая лента, взметнувшись далеко за куст жасмина, шаловливо чуть скользнула по щеке Карла.

Карл рванулся, толкнул нечаянно дерево, под которым сидели Катрин и Адель. На них посыпались листочки и сучья, они вскрикнули и, как лани, помчались далеко по аллее.

Карл, не прибавляя шагу, по внешности спокойно двинулся к месту сожжения костров, но, погруженный в странное оцепенение, вдруг спутал тропинки и не зная как, очутился перед крепостью Бип.

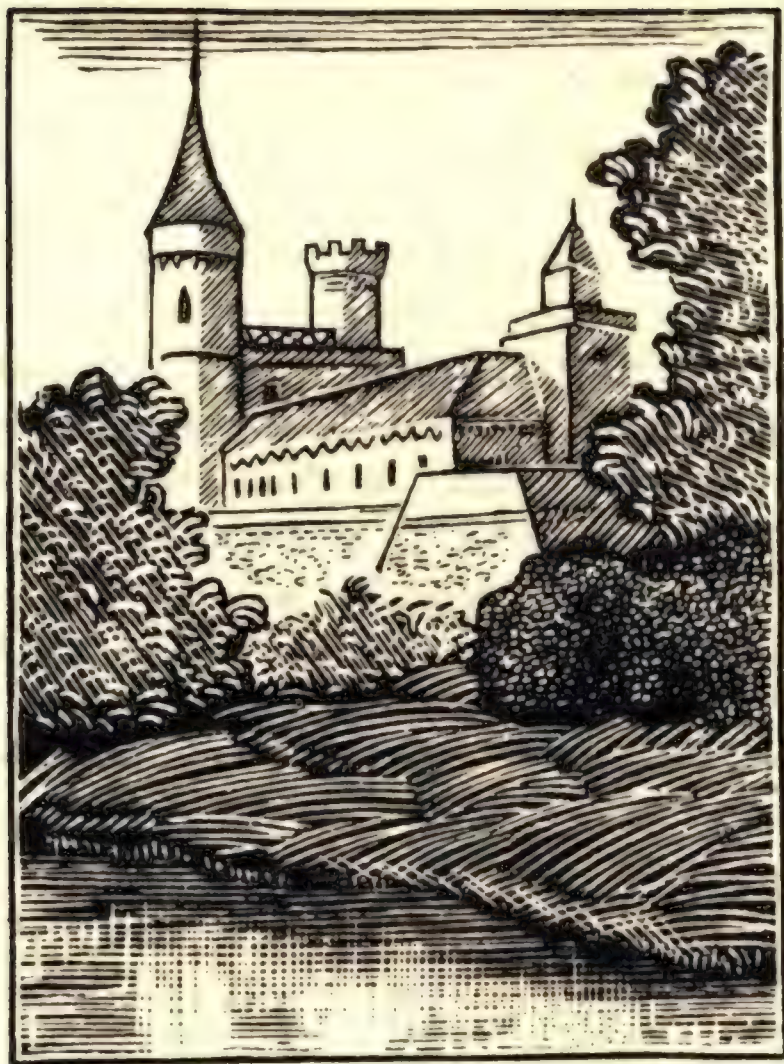
Там шла какая-то возня. Он вздрогнул, сразу не понял, потом сообразил: после вечерней зори поднимают игрушечный подъемный мост.

Несуразная средневековая подделка. Как сравнить эту безвкусную нелепицу с той совершенной Камероновой постройкой, которую Павел приказал здесь разрушить? Это грубое зачеркивание произведения большого мастера, эта возведенная на его месте тяжелая, как солдатский прусский сапог, крепость сейчас вдруг до слез оскорбила его.

Не так ли всё в жизни? Не так ли она, Катрин, его Психея, растоптала его любовь? Она, конечно, выйдет замуж с расчетом и спокойно отдаст руку тому, с кем выгодно вступит в сделку ее вольтерьянствующий отец. А после, как все... заведет салон и займется игрой в любовь. Неужто эти умные глаза, этот рот, сладостно изогнутый, эти движения, полные грации, — одна оболочка, прикрывающая пустое и грубое сердце?

Карл стоял, недвижно прислонившись к большой березе. Ему казалось — оборвалась его жизнь. Час тому назад он в полноте радости и надежд погрузился мечтами в воображаемый, полный чувств, разговор с Катрин, и вот через миг, как при землетрясении, пред ним вдруг разверзлась на месте цветущего сада бездонная пропасть. Страшные речи возлюбленной, которые он только что услышал, обличая холод ее сердца и раннюю развращенность, убили его любовь. Карл плакал и не замечал, что плачет. Он пришел в себя, когда вблизи пробили башенные часы, и привычка к ответственности за работу заставила вспомнить, что нельзя терять времени.





### Глава третья

Карл Росси, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, но подтянутый, точный, каким всегда был в работе, появился на парадном плацу у костров, сложенных в клетку, из чистых, стройных березок. Белоснежные, с черными отметинами, они издали казались мантией из горносталя.

Рабочие подкатали целые тачки великолепных цветов: во множестве были здесь розы, орхидеи и стойкие декоративные циннии...

— А я уже боялся, что мы запоздали,— сказал Митя,—увлеклись с садовником. Вот принимайте, Карл Иванович, тут все оранжерейные богатства на выбор для вашего мадригала. Затем... Но что с вами? Не случилось ли чего?— с беспокойством глянул Митя на вдруг побледневшего, как от сильной внезапной боли, Карла.

— Нездоровится что-то,— отрывисто сказал Росси.— Сейчас не до разговоров, Митя, как бы нам не опоздать.

И Росси стал распоряжаться окончательным украшением костров. Когда окончили, Митя отбежал, чтобы прочесть по цветам обещанный Катрин мадри-



гал, но, хотя он отлично проштудировал «язык цветов»,—ничего не получилось.

— Как же у вас тут построен стишок, Карл Иванович,—постичь не могу... Либо эти лилии не у места, либо шарлаховый тон тех бутонов... Уж нет ли ошибки?

— Читать здесь совершенно нечего, Митя,—спокойно ответил Росси,—мадригала нет и не будет.

И, поймав безмолвный вопрос в глазах друга, предупреждая его нескромное любопытство, поспешно добавил:

— Я навсегда желаю забыть имя той, кому были предназначены стихи.

Митя слушал и укоризненно молчал. Росси, вспыхнув, поспешно добавил:

— Поверь, Митя, основание есть... Не спрашивай, не поминай мне ее...

Карл вдруг смешался. Он вспомнил, какой ценой Маша-Сильфида, невеста Мити, получила наконец сольную партию. Неужто сказать ему?... Нет, он не мог нанести другу сердечную рану, так схожую с той, которую только что в аллее старых лип нанесла ему Катрин. Не глядя на Митю, он смог только вымолвить:

— Твоя Маша, сказал отчим, сегодня танцует с моей матерью в здешнем театре. Кажется, роль Амура...

— Извещен уже ею...—блаженно улыбаясь, сказал Митя.—Умудрилась цидульку мне прислать: назначила свидание после танцев, у Аполлона... И просьба моя к вам, Карл Иванович: придите туда же, когда зажгут фейерверки. Нам оттуда все будет видно превосходно, а я хочу в вашем присутствии взять торжественное обещание с Маши, что она будет меня ждать непоколебимо среди всех соблазнов. Чай, теперь их у нее прибавится... Не подумайте плохого о Маше, Карл Иванович, я по-прежнему в ней уверен. Но именно ваше присутствие как свидетеля—это новый шаг, закрепляющий пока духовные наши узы. Мы оба вас ценим безмерно, вы мне—как старший брат.

Росси глянул в добрые восторженные глаза Мити, крепко пожал руку и горько подумал: еще немного часов—и конец его радости.

— Да, Митя, я непременно приду к Аполлону.



— Карл Иванович, я оставшиеся белые розы отдам вечером Маше — ведь можно?

— Конечно, Митя, отдай...

Послышался звук трубы — сигнал для общего сбора на празднество. Росси и Митя быстрым шагом пошли к дворцу.

Эскадрон конной гвардии был уже размещен по пути следования на парадный плац. Кавалеры и командоры, приехавшие из Петербурга, в супервестах прошеествовали по два в ряд.

Павел под звуки труб и литавр в большой тронной зале дворца занял вместе с женой места на троне. Великий сенекал Нарышкин, чья должность соответствовала гофмаршальской, поднес Павлу на золотом блюде факел. Пажи вручили факелы всем прочим, и процессия двинулась к кострам.

Росси хорошо видел издали всю церемонию сожжения костров. Процессию открывал церемониймейстер Ордена, тот самый, который его вычеркнул из списка. Сейчас его незначительное, мелкое лицо было важно, и сам он в нарядном облачении как будто стал выше ростом и дороднее.

За ним, по два в ряд, начиная с младших чинов, шли капелланы. Кто-то из толпы людей, стоявших сзади Росси, скрытый уже наступившей темнотой, отчетливо называл чины и достоинства, с особенным удовольствием выговаривая трудные, никому не понятные звания:

— Вот эти расшитые, с лентами — кавалеры Большого Креста, а те — конъюнктуальные капелланы... кавалеры по праву российского приорства — свои, русские, они от государя направо, а католики с левой стороны.

И заспорили, что почетней: правая рука, десница, старше левой, но зато левая ближе к сердцу.

Вся процессия, торжественная и нарядная, три раза обошла вокруг девяти костров. Росси знал, что для большинства придворных эта церемония была смехотворна, и даже вечный страх перед внезапностью гнева государя сейчас не мог сдерживать то тут, то там насмешливых улыбок и перемигивания.

Но большинство пыталось истово исполнять ритуал, как службу, как новый вид фрунтовой повинности. И только один император, в роскошном облачении, в



тяжелой короне на полысевшей голове, высоко подняв курносое лицо, с вдохновенной молитвой смотрел в небо. Он веровал в спасительную силу обряда мальтийских рыцарей.

Когда император остановился, великий сенекал взял из рук его факел, зажег его и вручил ему обратно. Камергеры подошли к членам совета, и когда огни вспыхнули у всех, Павел возжег первый костер.

Мария Федоровна, княжны, придворные девицы и дамы смотрели на торжество из роскошной палатки черных, белых и красных полос.

Вечер был прелестной нежности, без ветерка, и с веселым треском горели костры. Купы деревьев, искусно расположенных Камероном, живописно освещались живыми языками пламени. Вдруг взвились разноцветные ракеты и, добежав до середины потемневшего, но еще прозрачного неба, как бы завидя оттуда покинутую отчизну, стремглав упали в веселые воды Славянки. Император, отстояв, сколько полагалось по ритуалу перед пламеневшими кострами, пошел садиться в золотую карету. Сквозь стекла ее, в которых дрожали багровые отсветы, Росси видел все то же лицо, застывшее в экстазе, и золотую корону в бриллиантах.

Росси в раздумье тихо шел по тропинке к храму Аполлона и невольно остановился, когда ему путь пересекла Катрин. Она была одна и, видимо, его давно заприметив, с намерением здесь поджидала.

— Ваши цветы на гирляндах ни по какой азбуке мне ничего не сказали. Отчего же вы не держите обещания?— сказала Катрин кокетливо, но с заметной досадой.

Карл ответил ей холодным, отстраняющим голосом, сам себе дивясь, куда вдруг ушло недавнее чувство:

— По вашей вине у меня пропала охота сказать вам что-либо не только на языке цветов, а простыми словами...

— Какая немилость,— насмешливо сморщила губы Катрин.— Что же, в вашем сердце другая?

— Во всяком случае — единственной в моем сердце больше никогда не будет. Вы меня излечили навсегда. Как у всех, у меня отныне будут многие... но не одна.

— Что за дерзости... чем они вызваны?



— Извольте, скажу — и на этом мы кончим. Несколько часов тому назад я в старой липовой аллее собственными ушами слышал, как вы с вашей подружкой торговали моей персоной. Вы с ней условились поочередно играть со мною в любовь, предварительно женив меня на титулованном уроде...

— Так это вы обрушили на нас целый водопад листьев и сору? — Катрин несколько смущенно засмеялась, все еще не веря серьезности Карла. — Месть дикаря. Ваш вкус надо развить... Хотите, я этим займусь?

Карл церемонно поклонился:

— Я предпочитаю руководствоваться вкусом собственным.

— Но, Карл, вы не так меня поняли...

Катрин впервые и очень нежно назвала его по имени, но Росси, поклонившись ей еще раз, не оглядываясь направился к колоннаде Аполлона.

Статуя Аполлона стояла в двойном круге благородных дорических колонн. Мягкое журчание каскада, большие камни, поросшие мохом, — всё вместе, овеявая поэзией, переносило в древние века оживленной богами природы.

Карл Росси шел и думал, что как у него, так вот сейчас рушится и первая любовь его друга — Мити. Успел ли он отдать белые розы невесте?

Развалины Аполлонова храма освещены были лунной, и не мог Карл не подумать, насколько этот серебряный вкрадчивый свет благородней разноцветных огней только что отгоревшего фейерверка.

Чуть голубели, светились фосфорным светом колонны старого дорического ордена, и среди них на высоком цоколе стоял юный бог, совершенство соразмерности и гармонии. От лунного света бронза, из которой Аполлон отлит был Гордеевым, не утратив точности контуров, как бы окуталась легчайшей дымкой и утратила свой вес и плотность. Дополнить чудесную картину могли только звуки какой-нибудь воздушной золотой арфы. И Карл болезненно вздрогнул, услышав чье-то отчаянное, полное большого горя рыдание...

Митя лежал на скамье, зажав в ладони лицо, и плакал, как ребенок. У ног его на каменных плитах, особенно ярко освещенные луной, белели не поднесенные невесте розы.



Карл приподнял со скамьи и безмолвно обнял друга.

— Все кончено между нами,— сказал Митя.— Она получила свободу из рук князя, меня слишком долго ей ждать... О проклятая наша жизнь!..

— Не кляни ее, Митя,— сказал твердо Росси,— наша жизнь только что начинается... И может быть, хорошо, что начинается с такой горькой личной утраты. Искусство ревниво... отдадимся ему без оглядки. У нас с тобой одна судьба...

Митя горячо прервал Карла:

— Нет, Карл Иванович, у нас не одна... У нас с вами разные судьбы. Вы — великий талант, им вы ответите миру. А я — человек обыкновенный. Я в художники пошел ради невесты, соблазнился скорее ее выкупить. Настоящего призвания у меня нет. Мне суждено другое...

Митя совсем оправился. Теперь он шагал взад и вперед, освещенный луной. От ее света он сам становился серебряным, а попадая в тень, внезапно потухал. Митя остановился перед другом:

— Карл Иванович, пока людей возможно продавать, как скотов, пока можно отнять невесту, потому что нет денег для ее выкупа на волю, я душу мою положу, чтобы с этим бороться. Не знаю как, не знаю где, но я путь найду.

Карл обнял Митю, и долго молча стояли два друга перед цоколем бесстрастного бога гармонии.





#### Глава четвертая

Двадцать девятого июня, на Петра и Павла, как обычно, была блестящая иллюминация в Павловске — день ангела императора.

Укрытые цветущими кустами придворные певцы и певицы распевали стихи Нелединского-Мелецкого:

Сторона, как мать родная,  
О возлюбленно Павловско...

И еще другой стишок, полный детской преданной любви, исторгавший из очей чувствительной Марии Федоровны слезы и умилявший самого государя:

Наш надежда государь,  
Православный белый царь,  
Нас скрывает в свою пазушку:  
Отирайте, мои детушки,  
Вы с очей горячи слезушки,  
Подбивайтесь, мои милушки,  
Под мои ли теплы крылушки.

Защитительные костры Ивановой ночи всё еще оказывали на Павла свое благотворное влияние. Непоколебимой пребывала в нем уверенность в особой



охране и личной безопасности. Патер Грубер, ежедневно вручая искусно им приготовленный «иезуитский шоколад», проникновенно напоминал, сопровождая слова ласковым внушающим взглядом, что отныне вокруг гроссмейстера Мальтийского ордена, главы рыцарей всего мира, незримо присутствует небесная стража.

Павел, получив долгожданный покой, отогнал от себя подозрительность. С благожелательным вниманием слушал он доклады своих вельмож — то ли на террасе в саду, то ли в Камероновом изящном павильоне Трех граций.

Однако в начале августа злая судьба словно позаботилась замутить его недолгие светлые дни.

Распустил некто слух, что будет тревога, солдатам она вдруг почудилась, и с примкнутыми штыками они ринулись вверх по горе со стороны трельяжа. Здесь их остановил сам Павел, катавшийся неподалеку верхом. Слегка побледневший, но вполне владея собой, он похвалил за порядок семеновцев и отечески пожурил преображенцев за то, что бежали вразброд.

Мария Федоровна плакала. Ее губы, еще сохранившие свежесть, дрожали, и жалобным, тонким голосом, который в первые годы брака заставлял Павла исполнять немедленно желанья супруги, а сейчас раздражал, словно писк комара, Мария Федоровна просила:

— Запретите, мой друг, собираться толпе. Когда эти люди мчатся вперед, как бизоны, я их ужасно страшусь. Сигнал к тревоге исходить должен только от вас. От монарха...

Государь любезно согласился с женой. Благодарил за усердие окружившие дворец столь поспешно войска и в причину тревоги углубляться не стал. Но, удалившись в свою опочивальню, внезапно охвачен был приступом оставившей было его подозрительности.

Можно ли было верить Марии Федоровне, жене, которая могла в свое время скрыть от него, супруга, что Екатерина принуждала ее дать свое согласие на лишение его насильственно престола?

После смерти матери сам он нашел этот документ. Когда Мария Федоровна после родов младшего сына,



Николая, еще оставалась одна в Царском Селе, матушка потребовала у нее подписи на заготовленном акте его предполагаемого отречения. Правда, самой подписи жены не стояло, было только обозначенное, заготовленное для нее место,—и Мария Федоровна уверяла, что Екатерина сильно разгневалась по поводу ее отказа, а она сама все это дело скрыла от него, Павла, из великой к нему любви, оберегая его чувства к матери.

Отказалась... Павел горько усмехнулся. Свои расчеты у нее: участвовать в лишении престола отца ради сына не захотела, но, при ее тщеславии, о престоле для себя самой мечтает. Пример не за горами—ведь тридцать четыре года царствовала незаконно, после смерти Петра Третьего, его матушка. Россия слишком привыкла к правлению женщин... И Павел не выполнил просьбы Марии Федоровны, не запретил собираться по неизвестно кем данной тревоге, указал только место для сбора.

Загадочное происшествие вскоре опять повторилось; царская семья, вся бывшая на прогулке, поражена была криками, суматохой, вразброд устремившимися к замку гусарами и казаками. Павел кинулся к назначенному пункту, произвел дознание—оказались сущие пустяки: рожок почтаря ошибочно приняли за сигнал, барабанщики ударили в барабан, полки двинулись.

Но окружавшие его солдаты с неподдельным простодушием такое выразили о нем беспокойство, что Павел до слез был растроган. Вот солдатам он верил, а жене, едва глянул в ее глаза, изображавшие верность до гроба,—не поверил. И как делал раньше, не желая слушать придуманных ею домыслов, убежал скорее в глубь парка.

Нет, сколь ни борется он с собой, нет больше здоровья душе! Видать, неизлечимым осталось то глубочайшее потрясение, которому был подвергнут родной матерью почти в день смерти его первой, так беззаветно, так молодо любимой жены Натальи Алексеевны.

Видать, навеки разбил его сердце и помрачил разум тот страшный миг, когда матушка сочла нужным



сообщить ему с неотвратимыми доказательствами об измене ближайших ему людей — любимой жены и друга ближайшего Андрея Разумовского...

Быть может, той внезапностью потрясения она хотела свести с ума нелюбимого сына, вечного наследника, как звала его, рассердясь, Мария Федоровна, и уже на основании законном объявить его лишенным престола...

Вот она — незаживающая рана. Порой сдается, что затянулась, что всё в прошлом, всё позади. Но вот малейший повод — и всё горше прежнего. Ведь если Мария Федоровна еще так недавно, хоть сгоряча, но могла ему сказать: «пожилой вечный наследник», — сколько чувствует она как женщина к нему в своем сердце презрения! И поставить себя на его место, захватить трон, как сделала его мать с его отцом, — ужели не приходит ей в голову?

Если первая, любимейшая жена, первейший друг могла так предать, а родная мать — нанести смертельный сердцу удар, что ждать от этой весьма тщеславной спутницы жизни?

А ведь основой чувства его было с юности — великодушие, щедрость, любовь. Да еще недавно... разве не эти качества толкнули его обласкать своего врага лютого — Платона Зубова? Тронулся рыданием его над телом покойной царицы, поднял его, с неистовым чувством при всех вскрикнул:

«Кто старое помянет — тому глаз вон!»

Дворец подарил Зубову. Из кабинета двора приказал заплатить тайному советнику Мятлеву за тот дом сто тысяч. За обедом здравицу врагу лютому возгласил:

«Сколько капель в сем бокале, столько лет тебе здравствовать!»

— Ни в чем меры не знаю... — горько прошептал Павел и погромче сказал:

— Нет, не прошла обида на Зубова. Внутрь загнал ее, а она вдвое лютей.

Вот они, старые охотничьи домики. Сюда спасался в тот страшный день, когда Зубов за обедом у матушки оскорбил, а она не вступилась.

Забавно рассказал что-то за обедом Зубов, и Павел, позабыв свои злые с ним счеты, весело засмеялся, а



тот, приняв несносный свой чопорный вид, дерзко вымолвил: «Сморозил я глупость, что наследник изволит веселиться?» Не оборвала мать фаворита, напротив, своим молчанием подтвердила мнение, что сын — дурачок и до сознания его доходить могут одни глупости.

Воскрешенная памятью обида — что снежный ком: двинулся невелик, а докатился до подножия горы — сам горой стал.

Плетей достоин тот Zubov, а он, император, Дон-Кихот наших дней, дворец ему жалует, придворную ливрею, чтобы покрепче запомнили: через матушкину спальню Zubovy с ним породнились, одного корня стали.

И вот не удержался, гневный приказ вырвался сам собой: генерал-фельдцейхмейстера графа Платона Zubova — вон из службы. Вон из России, за границу, в свои литовские именья пусть убирается.

Черт его веревочкой с этим фаворитом матушкиным связал. Несет проклятье его судьбе этот человек. Вот и сейчас кабы новой беды не накликать.

Самый выезд Zubova за границу вплел зловещее звено. На его путь императорский бросил черную предостерегающую тень: вызвал бешеный гнев на барона фон дер Палена. Роковой этот гнев, ибо он вызван в самый день закладки Михайловского замка, последней твердыни, оплота от предателей.

Через Ригу должен был въехать польский король Станислав-Август, ему готовилось торжество, встречи, парадный обед. Но король чего-то замешкался, вместо него объявился в Риге Zubov. И вот ему как русскому важному генералу рижские бюргеры воздали королевскую честь, — не пропадать же закупленным на парадный обед яствам и винам.

Павлу обо всем последовал донос, а от него немедленно приказ: выключить со службы барона фон дер Палена.

Но по тайному учению масонскому, ему известному, если при закладке нового здания омрачен дух закладчика гневом, нет и не будет делу успеха. Ничто, предпринятое в гневе, на пользу не пойдет. Еще хорошо, что не кто иной — свой, верный человек под его гнев подвернулся.



Фон дер Пален сейчас — граф и военный губернатор города и человек ближайший, доверенный. Этот не предаст.

Сейчас Мария Федоровна на очереди, она всех больше мучает. Но когда же, собственно, с ней началось?

Оглянувшись, увидал вблизи скамью Оленьего мостика: вот на этом месте еще в прошлом году впервые сам себя испугался, потому что назвал свою болезнь. Имя ей — безумие. До тех пор носил в себе, и не называл, и не ведал, что это болезнь.

Павел не сопротивлялся воспоминаниям, и они влекли его неумолимой своей постепенностью...

Прошлой осенью были большие маневры в Гатчине — любимые угрюмые места, верные гатчинцы. Все вышло удачно, всем остался доволен. Отдохнул душой и приехал обратно веселый к своей семье в Павловск. Радовался всех увидеть, и даже наследника Александра.

Первенец, любящий сын, кто смеет на него клеветать?

И почему ему не быть любящим сыном? Разве претерпел он от отца то, что самому Павлу пришлось претерпеть от матери, великой императрицы? Нелюбовь ее, оскорбительную скупость, в то время как на очередного фаворита миллионы бросала. Кто был он при матери? Незаконно лишаемый трона, преследуемый призраком убитого отца. Прочь, прочь недоверие к Александру!

После успешных гатчинских маневров поехал в Павловск. Было отменно приятно, спокойно на душе, но вдруг странно поразило, что никто из домашних при въезде его не встречает. Однако не рассердился, а, озабоченный, любопытствовал узнать, не случилось ли чего, здоровы ли все.

А произошло то, что супруга Мария Федоровна, в своей немецкой сентиментальности припомнив, как любили у нее в родном Этюпе всякие нежные сюрпризы, придумала устроить ему встречу в костюмах и гримах. Некий, словом, затейливый домашний маскарад.



Когда, уже не на шутку встревоженный, он далеко впереди свиты почти побежал ко дворцу, вблизи Крика раздалось пенье, чудеснейший хор. И тотчас некий авантажный мужчина, вроде хозяина дома, стал, низко кланяясь, приглашать почтить его посещением.

— Верно, Нарышкина затеи... посмотрим, чего начудил,—сказал свите император, развеселясь и входя сам в игру.

Тут окружен был он хористами и завлечен ими в хорошенький сельский домик под пение:

Где же лучше, как не в недрах собственной семьи...

И на пороге дома кто-то в сладостных слезах радостной встречи пал ему в объятия.

Батюшки, супруга Мария Федоровна. Отяжелела, сударыня, однако ловко ее подхватил и любезно оглянулся, слушая концерт нарядных маркиз и маркизов. И вдруг всех узнал: скрипач—Александр, певица—его супруга Елизавета Алексеевна, а дочери—кто за арфой, кто за органом.

— Ловко средь бела дня сумели меня одурачить,—то ли в похвалу, то ли с осуждением вымолвил.

Сразу и не разобрал, кто кем наряжен. Обошли, слов нет, обошли. А в шуточном сумели, сумеют и в главном. В том, чего тайно хотят и сын и жена. Престола хотят...

Схватило удушье, предвестник великого гнева. Того, с которым не справиться. Поражая всех, вдруг вырвался из объятий, выбежал, хриплым голосом крикнул: «Не смей за мной!» Сам себя испугался. Убежал, чтобы не отдать приказа Кутайсову: «В крепость тех двух—мать и сына. В Шлиссельбург!»

Вот тут, на этой самой скамье, опомнился. И то, что медлил понять и назвать—свою несказанную муку, назвал: *безумие*.

Сейчас тихие над ним мерцали звезды. Всюду в парке был великий покой. Только речка журчала.

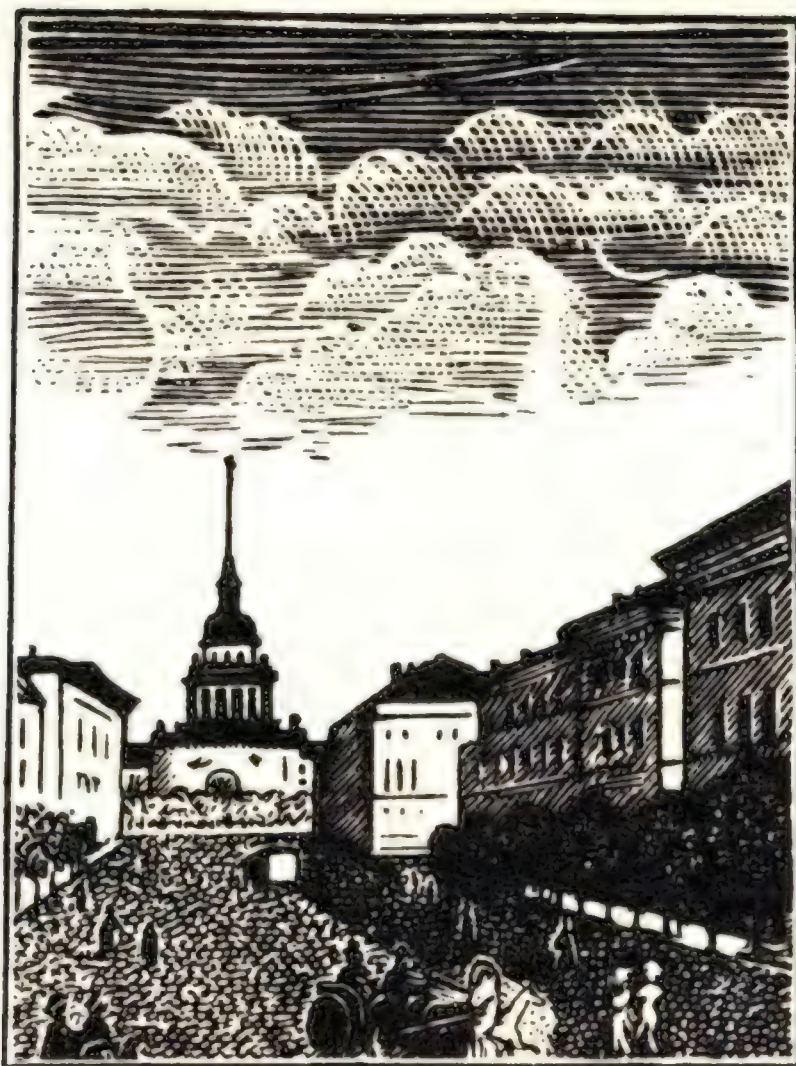
Нет, ни патер Грубер, ни костры Мальтийского ордена—ничто ему не в силах помочь. И без конца терпеть безумие на троне кто станет?



Недаром, когда рыли фундамент для возведения Михайловского замка, нашли монету чеканки считанных дней злополучного императора Иоанна Антоновича — плохое предзнаменование. Ужели бывают предначертанные, роковые судьбы? Но помирать, как одураченный, усыпленный всякими там машкерадами, — слуга покорный! Лучше сам я всех обдурю. Буду защищаться — я император, помазанник. Архистратиг Михаил — мой страж.

Павел поспешно вернулся во дворец, призвал архитектора Бренну и, не слушая больше никаких возражений о сырости, вредной здоровью, гневно приказал без проволочек заканчивать Михайловский замок.





## Глава пятая

Бренна дал Карлу Росси доверенность на вывоз всех чертежей, планов и рисунков заканчиваемой постройки Михайловского замка. Их надлежало передать на выставку в Академию художеств.

Душевное состояние Карла было отчаянное. Им владело одно желание — хоть на короткий срок бежать от этих мест, где его первое восхищение женщиной, первая юношеская любовь были так грубо поруганы. И казалось ему, это навеки лишило его надежд на счастье. И не отпускало ощущение, что рухнула защищавшая от пропасти цветущая ограда, и вот — под ногами бездна. Такое безудержное горе его охватывало порой, что кружилась голова и дело валилось из рук.

Присутствие Мити сейчас ему было желаннее всего. Оба без слов понимали друг друга. Митя окаменел в своем отчаянии, и Карл, чувствуя себя старшим, находил для него слова бодрости, которые вдруг стали помогать и ему самому. Он стал опять верить, что искусство выведет его из охватившей тьмы душевной...



Выйдя на Охте из экипажа, Карл и Митя сели в ялик и поплыли к Фонтанке, к Михайловскому замку. Яличник налег на весла, Митя взял другую пару. Карл сел за руль, ялик полетел, как чайка.

Высоко над горестями людей, прекрасные в своем бессмертии, стояли творения гениальных зодчих, и Росси невольно подумал, что, быть может, нужны человеку великие личные утраты как исходная точка для создания чего-нибудь большего, чем он сам. Митя снял шапку, и стриженные под скобку волосы, уже выгоревшие на солнце, как густой парик обрамляли загоревшее безбровое грустное лицо.

— Игла адмиралтейская,—слабо улыбнувшись, указал он веслом,—сколь стремительно пронзает она голубую высь!..

— Она — как сверкающий на солнце обнаженный меч, самым Петром подъятый на защиту города, так бы воспеть ее поэту,—подхватил Росси и с привычным вниманием скользнул по коробовскому Адмиралтейству.

— Живая история города и самого основателя навеки связана с Адмиралтейством; сколько великих побед его вспомнит тут всякий, когда они прославлены будут барельефами,—и захват северных морей, и шведы... развитие торговли и промышленности.

Карл широко указал рукой на оба берега Невы:

— Чудеса наших зодчих. Да, если сам хочешь стать мастером, надо принять в себя, выносить в себе, как мать — ребенка, тоже не меньшее, чем они. Найти новое, поднимающее этот чудесный город, пойти еще дальше в соразмерности частей, в гармонии — ведь здание строится навсегда и для всех людей. Непогрешима, как математика, должна быть работа зодчего.

— Куда же дальше этого? — указал Митя на Мраморный дворец Ринальди.

— Ну могу тебе сказать, Митя, сам еще не знаю. Только повторять никого не стану, я найду свое слово в зодчестве, как ты давеча сказал мне, что найдешь в жизни свой путь.

— И послужу им родному городу,—тряхнув кудрями, повеселев, сказал Митя.—Как в сказке, по щучьему веленью воздвиг его здесь великий Петр. Что людей на работе легло! Дядя Хайлов сказывал, дед наш тут в основание тоже залег. На родных мне костях



город наш... Дядя Хайлов монумент Петров с опасностью для собственной жизни, как вам известно, спас, ну, а мне уж не украшать город придется, а исправлять в нем великое зло бесправия.

И снова, как раньше, смелый, сильный, вдруг загоревшись румянцем, Митя спросил:

— Про Павла Аргунова ничего не слыхали, Карл Иванович? Ведь он сюда приехал из Останкина.

— Очень хочу его повидать,— обрадовался Карл.— Большой талант этот Аргунов, с каким вкусом дворец в Останкине построил, а отделка комнат по его указанию восторг вызвала даже за границей. Недавно польский король Останкино посетил, говорят, сказал, что его дворцы много хуже.

— И у нас прославлен этот Аргунов, а сейчас, знаете, он кто? — Митино лицо дрожало от негодования, он отрывисто и гневно сказал: — Сейчас он поставлен своим барином здесь, в Фонтанном доме, надзирать за тем, чтобы гуляющие в саду не обрывали кустов малины и крыжовника. Да вот лучше сами его расспросите, он у Брызгалова сегодня будет, а нам ведь там ключи получать. Да вы меня не слушаете, все свое думаете...

— Запомни, Митя,— сказал Росси с некоторым волнением,— не одно здание, которое строишь, в центре твоего внимания: все пространство надлежит организовать вокруг. Весь окрестный пейзаж, все, что может глаз охватить. Здание — центр. Все, все связано с этим центром. Если весь город перестроить в новой, дивной гармонии,— я уверен, и люди, в нем живущие, найдут в душе своей великий покой. Найдут и порядок и силу самим что-либо сотворить. Ведь все, среди чего мы растем и живем, что видит наш глаз, слышит ухо,— нечувствительно образует наши чувства, ум и вкус. А творцом, Митя, каждый человек быть обязан. В чем, как, кем — его дело. Но обязан вырасти из себя самого и создать что-либо.

Карл оборвал речь, задумался. Яличник свернул на Фонтанку. Издали предстала громада ярко-красных, под заходящим солнцем как бы раскаленных, камней Михайловского замка.

Митя с озорством воскликнул:

— А все-таки насколько слабее великих зодчих наш с вами учитель, Карл Иванович! Только что государю сумел угодить.



— Ты слишком строго...— прервал Росси.— Можно найти точку, с которой и в постройках Бренны открывается живописная перспектива.

— Вы же сами учили, Карл Иванович, что архитектура удачна, если в ней со всех точек здание хорошо. А уж чего-чего в этом замке не налеплено?

— И все-таки замок—уже необходимая принадлежность города нашего, значит, что-то угадано верно. Правда, трофеев многовато и единой композиции нет.

Винцентио Бренна приехал из Варшавы, где занимался росписью плафонов арабесками. Поначалу он работал живописцем в Павловске, выполняя задачи Камерона. Он оказался незаменимым в украшении придворного быта во вкусе Павла. Рукой мастера сочетал военные трофеи—орлов, венки, колчаны, полные стрел, гирлянды, оружие, хотя рисовальщик был слабый.

Карл помнил свое старшинство и не хотел соединяться с Митей в осуждении учителя. Однако и ему давно наскучила назойливая напыщенность Бренны; бархатные его занавесы, марсиальные уборы, рыцарские доспехи. Но вслух он выразил только последнюю, обобщающую мысль:

— Русское зодчество сейчас словно в раздумье—вернуться ему к своему прошлому или искать новых форм. Но каких?

Яличник причалил вблизи законченного средневекового замка во вкусе императора Павла.

Росси пошел по узкой аллее между зданиями манежа и сразу наткнулся на расклеенные на столбах афиши сегодняшних спектаклей. Во французском театре шло «Дианино дерево»—перевод с итальянского придворного капельмейстера Мартини. В театре Гритри пела красавица Шевалье. Сводная сестра Карла была замужем за ее братом, и от сестры он знал, что одновременно пользовались успехом у красавицы певицы император и его камердинер Кутайсов. Мать Карла Гертруда Росси сегодня не танцевала, и он решил зайти к ней, чтобы вместе ехать в Павловск.

Карл и Митя вошли в портал на восьми дорических колоннах красноватого мрамора. Трое решетчатых ворот между гранитными столбами, вензель Павла в кресте Иоанна Иерусалимского, орлы, венки, гирлянды из вызолоченной бронзы,—на это Бренна мастер,—так и пестрят в глаза. Средние, главные ворота



распахиваются только для семьи императора,— вошли слева в аллею из лип и берез, посаженных еще при императрице Анне Иоанновне. Налево экзерциргауз, направо конюшни. Аллея упирается в два павильона, где живут чины двора.

— Что, мы сразу зайдем к Брызгалову,— спросил Митя, указывая на окно комнаты кастеляна Михайловского дворца,— или обежим постройку?

— Обязательно обежим, давно я тут не был,— задумчиво огляделся Росси.

Прошли через ров укрепления на площадь Коннетабля.

Привычным общим взглядом охватил Росси возвышавшийся перед ним правильный квадрат, со всех сторон окруженный рвами в гранитных одеждах. Пять подъемных мостов переброшено было через рвы.

— Не алый, не пурпуровый, а какой-то сказочный, драконовой крови этот цвет. Точно ли говорят,— спросил Митя,— что это наш император навеки закрепил свою рыцарскую любезность по отношению Анны Гагариной? Будто явилась она на бал в такого цвета перчатках, а он тотчас одну из них послал как образец составителю краски для Михайловского замка, для наружных дворцовых стен.

— Похоже на правду,— усмехнулся Росси,— но лучше бы этот цвет остался только на перчатках Гагариной,— там он много уместнее, чем здесь. Однако вообрази, Митя, сейчас я уже полюбил эту багровую грудку камней. Полюбовался как-то этим пламенем среди темно-зеленых кущ при закате солнца, полюбовался приглушенными, неожиданно мягкими, теплыми тонами среди серебристого петербургского тумана—и понравилось. И уже неотъемлема от лица нашего горюда мне вся эта громада.

Росси указал на торчавшие при самом входе в замок дваobelиска из серого мрамора. Они вырастали до самой крыши. Но по бокам в маленьких нишах стояли несоразмерно мизерные статуи Аполлона и Дианы. Повыше шел фронто паросского мрамора работы братьев Стаджи, изображавший Историю в виде Молвы. Еще выше две богини Славы держали герб императора Павла. И опять обилие вензелей, какое-то страстное утверждение своего имени.

— Не по душе мне, Карл Иванович, поверх всего этого железная крыша, выкрашенная притом зеленью,— ворчал Митя.



— Да и ряд плохих статуй с коронами и щитами не украшает, а только тяжелит,— запрокинув голову, отметил Росси. И медленно прочел на порфировых плитах фриза:

«Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней».

— Карл Иванович,— совсем уже шепотом сказал Митя, склонившись к его уху,— знаете, что про эту надпись в народе пущено? Богомолка сказывала... будто юродивая со Смоленского кладбища прорекла; сколько букв сей надписи—такова долгота лет и императора. А ну-ка посчитайте, сколько букв.

— Ерунда, Митя!— воскликнул Карл.

Однако буквы сосчитали оба, проверили—сорок семь.

— Тоже выдумал—богомолка слушать,—досадливо сказал Росси и, обойдя замок со стороны Летнего сада, остановился перед круглой лестницей из сердобольского гранита, которая вела в обширные сени с мраморным белым полом и дорическими красноватыми, тоже мраморными, колоннами.

На площадке лестницы по обе стороны стояли великолепные статуи Геракла и Флоры, вылитые из бронзы в Академии художеств.

На гранитных консолях две бронзовые вазы, аттик с шестью кариатидами, обширный балкон над колоннадой и барельеф работы Лебо из белого мрамора. Все это было прекрасно, взятое отдельно, но не давало того общего стиля, единого вздоха, который восхищает в архитектурном совершенстве.

И, пытаясь разъяснить Мите, почему получилось столь путаное нагромождение, Росси извиняющим тоном сказал:

— Бренна не вполне виновен. Он уверяет, что так именно расположить статуи иobelisks ему приказал сам император.

От долгого неудобного положения задранной вверх головы Карл вдруг ощутил, как она у него болит, как вообще он разбит, как устал пред людьми и самим собой делать вид, будто ему совсем легко от погибшей любви, от обидного легкомыслия своей матери.

В мозгу настойчиво, как жужжанье злого веретена, застучали слова: Карло Джакомо Росси... сын итальянки, отец неизвестен. По-русски без отчества нельзя, и ему из второго личного имени Джакомо сделали Иванович. Никакой отец по имени Иван ему неведом.





## Глава шестая

Чертежи и планы, которые надлежало отвезти на выставку в Академию художеств, были сданы на хранение кастиеляну Михайловского замка Ивану Семеновичу Брызгалову, человеку примечательному, известному всему городу.

Сын крестьянина Тверской губернии, он поступил в истопники Гатчинского дворца, когда Павел еще был наследником, и привлек его внимание тем, что с неописуемым восторгом, раскрыв рот, следил, как печатали свой шаг гатчинцы. Созвучие родственной души было у него с Аракчеевым, и столь же, как тот, оказался и Брызгалов «без лести предан». Вскорости он был сделан камер-лакеем, а затем и гоф-фурьером. В дни воцарения Павла Брызгалов в своем звании явился в Петербург, где пожалован был уже в обер-фурьеры Михайловского замка.

Как только замок достроился, Брызгалова, как лицо доверенное и проверенное, назначили кастиеляном внутренних дворов с обязанностью наблюдать за своевременным поднятием и спуском мостов над каналами, которыми замок был окружен.



Брызгалов женился на дочери одного из придворных служителей Зимнего дворца и немедленно превратил свою жену в боязливую рабыню, неустанно попрекая ее, что цвет красный, присвоенный ливреям Зимнего дворца, где был ее отчий дом, ниже краской, беднее, чем цвет малиновый, который император утвердил за одеянием дворцовой службы Михайловского замка.

Брызгалов, мелкая пылинка, попавшая в орбиту самодержавного солнца, был, как и царственный хозяин его, охвачен болезненной манией величия и, по мере своих возможностей, воплощал ее в свой быт.

Одевался с иголки по форме, в руках носил саженой вышины трость для представительства. Двое мальчишек, рожденных от жены-молчальницы, обращены были в рабов и слушались мановенья его бровей.

Когда Росси и Митя постучали в дверь, им открыла молодая, но преждевременно увядшая женщина с грудным ребенком на руках. На вопрос, дома ли Иван Семенович, потупясь, ответила:

— Во дворце они, на приеме. Их двое уже ожидают. Присядьте и вы.

Она провела в комнату, которая окнами выходила на площадь Коннетабля, а сама скрылась в детской.

В приемной действительно сидели двое. Один из них — европейского вида, хорошо одетый человек лет тридцати, с умным и тонким лицом художника.

Завидя Росси, он стремительно двинулся ему навстречу.

— Павел Иванович, дорогой, — ответил Росси дружеским объятием, — до чего рад тебя видеть!

— Да я уж два дня как приехал. Справлялся о тебе у твоего отчима, а он в ответ только рукой машет, словно ты какой стал беспутный. Я, грешным делом, подумал, не пустился ли ты зашибать от огорчения какого или по слабости? Да нет, ясен ликом, как некий греческий бог.

— Какие бы огорчения на меня ни сваливались, я никогда не запью, — сказал с твердостью Росси. — Не сдаваться жизни хочу, а ее побеждать.

— Легко тебе гордо чувствовать — ты рожден свободным, — горько усмехнулся Аргунов и указал на сидящего на скамье человека довольно странного



вида.— А вот нам с Артамонычем без шкалика хоть в воду!

Сидевший на скамье вскочил и стал весело кланяться. Он был острижен празднично, «под горшок», волосы смочены квасом. Поддевка, хоть из дешевеньких,— новая.

— Вот, рекомендую,— сказал Павел Иванович,— изобретатель. Шутка сказать— самокат выдумал. Из своей Сибири по нашим-то дорогам на нем прикатил.

— Дороги, что говорить, родовспомогательные,— кивнул Артамоныч.

— Полагаю, не везде пехтурой, где и подвозили тебя вдвоем с самокатом? — подмигнул Павел Иванович. И, повернувшись к Росси, отрекомендовал: — Зовется он — Иван Петров Артамонов.

— А ей-богу, не подвозили,— веселой скороговоркой зачастил Артамонов.— Деньги нужны в мошне, чтобы подвозили, а у меня в кармане — вошь на аркане да блоха на цепи. Сейчас в разобранном виде моя машинка, а как соберу ее, просим милости поглядеть. Авось в грязь не ударим!

— Кому-кому, а тебе надо ладиться уж только на победу: сам знаешь, либо пан, либо пропал — перед государем нельзя тебе сплеховать.

Росси с интересом оглядел изобретателя. Был он сухой, среднего роста, с лицом остреньким, как у лисички. Глаза умные, с быстрым, легким взглядом. Глянут — сразу все высмотрят.

— Это, значит, про вас мне на днях говорил Воронихин? — осведомился Росси.— Не у него ли вы и остановились?

— А как же не у него, когда мы с ним во всем городе только и есть земляки. У них и стоим, у господина Воронихина, пока его величество перед свои очи не потребует.

— Император заинтересован его выдумкой,— пояснил Аргунов,— прослышал от кого-то, приказал выписать. Все сейчас ему предоставлено, чтобы он мог свою машину в совершенном виде представить. В случае успеха посулили дать вольную не только ему — всей семье.

— А сорвется дело,— с привычной усмешкой сказал изобретатель,— ежели мы, к примеру, опростоволосимся,— плетьюми угостят, не хвались!



Митя взволновался:

— За самокат дадут вольную? И всей семье посулили? Иван Петрович, да неужто?

— Царское слово — закон, — важно сказал самокатчик.

— Такие милости у нас всегда по капризу даются... — Аргунов, видимо волнуясь, подошел к Росси. — Иной талант, за границей прославленный, с отменным образованием, как мой отец и мой дед — знаменитости, да я сам только что королем польским за работу прославлен, — как были рабы, рабами умрем.

— Вы, Павел Иванович, блистательно закончили Останкинский дворец, — деликатно желая перевести разговор в другое русло, сказал Росси. — Я от самого императора слышал: феерия — не дворец. И какие великолепные празднества завершили окончание.

— А кончил я дворец строить, меня граф откомандировал сюда сопровождать обоз мебели. Дни свои проводить стану подручным у Кваренги по перестройке Фонтанного дома. Ну, это еще терпимо: понижение в работе. Но торговаться с вашим отчимом насчет продажи его павловской дачи графу — много хуже. Горячий и, простите меня, грубоватый человек ваш отчим, Лепик. Вам, конечно, о продаже дачи известно?

Карл вспыхнул, но тотчас утвердительно кивнул головой. Ему о продаже дачи мать и отчим еще ничего не сказали. «Ну что же, — подумал он, — отличный случай окончательно отделиться от родных и начать вполне самостоятельную жизнь. Давно нет родного дома...»

Росси овладел собой и, отстраняя досадные мысли, с искренним восхищением стал хвалить убранство Останкинского дворца.

— Все свидетельствует о совершенстве вашего вкуса, Павел Иванович, о вашем великом таланте декоратора...

— А вот ихний граф, знать, невысоко ценит талант, — неожиданно тонким голосом сказал самокатчик, — простую баньку им по-черному для людей заказал выстроить, это после расчудесного их дворца! Да это же так, словно б цветистую бабочку запрячь воду возить!



Он захохотал, но тут же застыдился, умолк, из угла стал глядеть волком.

— Должность крепостного архитектора таит в себе большие опасности,— мрачно проговорил Аргунов,— и чем он даровитей, тем горше его судьба. Пройдет у барина каприз строить, и он вчерашнего творца, которым восхищалась хотя бы и Европа, повернет, не моргнув, в лакеи, в свинопасы.

Аргунов прошелся по комнате и стал перед Росси.

— Вот бегаю я сейчас, как мальчишка, достаю для дачи образцы обоев, чиню мебель, которую любой столяр лучше меня чинить может. А как подрядчик ремонт затянул, мало считаясь с моими только что признанными заслугами, через канцелярию прислал граф мне лично позорный выговор с наложением смехотворного наказания, заставившего меня вспомнить детство, когда за шалости мать без сладкого оставляла.

— А ну-ну, какое такое наказание? — с веселым любопытством спросил Артамонов.

— Граф приказал снять меня со «скатертного стола», то есть с улучшенного довольствия, и перевести на харчи, общие с прислугой. Самое же обидное, что ничего я не строю с той самой минуты, как зарекомендовался первоклассным строителем.

Аргунов сел на место рядом с Росси и, невесело ухмыляясь, сказал:

— До нелепости сужен сейчас круг моей деятельности. Приставлен я, кроме всего прочего, к наблюдению за гуляющими в Фонтанном саду, дабы они фруктов, вишен, малины не рвали...

— Вот тут и запьешь горе водочкой,— щелкнул изобретатель себя по горлу, доканчивая речь Аргунова.

— Но ведь граф Шереметев не невежда,— возмутился Росси,— он учился в Лейденском университете, в искусстве, несомненно, понимает. Как же так грубо третировать художника?

— Понимание искусства не препятствует собственным крепостным художников считать своей вещью и распоряжаться ими как мебелью. Брат мой, Николай, прославленный своими портретами фельдмаршала Шереметева и прочими, который на правах друга жил с барином за границей,— разве отпущен им на волю?



Да о чем говорить, если сам Андрей Никифорович Воронихин вовсе недавно получил вольную.

Все минуту молчали, изобретатель убежденно сказал:

— Самокатами надо свободу себе добывать. Позабавишь барина, повеселишь,— он и размякнет. Господ потешать надоть, чтоб от них резону добиться, аль как наши сольвычегодские...

Самокатчик вскинул волосами, плотно сжал губы и страшноовато подмигнул.

— А как же сольвычегодские? — насторожился Митя.

Самокатчик быстро оглянулся, пригнулся к Мите и шепнул:

— Митрополита Иакинфа тюкнули... Еще при покойной царице дело вышло. Несуразную барщину налагал монастырь. Терпели мужички, сколько хватило терпения, впоследствии времени — тюкнули.

В дверях выглянуло испуганное лицо жены Брызгалова, и, словно на пожар, она крикнула;

— Паша, Саша, тятеньку встречать!

К изумлению присутствовавших, из-под ног, как собачонки, выкатились мальчишки-погодки. Они под скамейками играли в карты. У обоих были громадные головы в кудрях, круто завитых наподобие парика, желтые канифасовые панталончики, заправленные в желтые сапожки с кисточками на кривых, обручем, ногах. Нацепив на голову один — игрушечную казацкую шапку, другой — кивер, они, как были, в одних пунцовых шпензерах, кинулись на двор.

— Хозяйка, дети ваши простудятся,— крикнул женщине Митя.

— Они привычные,— равнодушно отозвалась хозяйка.

Через некоторое время мальчишки вновь появились в сопровождении папаша Брызгалова. Паша нес его огромную бамбуковую трость с темляком на золотом шнуре, другой — Саша — нес треуголку с широким галуном.

У Брызгалова было сухое, морщинистое бурокрасное лицо, с крючковатым, узким, как клюв, синеватым носом. Из-под напудренных широких бровей блестели черные быстрые глаза, костлявый подбородок начисто выбрит. Он походил на какую-то



беспокойную нарядную птицу. Брызгалов важно поклонился и сел в кресло, а сыновья стали по сторонам. Отец отпустил сыновей мановением руки и осведомился у Росси, зачем пожаловал. Услышав, что за чертежами, встал, прошествовал в комнату. Долго там возился, так что мальчишки, шмыгнувшие опять под скамейку, успели, к забаве всех присутствующих, подражаться, помириться и снова начать игру.

Брызгалов, переодетый в домашнее платье попросил, вынес чертежи и подал их Карлу.

— Все в сохранности, как было мне препоручено господином Бренной. Почтенный он зодчий по возрасту, и не к лицу б ему спешка. По пословице: поспешишь — людей насмешишь. А то и похуже, как у него с надписью над главным входом вышло. Читали вы?

— А что особенного в этой надписи?.. — уклончиво ответил Росси, желая послушать, что скажет сам Брызгалов.

— А то, что юродивая со Смоленского не сдуру о ней изрекла, вот что.

— И по-моему, в надписи ничего необыкновенного нет, — нарочно подзадоривал Брызгалова Митя.

— В обыкновенном исчислении букв — вся необыкновенность, — тоном открывающего великую тайну, понизив голос, сказал Брызгалов. — Ваш учитель приобвык за эти годы тащить на стройку замка что ни попало. Ухватил, не разобрав, изречение, заготовленное для собора святого Исаакия, и водрузил в замке над главным входом. Число букв надписи — сорок семь, столько же и годков нашему государю. Вернее — сёмьйй еще не ударил. Идет сёмьйй... в феврале ему стукнет.

Брызгалов обернулся на одни двери, на другие и, сильно труся, но и горя желанием поразить воображение слушателей, произнес значительно:

— Хорошо, коль благополучно сойдет ему этот годик. Плохие предзнаменования насчет этого дворца прорекла юродивая!

— Иван Семенович, уважаемый, поведайте нам... кто же мудрее вас в таких тонких делах разберется? — подольстился Аргунов.

— Только, чур, язык держать за зубами! — погрозил пальцем польщенный лестью Брызгалов и торжественно продолжал:



— Из предзнаменований перво-наперво виденье солдатово. Известно, что стоявшему на карауле в Летнем дворце явился в сиянии некий юноша и сказал: «Иди к императору, передай мою волю, дабы на сем месте вместо старого Летнего дворца храм был воздвигнут во имя архистратига Михаила». Донес солдат по начальству, довели до императора. Он солдата расспросил и сказал: «Мне уже самому известна воля архистратига, она будет исполнена». А кто есть оный архистратиг? — обвел всех строгим вопрошающим оком Брызгалов и сам себе важно ответил:

— Сей архистратиг изгнал из рая первых грехопавших людей, и самого дьявола поразил он мечом. Ему положено являться с той поры в местах, где готовится особливо злое дело... Ох, недаром великий предок, царь Петр Алексеевич, о своем правнуке тревожится. Всем известно виденье, которое было императору. Князь Куракин свидетелем. За границей сам государь про это рассказал — публично. Не раз, дважды сказал великий царь: «Бедный, бедный Павел!»

— А и впрямь — бедный, — сказал вдруг пришедший в волнение самокатчик. — Не ведает, что творит, сам себе яму роет — врагов с друзьями путает. Аракчеву, слышать, потекает, когда он над покойной матушкой царицей насмешки строит... Шутка ль, победные знамена екатерининского славного полка назвал во всеуслышание царицыны юбки? В Херсоне-городе сокрушен памятник Потемкину. В Новороссийскую губернию пришло, говорят, секретное предписание — до нашей Сибири молва донесла — тело светлейшего князя из склепа вынуть и псам кинуть...

— Уж это едва ли правда, — сказал Аргунов, — а что царствование он начал с великого кощунства над прахом матери и отца — это уж всенародно было...

— Даром не пройдет, говорят в народе, что вырыл прах отца, короновал и силком с матерью соединил, — подтвердил самокатчик.

— Расскажите, как вышло дело, Иван Семенович, — попросил Аргунов, — меня в городе не было, а из очевидцев кто ж лучше вашего изобразит?

— Для потомства запомнят молодые.

— Очень просим, — вежливо поклонился Росси.



Брызгалов не стал ждать, чтобы его упрашивали. Он любил рассказывать, когда хорошо слушали. Превыше всего почитал ритуал, фрунт, правило — за что взыскан Павлом, а к странному поступку императора у него было совершенно особое уважение. И в то время как все Павла осуждали за то, что он, вырыв прах Петра Третьего, облек его мантией, водрузил на голый череп корону и, в издевку над родной матерью, похоронил его заново с нею рядом, — Брызгалова поступок этот восхищал необычайно.

— Уж ежели рассказывать, так все по порядку, — сказал он, — и чтобы не было мне от вас никакой перебивки. Мать! — крикнул он по направлению комнаты, где находилась жена с маленьким, и стукнул своей длинной палкой в дверь. — Убери сейчас ребят!

— Пашенька, Сашенька, — молила женщина, но отроки забились глубоко и не обнаруживали признаков жизни.

Брызгалов пошарил своей тростью под скамьей, должно быть, задел хорошо мальчиков, потому что оба, взвизгнув истошными голосами, тотчас прожелетели нанковыми панталонами и на четвереньках убрались к матери.

Засунув в нос понюшку табаку и основательно прочихавшись, Брызгалов начал:

— Всем вам известно, что императору Петру Третьему смертный час приключился в Ропше, как свыше объявлено было, «по причине геморроидальных колик». В народе же сильно болтали, будто Алексей Орлов ему саморучно жизнь прекратил и прочее тому подобное. Словом, тело его привезли в Лавру в бедном гробу, четыре свечи возложены были по сторонам гроба. На императоре всего облачения — поношенный голштинский мундирчик. Ручки в белых перчатках больших, на которых, многие тогда приметили, тут и там кровь запеклась — следы, сказывают, неаккуратного вскрытия тела. Предан земле был без пышности, с одной лишь малой церковной обрядностью. Матушка-императрица не почтила своим присутствием погребения супруга. Да-с, как некоего разжалованного, лишенного короны и державы российской, хоронили горемычного Петра Федоровича...



И сколь похвальна сыновняя справедливая ревность об отце императора Павла! Ревность к восстановлению, хотя бы посмертному, прав отчих.

Тридцать карет, обитых черным сукном, запряженных цугом, каждая в шесть лошадей, выступали чинно одна за другой. Лошади с головы по самый хвост в черном сукне, при каждой свой лакей с факелом, опять-таки в черной епанче с длинным воротником, в шляпе с широченными полями, с крепом. И лакеи, с обеих сторон кареты, в таком же наряде, и кучера...

И в сих черных каретах сидели черные кавалеры двора и на бархатных черных подушках держали на своих коленях регалии.

Семь часов вечера в этом месяце — это мрак ночной. И смертный страх обуял, когда двинулась эта могильная чернота из Зимнего дворца в Невскую лавру за два дня до вырытия из могилы Петра Третьего.

Не забыть этой страшной картины. Багрово горящие дымные факелы, зеленоватые от их света перепуганные люди.

Наконец тело императора Петра Третьего вырыто из могилы и купно с его старым гробом положено в богато обитый золотым глазетом новый гроб. И выставлено посреди церкви.

Брызгалов задумался, как бы заново созерцая все, о чем вспоминал...

— А дальше, Семеныч,—вымолвил просительно Аргунов,—ужели сегодня не dokonчите?

— А дальше, согласно церемониалу, вот что последовало: в пять часов дня император прибыл в храм в сопровождении великих князей, придворных, жены. Вошел в царские врата. С престола взял приготовленную корону и возложил на себя. Подошел затем к останкам родителя, снял корону с себя и возложил на него. Пусть осуждают, кто посмеет, я же полагаю, сим поступком сын восстановил упущенное пред отцом. Из останков же уцелели следующие предметы, обстоятельно перебрал их Брызгалов: — кости, шляпа, перчатки, ботфорты.

— Какой ужас! — поеживаясь, заговорил Аргунов. — Коронованный скелет с его оскалом зубов,



пустотой глазниц, в перчатках и ботфортах. Какой сюжет для картины!

Брызгалов, увлеченный последовательностью воспоминаний, не отвечая, продолжал:

— В карауле по обеим сторонам гроба стояли шесть кавалеров в парадном уборе. В головах два капитана гвардии, в ногах четыре пажа. И пребывало тело Петра Третьего в этой роскоши с девятнадцатого ноября по второе декабря. Дежурили непрерывно особы первых четырех классов. Все это было сделано в посрамление первоначальному нищему и безлюдному погребению.

Император Павел самолично был пять раз на панихиде. Всякий раз, открывая гроб, он прикладывался к руке покойного. Особо же торжественный церемониал был при перенесении праха.

Брызгалов встал и широко отставил руку с бамбуковой тростью:

— Все полки, все как есть полки армии и гвардии, которые находились в столице! — сказал торжественно, с такой важностью, как будто сейчас ему предстояло этими полками командовать. — Войска стояли шпалерами от лавры до дворца. Произведен был троекратный беглый огонь. Пушечная пальба, колокольный звон по всем как есть церквам. Алексею Орлову, убийце, повелено свьще нести в собственных руках императорскую корону. Тут прилично случаю вспомнить... — Брызгалов таинственно понизил голос: — Ведь именно он, сей Орлов, и лишил Петра Третьего этой короны. Ищут его везде, дабы принял свою искупительную пытку, — нигде не находится. Исчез, растаял, словно сквозь землю от позора и стыда провалился. Вообразите, обнаружила его убогая старушка нищая. Коленопреклоненный и рыдающий, укрылся он в темном углу за колоннами церкви. Вывели, принудили принять в руки корону. Плакал, шатался, а шел. Принял казнь.

Мороз был страшный, один рыцарь печальный в латах, в кольчуге и забрале насмерть замерз. Но гроб Петра Третьего отвезли в Зимний дворец и поставили рядом с гробом Екатерины. Наконец оба гроба проплыли по нарочито наведенному мосту — от Мраморного дворца прямо в крепость.



Да, уважительный государь и не гордый! Давеча ко мне с каким делом прибег. Очень мучается он, что графа Палена в самый день закладки замка изругал, ногами на него топал, мучается, что в гневе закладку сделал. Хоть сейчас и возвеличен им Пален, но как государь во всякие приметы верит, то опасается, кабы вред от того гнева его не произошел ему в новом замке. Вот намеренно призвал он меня и говорит: «К обедне сходи, Брызгалов, да вынь за него, за фон дер Палена, за раба божия Петра, просфорку, чтобы мне от него какой беды не вышло». — «Помолиться, говорю, завсегда рад, ваше величество, а только просфору вынимать неподобающе, как граф фон дер Пален, говорю, вроде нехристь — лютеран он, и нашей просфоры евонная душа не признает». Расхохотался, однако милостиво сказал: «Ну как хочешь, дурак».

А разве я неправильно разъяснил? Нехристь — может, слово излишнее, а все же, если он лютеран, значит, не по нашему приказу числится на небе.

— Затейник наш царь-батюшка, слов нет, затейник, — то ли одобрительно, то ли с укором сказал самокатчик, когда Брызгалов по знаку выглянувшей в двери жены для чего-то ушел в соседнюю комнату. — Над покойником покуражиться легко, когда помер, а вот, слыхал я, в городе говорят, рабочих — строителей замка отблагодарить знатно приказано — всех сюда вселить, и с семьями. Пуцай своими боками сырость обсушат!

— Медики всячески удерживают императора от переезда в Михайловский замок и вселения туда кого бы то ни было — сырость его смертоносна, — сказал Росси.

Брызгалов, входя, услышал эти слова и рассудительно добавил, обводя всех совиным взором из-под напудренных широких бровей.

— И я государю императору осмелился доложить, что рабочих потому вселять нежелательно, что у них произойти могут от лютой здешней сырости повальные болезни, почему вместо осушения стен дыхание их расточать будет одну лишь заразу. Но его величество уперлись в своей мысли о скорейшем въезде: хочу, сказали, помереть на том месте, где родился. И точно, когда стоял здесь Летний императрицын



дворец, там и родились они двадцатого сентября тысяча семьсот пятьдесят четвертого году.

И что же торопятся сорок сёмьей именно тут проводить, ежели юродивая остереженье дала?..— подмигивая Брызгалову, сказал самокатчик.— Довести надо до государя слова юродивой.

— Вот ты и доведи, когда с твоим самокатом пойдешь, — буркнул Брызгалов, — все одно тебе путь—обратно в Сибирь. А мне, браток, туда ехать неохота...

Все засмеялись. Росси сказал Мите, чтобы тот, забрав чертежи, ждал его в Академии внизу, у Ватиканского торса, он же на минутку зайдет по дороге к матери.

— Поговорить мне с тобой желательно, Иван Петрович,—сказал Митя, выходя с самокатчиком от Брызгалова,—зайти удобно ль к тебе?

— А ты заходи, не сумлевайся, чайку выпьем. Андрей Никифорович, хоть и большой барин, а с земляком свой, не чванливый.





### Глава седьмая

Росси пошел к матери, чтобы узнать подробности про Лепикову дачу и объявить о своем намерении жить совершенно отдельно. Как обычно, едва он вошел в затемненную тяжелыми драпировками прихожую, его охватил слегка удушливый, пропитавший, казалось, самые стены, запах французских духов, неразлучных с его матерью.

— Мадамы нет дома, но у них в гостиной господин Воронихин рисуют госпожу Сильфидину,— глупо превращая в фамилию прозвание Маши, сказала краснощекая, так называемая непарадная, горничная матери.

— Где матушка?

— Уехали в Павловск — дачу продавать.

Росси передернуло: и девка, черная горничная, знала про дачу, а он, родной сын, даже уведомлен не был. Пожалуй, и вещи его — рисунки, чертежи, картоны — засунут куда ни попало, а то и в печке спалят, — надо самому озаботиться об их сохранности. Мать, как и отчим, кроме танца, иных искусств ценными не почитала. С досадой Росси шагнул в



гостиную, но, увидя Воронихина, которого очень почитал, любезно ему поклонился.

— А, Шарло, приветствую тебя, очень рад видеть!

Воронихин положил на стол палитру с кистями и, повернувшись к позировавшей ему женщине, сказал:

— На сегодня, Машенька, довольно. Спасибо тебе — танцуешь, как Сильфида, а сидишь, как мраморная богиня.

Маша привстала, спокойно поклонилась Росси и пересела в глубокое кресло. Взяв книжку со стола, она, казалось, погрузилась в чтение.

Росси внутренне рассердился: Маша отлично знала о дружбе его с Митей, и естественно было бы ей смутиться, вспыхнуть, смешаться при встрече с человеком, которому, наверное, уже известно ее гнусное коварство. И, не удостаивая Машу вниманием, Росси отошел с Воронихиным к окну.

Архитектор был, как обычно, одет щегольски, с красиво причесанной головой и белоснежным батистовым жабо, от которого холеное его лицо казалось еще значительнее. Но вместо свойственной ему тонкой иронической усмешки и несколько скованной сдержанности все существо его выражало какое-то нежданно радостное удовлетворение.

— Счастлив увидеть вас в столь добром здоровье, Андрей Никифорович, вы словно именинник сегодня, — восхитился им Росси. — Счастлив за вас, если у вас радость.

— Именинник и есть, — засмеялся Воронихин. — Веря твоим искренним ко мне чувствам, Шарло, — Воронихин посмотрел ему в глаза своим внимательным, твердым взглядом, — тебе одному из первых рад я сказать, что мне фортуна весьма улыбнулась. Сегодня граф Строганов приказал мне готовиться к конкурсу на составление проекта большого Казанского собора.

— Как! Разве эта постройка уже не поручена императором Камерону?

— Камеронов проект, как и следовало ожидать, императору не понравился. На минуту удалось ему заглушить в себе нелюбовь к великому зодчему екатерининского времени, но вот новая внезапная вспышка гнева против всех любимцев его матери — и проект



уже не принят, осужден. Требуется нечто весьма грандиозное, не совсем в духе гения Камеронова. Дан пока негласный приказ о конкурсе — я включен.

— И выйдете победителем! — восторженно сказал Росси. — От души вам желаю...

— И сам я себе желаю того же, — чарующе улыбнулся Воронихин, словно осуждая нескромность своего пожелания. Но почему ты, Шарло, не спрашиваешь у меня разрешения взглянуть на портрет Сильфиды?

— Разрешите, Андрей Никифорович? — И Росси покраснел, как мальчик, чья злая мысль вдруг обнаружена.

Воронихин вывел на свет мольберт с большим поясным портретом. Несколько суховато, но как-то глубоко, изнутри выразительно подчеркнут данный в теплых вечерних тонах характер Маши. Не в балетном, в простом домашнем платье. Строго, как у молодой монахини, только что принявшей постриг, смотрели ее большие невеселые серые глаза. Очень молодое лицо носило печать душевной зрелости, которая дается только способностью глубоких постижений. Рот пленительной формы, с чуть поднятыми в неразрешенной улыбке губами, выражал характер незаурядной непреклонности.

Замечательное лицо Маши, рассказанное большим искусством Воронихина, вдруг глубоко взволновало и тронуло Карла, между тем как к живой женщине, оригиналу портрета, к Маше, разбившей жизнь его друга, он продолжал относиться враждебно. И потому, когда Воронихин спросил: «Каково впечатление, Шарло?» — Росси горячее, чем было пристойно, ответил:

— Вы чрезмерно опозитизировали натуру.

— Ну, это, братец, ересь чистейшая! — улыбнулся Воронихин. — Машу опозитизировать нельзя, ибо она есть сама поэзия. Не смущайся, Машенька!

Маша встала, подошла — легкая, тонкая, прямая Сильфида — и голосом, дрогнувшим от сдерживаемого волнения, сказала:

— Как благодарить вас, Андрей Никифорович? Век не забуду вашего внимания.

— Не тебе, мне благодарить тебя, Машенька.



И Воронихин поцеловал Маше руку так почтительно и бережно, что Росси глазам не поверил и злобно подумал: «Протекции для чего-то ищет у новой княжеской содержанки», но тотчас устыдился таких мыслей. Воронихин, показалось, их прочел и опять, пристально глядя ему в глаза, веско сказал:

— Я не только ценю Машу как дивную балерину, но уважаю ее как прекрасного человека. А тебя, Шарло, прошу зайти ко мне после посещения Академии, у меня сегодня проведет вечер столь почитаемый тобой Василий Иванович Баженов. Он передает сегодня Академии свой проект об издании многотомной «Архитектуры Российской», а потом — ко мне.

— Счастлив видеть и слышать Баженова! — воскликнул Росси. — Не разрешите ли прийти вместе с другом моим, Митей Сверловым? — сказал он громко и вызывающе глянул на Машу — покраснеет ли?

Но Маша не покраснела, а подошла близко и сказала ему вежливо, но с твердостью, не допускающей отказа:

— Попрошу вас, Карл Иванович, уделить мне немного времени, у меня дело есть к вам.

— А я исчезаю, — сказал Воронихин. — Так, Шарло, мы встретимся с тобой в Академии.

Воронихин ушел. Маша, как хозяйка, предложила Карлу сесть. И вдруг он почувствовал, что смущается сам и, чтобы оттянуть время волнующего разговора, сказал:

— Я и не знал, что вы так хорошо знакомы с Андреем Никифоровичем.

— Знаком он мне давно, а особенно близок стал сейчас... ближе всех на свете. Ведь у нас с ним одно горе. У него, как у меня, отнята была любовь всей жизни оттого, что мы рождены крепостными...

— Позвольте, — вспыхнул Росси, — частная жизнь Воронихина мне неизвестна, но у вас... Кто же у вас отнимал Митю? Сами вы от него отказались, найдя для себя нечто более подходящее.

Маша и тут не смутилась, не разгневалась, она с горьким достоинством сказала:

— Обстоятельства, которых не побороть, жестокость жизни — вот кто отнял у меня Митю. Думайте



обо мне что хотите, я ведь вижу ваше отношение ко мне, но как друга Мити прошу вас, выслушайте меня. Когда-нибудь передадите ему.

Маша села на диван и, как дама равного ему круга, указала Карлу жестом маленькой руки сесть рядом. Он покорно опустился на кресло и приготовился с любопытством слушать Машу. Его мысли путались. Он так был уверен, что когда встретит ее, то, полный презрения и гнева, отчитает за измену Мите, за корыстолюбие, низость души, продажность и предательство... И вдруг эта спокойная, печальная женщина оказалась совсем не легкомысленной, тщеславной и пустой девчонкой, как его коварная Психея.

Перед ним сидела умная, зрелая характером, ни на кого не похожая своей благородной простотой, почти светская женщина.

— Я прошу вас, Карл Иванович, запомнить для Мити то, что я сейчас вам скажу.— Маша заговорила ровным голосом, без жестов, крепко сжав руки, словно боясь выраженным чувством затемнить смысл своей речи.— Человек, который называется моим барином, призвал меня на днях и сказал: «Тебя хочет выкупить на волю князь Игреев, мой большой приятель. Ведь вот какое большое счастье тебе улыбнулось! Кроме него, говорит, никому никогда я тебя не продам, твердо запомни. И если о ком мечтаешь, оставь свою надежду навсегда. Но князю — что поделать! — уступлю. Иди, до завтрашнего вечера обдумай, — либо вольной у князя, либо навечно моей крепостной. Впрочем, думать-то не о чем: если, по дурости, князя отвергнешь, все равно попадешь к нему же, моим изволением. Говорю тебе обо всем этом потому, что блажит князь Игреев — хочет твоей не-принужденной любви... и я ее ему обещал».

Сутки я думала — хотела было умереть. Не смогла. Убежать с Митей некуда. Да и счастья не выйдет ни мне, ни ему. Все как в пропасть низринулось. Одна осталась мечта — воля. Князь Игреев мне ее обещал. Я думаю, остальное понятно. Мите я прошу эту историю передать для того, чтобы не осталось у него из-за меня злобы и презрения ко всем женщинам. Ведь не от низости души я так поступила, не сольная партия,



предложенная князем, не особняк и богатство его меня соблазнили — одна воля. Конечно, честнее было бы мне умереть... Но я не смогла умереть...

Маша так трогательно, с такой прелестной виноватой улыбкой посмотрела в глаза Карлу, что он в порыве нежного сострадания взял ее за руку и с раскаянием вымолвил:

— Простите меня, я о вас несправедливо подумал плохо.

Маша слабо улыбнулась:

— Имеете все основания. Я, как видите, — не героиня. Героиня в таком случае погибает. Но я не могу... я не хочу сдаться перед жестокостью жизни.

Маша встала с пылающим лицом. Оно было вдохновенно, прекрасно той особой внутренней красотой, когда человек идет на сжигающий его подвиг.

— Скажите Мите, я выбрала вместо смерти волю не для того, чтобы наслаждаться богатством, которое мне предлагается, но лишь для того, чтобы все свои силы отдать искусству. И в нем я достигну совершенства! Вот что дает мне силу вынести... невыносимое.

Маша закрыла глаза рукой, чтобы скрыть слезы.

Росси глубоко понял ее состояние и с великим сочувствием в голосе сказал:

— Я верю вам, Маша. Когда Митя в состоянии будет справедливо оценить ваш поступок, я ему передам ваши слова.

— Берегите Митю, любите его, Карл Иванович, — прошептала Маша, и крупные, уж не сдерживаемые слезы закапали из глубоко печальных глаз. — Если Митя точно по-настоящему любит меня, он должен понять, что не я низка душой, а выхода, поймите, выхода иного мне не было! Не дала жизнь выхода, загнала меня в тупик. — Маша вытерла платочком глаза, они горели как в лихорадке. Она заговорила горячо, отрывисто, торопясь все скорей высказать. — Ну, допустим, что скопил бы Митя денег на выкуп, — да ведь барин согласен продать меня только под нажимом сильнейшего, чем он. У князя Игреева он в долгу как в шелку... Ох, сколько бессонных ночей я провела! Сколько думала все о том же, и так и этак примеряла — один конец! А князь все



настойчивей. И невесть что сулит. Я же одно лишь ставлю условием своего бесчестья и горя — отпускную вольную. И вот, намедни, принес он мне эту вольную, издали показал, говорит: «Перейдешь ко мне в особняк — получай ее из рук в руки! Пройдет мой любовный каприз — иди с этой вольной на все на четыре, и твоя балетная карьера при тебе. Но если о женихе своем мечтаешь, — слыхал я, жених у тебя есть, — мечтания брось. Кроме меня, никому твой барин тебя не продаст. И главное — как своей судьбы, ты меня не минуешь. Все равно ко мне попадешь. Но если не по доброй воле, уже не посетуй, на ином окажешься у меня положении. Сейчас я твой раб. Ну а там — ты моя раба. И твою вольную я сам на твоих глазах разорву, и останешься крепостной ты навек». Еще раз скажу — умереть надо бы мне. — Маша чуть улыбнулась опять трогательно и виновато. — Пусть меня Митя вот только за это и простит.





## Глава восьмая

Баженов был только что назначен Павлом вице-президентом Академии художеств. С присущим ему огненным вдохновением принялся он исправлять ложную педагогическую систему недалекого и упрямого Бецкого.

Приказано было набирать сирот от трех- до пяти-летнего возраста, сдавать их классным дамам-француженкам и в принудительном порядке обучать рисованию.

— Насильно Аполлону мил не будешь, — говорил Баженов, превращая классы малолетних, умученных дрессировкой, в веселое общежитие маленьких художников.

Кроме реформы воспитательной, было еще одно дело, и надо было с ним торопиться, потому что здоровье ему изменяло... Надлежало ему настоять на издании многотомного труда под общим заглавием «Архитектура Российская», куда должны были войти как построенные здания, так и здания, оставшиеся только в «прожектах».



Большинство работ Василия Ивановича Баженова, ценителями искусств всего образованного мира признанных гениальными, осуществлено не было.

Уже несколько раз за последнее время Баженов назначал день для передачи Академии папок с своими творениями, но, от волнения чувствуя себя худо, сам создавал своему делу отсрочку.

Наконец вечером, в середине марта, он сказал жене:

— Грушенька, я завтра решил передать Академии мои папки. Уж извини, милый друг, шагать буду ночью. Чаю крепкого наготовь...

— Наготовлю, Васенька,—отозвалась Аграфена Лукинична, и в простые эти слова ею было вложено столько понимания и чувства, что Баженов, обняв ее, вымолвил:

— Ну и спасибо ж тебе!

У них теперь редко бывали длинные разговоры—объяснять было нечего. За долгую жизнь любви и согласия они как бы стали одним существом. Слова могли быть случайные, как сказанные сейчас, и невольному свидетелю их разговора было бы невдомек, за что Баженов мог вдруг наполниться такой благодарностью к жене.

Но Груша знала, что если Баженов вынул из тайника свою папку с надписью «Большой Кремлевский дворец», его ночь будет без сна, и в свои обыденные слова лишний раз вложила неустанную готовность делить с мужем до гроба всю горечь его необыкновенной судьбы.

Василий Иванович шагал по комнате далеко за полночь, погруженный в свои думы, когда Аграфена Лукинична внесла ему на подносе крепкий чай и графинчик водки. Скользнув по нему взглядом, Баженов улыбнулся:

— Поторопилась, Груша, навстречу событиям,—ан графинчика-то мне и не надо.

Груша много страдала, когда Баженов после приказа Екатерины прекратить постройку Большого дворца горько запил и потом сделал своим обычаем при всякой несправедливости прибегать к этому исконному утешению оскорбленных талантов.



Все понимающая жена, без укоров и осуждения, одной неистребимой любовью, перешедшей уже в материнскую, делала то, чего не достигла бы упреками: Баженов запивал все реже. И сейчас, когда ему надлежало пересмотреть, как чужую, работу всей своей жизни и отобрать то, что достойно стать вечным памятником русской архитектуры,—никакого подкрепления сил, кроме напряжения собственной воли, ему уже не было нужно.

Как давно, больше полвека назад, уехал он мальчиком из родного села Калужской губернии, чтобы попасть в «архитектурную команду» в Москву... Около Охотного ряда была та команда, и заведовал ею князь-архитектор Ухтомский. Он же своего «гезелия» Баженова за особые успехи записал в только что учрежденный университет, где на парте с ним оказались Потемкин, Фонвизин и Новиков Николай Иванович... С последним большие события связаны в его жизни... но это потом. А тогда, в юности, по капризу судьбы, Новиков и Потемкин как неспособные исключены были из университета.

Ему же в те годы словно бабушка ворожила: удача за удачей. Вот уж он в Академии художеств, где превознесен за таланты и отличен командировкой в Париж. И дальше... такая щедрая ему выпала юность, такое беспрепятственное погружение в искусство ему предложила судьба. Жили с живописцем Лосенкой где-то в мансарде, не слишком сытно,—Академия была скуповата,—но какая свобода, какие сокровища живописи и зодчества навсегда сделались составной частью его души! Учитель его, придворный архитектор де Вальи, привил ему тонкий вкус к обилию остроумных деталей без лишнего нагромождения, чему великим примером был чудесный Лувр. В Париже научился он давать простор своей безграничной фантазии, организуя ее неослабным расчетом математика.

— Вы овладели той тайной, благодаря которой архитектор себе может позволить необычайное,—говорил ему с восхищением де Вальи, когда Баженову присудили первую награду за проект Дома инвалидов.

В Риме как ученик Академии св. Луки он был также отличен перед всеми за свою «лестницу Капито-



лия», а вернувшись домой, на родину, поразил воображение современников своей моделью Большого Кремлевского дворца.

Если бы дворец этот был выполнен, ему пророчили место среди чудес мирового зодчества — виллы Адриана, форума Траяна...

Когда модель была готова, Екатерина показала ее иностранным дипломатам и своей цели достигла. Была война с Турцией, и надлежало показать Европе, что Россия нимало не затруднена в финансах, о чем уже шла досадная молва. Хотя Баженов представил смету в двадцать пять миллионов, разнесли по всей Европе, что Екатерина отпускает все пятьдесят.

«Легко было ей накидывать лишнее, — горько подумал Баженов, — когда она строить и вовсе-то не собиралась. Только меня, дурака-мечтателя, морочила, чтобы из кожи лез, старался... И разве не берег я работу свою больше жизни: пять лет все мысли о ней... Когда же налетела чума и разъяренный народ пошел все сносить, в Модельный дом кинулся, чтобы защитить либо вместе с моделью погибнуть».

Уцелела модель, а дворец не построен.

Баженов прошелся к окну, отворил его. Густая мартовская сырость вошла в комнату и стала в ней, как туман. Еще тяжелей стало дышать. Закрыв окно, опять стал шагать.

Как торжественна была закладка дворца! Какой фейерверк, музыка, славословие! Молодой поэт Державин сложил в честь его стихи, а сам он с великим волнением произнес свою лучшую речь. На месте закладки храма зарыта медная доска с надписью; вот она, точная копия. Баженов подошел к высокой конторке, выдвинул ящик, вынул погнувшийся золотообрезанный лист, прочел, хотя надпись знал наизусть:

«Сему зданию прожект сделал и практику начал Российский архитектор, москвитянин Василий Иванович Баженов, Болонской и Флорентийской Академии и Петербургской Императорской Академии Художеств академик. Главный артиллерии архитектор и капитан...»

Это все его титулы. Пониже в углу стояло: «От роду ему 35 лет».



— А сегодня уже шестьдесят один,— прошептал Баженов,— двадцать шесть лет со дня закладки прошло.— Если бы не выгравированная эта доска, не модель, чья память удержала бы для потомства его могучий замысел? Необходимо, пока еще жив, закрепить все работы в чертежах и планах, скорее издавать том первый.

Опять заметался по комнате. Движение давало порядок толпившимся в памяти мыслям, или, верней, образам.

Вот окно того дома на набережной Москвы-реки, перед которым, счастливые, молодые, стояли с Грушенькой и веселились, глядя, как ползут гуськом подводы с лесом, песком, кирпичами к высокому месту постройки дворца. Порой видели из этого же окна, как в бессильном гневе за разрушение священной старины, произведенное по необходимости для возведения неохватного глазом фундамента нового Большого дворца, местные старики-старожилы грозили кулаками и проклинали строителя за «бальзамный» дух, который он выпустил на волю из вековых подвалов взятых на слом приказов.

Василию Ивановичу с Грушей тогда, по молодости лет и прекрасной удаче, все было смех и забава, а между тем этот гнев старожилов был одной из причин, повлиявших на императрицу дать приказ о прекращении постройки.

Скоро деньги для дела стали задерживать, разрослась бесконечная бумажная неразбериха, отписываться приходилось больше, чем строить. Баженов не выдержал и надерзил государыне в отчетном письме: «Опасаясь, кабы сия переписка не сделалась моей единственной работой».

Шли месяцы, а постройка не подвигалась. Мечтатель-зодчий медлил понять, что Екатерине дворец больше не нужен. Война с Турцией была выиграна, и дальнейшее разорение на «чудо искусства» ей было ни к чему. И вот пробил страшный час.

Генерал Измайлов, заведующий постройкой, призвал зодчего и возвестил ему голосом чиновным, не допускавшим возражений, что ее величество, опасаясь, как бы близость основания нового дворца к



Архангельскому собору не повредила священных могил русских царей, а бальзамный дух разоренных подвалов не отравил болезнями воздух,—повелевает строительство нового Большого Кремлевского дворца прекратить.

Баженов, обессиленный, склонил голову на руки: пять лет весь ум и чувства отдавал вдохновенной работе, ею только и жил...

С первоначальной силой воскресла ни с чем не сравнимая боль творца, имеющего талант и силу довести свой труд до конца и грубо лишенного любимой работы.

От сердечной внезапной слабости Баженов задремал. Побледневшее его лицо понемногу озарялось глубоким торжеством: на высоком Кремлевском холме он во сне увидал свой заветный дворец законченным.

Увидал обращенный к Москве-реке величественный главный корпус в четыре этажа и за ним чуть золотевший купол Ивана Великого. Колонны пронзали нижних два этажа. На них легко и гордо лежали два верхних; большой выступ, выбегающий далеко вперед из центра, лишал холода симметрию и создавал то присущее ему свободное величие, так отличавшее от других зодчих его мастерство.

Ярко освещенные солнцем шестиколонные портики, большие ионические колонны поддерживали антаблемент с плоским аттиком... А вот и они, столь нарядно задуманные, новые выступы на краях корпуса с двойными колоннами, богато украшенные кариатидами, которые как бы поднимают карнизы окон. Восхищенным глазом победителя созерцал он свой грандиозный дворец, удостоверяя сам перед собой, что главное дело его жизни ему удалось. Он глубоко изучил памятники мирового зодчества, могуче переработал все своим русским сознанием и своей работой дал свидетельство торжества гения отечественного.

Баженов с удовлетворением проверил, сколь правильно был им задуман и весь гигантский треугольник, куда свободно включалось все лучшее, что было в старом Кремле... А Иван Великий замкнулся мощной стеной с колоннадой, где живописно шли между колонн ложи, а по цоколю—трибуны для зрителей.



Да, он по праву засмотрелся на собственный гениальный размах — величавый полуциркуль с целым полчищем вознесенных над Москвою колонн...

Какой вечный памятник воздвиг он родине и себе!

От бури нахлынувшего чувства горячо вострепелось сердце, дрогнул лес колонн и стал плавно, как под музыку, наступать на него. Окружили его летящие виктории с венками. Он видел, как они вдруг вспорхнули с пустого пространства над тремя великолепными арками, которые он довел до второго этажа.

Как близко от него зазмеились широкие пересекающиеся лестницы! В своем сложном переплетении они двигались от переднего входа в театр, и ему нужно было внезапно отодвинуться, чтобы пропустить мимо себя беседку из двенадцати колонн розового мрамора.

— Вестибюль дворца... — узнал он и, резко двинувшись, проснулся.

Свой осуществленный грандиозный проект — новый Кремлевский дворец на высоком холме Кремля — Баженов увидел во сне. На самом же деле у него только то окно в его московском, уже проданном доме, откуда смотрел он с женой, как воздвигали и как разрушали фундаменты его бессмертного замысла.

Вошла обеспокоенная Грушенька, смущенная непотушенной лампой в комнате мужа. Она и сама не ложилась.

— Тебе худо, Васенька, что-то ты очень бледен?

— Это было во сне, Грушенька... — сказал тихо Баженов, — я во сне увидел мой дворец построенным. Нет, не жалей меня, — поспешил он сказать в ответ на проступившие в глазах жены слезы, — я счастлив. Я уверен, что проекты мои будут когда-нибудь изучать. Сейчас я пересмотрел их, и не как свои, а словно чужие, — и я их одобрил. И еще я уверен, что грядущее русское зодчество не обойдется без того, чтобы при всех великих работах не вызывать в памяти работы мои... Да открой, Груша, настежь окно — видишь солнышко...

Раннее, не греющее, но уже ласковое солнце осветило лицо Баженова и всю его легкую, нестарую фигуру. Несмотря на болезнь и без сна проведенную ночь, большая сила жизни была в его удивительных



глазах, больших, светящихся, как бы одаряющих своим творческим богатством. Он взял жену за руку и, словно подводя итоги самым затаенным мыслям, сказал:

— Как часто в горькие минуты крушения моих замыслов вставала передо мной высокая оценка моего дарования академиями Флоренции и Рима и особо любезного мне Парижа, где предложено было мне оставаться высоко ценимым придворным архитектором, но, поверь, никогда, даже в день, когда наша русская Академия оскорбила меня отказом дать мне звание профессора, уже дважды данное мне за границей,—не пожалел я, что вернулся домой. И сейчас, когда у меня впереди сама смерть, а позади—вместо великих осуществленных зданий одни их проекты, я повторяю перед этим взошедшим солнцем слова, сказанные мною в день закладки Большого Кремлевского дворца: ум мой, сердце мое, знание не пощадят моего покоя, здоровья, самой жизни моей ради тебя, моя родина!..





### Глава девятая

Когда Росси, по уговору с Митей, подошел к Ватиканскому торсу, который стоял в нижнем этаже скульптурного отдела, оказалось, что Митя давно его тут поджидал.

— Я уже все картоны сдал в канцелярию,— сказал он,—завтра их будут развешивать в конференц-зале.

— Надо бы сперва показать Воронихину,—с досадой вымолвил Росси,—и главное, я его только что видел, а про чертежи и позабыл.

— Воронихин сейчас обязательно будет, такой он почитатель Баженова,—успокаивал Митя,—ужель упустит случай его поздравить. Проект издания принят, весь вопрос в сроках и объеме его...

— Да, конечно, он придет,—отозвался Росси и задумался о намеке, который по адресу Воронихина сделала Маша, говоря о несчастной любви в крепостном звании.

— Ты не слыхивал, Митя, какая была у Андрея Никифоровича в юности история с Натали Строгановой, которая так рано умерла?



— Как не знать. Все, что касается горемычной доли крепостных, мне особенно теперь близко к сердцу, сами, чай, знаете, почему... История эта такая: строгановская знаменитая на весь мир золотошвейка Настя из любви к Андрею Никифоровичу на убийство этой молодой графини пошла, отчего знаменитый наш зодчий остался навек обездоленным.

— Сейчас пошел слух, что он задумал жениться на англичанке? — осторожно спросил Росси.

— И я слышал. Ну, это полагать надо, из гордости, чтоб людям и себе доказать, будто ни от какой личной сердечной причины он надолго пасть духом не может. Гордый очень.

— Невесту нынешнюю его я знаю, — сказал Росси, — это чертежница Мери Лонг. Она и в архитектуре сведуща; словом, брак рассудительный, что и говорить.

— А тогда, в юности, — перебил Митя, — он любил, как один раз в жизни можно любить! Сам я лично ничего не знаю, но строгановские люди подробно рассказали. Лет десять тому назад была у Воронихина связь с этой первейшей золотошвейкой Настей. Она не только золотом вышивала, лучшие французские гобелены копировала — от подлинника не отличить. Воронихин с молодым графом Строгановым в Париж собирался — он уже в силу входил. Натали приходилась ему дальней родственницей с левой стороны; ведь двоюродный брат графа, барон Строганов, всем известно, родной его отец. Недаром Андрея Никифоровича, когда он рос, в деревне «бароненок» прозывали, самокатчик Артамонов давеча рассказал. Так вот какие вышли дела: хоть за талант ему славу пророчили, а все же Строгановых он — вчерашний крепостной. И Натали его на своей горе полюбила. А тут еще эта золотошвейка Настасья... Сперва она с собой порешить хотела, утопилась, ее вытащили, откачали. Оправилась... Но опять сердца не сдержала — отравила на этот раз Натали. Крепостные все это ведали, но до господ смутные слухи дошли, и правду узнать не больно допытывались, сраму боялись. А славный наш зодчий надолго уехал в Париж и вернулся уж не тот: на все пуговицы застегнут — важный, только к простому люду особливо добр.



— А какова судьба Настасьи? — заинтересовался Росси.

— А тут повернулось дело как в сказке: она вышила такой замечательный гобелен, что граф порешил послать его в дар австрийскому императору, а ей вольную дали, да еще в обучение за границу отправили...

— Замолчи, Митя, к нам идет сам Воронихин, — сказал Росси, — да не один — чудака с ним какой-то.

— Да это знакомец наш недавний, — улыбнулся Митя, — самокатчик Артамонов; в новую суконную поддевку вырядился и цепочку серебряную выпустил.

Воронихин приветливо поздоровался:

— Вот разъясняю своему земляку искусство древних... Он давно тут плутает один, я его и взял в обучение.

— Да тут и заблудиться немудрено, — сказал Артамонов, — среди этих калечных: все безрукие да безногие, а то и вовсе без головы, небитых совсем мало.

— И часто это не самые лучшие, отметьте себе, — улыбнулся Росси, указывая на Ватиканский торс, мягко освещенный рассеянным светом. — Вот, например, непревзойденная, величайшая скульптура, а между тем у этой статуи нет ни головы, ни рук, ни ног.

Артамонов нахмурился, кольнул быстрым взглядом говорившего, словно справился, не потешаются ли над ним. Воронихин угадал его недоумение и серьезно сказал:

— Карл Иванович говорит правду. В главном городе Италии, в Риме, в великолепнейшем дворце эта самая статуя помещена в особой комнате. Свет на нее падает сверху, и люди, входя в залу, как в храм, изумляются этому произведению неизвестного гения. Правда, сразу понять его мудрено...

— Чего ж не понять, коли людям понятно, — смело ухмыльнулся Артамонов, — глаз тут острый требуется, а не ученость... Вот, примерно, песню, — у кого ухо есть, и безграмотный схватит, а нет уха — наукой ему не вобьешь. У меня родной племяш пастухом, так он из костра уголек вытянет, овечку на камешке, как живую, начиркает. А кто обучал? Босой да сопливый...



— Скажи-ка нам, Артамонов, на совесть,— указал Воронихин на Ватиканский торс,— видится тебе что в этом безголовом?

Артамонов окинул всех умными, острыми глазами и проговорил, не смущаясь:

— А вижу я на этом обломе, что спина у мужика согнувши, а живот легко втянут, с боков, как у живого, мускулы явственны, и ребра под ними чуешь и кожу на них. Все без обмана, весело сработано! В столь точном виде, что прямо сказать,—дальше некуда! И еще скажу, сдается мне, что ничего к этому облому добавлять нет надобности, чтобы цельный человек увиделся... Ну, этого в точности я рассказать, Андрей Никифорович, не сумею, вот разве иной раз заглядишься, как в тихой воде солнышко отражается, и радость тебя возьмет: не велика, кажись, лужица, а солнце в ней как есть целиком.

— Да ведь это в переводе на образованный наш язык звучит так, что важно показать хоть малую, дробную часть совершенства, чтобы получить ощущение совершенного целого. Но как это постиг самокатчик? — изумился Росси.

Артамонов вдруг низко поклонился Воронихину:

— Спасибо, Андрей Никифорович, уму-разуму учишь, я сюда еще много раз заверну, а сейчас отпусти — по базарам охота пройтись, подручного из оброчных выискать, одному всей работы мне не поднять.

— Ну и ловкач,— засмеялся Воронихин,— видать, надоели тебе антики! Да ты знаешь ли, где стоянки оброчных? Могу их тебе перечислить, мы там натурщиков выбираем.

— Не утруждайтесь, Андрей Никифорович,— сказал Митя,— я сам пойду с Артамоновым.

И оба скрылись в гулких коридорах Академии.

— Вот что, Шарло,— сказал Воронихин, кладя руку на плечо Росси,— нам необходимо провести вечер вместе с Баженовым. Я — старый ученик и друг его, ты — новое поколение, подающее великие надежды. Не дадим ему почувствовать горькое одиночество гения среди чиновников и врагов хотя бы сегодня, в этот важный для его жизни день.

— Я счастлив, что вы обо мне вспомнили,— ответил взволнованно Росси,— а сейчас разрешите передать



вам чертежи и планы Михайловского замка, они уже в канцелярии.

— Я рассмотрю их один, тебя же прошу посторожить Василия Ивановича у колонн вестибюля; скажешь ему, что я здесь.

Воронихин своим размеренным шагом, с выправкой, почти военной, удалился в канцелярию Академии, а Росси занял выжидательный пост у колонн вестибюля. Карл волновался при мысли, что он увидит Баженова и тот может спросить его о привезенных планах и чертежах Михайловского замка. Все они были подписаны одним именем — Бренна, а между тем в городе не смолкали толки о том, что самый первый замысел и проект принадлежали ему, Василию Ивановичу Баженову. Но придворным архитектором и любимцем Павла стал теперь Бренна, угадавший его тайное желание и согласно ему закончивший замок.

Мысли Карла с Баженова перескочили на самого Павла. Конечно, не произведение искусства было ему важно, а прежде всего — крепость, твердыня, где можно укрыться от пули и штыка. Нынешний государь — не Петр Великий, а несчастный человек, которому все сильнее мерещится, что он окружен врагами и заговорщиками. Он жадно хватается за каждую новую выдумку, где ему мнится спасение от опасности. Так было с кострами Мальтийского ордена, так сейчас с этим замком. Как торопил Бренну с постройкой! Разобран для нее чудесный дворец в Пелле работы Старова, захвачены заготовки для собора Исаакия. И все для того, чтобы укрыться ему поскорей в этом, словно кровью окрашенном, замке, вокруг которого рвы полны воды, подъемные мосты легко вздымаются и летят вниз, где на каждом шагу караулы и тайные лестницы...

Да, велика разница вдохновения зодчего, когда он воздвигает светлый Олимпейон для радостей народных или для одинокого деспота мрачную крепость.

Воображение Карла так было занято этими мыслями, что раздавшийся откуда-то сверху голос Баженова заставил его вздрогнуть. Голос единственный, различимый из тысячи, приподнятый, слегка в интонациях повизгивающий. Голос этот всегда невообразимо трогал Карла.



На ступеньках парадной лестницы столпились вицмундиры академического начальства. Все слушали Баженова, стоявшего несколько повыше на площадке и задержавшего общее движение вниз своей речью. Свет был у него за спиной, и на фоне белой стены рисовался только стройный его силуэт.

В тоне Баженова слышалось с трудом сдерживаемое волнение. Вдруг он сверху увидел подходившего к Карлу Росси Воронихина и, прервав свою речь, стремительно зашагал по ступенькам.

Он неся, словно подлетывал, легкий, изящный человек с лицом, овеянным гением. И вместе с тем это было лицо русского деревенского парня, с многообразным тончайшим налетом европейской культуры.

Несмотря на шестьдесят лет, была юношеская сила, стремительность в фигуре, брови разлетные, приподнятые с особым изумлением, словно это был человек, увидавший какую-то красоту мира, незримую другим. В юности из-за своего восхищенного выражения его прекрасного лица говорили о нем, смеясь, товарищи: «лик архангельский».

Баженов дошел до Воронихина и, обнимая его, быстро сказал;

— Как хочется мне провести с тобой, дорогой Андре, сегодняшней вечер.

— Я сам о том же мечтал,— улыбнулся Воронихин,— вот свидетель, Карл Росси, или, как я его называю, Шарло!

Баженов, сияя чарующей улыбкой, протянул Росси руку.

— Знаю, знаю, подающий большие надежды наш, юный преемник и продолжатель, конечно, тоже мой дорогой гость.

Росси, покрасневшись от радости, поклонился.

Форменные вицмундиры спустились вниз с лестницы и опять окружили Баженова. Он выступил вперед и заговорил так, словно начатый вверху разговор не прерывался им вовсе:

— Поймите же, предложенный мной проект необходимо привести в исполнение как можно скорее. Он должен войти в преподавание, в живую жизнь для назидания молодым. На этих образцах нашим зодчим надлежит развивать свое дарование...



Баженков остановился, ему не хватало воздуха. С недавних пор, когда приходил в волнение, отказывало вдруг сердце... Однако в минуту преодолел слабость, ярко оглядел всех своими вдохновенными глазами и широко очертил рукой воздух, будто собрал воедино этих грядущих зодчих, и повторил весело:

— Именно в поученье молодым будет это издание работ всех мастеров русских...

Он было умолк, но через миг опять вспыхнул, словно встретил какое-то обидное опровержение. Чиновники молчали, но своей повышенной чуткостью Баженков уловил их внутреннее несогласие и, повысив голос, резко сказал:

— И в первую голову надлежит издать те проекты, кои по превосходным своим замыслам и вкусу достойны были быть выполненными, но...

Снова голос пресекся. Волнение было крайнее. Тяжко было закончить речь признанием неудачи собственной судьбы художника. Однако еще сделал усилие и окончил:

— ...кои остались всего лишь в замысле.

Баженков поднял голову, краска прилила к побледневшим щекам; с гордостью, тихо, но твердо он вымолвил:

— Ежели здания предполагаемые почему-либо построены не были, но по важности своей, по высоте архитектурного знания стоят превыше многих построенных, потомство обязано сохранить их в своей памяти—ради себя самих, ради искусства, ради истории отечественной.

За несколько витиеватыми словами Баженкова не только молодой Росси, все одеревенелые в службе академические чиновники и адъютанты застарелой живописи почувствовали и на миг разделили обиду изломанного жизнью гениального строителя.

Вдруг Росси, подойдя близко к Баженкову, сказал, краснея, со слезами на глазах:

— Василий Иванович, поверьте, мы высоко чтим вас, великого зодчего и учителя нашего.

Приветливо встретила гостей жена Баженкова, Аграфена Лукинична. Взял ее Василий Иванович, сироту, из дому своего близкого друга—Федора Каржавина, хорошего переводчика и неугомонного путеше-



ственника. Грушенька была воспитанница его родителей.

В необыкновенно светлой столовой с обилием благоуханных цветов было радостно. Дикий виноград из трельяжа выбрался высоко над окнами и, путешествуя по стене, заткал ее живым зеленым ковром.

— Прямо зимний сад,—сказал Баженов, обводя жестом стены,—таков вкус моей хозяйки, ее вкусу я радуюсь.

— Еще бы вам не радоваться,—смеясь, сказал Воронихин,—ежели благодаря этому вкусу она выбрала в супруги именно вас.

— Претонкий вы комплиментчик, Андрей Никифорович,—чуть покраснела Грушенька,—недаром вы в высшем свете пребываете... А вот я вам домашнему напрямик скажу, пересядьте-ка все от стола к камину. И помягче там на диване, и хозяйке дадите простор.

Грушенька вышла из комнаты готовить чай, а Баженов с Воронихиным уселись перед огнем на диване.

Росси сел поодаль, чтобы видеть их обоих и навеки запечатлеть в своей памяти их столь разные, но, каждое по-своему, прекрасные лица.

От безыскусственной доброты Аграфены Лукиничны ему стало так ласково, как будто он попал наконец в настоящий родной дом. Тем более что замечательные два человека, которые сидели перед ним так близко, были для него самыми дорогими на свете. Баженов тихо, с видимым облегчением, сказал:

— Ну вот, если мое последнее желание исполнится и затеянное издание «Архитектуры Российской» выйдет, как мною задумано, я буду доволен. Я умру спокойно, потому что, хотя бы в проектах, моя большая работа останется для потомков.—Он сел ближе к Воронихину и обнял его:—Бессонная ночь была у меня нынче, Андре. Вспомнил я все свои огорчения на родине и великую хвалу и признание в Европе... Шутка ли,—весело усмехнулся он, как бы не доверяя своим словам,—ведь я член четырех академий, и король французский предлагал мне остаться у него придворным архитектором. Но нет, не мог я жить вдали от дорогой моей родины, хоть бы и в королевском почете. Только здесь, для своих хотел строить...



Нечего сказать — много настроил... Воздвигал — разрушали. Истинно злой колдуньей из сказок была царица в моей судьбе. Утешает меня, Андре, пример великого Витрувия — мы с Каржавиным неплохо перевели его, помнишь, ты одобрял?

Воронихин утвердительно кивнул.

— Вот и думаю. Может, мне его жребий выпадет, ежели уж собственный не удался. Жил он до нашей эры в первом веке, а, гляди, до нынешних дней его книги не утратили своей цены. Был он невзрачен видом, без придворной хватки, льстивые борзописцы обскакали его при всяких августашах-императорах. Но прошли дни. Наступила нелюбезная для всех история, и кому на пользу соперники Витрувия? Один прах... А сам он еще надолго будет питать поколения.

Грушенька, внеся самовар, озабоченно взглянула на мужа — он слишком был оживлен. Блестели удивительные его глаза, и румянец не сходил с тонкой кожи его лица.

— Тебе, Васенька, от Казакова из Москвы посылка — тридцать пять чертежей и эстампов твоего Царицынского дворца.

— Очень рад, давно ожидал. Мы потом их рассмотрим, Андре, не так ли?

— Счастливы будем, дорогой Василий Иванович! Вот Шарло давно в Москву рвался, чтобы их раздобыть, — ан они и сами приехали.

— Я столь восхищен этим дворцом, — сказал Росси, — очень хотел съездить зарисовать его...

— Не много от дворца осталось, — оборвал резко Баженов. — Казаков прислал наилучшее.

И опять, полуобняв Воронихина, ласково обратился к нему, видимо, желая стряхнуть подступившую тяжесть.

— Ну как же я рад, дорогой Андре, что ты сейчас у меня, и вы, юный Шарло, — он крепко пожал руку Росси. — Я ведь полюбил тебя, Андре, едва принял тебя в число моих учеников тогда, в московской школе. Сколько тебе тогда стукнуло годков?

— Да не больше семнадцати, — улыбнулся Воронихин, — и ведь я еще не знал, кем буду, — очень увлекался живописью Возрождения...

Камин разгорелся и картинно осветил сидящих на диване. Между ними было двадцать лет разницы, но



они не казались представителями двух разных поколений, а как-то неожиданно дополняли друг друга. Непринужденная грация движений Баженова, нервная стремительность его худощавой фигуры как бы опирались, брали себе пьедесталом твердость рисунка, точную отчетливость Воронихина. Большая сила была в его красивых глазах. Чисто народная смекалка в соединении с надменностью, выработанной обстоятельствами жизни, усвоенной как наилучшая защита самолюбивого характера. Сразу чувствовалось, что этот щегольски одетый человек с вельможными манерами каждую минуту знает твердо, чего он хочет, и желание свое имеет силу осуществить.

— Мне дорого узнать, Василий Иванович,— сказал Воронихин,— каково ваше мнение относительно предложения, сделанного мне Строгановым. Президент нашей Академии привлекает меня, пока негласно, к соучастию в конкурсе на Казанский собор.

— Как я счастлив, Андре,— душевно воскликнул Баженов,— что жребий пал именно на тебя! Как другу и ученику скажу тебе: вот-вот уходя из этого мира, я хотел бы еще пожить в твоей работе.

Баженов улыбнулся и взял за руку Воронихина:

— И вот просьба: возьми за исходную точку твоего собора мой юный французский проект Дома инвалидов. Там неплохо найдено разрешение легкого купола и колоннады... Едва ли не из-за этой удачи, весьма оцененной французами, наш Чернышев мне выдал паспорт на два года в Италию.

— Глубоко чту эту вашу работу,— склонив голову, сказал Воронихин.

— Да поможет она тебе, как мне в свое время помогли работы учителей Суфло, де Вальи и Пейера. В искусстве, как в науке, пламенный факел вдохновения передается преемственно.

— Именно надлежит пересмотреть образцы...

Баженов живо подхватил мысль Воронихина:

— Не только пересмотреть, Андре, пережить их заново. Все вобрать, пропустить сквозь сознание и чувства — и отдать их России. Все истинно великие художники так делали. Даже не будучи по крови русскими, но полюбивши новую родину, как свою, они слились с нашим особливym постижением видимого — и что же: итальянец Кваренги создает русскую



классику, итальянец Растрелли — русское барокко такого высокого совершенства, что все дальнейшие попытки в этом стиле уже окажутся премного ниже его работ. Царская пышность, изобилие скульптуры, всегда поставленной, где ей надлежит, его вкус, праздник, нарядность — их уже не превзойти. Надо искать чего-то нового.

— Как рано вы это поняли, вот что меня удивляет, — сказал с уважением Воронихин. — Ведь как были молоды, когда Растрелли, обер-архитектор, приглашал вас принять участие в постройке Николы Морского, а вы отказались.

— Я сын московского дьячка, — улыбнулся Баженов, — быть может, торжественность великолепной нашей литургии прозвучала мне более родственно в возвышенной мощи классицизма, нежели в изысканной декоративности барокко. Кроме того, громадное значение имели раскопки Помпеи. От строгой красоты греко-римского зодчества повеяло вдруг таким здоровьем, такой свежей силой, возродившейся из древней колыбели, что не соблазниться было нельзя.

— Тем более, что барокко на Западе вырождалось в болезненное рококо, — согласился Воронихин.

— Вот рококо и способствовало больше всего укреплению нового. Простота и мощь, выраженные строгостью линий архитектуры античной, немедленно и заслуженно убили пустую, хрупкую красоту этих ломаных, капризных, скоро утомляющих декораций. — Вы, молодые, — обернулся Баженов к Росси, — должны серьезно задуматься над раскопками в Помпее.

— Я их пристально изучаю, — поспешил ответить Карл, упивавшийся речью учителя.

— Но для нас обоих колыбелью, взрастившею наш талант и давшеею ему направление, был все-таки Париж: с непревзойденными луврскими колоннадами, с версальской роскошью, — сказал мечтательно Воронихин.

— Только с той разницей, — продолжал Баженов, — что для меня это еще был королевский Париж Луи Пятнадцатого, а для тебя — Париж Национального собрания, «Прав человека» и клуба якобинцев. О, сколь твоё время было завиднее моего!



— Оно — счастливейшее в моей жизни.

Сквозь обычную сдержанность Воронихина прорвалось такое глубокое чувство, — будто сквозь плотный покров взметнулось из глубины пламя, — что Карл дрогнул и вдруг по-новому увидал своего наставника.

Воронихин встал, прошелся, стал далеко от камина. Волнение его теперь выражал только голос, необычно размягченный.

— Меня с кузеном моим Полем Строгановым и воспитателем его, замечательным человеком, Жильбертом Роммом, послали в восемьдесят девятом году в Париж. Не встречал я богаче и благороднее характера, нежели этот Ромм. Образованнейший человек, талантливый скульптор, помощник Фальконета, он вместе с тем был пламенным якобинцем. Едва мы приехали, он основал клуб Друзей закона, где библиотекарем сделался Поль, а заведовала архивом красавица Теруань де Мерикур... Потом Поль вступил в клуб якобинцев, и у него на пальце появилось кольцо с девизом: «Жить свободным или умереть».

Росси слушал Воронихина, затаив дыхание, глубоко спрятавшись в тень за выступом камина, — боялся своим присутствием помешать такому важному для него разговору.

— Поль принимал участие и во взятии Бастилии? — тихо спросил Баженов.

— Он был в первых рядах. Поль Очер, так звался он в Париже. Как сейчас вижу его молодое вдохновенное лицо и слышу слова, которых ни он, ни я не забудем...

Воронихин прошелся по комнате и, подойдя к Баженову, слегка нагнулся и протянул к нему обе руки, словно хотел передать какое-то сохраненное им сокровище:

— Поль сказал после взятия Бастилии: «Лучшим днем моей жизни будет день, когда я увижу Россию обновленной такой же революцией. И быть может, мне там выпадет та же роль, которую здесь играет гениальный Мирабо».

— Твоему Полю скоро представится прекрасный случай доказать на деле свой девиз и провести в жизнь



свои замечательные слова,—сказал, подымая голову, загоревшимся взглядом Баженов,—он ведь близкий друг Александра, а как только тот станет царем... обширное поле ему для опытов.

— Васенька,—просительно сказала Груша, давно вошедшая и слушавшая разговор,—не надо об этом, опять зря разволнуешься.

Но Баженов отстранил жену, положившую ему на плечо руку, встал, подошел к Воронихину, с горечью сказал:

— Ведь с мечтой о Павле и я соединял в молодости мечту о счастье моей родины. Я пожертвовал этой мечте наибольшим, чем обладал,—моим даром зодчего. Но что за безумие питать надежду о преобразовании деспотизма в разумную власть рукой самого деспота!

— Признаюсь, и у меня такой надежды больше нет,—отозвался потухшим голосом Воронихин.— Я слишком близко и рано узнал, как невозможно людям, стоящим вверху лестницы, где фортуна сыплет дары, добровольно отказаться от своих преимуществ. Прекраснейший человек граф Строганов, я премного ему обязан, однако как трудно было из его рук получить свободу даже мне, его, так сказать, родственнику... Этот барон Строганов, мой отец, когда открыл масонскую ложу в Перми, желая и меня провести в масоны, настоял, чтобы граф дал моей матери, его крепостной, вольную. Ведь по масонскому уставу только сын свободной матери имеет право стать членом ложи. И масонство для меня прежде всего оказалось свободой—прекращением бытия рабского. Входя в ложу, я действительно был равный с равными.

— Пожалуйте к столу,—сказала весело Грушенька, хлопоча у кипящего старозаветного самовара, еще полученного в приданое,—а потом и Казакова посылку рассмотрим. Любимый это ведь мой дворец в Царицыне, как сказка он из тысячи одной ночи.

— И какой грандиозный у вас получился тут размах,—сказал Воронихин,—какая мощность воображения! Этот переход от кремлевского классицизма к такой необыкновенной пышности.



— Царицына причуда,—пожал плечами Баженов,—ничего она в искусстве не смыслила, а как раньше заладила по-модному—у меня все самое римское, так вдруг—вынь да положь—мавританское. Однако мне эта мысль понравилась: вышло неожиданно в гармонии с пейзажем и в какой-то фантастической связи с древним русским зодчеством. Вот, гляньте, главный фасад.—Баженов раскрыл на свободном краю стола большую папку и вынул прекрасный рисунок тушью.

Два больших квадрата с восьмигранными башнями. Стены красные, изукрашены ажурным из белого камня орнаментом, стрельчатые окна, белые колонны.

— В густой зелени парка это белое на красном было как кружево,—сказала восхищенно Грушенька,—особенно хороша вот эта галерея в два яруса с белыми башенками, островерхими пирамидками, арками. Я входила туда как в чудный сон,—мечтательно добавила она, и Росси на миг загляделся на ее вдруг помолодевшее, прелестное в своей непритязательной женственности лицо.

Но когда из рук Воронихина до него дошли рисунки и чертежи, присланные Казаковым, он погрузился в них и забыл, где находится. Главное, что поразило его уже требовательный глаз, это было полное отсутствие громоздкости, тяжести при большой и сложной монументальности замысла.

Галерея соединяла большой дворец с особливым корпусом в два этажа для кухонь, приспешень и погребов, и это было так умно рассчитано, что только облегчало массивность центрального здания и хлебного двора, подхваченного двойными колоннами.

— Вот здесь, от дворца к оперному дому, пробегала моя самая любимая «утренняя дорожка»,—указала на рисунок Грушенька.—Ах, что за чудесные липы благоухали по обеим ее сторонам! Даже пчелки там только жужжали, а не жалили...

— В какой несравненной пропорции линий взяты арки, зубчатые башни, стрельчатые окна,—восхитился Воронихин.—Русская псевдоготика—явление столь самобытное! Ничего подобного нигде не найти, а у нас стоит под самой Москвой...



— Не стоит, а стояло,— поправил его насмешливо Баженов.

— Но почему, по какой причине это сказочное строение, которому по оригинальности замысла нету равного, подверглось столь жестокому отвержению? — невольно вырвалось у Росси.

— Почему? — с горькой иронией повторил Баженов. — А вот послушайте: Екатерина возвращалась в Москву из знаменитого своего путешествия по Крыму, когда великий льстец, светлейший князь Тавриды, сумел ей показать, подобно хитрому актеру, товар лицом. Одни знаменитые «потемкинские деревни» чего стоили! Словом, императрица возвращалась в окончательно окрепшей уверенности относительно счастья и благоденствия своего царствования. В Москве ее встретили с восторженной пышностью. И вдруг — потрясающая весть — заговор. Посягательство на ее трон, быть может — на жизнь... Так донес ей о неосторожной деятельности масонов московский главнокомандующий граф Брюс. Самая вольнодумная и опасная для монархии часть масонов, иллюминаты, вступила в сношение с заграницей. Императрице представили точные сведения об особом расположении масонов к персоне наследника Павла, связь же с ним установлена через меня, сиречь архитектора Баженова. И вот тут-то назначается день для осмотра Царицына дворца. Все последующее понятно, — закончил, как бы утомившись, Баженов.

— А какой веселый пришел Васенька домой, — воскликнула Груша, — он позвал меня, приказал понаряднее одеться для дня осмотра: «Ведь ты должна быть представлена императрице — так сказал мне генерал Измайлов, надзиратель за работами...»

— Ну, раз ты начала об этом, — сказал Баженов, хмуро обернувшись к жене, уже испуганной своей непосредственностью, — я не могу не кончить: назавтра, друзья мои, вместо торжества — позор! Страшный, безобразный сон. В парадной карете появление императрицы, ее знакомое надменное лицо, не смягчаемое, как на портретах, искусной приветливой улыбкой, а лицо злое, с угрожающе стиснутым, властным тонкогубым ртом.



«Это острог, а не дворец,— сломать онный до основания!» — И жест маленькой руки, не терпящей возражения, генералу Измайлову. Повернулась, поплыла к своей карете.

— Васенька, дорогой! — воскликнула Грушенька в каком-то странном восторге, беря Баженова за руку.— И все-таки этот день для меня наисчастливейший, он возвеличил меня твоей любовью. Перед всеми ты не побоялся, ее засвидетельствовал, чем гордиться я буду до смерти... Только послушайте, Андрей Никифорович, и вы, Шарло, что он сделал: едва отвернулась разгневанная императрица, Василий Иванович побледнел, как стена,— и за ней следом, чуть ли не дернул за шелковый шлейф: «Ваше величество,— говорит, задыхаясь от волнения,— минуту внимания». Она обернулась, испуганная, подскочили придворные. «Ваше величество,— говорит Василий Иванович и меня тянет за руку,— моей жене сказали явиться, дабы вам быть представленной. Если я имел несчастье не угодить вам своей работой, моя жена тут ни при чем, она не строила...» Императрица такими белыми от гнева глазами глянула на Васеньку, но, должно быть, вспомнила о своем милосердии, прославленном льстецами, и подала мне руку, потом все так же безмолвно прошла к карете. Но Вася-то не испугался гнева царского, не дал перед всеми в обиду свою жену. Даже супруга архитектора Казакова мне завидовала: «Это, говорит, почетнее, чем пара перчаток, присланная от нее мне в подарок».

Баженов благодарно обнял жену:

— Уж ты, Груша, известная позолотчица — и в черной ночи луч солнца найдешь. Дело было в том, что императрица свой гнев лично на мне сорвала, на моей работе. Ей уж были представлены бумаги, взятые у масонов, и могла быть найдена моя записка о разговорах с наследником в Гатчине. Я был в ее руках, но предать суду меня было нельзя, не бросив всенародно тень на самого Павла. К делу Новикова меня не привлекли, но моя карьера русского зодчего была загублена.

Баженов вдруг побледнел и покачнулся.

Воронихин сильной рукой подхватил его. Вместе с встревоженной Аграфеной Лукиничной отвели его в



спальню. Через несколько минут Воронихин вышел и сказал обеспокоенному Росси:

— Ничего опасного, ему только необходим покой. Я тут на ночь останусь, в случае чего доктор в двух шагах, а ты, Шарло, иди домой.

Карл вышел. Предраассветная тьма поглотила его. Он прошел прямо к Неве. Хотя она еще была скована льдом, но уже не было в нем зимней прочности. Особая, предвесенняя мягкая сырость шла от реки.

Карл глубоко задумался, не замечая бегущих часов. Перед ним только что раскрылась жизнь человека замечательного, и он ярко понял, что каждый рожден как бы начерно, условно названный «человек», но по-настоящему больше это имя каждому надо еще заслужить. По праву назовется им не за то только, что растет, множится, умирает, а лишь когда найдет дело своей жизни и вошьет в это дело всего себя, всю свою энергию, отдаст ему свое неповторимое, неотъемлемое лицо...

И еще думал он, что, может быть, необходимо судьбе разбить человеку все, что зовется «личное счастье», чтобы он опирался на эти развалины, как на трамплин, для необходимости прыжка в нечто большее своей эгоистически личной природы.

Из великих личных страданий выросли в великих художников Данте, Микеланджело, Леонардо.

И как бы мог справиться со своей горестной судьбой гениального зодчего Баженов, чьи замыслы остались лишь в чертежах и обломках, если бы он не перевел уже свою лучшую силу творца в область совершенного бескорыстия, не превратил ее в источник вдохновения грядущих за ним...

Но тут же Карл ощутил величайший протест против этой горестной судьбы Баженова. И со всей страстью нерастраченных юных сил и сознанного дарования он поклялся себе, что добьется своего, оставит после себя не только проекты, но все задуманное выполнит.

В эту лунную мягкую ночь, полную ожиданий весны, Карл до рассвета бродил по великому городу, глубоко принимал его в душу с его великолепными зданиями, уже вознесенными над Невой, и с дворцами и домами новыми, которым, он уже знал наверное,



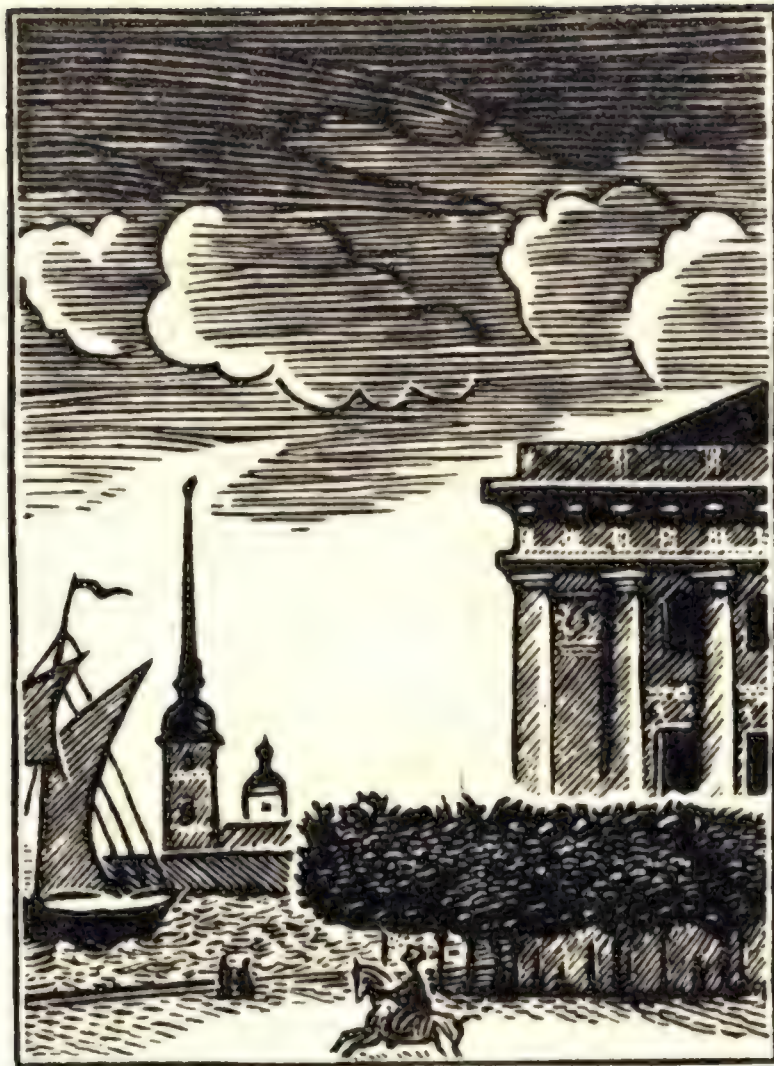
даст когда-нибудь жизнь и воплощение не чья иная—его творческая сила.

Карл не заметил, как дошел до старого деревянного театра Казасси. Придворное ведомство его купило и переименовало в Мальй. Карл остановился. В проясневшем небе далеко взором обвел пространство. Мечты охватили его: этот старый театр снести, возвести новый, великолепный в своей гармонии. Перед парадным фасадом с колоннадой развернуть до проспекта партерный цветник, а сзади театра—полукруглую площадь, как в парижском Пале-Рояль, окружить ее сводчатой галереей.

Долго в воображении Карл раздвигал пространство, создавал великолепному зданию своей мечты достойное его окружение.

Совсем посветлело небо, ожил ранний занятой люд. Открылся на Неве последний неопасный проход. Серо-голубое тающее небо над адмиралтейской золотой иглой, бледно-желтый с белым орнаментом чудесный фасад—как дивно открыта гармония сочетания красок. Эти тона, эта роскошная простота должны быть неотъемлемы от петербургского зодчества.





## Глава десятая

Имя Маши, которую, как это теперь было в моде, князь Игреев одарил новой, звучной фамилией — Яхонтова, появлялось все чаще в афишах, все хвалебней были о ней отзывы ценителей, и даже проскользнуло в газетах, что Психея, которую она как-то танцевала, заменяя больную мадам Гертруду Росси, в ее исполнении получила новую прелесть и свежесть.

Гертруда рассердилась и в присутствии Карла безобразно кричала, что Маша никак не сильфида, а всего лишь хитрая змея, которая хочет завладеть ее лаврами, и отказалась давать ей уроки. Бедная Маша была в отчаянии. Она в Карле искала поддержку, робко надеясь, что он ей устроит свидание с Митей. Но Карл и сам давно не видал друга и чувствовал, что тот намеренно его избегает. Так оно и было.

Митя, никогда раньше не задумывавшийся о том, что он был рожден крепостным и если бы не доброта дяди-литейщика, то, вероятно, навеки остался б рабом, сейчас болезненно переживал это обстоятельство. Никем не оскорбляемый, здоровый, красивый юноша,



он до горестного события, связанного с утратой любимой невесты, был бессознательно эгоистичен, счастлив и полон надежд на будущее благодаря сразу признанным способностям и легкой удаче в живописи.

Все, что пришлось ему испытать из-за Маши, довело в несколько месяцев ум его и чувства до внутренней зрелости.

Тысячи мыслей, одна рождаемая другой, мучили его теперь, не находя себе разрешения и ответа.

Страстное возмущение рабством, которым была полна неистовая книга Радищева, хранившаяся у него как святыня, стало постоянным его состоянием. Легче всего Мите было теперь в доме Воронихина. У него к Андрею Никифоровичу появилось чувство, похожее на обожание, за то, что он был тоже рожден крепостным, немало претерпел унижений на своем пути, но все победил и стал таким могучим человеком. Благодарен был ему и за отношение к его горю как к своему собственному, чего не мог он ожидать от Карла Росси, при всей его дружбе.

Родным стал Мите и смьшленный мужичок-самокатчик, который с необыкновенным спокойствием и уверенностью в успехе мастерил свое мудреное орудие освобождения — удивлявший всех самокат. Чем ближе узнавал его Митя, тем сильнее поражал его необыкновенно умными, насмешливыми суждениями прирожденного наблюдателя.

Сегодня Артамонов и Митя опять должны были обойти, как говорил Воронихин, «невольничьи рынки» в поисках подручного, хорошего слесаря, которого они все еще не нашли. Прежде всего оба двинулись к Синему мосту на Мойке, где перед великолепным дворцом Чернышева кишел народ. На скате у самой реки было пестро от людей, закусьевавших и отдохавших в ожидании подходящего наемника.

Кое-кто после хмельной выпивки крепко спал просто на камнях. Эта площадь была главным местом купли-продажи, найма и обмена.

И кого только тут не было! Олонецкие пильщики с отливавшими синью, на совесть разведенными пилами чинно стояли целой артелью, как войско с особым видом оружия. Ярославские маляры, тороватые говорливые мужики в фартуках, сидели при своих ведрах с целым набором больших кистей; кисти



малого размера они аккуратно засунули за свои голенища. Ямские кучера в синих суконных армяках, подпоясанные красными кушаками сразу под мышками, казавшиеся оттого великанами, степенно гуторили, выхваляя друг перед другом отличные стати жеребцов, прошедших через их руки, и богатых господ, которыми сейчас гордились, забыв, как те их драли на конюшне. Ямские эти как бы держались без помощи ног — на одних лишь туго простеганных ватных армяках, доходящих до земли. И так велика была их важность от привычки надменно покрикивать на пешеходов с высоких козел, что и сейчас ни один не удостаивал разговором сновавшую вокруг мелкоту вроде садовника с лейкой и мальчишек-парикмахеров, взаимно завивших друг другу головы бараном, чтобы нанимателю стало наглядным их высокое искусство.

Только появление дородной кормилицы в расшитом кокошнике, богатых бусах и лентах привлекло внимание извозчиков. Все они на нее обернулись, а один даже выкрикнул одобрительную оценку ее дородству:

— Король-баба!

Но кормилица, сопровождаемая строгой женщиной в темном, которая оказалась свекровью, только тихо плакала и просила старуху:

— Уж вы, матушка, бога ради, моему Ванюшке молочко-то водой не разводите! Вы ему целенькое...

— Сыт будет, не твой первый на рожке выпоен,—ворчала старуха, а ты смотри, не больно-то реви. Хорошие господа уважают мамок приятных, да чтобы к родному своему дитю не тянулась...

Лакей, прогнанный за беспробудное пьянство, прихорашиваясь и глядясь в карманное зеркальце, сказал:

— Хорошие господа завсегда имеют в себе бесчувственность. Они этого не потерпят — чтобы убиваться. Им которая из ваших сестер поумней — обязательно соврет, что ребенок ее помер, хотя б он и жил.

— Ванюшка чтоб помер! — завопила мамка и, грозно наступая на лакея, ко всеобщей радости, осьпала его отборнейшей бранью.

Под общий веселый хохот лакей поспешил скрыться в толпе.



— Вот она — взаправдашная-то жизнь, — глянул самокатчик на Митю, — в хоромах сидеть — вовек правды не узнать.

К ним подошел, поздоровался Павел Иванович Аргунов. Он сюда пришел в поисках штукатуров для Фонтанного дома. Рассказали ему про мамку...

— Этим еще не так плохо, — знающим тоном сказал Аргунов, — они уже обломались в городе, и ночлег верный есть. Вот пришло плохо, тому, кто впервые сюда залетел оброк барину собирать. Все-то ему чужаки, все звери, всякого-то он боится. Ну и ловят их, сердешных, за грош! Чиновники на это дело особые мастаки. Наймет девчонку одной прислугой, да и навалит весь дом ей на плечи.

— А нужда-то мужичка из избы гонит, — сказал самокатчик. — Хлеба до весны редко где хватит, весной иди в кусочки, побирайся.

Внезапно поднялась в толпе брань, перешедшая в крики, а вот уже стали стеной, засучили рукава одни на других — и пошли в кулачки.

— Это подрядчики со старостами, выбранными обществом, никак в драку вступают, — пояснил Артамонов. — Наниматели больно ценой их прижали, а у старост еще и к рукам с этой платы прилипнуть должно. Даром все норовят мужицкий труд взять. А ну-ка, пойти разузнать...

Самокатчик и Аргунов пошли к гудящей, как улей, толпе. Митя же оцепенел на месте, наблюдая, как подошедший к пожилой женщине чиновник, словно лошадь, осматривал ее сына, подростка-паренька; он отворачивал ему губу, считал зубы, пока мать его безмолвно плакала.

— Не от нужды наши господа продают — от излишка, — скороговоркой расхваливал паренька доверенный от хозяев. — Больно много этих недомерков у нас в вотчине наплодилось, девать их некуда! А он парнишка тихий, еще вовсе не поротый, — тараторил приказчик, — и в комнатах хорошо обучен и при гардеробе, он на все руки вам будет. В придачу, ваша милость, и матку его берите — тоже кухарка за повара.

Чиновник, оглядев женщину тем же глазом барышника, угрюмо сказал:



— Была да вся вышла, ты б еще мальчишкину бабку мне сватал. — Чиновник стал не торопясь платить за мальчика.

Митя, конечно, знал, что такие сцены происходят ежедневно на вот этой самой площади, да и в книге Радищева довольно было примеров жестокой продажи людей. И все же, когда чиновник вместе с приказчиком стал из объятий матери вырывать парнишку, Митя не выдержал и, подбежав, крикнул;

— Звери вы — не люди. Хоть попрощаться дайте да адрес ваш скажите, чтобы мать сына могла навесить.

— А нам материнских визитов не потребуется, неизвестный молодой человек, — язвительно сказал чиновник. — Себя же вы успокойте, незаконных дел здесь не производится. А коли вы законами государя императора недовольны, уж это будет иной разговор, и на вас мы найдем управу.

Митя, вне себя, заладил одно:

— Обязаны дать ваш адрес, обязаны!

Подоспевший Аргунов отвел его за руку и шепнул:

— Молчи, они сейчас будочника позовут и такое обвинение на тебя состряпают, что не обрадуешься. И чего ты своим криком добьешься? Ведь они в своем праве. Лучше пусть Артамонов пойдет тихонько за чиновником и своими глазами увидит, где тот проживает. Парнишкину мать, наверное, в отъезд продадут, и необходимо, чтобы она не потеряла своего сына из виду.

Самокатчик тем временем шушукался с матерью мальчика и, узнав, где она живет, обнадежил ее насчет сына, подмигнул Мите и, как ни в чем не бывало, потихоньку пошел следом за чиновником, уводящим паренька, да так хитро, что тому было невдомек. Митя упорно остался ждать возвращения Артамонова, отдав плачущей кухарке все, что при нем было. На эту историю в толпе и внимания не обратили.

Как улей, все взбудоражены были победой плотницкой артели, которая не пошла в кабалу к нанимателю, устояла и нагнала себе цену.

Оброчные со всех концов России прибывали сюда все новыми партиями. Были тут землекопы из Белоруссии, ярославские штукатуры, печники, галицкие плотники...



— Эй, чухлома! — кричали кожевникам, неразлучным с особым кислым дубильным запахом. — Пойдем на кулачки, погреемся, пока покупатель не клюет, — подступали веселые саечники-хлебопеки к мрачным мужикам.

— Пошехонье, — пренебрежительно отвечали кожемяки, — да рази такой это час, чтобы в кулачки иттить? Эх, неправильный вы народ!

Ростовец-огородник, указывая на победителей, позавидовал:

— У этих всегда прибыточные дела будут, потому — ловкачи-москвичи!

— Павел Иванович, — сказал Аргунову Митя, — ужели этот народ, который, как скот, набирают на работу и содержат еще хуже скота, неужели он никогда не взбунтуется?

— А Пугачев? — вопросом ответил тихо Аргунов. — Сообрази он тогда свернуть вместо степей на Москву — может быть, о крепостном рабстве только понаслышке б и знали. Да и помимо Пугачева бывали дела... Недалече ходить — при матушке-царице, в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году, богатый подрядчик, купец Долгов, руководил работами по облицовке гранитом набережных Фонтанки и учинял ужасные притеснения находившимся при строении. И вот, помнится, осенью выборные четыреста человек от четырех тысяч двинулись к Зимнему дворцу с челобитной. Они кланялись до земли каждой фрейлине, высунувшейся из окна, по невинности принимая ее за царицу, — много над этим смеялись в свете, слышал от Шереметевых. Ну что же, сколько-то челобитчиков схватили под караул за «учинение скопа и заговора», только про них и слышали. Видом они были от горя и нищеты — краше в гроб кладут, тоже заговорщики!.. Да, Митенька, — закончил печально Аргунов, — дорого плачено за гранитные набережные, за красоту города Санкт-Петербурга. Кровью да потом народными.

Особый интерес был у Мити к судьбе продававшихся крепостных женщин, потому что невольно гвоздила мысль: вот такова была б участь Маши, не пойди она на посулы князя Игреева. Аргунов и о крепостных женщинах мог в подробности рассказать. Кроме продажи по газетным объявлениям рядом с борзыми и дорогой сбруей, были невольничьи женские рынки и в



центре города и в преуютных прицерковных двори-ках. Искусницы разного рода рукоделий ценились подороже, черная рабочая девка шла вовсе дешево.

Рассказал Аргунов и про более затейливые способы сбыта девушек с рук. Так, одна шереметевская знакомая, именитая барыня, отобрав самых пригожих девочек, обучила их танцам и музыке и продала за большой куш предпринимателю «веселого заведения».

— За одной такой — Анетой звали ее — я долго следил, — невесело сказал Аргунов, — дважды ее в карты проигрывали, переходила из рук в руки, пока особо злому издевателю не попала. Заколола его, а потом и себя... Гордая была.

У Мити злобно промелькнуло в голове: а Маша не закололась, в балете сильфидой порхает!

И желая услышать от Аргунова какое-либо косвенное осуждение поступка Маши, в надежде хоть немного разрешить свою сердечную боль, Митя с раздражением спросил:

— Заколоть оскорбителя с пьяных глаз сумела, а заработать на выкуп честно — пороху не хватило? Если она танцы и музыку знала, могла бы в оброк отпроситься.

— Так ее и отпустят! Еще мужчину туда-сюда, да и то пока барина каприз не прошел. А не то, хоть европейским портретистом считается, домой отзовут, и, бывает, в лакейскую. А непокорливый нрав — на конюшню. Нет, брат, крепостному с талантом впору петлю на шею либо водку глушить. А девка коль хороша, один путь — в канареечки. Хоть золотой клеткой потешится. А в оброк — не слыхал, чтоб пускали... Наши Шереметевы — наилучшие из господ. Уж эти и разбогатевшему оброчному вовек не скажут: сам ты весь мой, значит, и деньги твои — мои. Эти чужого не отберут, напротив того: «Пользуйся своим миллионом на здоровье, — сказал наш граф одному богатею, принесшему его за себя в выкуп, — а вольной тебе не дам. Своих денег у меня довольно, а владеть тобой, богачом, мне только лестно».

— А как же Шелушин, шереметевский крепостной, получил вольную? — поспешил спросить Митя.

— А за что? За анекдот веселый. Тысячу раз прав наш сибиряк-самокатчик: хохотком да прибауткой, а



не честью надо господ брать, всего они объевшись, их только на пряное тянет. А с Шелушиньим вышло так, неоднократно просил он отпускную, уже известный богач. Уперся наш — на что тебе воля? Что я, богатеть тебе мешаю? Да на здоровье! И вот такая оказия вышла, привез как-то Шелушин в подарок графу устриц бочонок и тут нежданно-негаданно свою фортуна прямо за косы и схватил. Как раз в этот день у графа на Фонтанном доме парадный ужин предполагался, а в устрицах нехватка. Во всем городе, как назло, нет и нет. Шумит граф, у метрдотеля требует — вынь да положь. А тут и принесло к нему оброчника-богатея. Граф ему: вот просил ты у меня не раз вольную; слово мое — отпущу, добудь только нынче к ужину устриц. А у богатея в прихожей — готовенькие. Выкатил он молча бочонок — получайте, ваше сиятельство! Граф тут ему в обмен — свой подарочек. На том самом бочонке и вольную написал.

— То-то я не дурак, что свой самокат затеял, — усмехаясь, сказал недавно подоспевший Артамонов, — не я буду, если мой самокат не обернется тем бочонком с устрицами...

— В добрый час сказано, — потряс ему Аргунов руку, — я уж и сам тебя к слову помянул. Ну, узнал адресок?

— До самой калиточки довел, теперь только маменьку-кухарку порадовать. Она тоже помещена к некоей старушке, видать не окончательно лютой, и по пути к сыну живет. Проведаю ужо обоих.

— А сейчас пройдемте на Неву, душно мне здесь, — сказал Митя.

День был чудесный. Зима опять перебила начавшуюся было оттепель, но морозец стоял небольшой, сухой при ярко-синем небе.

Остановясь на мосту, залюбовались городом и его дальними перспективами.

— Весело тут летом, — потрянул Митя светловолосой головой, как бы отгоняя тяжелые впечатления дня, — часами, бывало, стою тут и любуюсь на гребные команды, особенно юсуповские. Те, что на длинных веслах, идут по Неве, а коротковесельные — по каналам. Гребцы разукрашены, как в сказке: великолепно по краскам — вишневые куртки, шитые серебром, на шелковой белизне рубах, шляпы с перья-



ми, ну просто Венеция. А в лодках музыканты, роговая музыка чистейшего звука, какая-то уносящая от земли...

Аргунов зло рассмеялся:

— А каково музыканту, создающему это неземное впечатление, хоть раз пришло тебе в голову? Участник рогового оркестра должен каждый навеки свистать одну и ту же свою известную ноту. Утратив всякое человеческое достоинство, иные из них, слыхивал я, не без гордости величают себя уже не своим именем, а исполняемой нотой; я нарьшкинское дó...

— А сколько палок на таком обломали, пока обмозговал он свою ноту!—сказал самокатчик.

— Да ты сам много ль бит?—хлопнул его по плечу Аргунов.

— Маху дали,—ухмыльнулся сибиряк,—я сызмальства увертливый. Хоть и сказано: душа божия, голова царская, спина барская,—свою спину сумел сберечь. Бывало, возьмут мальчонкой в форейтора. Свалиться—беда: если лошадь не потопчет, на конюшне запорют. Так я старших просить надоумился, чтобы меня ремнями привязывали к седлу. Сомлеешь, бывало, а свалиться—не свалишься. Болтается голова, как кочан на ветру, случалось, водой отливали, зато розгой нет, не трогали. Ну, однако ж, мне пора и честь знать, за разговорами свое дело забыл. Пойти засветло подручных себе подыскать. Ведь из-за того парнишки я утренних всех упустил.

— Сейчас иди искать только на Вшивую биржу, на угол Владимирского,—сказал Аргунов,—там обжорный ряд торговлю раскинул, и все полдничать кинулись. На пирогах их настигнешь; кто лихо ест, тот, известно, лих и в работе.

Самокатчик пошел было, что-то вспомнил, вернулся, подошел к Мите, внушительно сказал:

— Нынче вечером к Андрею Никифоровичу приди, Митенька, он мне строго наказывал. Чтобы обязательно...

— Да уж приду,—отозвался Митя.

Его опять захлестнула тоска, и еще горшая, чем поутру. И странная детская злоба на Аргунова—зачем не дал и минуты отдыха, опять повернул мысли на обратную, мрачную сторону восхищающей чувство красоты. Он раздраженно сказал:



— Дивлюсь на вас, Павел Иванович, так вы беспощадно крепостное зло видите, а хоть бы одного барина уложили?

— Совсем было раз собрался, да вовремя одумался,—неожиданно поведал Аргунов.

— Сибири устрашились?

— Не столько Сибири, сколько бессмыслицы такого занятия: одного барина убьешь, другой на его место станет.

— Расскажите, Павел Иванович, как было дело,—устыдившись себя, серьезно попросил Митя.

— Невеселый рассказ, хотя живописный в смысле картины наших помещичьих нравов. Взял меня как-то граф к своему соседу-приятелю — вместо заболевшего художника ему для спектакля домашнего занавес написать. Занавес написал, а декорации не успели, и лес пришлось изображать, так сказать, домашними средствами. На подмостках тесно усталили мальчиков с кудрявыми березками в руках — чудесный издали молодняк. В этом лесочке, по тексту пьесы, появились охотники и медведь. Актер-медведь, завернувшись в мохнатую полость саней, взревел и, согласно замыслу автора, пошел на охотников. А барин-хозяин тихонечко своему датскому догу как шепнет: ату его! — и спустил с цепочки. — Дог — на медведя, впился клычищами, тот ревет благим матом, березовый лес вмиг попадал, ребята врассыпную. Крик, слезы, у медведя кровь ручьем... А я рядом с барином с большим молотком стоял, уйти не успел — последние гвозди в декорации заколачивал. Вот как все заревут, а барин — ну хохотать, у меня сама собой рука с молотком поднялась. Из последних сил удержался, чтобы его по голому черепу не хватить. Эх, — вздохнул Аргунов, — что за толк в бунтах и убийствах? Запорют — и вся недолга. Раньше срока не повернешь это дело.

— А срок этот будет когда? — спросил гневно Митя.

— Обязательно будет, — строго и веско ответил Аргунов, — только увидим ли мы с тобой — не скажу. Но времечко стукнет.

Воронихин, не говоря о причине приглашения, звал Митю для того, чтобы показать ему законченный им портрет Маши. Он близко принимал к сердцу ее



печальную историю и то, как тяжело и бесповоротно осудил ее Митя. Он решил с ним об этом поговорить.

Когда Митя вечером вошел в просторный кабинет Воронихина, он с отеческой лаской усадил его рядом с собой на широкий диван и умело заставил рассказать не только про зрелище «невольничьих рынков», но и про всю ту бурю негодующих чувств и гневных мыслей об ужасе крепостничества, которые оно вызвало.

— Вот теперь по всей справедливости и суди бедную Машу,— сказал Воронихин, беря Митю за руку,— посмотри-ка ее портрет.

Воронихин подошел к мольберту и поставил на него большой подрамник, который стоял перевернутым к стене.

Митя опешил: если б можно, он убежал бы, не взглянув на портрет, но Воронихин подвел его ближе, спросил;

— Ну, как ты находишь, похож?

Воронихин поднял зажженный канделябр, и боковой свет мягко упал на вдохновленное большим талантом и вместе с тем бесконечно печальное лицо Маши.

Нервное напряжение всего этого дня было велико, и сейчас Митя не выдержал: он повалился на диван и зарыдал.

Воронихин бережно, как все понимающий старший брат, обнял Митю и, крепко сжимая его руку, сказал:

— Если по-прежнему любишь Машу, все будет хорошо. И горе ваше пройдет, едва она получит свободу.

Митя мигом пришел в себя и спросил с изумлением:

— Но разве не куплена ее свобода ценой нашего счастья? Разве не совершилось непоправимое? Ведь Маша — фаворитка Игреева.

— Нет,— сказал Воронихин,— и, я надеюсь, ею не будет. Князь Игреев, всем пресыщенный, в этом своем новом сердечном капризе желает, чтобы угодить государю, предстать рыцарем. Всем, кроме того, вскружило голову известие, что Шереметев женится на бывшей своей крепостной. И сейчас, согласно модному капризу нашей знати, князь объявил Маше, что будет ждать от нее любви свободной, по склонности сердца.

— Но вольная?



— Вольная действительно имеется, но не у Маши в руках. Игреев взял меня и мать Карла Росси в свидетели, что им совершена формальная отпускная, и он нам ее издали с дьявольской улыбочкой показал. Но при этом прибавил, что испытанию его сердца положен целый год: если Маша в течение этого времени не «снизойдет» к его нежности, то ее вольную он разрывает, а она из балерин может быть разжалована хоть в скотницы. Но дела, кажется, могут повернуться к лучшему. Пока ты, Митя, в тоске всех нас избегал и никому не верил, мы оказались неплохими кузнецами твоего счастья,— любезно улыбнулся Воронихин.

Митя страшно побледнел:

— Этот сиятельный негодяй при вас выговорил свои чудовищные условия, и вы его не убили? Не дали ему пощечины? Ну, так это сделаю я. Я убью его как собаку...

Митя вне себя рванулся куда-то бежать. Воронихин почти насильно усадил его рядом с собой на диван.

— Если бы я убил Игреева,— сказал он,— меня бы сослали в Сибирь, а Маше навеки быть крепостной. Если сейчас убьешь ты его, будет то же самое. Но вот пока ты с незаслуженным гневом отвернулся от несчастной невесты, об освобождении ее взялись хлопотать другие... Ты же должен одно — повидаться с Машей, вдохнуть в нее новые силы, надежду. Она чахнет, здоровье ей заметно изменяет. Она просто на глазах сгорает. Искусство — единственное, что дает ей забвенье той большой муки, которую терпит она ради тебя. И может случиться то, чего уж, конечно, ты не желаешь. Через год, когда, надеюсь, свободы мы для нее добьемся, ей она уже не будет нужна.

Митя, впервые забыв свою боль и желая понять только состояние Маши, с беспокойством спросил:

— Больна она? Как ей помочь?

— Об этом позаботятся разные люди с разными личными побуждениями, но, к твоему счастью, направленными к одной цели — вырвать возможно скорее из рук Игреева Машину отпускную. Люди эти: твой друг Карл Росси, его мать, знаменитая балерина, и некая высокопоставленная девица Тугарина.

— Катрин,— воскликнул изумленный Митя,— она-то как здесь?



— Имей терпение дослушать,—учительно, как обычно, остановил Воронихин.—Росси движим чувствами благороднейшей дружбы и бескорыстным восхищением перед Машей; его мать Гертруда полна бешеной актерской зависти к своей ученице, которая нежданно выросла в ее соперницу. Сын уверил свою тщеславную мать, что едва Маша получит на руки вольную, она бросит сцену и уйдет с тобой куда глаза глядят, подальше от Игреева. Ну, а третье заинтересованное в этом лицо, Катрин Тугарина, недавно усмотрела в князе Игрееве самую для себя блестящую партию, и, выходя за него замуж, очищает свой будущий дом от соперниц.

— Вы уверены, Андрей Никифорович,—сдерживая дыхание, спросил Митя,—что, как сказал своей матери Карл, действительно Маша готова совсем бросить сцену и уехать со мной?—С надеждой и страхом смотрел Митя в умное, сильное лицо Воронихина, привыкшее сдерживать свои чувства и скрывать мысли.—Умоляю вас, одну чистую правду.

— Я скажу тебе эту правду, Митя,—твердо ответил Воронихин.—Если бы Маша в порыве долго таимого чувства и бросила ради тебя свое искусство и сцену, она бы вскорости стала так же заметно хиреть, как мы видим сейчас, когда она живет одним лишь искусством, лишенная твоей любви. И то и другое необходимо сочетать. Но как—пока я не вижу возможности. Как только Маша лишится протекции князя, она в театре окажется у разбитого корыта. Завистницы ее заклюют, и карьера ее как балерины окончена. Все они там держатся связями или имеют очень прочное положение, а она новенькая.

— Значит, остается мне самому завоевывать себе положение, чтобы не лишить Машу возможности делать любимое дело, не заглушить своего дара. Но как? где? Ума не приложу.

— Мне кое-что пришло в голову, Митя,—осторожно сказал Воронихин.—Сейчас ко мне придет один, по-моему, очень тебе нужный человек; ты послушайка, что он расскажет, а потом и поговорим.

— Загадками говорите, Андрей Никифорович, ума не приложу, кто может быть этот человек.



— Если я скажу тебе, что зовут его Иван Петрович Дронин, что он военный и состоит при Суворове, это ничего тебе нового не прибавит, не правда ли?

— Суворова я высоко почитаю, но к военному делу у меня влечения нет, все-таки путь мой в Академию. Только на днях решил я идти не на архитектурное отделение, а на живописное: думаю, у меня способностей к этому больше.

— И я так думаю,— одобрил Воронихин,— и это обстоятельство как нельзя более кстати для того, что я для тебя придумал. Однако немного терпения.

Воронихин указал на часы:

— Иван Петрович человек военный, как сказал—не опоздает.

И действительно, вошедший слуга доложил о приходе майора Дронина.

— Проси прямо в кабинет.

И Воронихин оживленно пошел гостю навстречу.

Дронин был человек, по возрасту годившийся Мите в отцы. В жизни у него случилась тяжелая драма: жена, которой он слепо верил, обманывала его с ближайшим другом. Дронин, вызвав оскорбителя на дуэль, убил его, а жена через некоторое время повесилась. Отсидев за дуэль в крепости, он отправился к Суворову в армию с надеждой в первом же деле с турками найти свою гибель. При взятии Измаила он отличился необыкновенной храбростью и умением вести за собой людей, был тяжело ранен и высоко награжден. Суворов его особенно отметил, посещал во время болезни, узнал всю его печальную историю и сумел так на него повлиять, что встал он с больничной койки новым человеком, думающим о победах русского оружия, а не о смерти. С тех пор Дронин сопровождал обожаемого полководца во всех боях, не оставил его и в ссылке.

Сейчас он временно приехал в Петербург хлопотать о своей отставке, чтобы иметь возможность уехать в Кончанское и быть полезным тому, кого в душе своей звал—благодетель навеки и отец.

Однако окончательные шаги для выхода в отставку внезапно приостановило известие, облетевшее все военные круги, о том, что государь весьма милостивым письмом вызвал Суворова из Кончанского.



Сегодня он узнал радостное дополнение к слухам: что государь получил от австрийского императора предложение отпустить Суворова принять командование над союзной армией в предполагаемом итальянском походе против Наполеона.

Дронин не сомневался, что Суворов примет предложение, отмахнув в сторону все нанесенные ему Павлом обиды. Давно он с волнением следил за успехами Бонапартовой армии и горько сетовал, что он не у дел, а бездарные полководцы не могут дать острстки «далеко шагнувшему молодому человеку», как именывал он первого консула. Дронин, конечно, решил следовать за своим полководцем и, переживая вторую молодость, как после измаильского дела, стал, в нетерпеливом ожидании приезда Суворова, готовиться к походу в Италию. С Воронихиным его связывало то, что он был ему земляком, происходя из мелкопоместных дворян Пермской губернии. Посетив как-то знаменитого зодчего по просьбе родных его по матери, оставшихся жить в деревне, соседней с имением Дрониных, майор пленился всей душой своим замечательным земляком и уже при каждом своем приезде в Петербург его навещал. Ушедший с головой в свое военное дело, Дронин в общении с Воронихиным находил большое обогащение для ума и всех чувств. Взаимным обменом впечатлений был доволен и любознательный Воронихин. Кроме того, с тех пор как он принял близко к сердцу несчастье Мити, у него возник некий план в связи с энергичной личностью майора.

— Вот познакомьтесь, Иван Петрович, с моим юным другом Митей Сверловым, рекомендую — способный художник.

Майор ласково потряс несколько растерянному Мите руку, шумно и весело стал говорить Воронихину о том, сколь он счастлив собраться в итальянский поход и не сегодня-завтра встречать дорогого фельд-маршала.

Митя подумывал, как бы ему приличным образом улизнуть: он особенно дичился военных, почитая их за светских людей, которые преимущественно обращают внимание на костюм и манеры, но, прислушавшись к тому, что говорил майор, скоро перестал помышлять об уходе.



Воронихин спросил, точно ли верны слухи о вызове Суворова из ссылки, и майор с восторгом приводил собранные им подтверждения, что от императора австрийского прислано письмо с предложением фельдмаршалу командовать союзной армией.

— Однако для Суворова будет тут плохо,— сказал Воронихин,— придется ему из австрийских рук смотреть.

— Посмотрит он, черта с два,— вспыхнул обидой майор,— да разве ему не привычно без австрийцев дело решать? Он баталию на один собственный страх любит вести. Было дело в восемьдесят девятом, разгромил он турецкий фланг и решил фронт переменить. Нам сказал, австрийцам же ни гу-гу, вот обиделись! Зато баталия без проволочек—победная. И посмеяться над ними умеет. Под тем же Рымником набрали мы турецких пушек. Австрийцы вцепились—к себе, а наши, натурально,—к себе. Как обычно, наш старик в самую гущу ввинтился, кричит: «Нашли о чем спорить! Дари, ребята, все пушки союзнику, где ему, бедному, еще взять! А мы себе получше добудем». Хохочут ребята: давись, Австрия, турецкими пушками.

Майор хохотом, словно громом, наполнил чопорный кабинет Воронихина, всем стало весело.

— Суворов ни в чем общему порядку не следует, так осудительно говорят про него при дворе,— заметил Воронихин,— то-то загнали его в Кончанское. Без своего дела давно сидит...

— Да не усидел,— подхватил майор,— ему вот семьдесят стукнет, а помоложе-то никого, чтобы русское войско прославить, когда час пробил. Сам государь в карман гонор спрятал, на все суворовские причуды сквозь пальцы глянул—вызывает ведь.

— По всему, что я слыхал про Суворова,—вступил наконец и Митя в разговор,—он, помимо гения воинского, и крепостью характера невиданный человек. Откуда только свою силу берет! Невелик, слаб здоровьем...

— А духом-то?—прервал Дронин и всем существом своим выразил восхищение.—Наш Суворов духом гигант. Во славу России воюет, и весь народ, как земля, его держит. Сам-то, конечно, здоровья хилого, худ, невелик—воробышек некий, однако ни жара, ни



мороз его не берут. Насмотрелись мы в походах — всем пример. Закалил он себя, не жалеючи, — вот и сила его. И в солдатской любви. Не шпицрутеноем — своим сердцем он солдатское взял, то-то в его руках тысяча штыков десятка тысяч стоит. А почему? Из дерева высечь искру умеет и получает огонь и пламень. У других же полководцев, особливо на прусский манер, живой солдат в дерево обращен. Еще в давности, когда он под Кунерсдорфом воевал, хорошая, говорит наш фельдмаршал, вышла школа на чужих ошибках. «Насмотрелся я там Фридриховых правил, с которыми он чуть Пруссию не упустил. И создал понемногу свои правила, навыворот прусским». И что же, спрошу вас, последовало?

Майор — небольшой, крепкий — круто, как ядрышко, вертелся в кабинете, перебегая от Воронихина к Мите, дополняя жестом пламенность чувства.

— А последовало от применения суворовских правил следующее: военная служба у всех — пугало, а у Суворова служить — превеликое счастье. Он — отец-командир, и семья при нем выходит одна, военная. Каждому она — родной дом. У пруссаков не семья — точный механизм часовой. Заведен — идут часы, но человек из солдат вовсе выхолощен. Истинно тупозрячие. А у Суворова каждый станет героем, потому сам он истинно герой и до себя всех подымает...

Майор подошел к Воронихину, с трогательным доверием сказал:

— Ну, кто я был, когда к нему попал после вам известной моей несчастной истории? Как узнал, что жена моя себя порешила, ведь поехал я на турецкий фронт одной только смерти искать. А нашел-то благодаря ему не смерть, а воскресение из мертвых. Кисель я был, недоросль балованный, от первой в жизни беды распустил слюни. Суворов — отец он мне оказался — от себя самого спас. Мои растрепанные силы к новой, благородной и мне доселе неведомой цели собрал. Мозги мне своим примером прочистил, до сознания довел, что нельзя весь смысл в своем курятнике полагать, когда родина твоей доблести ждет...

— И вы под Измаилом дрались? — с загоревшимися глазами спросил Митя.



— А как же, я тогда несколько другим человеком стал. Разжег нас Суворов неприступную крепость эту забрать. А Измаил-то рвом широченнейшим окружен—в глубину не мал, водой все полнехонько. А над рвом этим вал, сажени в три. Ну-кась, перемахни. Гарнизон турецкий стянут с окрестных все крепостей, и приказ дан с угрозой—долой башку, коль сдадут. Над гарнизоном наилучший ихний паша—Айдос-Мехмет. А как на нас в Европе смотрели: не взять нам Измаила, не быть России великой державой. Решающая баталия. А у нас ни осадной артиллерии, ни войск. Большинство—казаки—не тем сильны, чтобы крепости брать. Но раз невозможное дело совершить надлежит, кого выбирать?—Суворова. Потемкин что-то, а приказать умел: атаковать Измаил, взять! Осмотрел неприступную крепость наш старик вдоль и поперек, отвечает Потемкину: обещать нельзя. Однако сам, между прочим, не медля ни минуты, к штурму готовится. Ну, в подробности вдаваться не стану, до завтра мне не кончить, как начну. А в краткости скажу, вспомня главное, созвал Суворов совет, объявляет: хоть Измаил неприступен и гарнизон нас сильней, однако я решил его взять либо сложить свою голову под его стеной. И на рассвете предложил штурм... И ведь до чего бедовый старик,—любовно рассмеялся майор,—сераскиру еще послание закатил: «Прибыл Суворов брать Измаил. Двадцать четыре часа на размышление—воля. Первый мой выстрел—уже неволя. Штурм—смерть». Затем преспокойно объехал полки, со всеми вел свой короткий суворовский разговор, после которого ему все как богу поверили и в победу полную уверенность возымели. То есть сомнения ни малейшего, чародей он, ей-богу. Спокойно колоннами войска ко рвам подошли, и фашины свои во рвы побросали, и лестницы как надо подставили, и на вал взобрались. И в ответ на бешеную защиту турок с «фурией необычайной», как любил он выражаться, накинулись на врага. Как про это дело вспомню, так в ушах и стоят: «Ал-ла!.. Ур-р-ра!..»

Майор закричал во всю богатырскую глотку, забыв в своем увлечении, где находится. Двое слуг испуганно вбежали в кабинет. Воронихин только махнул им с улыбкой рукой, и, поняв, что господа забавляются,



представляя войну, они чинно удалились. Майор, ничего не видя, продолжал свой рассказ:

— Со всех сторон к вечеру прорвались в Измаил колонны наши и зажали турецкий гарнизон. Комендант-паша убит, из конюшен вырвались бесноватые тысячи жеребцов, буря, адский огонь, безошибочный суворовский бой. Измаил наш. Свершилось дело, по аттестации самой императрицы, «едва ли в истории где находящееся». Кем совершено? Суворовым.

— Однако Екатерина даже фельдмаршала ему за него не дала... — начал было Воронихин.

Но майор, вытирая вспотевший лоб белым платком, взмахнул им, как флагом, прокричал:

— Интриги... зависть. Такова участь величайших благодетелей человечества — одарять его бескорыстнейше. А в смысле мелком, житейском, причина такова — большие обиды светлейший князь от Суворова терпел. В языке наш несдержан. Не однажды высмеивал Потемкина за леность, пиры и роскошество. Особливо утомил тот его вялостью, как расселся перед Очаковым и ни с места. Суворов и пустил известное всем словцо: «Одним поглядением крепостей не берут». Донесли. Еще и стишок он пустил: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу» — донесли. А после Измаила, своего неслыханного геройства, Суворов окончательно Потемкина оборвал. Тот ему сверху вниз, как со всеми привык говорить: «Чем могу я вас наградить?» А наш-то в ответ с изумлением: «Вы меня? Да ничем. От одного господа бога себе жду награды...» Дождался. Вместо фельдмаршальского жезла и почета его в Финляндию почти на штатскую службу государыня упекла. Однако все же Суворову было легче в Екатеринино царствование, чем сейчас. Царица его хоть не любила, да ценила, а Потемкин кое в чем одного с ним мнения насчет солдата был, что для Суворова важнее персонального к нему фавора. Потемкин облегчение солдату в амуниции сделал — «солдатский туалет таков, что встал да готов». А ныне-то: шагистика, фрунт, коса, шпицрутен, Сибирь... За непризнание таковой науки и посажен в Кончанское. Ну и отрубил он, как на камне вырезал, свой приговор подобным свыше распоряжением: «Строгость от прихоти есть тиранство».



— Что старое поминать, дорогой Иван Петрович,— примирительно сказал Воронихин,— сами говорили, сейчас Суворов опять вознесен будет. Опять понадобится России.

— И как бы мог не понадобиться, ежели он первейший полководец и первейший по качеству человек?— с гордостью и чувством закончил Дронин и, вдруг глянув на стенные часы, смешался.— Ах, батюшки, у меня ж свидание важное по поручению фельдмаршала. А я столь задержался...

— Из-за него же и задержались,— улыбнулся Воронихин.— Это простительно; будь я помоложе, после вашей блистательной ему аттестации непременно просился б к нему волонтером.

— На своем месте и вы, Андрей Никифорович, первейший хозяин, что ни постройте— гляди, на мраморной доске надлежит написать золотыми буквами, потомкам на память.

Крепкий, подвижной как ртуть, Дронин попрощался с Митей и Воронихиным рукопожатием сильной руки, словно передавая свое здоровье и свежесть чувств. Он позвал их обоих зайти к нему как-нибудь на днях посмотреть какой-то необычайной масти жеребца, интересного для живописной картины, и ушел быстрым военным шагом.

— Понравился тебе, Митя, мой земляк?

— Очень понравился,— улыбнулся Митя,— хандру он снимает. Повеселело, словно с ним вместе лесной воздух ворвался.

— А ты обратил внимание, Митя, на главную часть его рассказа, что таковым он совсем раньше не был, напротив того, аттестовал он себя погибавшим от разбития личной судьбы. Ведь это не кто иной, как Суворов его воскресил...

— Не пойму, куда вы клоните. Андрей Никифорович,— насторожился Митя,— ведь не в волонтеры же мне проситься к Суворову?

— Почему бы и нет,— сказал Воронихин своим приятным, слегка наставительным голосом,— если пребывание в его войсках превращает недоросля, разбитого жизнью, в отлично свинченного, нужного человека, каким оказался Иван Петрович Дронин. Еще сходим к нему, присмотрись. А то порекомендую тебя как подходящего художника, им в походах



весьма будешь кстати. А случится опасное дело — от него не откажешься, ты ведь, знаю, не трус. За время же твоего отсутствия, надеюсь, Маше добудем свободу, ко всеобщей радости. Ты можешь вернуться прославленным, с новым совсем положением. Чем судьба не шутит? — Воронихин взял Митю за руку. — Подумай-ка.

— А ежели буду убит, либо хуже того — изуродован?

— Я с судьбой не привык торговаться, — суховато отозвался Воронихин, — по мне всего лучше тут пословица: «Либо пан, либо пропал».

— Андрей Никифорович, простите, ежели дерзок покажется мой вопрос: я слышал, задача масонского ордена — создание высшей породы людей, лучших, чем обычные люди... Но как, в таком случае, члены подобного ордена терпеть могут рабство? Прошу вас, скажите, многие ли отпустили на волю своих крепостных?

Воронихин нахмурился. Митя попал в больное его место.

— Один Гамалея отпустил, — сказал он угрюмо, — один из всех нас он роздал свое имущество отпущенным на волю всем крепостным и остался гол как сокол. Последователей не нашлось.

— Но сейчас, Андрей Никифорович, во что сейчас вы верите?

— Только в лучшие будущие времена, — ответил со всей серьезностью Воронихин. — Не скоро, но таковые настанут. А сейчас вашему поколению надлежит самих себя создавать, людьми делаться такими, которые достойны будут принять новую, лучшую жизнь. И еще раз, Митя, совет: с твоей разбитостью, оставшись здесь, ты никуда не выберешься. Судьба предлагает тебе нежданную помощь — великий и доблестный пример человека, у которого слова не расходятся с делом. Воспользуйся не колеблясь.

Митя благодарно взглянул на Воронихина.

— Вы — как отец мне, Андрей Никифорович.





## Глава одиннадцатая

Денщик Прохор, вдруг отрезвевший после обеденной выпивки при виде лихой фельдъегерской тройки, свернувшей к дому Суворова, ворвался к нему в комнату и испуганно прошептал:

— Фельдъегерь жалуется...

Суворов сильно побледнел, забилося сердце, и в голове пронеслось: дождался.

— Открыть ворота!—приказал он.

И, не забыв заложить закладку, вышитую крестиком дочкой Наташей, на оборванном чтении любимой книги о деяниях Петра Великого, он прошел к теплой печке и стал прямо, словно во фрунт, прислонясь спиной к расписным изразцам.

Суворов недавно послал государю просьбу о разрешении идти ему в монастырь. Он был истомлен вынужденным бездействием ссылки, тоской и обидой на Павла, которому не мог помешать калечить на прусский образец любимое войско. «Каждый солдат мне дороже себя,—говорил, не скрываясь, Суворов,—а у нас он подчинен ныне прихотям и тиранству. За солдата я кого угодно себе воздвигну врагом».



И воздвиг — самого императора.

— Покажет он мне тихую обитель в сибирской тайге, — шептал Суворов, ожидая фельдъегеря.

Но вторично распахнулась дверь, и, улыбаясь восхищенно, Прохор возвестил:

— Обознался я. К нам генерал Толбухин приехали!

— Проси, проси... — И Суворов сам кинулся в прихожую.

Толбухин был одним из немногих приятных ему генералов, присылка его в Кончанское означала царскую милость. Не изгнание, а почет.

В передней обнялись. Сбрасывая на руки Прохору, теперь уже опьяневшему от счастья, обширную волчью шубу, которую не прошибают никакие морозы, сановитый Толбухин, уважительно поклонившись Суворову, произнес:

— С великой вас честью!

Войдя в горницу, он вручил большой пакет с царской печатью.

— Его императорского величества собственноручное вам письмо!

Суворов сломал печать и прочел послание Павла:

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитывать. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте от славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».

— Пригодился Суворов! — усмехнулся фельдмаршал. Глаза его загорелись веселым лукавством. — В монахи-то, пожалуй, мне отложить?

— Это Питт, английский премьер, предложил вас союзной армии, — сказал Толбухин, — а министр австрийский Тугут, слыхать, упирался. Боятся они вас, однако пришлось уступить.

— Тугут! — воскликнул Суворов, и слабый румянец вспыхнул на его тонком лице, где, как на лице Вольтера, ничего не было лишнего, мертвого, не выражавшего силы, мысли и воли. — Сия сова или сошла с ума, или его никогда у ней не было! Засел в своем гофкригсрате и оттуда, за сотни верст, мнит управлять своей армией. То-то французишки бьют их. И не зря они меня боятся: я ихнего венского кабинета



слушать не стану. И персонального себе профита австрийцы пусть не ждут от меня — я им не каштан-ный кот из огня каштаны таскать!

— Наши войска, согласно союзному договору, двинуты против Франции... — осторожно начал Толбухин, но Суворов быстро прервал:

— А коли двинуты — о чем и говорить? Теперь только нам побеждать во славу оружия русского! А сие возможно, ежели воевать будем по-русски, а не как нынче обучены все Тугутовы да и наши — по-пруски. Когда я молод был, мы Фридриха бить ходили, и аттестовал он нас так: московиты суть дикие орды. Зато после Кунерсдорфа редакцию изменил: этих русских, сказал он, можно всех до единого перебить, но не победить. А не он ли кричал, не помня себя, когда проиграл баталию: «Ужели для меня не найдется пули?»

И с обидой, заново вспыхнувшей, за свое возлюбленное войско, замученное павловской муштрой, Суворов выкрикнул:

— Ежели русские всегда били прусских, что ж и перенять нам у них?

Поужинали рано и пошли на покой. Выезжать надлежало на рассвете.

— Проша, — сказал, словно робея, Суворов, — ты бы у старосты в долг раздобыл. Путь-дорога нам дальняя, а у фельдмаршала денег-то...

— В кармане вошь на аркане — известное дело, — dokonчил Проша и пошел к Фомке, старосте. Достал двести рублей.

Всю дорогу Суворов погружен был в глубокую думу. Лицо его, пленявшее быстрой сменой выражений, как бы замерло. Большие веки прикрыли зоркие глаза, он весь ушел внутрь себя. Он готовился к великому бою... Несмотря на большой соблазн предложения Австрии, он твердо решил взять командование союзной армией только в том случае, если Павел не свяжет его никаким обязательством следовать в предстоящем итальянском походе его прусским затеям.

В свою очередь, и Павел немало волновался, ожидая Суворова. Прежде всего он боялся, что строптивый старик не поедет вовсе, и что же тогда с ним прикажете делать? Сейчас, ввиду внимания к нему всей коалиции, не ссылатъ же его, в самом деле, в Сибирь?



Со все растущей обидой вспомнил Павел, как в последнем свидании тщетно уламывал фельдмаршала вступить вновь на службу; как на разводе, куда Суворов был им приглашен, единственно из уважения к нему солдат пустили «в штыки», а Суворов развода не досмотрел и уехал раньше его, императора, явно придумав зазорный предлог: «Помилуй бог, схватило брюхо!» Припоминал Павел, шагая назад и вперед по опостылевшему покою Зимнего дворца, из которого все еще не удалось переехать в Михайловский замок, и все уже ставшие поговоркой народной издевательские словечки Суворова над введенной им формой одежды, над косой, треуголкой и пудрой. И как при встрече с ним Суворов нарочно не мог вылезти из дверцы кареты: все будто путался в ней со своей шпагой нового образца под приглушенный хохот придворных.

«И какой только силой этот старик побеждает, воюя противу всех воинских правил?» — с досадой спросил себя Павел. Тут же с радостью вспомнил отзыв завистливого царедворца, услышанный им на-медни: у Суворова не искусство военное, а чистый натурализм, сиречь — случай, безумие, счастье. Однако сей натурализм немалую нам снискал победу при матушке — под Рымником Суворов побил с двадцатью пятью тысячами сто турецких, а при Козлудже с восемью нашими вражеских сорок.

Павел подошел к высокому готическому шкафу, вынул старую книгу в кожаном переплете и сел в кресло. Он раскрыл Сен-Мартена на главе «О священной иерархии» и прочел знакомые страницы, которые неизменно подкрепляли его веру в свое высшее право и значение.

Выходило, что монарх — орудие самого бога, и на нем, после помазания на царство, как на лице духовном, почиет благодать.

«Коль скоро я не самовольно на троне, как моя покойная матушка, — гордо думал Павел, — я самим рождением моим поставлен над всеми, то сим правом обязан воспользоваться. Более того: обязан настаивать, хоть бы с применением силы, на исполнении воли моей».

А воля Павла была выражена еще в той записке, которую, будучи наследником, он подавал Екатерине о необходимости ограничить людей, от фельдмаршала до рядового, столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли.



Тем более сейчас больная душа его находила недостающую ей опору в механичности порядка, доведенного до того предела, где и лишний вздох становится проступком.

А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышание объявлял: «Действуй неустанно собственным разумом — будешь жив, человек!»

Усилием воли Павел отогнал от себя распалявшие гнев воспоминания о Суворове. Сейчас все-таки самое главное — чтобы он приехал.

Наконец бешено примчавшийся курьер, предваряя фельдъегерскую тройку, привез известие, что фельдмаршал вот-вот прибудет в Петербург.

У Павла отлегло от сердца — не посмел послушаться! Но тут же привычная подозрительность влила свою отраву:

«За легкими лаврами старик поспешил, думает, за горами мне его не достать. А ну, как разложит он мне самовольством всю армию? Досмотр за ним нужен, досмотр...»

И Павел велел призвать к себе генерала Германа.

Недаровитый, старательный служака, этот генерал, всем подтянутым видом отвечавший требованиям Павла, изобразил на тусклом лице своем одну готовность слушать и исполнять.

Павел сказал:

— Венский двор просил меня начальство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы будете все время его командования иметь за ним наблюдение и соответственно делать доклады об оном. Не допускайте его увлекаться своим воображением, заставляющим его забывать все на свете.

— Ваше величество, — оторопев от испуга, сказал Герман, — но фельдмаршал ведь всемирно прославлен победами, и ему шестьдесят девять лет...

— Нет ему возраста, — оборвал Павел, — а его своеволию нет предела. Исполнять, что приказано!

Доложили Суворова. Павел, сильно волнуясь, сделал несколько шагов на середину покоя. Суворов вошел.

Обычная легкость его существа от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крылатой. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захочет, может взлететь. Гармоничность его



быстрых мелких движений и соразмерность всех членов создавали впечатление отлично подогнанного легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гибкой крепостью стали.

От нервного возбуждения сейчас особо подчеркнут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превышающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что сказать.

Суворов поклонился согласно этикету, но заговорил первый:

— Ваше величество! Во славу моей родины приношу жизнь мою и все мои знания. Но слушаться гофкригсрата — воля ваша — не стану! За тысячу верст невозможно баталией руководить. Одна минута решает исход. Один час — успех кампании. Один день — судьбу империи. Коли я полководец — сам действую, сам решаю, сам отвечаю.

Павел сделал еще шаг к Суворову и внезапно для себя самого вдруг сказал:

— Воюй как умеешь...

Очень скоро Суворов уже неся в дорожной кибитке в Вену с неизменным своим спутником, денщиком Прошкой.

После прощальных возлияний с приятелями Прохор мирно похрапывал, а Суворов никак не мог успокоиться на кожаных подушках сиденья: то он вскакивал, наклоняясь вперед, как бы стремясь еще ускорить бег коней, то, взобравшись высоко, говорил сам себе:

— «Воюй как умеешь» — вот это дело! Ну и повоюем же мы...

Прохор проснулся и ворчливо сказал:

— И мягко, кажись, вам и тепло. Чего еще требуется? А человеку из-за вас не вздремнуть.

— Торжествуй, Проша, — Суворов хлопнул денщика по колену, — первая наша победа одержана. Как в поход тронемся, окаянную косу всем прочь!

— И дело, — согласился Прохор, зевая, — давно б ее крысам сожрать.

Митя уехал с Дрониным вслед Суворову.

Он виделся с Машей перед своим отъездом на плацу Коннетабля после развода. Случилось так, что



Павел как-то, внезапно обернувшись, увидал смотревшую на развод Настеньку Берилеву, лично известную ему балерину. Вместе с подругой она прибежала сюда к своему воздыхателю на свидание, но государь пришел раньше обычного и, подбежав к балерине, грозно спросил: «Вам что здесь надо, сударыня?»

— Ваше величество, мы пришли любоваться, влекомые красотой сего военного зрелища,— окунаясь в придворном реверансе, сказали обе подруги.

Павел улыбнулся, и на завтра императорский балет получил приказ ежедневно присылать наряд балерин присутствовать при разводе, если он столь сильно их восхищает. Немало досталось от подруг Настеньке Берилевой. Однако воля государя священна, и несчастные балерины, проклиная разводы и парады, принуждены были вставать еще раньше, дабы не явиться после государя. Пока Гертруда была заступницей Маши, ее не назначали на это досадное дежурство, но едва стало известно, что положение ее заколебалось, точас ее зачислили в список «разводных» балерин. Митя узнал, что Маша должна быть в «наряде», и поторопился увидеть ее по дороге домой.

Маша была предупреждена Митиной запиской о том, что ему необходимо ее повидать. Сильно волнуясь, она незаметно отстала от подруг, обещавших скрыть от надзирательницы ее недолгое отсутствие, и села на скамью под одну из древних елизаветинских лип, только что скинувшую зимний снег и особо отчетливо на бледно-голубом небе выделявшую сложный рисунок черных ветвей.

Воронихин рассказал ей, что Митя счастлив, узнав про ее действительные отношения с князем Игреевым. Но Машу это не обрадовало, как можно было бы ожидать. Ее гордость была задета, и сейчас, ожидая Митю, она, несмотря на счастье опять увидеть его, говорить с ним, горько думала о том, сколько примеси самолюбия в мужской любви.

— Ты меня простила... пришла?— сказал незаметно подошедший Митя, опускаясь рядом с ней на скамью и беря ее за руку.— Отчего же я должен был узнать от других, а не от тебя самой, что ты не состоишь в фаворитках Игреева?— с нежным упреком вымолвил Митя, вглядываясь жадно в похудевшее, но ставшее еще прекраснее лицо Маши.



Маша, слегка покраснев, сказала:

— Судьба моя и сейчас на волоске; как и раньше, я завишу от прихоти князя. На мое счастье, он стал увлекаться Тугариной, а у нее расчет — за него выйти замуж. Но все может опять измениться. Словом, счастья со мной я тебе не могу обещать, — сказала она со своей особой грациозной улыбкой, — но фавориткой княжеской я не стану, в этом теперь можешь быть уверен, — жизнь для меня уже потеряла заманчивость.

— А искусство? Оно ведь ревниво, ему надо всем жертвовать, — горячо спросил Митя, пытливо смотря в ее умные, усталые глаза.

— Если нельзя будет мне проявить это искусство, не замаравшись в грязи, — я и без сцены могу обойтись.

— Безмерно люблю тебя, Маша. Прости меня, прости, — и Митя, охваченный горьким раскаянием, целовал Машину руку, — разреши мне, как раньше, считать тебя моей нареченной невестой. И когда я вернусь, мы женимся, Маша.

Маша быстро повернулась, спросила в волнении:

— Ты уедешь? Куда и зачем?

Митя рассказал ей о знакомстве с майором Дрониным, о совете Воронихина, о все растущей своей уверенности, что ради грядущей их судьбы ему необходимо сейчас уехать в армию.

— Я боюсь за себя, если останусь здесь, — сказал, побледнев, Митя, — я дольше не могу вынести этого ужасного ожидания, я убью Игреева или себя. Если бы мое присутствие могло помочь тебе, Маша...

— Нет, — поспешно прервала Маша, — мне будет легче, когда ты уедешь, Митя! Пока я не свободна, нам видется только мука.

Еще раз Митя встретился со своей невестой у Воронихина, куда пришел и Дронин, очень полюбивший Митю. Он поведал Маше, что считает ее жениха своим младшим братом и в случае какой с ним беды немедленно ее известит.

Митя и Дронин догнали Суворова в Митаве, где он на некоторое время остановился. В этом городе поселен был сейчас Павлом бежавший из Франции брат казненного короля, претендент на французский престол — Людовик Восемнадцатый. Представляться Суворову явились все придворные чины и в ожидании



его появления занялись пересудами на его счет. Опасались, не явится ли старость помехою для снискания ему новых лавров, а России — победы. Некто, недалекого ума, позволил себе через переводчика допрашивать Прошку, какие именно медикаменты употребляет его барин, чтобы от дряхлости не дремать на коне?

— Пусть у него самого спрашивают, — велел переводчику ответить Прохор, — он им покажет кузькину мать! — И, найдя маловразумительным свой ответ, добавил еще несколько русских слов.

Последние, как и «кузькину мать», переводчик перевести не сумел. Прохор не настаивал и отправился к фельдмаршалу с докладом:

— Ответь, батюшка, им по-свойски.

— Сейчас, Прошенька, я отвечу, — согласился Суворов, и не успел тот ахнуть, как фельдмаршал, широко распахнув обе двери приемной и представ перед парадными мундирами в одном нижнем белье, громогласно возгласил:

— Суворов сейчас начнет свой прием!

Дамы в обморок: он в одном нижнем! Мужчины возмущены: выжил из ума, он погубит армию...

Прохор сел на пол и гоготал:

— Ерой наш фельдмаршал, чистый ерой. Такого не было и не будет. Он врага в штык возьмет, он портками дуракам рот заткнет.

Митя был глубоко растроган, когда в Вильно, где стоял любимый суворовский Фанагорийский полк, к Суворову от имени всех солдат обратился гренадер Кабанов и просил его взять с собою весь полк в Италию.

Суворов, который особенно любил своих фанагорийцев, тоже расчувствовался, но принужден был отказать, потому что только один государь мог дать просимое назначение.

Митя чувствовал себя как бы вновь рожденным в чьем-то здоровом, молодом, налитом бодростью теле. Порой сердце ныло при воспоминании о Маше — не затаила ль обиду? Не груб ли он для ее гордого нрава со своей ревностью? Не нужно ли было еще раз повидаться? «Нет, — прерывал он себя, — каждая встреча — новое страдание. Суждено быть вместе — мы будем. А нет — отрубить лучше сразу...»



И Митя, кроме необходимых зарисовок, указываемых ему Дрониным, сначала — чтобы забыться от непосильной тяжести, но вскоре увлекшись самим делом, упражнялся так усердно заодно с молодыми солдатами, что Суворов, узнавший от Дронина его историю, как-то сказал ему:

— А ты, братец, как будто не столь Аполлону, как нашему Марсу привержен? Что же, в атаку возьмем.

— В обозе не спрячусь, — ответил весело Митя.

Дронин все сильнее привязывался к Мите, найдя в нем себе нежданное обогащающее дополнение. При всей бурности темперамента Дронин души был простой и бесхитростной, а жажда Мити найти разрешение вопросов, которые ему и в голову не приходили, и занимала его и вызывала в нем уважение к молодому другу.

Митя жадно выпрашивал Дронина о предстоящей кампании, об отношении австрийцев к Суворову и скоро составил себе ясное понятие о новом, военном мире, куда попал нежданно-негаданно, как во сне.

Митя проникался все большей любовью к изумительному человеку и полководцу, которого теперь мог наблюдать своими глазами. Он знал от Дронина, как догадливо определил претендент на французский престол чудачества Суворова: «Это расчет ума тонкого и дальновидного», — и сам, присмотревшись, решил, что определение это правильно; оно было ключом к непостижимо для австрийцев поведению Суворова в Вене.

Кто для гофкригсрата был русский полководец? Чудак, дикарь, не умеющий вести войну по правилам, но которому непостижимо сопутствовала многократно проверенная удача.

Хотя высшая австрийская военная инстанция назначила Суворова главнокомандующим соединенной армии только благодаря настояниям Питта, однако в Вене создали не только внешний почет, но и оказали уважение общеизвестным причудам фельдмаршала.

Во дворце, где он был помещен, занавесили зеркала, для постели ему на узорный паркет, натертый до блеска, принесли охапку душистого сена. Не уставали лицемерно и преувеличенно восхищаться суровым распределением рабочего дня фельдмаршала. Вставал Суворов, как всегда дома, в четыре часа, обливался



ледяной водой и в восемь уже обедал весьма скромными яствами. Он не посещал раутов, ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, опасаясь нарваться на отказ, Суворова к себе и не пригласил.

Особенно торжествовал Митя, когда слушал рассказ Дронина о том, как явились к Суворову члены гофкригсрата, о котором он говорил обычно, расчленив насмешливо длинейшее слово на три составные и сопровождая каждое либо припрыжкой, либо преувеличенно уважительной гримасой:

— Придворный военный совет. Сиречь: гофкригсрат!

Этот вот кригсрат предложил Суворову изложить подробно весь план своей кампании. Фельдмаршал увернулся, объявив, что планы у него появляются только на месте баталии, соответственно создавшимся обстоятельствам. Тогда австрийцы принесли план собственный, где конечной целью кампании намечено было оттеснение французов к реке Адде.

Дронин по секрету поведал Мите:

— А старик наш такой быстрый — хватать карандаш да по австрийскому плану крест-накрест. Закрестил его, как нечистую силу, отошел и, гордо подняв свой хохолок, говорит: «А я только и воевать начну с этой вашей Адды, а уж кончу где бог повелит!» У самого же, ей-богу, давно готов план, только горе-генералам австрийским, которые все битвы пока что проиграли, его поведать не хочет. «Вороны, говорит, они все, хоть и ученые. Поведай я им, а завтра мой план французы от них же узнают».

Однако при прощании первый министр все-таки ухитрился вручить Суворову несносную инструкцию императора Франца — приказ сообщать в Вену не только действия, но и военные предположения...

— Это сова сумасшедшая, Тугут, натугутил! — фыркнул Суворов. — Они бы еще с луны затеяли руководство боями.

Из Вены Суворов и все русские двинулись в действующую армию. Во власти Суворова были австрийцы под командою старого генерала, «папаши Меласа». Французы двигались с талантливым Макдональдом и нелюбимым солдатами старым генералом Шерером.

Тихоходная австрийская армия под нажимом Суворова сразу преобразилась. Он вдвое увеличил днев-



ной переход, и что русским было привычно, для австрийцев превратилось в пытку. Обувь скоро развалилась, шли босые, неустанно жалуясь на жестокие требования главнокомандующего. Русские же солдаты, освобожденные от ненавистных кос, заметно повеселели и рвались вперед. Пока без боев подошли к Вероне. Французы раздражали своими грабежами население, и потому Суворов встречен был как освободитель: веронцы выпрягли из коляски его лошадей и на себе ввезли в город.

В Вероне Суворов принял командование союзной армией. Дронин усадил Митю с его альбомом так, чтобы он не проронил ни одного выражения необыкновенного лица Суворова, которое во время церемонии приема то и дело менялось. Старый воин генерал Розенберг по очереди представлял ему главных австрийских начальников и всех русских. У Суворова уже о каждом было свое мнение, каждому сделан учет заслуг и дарований, но он сделал вид, будто видит представляющихся ему впервые. Суворов вытянулся нарочно церемонно, словно стоял во фронту, и закрыл глаза. Прозрачные старческие его веки чуть дрожали, порой выглядывал из уголка насмешливый, острый зрачок.

Розенберг называл фамилии людей, не обладавших особыми дарованиями, тусклых, в лучшем случае усвоивших звание механизированной военной науки, тупозрячих австрийцев, либо гатчинских молодцов, за отличием и чинами поспешивших на войну да попутно чтобы выследить и доложить государю все промахи фельдмаршала против предписанных мелочных правил введенного Павлом устава. Самовольник-фельдмаршал — твердо знали они — как был, так и остался негоден императору и только в силу необходимости вызван из ссылки на высокий пост: по настоянию Англии, в угоду вспыхнувшему тщеславию самого императора, объявившего придворным, что «русские всегда пригождаются». Пока фамилии называемых Розенбергом людей не вызывали уважения Суворова, он, как бы тихо изумившись, однако явственно, во всеуслышание восклицал:

— Помилуй бог, никогда не слыхал... познакомимся.

Проглотив горькую пилюлю, однако хорохорясь и пряча до подходящей расплаты свою обиду, началь-



ники, поклонившись, шли мимо, а Дронин шептал Мите, увлеченному своими набросками:

— Еще один враг готов... Эх, свалят они его, как злые осы медведя!

Зато едва попадался воин, любящий свое дело, глаза старика загорались горячим приветом. При появлении же молодого Багратиона сам фельдмаршал вмиг помолодел и кинулся к нему с объятиями.

После приема все ждали от главнокомандующего парадной и пышной речи, в которой, как обычно в таких случаях, для поощрения участников возлагаются на них словесно те и другие преувеличенные надежды с перечислением предполагаемых достоинств.

Митя, не однажды слыхавший из уст Суворова, что слова потребны лишь для крайней необходимости, а память должна удерживать лишь то, что говорит рассудок, все же прочее — болтовня, лишний хлам, — оставив свой альбом, вытянувшись за спинами генералов, с любопытством ждал, как сейчас обнаружится Суворов.

А он, пренебрегая важной неподвижностью, которая, по представлению австрийцев, была выражением собственного достоинства, быстрый, легкий, заметался вдруг по комнате, словно наглядно сбрасывая с себя все те лишние, не решающие дела слова, которых, знал он, все от него ждали. И вдруг остановившись, произнес то единственное, что почитал нужным. Говорить лишнее было ему столь нестерпимо, что он просто повторил всему генералитету те руководящие слова, которые уже были им найдены и закреплены в его «Словесном поучении солдатам». Их он и просыпал частым градом на почтительно склоненные головы начальников.

— Субординация, экзерциция, чистота, здоровье, бодрость, смелость, храбрость, победа. И — каждый воин должен понимать свой маневр.

Австрийцы, почитая, что они давно превзошли гораздо сложнейшую военную науку, обиделись и послали в Вену не один донос на самодура-фельдмаршала.

Митя досаждал Дронину своим возмущением австрийцами и восхищением фельдмаршалом, который, невзирая на общее недовольство, приналег на обуче-



ние союзников и вдохновенно вдалбливал свою боевую суворовскую азбуку «тупозрячим».

Все реже брал теперь Митя карандаш в руки, все серьезнее упражнялся со штыком. То, что не было первой необходимостью в ожидании предстоящих боев, отодвинулось, стало казаться неважным. Он словно вышел из тяжелой болезни и вновь приобрел утраченную простоту детских лет, когда нет еще груза сомнений, когда поступки предначертаны и ясны.

Около половины марта великий князь Константин выехал в армию Суворова. Он давно порывался на войну, но Павел ему сказал:

— Голицын ведет вспомогательный корпус, состоящий на жалованье у Англии, а корпус Розенберга на таковом же положении у Австрии; я бы не хотел, чтобы русский великий князь стал участником такого похода.

Но вот образовалась суворовская армия, которую льстиво именовали «спасительницей Европы». Она снаряжалась на свои, русские средства, и Павел с особым удовольствием отпустил туда сына.

Константин выехал волонтером с небольшой свитой, главным приставленным к нему был один из лучших екатерининских генералов, Дерфельден. Этот же Дерфельден назначен был Павлом в случае смерти Суворова ему преемником.

Константину было всего двадцать лет. Он рос под торжественной сенью оды Державина, еще до рождения приветствовавшего его как «носителя шлема». Поэт шел навстречу мечтам императрицы Екатерины — воспитать второго внука императором греческим, почему и ожидало его преемственное имя Константин, уже украсившее двух доблестных императоров. В десять лет, однако, «носитель шлема» еще не умел бегло читать, а когда ему минуло пятнадцать, многотерпеливый великокняжеский наставник Лагарп, указывая Екатерине на всю бесполезность занятий со своим младшим питомцем, просил его уволить от этого дела. И до наук ли было, если шестнадцати лет этот великий князь уже женился. Однако тот же справедливый Лагарп отмечал, что в характере Константина заложены зачатки добродетелей и талантов, превышающие обычный уровень, но недостатки его неодолимо препятствуют развитию сих добрых качеств...



Но если к наукам у Константина было решительное отвращение, скоро он сделался усердным служакою, крайне требовательным и подчас даже жестоким к солдатам своей роты. Унаследованная от отца неуравновешенность и бешеная вспыльчивость доводили его до такого самовластия, что имеющие с ним дело военные высших чинов должны были припугивать его военным судом и собственным родителем, которого он трепетал. Однако, подтягивая самолично ослабевшие ремни ранцев у молодых солдат, не мог воздержаться, чтобы не дать им походя зуботычины...

Этого сына, с одной стороны — отличного выученика ненавистной Суворову гатчинской школы, с другой — обладавшего ничем не укротимым своеволием, Павел не без тайного злорадства послал к Суворову, отлично зная, как его присутствие может стеснить главнокомандующего.

Суворов ждал Константина с великим неудовлетворением. Помимо невыгодного личного впечатления, он помнил отрывки из записок сего «носителя шлема», где выступала вся его убогая военная философия, совершенно противная основным положениям суворовского «Словесного поучения солдатам».

Константин полагал, что «причуда» начальника должна сделать своего подчиненного слугой, который может быть «употреблен на всё».

Великий князь, как и недавно приехавший Суворов, остановился в Митаве, где его угощал парадным обедом брат казенного короля и где с французским остроумием ему рассказаны были пресмешные вещи про Суворова, которого он тайно боялся.

Выход Суворова в одном нижнем белье, с молниеносной сменой его же и появлением в полной парадной форме, для наглядного опровержения старческой дряхлости, пленил Константина, и показалось ему в глупой заносчивости, что его собственное самодовольство чем-то сродни причудам главнокомандующего. И если Суворову лестно было доказать перед нарядной приемной, что он не мокрая курица, а орел, он оценит и ту безоглядную храбрость, которую он, царский сын, собирается проявить.

На последней станции перед Веной великого князя встретил его родной дядя, герцог Вюртембергский, губернатор Вены. Он с ужасом рассказал племяннику



про все капризы фельдмаршала, напугавшие австрийский двор: как он во дворце сделал себе сеновал и как повел образ жизни, более приличный настоятелю монастыря, нежели полководцу, имеющему общение с коронованными особами.

Константин хохотал:

— Это он нарочно, чтобы показать, что ему на всех вас наплевать...

Однако ему было лестно, что сам он ежедневно обедает с императором во дворце, что русский посол Андрей Разумовский в его честь устраивает в своем великолепном доме на Пратере рауты, концерты, что когда он появился в театре, то был встречен вставанием и единодушными рукоплесканиями.

И мало-помалу потерявшему голову от почестей Константину стало казаться, что главнокомандующий армией не только один Суворов, но и он сам как-то не менее важен.

Он было собрался пожить в веселой Вене, но Дерфельден заторопил его, пугая, что Суворов так скоро порешит, по своему обыкновению, с врагами, что на долю великого князя и побед не оставит. Взбалмошная голова Константина полна была одним желанием отличиться, и, оставив Вену, он явился в корпус генерала Розенберга, который находился вблизи Валенцы.

Узнав, что около Валенцы большое скопление французских войск, а сам город сейчас для общего плана войны брать неважно, Суворов предписал Розенбергу срочное отступление. Только что появившийся Константин, считая, что подходящий случай ему прославиться наступил, стал требовать атаки Валенцы. На Розенберга он подействовал насмешкой:

— Вы привыкли служить в Крыму, там были спокойны и неприятеля в глаза не видали!

И старый генерал, как тщеславный мальчик, послушался главнокомандующего и пошел на французов.

Константин рвался вперед без оглядки и чуть было не погиб в реке. Благодаря его запальчивости и малодушию генерала бой при деревне Бассиньяно был проигран. Русские совершенно зря потеряли около полутора тысяч человек и два орудия.

Суворов был в ярости. Он послал вторичный приказ отступить с собственной отметкой Розенбергу:



«Сие немедля исполните или подлежите военному суду».

Розенберг, гонимый превосходными силами французов, отступил в беспорядке, и Суворов принужден был сам поспешить ему на помощь.

Все ожидали, как встретит Суворов великого князя, который должен был после проигранного боя явиться к нему.

Суворов встретил Константина, строго соблюдая предписываемый в сем случае этикет. Он вышел к нему навстречу, склоняясь, быть может несколько подчеркнуто, ниже, чем следовало.

Константин, выглядевший гораздо старше своих лет, коренастый, словно налитый тяжестью, раскаяния и страха не проявлял. Он только против обыкновения не сутулился, а напряженно выставил голову, будто собирался бодаться своими дремучими, кустистыми бровями цвета спелой соломы.

Суворов впустил великого князя и собственноручно запер за ним дверь. Быстро оглядел, не задержался ли где Прошка подслушивать, и близко подошел к Константину.

— Легкую захотели себе, сударь, победу? — гневно начал он и на попытку великого князя что-то ответить с такой силой не то что крикнул, а напротив того, прошептал: — Молчать! — что Константин оробел. — Легкую победу, да нелегкой ценой! Уложил зря полторы тысячи человек. Солдат дорог! — крикнул Суворов. — Забота о чести русского оружия, забота о людях, кои вам вверены, — вот долг. А вам? Что вам, сударь, доступно?

Суворов отошел и вдруг подбежал так близко, что вытянувшийся по швам Константин заморгал часто-часто рыжими ресницами и его большие голубые глаза непроизвольно налились слезами.

Суворов, как бы бросая круглые камни в тихую воду, сказал, отчеканивая каждое слово:

— До сей поры вам свойственна была лишь строгость по прихоти, то есть тиранство. Вместо истинной военной науки вам известны бахвальство, шагистика, фрунт... А что солдата губить — негодяйство, вы об этом когда-либо думали? На всю жизнь за солдата ответ. Нельзя, государь, жить негодяем, ежели именуется — человек!



Не страх, лишавший всех чувств, как это бывало при гневe родного отца — императора, не то позорное чувство собаки, которую убить может хозяин, — нет, нечто расширяющее душу, нечто вдруг вызывающее ее лучшие качества ощутил Константин перед этим невысоким, словно бы тщедушным человеком, который, не боясь ответа, немилости, Сибири, говорил с ним, царским сыном, как власть имеющий.

— Да будет вам стыдно от упреков собственной совести, — приказал Суворов, и Константину стало стыдно, хоть провалиться.

Впервые, потрясенный, ощутил он, что, кроме грубой физической силы, которую он так ценил в других и которой гордился в самом себе, была еще и сила превосходнейшая, источником которой были ум, сердце, благородство воли.

— Простите... — прошептал Константин и заплакал. Голова его низко склонилась. В размягченной душе пронеслось: «Вот если бы батюшка был таков, и я б стал иной».

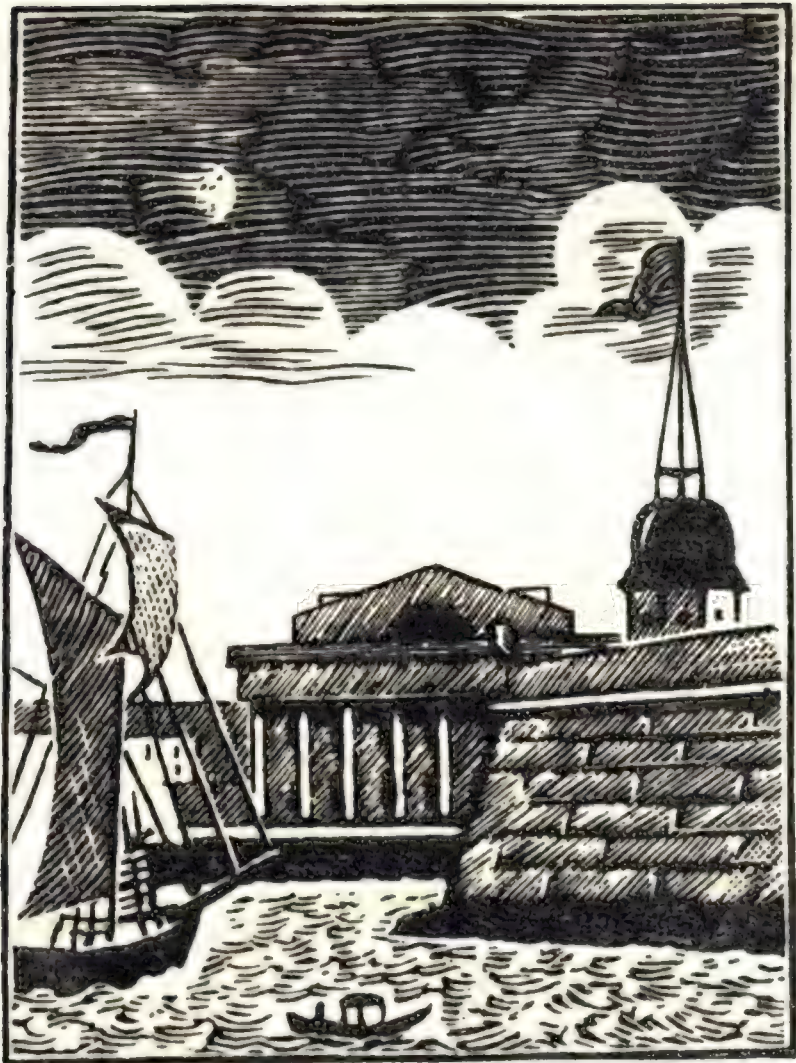
Суворов поспешно опять подошел, чуть коснулся жестких крутых рыжеватых волос Константина и совершенно другим, большой доброты отеческим голосом вымолвил:

— Запомни же... навсегда.

Суворов открыл дверь и, как при встрече, изгибаясь в придворных поклонах, оказывая Константину как великому князю подобающую честь, провел молодого человека с заплаканным лицом несколько шагов вперед. Затем, повернувшись к свите великого князя, стоявшей в испуганном изумлении, с тихой яростью отчетливо вымолвил:

— А вы? Да ежели в другой раз не удержите, на расправу вас всех к государю! Что ежели б великого князя взяли в плен? Невыгодный заключать мир с французами? А если бы, помилуй бог, убили? Мне ли его переживать? А кто кампанию выиграет? То-то! Мальчишки...





## Глава двенадцатая

Новая большая работа, как всегда, вызвала величайшее напряжение сил Баженова, но здоровье уже было плохо, и угнетала мысль, что и этой последней большой работе предстоит та же участь, которая постигла его великие неосуществленные проекты.

Головокружения с потерей сознания наступали все чаще, тоска глушила последние надежды. Все чувствовали, что близок конец его многострадальной и доблестной жизни.

Но сколь ни были готовы к этой мысли, когда второго августа 1799 года паралич сердца вызвал внезапную смерть Василия Ивановича, горе преданной Грушеньки было безгранично. У Воронихина, кроме скорби от утраты великого друга, открытой раной осталась обида против злого рока, как бы положившего заклятие на все завершения гениальных начинаний Баженова.

— С его смертью в Академии, конечно, все будет по-старому, — сказал с горечью Воронихин, входя вместе с Карлом в свой кабинет.



Они только что вернулись с похорон. Без особого приглашения Карл безмолвно пошел за Андреем Никифоровичем,—так само собой вышло, что сейчас им невозможно было разлучиться.

— Осиротели мы,—вырвалось у Карла.

— Когда большой человек умирает, сила и воля его как бы прилагаются сознанию тех, кто их способен принять. В них продолжится его творческая жизнь. Вот оно — бессмертие.

Воронихин сказал эти слова строго и властно, и Карл невольно склонил голову.

— И самое главное, запомни, Шарло,—положил Воронихин свою руку на плечо Карла Росси,—запомни золотые слова Баженова при закладке Кремлевского дворца: «Думают некоторые, что и архитектура, как одежда, входит и выходит из моды, но как логика, физика, математика не подвержены моде, так и архитектура...» Цивилизации возникают и рушатся, верования, которые питали веками человечество, заменяются новыми или исчезают совсем. Роковыми в жизни каждого человека являются разочарования, утраты, непосильное утомление бессмысленной пестротой жизни. На что устремить взоры? Где незыблемость, а с ней необходимый покой? Я понимаю, Шарло,—продолжал Воронихин, по своему обычаю при волнении начав ходить вдоль комнаты,—не тот сонливый, бездельный покой, в который легко впадают старики и ленивцы, а божественный покой творца, необходимый для новых зачатий. Зачинать и рождать — от форм простейших до тех, несущих благодеяние всему человечеству, вносящих в мир новое,—есть первейший из законов земли. А обладать творческим покоем — первое условие для выполнения этого закона. И вот, Шарло, что хотел Баженов выразить, передать потомству как помощь, как опору в личной судьбе и работе, когда он сказал: «Архитектура, как логика, физика, математика...»

— И есть та незыблемость, которая утешает, дает питание не только уму, но и сердцу! — восторженно закончил Росси.— Я это сам знаю с детства, Андрей Никифорович, только не сумел бы так выразить, как вы сейчас. В больших огорчениях я, бывало, открывал геометрию,—доверчиво признался он,—и, как от



созерцания Акрополя или картины да Винчи, великий покой исцелял мое горе.

— И всех людей, дорогой Шарло, надлежит нам этому научить. Получить от искусства не только радость для глаз, но вот эту опору в жизни, эту отраду мысли в незыблемом. Тем более что выбранное нами с тобой искусство — архитектура — есть искусство все-народное. Послужим ему достойно, по примеру великого Баженова.

— Вот и справили мы ему поминки,— сказал растроганный Росси.

— А теперь, Шарло...— Воронихин замаялся. Твердые глаза его затуманились.— После этих поминок, которые должны вызвать в нас все лучшее и сильнейшее, я хочу сказать себе одному печальную весть.

— О Мите?— воскликнул Карл.— Неужто убит?

— Митя не убит, но тяжело ранен в сражение под Нови. Вот его последние рисунки, присланные Дрониным для тебя и Маши. Прочти письмо майора, посмотри весь пакет. Оставляю тебя одного...

Несколько больших рисунков акварелью и тушью были вложены в тетрадь, исписанную крупным почерком майора Дронова. Это были его пояснения к рисункам Мити, с подробностями передающие темы зарисовок. Начиналась тетрадь письмом к Воронихину:

«Андрей Никифорович, друг и благодетель, слов моих нет, чтобы выразить мое горе: Митеньке, названному брату моему, преславному художнику нашему, в сражение под Нови оторвало ядром правую руку. Укрытый почтенным русским тамошним жителем, Митя в конце концов был доставлен в наш госпиталь. Сии рисунки его, последние в жизни, просит он передать известной вам Маше и другу своему Карлу Росси. Жизнь Мити вне опасности, но руки нет и нет, чем весьма удручен, но чаятельно мне — он справится. Ибо по богатству души своей не только склонность к искусству имеет, но и великую заботу о людях крепостного сословия: не перст ли это судьбы, вымолвил он намерении, чтобы не быть мне художником, а лишь борцом за обиженных?

Курьер, который передаст вам сей пакет, воротится скоро обратно с рескриптом государя нашему Суворо-



ву. Тяжело раненные, среди коих обретається Митя, будут вскорости переведены в доступный посещению городок Богемии. Если Маша захочет, ей возможно туда приехать с упомянутым курьером. Многие жены, переодетые в мужское, уже пребывают здесь при мужьях, хитро укрываясь от ока гнева начальствующих. А сейчас ей и сего укрытия не понадобится... Хотя я Машеньку видел однажды, но столь необыкновенная сила характера заключена в ее привлекательной внешности, что разрешил я себе, старый мечтатель, допустить предположение: благородная Машенька не замедлит пролить бальзам на отчаянное заявление художника, будто для безрукого взаимная любовь — предерзкое самообольщение. Во всяком случае, приказал он мне написать, что освобождает невесту Машеньку от данного ему слова. С упованием, что оной свободы она не восхочет,

известный вам майор *Дронин*».

Толстая тетрадка, исписанная крупным почерком майора, адресована была Карлу, и на первой странице ее вместо вступления говорилось:

«Юный Митенькин друг и, смею надеяться, в той же мере и мой, обращаюсь к вам с просьбой прочесть лично Машеньке вслух прилагаемые пояснения рисунков Мити. Сами увидите, что выразительность их говорит за себя, но, желая перенести ваше воображение в испытанные нами бои и события, я для верности заново здесь условия, их предваряющие и последующие, дабы запечатленный Митиным карандашом момент не являлся для вас некоей случайностью. Длинноты рассказа, свойственные немолодому воину на отдыхе (каким я ныне являюсь вследствие обмороженных ног при последнем переходе), скучные для юного слуха, прошу сократить, а грубые выражения, возможно, проскочившие без моего ведома в мою речь, усердно прошу заменить выражениями деликатными.

Приступаю к картине первой, где великий наш Суворов, без шляпы, засучив рукава, лезет в воду заодно с понтонерами. Начинаю повествование со середины апреля... Объявлено общее наступление, и главнокомандующий погнал нас вперед, что на зайца борзых. Ну, всплакались тотчас австрийцы — сия



гоньба превышает-де наше достоинство. Сделав принудительный переход некоей речки под проливным дождем, обиделся сам старьй п..... Мелас, австрийский главнокомандующий (Машеньке прочтите: «папаша Мелас», выйдет пристойнее, чем многоточие солдатской нашей клички). Доведено было сие роптание до Суворова, и он задирачительно отвечал: «Ежели ваша пехота боится ножки мочить, пусть остается в тылу с сухими портянками». Австрияки снаушничали в Вену, фельдмаршал получил замечание и уже без сомнения сказал:

— Видать, мне придется вести тут войну на два фронта.

Однако на реку Адду, не посмотрев на дожди, опять двинул нас круче прежнего. Понтонеры размокли, болеют, чуть тянут мосты. Тут Суворов ка-ак вскочит сам в воду. А Митя — за карандаш и закрепил дело. И ведь не для видимости дал Суворов саперам пример — он лучше их, оказалось, науку ихнюю знает и сметкой всех превзошел. И весельй какой! Известие принесли, что неудачника, старого генерала, сменил блестящий Моро, что, понятно, усилит врага, а Суворову только любо:

— Ту старую перечницу, — говорит, — нам разбивать мало славы, у Моро же лавры позеленей.

И, конечно, Моро сразу стал исправлять глупость той старой перечницы — стягивать фронт, который тот зря растянул. Однако шалишь, на это Суворов времени не дал. И сколь ни храбры были с новым генералом французы, мы перешли Рубикон... то бишь реку Адду.

А вот момент второй Митиной работы: генералу Серюрье наш главнокомандующий отдает его шпагу и отпускает на честное слово домой (с обещанием, что воевать против нас не будет). Генерал этот был взят с целой дивизией. Обратите внимание, сколь любезно и с тем вместе кусательно говорит ему, протягивая отнятое оружие, Суворов:

— Не могу лишить шпаги того, кто столь славно ею владеет.

Зацепило генерала, ну он петушится:

— Атака ваша была построена на недопустимом в военной науке риске. Это простой случай, что вы победили.



Вот гляньте на следующий рисунок, как у Суворова от скрытого смеха дрожит все лицо, насмешкой искрятся глаза, а говорит он нарочито казанской такой сиротой:

— Что поделаешь, так уж мы, русские, воюем: коль не штыком, так кулаком. Я еще из лучших.

А вот вам, Карл Иванович дражайший, презабавный случай при въезде в Милан. На главной площади перед великолепием собора, этого белоснежного чуда, завершенного тончайше высеченными из мрамора кружевами, австрийский старец, папаша Мелас, зарыл редьку (это старое кавалерийское выражение, мнится мне, и при девице возможное). Желая облобызать нашего главнокомандующего за доблестные успехи от лица союзной армии, он, дряхленький, не удержался в седле и, будучи верхом, к своему конфузу, перехлестнулся через седло. Это перед своими-то и нашими войсками.

— Помолодел папаша от наших побед, юные годы на память пришли,— смеялись суворовцы,— не унесла бы его обратно кобыла в конюшню.

Это падение «папаши» Митя смехотворно зарисовал, и при всеобщем веселии оно обошло армию. А наш фельдмаршал запустил-таки гофкригсрату в бочку меду свою суворовскую ложку дегтю: «Ваши австрийцы,— написал он,— почти так же хорошо дрались, как наши русские. Ничего, обучатся...»

Если Машеньку папаша Мелас насмешит, просит Митя ей поднести от него на память эту картинку, а уже следующий номер специально вам, Карл Иванович. Извольте выслушать предисловие.

Недолог наш отдых. Опять стремительный разгон по солнцепеку, по совершенно безводной местности. Изнемогаем, изнемогли. А Суворов тут-то и велик. Сам, конечно, вперед, да с шуткой, с прибауткой, с новой затеей; и во сне не увидать, чем он порой дух взбодрит. Такое придумал, что отстающие так и ринулись к головным. Этот момент Митенька карандашом своим быстрым очень сходственно ухватил. Извольте хорошенько рассмотреть: под лютым зноем, босоногие, загорелые, драные, черти какие-то неистовые, но во все горло орут якобы по-французски:

— Пардон. Жете-ле-зарм. Ба-ле-зарм...



Случается, на французском запнутся, тогда таким, знаете, русским горохом просыпят и, словно наши лешие, в итальянских ущельях хохочут. А цель достигнута — веселье дух подбодрило. Это Суворов так придумал, чтобы ребята двенадцать французских слов назубок знали для объяснения с врагом.

Рисунок, относящийся к знаменитой победе под Треббией, про которую уже общеизвестно как про верх военного искусства нашего Суворова, Митя просит вас, Машенька, под стеклом окантовать и в своем кабинетике повесить, считая, что он наиболее ему удался. За эту победу славному нашему герою государь прислал свой портрет, усыпанный бриллиантами, и рескрипт не без свойственного ему острословия:

«Бейте французов, и мы вам будем бить в ладоши».

Австрийский же Франц прислал тоже рескрипт, где между хвалебных строк так и кололо осиное жало — всегдашний тупоумный намек, что Суворов воюет не по правилу, а ежели побеждает, «тому причина всегдашнее счастье ваше».

Призвал Суворов кое-кого, и я с Митей при этом были, и говорит:

— Австрийский-то император бессмысленным счастьем нашу военную выучку аттестует, как и прочие ослиные головы... Ох, беда без фортуны, как и беда без таланта.

Тут Митя тихо скажи:

— Великое ваше дарование и есть ваша фортуна. А Суворов весело так подхватил:

— К фортуне ж мозги. А к мозгам — труды. Трудись рук не покладая — обязательно фортуна поймешь. А ловить надобно ее спереди, за хохол. Сзади-то она лысая... Впрочем, я лично горжусь лишь тем, что я россиянин, и превьще всего тцусь поднять славу русского солдата.

Вот и доказал он сие великой победой своей при Треббии. Неравенство сил было столь велико, что заколебался сам неустрашимый Багратион. Прискакал было с рапортом о необходимости «оттянуться».

— Никак... — сказал тихо Суворов.

И что же изобрел для примера? Пробежал сколько-то, будто вместе с бегущими в панике, и когда слился с ними в единую душу, ка-ак скомандует: стой! Повернул круто назад, и такие всем слова: атака, руби, ур-р-ра!



Французы сочли этих, было отступивших, за новые, свежие войска и дрогнули. Где ни покажись Суворов — победа. Ну, словно живой какой талисман. Трехдневный неравный бой — нами разбит Макдональд. Вот Митя и обессмертил Суворова в этом его вдохновении, в могучем приказе бегущим: *стой!*

Дальнейшие подвиги нашего великого Суворова карандашом Мити не могли уже быть зарисованы, ибо сам он умирающий унесен с поля битвы и лишь чудом добродетели остался ныне в живых. Но я пребывал верным свидетелем некоего, превышающего силы человеческие, подвига духа нашего знаменитого полководца. И если рассказанное мною Мите способно оказалось в минуту отчаянного малодушия придать ему, как он утверждает, новые силы, то да поможет приводимый мною ниже героический пример и вам, любезная Машенька, с обновленным сердцем перенести трудный ваш час. Митя еще просит сообщить вам по своему внутреннему опыту сделанный выход: «Как смоляные некие факелы, и сердца людей зажигаться могут доблестью одно от другого».

Приступаю к посильному изложению вышеупомянутой битвы под Нови.

Первое наше наступление было отбито. Барон Край стал требовать выступления Багратиона. У Суворова были свои расчеты, и он этих Краевых послов никак не принимал, делая вид, что спит, завернувшись в свой плащ. Когда же, по его определению, наступил час, он сам вскочил на коня и скомандовал: «Атака!» Жара была нестерпима. Но люди нападали на отменную позицию французов с яростью, превосходящей все бывшие бои, и все же мы ничего не могли поделать — откатывались обратно. Суворов был в самом сильном огне, провожал, вдохновлял, отдавал всю душу. Впервые под его командой угрожало его богатырям поражение. В последней горести разорвал он ворот рубахи и пал на землю. Ужас нас охватил — если великий духом повергся, значит, гибель, конец. Но это было лишь один только миг... Как древний Антей, коснувшись земли-матери, могучий духом встал полководец. Подъехавших с худыми вестями, не дослушав их, отмахнул, произнес тихо, отдельно, с беспредельной силой и властью:

— Атаковать! Победить!



Так, воображается мне, сказать бы мог один бог, вызывая из совершенного мрака свет.

Я счастлив, что был свидетелем, как чудесный гений освобожденной от всякого своекорыстия воли сделал чудо в честь своей родины. Окрыленные суворовской силой, помчались галопом гонцы по частям. Его огневым приказом подняли всех упавших. Рванулись резервы, подоспели к ним запоздавшие генералы. Перед бурей единством сомкнутого войска, слитого с гением своего полководца, побежали французы. И не под силу было врагам сохранить свой порядок. Отступали, бросая оружие, скрываясь в оврагах, в лесах. Большая армия уменьшилась вдвое.

Так вот, мои дорогие, что может сделать с ослабевшими воля одного человека, и сколь беспредельны, сколь еще не познаны нами наши собственные силы. А когда наш Суворов, в незримом лавровом венке, коего был вполне достоин, как любимый им Юлий Цезарь, прибыл на отдых к себе и встретил биографа своего Фукса (и скажу между нами: доносителя, по примеру прежде бывших при нем Николева и Германа), то, внезапно развеселясь, сказал придуманный им стишок:

Конец и слава бою —  
Ты будь моей трубою».

Тут прерывались записки майора...

Когда Воронихин вернулся в свой кабинет, Карл сидел на диване с рисунками Мити в руках. Его красивые глаза полны были слез. Протягивая рисунки, он вымолвил:

— Какой оказался он тонкий художник. И потерять руку, едва найдя свое настоящее призвание!

— Митя как-то и мне говорил, что у него тяга к живописи сильнее, чем к архитектуре.

Воронихин еще раз пересмотрел рисунки, отобрал те, которые надлежало передать Маше, и сказал:

— А все-таки истинным призванием Мити, к счастью, является не искусство. Трагедия неравенства людей, вызванная самым их рождением, слишком его потрясла. Если бы вместо России он был во Франции в те незабвенные годы провозглашения прав человека, я уверен, он там оказался бы не последним.



— Быть может, Андрей Никифорович,— застенчиво сказал Карл,— в грядущем царствовании, когда ваш родственник Строганов, или, лучше, Поль Очер, будет нашим Мирабо, Мите найдется дело и на родине?

— У меня с Митей уже был перед отъездом разговор на эту тему,— чуть нахмурился Воронихин.— Скажу и тебе то же самое, Шарло. Загадывать будущее—бесцельная трата времени. Всегда есть и в настоящем работа. Я думаю, что Митя, встретя величайший пример нашего времени, человека, у которого слова никогда не расходятся с делом, Суворова, героя-полководца и вместе с тем героя-человека, получил самое для себя необходимое. Потеря руки, конечно, тяжелое событие, но не оно может разбить его жизнь.

— Гораздо хуже, если Маша к нему не приедет...

— Маша приедет, как только в руках ее будет вольная,— сказал горячо Воронихин.— Для этого дела и от тебя, Шарло, нужна будет помощь. Повлияй на свою мать, чтобы она упростила Катрин Тугарину добыть Маше немедленно вольную, пока не уехал курьер. Эта Катрин, между прочим, на днях ко мне заходила с какой-то теткой посмотреть портрет Маши...

— Мне неинтересно, как живет и что делает эта особа,— прервал непривычно резко Карл,— если у меня было к ней чувство, оно давно прошло.

— Но без нее не добыть Маше вольной,— подчеркнул Воронихин.— Только она может выпросить ее у Игреева в качестве свадебного подарка. Он сейчас не на шутку увлекся пикантным кокетством этой девицы, и, пока длится его каприз, она все может с ним сделать. Но нельзя забывать, что, осыпав Машу благодеяниями, он все еще ничего от нее не добился. Пресыщенный своим угодливым гаремом, он весьма задет ее гордой неприступностью и, конечно, опять к ней вернется. Девица Тугарина отлично все это учла и приехала смотреть Машин портрет, чтобы лучше понять, как с нею бороться. «На сцене под гримом они все хороши»,— сказала она насмешливо. «Но эта в натуре несравненно лучше»,— ответил я, ставя перед нею портрет. Если бы ты видел, с каким сдержанным бешенством она впилась в милое лицо нашей печальной Сильфиды.



«Что вы за него хотите, я покупаю», — сказала она. «Но он не продается, — улыбнулся я. — Портрет я писал для себя. Художнику такое наслаждение воспроизвести на полотне редкую простоту, благородство линий, свежесть чувства...»

— Чем же Тугарина может быть полезна Маше при неприязненном к ней отношении? — сказал Карл.

— Вот именно потому. Надо только на одном замысле соединить этих двух женщин — твою мать и Катрин — и дело в шляпе. Помимо прирожденного почти у всех женщин вкуса к интриге и порочной игре, у обеих, как я уже говорил, в удалении Маши из столицы замешаны самые насущные интересы. Прежде всего посети скорей свою мать, заинтересуй ее свершением доброго дела, им можно прикрыть, выражаясь витиевато, червь тщеславия, который ее гложет с тех пор, как ее ученицу, к невыгоде учительницы, похвалили в газетах. Только скорее, не теряй времени. А я отнесу Маше рисунки и сообщу ей печальную весть.

Карл только через несколько дней мог быть у своей матери. Маша была тоже там. При первом взгляде на ее осунувшееся лицо Карл понял, что ей уже все про Митю известно, и с особым чувством пожал ей руку.

Мадам Гертруда полна была, как всегда, театральными сплетнями и новостями. Громко смеясь, она удерживала у дверей свою приятельницу, чтобы досказать ей по-французски последний анекдот про директора театров, известного остроумца Нарышкина, сменившего Юсупова.

— Да, моя дорогая, это достоверно, сам государь сказал ему, если хотите, назову свидетелей: «Почему ты не ставишь балет, как при Юсупове, со множеством всадников?» А он-то в ответ: «Мне это не с руки, ваше величество, мой предместник лошадей этих кушал, а я конины не ем». Ха-ха!..

И долго еще из передней слышался смех Гертруды, пока гостя наконец не ушла.

Гертруда была в преотличном настроении духа. Подойдя к Карлу, потербила его матерински за волосы и, указывая на Машу, сказала без особого яда:

— А ведь ей отдана пальма первенства в Психее...

— Как вам не стыдно, — порывисто сказал Карл, — Маша — сама скромность и отлично знает, что лучше вас танцевать невозможно.



Маша съежилась, покраснела, а Гертруда по собственной ей игре настроения пришла тут же в восторг:

— Каков мой сынок комплиментщик!

Гертруда мимолетом поцеловала Карла и порхнула к дверям:

— Я пойду приготовить необходимое для урока одной важной девицы, она со мной проходит уже роль. Эта девушка — невеста князя Игреева... Да, да, Машенька, ваша звездочка закатывается, — щебетала Гертруда, — пока вы капризничали, вашу фортуна поймала другая...

Карл быстро подошел к матери:

— Мне необходимо поговорить с вами. Есть одно дело...

— Прекрасно, сынок. Посиди тут минутку с нашей Сильфидой, я скоро. О мечтатели! — погрозила она тонким пальчиком, как грозила на сцене Амуру, и исчезла.

— Воронихин сказал, что вы хотите помочь мне, — начала Маша, но слезы пресекли ее речь. — Бедный Митя... — Она вытерла глаза, вся собралась и, взяв Карла за руку, сказала так твердо, что он ее словам сразу поверил: — Если меня не отпустят, если из ваших стараний не выйдет ничего, я все равно убегу, я доберусь до Мити.

— Я уверен, что вы уедете с курьером, который привез нам Митины рисунки, — сказал Росси. — Сейчас я буду говорить с моей матерью, она поможет повлиять на Катрин. Но, Маша, подумайте в последний раз, прежде чем отказаться от вашего блестящего положения, от возможности служить любимому вами искусству. Если порвете с Игреевым, вам придется сейчас же покинуть сцену...

— Все решено безвозвратно. Все проверено. Горе угнетает меня; как и Митя, я не создана дышать только искусством. У нас, видно, Карл, нет вашего поглощающего дарования.

— Настоящее призвание, конечно, забирает все силы только себе, — сказал тихо Карл.

— Вот то-то. А наши силы устремлены на другое. Если бы вы знали, какое письмо написал мне Митя. Он нашел душевный покой, только когда пришлось ему делить смертельную опасность бок о бок с товарищами. Ему отныне руководство — Суворов. Митя нашел



себя самого. Найдем и мы оба, что́ нам делать. Я не оставлю моего искусства, но ведь служить ему можно разными способами. В какой угодно глуши я найду учеников, могу открыть свою школу, не знаю сейчас, что и как... но думаю, что пробуждать в людях потребность красоты, научить их видеть и слышать больше и лучше, чем они могут это делать сами,— дело не меньшее, чем пожинать столичные лавры для одной своей персоны.— Маша печально улыбнулась.— Они даются мне такой унижительной ценой.

— Но что, если, несмотря на все наши ухищрения, князь не захочет вас выпустить из своих рук? — осторожно спросил Росси.

— Безмерно избалованному, непостоянному сейчас я наскучила моей невеселой особой. И я даже думаю, он будет рад такому великодушному окончанию наших отношений. При его самолюбии и страхе насмешек он в роли отвергнутого воздыхателя навсегда пребывать не согласится, а как неглупый человек уже понял, что насилие надо мной кончится плохо. Трагедий он не любит. Я счастливо попала в удачную полосу. После романа графа Шереметева с крепостной сейчас стало модно разводить сентиментально-высокие чувства. К тому же, как ураган, налетела на князя неотразимая Катрин; пока он под ее чарами, она всего может добиться. Сейчас придет ваша матушка. Найдите слова, дорогой Карл, мне же отсюда надо уйти...

Маша протянула Карлу обе руки, он поцеловал их безмолвно. Маша исчезла, и Росси остался один в комнате матери. Он огляделся. Это было словно капище с изображением в разнообразнейших позах одной и той же богини—Гертруды. То она Психеей стояла на твердом носке, вытянув одну руку, как на древней греческой вазе, в руке держала светильник, освещая спящего возлюбленного Амура, то она же, неистовая и прекрасная амазонка, мчалась в бой. Этот культ своей особы был бы жалок и смешон, если бы каждая поза не давала совершенного произведения искусства. И Карл, через минуту забыв промелькнувшее было осуждение тщеславия матери, как художник любовался точной законченностью ее прекрасного дарования. Здесь он радостно себя чувствовал ее сыном и ласково улыбнулся подошедшей Гертруде.



— Улыбка делает вас еще прекрасней, сын мой,— сказала по-французски Гертруда, копируя приехавшую на гастроли знаменитость, и прибавила на родном итальянском:

— Если бы ты был всегда такой со мной добрый!

— Я буду еще добрей, только присядьте, послушайте, что я вам скажу.

— У меня скоро урок; она капризная, эта Катрин, ждать не станет, говори скорее. Верно, неприятное? — всплеснула Гертруда руками. — О даче? Или жалоба на Пика? О, я сама очень им недовольна: старый дурак ухаживает за молодыми. Кому он соблазнителен? Кому он кавалер? Воображает, что хорош со своим толстым брюхом, а девчонкам от него нужна только протекция.

— Мой разговор не о даче, не о Пике. Я хочу очень серьезно говорить о Маше, именуемой Сильфидой.

— Она неблагодарная,— закричала Гертруда и только что собралась своим рассерженным птичьим щебетом излить на Машину голову целый водопад обвинений, как, взяв ее нежно за руку, Карл поспешно сказал:

— Она хочет навсегда уйти из театра.

— Хитрости,— воскликнула Гертруда,— ну кто такому поверит? Добровольно уйти из театра?

— Поверите вы, маменька, сами, если призовете на помощь терпение и до конца выслушаете мой рассказ.

Карл обнял мать и трогательно, как было надо, чтобы подействовать на нее, рассказал о любви Мити и Маши. О том, как друг его с горя уехал в армию и как храбро он бился сейчас и лежит в далеком госпитале без руки, не смея надеяться на любовь. А Маша хочет бросить успехи в столице и ехать ухаживать за женихом.

— Какая чудесная история,— всплакнула Гертруда,— я бы сама, конечно, ни за что не уехала от той новой роли, которую ей, наверно, дадут, но я люблюсь, когда другие могут так пылко любить. Ну, конечно, я ей помогу, разве я злая, мой сын?

— Вы не только Психея, вы ангел,— расцеловал Росси мать.

— Но ведь у Маши нет вольной? — обеспокоилась Гертруда, вмиг увлеченная новыми чувствами. — Она без конца капризничает с князем, а он с ней играет в



настоящую любовь, он ждет, чтобы она сама, изнемогая от страсти, ему прошептала: люблю вас... Я как-то даже ей показала, передавая последний подарок князя, что в таком случае надо сказать и как произвести такой чувствительный жест руками, будто сейчас упадешь к его ногам, однако совсем не падать, только сделать изгиб, один изгиб...

Гертруда, вдруг вскочив, умоляюще вытянула руки и всем станом изобразила призыв любви.

— Что на это вам ответила Маша? — невольно заинтересованный, спросил Карл.

— О, дерзкая девчонка с такой силой бросила на пол протянутый мною браслет, что моя парадная горничная уверяет, будто из него выпал самый крупный бриллиант и закатился невесть куда; я же подозреваю, она сама его и стащила. Однако это другой разговор, — спохватилась Гертруда. — Чем именно я могу помочь твоей протее?

— Вам необходимо упросить, чтобы новая ваша ученица Тугарина выпросила себе в подарок Машину отпускную. Князь на Машу в досаде, но намекните, как одна вы умеете, — тонко улыбнулся Карл, польстив матери, — намекните, что к неудовлетворенному пылу всегда возвращаются.

Гертруда залилась смехом мало натуральным, но звонким, как серебряный колокольчик.

— О, как ты сведущ в нежной науке сердца, мой сын. Но ты вполне прав, как и в том, что, по русской пословице, надо что-то ковать, пока оно горячо. Но что ковать? Я забыла.

— Железо, маменька, — улыбнулся Карл, опять усаживая вспорхнувшую мать с собой рядом. — Еще минутку, ведь я знаю, что у вас по природе прекрасное сердце, как у самой доброй птички: обещайте же мне соединить друга Митю с его невестой Машей. Вы французские пословицы тоже, вероятно, не забыли, выучив русские: *ce que femme veut, Dieu le veut*<sup>1</sup>.

Гертруда стала серьезной, помолчала и с милой наивностью интимно спросила:

— Если она выйдет замуж, если она его любит, она, может быть, захочет иметь сыночка, такого амура, как ты, мой Шарло: это нам, балеринам, запрещено.

---

<sup>1</sup> Что захочет женщина, то угодно богу (фр.).



Карл рассмеялся:

— Вы, маменька, уж слишком идете навстречу событиям. Будет ли у них непременно сын, я вам не могу ручаться, но то, что Маша не останется на петербургской сцене,— вот вам моя рука.

— Где же она будет танцевать? При иностранном дворе? — почти с испугом воскликнула Гертруда.

— Она больше не хочет танцевать, она будет служить искусству посредством своих учеников.

— Пе-да-гог! — протянула Гертруда. — О, это ей подходит. В ней что-то как у классной дамы. Шарло, я все для нее сделаю.

Гертруда встала и, подняв правую руку, торжественно сказала:

— Клянусь соединить два любящих сердца.

Росси обнял мать:

— Известите меня поскорее о вашей удаче.

— Будь покоен, Шарло. Я ведь недавно читала в таком роде роман, и я плакала, плакала. И по свежей памяти тем более сейчас помогу.

Вошедшая горничная, та, что подозревалась в краже бриллианта, возвестила о приезде Тугариной.

А через несколько дней в квартире Гертруды Росси происходило устроенное по желанию Катрин ее свидание с Машей.

Катрин сидела на диване одна, когда вошла бледная Маша. Она была измучена тоской о Мите и ужасом, что с каждым днем слабеющие силы сделают для нее невозможным побег, на который она твердо решилась, не ожидая себе никакой помощи от Катрин, несмотря на все посулы и объятия ставшей особенно нежной Гертруды.

На глубокий Машин поклон Катрин едва ей кивнула, зорко ее оглядела и спросила недобрым голосом:

— Правда ли, что ваш жених ранен тяжело?

— Через господина Воронихина мне было прислано известие от него самого. Он в госпитале... без руки.

— Безрукий художник, — сказала жестоко Катрин. — Ну что же, придется ему переменить профессию. Надеюсь, не правая рука?

— Правая... — чуть слышно сказала Маша.

— Присядьте, — предложила несколько мягче Катрин, указывая рядом с собой на диван.

Маша села.



— Вы бы себя проверили, прежде чем пожелать ехать так далеко и так бесповоротно решать свою судьбу,— сказала Катрин.— Чем один молодой человек особенно лучше другого? И разве можно поверить в прочность чувств, своих ли, чужих ли? Сейчас в вас говорит жалость к молодой искалеченной жизни, но разве можно строить свою жизнь на жалости?

Маша побледнела и, строго поглядев в насмешливое лицо Катрин, в свою очередь, спросила:

— На чем же, по вашему мнению, стоит строить жизнь?

— Исключительно на себялюбии,— не моргнув, ответила Катрин.— От себя никуда не уйдешь, себя никогда не разлюбишь, как бы собой ни был недоволен. И вся свобода ваша всегда при вас.

— Я крепостная,— вспыхнула Маша,— мне моей свободы еще нужно добиваться.

— Да, я знаю вашу историю,— поспешила Катрин.— Но вот вопрос, стоит ли вам давать эту свободу, если вы сейчас же хотите сами ее лишиться? Ваша отпускная в моих руках,— сказала Катрин с нескрываемым торжеством.— Князь Игреев по моей просьбе мне ее вчера подарил. Так что, в сущности, вы сейчас принадлежите уже мне. И вот что я вам предлагаю, слушайте хорошо и не торопитесь решением вашим.

Катрин встала, прошлась по комнате. Хотя она хотела это скрыть, она волновалась не менее, чем Маша, которая, стиснув руки, сидела как неживая. Катрин остановилась перед ней:

— Я вас отлично устрою балериной в Москве или же дам вам возможность открыть свою собственную балетную школу, где вам будет угодно. Свое слово я, поверьте, сдержу,— гордо подчеркнула Катрин.— Но и я ставлю одно условие, чтобы вам отдать навсегда вашу отпускную.

— Какое? — прошептала Маша.

— Чтобы вы не ехали к вашему Мите и вообще отказались от этого брака.

— Вы его не знаете... зачем это вам?

— Затем,— сказала холодно Катрин,— что в любовь, доведенную до таких жертв, на какие вы хотите идти сейчас, я не верю вовсе, такой любви не сочувствую и не хочу способствовать тому, чтобы наш балет, наше искусство потеряло такую прекрасную артистку, как вы.



Маша вскочила. Яркая краска вспыхнула на ее бледных щеках.

— Это невероятно... Сам дьявол вам нашептал.

— Ни в бога, ни в дьявола я тоже не верю,— улыбнулась Катрин,— я воспитанница моего отца и господина Вольтера. Но прихотей у меня много, и не вижу, почему бы мне их не удовлетворить, если я к тому имею возможность. Впрочем... для вас есть и другой выход.

Катрин взяла Машу за руку и, пытливо глядя ей в глаза, как бы боясь пропустить малейшее выражение ее лица, сказала, понизив голос:

— Хотите вы, оставаясь моей крепостной, поехать к вашему жениху? Я тоже создам для этого все условия. Вы его увидите, но останетесь навек моей крепостной,—подчеркнула она.— Выбирайте.

— Мне нечего выбирать,—сказала просто Маша,—если есть какая-либо возможность мне поехать к Мите, я, конечно, поеду. Оставьте при себе мою отпускную, но, молю вас, отправьте меня скорее к нему. Он ведь очень плох, я могу его не застать.

Но Катрин надо было что-то досмотреть до конца.

— Останется ли он жить или умрет—поймите отчетливо, вы-то сами навек крепостная. И это свое слово я тоже сдержу.

— Если Митя умрет, я, быть может, тоже не стану жить; если ж он останется жить, я доверюсь вашему великодушию.—Голос Маши на минуту пресекся.—Ведь вы разрешите мне с ним остаться? О, наложите какой угодно оброк, я выполню. Ведь, кроме танцев, я знаю столько разных рукоделий, на которые тоже есть спрос.

— Хорошо,—сказала Катрин, отпуская руку Маши,—завтра же начну хлопотать, чтобы вы ехали с тем курьером, который должен вернуться в армию. Но помните, вы едете как моя собственность...

— Только б увидеть его!—вырвалось у Маши с нежным чувством такой глубины и чистоты, что Катрин вспыхнула и, бросив взятую на себя роль, горячо сказала:

— За кого же вы меня, Машенька, принимаете, если так сразу поверили моим словам? Да неужто я похожа на мучительницу Салтычиху?

— Вы так воспитаны... Ваше право владеть живыми людьми.



Катрин заносчиво прервала:

— Я воспитана книгами писателей, научивших меня мыслить, и живых людей собственностью иметь не желаю. Недаром у меня на полке запрещенный Радищев. Сама я, может быть, жертва не меньше вашего... Мой ум иссушил мое сердце, и я не верю в любовь. Ваш случай был слишком для меня соблазнителен, чтобы я смогла удержаться от маленького над вами опыта. Простите мою жестокость — вот ваша вольная.

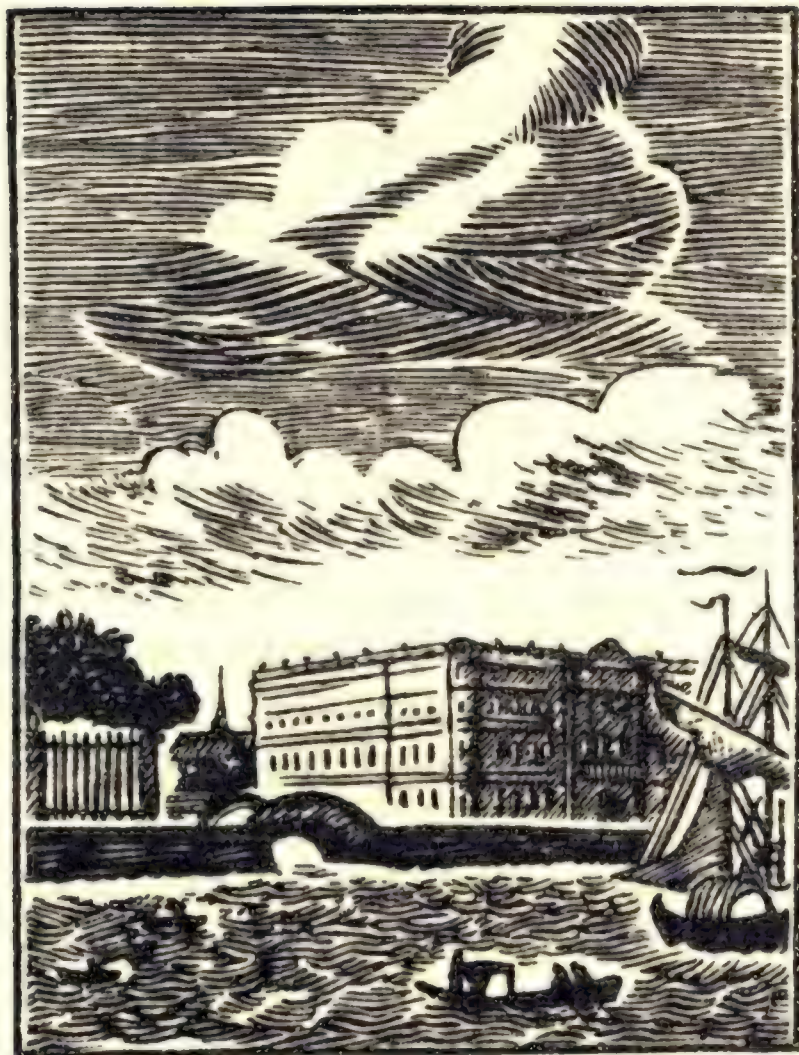
Катрин подала Маше гербовую бумагу, дававшую ей свободу. Маша опустилась на ковер, охватила ее колени и, лишаясь от волнения сил, прошептала:

— Благодарю...

Катрин подняла ее и со слезами на глазах вымолвила:

— Это я должна благодарить вас. Первый раз в жизни я верю в силу чистого, бескорыстного чувства. Вы обогатили мое бедное сердце.— И обе женщины крепко обнялись, как сестры, не узнавшие сразу друг друга, но сейчас убежденные в своем родстве.





### Глава тринадцатая

Митя лежал в походном госпитале в живописном местечке южной Богемии. Был конец августа. Плечо его плохо заживало, но уже не было той непрерывной оскорбительной боли, заглушавшей все мысли и чувства. Однако еще не трогал чудесный пейзаж, видный ему из большого окна: горы, убегающие в осеннее хрустальное небо, лиловые от обильно покрывшего их цветущего вереска. Горы эти нужны ему были только затем, чтобы, уставив глаза в ту или другую точку, глубже собрать свои мысли.

И они собирались, твердые, окончательные, проверенные, словно нарочито выбранные для основания здания кирпичи.

Отчаяние от потери руки охватило ненадолго. Силой воли заставил он себя примириться с ощущением непривычной пустоты справа и даже с тем, что рисовать больше нельзя. Конечно, он знал, бывали случаи, когда все знание и опыт правой руки пострадавшему удавалось перевести на счет левой, но это был такой поглощающий, большой труд, что стоило бы им заняться, если б живопись точно была его



призванием. Но сейчас он твердо узнал, что ему надо строить совсем иное: все колебания в выборе жизненного пути сняты этой тяжелой утратой. Но где искать путей? Как, к чему применить эту свою готовность? Воронихин дал замечательный совет: в ожидании, пока наступит желанное время, ковать из себя достойного этого времени человека.

Какое счастье, что на своем пути он встретил Суворова, который стал ему маяком путеводным. Величайшим горем было для Мити, что сейчас он не мог быть там, где Суворов свершает свой неслыханный подвиг-поход. Известие о том, что с двадцатитысячной армией предпринят переход через Сен-Готард, было последней вестью, проникшей сюда, в госпиталь. Надо было со дня на день ожидать новых раненых, они расскажут все в подробности.

В сознании Мити лежал еще один вопрос, который он силился считать решенным и скинутым с пути своей жизни, но о котором чувство его не забывало ни на минуту: мысль о Маше.

Он сразу отсекал все надежды на личное счастье, освободил Машу от данного слова, но сердце его не слушалось, ему то и дело снилась она, и тайные горькие слезы вызывало пробуждение.

Под Новый год с великими трудами доставили в госпиталь новых раненых, среди них был майор Дронин. Митя пережил ужасные дни тревоги, когда друг был между жизнью и смертью. Однако его могучее здоровье победило, и наступил наконец день великой радости встречи названных братьев. У Дронова были обморожены ноги, левая к тому же прострелена. Ему предстояло долго лежать недвижно, и одна радость и развлечение было ему — переживать снова изумительный, похожий на чудесное измышление, семнадцатидневный швейцарский поход.

— Подумай только, Митенька, — говорил похудевший майор, вознаграждая себя усиленной жестикуляцией за неподвижность тела. — Ведь шли-то мы в какой стуже? Одежонка плохонькая, сапоги русские без этих необходимых шипов, как у французов. Те за льдины сами цепляются, а мы то тут, то там в бездонную пропасть сползаем, да с вьюками, с мулами. Патронов у врага вдвое. Проклятый Тугут на каждом шагу «тугутит», как наш Суворов сказал.



В городок Таверну пришли — где провиант? Где свежие мулы? Свисти их. А переть нам через самый Сен-Готард на соединение с Корсаковым да поправее — с австрийцами. А Массена-то залег против нас с несметными тысячами. И тут обманули австрийцы, меньше цифру указали. Кругом подлость и предательство. А мы горной войне не обучены, местоположение нам неизвестное. Уверили клятвенно, что из Альтдорфа, последнего пункта, пешеходная тропинка идет вдоль Люцернского озера. Сигай в него, кому жизнь не мила, — и главное, совершенно зря, ибо вся флотилия французов стоит на озере. И оказался весь план, сверхчеловеческой суворовской силой выполненный, — пустая ребячья затея.

Дронин так взволновался, воскресив в памяти предательское отношение союзников-австрийцев, что Митя поспешил, охраняя его здоровье, перевести речь на главное, что его интересовало, — на Суворова.

— Вот-то бушевал, когда не оказалось обещанных мулов! «Нет лошаков — одни горы да пропасти, да я-то не живописец, а главнокомандующий. Помощи — нигде, Тугутишко везде. Брехали, видно, недаром французы, что нам провалиться в их снегах. Уж кому-то платит в Вене директория...» Перешерстил он австрийцев. Однако ретирады Суворов не знает. Вместо лошаков под вьюки пустили казацких лошадок. Хотя над пропастями им и было необычно, они вполне русскими оказались — невозможное повернули в возможное, как мы под Измаилом.

Тут майор начал бредить, путая только что им перенесенное с бывшим в давно прошедшую турецкую кампанию. Сестра потребовала, чтобы он прекратил свои рассказы.

Два дня майор промолчал, на третий его прорвало.

— Вы поймите, сестрица, — кричал в ответ на воспреещение говорить при лихорадке, — разгрузить нужно мне мою память, не то она голову мне разорвет! А Митя художник, он, что скажу, все увидит глазами, ему это тоже на пользу.

И действительно, Митя с жадностью забирал груз майоровой памяти и сейчас своими глазами видел, как двумя колоннами наши войска поднимаются в вечных снегах. Те, что с Суворовым, напрямик, без обходов.



— На каурой казачьей кобылке сам-то он ехал,— любовно повествует майор,— от леденящего ветра только и прикрыт, что своим знаменитым родительским плащом, шляпенка с полями вот-вот улетит. И не отстаёт от него некий старик, итальянец. «Переночевал я у него в долине и вроде как его оволшебил, вот за мной потянулся»,— смеется фельд-маршал. И в добрый час, отличным проводником оказался. Без этого старика в пропасть нам загреметь. Потом обтерпелись, а спервоначала круто пришлось. Вообрази, Митя, дождь ливня, ветрище с места сдувает, речонки итальянские вздуло в реки. То ли их вброд, то ли вплавь? Зуб на зуб не попадает. Подметки вмиг прохудились, за плечами груз. И все же пробрели мы в три дня семьдесят верст. Считай их за сотню. С ног валимся, а Суворову ль отдыхать? «Ошарашим врага наступлением. Штурм Сен-Готарда!» И повел нас. Ур-р-ра!..

Сестра испугалась, что снова Дронин забредил, но он, счастливый, ее успокаивал:

— Не в бреду—наяву я, сестрица, пусть русское сердце ликует. Взят Сен-Готард!

И со всех коек ожившие раненые стали просить:

— Не препятствуй, сестрица, пусть глотку дерет, ему здорово, и нам полегче.

— В один-единственный день взят Сен-Готард,— с тихим восторгом продолжал Дронин.— Две атаки уже отбиты с большими потерями. Ночь спускается. Ужель ночевать под ногами врага? «Он ест, пьет, бахвалится, мы ж, как щенята, в сугробах. Вперед!» Взбодрил нас Суворов, и опять мы за камни и лезем, и падаем. И что бы вы думали? Над французами, на самой вершине—вдруг наши, вторая колонна. Обошел Багратион.

— А Чертов мост когда был?—спросил бледный прапорщик.

— Наши скоры, а вам еще скорей подавай,— проворчал майор.— Чертов мост—это надо вообразить явственно, иначе одна только кличка в твоей памяти, как заноза, застрянет. И прежде всего все окрестное тому мосту надо увидеть. К деревушке Урзнер, скажем,—дорога, а поперек развалился утес. Сквозь него пробита дыра, по-ихнему—Урзнер-лох. Это коридор длины порядочной, а ширины—двум человекам едва



разойтись. Выбежав на свет из этой дыры, дорога вдруг обрывается над самой бурной рекой. Как бешеная, так ворочает она камни и пену, что воды не видать, гул над ней — сущий ад. И вот над такой-то рекой — легонький мост. Поистине — черт его перекинул. Ходуном ходит, вот-вот сорвет его речка. Ледяные брызги его, как туманом, укрыли. А у самого выхода из дыры французы пушку установили да за Чертовым мостом два батальона, которых и вовсе нам неприметно. Вообразили картину? А ну-ка, не угодно ли через Урзнер-дыру, через Чертов мост?

— Ужель перешли? — восклицали со всех сторон.

Насладившись минутой произведенным впечатлением, майор торжественно произнес:

— Первые с доблестью пали. Тогда Суворов отрядил сотни три по гладким скалам, где орлам гнезд не свить, чтобы ударили по скрытым французским батальонам, защищавшим выход из дыры. И ударили. А наши — мах по туннелю... Сомкнулись со своими — и на французов, как лавина; те дрогнули, отступили. Однако напакостили напоследок — Чертов мост разорили. Да разве нас остановишь в атаке? Дерев на провал навалили, долой с себя шарфы, связали — бегом! А пока такая каша заварилась вверху, наши отряды внизу, по бешеной воде — вброд. Течение сбивает народ, а на смену упавшим новые. Перешли. Тут уж много легче нам стало, — освобождаясь вздохнул Дронин, вновь переживая испытанное великое напряжение всех сил. — Скоро помельчали и вовсе отодвинулись горы, и до чего просторная долина раскинулась перед нами. словно с улыбкой побежали леса, запестрели цветами луга, и вот уж рукой подать — цель наша, зеленый город Альтдорф. И хотелось же нам отдохнуть! Нет, не дал, — а Корсаков, осажденный Массеной? С помощью медлить нельзя. Вестей же о нем никаких. Опять путь ближайший через новый хребет. Темь вверху, темь внизу. В облаках движемся, каждый вдвое стал тяжелей — отсырели. Едва дотацились, как обухом по голове страшная весть, что Корсаков и австрийцы разбиты, отступили невесть куда, а мы окружены несметной армией Массены.

Всему виной проклятый гофкригсрат: предательски не дали мулов, и мы потеряли необходимые дни... Теперь опять вообразите хорошо нашу позицию,



чтобы поверить могли, что действительно единой силой духа Суворова были мы спасены. Австрийская помощь обманула кругом: вокруг озера Люцерна ходу нет, никого из союзных войск поблизости, ни провианта, ни патронов. Сухари размокли и сгнили, копаем коренья, кожу режем, ее на шомпол навернем, шерсть опалим и едим. А вокруг нас почти стотысячный враг. Уже генерал Массена прихвастнул, что денька через два нашего Суворова к себе ужинать привезет, и среди нашего офицерства пробежал шепот о сдаче. Вот-с какова ситуация.

— А что он? Что Суворов?

— Не дрогнул. Собрал военный совет. Вышел в фельдмаршальском мундире со всеми регалиями и речь сказал, одними простыми словами — суворовскими. Как перед смертью, пересмотрел всю кампанию, предательство австрияков, еще раз перешерстил их по заслугам и пришел к выводам: окружены, а сокрушать врага нечем. Назад — постыдно. Помощи ниоткуда, край гибели. А надежда? — спросил сам себя. — На что у нас есть надежда? Промолчал военный совет. Суворов ответил сам: «Одна лишь надежда на мужество наших солдат. Русские мы...» — и заплакал.

Плакал Митя, плакали молодые на койках, и, не стыдясь своих слез, закончил майор:

— И от имени войска старый генерал Дерфельден ответил: «Веди, куда знаешь, всюду мы с тобой!»

— Да, вот опять какое вышло положение, — продолжал о своем швейцарском походе майор Дронин, — позади нас тьма французов, от которых нам по одной лишь долине Муттенской вперед.

Разделил Суворов войска: главный отряд двинул сам, а тому, что поменьше, задерживать приказал французов, чтобы дать нам уйти. Вот уж тут, ребята, настоящие пошли чудеса, их каждому надо запомнить, дабы поверить, что непреодолимого на свете нет ничего.

Истощенные, больные, голодные, отогнали наши свежих французов, их превосходивших намного в числе. Задержали их хитростью. Послали швицкому магистрату будто заказ на продовольствие всему нашему войску, чем сбили с толку генерала Массену. «Вот дураки, — сказал он, — сами к нам лезут в полон!



Пусть войдут, тут их и возьмем, нам это много удобнее, чем за ними охотиться!»

А наши тем временем ночью тихонько вслед за своей главной колонной. Когда французы смекнули про обман — ан время упущено. Наши соединились с Суворовым. Догоняй! Устремились все по Муттенской долине к Гларису: там встреча с австрийцами. Подходим — никаких австрийцев. Генерала Линкена след простыл, и французы забрали Гларис. Нам одно: либо их побеждать, либо тут помирать. Дальнейшего хода нет. Во тьме кромешной пошли мы в штыки. Шесть раз из рук в руки переходила победа. Однако в конце концов — Гларис наш. И впервые горячего мы тут хлебнули. Ну-с, что прикажете дальше? Опять военный совет. Дратся окончательно нечем, и спасти нам сейчас не австрийцев, которые преспокойно сами спаслись, а одну лишь свою многострадальную армию, попавшую в западню.

— Последний ваш переход двадцать шестого сентября? — спросил подпрапорщик и тише добавил: — У меня брат там погиб.

— Многие там погибли. Вышли мы к Сен-Готарду двадцать одной тысячью, а как перемахнули через последний хребет по имени Паникс, нас осталось пятнадцать. Ох, этот последний хребет! Всю-то кампанию лихая погода, а тут просто взбесились силы небесные: такой снегопад, что тропинки вмиг занесло. Плакали, а побросали в пропасть последние двадцать орудий. Как людей, было их жаль. И вьюки с продовольствием туда же, только б солдат сохранить. Дело к зиме, обледенелые горы, мы в густейшем тумане гуськом...

— А как же Суворов, — воскликнул Митя, — старый, больной?

— Впереди на кобылке под казачьим седлом. Все долой с лошади рвется, хочет пеший идти, для примера. Самого лихорадка треплет. А два казачка его силком держат в седле. Как взбунтуется он, знай кричат, не пускают: сиди уж, сиди!

Проводники разбежались, и полезли мы как на душу бог положил. А там уж в долину на собственных средствах. Сказать прямо — скатились на задницах. И вовек не забыть голос Суворова: «Русак — не трусак. Дойдем!» Дошли. Оглядел он своих оборванных, об-



мерзших, поистине чудо-богатырей и сказал: «Орлы русские облетели орлов римских!»

Однако эти его последние слова мне уже передали в лазарете, где я долго в бесчувствии и в бреду находился. Это у Боденского озера, где наконец и дан был отдых войскам. Потом перевезли нас сюда, и вот с тобой, Митя, встретились.

Рассказ майора о доблести русского войска, превысившей все человеческие возможности, потряс Митю. Последнее малодушие отошло, сменилось уже неизменным ровным и твердым состоянием духа. Он теперь был уверен, что найдет свое заветное дело. Вспоминал рассказы друга Карла Росси о том, как в минуты душевных крушений помогает ему мысль о непреложности и постоянстве навеки найденных законов математики. Ему такой отрадной опорой явился, в великом испытании его сил, образ Суворова, этого лучшего из встреченных им людей. В Петербург ему сейчас возвращаться не хотелось, и когда майор предложил устроить ему место помощника управляющего большим имением своих родственников Давыдовых — Каменки, находящегося в Киевской губернии, — Митя охотно согласился. Так хотелось в деревенской глуши, среди прекрасной природы, собраться с мыслями и присмотреться поближе к жизни крестьян. Он знал — теперь уже навсегда они стали его главной заботой.

Внезапное появление Маши, которую он сейчас ждал меньше всего, чуть было не ввергло его в великое горе, разбившее вмиг так трудно добытый покой. Он, уверивший себя, что навеки от нее отказался, увидав ее любящей, свободной и прекраснее, чем когда-либо, понял, что его отречение — самообман и никаким рассудком не истребима любовь! Но жертвы из жалости он принимать не хотел. Понадобилось много терпения, умной сердечности его верной невесты, чтобы Митя наконец поверил, что Маша приехала не из чувства жалости и долга, а по настоящей, крепкой любви! И в Каменку она обрадовалась ехать, не желая и слышать о столице, где было столько страданий и предстояло немало нежелательных встреч. Дронин к тому же обнадежил, что возможно устроиться в театрах киевском или полтавском или создать свою школу, что сулило несомненный успех.



И наконец, последняя тяжесть сомнения и горечи спала с сердца Мити после того, как однажды на рассвете появилась в сером сумраке палаты, где он лежал, небольшая, еще похудевшая за тяжкий, только что перенесенный поход, такая бесконечно знакомая и дорогая фигура Суворова. Махнув рукой сопровождающим, чтобы не делали шума, он тихо подходил к раненым и больным, в немой скорби бессонницы застывшим людям. Отчески клал им на горячий лоб тонкую, худую руку, нагнувшись, что-то шептал — и в миг яснели их взоры, и восторженно улыбались страдальцы от ласки великого Суворова.

Подошел он и к Мите. От Дронина он уже знал все про Машу и про сомнения Мити. Он нагнулся так близко, что можно было рассмотреть, сколько новых мельчайших морщин изборозило его тонкое лицо. Глаза его, голубые, сейчас полные только большой доброты, едва глянули — всё увидели. Как отец, он сказал самое главное:

— Ничего, Митя, жить можно и с левой. Еще лучше будешь жить. И с Машенькой благословляю тебя на работу и счастье. Верю — будет оно. Оба-то вы молоды. Не болтуны-пустобрехи, а люди. Так-то. И руку на голову положил — благословил.

Одиннадцатого октября 1799 года Павел послал австрийскому императору Францу сухое, негодующее письмо, где виною несчастного поражения Корсакова ставил несвоевременный отход из Швейцарии союзных войск под начальством эрцгерцога Карла. Павел разрывал союз с Австрией. А в конце декабря собственноручно написал Суворову:

«Обстоятельства требуют возврата армии, ибо виды венские те же. А во Франции — перемена. Идите немедленно домой».

Недоразумения между русскими и австрийскими верхами были столь сильны, так много накопилось у русских обид за обман и предательство, что на балу у сына Суворова, Аркадия, великий князь Константин выгнал вон группу австрийских офицеров.

А когда Суворову император Франц прислал умоляющий рескрипт повременить с уходом в Россию, предлагая неограниченную всяческую поддержку в



случае возобновления войны, Суворов сказал его послу генералу Эстергази:

— Над таким старым солдатом, как я, можно посмеяться только один раз. Но был бы я слишком глуп, если бы позволил это сделать с собой и в другой. Я пришел к месту назначенного соединения и увидел себя оставленным. Я вашей армии не нашел.

Павла изменническое отношение Австрии и ее желание загребать жар руками русских привели наконец в гнев, который пересилил его желание стать спасителем Европы.

Кроме того, в европейской политике произошли крупные перемены. Когда начался швейцарский поход, Павел еще был полон решимости разгромить французскую революцию и предписывал Суворову: «Старайтесь произвести инзурекций во Франции», а сейчас, под влиянием иезуитов, он нашел формулировку для изумившей всех перемены его политики и сам первый в нее верил:

— Я всегда склонялся тогда в пользу справедливости и долгое время был уверен, что она у противников Франции, ибо ее правительство угрожало всем державам. Ныне же, когда в этой стране скоро водворится король, если не по имени, то по существу, и наступит порядок, это меняет совершенно существо дел.

Сейчас справедливость не может быть на стороне Англии, и в коалиции с ней неправильно долее пребывать, ибо Англия захватила остров Мальту и отказывается вернуть его Ордену. Все это было для Павла не только оскорблением личным, но и прекрасно им понятой угрозой государственной. И для того чтобы успешнее восстать против врага, теперь общего с Францией, Павел в декабре послал Суворову требование возвращаться домой.

Суворов очень тревожился: какова-то будет оценка его похода, неслыханного по трудностям и солдатской доблести и вместе с тем совершенного как бы впустую, для выгоды одних лишь австрийцев, забравших северную Италию в свои руки. Но опасения оказались напрасными. Весь мир понимал, что причиною всех неудач были только австрийцы, а необычайная доблесть солдат и их полководца покрыла Суворова еще большей славой.



Павел дал ему титул генералиссимуса всех сил российских и посылал очень сердечные, восхищенные письма: «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля нимало приедете ко мне на совет и любовь».

Или так: «Сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали, потому что были с вами, а других победили, оттого что они с вами не были».

Европейские державы одна перед другой изъявляли восторги: кресты, награды, всеобщее признание несравненным гением тактики. Адмирал Нельсон писал: «В Европе нет человека, который любил бы вас так, как я».

А ему хотелось одной глубокой последней простоты. Посетив могилу любимого и очень чтимого им полководца Лаудона, прочтя длиннейшую витиеватую латинскую надпись на его гробовой доске, он произнес:

— К чему все это? Мне пусть напишут просто: здесь лежит Суворов.

В Кракове Суворов сдал командование Розенбергу, сам поехал вперед. Он уже чувствовал себя очень больным. Упало нечеловеческое напряжение, и здоровья не оказалось вовсе.

Прощаясь с солдатами, не мог вымолвить слова от рыданий, солдаты плакали, понимая, что уже больше его не увидят. Ему было лестно знать, что сложена про него песня:

С предводителем таким  
Воевать всегда хотим...

Суворов, слабея с каждым днем, медленно двигался в Петербург. Ему было известно, что для его встречи выработан особо торжественный церемониал. В Нарву будут высланы придворные кареты. При его въезде в столицу — колокольный звон, пальба из пушек. И в Зимнем дворце для него апартаменты. Все это как-то тешило старика, ласкал душу наконец полученный заслуженный почет. Здоровье же становилось все хуже. Пришлось задержаться в Кобрине. Император отправил к нему лейб-медика. Старые раны его открылись, страдания были очень тяжелые. И вот тут-то настиг его последний, жесточайший удар, нанесенный императором. Двадцатого марта Павел отдал повеление:



«Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел в корпусе своем, по старому обычаю, неперменного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии».

Тяжко больному Суворову прислан был с курьером грозный запрос о том же дежурном генерале с приказанием немедленно уведомить, что побудило его сделать подобное нарушение воинских правил.

Суворов был потрясен. Вынув недавние письма, полные восхищения и любви, он сличал их с последним письмом и недоумевал. Ему известно было также, что Ростопчину при свидетелях Павел сказал: «Я произвел его в генералиссимусы, это много для другого, а ему мало: ему быть ангелом».

Что же случилось? Поводы были пустяковые, а причина глубокая и очень давняя. Быть может, Павел думал, что Суворов не доедет до Петербурга, умрет в пути и созданные для Европы слухи о триумфальной встрече не надо будет осуществлять. Но когда еще раз богатырский дух Суворова восторжествовал над смертельной болезнью и он, полуживой, но владеющий всем своим разумом и волей, придвинулся к столице, воздать ему действительно все обещанные почести с колокольным звоном, с пушечной пальбой стало для Павла невыносимым. Это значило признать свою возлюбленную прусскую систему побежденной, это значило зачеркнуть себя самого.

Как нарочно, произошла тяжелая история с цесаревичем — так велел именовать Павел второго сына за доблести, проявленные в итальянских походах и самим Суворовым засвидетельствованные.

Цесаревич был встречен восторженно. В его честь даны были особые празднества, на Эрмитажном театре сыграли «Возвращение Полиоклета», а отец отличал его перед Александром.

Как-то Павел, в веселом настроении духа, разговаривал с сыном об удобстве предписанной им одежды солдат и спросил:

— А что вам всего боле оказалось в итальянском походе на пользу?

Константин, еще полный суворовской выучки и к тому же введенный в заблуждение веселостью отца, ответил простодушно:



— А пользу нам сослужили одни лишь унтер-офицерские алебарды, поскольку они были деревянные и длиной более сажени,— ну и дрова! Погрелись мы в ледниках этими алебардами.

Павел смеяться перестал, однако без гнева приказал сыну представить ему рядового, одетого, как он находит удобней.

Константин представил. Оказалось, что форма напоминала последнюю екатерининскую, упрощенную Потемкиным, которую одобрял и Суворов.

— Вон с глаз моих! — прокричал Павел сыну и тотчас загнал его вместе с женою в холодный дворец в Царском Селе, где сидели в комнатах в теплой верхней одежде.

Константин злобно сказал:

— Суворову завидует отец. Ныне будет преследовать всех, кто с ним отличился в походах.

— Дурак и мальчишка, — отозвался Павел, узнав про эти слова. — У цесаревича трактирные рассуждения. Душе моей зависть чужда. А того он не смыслит, что вся боль моя от посрамления великой системы! Она одна может удержать в повиновении русский народ...

После столкновения с сыном Павлу не остановить было мыслей о том, что Суворов втоптал его гатчинскую систему в грязь: ослабил на весь мир! И вот едет он, победитель, пример всем военным. Да ведь он разложит все войско. Недаром столь лукаво выставляет против Фридриха самого Петра Великого, будто сказано у него в уставе воинском: «Офицерам потребно рассуждать, а не держаться яко слепая стена».

Втайне Павел никогда не переставал питать к Суворову вражду, доходившую до мелочей. Так, дав ему по необходимости княжеский титул, не разрешил именовать его светлостью, как Безбородко и Лопухина. И сейчас с каждым часом вражда эта росла. Если Суворов останется жить, окруженный всеевропейской славой, он, конечно, станет еще дерзновенней по своим взглядам на войско, он — генералиссимус, начальник всех военных сил! Одним своим почетным пребыванием в столице он расстроит военную систему, созданную с таким трудом. Ей отдана с юности, с гатчинского изгнания, вся жизнь. Недопустимо.



И в таком случае, если он не умер вовремя, пусть приедет не в славе и почести, а как опальный, как ослушник императорских уставов. Пусть осуждает вся Европа — всё лучше, чем суворовское торжество. В священном споре о том, как управлять самодержцу вверенной богом страной, решающее слово должно принадлежать не генералиссимусу, каким-то диким волшебством одержавшему противу всех воинских правил победы, а тому до мелочей доведенному порядку, который угоден не только ему, Павлу, — самому богу. А тут кругом еще шепоты о поражении приверженцев гатчинской системы — разбитого Корсакова и взятого позорно в плен со своим войском Германа, того, кто приставлен следить за Суворовым. Оба разбиты наголову. Суворову же въезд с колоколами и пушками? Нет, не бывать тому.

И вот новый приказ:

«Его величество с неудовольствием замечает по возвратившимся полкам, сколь мало приложено старания к сохранению службы в том порядке, как бы его императорскому величеству было угодно, и, следовательно, видит, сколь мало они усердствовали в исполнении его воли и службы».

— Это моим-то великомученикам? — усмехнулся Суворов. — Ему, видно, косы дороже голов.

А через несколько дней еще прибавка к выговору:

«Во всех частях сделано упущение: даже обыкновенный шаг нимало не сходен с предписанным уставом».

— Так, — ухмыльнулся Суворов. — А все же история нам запишет и нас немало почтит за то, что не каким шагом, а на собственной заднице мы в Швейцарии с гор в бездну съехали и тем честь русского войска спасли.

Донесли. И еще те слова, что, покачав седой головой, с великой горечью произнес:

— Слов нет — важен руль. А куда важнее рука, что рулем управляет.

Двадцатого апреля Суворов тихим ходом въехал в Санкт-Петербург. Встречи не было никакой. Надо было сразу подчеркнуть, что прибыл не покрытый всемирной славой полководец, а не угодивший государю строптивый подданный, которому надлежит строгий ответ держать за свое дерзновение.



И не успела карета с умирающим приехать на Крюков канал в дом его родственника графа Хвостова, как доложили курьера от государя. Словно сам пугаясь своего мелочного и низкого гнева, торопился Павел добить врага. Прислал глупое запрещение:

«Генералиссимусу князю Суворову императорский дворец посещать возбраняется».

Умно, почти весело улыбнулся Суворов и сказал, слабой рукой указывая на свое безжизненное, умирающее тело:

— Куда мне во дворец? И для малой нужды уж не встать.

И, словно отмахнувшись от злой суеты мира, соединив свой возвышенный дух с одним любимым делом и войском, Суворов стал медленно умирать.

Он часто терял сознание, когда же приходил в себя, опять был жив духом, устремлен к одной своей цели: победе оружием русскому. Исправлял ошибки прошедшей кампании. Рвался все в Геную, куда не пустил его в свое время гофкригсрат и что могло бы изменить весь характер похода. Просматривая со стороны, со всей строгостью, собственный жизненный путь, осудительно сказал:

— Гонялся за славою — все мечта.

Долго молчал, закрыв глаза, почти не дыша, — не легко брала его смерть. Наконец словно подвел окончательно итоги своих трудов, упований, всего богатого наследства, оставляемого потомству, и, как бы передавая себя в историю, произнес:

— Как раб умираю за отечество.

Суворов умер в полдень шестого мая 1800 года.

Вокруг дома тотчас выросла толпа народа — все плакали, все нелицемерно любили его.

Державин отозвался взволнованной лирой.

Всторжествовал — и усмехнулся  
Внутри души своей тиран,  
Что гром его не промахнулся,  
Что им удар последний дан  
Непобедимому герою,  
Который в тысячи боях  
Боролся твердой с ним душою  
И презирал угрозы страх.



Армию охватила глубокая, безнадежная скорбь. Солдаты знали, что потеряли отца и полководца. В «Петербургских ведомостях» же не было напечатано ни слова ни о смерти, ни о похоронах Суворова.

Воинские почести велено было воздавать рангом ниже, не как генералиссимусу, а как фельдмаршалу. В погребальной церемонии участвовали только армейские части. Гвардия назначена не была — будто бы вследствие усталости после недавнего парада.

Мите казалось — он похоронил родного отца. Скорбь его и Маши была беспредельна. Так еще живы были в памяти веселые дни в Богемии по пути на родину, дни отдыха после нечеловеческого похода, после ранения, после отчаянных часов отказа от личной жизни и любви. То Митя видел Суворова как живого, впереди всех на старой любимой его кобылке, в родительском плаще, готового ринуться в снежную бездну или укреплявшего соленой шуткой, вызывавшей грохот смеха, подобный обвалу, своих ослабевших от изнурения чудо-богатырей. Видел его перед взятием Нови, когда вдохновенная воля его источала энергию почти зримую, как стрелы молнии, и ею зажгла все войско — и свое и союзное. Вспоминал и иное: как он вошел в чуть освещенный рассветом лазарет, в его палату, и склонилось над его койкой необыкновенное лицо с глазами, блистающими голубизной и добротой. Митя чувствовал, что навеки связана его жизнь — как в беде, так и в большом счастье союза с Машей — с этим необычайным полководцем-отцом. И оправдать надо его аттестацию: «Вы с Машей не пустобрехи-болтуны, а люди».

«Клянусь... оправдаем».

Так мысленно обещал Митя Суворову, не стыдясь слез своих и детской сыновней любви.

У Воронихина собрались провожать Митю с женой, уезжавших в Каменку, немного близких друзей. И было так странно, когда в этом тесном кругу появилась вдруг Катрин Тугарина.

— Мне так захотелось, — сказала она застенчиво и непривычно просто, — мне захотелось, Машенька, еще раз увидеть вас и познакомиться с вашим мужем.



Катрин протянула руку Мите и, повернувшись к Карлу Росси, спросила:

— Ведь это тот самый Митя, друг ваш?

— И ваш, если позволите,—низко кланяясь и целуя ей руку, сказал Росси.

— О, мы вас никогда не забудем,—воскликнул Митя,—ведь нашим счастьем обязаны мы только вам.

— Нет, нет,—прервала, зардевшись, Катрин,—прежде всего самим себе, своей благородной любви, которая дала такой всем нам урок.—Она смешалась, виновато глянула на Карла.

Карл близко подошел и спросил, понизив голос:

— А ваша собственная свадьба когда?

Он старался сказать как можно бесстрастней, но легкая краска и опущенные дрогнувшие веки его выдали.

Катрин все так же просто, без прежней игры, ответила:

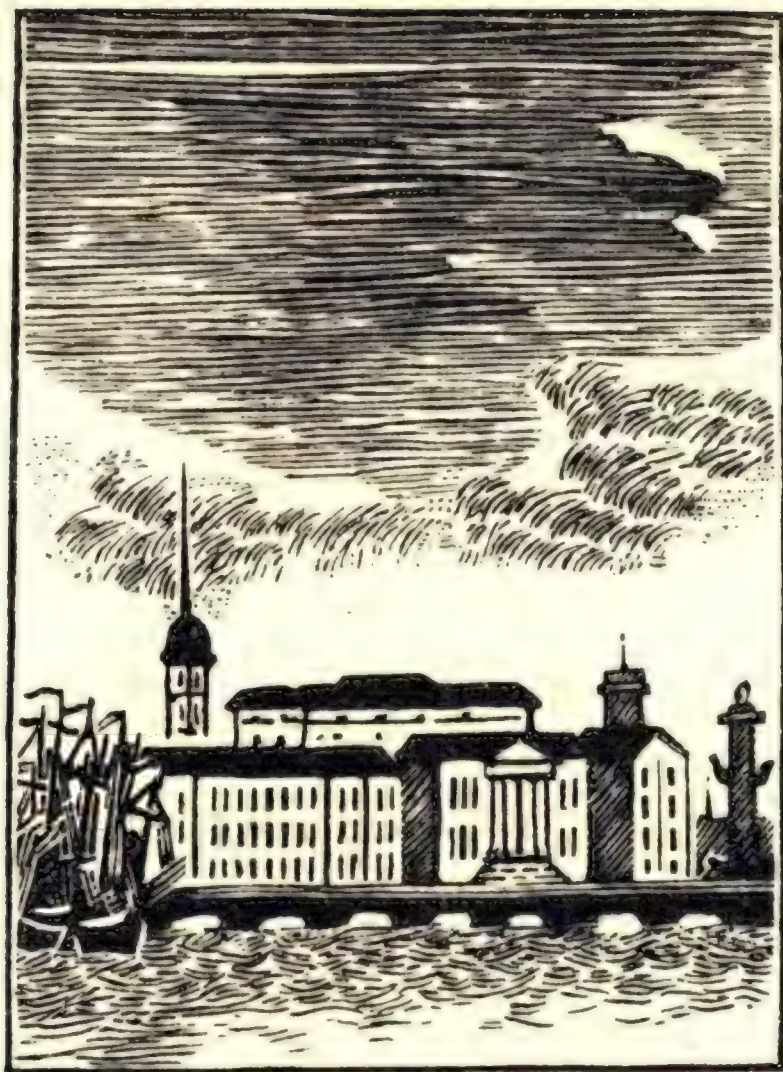
— Я отказала Игрееву. Я с отцом моим на днях еду в Италию, должно быть надолго.

— Как рад я...—против воли вырвалось у Карла.

Катрин протянула ему руку, крепко пожала и, глядя ему прямо в глаза, без кокетства сказала:

— Благодарю вас за эти слова.





#### Глава четырнадцатая

Смерть Суворова, постигнутого внезапной опалой Павла, особенно взволновала всех близких ко двору. Этот капризный переход Павла от величайших похвал к мелочной придирчивости, оскорбительной для великого полководца, возмутил его почитателей и даже равнодушных. Неуверенность в завтрашнем дне еще увеличилась, истерзала всех страхом и ускорила враждебное Павлу объединение. Никто не желал разбираться в смягчающих обстоятельствах, превративших этот характер в «чудище деспотизма», как о нем писали иностранцы.

Ненависть к Павлу особенно усилилась после того, как устранено было коварными наговорами бескорыстное влияние Нелидовой. Это произошло в дни московской поездки и встречи с новой фавориткой — Анной Гагариной.

— Почему меня в Москве так любят, а в Петербурге словно боятся? — наивно спрашивал Павел, принимая восторги москвичей, еще не запуганных, как петербуржцы, каждодневным стеснением узаконенных выше инструкций, дабы и частная жизнь обитателей шла по-фридриховски, по-нашему — по-гатчински...



Ловкий, кем следовало наученный, Кутайсов отвечал, что в Петербурге все злое приписывается государю, а все доброе «эти дамы», государыня и Нелидова, считают делом своих рук.

К слову сказанными намеками Кутайсов все время внушал Павлу, что он является игрушкой в руках Нелидовой и жены. Павел пришел в неистовство и твердо решил принять меры, пресекающие всякие разговоры о порабощении его воли.

По своем возвращении Павел дал при первом же случае очень резко понять Нелидовой, что он «на помочах» водить себя больше ей не позволит. И скоро огорченный вчерашний «ангел-хранитель» вместе с оставленным петербургским губернатором Буксгевденом уехали в замок Лоде. Отдален был также со всею семьей очень преданный Павлу его друг детства Куракин—все теми же происками новой партии, вступающей в силу.

Во главе ее стояли два человека немалой энергии и дарований: Никита Петрович Панин и, ганноверец по происхождению, Пален. Вице-канцлер Панин, человек европейской складки и основательного образования, утратив все надежды на возможность руководить болезненным непостоянством мыслей и поступков Павла, грозящих, по его мнению, гибелью России, решил всеми силами способствовать его устранению от власти.

За несходство взглядов на внешнюю политику, а также за противопоставленную капризным прихотям государя большую последовательность и силу характера Панин был сослан. К тому же дерзновенное остроумие Панина, на которое, казалось, ему давало право совместное воспитание в детстве с государем, было нестерпимо для Павла. Рассказывали, что не так давно Павел, остановившись перед портретом Генриха Четвертого, с горечью воскликнул:

— Счастливый государь, он имел друга в таком великом министре, как Сюлли. У меня ж его нет.

Уязвленный Панин тотчас нашелся сказать:

— Будь только ты Генрихом Четвертым, найдутся и Сюлли.

Первый свой заговор Панин составил вместе с адмиралом де Рибасом, но тот внезапно умер, Панин же принужден был отправиться в ссылку. Но и в



отдалении от столицы Панин замыслов своих не оставил. Он оказывал сильное влияние на единомышленника своего графа Палена, которому настойчиво советовал возможно скорей подобрать надежных и крепких помощников.

Пален взялся умело за хлопоты о возвращении из ссылки братьев Зубовых и генерала Беннигсена, известного ему большим хладнокровием и мужеством.

Зубовых удалось вернуть благодаря тому, что заинтересовали в этом деле Кутайсова, неизменного Павлова любимца. Ему Платон Зубов прислал письмо, где сватался к его дочери, и бывший брадобрей, которому было лестно породниться с князьями, упрямил об их вызове Павла.

Павел встретил Платона Зубова великодушным восклицанием: «Вторично забудем прошлое!» — и при всей своей подозрительности вдруг оказался непонятно благосклонным к старым врагам, словно поверил в наружно выраженную преданность, и дал всем трем братьям высокие назначения.

Немедленно завелся у Зубовых свой кружок, где и разрабатывался в подробностях заговор, задуманный Паниным, но скоро принявший, под властью Палена, более грубую и насильственную форму. Подбирались нужные люди, обиженные Павлом и своих обид ему не простившие. Был между ними полковник конногвардейской артиллерии Владимир Яшвиль, которого Павел в гневе прибил, был влиятельный командир Преображенского полка Талызин, за которым стоял весь полк, были и другие...

Но самой сильной опорой заговора, главой его, являлся сам граф Пален, человек умный и сильный, для которого в смысле государственном и в отношении личном Павел был ненавистен. Он умел расположить своим видом откровенного военного человека, умело играющего прямою, прикрывая ею коварство необыкновенное и умную дальновидность. Как отличный исполнитель приказов императора, умеющий распоряжаться и править людьми, граф Пален стал скоро необходимейшим лицом. Ему Павел доверил высший надзор за почтой, полицию явную и тайную, сделал его петербургским военным губернатором.

Однако, несмотря на свое высокое положение, или, вернее, благодаря именно ему, Пален больше, чем



кто-либо, мог опасаться внезапной перемены своей судьбы, ссылки в Сибирь или, в случае открытия заговора, еще чего-нибудь худшего. Он уже испытал на себе превратность фортуны при непостоянном императоре. Давно ли совсем был в опале из-за встречи Зубова в Риге, с отдаванием в приказе оскорбительного для него определения той простой вежливости, которую он оказал Зубову, как «враждебной подлости».

Еще чувствительней был задет Пален оскорблением, нанесенным его жене. Пален не сделал доклада об одном известии, полученном им из Вены, относительно дуэли некоего молодого человека, туда в гнев отосланного Павлом, дабы удалить его от двора, а Оболянинов, генерал-прокурор, ища погубить Палена, донес об этом сокрытии государю, сказав:

— Если о таких вещах вашему величеству не докладывают, могут умолчать и о важнейших.

Павел измыслил тонкую месть: когда жена Палена, первая статс-дама, приехала, как ей полагалось по званию, в торжественный день ко двору, ей нарочито публично было объявлено, чтобы она возвращалась домой и больше во дворец не являлась.

Пален, вступив в должность военного губернатора Петербурга, стал вооружать против Павла войско и жителей. Усиливал недовольство гвардии, которая и так уже была настроена против Павла за то, что он сравнивал офицеров лучших семей, избалованных екатерининскими милостями, со своими грубыми гатчинцами, людьми темного происхождения и плохих манер.

Политика Палена была противоположностью поведения Нелидовой: не желание исправить совершенные ошибки, смягчить жестокость, а, напротив того, довести ее до высшего предела, дабы заронить в сознание окружающих необходимость устранения самой причины этой жестокости.

Суеверный Павел, по чьему-то пророчеству уверившись, что после четырех лет ничто власти его не угрожает, вдруг решил вернуть обратно всех им сосланных.

Тысячи двинулись в Петербург со всех концов. Первые были приняты с распростертыми объятиями и получили отличные места, вторые мест не получили, а



третьи просто-напросто надоели Павлу, и, подзуживаемый Паленом, он никого принимать не велел. Люди без средств, растеряв все знакомства и протекцию, просто гибли с голоду, проклиная произвол деспота.

Как военный губернатор, Пален имел в своем распоряжении все заставы, тайную и явную полицию, заведовал внешними сношениями и почтой. Все повеления Павла шли через его руки. Не дав ему одуматься, Пален грубо и немедленно приводил их в исполнение, чем создавал все новых врагов. Именем Павла граф Пален правил таким образом, что как в России, так и за границей окрепло представление, что русский император сошел с ума.

Важнейшие события произошли во внешней политике Павла. Как недавно он соединен был с первой коалицией, возглавляемой Питтом, с целью низвергнуть власть, «узурпированную» Бонапартом, и передать ее обратно законным Бурбонам, так сейчас, под влиянием умного воздействия клеветов первого консула — иезуитов, вчерашнюю ненависть заменил восторженным обожанием этого нового государя французов, «если не по имени, то по существу». Право на власть и помазание незримой благодатью, по уверению Грубера, перенесены были высшей волей на того, кто, наконец вняв голосу всевышнего, предлагал священный остров Мальту ее грессмейстеру в ту минуту, как попавшая в сети «темных сил» Англия этим островом завладела и не имела намерения его уступить. Разрыв с Англией наносил великий вред заграничной торговле, ибо за сырые произведения русской почвы Англия снабжала мануфактурой и колониальными товарами. Эта торговля обеспечивала дворянство в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, сало, корабельные леса, мачты, лен и пеньку.

Разрыв с Англией окончательно возбудил дворянство против Павла. Мысль извести его стала желанной для знати обеих столиц.

Наполеон между тем, получив неожиданную поддержку недавнего врага, русского императора, решил привести в исполнение свой великий план обессиления Англии. Под начальством блестящего Массены он задумал поход на Индию, для чего французы в



назначенном месте должны были соединиться с русскими.

Этим походом воображение Павла было захвачено чрезвычайно. Он сразу захотел наибольшего — обеспечить России преобладание в Индии. Без согласия Наполеона он двинул войска на Хиву и Бухару, о чем последовал приказ Орлову, атаману Войска донского: «Я готов атаковать англичан там, где меньше ожидают. А владения их в Индии самое лучшее для сего».

Павел вознамерился выполнить этот поход при помощи одних казаков, отчего пошли тотчас разговоры, что государь хочет казачество извести, ибо ненавидит его за древнюю неистребимую независимость. В строжайшем секрете держалось передвижение войска, отправленного, как все полагали, на явную гибель.

Последние выходки Павла привели в волнение все население Петербурга, заговорили уже громко, что дальше терпеть нельзя. Панин настаивал, чтобы скорее было вырвано у Александра согласие предложить больному отцу подписать акт об отречении от престола.

Вначале предполагалось, что Александр назначен будет соправителем.

Уже некоторое время тому назад Панин сделал попытку приготовить Александра к этому шагу. Он первый заговорил с ним о сокращении власти отца. Граф Пален, в качестве военного губернатора свободно встречавшийся с наследником, устроил Панину встречу с ним в ванной комнате, дабы избежать подозрений Павла.

Панин красноречиво изобразил Александру, какие беды испытывает Россия и что ее ждет еще впереди, если сейчас не пресечь самодурство несомненно больного государя... Александр, имевший в характере много робкой уклончивости, пока только краснел и отмалчивался.

Торжественное освещение Михайловского замка произошло в день Михаила архистратига, восьмого ноября. Было парадное шествие из Зимнего дворца мимо войск, поставленных шпалерами, и при громе



пушек. При обеде, назначенном в час дня без гостей, присутствовал и граф Пален. Он, словно хозяин, ввел Павла в этот мрачный дворец, из которого замыслил выпустить его лишенным сана либо вовсе не выпустить живым.

В гоф-фурьерском журнале записано: «Кубков на случай сего торжества приуготовано не было, а пили вино из обыкновенно употреблявшихся граненых рюмок». Страшная сырость принудила Павла отложить переезд еще на месяц. За это время срочно сделали в спальнях деревянную обшивку, и наконец желанный день наступил.

Приказано было при осмотре дворца присутствовать строителю Бренне с учеником. Выбран был Карл Росси.

Когда Карл вошел вслед за учителем, император уже стоял в передней овальной комнате у бюста короля Густава-Адольфа.

Павел был в хорошем расположении духа, он, смеясь, говорил стоявшему рядом высокому, дородному Палену о большом полотне художника Смуглевича — архистратиг Михаил свергает демонов в бездну.

— Его стыдливость горше открытой непристойности. Придумать такую почти дамскую хитрость! У Смуглевича каждый свергаемый с неба демон как бы случайно прикрывает причинное место другого демона рукой, ногой или волосами растрепанной головы. Получилось такое смешное неприличие, что духовные особы запротестовали. — И, обращаясь к Бренне, Павел добавил: — Прикажите Смуглевичу прибегнуть лучше к освященному веками целомудренному фиговому листу.

Не улыбаясь, придворный архитектор склонился перед Павлом:

— Не замедлю исполнить, ваше величество.

Все еще смеясь, Павел быстрым шагом стал пробегать комнаты. Он видел их много раз, но так любил этот свой новый замок, где никто до него не жил, о котором были ему торжественные видения и предсказания долголетия. Чувство защиты внушали ему эти толстые непросохшие стены. Никакое пушечное ядро их не возьмет.



Следующая комната была тронный зал, ее стены покрыты зеленым бархатом и затканы золотом. Огромная печь богато отделана бронзой, а трон обит красным бархатом, заткан и вышит золотом. Над троном герб России, окруженный гербами царств Казанского, Астраханского и Сибирского.

— Предок мой, Грозный, покорил эти царства,— Павел широким движением обвел гербы,— а я прибавил маленький остров Мальту и белый восьми-конечный этот крестик. Но по значению своему мое приобретение окажется больше всех земель, завоеванных до меня!

Он надулся, как бы желая стать выше ростом, но все еще на целую голову был ниже грузного Палена, которого гордо спросил:

— Сомневаетесь, граф?

— Ваше величество, из вифлеемских яслей засиял некогда свет для всего мира, то же повторится и с указанным вами островом,— почтительно склоняясь, тоном старшего, забавляющего ребенка, сказал Пален.— Отныне белый мальтийский крест с вашим именем в истории неразлучен.

— Самое большое зеркало!— не дослушав, вскричал Павел и захлопал в ладоши, подбегая к простенку между двумя кариатидами.— И оно вылито на моем стекольном заводе.

Прошли галерею, в подражание знаменитой лоджи Рафаэля расписанную по стенам арабесками Пьетро Скотти и великолепными фигурами Виги. Дальше через широкие и высокие двери из зеркальных стекол вошли в галерею Лаокоона. На минуту Павел задержался перед запрокинутой головой страдальца и, тихо вздохнув, вымолвил:

— Какова, однако, сила искусства? Изображено страдание величайшее, а нам на него смотреть— не скорбь, а блаженство. Когда б кто так в живой жизни устроил?

Бренна придворно вытянулся и доложил:

— Осмелюсь указать, что сей Лаокоон скопирован в Риме с антика, высечен из единой глыбы мрамора, без пятен и жилок...

— Я совсем не о том,— прервал его Павел и, захохотав неприятным отрывистым смехом, пробе-



жал дальше, вдруг остановился и сказал тоном приказа Бренне:

— Еще раз осмотреть все места, неблагополучные по сырости, и представить на рассмотрение мне. Только прошу не повторять заодно с лекарями,— он сердито обвел глазами Александра и Палена, словно они только и делали, что повторяли неприятные ему вещи,— не повторять, что в этом здании большой вред для здоровья. Здесь я родился— в Летнем дворце, здесь я хочу умереть— в Михайловском замке. Однако не сейчас еще...

Павел опять неприятно засмеялся и, обращаясь к Александру, сказал:

— Заинтересован посмотреть: какую это любопытную статую себе выписал из Рима ваш брат Константин?

Александр, сразу съезжившись, тихо ответил:

— Я ее не видал еще, ваше величество.

Бренна сделал знак Росси следовать за государем, а сам пошел навстречу появившемуся в глубине апартаментов кастеляну Брызгалову и о чем-то стал с ним говорить.

Павел в комнате цесаревича долго рассматривал прекрасную мраморную копию гермафродита. Он все сильнее краснел, потом сердито зафыркал и закричал:

— Непристойность. Убрать. Разбить молотками...

— Ваше величество,— сказал Росси,— это высокое произведение искусства, а не непристойность, и мысль его философски возвышенна.

Павел подбежал к Росси, бешено глянул в его красивое лицо, но, встретив ясность взгляда, вдруг остыл и спросил больше с любопытством, чем с гневом:

— Крайне заинтригован, сударь, узнать сию возвышенную идею муже-женского кумира.

— Это произведение вдохновлено известным мифом Платона о том, что первоначально человек был и мужчина и женщина в одном образе и едином теле. Будучи рассечены надвое, став отдельными, одиночными, мужское и женское начала жадно ищут утраченное ими восполнение. Чаще всего при встрече они ошибаются, отчего и проистекают все горести и неудачи любви. Но если произойдет великая удачная встре-



ча, она принесет и великое счастье. Эта скульптура — копия из виллы Боргезе. В изящных формах, взятых от обоих полов, она есть попытка восстановления первоначального, в себе самом законченного человека.

— Чудесно! — воскликнул восхищенный Павел. — Гермафродит нашел себе прекрасного адвоката, а мне преподан прекрасный урок. Но почему, сударь мой, некие прочие, — он насмешливо поглядел в сторону Александра, — или молчат, или спешат соглашаться с моим часто неправильным суждением?

И Павел, всем поклонившись, прошел было в свою спальню, но быстро обернулся, как это у него теперь вошло в привычку, и, заметив, что Пален что-то говорил Александру, резко приказал:

— Граф Пален, за мной. Наследнику успеете передать ваши новости.

Пален почтительно склонил голову, чтобы скрыть невольную бледность. У него в кармане, на листке толстой нестигающейся бумаги, были написаны имена заговорщиков. И он только что сказал Александру, что пробил час поставить ему там свое имя — первым.

Росси нашел в глубине тронного зала Бренну с Брызгаловым.

Учитель по-французски продиктовал ему для записи все, что требовало немедленной поправки.

— Уже назначен бал, — сказал Бренна, — необходимо хоть для одного этого вечера создать здесь видимость сухих стен.

Карл указал на полосы льда в аршин шириной, которые тянулись сверху донизу по всем углам.

— Горячим утюгом, что ли, стенки прогладить, — проворчал Брызгалов и, ткнув своей палкой в лед, покачал головой. — Просуши-ка поди, когда лед в перст толщиной.

— Передайте ему, милый друг, он мою русскую речь плохо понимает, — своим обычным высоким штилем приказал Бренна, — необходимо так расположить освещение, чтобы в углах сгустились тени и укрыли от глаз публики сырость.

Росси перевел, Брызгалов, поняв, в чем дело, подмигнул и залихватски сказал:



— Вотрем очки! Бумажками так накурю, что твой туман в лесу будет.

Несмотря на постоянный огонь в двух огромных каминах, плесень, разрушающая живопись, уже прозмеилась повсюду, искажая и уродуя картины. Прошли дальше, в покои императрицы, которая сейчас отсутствовала, а ее дежурные фрейлины пожаловались, что не могут согреться, несмотря на отличные березовые дрова в камине.

В комнатах Марии Федоровны стены были обшиты деревом, и сырость, скрытая обивкой, не успела еще испортить чудесных ковров бледно-голубого фона с видами Павловска. В нише стены белела мраморная копия с Бернини—Аполлон и Дафна. Роскошные двери вели в кабинет, чрезмерно украшенный и тяжелый. Зато парадная спальня, которая за ним следовала, при всей роскоши была воздушна и словно расположена прямо под вечно голубым небесным сводом. Эту иллюзию делал бархатный балдахин с богатой позолоченной резьбой, высоко поднятый над кроватью. Дополняла впечатление легкости стройность коринфских колонн, разделенных диванами, тоже голубыми. Все это богатство много раз было отражено зеркалами.

Тронный зал императрицы был меньше, чем у Павла, с богатым камином, украшенным барельефами девяти муз. А к трону вела всего одна ступень. Рядом с тронным залом была расположена галерея Рафаэля с чудесными коврами—копиями знаменитых ватиканских картин. Средняя плафонная картина изображала храм Минервы. На ступенях храма восседали свободные искусства, и лицо грека, изображавшего зодчество, было списано с архитектора Бренны, чем последний очень гордился. Его прославили в городе как человека, очень нажившегося на постройке замка, который и построен-то им по чужому, баженовскому, плану. И это свое изображение во дворце на плафоне покоев самой императрицы Бренна воспринимал как высокую аттестацию его добродетели, закрывающую рот всякому злословию.

— Мне все кажется, милый друг,—сказал он Карлу,—я здесь, на плафоне, несколько польщен, в натуре я много старше. Не так ли?



— О нет,—едва удержавшись от смеха, возразил Карл и, снисходя к слабости учителя молодиться, любезно прибавил:—Сходство изрядное, и художник вам ничуть не польстил.

Галерея Рафаэля вела в залу с прекрасной античной статуей Вакха и Дианы Гудона.

Здесь кончались парадные императрицыны покои. Последняя зала соприкасалась с караульной комнатой, где всегда на часах стоял взвод. С плафона кисти бездарного Смуглевича — того самого, который написал неприличных демонов,—наподобие брошенного мешка, без выражения доблестной жертвенности, свергался в пропасть Курций.

— Милый друг,—сказал, прощаясь с Карлом, Бренна, когда они уже вышли из дворца и собирались идти в разные стороны,—перед балом посмотрите еще за Брызгаловым. Я думаю, лучше распределить вам самим похитрей освещение. Дело будет надежней, нежели допустить кастеляна накурить до тошноты этой церковной душистой бумажкой, как она называется?—и, плохо выговаривая по-русски, он вспомнил сам:—Мо-ниш-ка?

— Монашка,—улыбнулся Карл и перевел Бренне это слово по-французски и по-итальянски.

Пален вслед за государем прошел через Рафаэлеву галерею в его апартаменты. Прихожая расписана была отличными картинами Ван-Лео, темой которым послужили легенды из жизни св. Григория. Во второй метнулся в глаза потолок, плафон работы Тьеполо, где Антоний и Клеопатра восседали в смешных, им не современных костюмах. Третья комната — библиотека Павла. Здесь были шесть шкафов красного дерева, на которых стояли красивые вазы из порфира. В этой комнате всегда дежурили лейб- и камергусары. Отсюда боковая дверь вела в кухню, и кухарка-немка готовила исключительно для государева стола. Павел сильнее всего опасался отравы.

Другая дверь вела в маленькую комнату, предназначенную для постоянной стражи и соприкасающуюся с витой лестницей. Она шла во двор, где стоял один часовой. По ней же Павел мог приходить никем не замеченный в апартаменты Гагариной, которые располагались прямо под его кабинетом.



В спальне императора стены тоже были обложены деревом и выкрашены в белый цвет. Посредине стояла его малая походная кровать, без занавесок, с простыми ширмами. Над кроватью ангел-хранитель Гвидо Рени. В углу портрет рыцаря-знаменосца кисти Жана Ледюка. Рыцарем этим очень дорожил Павел: он считал его своим особым защитником.

Письменный стол императора был замечателен: он стоял на ионических колонках из слоновой кости с бронзовыми цоколями и капителями. Решетка, тоже из слоновой кости, самой тонкой работы, украшенная маленькими вазами, была выточена Марией Федоровной.

Великолепный ковер покрывал пол. В комнате были две двери, скрытые занавесью: одна дверь была в уборную, другою запирался шкаф, в который прятались шпаги арестованных офицеров. Двойные же двери, которые комнату императора отделяли от комнаты императрицы, были закрыты задвижкой и заперты ключом по приказу Павла, вдруг ставшего опасаться жены под влиянием злых наговоров графа Палена. Стена была очень толста — императрица не могла бы услышать ни шума, ни криков из комнаты императора.

Павел показал графу Палену все свои картины, особенно остановился на рыцаре-знаменосце Ледюка.

— Этот рыцарь, — сказал он, — мой хранитель, больше скажу вам, дорогой Пален, — он мой советник. Сам крестоносец, он вдохновил меня на великую идею негласного крестового похода на восставшие темные силы.

Лицо Павла было смешно и вдохновенно. Он поднял голову, высоко поставленные надбровные дуги поднялись еще выше, крошечный носик опрокинулся вместе с ними, показав две открытые трепетные ноздри и очень большие голубые сияющие глаза. Они одни были живыми и человечески полными чувства на этом странном лице, похожем на маску.

— Осмелюсь спросить, — осторожным, ласковым дядькою, привыкшим руководить озорным питомцем, сказал тихо Пален, — о каком негласном крестовом походе ваша речь?



— О походе на Индию!— воскликнул Павел, подходя к рыцарю.— Не правда ли, мой покровитель?— Он быстро обернулся к Палену. Тот стоял, высокий, доброжелательный, с такой добродушно-откровенной улыбкой на большом, отчетливо вылепленном лице, что Павел, как всегда у него бывало, когда он оставался наедине с этим крупным человеком, источавшим здоровье, поверил ему, успокоился и доверчиво рассказал:

— Я, как помазанник божий, обязан охранить мой народ. То, что кажется профанам сумасбродством и моей капризной прихотью,— есть веление свыше. Пока я знал, что божий перст почиет на Англии, ибо она была против мятежной Франции, я, как вам известно, отправил войска свои в итальянский поход. Но сейчас высшей силе добра служит Франция, и я готов поразить в Индии англичан.

Пален призвал на помощь всю свою придворную выдержку и еще тише, спокойнее и добрее сказал:

— Смею спросить, ваше величество, что же является руководящим, так сказать, указующим вам сию истину перстом?

— Остров Мальта!— воскликнул Павел.— Сейчас его захватили, как разбойники, англичане и, как разбойники, не хотят возвращать его мне — гроссмейстеру!— с невыразимым величием и уважением к этому титулу поднял он к рыцарю правую руку, как бы его беря в свидетели.— А первый консул...— он прошептал Палену, как великую тайну:— на самом деле это великий монарх, это душа великого монарха в нарочитой оболочке, дабы не узнали профаны. Первый консул мне предлагает вернуть святой остров обратно. И против силы тьмы мы сейчас с ним едины.

Пален, удерживая с усилием прежнее выражение на лице, еще нагнул голову, как бы благоговейно принимая доверие, оказанное ему императором, а сам зло и жестко подумал: кончать с ним немедленно... обработали иезуиты.

— Но это высказанное вам обоснование моих действий между нами, не правда ли, Пален? Подчиненные не имеют права, как в святилище, проникать в душу монарха. Им слово помазанника — закон. Так, Пален?



— Ваше величество...— низко склонился всей грузной фигурой Пален.

— Ах, как мне здесь хорошо, как весело!— Внезапно Павел легко, по-мальчишески пробежался вдоль стены и стал близко к Палену.— Я здесь наконец себя чувствую дома. Я охранен. Я принадлежу сам себе. Здесь я с удвоенной ревностью хочу заняться благосостоянием моего народа. Что нового принесли вы сегодня мне, Пален?

И вдруг ловко и быстро, как обезьяна, Павел, чуть приподнявшись на носки, запустил свою руку в карман Палена.

Пален страшно побледнел, в один миг своей рукой отодвинул небольшую ладонь императора и, прикрыв нестигавшийся листок бумаги, захохотал так заразительно искренно, что, еще не поняв, в чем дело, не вынимая руки из кармана Палена, государь ответил ему отраженным смехом.

— Махорка!— все еще захлебываясь смехом, наконец выговорил Пален.

Смеясь, он таким взглядом смотрел в голубые глаза государя, как будто через их голубизну вторгался в несчастную его голову, и, по своей воле переместив его мысли, воскликнул еще и еще:

— Махорка в этом кармане, махорка! Ведь я нюхаю, а вы этого запаха не выносите, ваше величество... ха-ха...

Павел вытащил руку, отряхнул ее, вытер платком, смеясь, поплевал, говоря:

— Что за свинство... махорка!

И, как всякий человек, после веселого беспричинного смеха испытывая облегчение душевного груза, благодарно сказал:

— Ну и насмешили меня. А теперь идите к Александру, его тоже полезно посмешить. Что-то не по возрасту мрачны мои сыновья.

Апартаменты Александра были просты, исключая приемных: большой зал, разделенный надвое аркой на ионических колоннах белого мрамора, был украшен великолепными картинами, из коих одна — кисти



Рубенса. Зал вел в тронную великого князя. Здесь стены, обтянутые пурпурным бархатом, были затканы серебром, на ковре, не приподнятом ступеньками от прочего пола, стоял трон. Часто, стоя под балдахином, Александр давал аудиенции.

Сейчас Александр сидел на диване в своем кабинете и упорно смотрел в камин. Дрова пылали, а ему было холодно. Вот-вот придет Пален, потребует от имени государства возглавлять заговорщиков...

Как заблудившийся ребенок о любящей матери, он со слезами подумал о Лагарпе, добром и умном учителе юности. Был бы здесь, вот кто б помог.

А что недавно сделал батюшка на смех всей Европе с этим Лагарпом? «За неистовое и разнузданное поведение отнять орден Владимира» — глупейший приказ, и такое же поручение Корсакову — схватить Лагарпа с фельдъегерем и привезти в Петербург для отправки в Сибирь. За что, спрашивается? За то, что во время суворовского похода Лагарп находился во главе швейцарского правительства, по мнению батюшки — мятежного. А то позабыл отец, что навеки должен быть благодарен сему Лагарпу. Он был единственным человеком, который пытался возвысить отца во мнении сыновей. И честный Лагарп отказался от участия в замыслах бабушки лишить отца трона. Вот благодарность его...

Александр взволновался, вышел из кабинета, стал ходить по мягкому ковру тронного зала. Это его несколько успокоило, показалось — гуляет по скошенному сену на цветочном лугу. Даже захотел позабыться, на минуту стал под балдахин, огляделся вокруг, вообразил себя вдруг весьма далеко, на лоне каких-то светлых вод, и улыбнулся желанной свободе.

Доложили о Палене, Александр помертвел, велел провести в кабинет, куда прошел снова сам.

— Необходимо, чтобы ваше высочество прочли вот это, — сказал Пален, подав перлюстрированное письмо Семена Романовича Воронцова к Новосильцеву. — Я бы должен по долгу службы передать его государю, но... передаю вам.

Александр взял молча письмо, стал читать, скоро пальцы его задрожали — письмо было некоей прозрачной аллегорией.



«У меня нет надежд в настоящем,— писал приятелю Воронцов,—я уповаю на утешение в будущем. Наша жизнь то же самое, как ежели бы мы с вами очутились на корабле, капитан и весь экипаж которого принадлежали бы к народу, языка которого мы не понимаем. Поднялась страшная буря, и вдруг капитан сошел с ума и по капризу своему бросает за борт одного за другим матросов. Скоро все мы будем погублены этим сумасшедшим, который вместе с нами погубит и весь драгоценный груз корабля. Одна надежда на спасение, если молодой помощник капитана, к которому весь экипаж преисполнен доверия, возьмется за руль. Его нам о том надлежит заклинать».

Александр понял, залился краской, все затрепетало внутри, а Пален, как бы пригвождая к месту своими круглыми властными глазами, сказал:

— Каких же еще доказательств вам надо, чтобы поверить, сколь для всех тягостно государством несомое бремя?

Александр попытался робко спастись возражением:

— Придворных кучка в сравнении с народом. А народ...

— Народ,—прервал Пален,—но разве вашему высочеству не известно, что двенадцатого января отдан приказ о выступлении в Индию донским казакам? Двадцати двум тысячам человек приказано делать тридцать—сорок верст в день. Что они терпят, вы задумались? Морозы, метели, страшные лишения... крайне плохое состояние дорог. А надо протащить с собой единороги и пушки... Экспедиция задумана, как всё у нас,—вдруг, без того, чтобы собрать необходимые сведения о средствах тех стран, через кои будут следовать казаки. Без заготовки продовольствия, обоза, лазаретов, даже, как я узнал от самого императора,—без маршрутов. Наконец, вашему высочеству уже известно, что беспримерное мужество нашего итальянского похода оказалось на руку только австрийцам,—он тоже по капризу был начат и оборван... и только благодаря гению Суворова мы спасены от позора. А что ожидает донских казаков за Оренбур-



гом? Ведь они двинуты с женами и детьми... на верную смерть.

Пален прошелся и, став против Александра, твердо сказал:

— Секретная экспедиция в Индию, быть может, нужна, но предпринята безумно, без апробации Наполеона. Объявить себе войну, как это решил вскорости сделать император, Англия едва ли дозволит. Сотрудников явных и тайных у нее при русском дворе много, а врагов смертельных у нашего государя столько же. Предлагаю вам сделать выводы. Если вы не поспешите сами спасти вашего родителя, а нашего государя...—Голос Палена дрогнул. Он волновался и волнения своего здесь не скрывал.—Ваше высочество, поспешите согласием. Ведь не о каком-либо ущербе или о лишении августейшей жизни идет речь — совсем наоборот. Речь идет о том, чтобы заболевшему некоторым расстройством мысли императору дать возможность восстановить свои силы. А пока он болен — отречься от полноты власти, сделать вас соправителем. Вот о чем молит вас вся страна — пресеките возможность заболевшему государю совершать великое зло собственной стране.

Прирожденная уклончивость характера Александра, еще усиленная воспитанием, делала для него невозможным сказать решающее слово. И Александр повел себя так, как будто весь акт отречения уже позади, а перед ним одна лишь задача: как можно удобнее устроить сейчас жизнь отца.

— Я предоставляю государю им любимый Михайловский замок,— с той вынужденной скромной улыбкой, которая почему-то считалась пленительной, сказал Александр.— Верховые прогулки батюшке всего лучше будет продолжать в так называемом Третьем летнем саду, не правда ли?..

Он глянул на Палена и оборвал сконфуженно речь. Пален глядел на него холодно, с затаенным презрением:

— Если ваше высочество мечтает о пребывании августейшего отца вашего в замке уже после подписанного им отречения, то на выполнение сего необходимого акта, полагать надо, ваша подпись мною будет получена.



Пален вынул из кармана тот самый листок крепкой, негнущейся бумаги, который чуть было не вытащил у него Павел, и протянул Александру.

Как от ядовитой змеи, Александр отбежал скорым шагом к камину... Вернулся опять, хотел что-то сказать и не мог.

Пален чуть склонился, держа в руках свой листок,—строгий, сжав губы, ждал.

Александр, дрожащий, теряющий остатки самообладания, вымолвил шепотом:

— Умоляю вас, завтра. Я завтра отвечу.

— Последний срок, ваше высочество,—сурово уронил Пален, отправляя листок в карман.—Хуже будет и государю и вам со всем вашим семейством, если нас предвоят более решительные заговорщики.

Он холодно поклонился и вышел.

Александр, зарыдав как ребенок, упал на диван.

Как Павлом было назначено, второго февраля был дан в Михайловском замке бал для дворянства и купечества. Два унтер-офицера пропускали в овальную гостиную. Свод этой гостиной покоился на кариатидах, промежутки занимали аллегорические барельефы. Мебель здесь была огненного бархата, отделана серебром. Плафон работы чудесного Виги изображал такое великолепие Олимпа с собранием всех богов, что казался лучезарным источником света по сравнению с погребальным освещением замка.

Тысячи восковых свечей, зажженных в канделябрах и люстрах, не могли рассеять туман, который клубился вдоль оттаявших стен и создавал полумрак, делавший однообразной всю роскошь нарядов.

Несмотря на бравурно гремевшую музыку, этот все растущий туман и погребальные свечи производили на безмолвно толпившиеся маски удручающее впечатление.

Лихо плясали только молодые чиновницы, счастливые уже тем, что попали в роскошный замок.

Павел, мрачный, свирепо оглядев маскированных большими глазами, удалился, сильно топая, в свои защищенные комнаты очень рано.



Пален разыскал Александра в галерее Лаокоона. Прошли несколько шагов рядом. Для присутствующих ничего удивительного не было в том, что военный губернатор граф фон дер Пален беседует с наследником. Возможно, он передает ему что-либо от государя.

Не дрогнув своим придворным, вельможным лицом, не понижая голоса и без особого выражения, Пален, сказал:

— Сегодня, в сильном гневе, его величеством было произнесено следующее: «Скоро многие мне некогда близкие головы должны будут пасть».

Чуть повернувшись более к Александру и равняясь шагом по его внезапно замедленному шагу, Пален спросил:

— Могу ли возглавить нас вашим именем?

Боясь себя самого, Александр вымолвил:

— Можете.





## Глава пятнадцатая

Павел сидел в своем кабинете и читал историю великого прадеда.

Все эти дни его особенно волновали отношения Петра к Алексею. Больше того, Павлу казалось, что по прямой линии, как правнуку от прадеда, к нему прямо в сердце идет от Петра сила, которая двинет в урочный час и его руку написать сыновьям заслуженный ими приговор. Вот только Пален представит обещанные неоспоримые доказательства...

Павел был уверен, что после распущенного правления матушки и следствия его — великого всероссийского казнокрадства, глубокой развращенности нравов — дальнейшее процветание России возможно лишь при неуклонном выполнении введенного им строжайшего гатчинского порядка. И горестно было сознать, что достойного преемника ему не было. Хуже того, наследник по праву и крови злоумышлял на отца.

Лживый Александр, расслабленный, изнеженный бабкой, глубоко заражен вольнодумием своего бывшего воспитателя Лагарпа. И сколь он ни скрытен, когда



был им узнан приказ генералу Корсакову сего женевского возмутителя с фельдъегерем привезти в Россию, дабы водворить навечно в Сибирь,— он весьма опечалился. Заодно с Константином был против отца, на стороне Лагарпа. И донесли—оба сына поносили ядовито и с издевкой его праведный суд.

Павел вскочил, пробежал из спальни в библиотеку. Рука сама собой вытащила заветную книгу о Фридрихе. Как девица идет за советом к оракулу и «толкователю снов», так и он прибегал во всех случаях жизни к своему кумиру и властителю дум. И хотя знал отлично то место в биографии Фридриха, которое сейчас ему было нужно, он для поддержки перечел его еще раз.

Это было известное событие в жизни Фридриха, еще наследного принца, которое чуть не привело его по приговору отца на плаху. И только заступничество австрийского и прочих дворов и, главное, торжественно обнаженные груди высоких военных, взамен принца предложивших пронзить их сердца, смягчили уже произнесенный, но не обнародованный приговор. Отец Фридриха удовлетворился, однако, тем, что вместо сына приказал казнить его ближайшего друга, юношу фон Катте, который согласился с ним вместе убежать в Англию от ига короля-отца. Катте был обезглавлен под окнами Фридриха, которого принудили смотреть на казнь близкого друга, пока он не лишился чувств.

«Пусть лучше будет принесена эта кровавая жертва, нежели хоть один закон нашей страны потерпит поругание» — так сказал король-отец, подписывая смертный приговор молодому фон Катте, и слова его великий Фридрих впоследствии одобрил.

— Да подкрепят мой дух мужественные примеры доблестных людей! — воскликнул Павел, ставя на прежнее место книгу.

Он вернулся к себе в кабинет, но заниматься делами не мог. Надо было сейчас, сию минуту что-то предпринять относительно Александра... Но он вдруг забыл, что именно. Отметил горестно, что все чаще проваливается вдруг его память на полумысли, на полуслове.

— Ничего,— ободрил он сам себя,— здесь все силы ко мне вернутся, только никуда из Михайловского



замка, ни шагу. Разве что верхом в Третий летний сад. Теперь и к Аннушке Гагариной тут же, по витой лестнице, под собственный кабинет, этажом ниже. Перехитрил заговорщиков — переехал, сколь ни чинили препятствий. Недостроено, сыро, — а на что каминны? Пылают денно и нощно. А ежели у великой княгини, Александровой супруги, от сырости мигрень? Ну что же — потерпите, мадам...

Павел сделал насмешливый поклон в пустое пространство и вдруг вспомнил то, что только что позабыл. Усиленно забилося сердце. Проверять надо наследника Александра — вот что он позабыл. Лицемерию выучился у бабки, под внешней покорностью скрывать свои планы. Удалось бы ей в свое время незаконно взойти на престол, если бы она не была величайшим мастером лицемерия. Проверять Александра надо внезапно, когда он того не ожидает, как птицу хватать на лету...

И Павел, торопливо спустясь вниз по лесенке, пробежал анфиладу комнат и без доклада вошел к Александру в кабинет. Стремительно подбежал к нему, испытующе глянул в глаза:

— Чем, сударь, заняты?

Александр ужасно смутился. Ну так, словно отец поймал его на месте преступления. Он ничем не занимался. Он часами теперь сидел так и смотрел в одну точку, когда его не видел никто. Граф Пален словно взял его, как маленького, за руку, насильно перевел через шаткий мосток над бурной рекой. И мост рухнул, и назад уж нельзя. А под ногами разверзлась пропасть, двинешься — упадешь. И всего лучше было ему ни о чем не думать, а недвижно сидеть; чуть дышать, почти умереть.

— Чем сейчас были заняты? — повторил грозно Павел и обежал глазами комнату.

— Я, батюшка, так сидел, — проговорил угасшим голосом Александр.

— Подходящее занятие для наследника престола, — рванул резко Павел и вдруг заметил на письменном столе отодвинутую вглубь раскрытую книгу. Перед ней, как бы заслоняя ее, стоял глобус.



— Наскоро поставили, заслонить? — ехидно спросил Павел. — А ну-ка посмотрим, что вы изволили, сударь, читать?

Павел схватил раскрытую книгу, пробежал быстро глазами, покраснел, запыхтел. Александр, вытянувшийся как на смотру, побледнел при этих ему известных угрожающих признаках гнева отца.

— Вы, сударь, отодвинули и заставили глобусом книгу, дабы я не приметил, что именно вам было угодно читать.

— Я ничего не читал... — пробормотал Александр.

— Ложь! — крикнул Павел. — Вот он, восхваляющий убийство Цезаря стих Вольтера, ваша книга была раскрыта как раз на нем. Вы, сударь, поглощали Брута.

И Павел декламировал по правилам французской трагедии, с подчеркнuto ироническим оттенком голоса:

— Rome est libre. Il suffit.  
Rendons grâces aux deux!<sup>1</sup>

Да за одно это чтение вы достойны... — Павел махнул рукой, побежал к двери, остановился, бросил на пол оставшуюся в его руках книгу, от ярости понизив голос, сказал: — Но прежде всего вы с вашим братом будете вторично приведены к присяге верности вашему императору генерал-прокурором Обольяниновым.

Павел ушел. Александр, медленно подняв книгу, положил ее снова на стол и, сев на прежнее место, застыл без мысли, без чувства.

Очень скоро доложили ему приход одного из государевых адъютантов, того самого, который послан был к Суворову возвестить ему запрет приезжать в Михайловский замок.

Ничтожный придворный человек, с незапоминаемым мелким лицом, сказал фальшивым голосом царедворца, которому лестно нанести безнаказанно царскому сыну удар:

— Его величество присылает вашему высочеству для справки жизнеописание Петра Великого, с нарочитым назиданием прочесть страницы, посвященные

---

<sup>1</sup> Рим свободен. Довольно. Возблагодарим богов! (фр.)



последним его приказам относительно судьбы его наследника.

Александр машинально взял из рук адъютанта большую книгу, кивком головы отпустил его и прочел выразительные строки о присуждении к смертной казни царевича Алексея.

Слезы брызнули из его глаз. На красивом лице проступила обиженная растерянность. Не вытирая слез, измученный, он прошептал:

— И некуда мне убежать.

Вечером в Михайловском замке был французский концерт. Все ощущали большую тревогу: зачем это пение, зачем бриллианты мадам Шевалье, когда вот-вот грянут события...

Уже пошли в городе шепоты о предрешенном аресте обоих великих князей. Вызывали в памяти кровавый конец отца Павлова, и во главе заговорщиков называли сыновей тех, кто убил Петра Третьего. Неужели опять повторение?

Император сидел на концерте сумрачный и не обращал внимания на пение своей любимицы Шевалье, о которой еще недавно поговаривали — она-де заступить должна место Гагариной.

Перед выходом к вечернему столу император надумал какое-то сценическое появление, особое воздействие своей персоной, как во французских криминальных драмах, дабы уличить нежданно преступников. Распахнулись обе половинки дверей, и он, уже некоторое время ожидаемый, подошел к императрице, скрестив на груди руки. Посмотрел, помолчал, многозначительно улыбнулся. То же проделал, подойдя по очереди к обоим сыновьям. Было смешно и грозно, словно плохой актер, не разрешившийся словами, одной мимикой выразил угрожающий приговор.

Павел спешно протопал первый в столовую и сел за стол. На ужине, как на панихиде, царило гробовое молчание, а когда Мария Федоровна с великими князьями подошла, как обычно, его благодарить, Павел отскочил от них, замахал рукой, ушел, не поклонившись, к себе. Императрица заплакала.

Граф фон дер Пален неослабно следил за настроением Павла и решил, что сейчас ни на минуту нельзя



выпускать его из рук, пока не свершится задуманное немногими, ожидаемое всеми пресечение его безумной власти. По должности главного почтдиректора Палену было уже известно, что Павлом выписан из своей деревни Аракчеев. Времени для полной и бесконтрольной власти оставалось немного, завтрашний день грозил ссылкой, Сибирью, быть может, казнью. О заговоре открыто говорил уже город. И вот начался поединок между царем и царедворцем.

Пален, высокий, сильный, дышащий здоровьем, полный неизменной доброжелательности, несколько грубоватой, но тем более внушающей доверие, одним своим физическим видом умел, как лекарством, усыпить больные нервы Павла. Не веря Палену, боясь его, он все-таки с ним отдыхал.

План военного петербургского губернатора графа Палена был таков: утомлять государя непрерывно делами так, чтобы ничье живое влияние не прослоило того исключительного волевого обхвата всей психики Павла, который ему удалось создать. Так продержать Павла надо до вечера, до конца. Да, вечером — конец. Дольше откладывать нельзя и минуты.

Совсем на днях Павел, получивший еще один донос с перечислением заговорщиков, хвастливо почитая себя на высоте прокурорского гения, внезапно спросил Палена, пришедшего с очередным докладом:

— Вам известно, что против меня существует заговор?

И Пален ответил со своей улыбкой, убаюкивающей все сомнения:

— Почти во всех подробностях, ваше величество, потому что я сам этот заговор возглавляю. Наилучший способ держать в своих руках все нити...

Пален сказал правду, но так она была ошеломительна, что усыпила настороженность и оживила обычное самомнение Павла. Он небрежно приказал:

— Дознавайтесь скорей и докладывайте.

Сам же хитро подумал: «А как про всех доложит, его первого под арест. Разберу дело не с ним, с Аракчеевым».

Опять в памяти Павла случился провал: вызов, посланный Аракчееву, мог достичь своей цели, если б



у Палена власть была отнята. Но Павел отнять эту власть позабыл, и человек, которому подчинена была вся полиция, тайная и явная, на одной из застав приказал задержать поспешившего на спасение царя Аракчеева.

Кто еще может быть опасен заговорщикам? Разрешено иезуита Грубера впускать во все часы дня и ночи. Иезуит — клеврет первого консула. Кто знает, какие у него могут явиться проекты для охранения силы, сейчас готовой служить замыслам его хозяина против Англии?

И Пален патера Грубера очень хитро не пустил. Любезнейше попросил его повременить, пока не будут государем подписаны дела первой важности. Большого хитреца перехитрил на́больший. Грубер доверился приветливо почтительному Палену и с терпением ждал.

Когда Павел, не выносивший долго усидчивой работы, спросил Палена, который с расчетом на это качество государя завалил его подписью бесконечных бумаг: «Ну, еще что... еще что?» — Пален с сокрушенным сочувствием вымолвил:

— А еще патер Грубер ждет с толстой тетрадью собственных мыслей о необходимости соединения церквей.

Расчет Палена, как всегда, попал в точку. Утомленный Павел воскликнул:

— Послать патера к черту с церквами и тетрадями.

Павел ездил кататься верхом в Третьем летнем саду, потом долго разговаривал с Коцебу, недавно возвращенным из ссылки. Это входило в план — занятия невинные, развлекательные, не таящие в себе угрозы возникновения опасных заговорщикам мыслей. Павел поручил Коцебу описание любимого своего замка и очень интересовался, как подвигается работа. Развеселился, проходя мимо статуи Клеопатры. Высказал предположение, что египетская очаровательница потерпела неудачу у Августа единственно оттого, что красота ее несколько перезрела. Между тем, обольсти она Августа, не понадобились бы ей общеизвестные нильские змейки, чтобы самовольно пресечь свои дни.



К своему письменному столу Павел подошел радостно возбужденный. Глянул на картину Ледюка, изображавшую рыцаря, которого почитал своим охранителем, как обычно кивнул ему головой, словно живому, и с лукавой усмешкой вытащил из ящика копию своего послания всем правителям европейских государств о вызове их на рыцарский турнир. Внезапно нахмурился и сел писать приказ на имя барона Криденера, посланника в Пруссии, с требованием объявить прусскому королю предписание занять Ганновер.

Краска выступила на бледных щеках Павла. Промелькнуло в голове, что прусский король может его послушаться. И он гневно приписал в конце приказа Криденеру: «Если король не займет Ганновер, вы обязаны в 24 часа оставить его двор». От того, что он написал, гнев его еще возрос. Перед его воображением встал уже чей-то стовор, сопротивление. Он не доверял своему прусскому послу. Он схватил другую бумагу и написал Колычеву в Париж с повелением самому Наполеону передать его предложение вступить в курфюршество ганноверское ввиду нерешительности берлинского двора.

Велел позвать Палена. Все сильнее не веря ему, боясь его, Павел тем не менее через него отправил обе только что написанные бумаги.

В послании к Криденеру Пален осмелился приписать от себя: «Государь очень болен... скоро это будет иметь свои последствия».

Пален шел на крайний риск: или сегодня ночью, или никогда.

Дальнейшие события развернулись так, что оставили в истории еще одно доказательство победы сильной воли, знающей свою цель, над характером, подчиненным мимолетным капризам и чувствам, характером, не умеющим не только защитить свою жизнь, но, словно в угоду твердо начерченному плану врага, как бы усерднее всех исполнявшим его предначертания. Павел грозно объявил сыновьям домашний арест, чем снял с Александра невыносимые укоры его легко раздражимой совести, так что генералу Уварову, приставленному Паленом к наследнику, дабы тот не



предпринял каких-либо опасных для заговорщиков шагов в порыве раскаяния в данном им слове, не пришлось прибегать к защитительным мерам. Уваров только вторил Александру в его розовых грезах относительно той удобной, безответственной жизни, которую надо будет теперь устроить больному, отошедшему добровольно от власти императору.

Уваров охотно и многократно повторял Александру клятву, данную ему Паленом, что, конечно, жизнь Павла для всех священна и никакого урона его здоровью нанесено быть не может. Александр охотно верил и быстро успокаивался, избегая смотреть в точные, исполнительные глаза Уварова, словно боясь в них прочесть насмешку и осуждение.

И Александр в глаза Уварова не смотрел и ненужных вопросов ему не предлагал. Он хотел, как всегда, не истины, а только покоя.

Оставалось еще последнее препятствие, которого Пален имел основания, как он сам впоследствии говорил, опасаться более всех: полковник Саблуков, командир эскадрона, должен был выставить караул в ночь на двенадцатое марта в Михайловский замок. Этот несокрушимый человек был верен присяге и Павлу.

Пален поручил генералу Уварову устранить и его. И точный, спокойный Уваров этого добился легко. Он только шепнул Павлу, что молва идет об эскадроне Саблукова, будто все они — якобинцы. И за три часа до своей гибели Павел своей волей удалил последнюю свою защиту — беззаветно преданного Саблукова.

Впрочем, воли своей у Павла уже не было, он лишь отдавал распоряжения, повинаясь воле чужой. Сознание Павла было как прозрачная среда, через которую, не задерживаясь, проходил луч твердого, определенного руководства.

И вместе с тем чувствительность его была обострена до предела, переходила порой в ясновидение. В последний вечер своей жизни он был как-то причудливо весел, о чем, вспоминая горький опыт пережитого, вдруг сам сказал:

— Сей род веселости у меня всегда бывает перед особо большой печалью.



Он любезно шутил со всеми, кто был за ужином; наследнику, хотя тот и был под домашним арестом, вдруг многозначительно сказал слова, как того вовсе не требовало вызвавшее их маловажное событие. Наследник чихнул, а Павел привстал, изысканно ему поклонился и произнес с подчеркиванием:

— Исполнение всех ваших желаний.

Уходя же к себе после ужина, сделал две вещи, которые, будучи очевидцами рассказаны своим знакомым, облетели город, занесены были в дневники современников и вошли в историю.

Павел подошел к зеркалу, рассмеявшись своим хриплым, отрывистым смехом, сказал:

— Как странно, я вижу себя со свернутой шеей!

И затем, уже уходя к себе в спальню, остановился у дверей, ни к кому не обращаясь, произнес, как фаталист-мусульманин:

— Чему быть — того не миновать.

Около одиннадцати часов вечера заговорщики собрались в квартире Талызина, командира Преображенского полка. Много было выпито, все готовились к важному делу, но в чем именно оно будет состоять, знали очень немногие. В половине двенадцатого появился Пален. Еще потребовалось шампанское. Подняв бокал, Пален скромным, но твердым голосом сказал свои решающие слова:

— Поздравляю с новым государем.

Еще ничего с Павлом не было окончательно решено. Он еще царствовал. Все мосты подъемные были подняты. Все караулы на месте. А хитроумный Пален заставил присутствующих выпить с ним вместе за здоровье государя нового, чем как бы перевел по ту сторону дела, уже свершившегося. Коварный знаток слабых сердец, он сделал и с собранными офицерами то, что ему уже удалось сделать с Александром. Он в их мыслях переставил в уже прошедшее то, что им еще только свершить надлежало. Он освободил слабых от выбора, этого тяжкого бремени сильных людей, и крикнул, как на подчиненных.

— Стройтесь в две колонны! Разделяйтесь — кто пойдет со мной, кто с князем Платоном Зубовым!

Никто не трогался с места. И тут не хотели брать на себя ответственность. К тому же все были не трезвы.



— По-ни-маю,— протянул несколько презрительно Пален. И до конца принял решение на себя одного. Он брал офицеров, как детей, за руку и отводил одного вправо, другого влево. Сказал Платону Зубову:

— Вот эти — с вами. Прочие со мной. В Михайловский замок, господа!

Войдя во дворец, Пален передал, тоже ганноверцу генералу Беннигсену, крепкому, хладнокровному человеку, главенство над своей половиной и направился в покой императрицы. Вошел к дежурной статс-даме и стал ей рассказывать обстоятельно, что сейчас происходит на половине государя.

В качестве плац-адъютанта заговорщик Аргамаков знал отлично все ходы, и выходы, и потайные коридоры, по которым должны были дойти до спальни Павла.

Поднялись по лесенке в маленькую кухню, смежную с прихожей, перед спальней государя. Здесь спал охранитель, камер-гусар, прислонившись головой к печке. Один из офицеров рубанул его саблей, гусар закричал во всю мочь:

— Убивают государя, спасите!

Граф Кутайсов, живший этажом ниже, проснулся от шума и кинулся было на помощь, но, устранившись, стал спасать только себя. Как заяц, стрельнул он из замка, по дороге теряя свои ночные туфли.

Павел в испуге вскочил. Забыл или побоялся спуститься к Гагариной потайной лестницей. Спрятался в камин и заслонился экраном.

Едва заговорщики гурьбой вошли с шумом в спальню, как на лестнице раздались шаги и бряцание оружия. Все решили, что их сейчас арестуют, и шарахнулись бежать. Генерал Беннигсен, высокий, худой, бледный как призрак, один не был пьян. Он мгновенно представил себе все последствия неудачи и проявил твердую решимость, не зависящую ни от каких неожиданных впечатлений. Пален знал, кому доверить выполнение дела. Беннигсен, обнажив саблю, стал у дверей и кратко сказал:

— Назад уже поздно. Зарублю. Кончайте.

Луна осветила босые ноги Павла. Беннигсен отодвинул от камина экран и, указывая на небольшую



фигуру в белом полотняном камзоле и ночном колпаке, произнес по-французски:

— Le voilà!<sup>1</sup>

Беннигсен, не оборачиваясь, вышел в кабинет Павла и сделал вид, что спокойно рассматривает картины, висевшие на стенах. Когда он вернулся, все было кончено. Павел мертвый лежал на полу.

— Благопристойно уложите его на кровать,— приказал Беннигсен и пошел навстречу входившему Палену.

Когда к Александру кто-то из приближенных обратился со словами: «Ваше величество», он понял, что отец его умер, и забился в истерике.

— Вам ведь было известно,— желая сказать мягко, но с плохо скрытой усмешкой сказал Пален,— вам было известно, что исход заговора означал для вас либо престол, либо заточение, если не гибель. Что же так вас теперь убивает?

— Вы мне клялись, что отец будет жив!

— Меня в это время не было в спальне императора, я охранял вашу матушку,— не дрогнув, сказал Пален и с прорвавшейся вдруг властью приказал:

— Довольно ребячиться. Ступайте царствовать. Покажитесь народу.

Карл Росси, выйдя поздно вечером из дома Тугариновых, от захвативших его мыслей и чувств не мог сразу вернуться домой. Он пошел бродить вдоль Невы по любимому городу. Душа его была переполнена, и встревоженные чувства мешали ясности мыслей. Как вдруг все перевернулось в его судьбе! Капризная и надменная Катрин, которая нанесла такую рану его первой наивной любви, сама полюбила его, и самые несбыточные грезы, от которых он давно отказался, сейчас могли стать действительностью. Катрин расположила к нему своего отца, и тот, собрав о нем сведения от своих придворных знакомых, художни-

---

<sup>1</sup> Вот он! (фр.).



ков, ловко выпросил и Бренну и получил впечатление, что юноша Росси, сын знаменитой балерины, если разовьет свои гениальные способности, превзойдет славу матери. Такого многообещающего художника, прекрасного собой и с отменными манерами, можно и приласкать. Катрин же пошла еще далее. В очень душевной беседе она призналась, что пережитое ею недавно, основанное на расчете, отношение к князю Игрееву вызвало навсегда отвращение ко всякой лжи и нечестности в области чувств. Пример же прекрасной любви Сильфиды и Мити открыл новый для нее мир свежей радости и красоты, перед которыми бессильны все колкие насмешки господина Вольтера, чьей жертвой она так легковерно была. Словом, Катрин как будто заново родилась и просила простить ее за прошлое, не оставлять своей дружбой в будущем. Отец надавал Карлу кучу очень интересных заказов, он оказался истинным ценителем искусства, и часы, проведенные с отцом и дочерью, были теперь полны новой, неиспытанной прелести. Тугарин просил Карла бывать у них каждый день...

«Если бы все это случилось раньше,—с горечью думал Карл,—как могли мы быть счастливы! Сейчас же за каждой ее улыбкой я вижу только новый каприз, завистливое желание самой испытать те чувства, которые приоткрыла ей настоящая любовь других. Но мне ль стать игралищем ее опытных упражнений? А если во мне говорит самолюбие? Если чувства этой девушки, почему-то запоздавшие сравнительно с развитием ее разума, сейчас расцветают тем нежным цветом, как это было несколько месяцев тому назад со мной самим? И я из чувства мести заставляю ее пережить все те страдания, которые пережил сам?»

Так, переходя от невольного увлечения новой прелестью Катрин и тут же уничтожая зародыш воскресающего чувства иронией, неизбежным следствием сердечной обиды, Карл, не находя себе места, забрел уже на рассвете в Летний сад и на миг забылся, восхищенный его красотой.

Неожиданное в марте ясное, теплое солнце поднималось над Фонтанкой и уже позолотило высокий



шпиль Михайловского замка. А деревья вокруг, очень черные, будто свеженарисованные китайской тушью, с особой отчетливостью наложили сложный переплет своих ветвей на бледно-голубое небо.

Выйдя на мост перед замком, Карл с изумлением остановился. У ворот, которые ведут во дворец и где обыкновенно стояли двое часовых, он заметил целую роту под ружьем. Вокруг замка происходил какой-то неуловимый беспорядок, и в разных направлениях шли различные части войск. Но самой поразительной была возникшая наверху лестницы парадная фигура кастеляна Брызгалова. Он, как обычно, в своем ярко-малиновом сюртуке с золотыми позументами, держал в руке саженную палку, но был без шляпы, и седые волосы его колебал ветер. Кастелян замка показался Карлу либо пьяным, либо вдруг сошедшим с ума. Ясно было одно — что-то необыкновенное произошло за эту ночь в замке.

Росси быстро направился к дому учителя — Бренны, жившего неподалеку, он должен был знать все в подробности.

Данилыч, старый лакей Бренны, сказал, что барин срочно вызван «графом Палиным» во дворец еще ночью, и всхлипнул:

— Сходствие требуется императору навести! Уж так он, государь-батюшка, изуродован. Глаз ему вырвали...

Старик дрожащими от волнения руками открыл Карлу дверь в кабинет.

— Ты в бреду, Данилыч, иль с похмелья? — изумился Росси.

— Какое похмелье, — махнул Данилыч рукой, — этой ночью объявлено графом Палиным, будто скончался наш государь внезапно, ударом апоплексическим. Ан всем уж ведомо, что удар тот разбойничий, зубовский. Табакеркой в висок его Зубов хватил. Прямо насмерть.

Росси вспомнил нелепо нарядного Брызгалова без шляпы на лестнице замка и понял, что слова Данилыча — чистая правда.

А старик лакей, обычно подтянутый перед господами, вдруг обессилел и, не спросив разрешения, опустился в кожаное кресло.



— Все это у Палина давно было подстроено, а на государя им словно наваждение напущено. Своими руками стал гибель свою торопить. Поручик один ночью к барину приходил, подслушал я, как рассказывал. Полковника-то Саблукова, преданного государю, с внутреннего караула просто волшебством убрали. Слыхал поручик, Палин кому-то сказал: всех опаснее нам тот Саблуков мог оказаться. А собачка белая государева ведь так к нему и ластилась, словно последнюю защиту хозяину чуяла. Сейчас как сквозь землю эта собачка пропала.

— Когда именно поручик за твоим барином приходил?

— Не так давно. А прикончили государя задолго до рассвета. Истоптали всего, а тут народу его надо показывать — уstraшились. Выручай их! И из караула некий, — тут у нас в доме кума живет, — еще рассказывал, что нового государя Александра родная матушка силком к отцову телу подвела да как закричит: «Смотри... на всю жизнь смотри да помни». А покойнику лицо воском уже обмазали, подкрасили, да всё, видно, не так. Шляпу, слышь, низенько ему нахлобучили, чтоб и глаз не видать. Так и народу покажут. Мыслимое ли это дело, императорское, миропомазанное, в бозе почившее лицо — и вдруг в шляпе?

Из передней слышно было, что кто-то вошел, впущенный швейцаром. Данилыч кинулся открывать дверь.

Бренна появился бледный, с таким застывшим выражением ужаса на лице, что Карл только молча пожал ему руку.

— Хорошо, что вы здесь, друг мой, — сказал устало учитель, — вы совершенно сейчас необходимы. Я больше не в силах там присутствовать. Я любил его... — И Бренна заплакал, повторяя, сам не зная того, ту самую фразу, которую по-французски твердил Павел кинувшимся на него заговорщикам: — Что... что он им сделал?

Бренна, погруженный в свои большие хлопоты по сооружению Михайловского замка, при постоянных докладах Павлу о текущей работе видел его неизменно



любезным, щедро доброжелательным. Увлечение замком было светлой минутой Павла, его лучшим отдыхом. Далекий от непонятого ему русского быта, не испытывавший на себе всеобщего гнета, итальянский мастер, как многие иностранцы, воспринимал Павла обязательно любезным, рыцарственным человеком.

— Я вас попрошу, дорогой Карл, посмотреть, чтобы не испортили тон кожи, составленный мной. При наложении на лоб и виски придется добавить охры; впрочем, вы увидите сами. О, как ужасно он изуродован! Римляне не смогли бы столь безобразно убить. Но идите, идите скорей. Окоченение уже прошло, работать можно. Вас внизу ждут мои сани...

Карл вышел и сел в маленькие санки, которые только что привезли Бренну. Хотя до Михайловского замка было недалеко, он с трудом пробрался сквозь густую толпу разного люда. И толпа все росла, несмотря на войска, шеренгой стоявшие на улице. И страшно было понять, что толпа эта была не только бурно радостна, она просто ликовала, как в самый большой праздник, как в день одержанной победы.

Дальше в санях двигаться было нельзя. Карл вышел. Он пешком прошел через площадь Коннетабля. Невольно задержался его взор на нарядной статуе Петра, которую Павел извлек из мрака и воздвиг среди площади. И надписал: «Прадеду — правнук».

Карл невольно вспомнил о всем известном видении Павла, как однажды по набережной ему сопровождал его великий предок и, горестно пожалев его, сказал: «Бедный император, бедный Павел».

Эти слова неотступно звучали сейчас в ушах Карла, когда он шел мимо караула, задавая себе вопрос — где ж были они, преображенцы, семеновцы, одни, кому покойный слепо доверял. Почему пропустили убийц.

Карл дошел до великолепных дверей, богато украшенных щитами, оружием, медузиными головами. Змеи покрывали их вместо волос и казались зловеще ожившими...

Сквозь знакомую анфиладу комнат Карл прошел в парадные покои Павла, овальную переднюю залу, отделанную под желтый мрамор. Здесь художники



торопились создать какое-либо сходство изуродованного лица лежащего перед ними трупа со всем знакомыми чертами покойного императора. На стенах этой комнаты было шесть больших исторических картин. «Покорение Казани» в великолепной группировке Угрюмова, его же «Венчание на царство Михаила» и «Полтавский бой» — отличная картина Шебуева. Огнемечущий, горя глазами, великий Петр стоял рядом с благородным Шереметевым. Петр был полон гнева, словно за то, что под его ногами, на простом большом столе, распростерто было изуродованное тело его правнука.

Лицо Павла было страшно. Без парика, бледно-желтое, с глубоко пробитым виском, с правым глазом, выпавшим из орбиты. Глаз лежал на щеке и не по-человечески внимательно смотрел в одну точку. Карлу почудилось — на него.

Чтобы собраться с силами и приступить к работе, Карл большим усилием воли, словно в океан света, погрузился в воздушную перспективу прекрасной картины Причетникова «Плавание по Босфору».

Внизу кипела страшная работа: живописцы, руководимые врачом-анатомом, наращивали недостающие кости, сорванную кожу, красили черные пятна, кровоподтеки.

Подойдя к ним и глянув на то, что вчера еще звалось императором Павлом, Росси невольно воскликнул:

— Как же привели его в такой вид?

— А вот сумели, — сказал молодой врач с укором, как будто и Росси был участником дела. — Ногами топтали, пока один не догадался снять с себя шарф и прикончить.

Подошел знакомый художник, тоже бледный от волнения, но, видимо, не разделявший осуждения врача:

— Злодеев тут не было! Сами обстоятельства принудили его убить. Пока шел разговор об отречении, послышался на лестнице шум. И Павел так кричал, что нельзя было его оставить, и вот... — Художник показал на висок, залепленный воском. — А если бы этого не сделали, наутро вместо одного безумца сотни и тысячи умных отправились бы в тюрьмы.



Все принялись за работу: время летело, и откладывать доступ к телу было опасно. В толпе росли слухи, будто Павла придворные отвезли в Шлиссельбург. Люди требовали доказательств его смерти, чтобы присягать Александру.

Наконец облаченное в императорскую мантию тело вознесено было на парадное ложе, близ которого на небольшом столе, покрытом малиновым бархатом, засверкала золотая корона.

Когда все было перенесено флигель-адъютантами в малую тронную залу, народ был допущен для прощания, но без обычного коленопреклонения и молитвенной остановки у тела.

Но хотя проходившие увидали одни лишь подошвы ботфорт и поля широкополой шляпы, надвинутой до бровей, как предупреждал Данилыч, весь город поверил, что государь умер, и шептались друг другу — не своей смертью.

Чрезмерная белизна лица делала Павла похожим на иссеченного из мрамора, а глубокий пролом виска не удалось скрыть и под шляпой.

Удивило Карла, что ни возмущения, ни гнева против убийц в городе не было. Их имена произносили с каким-то почетом. Они были у всех на виду, на них показывали с благодарностью, как на неких римлян, освободителей отечества. Так и сказал один из придворных Зубову.

Радость внезапного освобождения от четырехлетнего гнета и неуверенности в завтрашнем дне охватила город. Очевидцы события уж заносили в свои дневники, что «на улице даже незнакомые обнимались, как в христов день, и поздравляли друг друга с новой, свободной жизнью».

Отмечали суеверно, что сама природа дала благословение новому государю. До двенадцатого марта было пасмурно, непрестанно дождило, а с воцарением Александра вдруг ранняя развернулась весна, и солнышко, редкий гость петербургского серого неба, засияло, как на юге.

Хотя на то не отдавалось приказа, сами жители в честь Александра иллюминировали свой город. И тоже немедленно без снятия запрета, наложенного



Павлом, украсились головы круглыми шляпами, и появились на свет прочие принадлежности модного туалета, недавно еще аттестованные «якобинской отравой».

По городу во все стороны понеслись запрещенные Павлом упряжки с форейторами, с кучерами в русской одежде, с неистовым криком: па-а-ди!

Люди спешили увериться, что опять могут жить, опять наконец веселиться, как того просит душа.

Поэт Державин, выражая общее ликование, написал оду: «На всерадостное восшествие на престол императора Александра Первого, случившееся двенадцатого марта, когда солнце в знак Овна, на путь весны, вступило и началось новое столетие 1801 года».

Эта ода заключала в себе очень прозрачные намеки на только что приключившееся событие в Михайловском замке, хотя Державин утверждал, что сие не что иное, как риторическая фигура, знаменующая наступление весны:

Умолк рев Норда сиповатый,  
Закрылся грозный, страшный зрак...

Генерал-прокурор запретил печатать оду, отлично поняв, как и все, к кому именно относилась риторическая фигура, чей закрылся «грозный зрак» и чей вдруг умолк столь памятный, перед вспышкой опасного гнева словно осипший голос.

Потрясенный смертью Павла и своим участием в создании ему маски отдаленного сходства, Карл проводил бессонные ночи. К его встревоженным чувствам присоединилась и личная мучительная борьба с самим собою: он то посещал ежедневно Тугариных, то пропадал на целые недели.

Ночи заметно посветлели, и под утро небо делалось такое нежно-зеленое, уносящее вдаль, что усидеть дома было трудно.

Нева вскрылась рано. Льдинки то двигались плавно, чуть касаясь друг друга, то вдруг могучей волной вздымался задний их ряд и набегал на передний; недолго так держались, взгромоздившись горой, и



внезапно, как войско в атаку, льдины с грозным шуршанием соскальзывали в воду, на миг раздвигая черную полынью. Уже запахло весной, и в сыром воздухе стали мягкими все очертания.

Карл пошел снова в излюбленный Летний сад. Сел на скамью под ветвистую липу так, что хорошо видна была вся темная громада замка. Долго сидел здесь, как бы прощаясь со своей ранней юностью, тесно связанной с этим Михайловским замком. На древке уже не плескался царский штандарт. Александр и все члены императорской фамилии переехали в Зимний дворец, подальше от тяжких воспоминаний. Но Карл, помимо воли глядя на замок, стал силой воображения воскрешать страшную ночь, двигая время назад от того мгновения, когда поутру появился на этих вот гранитных ступенях в придворной ливрее кастелян Брызгалов.

Как ни тихо шли заговорщики, они, говорят, спугнули этих бесчисленных ворон, что спокойно сидят сейчас в своих гнездах. В ту же ночь, как нарочно, всполошилось все это черное пернатое царство, и такое поднялось карканье и хлопанье крыльями, что даже Пален мгновенно подумал, не сорвалось ли все его дело и, как, по преданью, в последнюю минуту опасности заготовившие гуси спасли Рим, эти зловещие птицы своим карканьем не подымут ли сейчас государя. И что же тогда?— Арест, Сибирь или казнь? Но вот вороны внезапно умолкли. Их карканье не спугнуло сон императора. В своем охраняемом замке, при поднятых мостах, проверенных караулах, он не боялся измены, расквартировав последний подозрительный эскадрон Саблукова в далекой деревне. Между тем самый доверенный его человек, плац-адъютант Аргамаков, уже давал самолично приказ опустить малый подъемный мост, чтобы впустить заговорщиков.

Карл так долго смотрел на два окна бельэтажа, выходящего на Садовую, где была спальня Павла, что ему уже стало казаться — вот-вот откроется осторожно окно и выглянет знакомая курносая голова в ночном колпаке и полотняном камзоле, в каком обычно спал Павел...



Росси очень тосковал, что в такие для него тяжкие дни нет в городе Воронихина. Пошел навеститься, когда можно его ждать, и вдруг оказался приход его как нельзя кстати: Воронихин только что приехал. Карл рассказал ему все, что знал из городских толков про последние дни государя и про его смерть. Воронихин долго ходил по ковру своего кабинета.

— Главная ошибка Павла,— сказал он,— его убеждение, что мир размежеван на участки и Россия, как поместье, вручена ему самим богом в полную власть. Себя он действительно считал проводником высшей воли. Отсюда всем видимый деспотический произвол превращался в его больной голове в особую миссию, вроде крестового похода, который ему неуклонно надлежит предпринять. Так было с отправкой армии в Италию в угоду Австрии против Франции, а через несколько месяцев последовал поход обратный, уже в союзе с Францией против Англии на Индию.

— А что тут и там погублены тысячи, что донские казаки посланы на верную смерть? Да неужто за них он не чувствовал ответственности?— воскликнул Карл.

— Едва ли он мог давать себе ясный отчет о последствиях этих, как он полагал, подсказанных ему свыше решений.

— Вот чего не могу я понять, что мучит меня, когда о нем думаю,— сказал живо Росси,— ведь я видел его близко и не могу ошибаться в том вдохновении благожелательного чувства, каким в светлые минуты просто сияло его лицо. Я был свидетелем его благородства, доброты и сочувствия. Почему так могло случиться, что именно этот человек, с большими задатками добра, наделал столько зла, что город всеобщим ликованием встретил его смерть?

— То же самое и в Москве,— подтвердил Воронихин,— с необычайным страхом ждали увидеть Павла на больших маневрах, к которым готовились в окрестностях. Слухи о его безобразной ярости при малейшей оплошности привели в оцепенение все умы, его ждали, как неотвратимую чуму, и я сам был свидетелем бурной радости, когда судьба навеки пресекла угрозу его появления. А тебе, Шарло,— сказал Ворони-



хин тем своим особенным, интимным голосом, который у него появлялся, когда он хотел передать ученикам свои большие знания или глубокий внутренний опыт, тебе из несчастной судьбы Павла, которую пришлось так близко наблюдать, для твоего собственного развития важнее всего запомнить один нерушимый закон...

— Я слушаю, Андрей Никифорович,— насторожился Карл.

— Тебя поражает величайшая дисгармония? Человек хотел блага, а совершал злое? Но дело в том, что одних благих намерений мало; как известно, ими вымощен ад. Чувство, мысль, идея получают свою реальную жизнь, только когда они закреплены отчетливой, для всякого зримой, защищенной разумом формой. Но если человек—в данном случае Павел—возникающий в нем огонь чувства, пускай даже порой превышающий то, что доступно среднему человеку,—отдает одним бесплотным мечтам, ему жизнь не прощает. Павел не имел ума и характера осуществлять необходимые для всеобщего блага замыслы, подобно тому, как это умел его великий предок Петр. Он не двигал жизнь, он не делал никому ее условия легче и прекраснее; напротив того, не понимая законов развития и движения своей страны, засорял ее всяким вздором. И законно, что вместо восторгов и благодарности потомков, какие вызывают дела Петровы, произвол и капризы Павла, не превращенные в нужное дело, вызвали только проклятия. Запомни, Шарло, это нужно для каждой работы: восторг зарождения—только искра. Эту искру еще надлежит раздуть в пламя.

— Я чувствую истину ваших слов,—сказал Карл,—но как это сделать? Как раздуть искру в пламя?

— Твердой волей,—сказал Воронихин,—столь углубленной в свое дело, что, как зажженный во тьме маяк, она приведет тебя к цели среди жизненных бурь. Едва ты возьмешься за большую работу, как на деле проверишь мои слова. Только полюбить свое дело надо больше себя...

И, внезапно смутившись, как целомудренный юноша, решивший раскрыть другу тайну сердца, Воронихин вымолвил:



— Приходи-ка, Шарло, взглянуть на мой Казанский собор. Покажу тебе акварели и план. Я закончу на днях.

Состояние Александра было ужасно. Его подавленность, глубокую грусть и раскаяние граф Пален почитал только робкой слабохарактерностью и все назойливее обращался с ним как с мальчишкой, которого он только что посадил на трон и должен научить царствовать.

Александр свободные от парадов часы проводил в уединенной скорби. Удрученный безжалостной памятью, он снова и снова переживал страшную ночь. Ежедневно узнавал он всё новые имена исполнителей, новые подробности смерти отца.

Однако не только казнить убийц Павла, как того требовала мать-императрица, но даже предать их суду Александр не находил в себе смелости.

Начни суд — что получится? Одни имена потянут за собой другие, и, как средство защиты, всеми будет помянуто о согласии, которое было вырвано у него. наследника, на предъявление акта отречения императору. Заговорщики сейчас давали слишком беззастенчиво понять, что они необходимы для безопасности молодого государя. Зубовы даже нарочно постарались, чтобы слова, которые они почитали дружеским ему советом, доведены были до него: «Из чувства благодарности и благоразумия Александру следует окружить себя теми людьми, которые возвели его преждевременно на престол, как это сделала его бабка Екатерина».

Сегодня Александру было особенно тяжело видеть Палена. Он пришел с резкой жалобой на мать-императрицу: по ее заказу выполнен образ и поставлен в одной из новых церквей, — для возбуждения против лиц, только что оказавших ей немалую услугу...

— Ваше величество, — сказал многозначительно Пален, — на упомянутом образе славянской вязью, на ленте, исходящей из уст святителей, начертан приказ не оставлять безнаказанными цареубийц. Пусть сие относится к эпизоду ветхозаветному, но прилив в эту



церковь народа и вызванные образом толки получились весьма современного характера...

— Доставьте образ ко мне, я расследую,— сказал утомленный Александр и, вдруг вспыхнув, горько добавил:— Сдержали б вы ваше слово о неприкосновенности августейшей жизни, ничего б этого быть не могло.

Пален пристально посмотрел на царя. В глубине глаз дрожала насмешка, прикрытая внимательным дружелюбием, но смущения не было.

— Да неужто ваше величество могло допустить даже мысль, что покойный император, столь ревниво убежденный в святости самодержавия, мог от него без борьбы отказаться? В борьбе же, на каковую ваше величество разумно изволили дать свое разрешение, конец не мог никем быть предвиден.

— Но ваше слово?

— Мной оно сдержано,— качнулся с достоинством Пален.— Я неприкосновенен к злему делу обезумевших офицеров. Я находился в покоях императрицы: быть может, надлежало ее уберечь от ареста. Как вам известно, предписание уже было.

Александр в отчаянии махнул рукой, указав на выход.

Пален, пожав плечами, пошел к двери, остановился, сказал вдруг совсем веселым, жизнерадостным голосом:

— Приятнейшее обстоятельство, ваше величество, прошу прощенья, чуть не забыл. Вам сейчас предстоит завершить одно доброе дело, задуманное его величеством покойным императором. Поистине благодеяние целому семейству одним мановением вашей царской руки...

— Какое еще дело?— испуганно повернулся Александр, опасаясь, что разговор пойдет о той беременной женщине, которая объявила, что взыскана Павлом, и просила о пенсии.— Я этих женских дел знать не хочу. Решайте сами.

— Помилуйте, ваше величество, дело самое мужское: некий государственный крестьянин, сибиряк Артамонов, изобрел самокат. Модель в свое время, если припомните, представлена была его величеству, вашему родителю, и Артамонову была обещана в случае успешного выполнения модели—вольная со всем семейством.



— Как же, вспоминаю,—несколько оживился Александр,—такое большое железное колесо и сиденье, как седлышко, наверху... Мы тогда посмеялись немало с братом. И что же, он выполнил?

— Извольте потрудиться, ваше величество, глянуть из окна на площадь: Артамонову приказано ждать тут с самого утра, пока не соблаговолите проверить его машину.

— Зачем же утром еще не сказали?—воскликнул Александр.—Я очень охотно взгляну, ведь мне особенно приятно, когда могу выполнить волю батюшки.

Александр быстрым шагом, так что Пален едва за ним поспевал, вышел на балкон Зимнего дворца и с любопытством оглядел площадь.

Перед балконом возник Артамонов, низко кланяясь, ведя рядом с собой, как лошадь, большое колесо. Он был в своем синем армяке и в новых, до зеркального блеска начищенных сапогах. Он вдруг мгновенно вскочил на седло и, хлопая лапами длинного армяка, много раз странной птицей пронесся большими кругами по площади, ловко спрыгнул на ходу пред балконом, где, глядя на него, улыбался восхищенный Александр.

Артамонов лихо соскочил на ходу, сорвал с головы шапку, упал на колени пред балконом и протянул к Александру обе руки.

— Самокатчик нижайше благодарит ваше величество,—сказал Пален,—за дарованную по обещанию императора Павла вольную.

— В свою очередь, благодарю самокатчика за то, что выполнил обещание, данное отцу.

У Александра выступили слезы на глазах.

— Кроме вольной всему семейству, как сказано батюшкой,—приказал он Палену,—распорядитесь из сумм кабинета выдать награду и на путевые расходы. Самокат приобщить к изобретениям самоучки Кулибина, собранным бабушкой.

Вечером у Воронихина, когда весело праздновали удачу с самокатом, Артамонов был печален.

— Уж выхлопайте поскорей, Андрей Никифорович, мне бумаги,—то и дело просил он Воронихи-



на.—Забрать их да скорей наутек! Неровен час, опять сместят императора, а для второй пробы у моего самоката прыти не станет, к тому ж приказано его в кучу лома свалить.

— Да что ты, Артамонов,—успокаивал Воронихин,—твой самокат приказано в том же месте держать, где изобретение великого нашего самоучки Кулибина.

— То-то, что вправду велик. А где к нему внимание, где почет всему, что выдумал? Как и я, одной пользы хотел он отечеству, а его модели сперва на игрушки пустили, а как сломались, и не стали чинить.

— Но для своего самоката чего б ты хотел?—спросил серьезно Воронихин, поняв печаль Артамонова.

— А чтоб знающим механикам его испытать да улучшить—цены ему нет для военного дела. Ведь шибче лошади он бежит,—сказал не без гордости Артамонов и прибавил, потускнев:—А сейчас хотя бы только с вольной не передумали!

Вечером явилась к Александру мать-императрица. Еще красивая, хотя сильно располневшая, в глубоком трауре, она даже не захотела у сына присесть. Величественно стоя, изрекла свой ультиматум:

— Или я, сейчас уехав в Павловск, никогда больше сюда не приеду, или же пусть граф Пален навсегда удалится отсюда. Мне известно, что он приказал снять подаренный мной образ и произнес слова: «Я расправился с супругом, расправляюсь и с супругою».

Мария Федоровна удалилась, предоставив Александра охватившему его с новой силой отчаянию.

Опять почувствовал, что тюремной стеной окружил его этот грузный, тяжелый человек, неизменно к чему-то принуждающий. А за ним стоит и другой, Никита Петрович Панин, с изощренно-дипломатической речью, с холодным педантизмом на английский манер. Оба свергли отца, оба хотят теперь править сыном.

От ненависти к поработителям своей воли Александр вскочил и стал быстро ходить по кабинету.

Пусть лучше навек Шлиссельбург, пусть даже казнь—все лучше несказанной муки, охватившей



сейчас. Панин первый заронил в сознание эту мысль, которая никогда б не родилась сама,—пойти против отца и помазанника. Но Палена он ненавидел еще сильнее. Пален уверен, что он не только знал, он отцеубийства хотел. Освободиться б от Палена!

Доложили нового генерал-прокурора Беклешева.

Сменивший бывшего гатчинца, Павлова любимца Обольянинова, этот русский простой человек был приятен Александру. Беклешев далек был от придворных интриг, прославлен своей справедливостью и был в отсутствии во время заговора.

И вдруг Александр рассказал Беклешеву, как младший внушившему доверие старшему, про непосильную тяжесть отношений с ненавистным Паленом, про непреклонное требование императрицы-матери его удалить.

Беклешев сочувственно поморгал своими умными глазами на молодого царя и сказал простодушно, как бы разрешая совсем маловажное затруднение:

— Когда мне досаждают мухи, ежели жужжат под носом,—я их прогоняю.

И как следствие этого разговора предложил тотчас представить для подписания соответствующую бумагу.

— Заготовьте и представьте,—легко вымолвил Александр, успокоенный простым и быстрым решением столь мучительного дела.

Назавтра только и речи было о том, как граф Пален явился на парад в своем экипаже, запряженном шестеркою цугом. Едва собрался он выходить, как подошедший флигель-адъютант государя протянул бумагу, где по высочайшему повелению предлагалось ему выехать навсегда в свои курляндские поместья.

Карл Росси подходил смущенный к Академии художеств, приглашенный в первый раз на новую квартиру Воронихина. Андрей Никифорович женился, как давно ему прочили, на англичанке, чертежнице Мери Лонг, и занял просторную преподавательскую квартиру по своей новой должности руководителя архитектурного класса.



Браку Воронихина в среде товарищей завидовали и не без яда превозносили его хитроумие и расчетливость — одним махом убил нескольких зайцев: приобрел чудесную жену, неутомимую помощницу в работе, красивую натурщицу и хозяйку, умевшую на европейскую ногу поставить свой дом. Воронихин представил своей жене Карла как юного друга и многообещающего архитектора. Мери скоро так очаровала Карла умной сердечностью, что заставила его поверить доброму отношению к друзьям своего мужа.

Когда Мери вышла из комнаты, Карл, смеясь, признался, как он боялся, что после женитьбы Андрея Никифоровича в доме будет совсем не так, как было раньше, и вдруг оказалось, что стало еще лучше и еще больше станет сюда тянуть.

— Спасибо, Шарло, за верную оценку моего брака, — усмехнулся Воронихин. — Если друзьям становится в доме проще и веселей — это верный знак, что в союзе не вышло ошибки.

— Но какая же редкость такая удача, — сказал грустно Карл, думая о сложности своих отношений с Катрин.

Воронихин словно угадал его мысли:

— Можно спотыкаться, Шарло, пока не видна, не ясна окончательно главная цель жизни. Но избранное дело уже само поведет. Запомни, жену надо искать только такую, которая этому избранному тобой делу и захочет и сможет помочь.

— Андрей Никифорович, я запомню ваши слова, — серьезно сказал Карл, — если бы знали вы, как они сказаны кстати. Я только что получил из Италии письмо от Катрин. Она зовет меня к себе, прямо в Рим, а я должен ехать с Бренной во Флоренцию, где смогу тотчас начать занятия в Академии. Катрин пишет, что дольше месяца она меня ждать не станет и вернется обратно в Россию. Вы понимаете — это решение ее судьбы, так же как и моей.

— И ты ей ответил?

Карл помолчал. Потом, не глядя на Воронихина, тихо сказал:

— Ваши слова мне помогут ей ответить, что я еду в Италию только учиться и путь мой — во Флоренцию.



Воронихин пожал Карлу руку:

— Ты решил верно, Шарло. Искусство ревниво. А сейчас, на прощанье, пройдем в мастерскую. Я покажу тебе акварели собора и план.

Указывая на развешанные по стенам подготовительные работы к Казанскому собору, Воронихин стал говорить как бы сам с собой, впервые, может быть, выражая словами то, что давно родилось и зрело без слов:

— Мне прежде всего хотелось, при всей монументальной грандиозности здания, дать его легким, полным света. Поэтому видишь, Шарло, как велики здесь окна, как утончены подпоры купола. Император Павел очень стеснил полет моей фантазии, предрешив общее впечатление собора. Он ведь настаивал на сходстве с римским собором святого Петра. Сколько я промучился, пока не нашел выхода вот в этих колоннадах. Двумя могучими потоками они вливаются со стороны Невского проспекта,— указал Воронихин на план.— Обрати внимание, Шарло, они вливаются в многоколонный же портик, сильно выдвинутый из их линии, что создает впечатление входов и выходов. Ты понимаешь мой замысел?

— Понимаю,— отозвался восхищенный Карл,— колоннады благодаря этому не являются простой декорацией площади, как в Риме. Какое счастливое разрешение вас посетило. Вместо внушающего трепет величия торжественного круга — какая стройная, какая легкая у вас получилась дуга.

— Ты угадал. Мотив легкости мною положен в основу всей громадной постройки, но для этого неизбежно соорудить такую же колоннаду и со стороны противоположной. А здесь вот, на западе, соединить в одно грандиозные дуги. Представь себе, Шарло, в пасхальную ночь много сотен людей с зажженными свечами во всех колоннадах собора. Какое море огня, какое море света!

— Андрей Никифорович,— воскликнул Росси,— вы достигли своей цели. Вы внесете в наш сумрачный день и прозрачность, и воздух, и радость...

— Когда б удалось,— сказал тронутый Воронихин.— Я много думал о воздействии архитектуры на



сознание. Как уничтожает, расплющивает человека готика, как, словно устрашив его, уводит насильственно ввысь от земли. Порой утомляет глаза и торжественность победительного Рима. Нагромождение барокко пресыщает чувство, неуловимо подменяет его чувственностью и рассеивает своей пышностью, дробит на мелочи потребность простого и прекрасного. Моя задача скромна. Я не хочу поражать, восхищать или пробуждать дремоту ленивой совести удручающим взлетом сводов, тяжестью купола, угрожающей тенью неосвященных углов. Я только хочу, чтобы в моем создании преодолена была тяжесть. Обилие внешних и внутренних колоннад своей гармоничной соединенностью должно снимать всякое бремя. Войдя в мой собор, пусть каждый свободно вздохнет, пусть, сбросив с плеч груз мертвящих волю горестей и забот, во всю мощь наберет себе свежих сил.

Я верю, Шарло, в благородство природных сил человека. Пусть моя работа создаст условия, которые хоть немного помогут их развитию...

— Судя по великолепию вашего плана, я уверен, что вы эти условия создадите,— сказал Росси, крепко пожимая Воронихину руку.



## СОДЕРЖАНИЕ

В. Оскоцкий. «...ВЕКА — В НАС» (Творческие уроки Ольги Форш) .....	3
ОДЕТЫ КАМНЕМ. Роман.....	25
СОВРЕМЕННОСТИ. Роман.....	231
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК. Роман .....	441



## Форш О.

Ф 80 Одеты камнем. Современники. Михайловский замок / Вступ. ст. В. Оскоцкого; Ил. Г. Епифанова, Л. Хижинского, А. Яцкевича.— М.: Правда, 1986.— 656 с., ил.

В книгу включены исторические романы известной советской писательницы Ольги Дмитриевны Форш (1873—1961): «Одеты камнем», «Современники», «Михайловский замок».

В центре романа «Одеты камнем» (1924—1925) — судьба «таинственного узника» Алексеевского рavelина Петропавловской крепости русского революционера М. С. Бейдемана. Основной смысл романа «Современники» (1926) — в идейно-творческом споре между русским художником Александром Ивановым и Н. В. Гоголем о судьбах искусства своего времени. Роман «Михайловский замок» (1946) — о трех поколениях русских зодчих: В. И. Баженове, А. Н. Воронихине и К. И. Росси.

Ф 4702010200—979  
080(02)—86 979—86

84 Р 7

**Ольга Дмитриевна ФОРШ**

ОДЕТЫ КАМНЕМ  
СОВРЕМЕННОКИ  
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Редактор Л. М. Кроткова

Оформление художника М. З. Шлосберга

Художественный редактор Г. О. Барбашинова

Технический редактор Т. Б. Слизун

ИБ 979

---

Сдано в набор 22.10.84. Подписано к печати 24.07.86. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Бумага кн.-журн. Гарнитура «Эксельсиор». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,44. Уч.-изд. л. 34,14.

Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250 001—500 000 экз.).

Заказ № 449. Цена 3 руб.

---

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена

Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина

издательства ЦК КПСС «Правда».

125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

---

Отпечатано в типографии издательства «Уральский рабочий»,  
620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.



















**ОЛЬГА  
ФОРШ**

